

ДО ННА

ТА Р Т Т

РОМАН — СЕНСАЦИЯ, РОМАН — ЭТАЛОН

ТАЙННАЯ

ИСТОРИЯ

---

Пронизанный игрой ума, драматичный рассказ о преступлении,  
намертво связавшем нескольких друзей-студентов,  
завораживает и потрясает

ИНОСТРАНКА

## Annotation

Действие романа «Тайная история», разошедшегося в США пятимиллионным тиражом, разворачивается в небольшом колледже в Вермонте, куда девятнадцатилетний Ричард Пэйпен приезжает из Калифорнии изучать древнегреческий язык. Новые друзья Пэйпена — четверо молодых людей и одна девушка — умны, раскованны, богаты и так увлечены античной культурой, что рассматривают себя чуть ли не как особую касту ее хранителей. Их дружба не выдерживает, однако, натиска современного мира. В веселой и сплоченной компании происходит убийство. Пытаясь через много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит свою студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой девушкой, и под виртуозным пером Донны Тартт его исповедь превращается в высококлассный психологический триллер.

---

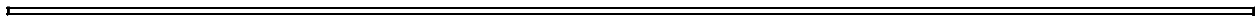
- [Донна Тартт](#)
  - [Книга первая](#)
    - [Пролог](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
    - [Глава 4](#)
    - [Глава 5](#)
  - [Книга вторая](#)
    - [Глава 6](#)
    - [Глава 7](#)
    - [Глава 8](#)
  - [Эпилог](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)

- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)

- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)



# Донна Тартт

## Тайная история

*Брету Истону Эллису, чье великодушие я всегда буду с благодарностью помнить, и Полу Эдварду МакГлойну — вдохновителю и меценату, лучшему другу до конца моих дней.*

## Книга первая

*И вот, я задаюсь вопросом о том, кто и как становится филологом, и утверждаю:*

*1. в юности человек не имеет еще ни малейшего представления о древних греках и римлянах,*

*2. он не знает, пригоден ли он к тому, чтобы сделать их предметом своего изучения...*

*Фридрих Ницше. Из заметок к ненаписанной книге «Мы, филологи»*

*Так давай же уделим беседе добрую толику времени, и речь у нас пойдет о воспитании наших героев.*

*Платон. Государство, книга II*



## Пролог

В горах начал таять снег, а Банни не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали всю тяжесть своего положения. Кстати, нашли его только через десять дней после гибели. Это была одна из самых крупных поисковых операций за всю историю Вермонта — полиция штата, Национальная гвардия, ФБР. В колледже отменили занятия, в Хэмпдене временно закрыли красильную фабрику, люди приезжали из Нью-Хэмпшира и Нью-Йорка, даже из Бостона.

Странно, что бесхитростный план Генри прекрасно сработал, несмотря на все непредвиденные обстоятельства. Мы ведь вовсе не собирались прятать тело. На самом деле мы просто оставили его там, куда оно упало, понадеявшись, что случайный прохожий наткнется на него прежде, чем исчезновение Банни заметят. Все говорило само за себя: шаткие камни, осыпавшийся край обрыва, на дне ущелья — труп со сломанной шеей. Обычный несчастный случай. Смиренно пролитые слезы, скромные похороны — все могло бы пройти тихо и незаметно, если бы той ночью не выпал снег. Он полностью занес тело Банни, и через десять дней, когда наконец настала оттепель, участники поисков — полиция, ФБР, волонтеры — обнаружили, что все это время ходили по его трупу, утаптывая снег в плотную ледяную корку.

Люди в форме, вспышки фотоаппаратов, толпы народа, облепившие Маунт-Катаракт, как муравьи сахарницу, — трудно поверить, что такой шум поднялся вокруг происшествия, ответственность за которое отчасти лежит на мне. Еще труднее поверить, что через все это мне удалось пройти, не вызвав и тени подозрения. Но пройти, увы, еще не означает уйти, и хотя некогда я полагал, что тем апрельским днем навсегда покинул злополучное ущелье, сейчас я в этом совсем не уверен. Теперь, когда поиски давным-давно закончились и в моей жизни все спокойно идет своим чередом, я начал понимать, что, воображая годами, будто нахожусь где-то еще, я все это время был только там — на краю обрыва, у заполнившихся грязью следов от колес в молодой траве, где темное небо нависает над дрожащим яблоневым цветом, а в воздухе уже чувствуется похолодание — предвестие снега, который выпадет ночью.

— А вы-то что здесь делаете? — удивленно воскликнул Банни, заметив нас.

— Да так, папоротники ищем, — ответил Генри.

После того как мы постояли, перешептываясь, в подлеске (последний раз взглянуть на тело, осмотреться — не обронил ли кто ключи или очки, не забыл ли чего) и гуськом потянулись через лес, я еще раз оглянулся. И хотя я помню наш обратный путь и первые одинокие снежинки, парящие на фоне сосен, помню, как мы с облегчением набились в машину и выехали на дорогу, словно семейство, отправившееся на пикник, помню, как Генри с каменным лицом объезжал рытвины, а мы вертелись на сиденьях и болтали, как дети, хотя я слишком хорошо помню ту ужасную долгую ночь и все последующие ужасные долгие дни и ночи, стоит мне оглянуться, и как будто прошедших лет не было и в помине, оно вновь у меня за спиной — черное пятно ущелья, выплывающее из-за зеленых ветвей, — картина, которая останется со мной навсегда.

Наверное, сложись все иначе, я мог бы писать о многих других вещах, но теперь у меня нет выбора. В моей жизни была только одна история, и лишь ее я могу рассказать.<sup>[1]</sup>

## Глава 1

Существует ли такая вещь, как «трагический изъян» — зловещая темная трещина, пролегающая через всю жизнь, — вне литературы?<sup>[2]</sup> Когда-то я полагал, что нет. Теперь же уверен, что существует. И в моем случае это, видимо, болезненная и неудержимая тяга ко всему, что исполнено внешнего блеска и великолепия.

*A moi. L'histoire d'une de mes folies.*<sup>[3]</sup>

Меня зовут Ричард Пэйпен. Мне двадцать восемь лет, и я впервые увидел Новую Англию и Хэмпден-колледж, когда мне исполнилось девятнадцать. Я уроженец Калифорнии, и, как теперь понимаю, меня можно назвать калифорнийцем в том числе и по складу характера. В последнем я смог признаться себе лишь недавно... Впрочем, это не важно.

Вырос я в Плано, маленьком городке на севере Силиконовой долины. Ни братьев, ни сестер у меня не было. Мой отец держал автозаправку, а мать сидела дома. Потом, когда я стал старше, а жизнь — дороже, мать устроилась на работу — диспетчером в офис одного из крупных заводов микроэлектроники в окрестностях Сан-Хосе.

Плано. Это слово вызывает в памяти ряды типовых бунгало, автокинотеатры, источаемые асфальтом волны жара. Проведенные там годы сложились для меня в некое прошлое, расстаться с которым оказалось так же легко, как выбросить пластиковый стаканчик. В некотором смысле это было весьма ценным подарком судьбы. Покинув родительский дом, я сочинил новую, куда более привлекательную историю детства, полную расхожих образов, обычно возникающих при упоминании Калифорнии, — красочное прошлое, легко доступное для посторонних.

Ослепительный блеск этого вымышленного детства — бассейны, апельсиновые рощи, милые разгильдяи-родители, занятые в шоу-бизнесе, — полностью затмил тусклое однообразие детства подлинного, размышляя о котором я не могу вспомнить ничего, кроме унылой мешанины предметов: кеды, в которых я ходил круглый год, дешевые книжки-раскраски, старый, потрепанный мяч — мой вклад в игры с соседскими детьми. Мало интересного, и уж совсем ничего радующего глаз. Я был тихим, высоким для своих лет подростком с щедрой россыпью веснушек на лице. Я не мог похвастаться большим количеством друзей, но было ли это осознанно принятым решением или же просто течением обстоятельств, я не знаю. Помнится, учился я хорошо, но среди первых

учеников никогда не был. Мне нравилось читать — Толкиена, приключения Тома Свифта, но против телевизора я тоже ничего не имел и частенько проводил долгие и безрадостные часы после школы, лежа перед ним на ковре в нашей пустой гостиной.

Мне почти нечего добавить к этим воспоминаниям, кроме, пожалуй, определенного настроения, которым были проникнуты почти все мои детские годы, — чувства подавленности, связанного с воскресными сериями «Чудесного мира Диснея». Воскресенье было грустным днем (рано в постель, завтра в школу, я постоянно боялся, что наделал в домашней работе ошибок), но, когда в ночное небо над залитыми светом башнями Диснейленда взмывал фейерверк, меня охватывала настоящая тоска. В такие минуты я думал, что мне никогда не выбраться из безотрадной круговерти школы и дома. Мой отец был человеком мелочным и вздорным, наш дом — безобразным, мать никогда не баловала меня вниманием. Я носил купленную по дешевке одежду, был всегда слишком коротко подстрижен, и никто из одноклассников не питал ко мне особой симпатии. А поскольку так было всегда, с тех пор как я себя помнил, я боялся, что и дальше все будет течь в том же мрачном русле. Короче говоря, мне казалось, что все мое существование поражено неким скрытым недугом, исцелиться от которого мне не суждено.

Так что, полагаю, нет ничего удивительного в том, что мне трудно соотнести свое прошлое с прошлым моих друзей, по крайней мере с таким, каким я его вижу. Чарльз и Камилла — сироты (как я желал себе этой горькой судьбы!), выросшие под присмотром бабушек и тетюшек в огромном старом доме где-то в Виргинии: река, лошади, амбровые деревья — детство, о котором приятно помечтать. Или, например, Фрэнсис. Когда он появился на свет, его матери было всего лишь семнадцать — хрупкая, капризная девочка с рыжими волосами и богатым папой, сбежавшая из дома с барабанщиком Вэнса Вэйна и его «Веселых вагантов». Через три недели она вернулась домой, через шесть брак был признан недействительным. И что же? Как любит при случае заметить Фрэнсис, дед и бабка воспитали их как брата и сестру — его и его мать. Их окружали такой заботой, что это производило впечатление даже на привыкших ко всему сплетников, — гувернантки из Англии, частные школы, лето в Швейцарии и зима во Франции. Взять даже нашего простофилю Банни. Детство, не больше моего похожее на то, что проходит под знаком матросских костюмчиков и уроков танцев. Но все же американское детство. Сын ведущего игрока футбольной команды Клемзонского университета, ставшего банкиром. Четыре брата без единой сестры в большом и шумном

доме в пригороде. Яхты, теннисные корты, золотистые ретриверы — всё в их распоряжении. Летние поездки на Кейп-Код, элитные пансионаты в окрестностях Бостона, барбекю перед началом футбольных матчей — это воспитание проявлялось у Банни абсолютно во всем, от рукопожатия до манеры рассказывать анекдоты.

Ни с кем из них у меня нет и не было ничего общего — ничего, кроме знания греческого и года жизни, проведенного в их компании. Впрочем, если общность может быть основана на любви, то нас объединяла еще и любовь — хотя, я понимаю, это может показаться странным в свете той истории, которую я собираюсь рассказать.

С чего начать?

После школы я поступил в маленький колледж в нашем городке (родители были настроены против; они уже давно дали понять, что я должен буду помогать отцу вести дело — одна из причин моего отчаянного стремления попасть в списки студентов) и в течение двух лет изучал там древнегреческий. Объяснялось это вовсе не любовью к языку, а тем, что я учился на медицинском отделении (деньги, как вы понимаете, были единственным способом улучшить мое положение, а врачи зарабатывают много денег, *quod erat demonstrandum*<sup>[4]</sup>). Учебный план предполагал несколько гуманитарных курсов, и мой куратор предложил мне выбрать язык. А поскольку, как выяснилось, занятия греческим начинались во второй половине дня, я остановился на них — кто откажется поспать подольше в понедельник? Этот абсолютно случайный выбор решил, как вы увидите, мою судьбу.

Греческий шел у меня хорошо, можно сказать, отлично, и в последний год колледжа я даже получил награду классического отделения. Это был мой любимый предмет, поскольку он один проходил в нормальной аудитории — никаких банок с бычьими сердцами, никаких набитых обезьянами клеток, никакого запаха формальдегида. Сначала я думал, что упорным трудом смогу преодолеть врожденную брезгливость и отвращение к выбранной профессии, что в будущем, удвоив усилия, возможно, даже сумею изобразить подобие призвания к ней. Но это был не тот случай. Проходили месяцы, а изучение биологии по-прежнему не вызывало у меня интереса, вернее сказать, вызывало лишь откровенную неприязнь. Я получал низкие оценки, сокурсники относились ко мне с не меньшим презрением, чем преподаватели. Не сказав ни слова родителям, я перевелся на отделение английской литературы, что, даже на мой собственный взгляд, было поступком отчаянным и безрассудным. Я чувствовал, что тем самым затягиваю петлю у себя на шее, что непременно буду об этом сожалеть, —

ведь тогда я еще искренне верил, что лучше потерпеть неудачу на прибыльном поприще, чем процветать в сфере, которая, как считал мой отец (не имевший представления ни об экономике, ни об университетской науке), не сулила никакой выгоды. По его словам, выбор такой профессии неизбежно приведет к тому, что до конца жизни я буду выпрашивать у него деньги, давать мне которые он совершенно не собирается.

Итак, я начал изучать литературу, и мне это понравилось. Но мое отношение к Плано осталось прежним. Вряд ли я смогу объяснить, почему моя среда порождала во мне чувство такой безысходности. Сейчас я догадываюсь, что в тех условиях и при своем характере я был бы несчастлив где угодно, будь то Биарриц, Каракас или остров Капри, но в то время я ничуть не сомневался, что мое подавленное состояние неразрывно связано именно с местом, где я жил. Возможно, отчасти так оно и было. Пусть Милтон в известной мере прав — в себе обрел свое пространство дух, в себе он может создать из ада рай,<sup>[5]</sup> и далее по тексту, — и все же очевидно, что основатели Плано воздвигали город, взяв за образец не рай, но ту, иную, мрачную и скорбную обитель. В старших классах я приобрел привычку бродить после школы по торговым центрам, описывая круги среди холодных, сверкающих галерей, пока все это — яркие упаковки и штрихкоды, променады и эскалаторы, зеркала, «мьюзак», свет и шум — не заполняло мой мозг настолько, что в нем перегорали пробки, и тогда все вокруг внезапно сливалось в пеструю расплывчатую массу: цвет без формы, тихий звон разлетающихся молекул. Потом я, словно зомби, брел к парковке и ехал на бейсбольное поле, а приехав, даже не вылезал из машины — просто оцепенело сидел, положив руки на руль, и смотрел на пожелтевшую зимнюю траву и проволочную ограду, пока солнце не уходило за горизонт, и уже было ничего не видно в наступивших сумерках.

Порой мне нравилось думать, будто моя неудовлетворенность по сути была богемной или даже марксистской (когда я был подростком, то часто напускал на себя вид убежденного социалиста — как правило, просто для того, чтобы позлить отца), но на деле я был очень далек от того, чтобы понять ее природу, и возмутился бы, предположи кто-нибудь, что подлинным ее источником была стойкая пуританская жилка в моем характере. Однако дело было именно в ней. Не так давно я обнаружил в старом блокноте запись, сделанную, когда мне было восемнадцать или около того: «Я чувствую, что все здесь пропитано запахом гнили, гнили перезревших плодов. Нигде и никогда жуткая механика рождений, совокуплений и смерти — этих чудовищных шестеренок жизни, которые греки называли *miasma*, скверной, — не была столь неприкрытой и в то же

время столь коварно подмалеванной, нигде и никогда люди не верили так слепо в ложь, непостоянство и смерть смерть смерть».

Изрядная пошлятина, на мой взгляд. Глядя на эти строчки, я подумал, что, останься я в Калифорнии, непременно ударился бы в религию или, по крайней мере, стал приверженцем какой-нибудь причудливой диеты. Помнится, как раз в то время я читал что-то о Пифагоре и некоторые из его идей необычайно меня привлекали — например, ношение белых одежд и отказ от употребления в пищу существ, наделенных душой.

Однако вместо этого я оказался на Восточном побережье.

Я наткнулся на Хэмпден по прихоти судьбы. Однажды вечером — это был один из бесконечных Дней благодарения: дождь за окном, консервированный клюквенный соус, назойливый шум спортивных телепередач — я заперся у себя в комнате после ссоры с родителями (не помню, что послужило поводом в тот вечер, помню лишь, что ссорились мы постоянно — из-за колледжа и денег) и принялся ожесточенно рыться в шкафу, ища свою куртку, как вдруг оттуда вылетел буклет: «Хэмпден-колледж, Хэмпден, штат Вермонт».

Буклет был двухлетней давности — в старших классах я получал много всего такого от разных колледжей, поскольку хорошо сдавал стандартные тесты (увы, не настолько, чтобы можно было рассчитывать на стипендию). Я хранил его в учебнике геометрии весь последний год школы.

Не знаю, как он оказался в шкафу — наверное, мне просто стало жаль его выкидывать. В тот год я изучал фотографии Хэмпдена часами, словно надеясь, что если буду смотреть на них долго и пристально, то благодаря некоему осмотическому процессу проникну в их ясную, ничем не нарушаемую тишину. Я помню эти фотографии по сей день — так, бывает, запоминаются картинки из любимой детской книжки. Залитые солнцем луга, расплывчатые очертания окутанных дымкой гор, толстый ковер листвы на ветреной осенней дороге. Праздничные костры и стелющийся в долинах туман, изгибы виолончелей, темные окна, снег.

Хэмпден-колледж, Хэмпден, штат Вермонт. Основан в 1895 году (одно это вызывало удивление — в Плано я не знал ни одного учреждения, основанного ранее 1962 года). Пятьсот студентов. Совместное обучение. Прогрессивная направленность. Профильное направление — гуманитарные науки. Строгий отбор. «Предлагая всесторонний курс изучения гуманитарных дисциплин, наш колледж ставит целью не только обретение студентами прочного профессионального фундамента в выбранной области знаний, но и развитие ими способности свободно ориентироваться во всех направлениях западного искусства, мышления и культуры. Тем самым мы

надеемся снабдить каждого студента не только сухими фактами, но и живым началом всякого истинного знания».

Хэмпден-колледж, Хэмпден, штат Вермонт. Даже в названии присутствовал строгий английский лад, по крайней мере так казалось мне — американцу, безнадежно тосковавшему по Англии и безразличному к мягкому, неясному говору миссионерских городков. Мой взгляд привлекла фотография здания, называвшегося в буклете Палатой общин. Во всех окнах горел слабый свет — ничего подобного я не видел в Плано, не видел нигде и никогда. Этот свет наводил на мысли о пыльных библиотеках, о древних манускриптах, о тишине.

В дверь постучала мать, позвала меня. Я не ответил. Я вырвал из буклета анкету и начал ее заполнять. *Имя: Джон Ричард Пэйпен. Адрес: 4487 Мимоза-корт, Плано, Калифорния. Хотели бы вы получить информацию о системе финансовой помощи?* Да (разумеется). И на следующий же день я опустил конверт в почтовый ящик.

Последующие месяцы были сплошной канцелярской битвой, бесконечной окопной войной, перевеса в которой не могла добиться ни одна из сторон. Отец отказался предоставить сведения о доходах для заявления о финансовой помощи. В конце концов в полном отчаянии я стащил из бардачка его «тойоты» налоговые декларации и заполнил бумаги сам. Вновь ожидание. Потом извещение от председателя приемной комиссии: необходимо пройти собеседование, когда бы я мог вылететь в Вермонт? У меня не было денег на билет в Вермонт, и я прямо ему об этом написал. Очередная пауза, очередное письмо. Колледж соглашался возместить мне дорожные расходы, если будут приняты условия стипендии. Тем временем пришел пакет документов с условиями финансовой помощи. Взнос семьи был больше, чем отец, по его словам, мог себе позволить, и он заявил, что денег не даст. Эта партизанщина тянулась восемь месяцев. Я до сих пор не совсем понимаю весь ход цепи событий, которые привели меня в Хэмпден. Сочувственно настроенные профессора писали письма, для меня делали разного рода исключения, и вот, меньше чем через год с того дня, как, повинувшись внезапному порыву, я лег на лохматый желтый ковер своей комнатухи в Плано и заполнил анкету, я уже стоял на автостанции в Хэмпдене с двумя чемоданами и пятьюдесятью долларами в кармане.

Когда после долгой тревожной ночи, заставшей нас где-то в Иллинойсе, я сошел с автобуса, было шесть часов утра и солнце вставало над горами, освещая березовые рощи и неправдоподобно зеленые луга. Мне никогда не доводилось бывать восточнее Санта-Фе или севернее



Портленда, и, измученный трехдневной дорогой и ночью без сна, я подумал, что оказался в какой-то волшебной стране.

Общежития даже не были похожи на обычные общаги — во всяком случае, на те, которые мне доводилось видеть, со шлакобетонными стенами и унылым желтоватым освещением, — нет, это были белые, обшитые вагонкой дома с зелеными ставнями, стоявшие в окружении ясеней и кленов. Однако я не сомневался, что моя комната, не важно где, обязательно будет мрачной и неприглядной, и потому страшно удивился, когда увидел ее: светлая, с большими, выходящими на север окнами, со скошенным, как в мансарде, потолком и потертыми дубовыми полами, она напоминала строгую монашескую келью. В первый вечер я сидел на кровати, смотрел на серые стены, медленно покрывавшиеся золотом заката, а затем погружавшиеся в черноту, и слушал, как где-то на другом конце коридора невидимое сопрано совершало головокружительные взлеты и падения. Уже совсем стемнело, а сопрано все продолжало возноситься по спирали вверх, словно некий ангел смерти, и я помню, что воздух еще никогда не казался мне таким заоблачным, разреженным и холодным, как в ту ночь, и еще никогда я не чувствовал себя так далеко от раскаленных улочек Плано.

Несколько дней до начала занятий я провел в одиночестве, сидя в своей сверкающей побелкой комнате, гуляя по наполненным светом лугам. И я был счастлив в эти первые дни, счастлив как никогда раньше; шатаюсь повсюду, как лунатик, вне себя от изумления, я был пьян красотой. Стайка розовощеких девушек, играющих в мяч, взлетающие хвостики волос, едва слышные издали смех и крики над бархатистым, накрытым сумерками полем. Яблони, сгибающиеся под тяжестью плодов, красные пятна паданцев в траве, вокруг — сладкий, густой запах прели и ровное жужжание ос. Башня с часами на здании Палаты общин: увитые плющом кирпичи и белый шпиль, застывший в зачарованной дымчатой выси. Потрясение, которое я испытал, в первый раз увидев березу ночью — в темноте она тянулась ввысь, изящная и холодная, как привидение. И сами ночи, не уместившиеся в воображении: черные, ветреные, безбрежные, в исступленном хаосе звезд.

Я собирался вновь записаться на греческий, так как это был единственный иностранный язык, в котором я хоть как-то разбирался. Однако когда я сказал об этом своему учебному куратору (им оказался преподаватель французского Жорж Лафорг; оливковая кожа и узкий нос с большими ноздрями придавали ему забавное сходство с черепахой), он

лишь улыбнулся и сложил вместе кончики пальцев.

— Боюсь, здесь мы сталкиваемся с проблемой, — сказал он с заметным французским акцентом.

— Да? С какой?

— В Хэмпдене всего один учитель древнегреческого, и он предъявляет к своим студентам очень высокие требования.

— Я изучал греческий два года.

— Скорее всего, это не сыграет никакой роли. И потом — если вы решили специализироваться на английской литературе, вам будет нужен какой-нибудь современный язык. Еще есть места в моей группе французского для начинающих, и довольно свободно в группах немецкого и итальянского. Испанский... — он сверился со списком, — практически все испанские группы заполнены, но, если хотите, я мог бы поговорить с мистером Дельгадо.

— Может, вы могли бы поговорить с преподавателем греческого?

— Вряд ли это поможет. Он принимает лишь ограниченное число студентов. Очень ограниченное. Кроме того, на мой взгляд, он производит отбор, руководствуясь принципами скорее личными, чем академическими.

В его голосе слышались нотка сарказма и намек на то, что, если я не против, он предпочел бы сменить тему.

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

На самом деле я думал, что догадываюсь, о чем идет речь, и ответ Лафорга меня удивил.

— Нет-нет, дело не в этом, — сказал он. — Безусловно, он выдающийся ученый и при этом, кстати, весьма обаятельный человек. Но вот его педагогические методы я бы назвал в высшей степени странными. Его подопечные практически не контактируют с другими преподавателями. Мне непонятно, почему его курсы продолжают вноситься в общую программу, — это только сбивает всех с толку. Каждый год из-за этого возникают какие-нибудь недоразумения, потому что, по сути дела, доступ в его группу закрыт. Я слышал, для того чтобы учиться у него, нужно читать «правильные» книги, придерживаться взглядов, схожих с его собственными, и тому подобное. Случалось неоднократно, что он отказывал таким студентам, как вы, — тем, кто раньше уже занимался древними языками. Что касается меня, — он вскинул бровь, — если студент хочет учиться и его уровень соответствует требованиям, я разрешаю посещать мои занятия. Весьма демократично, нет? Такой подход лучше всего.

— И часто здесь такое случается?

— Конечно. Трудные учителя есть в каждом колледже. А в Хэмпдене... — к моему удивлению, он понизил голос, — а в Хэмпдене их масса, и он — далеко не самый тяжелый случай. Но должен попросить вас никому не передавать мои слова.

— Хорошо, не буду, — пообещал я, немного удивленный его внезапной доверительной манерой.

— Нет, правда, крайне важно, чтобы вы хранили молчание. — Он подался вперед и перешел на шепот, едва открывая свой маленький рот. — Я вынужден настаивать. Вероятно, вы и не подозреваете, что некоторые особо влиятельные преподаватели филологического факультета хотят сжить меня со света. Да что там — завистники нашлись даже на моем родном отделении, хотя в это и трудно поверить. Кроме того, — продолжил он уже спокойнее, — с ним особый случай. Он преподает здесь много лет и совершенно бесплатно.

— Почему?

— Он состоятельный человек. Свое жалованье он передает в дар колледжу — впрочем, кажется, принимает один доллар в год из налоговых соображений.

— Вот как...

Хотя я провел в Хэмпдене всего несколько дней, я уже привык к постоянным жалобам администрации на финансовые затруднения, недостаток пожертвований, необходимость все время изворачиваться и экономить.

— Что касается меня, — вновь начал Лафорг, — мне конечно же нравится преподавать, но я женат, и во Франции у меня дочь-школьница, так что деньги тут весьма кстати, правда?

— Знаете, возможно, я все равно поговорю с ним.

Лафорг пожал плечами.

— Можете попробовать, но тогда я советую вам не договариваться с ним о встрече заранее, иначе, вполне вероятно, он вас не примет. Да, зовут его Джулиан Морроу.

До этого разговора я не был уверен, что действительно хочу записаться на греческий, но то, что сказал Лафорг, меня заинтриговало. Я спустился по лестнице и вошел в первый попавшийся кабинет. За столом в приемной ела сэндвич унылая тощая блондинка с жидкими прядями крашенных волос.

— У меня обед, — сразу заявила она. — Приходите в два.

— Извините, я просто хотел узнать, как мне найти преподавателя.

— Я же секретарь, а не справочная. Хотя, может, я и знаю. Кто вам нужен?

— Джулиан Морроу.

— О, даже так... И какое, интересно, у вас к нему дело? Вообще-то он должен быть в Лицее, на втором этаже.

— А номер кабинета не подскажете?

— Он единственный преподаватель там наверху. Обожает покой и тишину. Вы наверняка легко его найдете.

На самом деле найти Лицей оказалось вовсе не просто. Лицеем называлось небольшое старое здание на окраине кампуса, словно нарочно увитое плющом так, что почти сливалось с окружающим пейзажем. На первом этаже располагались лекционные залы и учебные аудитории — чисто вымытые доски, натертые воском полы и ни одной живой души. Я бродил в растерянности, пока не заметил в дальнем углу узкий и плохо освещенный лестничный пролет.

Поднявшись наверх, я оказался в длинном пустом коридоре и пошел вперед, прислушиваясь к уютному шарканью собственных туфель по линолеуму и высматривая надписи на дверях. Наконец на одной из них я заметил маленькую медную рамку, гравированная карточка внутри которой гласила: ДЖУЛИАН МОРРОУ. На секунду я замер, затем постучал — три коротких удара.

Прошла минута, другая, наконец белая дверь чуть приоткрылась, и я увидел обращенное ко мне лицо — небольших пропорций, умное, настороженное и полное сдержанного ожидания, словно знак вопроса. Некоторые черты казались почти что юношескими — высокие, как у эльфов, брови, точеный нос и гладкий подбородок, — однако назвать его обладателя молодым было никак нельзя, особенно глядя на белые как снег волосы. Обычно я довольно точно определяю возраст людей, но сказать, сколько лет этому человеку, я не мог даже приблизительно.

Несколько секунд я просто стоял под озадаченным взглядом его моргающих голубых глаз.

— Чем могу вам помочь?

Его голос звучал рассудительно и ласково — так радушно настроенные взрослые порой разговаривают с детьми.

— Я... э-э, меня зовут Ричард Пэйпен...

Он склонил голову набок и моргнул, напомнив мне дружелюбного воробья с ясными глазами-бусинками.

— ...и я хочу посещать ваши занятия по древнегреческому языку.

Выражение его лица резко изменилось.

— Мне очень жаль. — Как ни странно, его тон заставлял поверить, что ему действительно жаль — даже больше, чем мне. — Ничто не могло бы

доставить мне большего удовольствия, но, боюсь, мест нет. Моя группа уже заполнена.

Что-то в его искреннем на вид сожалении придало мне смелости.

— Наверняка есть какая-нибудь возможность. Еще один студент...

— Мне ужасно жаль, мистер Пэйпен, — он произнес это почти так, как если бы утешал меня в смерти близкого друга, пытаюсь объяснить мне, что, как бы он ни старался, ничего поделать уже нельзя, — но я ограничил себя пятью студентами и даже помыслить не могу о том, чтобы взять еще одного.

— Пять студентов — это не так много.

Он быстро покачал головой, закрыв при этом глаза, словно был просто не в силах вынести мою настойчивость.

— Поверьте, я был бы рад взять вас, но не должен допускать и мысли об этом. Мне очень жаль. Надеюсь, вы извините меня — я сейчас занимаюсь со студентом.

Прошло больше недели. Я приступил к занятиям и нашел работу у доктора Роланда, профессора психологии. Я должен был помогать ему в некоем «исследовании», цель которого так и осталась для меня загадкой. Доктор Роланд был бихевиористом. Этот старикан имел, как правило, неряшливый и отсутствующий вид и большую часть времени бесцельно просиживал в преподавательской. У меня даже появилось несколько друзей — в основном первокурсники, жившие в моем корпусе. Впрочем, слово «друзья» здесь не совсем подходит. Мы сидели за одним столом в столовой, мы здоровались и прощались, но, в сущности, нас связывало лишь то, что больше мы никого здесь не знали (хотя тогда это не слишком-то нас и огорчало). Тех немногих знакомых, которые уже пробыли в Хэмпдене некоторое время, я расспросил о том, что за человек Джулиан Морроу.

Почти все слышали о нем, и я получил множество противоречивых и поразительных сведений. Говорили, что он необыкновенно одаренный человек, что он мошенник, что он даже не окончил колледж, что в сороковые годы он был видным интеллектуалом и дружил с Эзрой Паундом и Томасом Элиотом, что его семья сделала состояние на акциях какого-то преуспевающего банка или, по другой версии, на скупке отчужденной собственности во времена Великой депрессии, что в какую-то из войн он уклонялся от призыва, что у него были связи с Ватиканом, с семьей какого-то низложенного шаха, со сторонниками Франко в Испании... Выяснить достоверность любого из этих утверждений было, разумеется, невозможно,

но чем больше подобных слухов до меня доходило, тем сильнее разгоралось мое любопытство. В конце концов я стал наблюдать за ним и группкой его учеников всякий раз, как замечал их на кампусе. Четверо юношей и одна девушка — издали они не казались какими-то необычными. Однако стоило рассмотреть их поближе, и от них уже было не оторвать глаз — я, по крайней мере, не мог. Люди, подобные им, мне никогда не встречались, и я заранее наделял их множеством ярких черт, встретить которые можно, наверное, лишь у персонажей фильмов и книг.

Двое ребят носили очки, как ни странно, одинаковой формы — маленькие, старомодные очочки в круглой стальной оправе. У того, что покрупнее — а он и вправду был крупным, за метр девяносто, — было прямоугольное лицо, темные волосы и грубоватая бледная кожа. Его можно было бы назвать красивым, будь его черты более подвижными, а глаза за стеклами очков более выразительными и живыми. Он носил темные костюмы английского покроя и всегда появлялся с длинным черным зонтом — зрелище для Хэмпдена, прямо скажем, причудливое. Битники, панки, самодовольные выпускники частных школ — ровным, невозмутимым шагом он шествовал сквозь их толпы со строгой осанкой старой балерины, удивлявшей в человеке его габаритов. «Генри Винтер», — сообщили мне приятели, когда однажды я указал на его черную фигуру вдалеке: сделав изрядный крюк, он обходил стороной кучку колошматящих по бонгам хиппи.

Тот, что пониже — правда, не намного, — был неряшливый, розовощекий, постоянно жевавший жвачку блондин, неизменно пребывавший в приподнятом настроении. Он всегда носил один и тот же пиджак — бесформенное нечто из коричневого твида с протертыми на локтях рукавами, не достававшими ему до запястий, — и ходил, засунув кулаки глубоко в карманы пузырящихся на коленях брюк. Его песочного цвета волосы лежали так, что правый глаз был едва виден из-за длинной пряди, свисавшей поверх очков. Звали его Банни Коркоран (в Банни непостижимым образом превратилось имя Эдмунд). В столовой я часто слышал его громкий и резкий голос, легко различимый в общем шуме.

Третий юноша из этой пятерки выглядел необычнее всех. Элегантный, с острыми выступами локтей и плеч и нервными движениями рук, он был таким худым, что, казалось, вот-вот сломается. Лукавое, белое, как у альбиноса, лицо венчала аккуратная огненная копна самых рыжих волос на свете. Я полагал (ошибочно), что он одевается, как Альфред Дуглас или граф де Монтескью.<sup>[6]</sup> великолепные накрахмаленные рубашки с отложными манжетами, изумительные галстуки, легкое черное пальто,

полы которого вздымались на ходу и придавали ему сходство с королем студенческого бала и Джеком-потрошителем одновременно. Как-то раз я с восхищением заметил у него на носу пенсне. (Позже выяснилось, что оно ненастоящее, в оправу вставлены простые стекла, а зрение у него на порядок лучше моего.) Его звали Фрэнсис Абернати. Дальнейшие расспросы вызвали подозрение у моих знакомых мужского пола, недоумевавших, с чего бы мне интересоваться такой особой.

И наконец, были еще двое, юноша и девушка. Я часто видел их вместе и сначала принял за обыкновенную парочку, но однажды, рассмотрев поближе, догадался, что они брат и сестра. Позже я узнал, что, более того, они — близнецы. Сходство их было удивительным — оба с густыми русыми волосами и лишенными явных признаков пола лицами, такими же ясными, радостными и полнокровными, как лица ангелов на картинах фламандцев. Пожалуй, они так сильно выделялись в Хэмпдене, где кишмя кишели непризнанные гении и начинающие декаденты, а в одежде *de rigueur*<sup>[7]</sup> считался черный цвет, еще и потому, что предпочитали носить светлые, особенно белые, вещи. В удушливом смоге сигарет и мрачных умствований они мелькали то тут, то там, словно аллегорические фигуры из старинной постановки или призраки гостей давным-давно минувшего чаепития в саду. Они были единственными близнецами на кампусе, и узнать их имена было нетрудно: Чарльз и Камилла Маколей.

Все они казались мне абсолютно недоступными. И все же я с интересом наблюдал за ними при всякой возможности: вот Фрэнсис, нагнувшись, беседует с сидящим на ступеньке крыльца котом; вот Генри проносится мимо в маленькой белой машине, на сиденье рядом с ним — Джулиан собственной персоной; вот Банни, высунувшись из окна второго этажа, что-то кричит близнецам на лужайке. Постепенно ко мне просочились еще кое-какие сведения. Фрэнсис Абернати приехал из Бостона и, по слухам, был юношей весьма состоятельным. Генри, как говорили, тоже был не беден, к тому же отличался феноменальными лингвистическими способностями. Он знал несколько языков, древних и современных, и в восемнадцать лет опубликовал комментированный перевод Анакреона. (Мне рассказал об этом Жорж Лафорг; правда, когда мы коснулись этой темы, он стал мрачен и немногословен. Позже я узнал, что на первом курсе Генри поставил его в ужасно неловкое положение перед всем факультетом, когда Лафорг отвечал на вопросы после своей ежегодной лекции по Расину.) Близнецы снимали квартиру в городе и были родом откуда-то с юга. А Банни Коркоран имел обыкновение слушать у себя в комнате марши Джона Филипа Суза — поздно ночью и на полной

громкости.

Все это вовсе не значит, что я был занят исключительно подобными наблюдениями. Я только начал привыкать к колледжу, занятия шли полным ходом, к тому же немало времени у меня отнимала работа. Мой острый интерес к Джулиану Морроу и его греческим ученикам уже начал ослабевать, когда произошло одно удивительное совпадение.

Шла вторая неделя моего пребывания в колледже. В среду утром, перед второй парой, я заглянул в библиотеку, чтобы отксерокопировать кое-что для доктора Роланда. Спустя полчаса, когда у меня уже рябило в глазах, я вернул ключ от ксерокса библиотекарше и пошел к выходу, но тут заметил Банни и близнецов. Они сидели за столом среди хаоса бумаг, перьевых ручек и пузырьков с чернилами. Мне особенно запомнились эти пузырьки — я был буквально очарован ими и еще длинными черными ручками, до ужаса архаичными и неудобными на вид. На Чарльзе был белый теннисный свитер, а на Камилле — летнее платье с матросским воротничком и соломенная шляпка. Банни свой пиджак бросил на спинку стула, и на подкладке всем на обозрение красовалось несколько внушительных пятен и прорех. Сам он сидел в мятой рубашке, закатав рукава и водрузив локти на стол. Все трое разговаривали вполголоса, сдвинув головы.

Внезапно мне захотелось узнать, о чем они говорят. Я направился к книжной полке позади их столика медленным, неуверенным шагом, словно бы не зная толком, что мне нужно, подбираясь все ближе и ближе, пока не подошел к ним почти вплотную, так, что мог бы тронуть Банни за плечо. Повернувшись к ним спиной, я взял с полки первую попавшуюся книгу — какой-то нелепый сборник работ по социологии — и сделал вид, что изучаю указатель. Ресоциализация. Респонденты. Референтные группы. Рефлексия.

— Я не уверена, — услышал я голос Камиллы. — Если греки плывут к Карфагену, то здесь должен быть винуительный. Помните? Отвечает на вопрос «куда?». Так по правилу.

— Не годится.

Это был Банни. Он говорил, растягивая слова и слегка гнусавя, — У. К. Филдс с особо тяжелым случаем лонг-айлендской манеры цедить сквозь зубы.

— Здесь не вопрос «куда?», а вопрос «где?». Ставлю на аблатив.

Озадаченное молчание и шелест страниц.

— Стоп, — сказал Чарльз; его голос, хрипловатый и слегка южный, был очень похож на голос сестры. — Смотрите, они не просто плывут к



Карфагену, они плывут его штурмовать.

— Ты с ума сошел.

— Нет, так и есть. Посмотрите на следующее предложение. Здесь нужен дательный.

— Ты уверен?

Опять шелест страниц.

— Абсолютно. Epi tō Karchidona.

— Ничего не получится, — авторитетно заявил Банни. Судя по голосу, можно было подумать, что у меня за спиной сидит Терстон Хауэлл из «Острова Джиллигана». — Аблатив — то, что доктор прописал. Обычное дело — если не можешь определить падеж, значит, это аблатив.

Секундная пауза.

— Банни, что ты вообще несешь? — вздохнул Чарльз. — Аблатив — латинский падеж.

— Ну разумеется, я в курсе, — раздраженно ответил Банни после некоторого замешательства, говорившего скорее об обратном. — Ты же понял, о чем я. Аорист, аблатив — один черт, честное слово...

— Нет, Чарльз, — вмешалась Камилла, — дательный здесь не подходит.

— Говорю тебе, подходит. Они ведь плывут, чтобы штурмовать город, так?

— Да, но ведь греки плыли через море и к Карфагену.

— Но я же поставил впереди еpi!

— Ну да — вполне можно употребить еpi, если мы штурмуем город, но по первому правилу здесь нужен винительный падеж.

Самость. Самосознание. Сегрегация. Я уткнулся в указатель и принялся ломать голову над нужным падежом. Греки плывут через море к Карфагену. К Карфагену. Вопрос «куда?». Вопрос «откуда?». Карфаген.

Вдруг меня осенило. Я закрыл книгу, поставил ее на полку, повернулся к их столику:

— Прошу прощения.

Они сразу же прервали разговор и, подняв головы, изумленно уставились на меня.

— Извините, но, может быть, подойдет местный падеж?

Некоторое время все молчали.

— Местный падеж? — удивился Чарльз.

— Просто подставьте к Karchido ze, — продолжил я как можно более уверенным тоном. — По-моему, это ze. Тогда вам не понадобится предлог — кроме еpi, конечно, если они отправились на войну. Ze

подразумевает «по направлению к», так что и насчет падежа можно не волноваться.

Чарльз посмотрел в свои записи, вновь на меня.

— Местный? Звучит как-то сомнительно.

— Ты когда-нибудь встречал Карфаген в этом падеже? — спросила Камилла.

Об этом я не подумал.

— Вообще-то нет. Но мне точно встречались Афины.

Чарльз пододвинул к себе словарь и принялся его листать.

— А, черт, да не возись ты, — махнул рукой Банни. — Если не надо ничего склонять и можно обойтись без предлога, то, по-моему, лучше просто не бывает. — Он откинулся на спинку стула и взглянул на меня. — Позволь, я пожму твою руку, незнакомец.

Я протянул ему руку. Крепко сжав, он потряс ее, едва не опрокинув локтем пузырек с чернилами.

— Рад познакомиться, очень-очень рад, — заверил он меня, свободной рукой откидывая волосы со лба.

Эта внезапная вспышка внимания смутила меня. Все было так, словно бы со мной вдруг заговорили персонажи любимой картины, только что погруженные в собственные мысли и заботы на холсте. Не далее как вчера в коридоре колледжа на меня чуть не налетел Фрэнсис, пронесшись мимо в облаке черного кашемира и табачного дыма. На какой-то миг, когда его плечо коснулось меня, он превратился в существо из плоти и крови, но уже секунду спустя снова стал плодом воображения, галлюцинацией, скользящей по коридору, — так же безучастен ко мне, как, говорят, призраки, поглощенные своими потусторонними делами, безучастны к миру живых.

Все еще листая словарь, Чарльз встал и протянул мне руку:

— Чарльз Маколей.

— Ричард Пэйпен.

— А, так это ты, — вдруг сказала Камилла.

— Что?

— Ведь это ты заходил узнать насчет занятий?

— Это моя сестра, — сказал Чарльз, — а это... Бан, ты уже представился?

— Нет-нет, кажется, нет. Вы просто осчастливили меня, сэр. У нас еще десяток таких предложений и пять минут на все про все, — сообщил Банни и вновь схватил мою руку: — Эдмунд Коркоран.

— Ты долго занимался греческим? — спросила Камилла.

— Два года.

— Кажется, ты неплохо знаешь его.

— Жаль, что ты не в нашей группе, — сказал Банни.

Неловкое молчание.

— Э-э, Джулиан немного странно относится к таким вещам, — замявшись, сказал Чарльз.

— Слушай, а сходи-ка ты к нему еще раз, — оживился Банни. — Принеси ему цветочков, скажи, что ты без ума от Платона, и потом можешь смело вить из него веревки.

Опять молчание, на этот раз совсем уж неодобрительное.

Камилла улыбнулась, но словно бы и не мне — очаровательная, равнодушная улыбка в пространство, как будто я был официантом или продавцом. Чарльз тоже улыбнулся — вежливо, слегка вскинув брови. Это легкое движение бровей могло быть произвольным, могло, по правде говоря, означать все что угодно, но я увидел в нем только одно: «Надеюсь, это все?»

Я что-то промямлил, собираясь повернуться и уйти, но в этот момент Банни, сидевший лицом к входу, резким движением ухватил меня за запястье:

— Постой.

Я оторопело поднял глаза. От дверей библиотеки к нам направлялся Генри — темный костюм, зонт, все как обычно. Подойдя к столу, он сделал вид, что не замечает меня.

— Привет, — обратился он к остальным. — Вы закончили?

Банни кивнул в мою сторону.

— Слушай, Генри, мы тут кое-кого хотели с тобой познакомить.

Генри мельком взглянул на меня. Выражение его лица несколько не изменилось, он только на секунду зажмурился, словно появление в его поле зрения человека вроде меня было чем-то немыслимым.

— Да-да, — продолжил Банни. — Этого молодого человека зовут Ричард... Ричард — как там?

— Пэйпен.

— Ну да, Ричард Пэйпен. Изучает греческий.

Чуть приподняв подбородок, Генри смерил меня взглядом:

— Очевидно, не здесь.

— Не здесь, — подтвердил я, стараясь смотреть ему в лицо, но его взгляд был таким откровенно уничижительным, что мне пришлось отвести глаза.

— А, Генри, взгляни-ка вот на это, — спохватился Чарльз, вновь

погрузившись в ворох своих бумаг. — Мы хотели поставить здесь дательный или винительный, но он посоветовал нам местный.

Генри склонился над его плечом, изучая страницу.

— Хм, архаичный локатив, — сказал он. — Весьма в духе Гомера. Конечно, грамматически это верно, но, возможно, несколько выпадает из контекста.

Он выпрямился и повернулся ко мне. Свет падал под таким углом, что за стеклами очков мне было совсем не видно его глаз.

— Очень интересно. Ты специализируешься на Гомере?

Я хотел было ответить «да», но почувствовал, что он будет только рад уличить меня во лжи, а главное, сможет сделать это без особого труда.

— Мне нравится Гомер, — только и выдавил я из себя.

Это замечание было встречено холодным презрением.

— Я обожаю Гомера, — сухо произнес Генри. — Разумеется, мы изучаем несколько более поздние вещи: Платона, трагиков и так далее.

Пока я лихорадочно соображал, что бы мне ответить, Генри уже отвернулся, утратив ко мне всякий интерес.

— Нам пора идти, — сказал он.

Чарльз собрал бумаги и поднялся из-за стола: встала и Камилла и на этот раз тоже подала мне руку. Когда они стояли вот так, бок о бок, их сходство было особенно разительным. Проявлялось оно, впрочем, не столько в чертах лица, сколько в мимике и манере держаться. Между ними словно бы существовала тайная связь, по каналам которой передавались жесты и движения — стоило одному из них моргнуть, и через пару секунд, как беззвучное эхо, падали и взлетали ресницы другого. Их умные, спокойные глаза были одного и того же оттенка серого. Мне подумалось, что она очень красива — тревожной, почти средневековой красотой, уловить которую не смог бы глаз случайного наблюдателя.

Банни с шумом отодвинул стул и хлопнул меня по спине:

— Ладно, милейший, надо будет нам как-нибудь еще встретиться и поболтать о греческом, да?

— До свидания, — кивнул Генри.

— До свидания, — отозвался я.

Все пятеро не торопясь двинулись к выходу, а мне оставалось лишь стоять и смотреть, как они широкой фалангой покидают библиотеку.

Когда пару минут спустя я зашел в офис доктора Роланда, чтобы оставить ксерокопии, то спросил его, не мог бы он выдать мне аванс.

Он медленно откинулся на спинку кресла и навел на меня окуляры

слезящихся, с покрасневшими веками глаз.

— Э-э, видишь ли, — сказал он, — в течение последних десяти лет я взял себе за правило этого не делать. И позволь, я объясню тебе почему.

— Я понимаю, сэр, — поспешно вставил я — лекции доктора Роланда на тему его «правил» порой могли длиться полчаса, а то и больше. — Я прекрасно понимаю. Просто это непредвиденные обстоятельства.

Он подался вперед и откашлялся.

— И что же это, интересно, за обстоятельства?

Его сложенные на столе руки оплетали вздувшиеся вены, и кожа вокруг костяшек отливала синюшным перламутром. Я уставился на них, будто видел впервые. Мне было нужно десять — двадцать долларов, нужно позарез, и я открыл рот, совершенно не подумав о том, что буду говорить.

— Да так... У меня возникла одна проблема.

Он выразительно нахмурил брови. Кое-кто из студентов говорил, что доктор Роланд лишь притворяется без пяти минут маразматиком. Я не видел в его поведении ни капли притворства, но порой, стоило утратить бдительность, он раздражался неожиданной вспышкой здравомыслия, и, хотя зачастую эта вспышка не имела никакого отношения к теме разговора, она все же служила неоспоримым доказательством того, что где-то в илистых глубинах его сознания мыслительный процесс еще вел борьбу за существование.

— Все дело в моей машине, — вдруг озарило меня (никакой машины у меня не было). — Мне нужно отвезти ее в ремонт.

Я не ожидал дальнейших расспросов, но он, напротив, заметно приободрился:

— Что с ней стряслось?

— Что-то с коробкой передач.

— Двухступенчатая? С воздушным охлаждением?

— С воздушным охлаждением, — ответил я, переминаясь с ноги на ногу. Такой поворот разговора мне совсем не нравился. Я ровным счетом ничего не понимаю в машинах и не смог бы даже поменять колесо.

— А что у тебя? Небось одна из этих моделек с шестью цилиндрами?

— Да.

— И дались же вам всем, ребята, эти недомерки. Свое чадо я ни к чему, где меньше восьми цилиндров, и не подпустил бы.

Я просто не знал, что на это ответить.

Он выдвинул ящик стола и начал выуживать все подряд, поднося каждую вещь вплотную к глазам и опуская затем обратно.

— Если полетела коробка передач, то, скажу по опыту, машине конец.

Тем более если на ней стоит «V6». Лучше сразу отправить ее на свалку. Вот у меня «98-ридженси-брафэм», машине десять лет. Так я регулярно показываю ее механику, меняю фильтр через каждые две с половиной тысячи километров и через каждые пять — масло. Бегаёт, как в сказке. Будешь в городе, смотри, поосторожней с этими мастерскими, — выдал он неожиданно суровым тоном.

— Простите?

Он наконец нашел свою чековую книжку и принялся что-то усердно в ней выписывать.

— Конечно, надо было бы сначала отправить тебя в финансовый отдел, но, думаю, можно обойтись и без этого. В Хэмпдене есть паратройка таких мест... Если узнают, что ты из колледжа, сразу же заломят двойную цену. «Ридимд рипэйр» в общем-то лучше остальных — они там все возрожденные христиане, но все равно смотри в оба, иначе обдерут тебя как липку.

Он вырвал чек и протянул его мне. Я взглянул на сумму, и сердце мое подпрыгнуло. Двести долларов. Внизу его подпись, все как полагается.

— И смотри не давай им ни цента больше.

— Ни в коем случае, сэр, — пообещал я, едва сдерживая радость.

Что же я буду делать с такой кучей денег? Может, он даже забудет, что дал их мне?

Он сдвинул очки на нос и посмотрел на меня поверх стекол.

— Так, значит, понял? «Ридимд рипэйр», за городом, на шестом шоссе. Знак в виде креста.

— Спасибо вам.

Я шел по коридору в самом радужном настроении, в кармане лежало двести долларов, и первое, что я сделал, — спустился к телефону и вызвал такси, чтобы поехать в Хэмпден-таун. Если я что-то и умею, так это врать на ходу. Тут у меня своего рода талант.

И как же я провел время в Хэмпден-тауне? Честно говоря, я был слишком потрясен своей удачей, чтобы провести его с толком. День был восхитительным, мне ужасно надоело безденежье, и поэтому, не успев подумать как следует, я первым делом зашел в дорогой магазин мужской одежды на площади и купил пару рубашек. Потом заглянул в лавку Армии спасения и, порывшись в корзинах, отыскал твидовое пальто и коричневые туфли, которые пришлись мне впору, а в придачу к этому запонки и забавный старый галстук с изображением охоты на оленя. Когда я вышел на улицу, то с облегчением обнаружил, что у меня осталось еще около ста

долларов. Зайти в книжный? Пойти в кино? Купить бутылку виски? Ласково улыбаясь и что-то щебеча, меня окружила целая стая возможностей, и я стоял, пригвожденный к залитому ясным сентябрьским светом тротуару, пока от этого хоровода удовольствий у меня не начало рябить в глазах. Тогда, словно парень из глубинки, смущенный игривыми взглядами проституток, я метнулся к телефонной будке, разорвав их пестрый круг, и набрал номер такси, чтобы поскорее вернуться в колледж.

Оказавшись у себя в комнате, я разложил покупки на кровати. На запонках были царапины и чьи-то инициалы, но зато они выглядели как настоящее золото и матово поблескивали в ленивых лучах осеннего солнца, собиравшихся в желтые лужи на дубовых досках пола, — роскошно, густо, пьяняще.

Я испытал ощущение дежа-вю, когда на следующий день Джулиан возник передо мной точь-в-точь как в первый раз, осторожно выглядывая из-за чуть приоткрытой двери, как будто за нею скрывалось что-то нуждавшееся в усиленной охране, нечто совершенно необыкновенное, что он всеми силами старался оградить от посторонних взглядов. В последующие месяцы это чувство посещало меня не раз. Даже сейчас, по прошествии лет, на другом конце страны, я порой вижу во сне, как стою перед белой дверью и жду, что вот-вот, словно страж сказочных врат, появится он — неподвластный времени, с бдительным взглядом и лукавой улыбкой ребенка.

Увидев, что это я, он отворил дверь несколько шире, чем во время моего первого визита.

— Снова мистер Пипин, если не ошибаюсь?

Я не стал поправлять его.

— Боюсь, что да.

На секунду он сосредоточил на мне взгляд.

— Знаете, у вас замечательная фамилия. Было несколько французских королей по имени Пипин.

— Вы сейчас заняты?

— У меня всегда найдется свободная минутка для наследника французского престола, если только вы действительно им являетесь, — произнес он шутливым тоном.

— Боюсь, что нет.

Он рассмеялся и процитировал коротенькую греческую эпиграмму о том, что честность — опасная добродетель, а затем, к моему удивлению, распахнул дверь и пригласил меня войти.

Комната, в которой я оказался, вовсе не походила на кабинет преподавателя. Полная воздуха и света, с белыми стенами и высоким потолком, она была гораздо больше, чем казалось снаружи. В открытые окна врывался ветерок и играл с накрахмаленными занавесками. В углу, у низкой книжной полки, стоял большой круглый стол, на котором фарфоровые чайники соседствовали с греческими книгами, и повсюду — на этом столе, на подоконниках, на письменном столе Джулиана — были цветы: розы, гвоздики, анемоны. Особенно сильно пахли розы. Их густой запах висел в воздухе, смешиваясь с ароматами бергамота, черного китайского чая и слабым запахом не то чернил, не то камфары. От глубокого вдоха у меня слегка закружилась голова. Куда бы я ни посмотрел, взгляд обязательно выхватывал что-нибудь красивое: восточные коврики, фарфор, похожие на драгоценные камни миниатюры — ослепительный блеск дробящегося цвета. Мне показалось, будто я очутился в одной из тех византийских церквушек с неказистым фасадом, внутреннее убранство которых подобно тончайшей скорлупе из позолоты и смальты, сверкающей подлинными красками рая.

Он сел в кресло у окна и указал мне на стул.

— Полагаю, вы пришли по поводу занятий греческим.

— Да.

Его глаза были скорее серыми, чем голубыми, взгляд был открыт и мягок.

— И вас не смущает, что не за горами середина семестра?

— Я хотел бы продолжить изучение греческого. По-моему, стыдно бросать его после двух лет.

Он поднял брови — высоко и чуть насмешливо — и мельком взглянул на свои сложенные ладони.

— Мне говорили, что вы из Калифорнии.

— Да, я оттуда, — слегка опешив, ответил я.

Кто мог ему об этом сказать?

— У меня мало знакомых с Запада, — сказал он. — Не думаю, что мне там понравилось бы. — Он задумчиво помолчал, словно потревоженный каким-то смутным воспоминанием. — И чем же вы занимаетесь в Калифорнии?

Я выложил ему свою байку. Апельсиновые рощи, угасшие кинозвезды, вечерние коктейли у кромки подсвеченного бассейна, сигареты, сплин. Он слушал, глядя мне в глаза, казалось, совершенно очарованный моими фальшивыми воспоминаниями. Еще никогда мои старания не встречали такого искреннего интереса и живого внимания. У него был настолько



завороженный вид, что я поддался искушению и присочинил несколько больше, чем позволяло благоразумие.

— Это так пленительно, — произнес он с теплотой в голосе, когда в состоянии, близком к эйфории, я наконец выдохся. — Так необычайно романтично.

От столь небывалого успеха меня бросило в жар.

— Ну, для нас в этом нет ничего необычного, вы же понимаете, — сказал я, стараясь подавить волнение.

— И что же человек со столь романтическим складом характера ищет в занятиях классической филологией? — спросил он так, будто, поймав по счастливой случайности такую редкую птицу, как я, просто не мог отпустить меня, не услышав ответа.

— Если под романтикой вы понимаете одиночество и самосозерцание, то, на мой взгляд, именно романтики часто оказываются лучшими филологами-классиками, — как мог, извернулся я.

Джулиан рассмеялся.

— Как раз неудавшиеся филологи-классики зачастую становятся великими романтиками. Впрочем, согласитесь, это не имеет отношения к делу. Как вам Хэмпден? Вам здесь нравится?

Я представил довольно пространную экзегезу на тему соответствия колледжа моим нынешним устремлениям.

— Многие молодые люди находят сельскую местность скучной, — заметил он. — И тем не менее пребывание здесь для них далеко не бесполезно. Вы много путешествовали? Расскажите мне о том, что вас сюда привело. Мне показалось, что такого юношу, как вы, расставание с городом способно повергнуть в замешательство. Хотя, возможно, городская жизнь уже успела вас утомить, я не ошибся?

С обезоруживающим обаянием и мастерством он ловко переводил меня с одной темы на другую, и я уверен, что из нашей беседы, длившейся по ощущению несколько минут, но на деле гораздо дольше, он смог извлечь все, что только хотел обо мне знать. Мне и в голову не приходило, что источником его острого интереса могло быть что-то более прозаичное, чем глубочайшее удовольствие от общения со мной. Хотя в какой-то момент я поймал себя на том, что с увлечением разглагольствую о великом множестве материй, в том числе сугубо личных, а моя искренность переходит обычные границы, я был убежден, что сообщаю все это ему по собственной воле. Жаль, что я не запомнил весь наш разговор — вернее, я, конечно, мог бы воспроизвести многое из того, что наговорил, но по большей части это был такой вздор, что вспоминать о нем мне просто-

напросто неприятно. Он возразил мне лишь один раз (не считая скептически выгнутой брови в ответ на упоминание о Пикассо; узнав Джулиана чуть ближе, я понял, что это имя прозвучало для него едва ли не личным оскорблением), когда я завел речь о психологии — предмете, о котором не мог не думать хотя бы из-за работы у доктора Роланда.

— Скажите, вы действительно считаете, что психологию можно назвать наукой? — спросил он с озабоченным видом.

— Безусловно. А что же это еще?

— Но ведь еще Платон говорил, что социальное положение, условия быта и тому подобное оказывают на личность необратимое воздействие. Мне кажется, что психология — это лишь еще одно слово для обозначения того, что древние называли судьбой.

— Психология конечно же ужасное слово.

— О да, действительно ужасное, — поддержал он меня, при этом на лице у него читалось, что, просто коснувшись этой темы, я опустил до безвкусицы. — Возможно, в каком-то смысле рассуждения об определенном складе ума оказываются небесполезны. Сельские жители, обитающие со мной по соседству, очаровательны, ибо жизнь их так неразрывно связана с судьбой, что может служить подлинным примером предопределенности. Впрочем, — рассмеялся он, — боюсь, что и мои студенты не вызывают у меня особого интереса, поскольку я могу с точностью предсказать каждый их шаг.

Я был восхищен его манерой вести беседу. Она казалась современной и путаной (на мой взгляд, одна из характерных особенностей человека нашего времени — это страсть уходить в сторону от темы), однако сейчас я понимаю, что, искусно плетя свою речь, он вновь и вновь подводил меня к одним и тем же моментам нашего разговора. Ведь в отличие от современного ума, прихотливого и непоследовательного, античный ум целенаправлен, решителен и неумолим. Подобное мышление не часто встретишь в наши дни. И хотя я могу перескакивать с одного на другое не хуже остальных, я постоянно испытываю навязчивое желание вернуться к сути проблемы.

Через некоторое время беседа иссякла. После короткой паузы Джулиан учтиво произнес:

— Думаю, я был бы рад видеть вас среди моих учеников, мистер Пэйпен.

Я задумчиво смотрел в окно, уже не помня толком, зачем сюда пришел, и, услышав эти слова, изумленно уставился на Джулиана, не зная, что ответить.

— Впрочем, есть несколько условий, на которые вы должны согласиться, прежде чем примете мое предложение.

— Что за условия? — спросил я, внезапно насторожившись.

— Завтра вам нужно будет зайти в регистрационный отдел и подать заявление о смене куратора.

Он потянулся за ручкой. Машинально проследив за его рукой, я не поверил глазам. Стаканчик был набит авторучками «монблан», серии «майстерштюк» — их было как минимум полдюжины. Быстро написав записку, он протянул ее мне:

— Не потеряйте. Регистраторы записывают ко мне студентов только по моему личному запросу.

Его уверенный почерк, с буквой «е» на греческий манер, напоминал манеру письма, принятую в девятнадцатом веке. Чернила еще не высохли.

— Э-э, но у меня уже есть куратор.

— Видите ли, я принимаю ученика только вместе с правом его курировать. Остальные преподаватели не согласны с моими методами, и, если какое-либо третье лицо будет уполномочено налагать вето на мои решения, вы столкнетесь с множеством проблем. Вам также будет необходимо заполнить формы, касающиеся смены предметов. Думаю, вам следует отказаться от всего, кроме французского, — его вам лучше оставить. Вам явно не хватает знания современных языков.

Я остолбенел.

— Я не могу отказаться от всех предметов.

— Отчего же?

— Регистрация давно закончена.

— Это ровным счетом ничего не значит, — невозмутимо сказал Джулиан. — Новые предметы, которые вы внесете в свой учебный план, буду преподавать вам я. Скорее всего, мы с вами остановимся на трех-четырех предметах в семестр вплоть до вашего выпуска.

Я озадаченно посмотрел на него. Неудивительно, что у него лишь пятеро студентов.

— Разве это возможно? — спросил я.

Он усмехнулся.

— Боюсь, вы еще плохо знакомы с порядками Хэмпден-колледжа. Администрация, конечно, это не приветствует, но поделаться ничего не может. Время от времени они поднимают шум вокруг распределения предметов, но серьезных проблем еще ни разу не возникало. Мы изучаем искусство, историю, философию и многое другое. Если в той или иной области у вас обнаружатся пробелы, вам придется посещать

дополнительные занятия, не исключено, что и у другого преподавателя. Поскольку французский — не мой родной язык, я считаю разумным, чтобы вы изучали его у мистера Лафорга. В следующем году я начну заниматься с вами латынью. Язык этот труден, но знание греческого будет вам хорошим подспорьем. Совершеннейший из языков — латынь. Уверен, занятия ею доставят вам истинное удовольствие.

Его тон слегка меня задевал. Выполнить эти требования означало быть окончательно и бесповоротно переведенным из Хэмпден-колледжа в его маленькую Академию древнегреческого языка — пять студентов, я шестой.

— Вы будете вести у меня все предметы?

— Ну, не то чтобы все, — ответил он серьезным тоном, но тут же рассмеялся, увидев выражение моего лица. — На мой взгляд, избыток учителей разлагает и губит молодые умы. Точно так же я считаю, что глубокое знакомство с одной книгой лучше, чем поверхностное с сотней. Я знаю, современники едва ли со мной согласятся, но все же вспомните — у Платона был всего один учитель, равно как и у Александра.

Я в нерешительности кивнул, подыскивая тактичный путь к отступлению, но тут наши взгляды встретились, и я вдруг подумал: «А почему бы нет?» Сила его личности уже слегка подточила мое здравомыслие, да и само предложение привлекало своим экстремизмом. Его студенты, если только по ним можно было судить о том, что за учитель Джулиан, производили весьма сильное впечатление. При множестве различий все они обладали некой холодной отстраненностью, жестким, отточенным шармом, в котором не было абсолютно ничего от современности, но, напротив, чувствовалось дыхание давно ушедшего мира. Они были восхитительными созданиями — их движения, их лица, весь их облик. Они мне нравились и вызвали у меня зависть, но я понимал, что эти странные качества вовсе не даны им от природы, а достигнуты кропотливыми усилиями. (Позже я обнаружил то же самое у Джулиана. Хотя он, напротив, казался естественным и открытым, непосредственность была здесь ни при чем — впечатление безыскусности создавалось благодаря высочайшему искусству.) Как бы то ни было, я хотел быть таким, как они. У меня захватывало дух при мысли о том, что это возможно и что занятия у Джулиана могут мне в этом помочь. Как далеко все это было от Плано и отцовской бензоколонки!

— А если я буду посещать ваши занятия, все они будут на греческом?

Он вновь рассмеялся.

— Разумеется, нет. Мы изучаем Данте, Вергилия, множество других авторов. Впрочем, вам вряд ли понадобится «Прощай, Колумб»<sup>[8]</sup> — (эта

книга уже много лет значилась в программе по английскому для первого курса), — если вы простите мне эту маленькую вульгарность.

Лафорг встревожился, когда я сообщил ему о своих планах.

— Все это очень серьезно, — сказал он. — Вы осознаете, что тем самым теряете практически всякую связь с остальным факультетом, да и со всем колледжем?

— Он хороший учитель, — ответил я.

— Даже очень хороший учитель не стоит таких жертв. К тому же учтите, если у вас с ним, чего доброго, возникнут трения или он обойдется с вами несправедливо, решительно никто из администрации не сможет вам помочь. Простите, но я не вижу смысла платить тридцать тысяч долларов за занятия с одним-единственным преподавателем.

Мне пришло в голову, что с этим вопросом следовало бы обратиться в Дарственный фонд Хэмпден-колледжа, но я оставил эту мысль при себе.

— Надеюсь, вы меня извините, — продолжил Лафорг, — но мне казалось, что его аристократические взгляды должны были бы вас оттолкнуть. Честно говоря, я в первый раз слышу, что он берет студента, который почти полностью зависит от финансовой помощи. Хэмпден-колледж, как демократическое заведение, основывается на иных принципах.

— По-моему, он не такой уж и аристократ, раз согласился взять меня.

Он не уловил моего сарказма.

— Я склонен предполагать, что он просто не догадывается о том, кто платит за ваше обучение, — произнес он серьезным тоном.

— Ну и ладно, если он не знает, я ему говорить не собираюсь.

Джулиан проводил занятия у себя в кабинете. Его маленькая группа легко там размещалась, а, кроме того, в кабинете было спокойно и уютно, как ни в одной из аудиторий колледжа. Его теория гласила, что обучение лучше проходит в приятной, неформальной обстановке, и превращенный в роскошную оранжерею кабинет, полный цветов в середине зимы, был воплощением его представлений об идеальном учебном помещении, чем-то вроде платоновского микрокосма. («Работа? — крайне удивился он, когда однажды я отозвался так о наших занятиях. — Вы действительно считаете, что это работа? — А что же еще? — Лично я назвал бы все это великолепнейшей *игрой*».)

Идя на первое занятие, я увидел Фрэнсиса Абернати. Черной птицей он шагал через луг, и полы его пальто, точно крылья, угрюмо хлопали на

ветру. Он курил и, казалось, совершенно не обращал ни на что внимания, однако мысль о том, что он может меня заметить, наполнила меня необъяснимым беспокойством. Я нырнул в подъезд и подождал, пока он не пройдет мимо.

Я опешил, когда, поднявшись на лестничную площадку Лицея, увидел его сидящим на подоконнике. Едва взглянув на него, я быстро отвел глаза и уже почти свернул в коридор, как вдруг он окликнул меня:

— Постой.

Бостонский, почти британский акцент, голос ровный, тон слегка надменный. Я обернулся.

— Так это ты новый peanias? — насмешливо спросил он.

Новый юноша. Я ответил, что да, это я.

— Cubitum eamus?<sup>[9]</sup>

— Что?

— Ничего.

Он переложил сигарету в левую руку и подал правую мне. Ладонь у него была костлявой, с нежной, как у девушки, кожей.

Представиться он не потрудился. После нескольких секунд неловкого молчания я назвал свое имя.

Он сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурок в распахнутое окно.

— Я знаю, как тебя зовут.

Генри и Банни уже были в кабинете. Генри читал, а Банни, перегнувшись через стол, что-то громко и с жаром ему втолковывал:

— ...безвкусица, вот что это такое, старина. Я разочарован. Думал, в плане savoir faire<sup>[10]</sup> у тебя все-таки получше, извини, конечно, за прямоту...

— Доброе утро, — сказал Фрэнсис, входя вслед за мной и закрывая дверь.

Мельком взглянув на нас, Генри кивнул и снова уткнулся в книгу.

— О, кто к нам пожаловал, — бросил мне Банни и сразу переключился на Фрэнсиса: — Ты в курсе? Генри купил себе «монблан».

— Да, и что?

Банни кивнул на стол Джулиана, где стоял стаканчик с черными глянцевыми ручками:

— Я уже сказал, чтоб он был поосторожней, а то Джулиан подумает, что он ее украл.

— Он был со мной, когда я ее покупал, — сказал Генри, не отрываясь

от книги.

— А кстати, сколько такие стоят? — спросил Банни.

Ни слова в ответ.

— Нет, ну сколько? Триста баксов штука? — Он навалился на стол всем своим внушительным весом. — Помнится, ты говорил, что они просто безобразны. Говорил, что в жизни не будешь писать ничем, кроме обычной перьевой ручки. Было дело?

Молчание.

— Дай-ка я взгляну еще разок.

Опустив книгу, Генри полез в нагрудный карман, достал ручку и положил ее на стол. Банни повертел ее в руках:

— Похоже на те толстые карандаши, которыми я писал в первом классе. Это ведь Джулиан присоветовал тебе купить ее?

— Я хотел купить авторучку.

— И вовсе не поэтому ты купил именно «монблан».

— Мне надоел этот разговор.

— По мне, это просто безвкусица.

— Не тебе рассуждать о вкусе, — отрезал Генри.

Воцарилась тишина. Банни соскользнул обратно на стул.

— Ну-ка, давайте посмотрим, кто у нас чем пишет? — объявил он, приглашая всех к обсуждению этого вопроса. — Франсуа, ты ведь, как и я, приверженец простого пера и чернильницы, правда?

— Более-менее.

Он указал на меня жестом ведущего ток-шоу:

— А ты, как тебя там, Роберт? Какими ручками тебя учили писать в Калифорнии?

— Шариковыми, — ответил я.

Банни со вздохом кивнул, едва не коснувшись груди подбородком:

— Перед нами честный человек, джентльмены. Его пристрастия просты. Одним махом все карты на стол. Мне это нравится.

Дверь распахнулась, и вошли близнецы.

— По какому поводу столько крика, Бан? — со смехом воскликнул Чарльз, закрыв дверь ногой. — Тебя слышно на весь коридор.

Банни пустился в пересказ истории с «Монбланом». Чувствуя себя крайне неловко, я забился в угол и принялся разглядывать корешки книг в шкафу.

— Как долго ты изучал античную филологию? — раздался голос у моего локтя.

Это был Генри. Он повернулся на стуле и теперь смотрел на меня.

— Два года, — ответил я.  
— Что ты читал на греческом?  
— Новый Завет.  
— Ну разумеется, ты знаком с койне, <sup>[11]</sup> — раздраженно бросил он. —  
Что еще? Само собой, Гомера. И лириков.

Лирики, я слышал, были коньком Генри. Врать я не рискнул:

— Немного.  
— И Платона.  
— Да.  
— Всего Платона?  
— Кое-что из него.  
— Но всего Платона в переводе.

Я замешкался — чуть дольше положенного. Он недоверчиво посмотрел на меня:

— Нет?

Я спрятал руки в карманы своего нового пальто.

— Большую часть, — сказал я, что было далеко от действительности.  
— Что насчет александрийских неоплатоников? Плотина?  
— Да, — соврал я (я и по сей день не прочел ни строчки из Плотина).  
— Какие трактаты?

К несчастью, в голове у меня воцарилась абсолютная пустота. Что написал Плотин? Кажется, что-то на Э... <sup>[12]</sup> «Эклоги»? Нет, черт побери, это Вергилий.

— Вообще-то Плотин мне не очень интересен.

— Да? Почему же?

Он задавал вопросы, как следователь на дознании. Я едва ли не с тоской подумал о предмете, который шел у меня в это время раньше: «Основы драматического искусства» у мистера Лэйнина, добрейшей души человека. Лежа на полу, мы должны были пытаться достичь «полной релаксации», а он расхаживал между нами и выдавал фразы вроде «А теперь представьте, что ваше тело наполняется прохладной оранжевой жидкостью».

Очевидно, я слишком затянул с ответом на вопрос о Плотине. Генри что-то быстро сказал по-латыни.

— Прошу прощения?

Он холодно взглянул на меня.

— Ничего особенного, — обронил он и вновь ссутулился над книгой.

— Ну что, теперь счастлив? — услышал я голос Банни. — Уделал его



по полной программе, ага?

Я отвернулся к полке, чтобы скрыть смятение.

К моему огромному облегчению, ко мне подошел поздороваться Чарльз. Он был спокоен и дружелюбен, однако едва мы обменялись приветствиями, как отворилась дверь и все затихли. На пороге появился Джулиан.

— Доброе утро, — сказал он, осторожно прикрыв дверь. — Вы уже познакомились с нашим новым студентом?

— Да, — ответил Фрэнсис, помогая сесть Камилле и проворно усаживаясь сам. Тон его, как мне показалось, говорил, что ничего более скучного и придумать нельзя.

— Прекрасно. Чарльз, ты не поставишь воду для чая?

Чарльз направился в маленький, не больше шкафа, закуток. Послышался звук льющейся воды. (Для меня так и осталось загадкой, что именно было в том закутке, а также каким чудом Джулиану удавалось порой извлекать оттуда обеды из четырех блюд.) Чарльз вышел и, закрыв дверь, вернулся на место.

— Ну что же, — сказал Джулиан, окинув нас взглядом, — надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область высокого?

Он был изумительным, просто волшебным оратором. Как хотелось бы мне воссоздать на этих страницах всю магию его лекций! Увы, человек с посредственными способностями не в состоянии, особенно по прошествии стольких лет, передать своеобразие и очарование речи того, кто одарен интеллектом в исключительной мере. В тот день речь шла о четырех видах божественного безумия у Платона и безумии вообще. Он начал беседу с того, что называл бременем эго.

— Тихий настойчивый голос у нас в голове — почему он так мучает нас? — спросил он и выдержал паузу. — Может быть, он напоминает нам о том, что мы живы, что мы смертны, что каждый из нас наделен неповторимой душой, расстаться с которой мы так боимся, хотя она-то и заставляет нас чувствовать себя несчастней всех прочих созданий? Кроме того, что, как не боль, обостряет наше ощущение самости? Ужасно, когда ребенок вдруг осознает, что он — обособленное от всего мира существо, что никто и ничто не страдает, когда он обжег язык или ободрал коленку, что его боль принадлежит лишь ему одному. Еще ужаснее, когда с возрастом начинаешь осознавать, что ни один, даже самый близкий и любимый, человек никогда не сможет понять тебя по-настоящему. Эго делает нас крайне несчастными, и не потому ли мы так стремимся от него

избавиться? Помните эриний?

— Фурии, — сказал Банни. Его замороженные глаза были едва видны из-под нависшей пряди волос.

— Именно. Помните, как они доводили людей до безумия? Они заставляли внутренний голос звучать слишком громко, возводили присущие человеку качества в непомерную степень. Люди становились настолько самими собой, что не могли этого вынести.

Так все-таки как же избавиться от этого грозящего потерей рассудка эго, как полностью освободиться от него? Любовь? Но, как, по свидетельству старого Кефала, однажды сказал Софокл, лишь немногие сознают, что любовь — властитель жестокий и страшный.<sup>[13]</sup> Один забывает себя ради другого, но при этом становится жалким рабом своенравнейшего из богов. Война? Можно забыться в экстазе битвы, сражаясь за славное дело, но в наши дни осталось не так уж много славных дел, за которые стоило бы сражаться. — Он рассмеялся. — Впрочем, осмелюсь заметить, после всего нашего Ксенофонта и Фукидида мало кто из молодых людей сравнится с вами во владении военной тактикой. Уверен, при желании вы вполне могли бы выступить маршем на Хэмпден-таун и захватить его без посторонней помощи.

Раздался смех Генри:

— Мы могли бы сделать это сегодня же, вшестером.

— Как? — воскликнули все в один голос.

— Один блокирует линии связи и энергопередачи, другой берет под контроль мост через Бэттенкил, третий — выезд из города по главной дороге на север. Остальные движутся с юга и запада. Нас мало, но, если рассредоточиться, мы могли бы перекрыть все пути, ведущие в город, — он поднял ладонь, растопырив пальцы, — и окружить центр со всех сторон. — Пальцы сомкнулись в кулак. — Конечно, у нас было бы преимущество внезапности, — добавил он, и от бесстрастного звучания его голоса мне неожиданно стало не по себе.

Джулиан издал короткий смешок:

— Сколько же лет прошло с тех пор, как боги в последний раз вмешивались в людские войны? Думаю, Аполлон и Афина Победоносная непременно сошли бы на землю, чтобы сражаться на вашей стороне, «званные или незванные», как возвестил дельфийский оракул лакедемонянам.<sup>[14]</sup> Только вообразите, какие бы вышли из вас герои.

— Наполовину равные богам, — со смехом отозвался Фрэнсис. — Мы бы восседали на тронах на главной площади города.

— А местные купцы несли бы дань к вашим стопам.  
— Золото. Павлинов и слоновую кость.  
— Скорее уж чеддер и крекеры, — вмешался Банни.  
— Нет ничего ужасней кровопролития, — поспешно сказал Джулиан (замечание о крекерах ему явно не понравилось), — но ведь именно наиболее кровавые места у Гомера и Эсхила зачастую оказываются самыми великолепными. Например, та восхитительная речь Клитемнестры в «Агамемноне», которая мне так нравится. Камилла, ты была нашей Клитемнестрой, когда мы ставили «Орестею». Помнишь что-нибудь оттуда?

Свет из окна бил ей прямо в лицо. При таком сильном освещении большинство людей выглядит блекло, но ее чистые, четкие черты словно бы светились изнутри, так что от взгляда на нее перехватывало дыхание. Я сидел и смотрел на ясные, лучистые глаза и густые ресницы, на висок, где маленькое озерцо золота постепенно растворялось в ровном и теплом, как мед, блеске волос.

— Немного помню.

Глядя на стену чуть выше моей головы, она начала декламировать на греческом. Я не сводил с нее глаз. Интересно, есть ли у нее друг? Может быть, как раз Фрэнсис? Они явно были накоротке, хотя Фрэнсис не производил впечатления человека, которого очень интересуют девушки. В любом случае у меня не было никаких шансов, ведь ее окружали все эти богатые продвинутые ребята в темных костюмах. Куда мне до них, с моими неловкими движениями и манерами провинциала.

Ее голос, с легкой хрипотцой, звучал низко и пленительно.

Так он, с хрипеньем, в красной луже отдал дух;  
И вместе с жизнью, хлынув из гортани, столб  
Горячей крови обдал мне лицо волной —  
Столь сладостной, как теплый ливень сладостен  
Набухшим почкам, алчущим расторгнуть плен... [\[15\]](#)

Отзвучало последнее слово, и на несколько секунд воцарилась тишина. К моему удивлению, Генри, сидевший напротив Камиллы, торжественно ей подмигнул.

Джулиан улыбнулся:

— Прекрасный отрывок. Я готов слушать его снова и снова. Однако как получается, что эта ужасная сцена — царица, кинжалом убивающая

своего мужа в ванне, — так восхищает нас?

— Дело в размере, — сказал Фрэнсис. — Сенарий размечает речь Клитемнестры, как набат.

— Но согласитесь, что для греческой поэзии в шестистопном ямбе нет ничего необычного, — возразил Джулиан. — Почему же нас захватывает именно этот отрывок? Почему нас не привлекают сцены более спокойные и приятные?

— В «Поэтике» Аристотель говорит, — подал голос Генри, — что вещи, отталкивающие сами по себе, например трупы, способны восхищать зрителя, когда они запечатлены в произведениях искусства.

— И на мой взгляд, Аристотель прав. Подумайте сами — какие сцены в античной литературе мы помним и любим больше всего? Ответ очевиден. Убийство Агамемнона и гнев Ахилла. Дидона на погребальном костре. Кинжалы заговорщиков и кровь Цезаря. Помните то место у Светония, где тело Цезаря, со свисающей рукой, уносят на носилках?

— Или взять все по-настоящему жуткие места из «Ада» Данте, — оживился Фрэнсис. — Безносый Пьер да Медичина, говорящий через окровавленную щель в гортани...

— Я могу вспомнить кое-что и похуже, — заметил Чарльз.

— Смерть — мать красоты, — изрек Генри.

— А что же тогда красота?

— Ужас.

— Хорошо сказано, — кивнул Джулиан. — Красота редко несет покой и утешение. Напротив. Подлинная красота всегда тревожит.

Я посмотрел на Камиллу, на ее освещенное солнцем лицо, и вспомнил ту знаменитую строчку из «Илиады» об очах Афины, горящих страшным огнем. [\[16\]](#)

— Но если красота — это ужас, то что же тогда желание? — спросил Джулиан. — Нам кажется, что мы желаем многого, но в действительности мы хотим лишь одного. Чего же?

— Жить, — ответила Камилла.

— Жить вечно, — добавил Банни, не отрывая подбородок от ладони.

Из закутка послышался свист чайника.

Когда расставили чашки и Генри с церемонностью китайского мандарина разлил чай, мы заговорили о безумии, насылавшемся богами на людей, — поэтическом, провидческом и, наконец, дионисийском.

— Которое окружено гораздо большей тайной, чем все остальные, — сказал Джулиан. — Мы привыкли считать, что религиозный экстаз встречается лишь в примитивных культурах, однако зачастую ему

оказываются подвержены именно наиболее развитые народы. Греки, как вы знаете, не слишком сильно отличались от нас. Они были в высшей степени цивилизованны, придерживались сложной и довольно строгой системы норм и правил. Тем не менее они часто впадали в дикое массовое исступление: буйство, видения, пляски, резня. Я полагаю, все это показалось бы нам необратимым, клиническим сумасшествием. Однако греки, во всяком случае некоторые из них, могли произвольно погружаться в это состояние и произвольно же из него выходить. Мы не можем просто так отмахнуться от свидетельств на этот счет. Они вполне неплохо документированы, хотя древние комментаторы и были озадачены не меньше нас. Некоторые полагают, что дионисийское неистовство было результатом постов и молитв, другие — что причиной всему было вино. Несомненно, коллективная природа истерии тоже играла какую-то роль. И все же крайние проявления этого феномена по-прежнему необъяснимы. Участников таинств, образно говоря, отбрасывало в бессознательное, предшествовавшее появлению разума состояние, где личность замещалась чем-то иным — и под «иным» я подразумеваю нечто неподвластное смерти. Нечто нечеловеческое.

Мне вспомнились «Вакханки». От первобытной жестокости этой пьесы, от садизма ее кровожадного бога мне в свое время стало очень не по себе. По сравнению с другими трагедиями, где правили пусть суровые, но все же осмысленные принципы справедливости, это было торжество варварства над разумом, зловещий и недоступный пониманию триумф хаоса.

— Нам нелегко признаться в этом, — продолжил Джулиан, — но именно мысль об утрате контроля больше всего притягивает людей, привыкших постоянно себя контролировать, людей, подобных нам самим. Все истинно цивилизованные народы становились такими, целенаправленно подавляя в себе первобытное, животное начало. Задумайтесь, так ли уж сильно мы, собравшиеся в этой комнате, отличаемся от древних греков или римлян? С их одержимостью долгом, благочестием, преданностью, самопожертвованием? Всем тем, от чего наших современников бросает в дрожь?

Я обвел взглядом лица шестерых, сидящих за столом. Кое-кого из современников, пожалуй, действительно пробила бы дрожь. Любой другой преподаватель немедленно кинулся бы названивать в службу психологической поддержки, услышь он, как Генри излагает план наступления на Хэмпден вооруженных античников.

— Для всякого разумного человека, особенно если он, подобно

древним грекам и нам, стремится к совершенству во всем, попытка убить в себе ненасытное первобытное начало представляет немалое искушение. Но это ошибка.

— Почему? — спросил Фрэнсис, слегка подавшись вперед.

Джулиан удивленно приподнял бровь. Длинный тонкий нос придавал его профилю сходство с этрусским барельефом.

— Потому что игнорировать существование иррационального опасно. Чем более развит человек, чем более он подчинен рассудку и сдержан, тем больше он нуждается в определенном русле, куда бы он мог направлять те животные побуждения, над которыми так упорно стремится одержать верх. В противном случае эти и без того мощные силы будут лишь копиться и крепнуть, пока наконец не вырвутся наружу — с тем большим разрушительным эффектом, что их так долго сдерживали. Противостоять им зачастую не способна никакая воля. В качестве предостережения относительно того, что случается, если подобный предохранительный клапан отсутствует, у нас есть пример римлян. Римские императоры. Вспомните Тиберия, уродливого пасынка, стремившегося ни в чем не уступать своему отчиму, императору Августу. Представьте себе то невероятное, колоссальное напряжение, которое он должен был испытывать, следуя по стопам спасителя, бога. Народ ненавидел его. Как бы он ни старался, он всегда оставлял желать лучшего. Ненавистное это всегда оставалось с ним, и в конце концов ворота шлюза прорвало. Забросив государственные дела и поселившись на Капри, он предался дикому разврату и умер безумным, презираемым всеми стариком. Был ли он хотя бы счастлив там, на острове, в своих садах наслаждений? Нет, напротив, — постыл и отвратителен самому себе. Еще за несколько лет до кончины он начал письмо в Сенат такими словами: «Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней».<sup>[17]</sup> Вспомните тех, кто пришел вслед за ним. Калигулу. Нерона.

Он помолчал.

— Гением Рима и, возможно, тем, что его погубило, была страсть к порядку. В римской архитектуре, литературе, законах хорошо видно это бескомпромиссное отрицание тьмы, бессмыслицы, хаоса. — Он усмехнулся. — Понятно, почему римляне, обычно столь терпимые к чужим религиям, безжалостно преследовали христиан. Как нелепо полагать, что обычный преступник восстал из мертвых! Как отвратителен обычай чествовать его, передавая по кругу чашу с его кровью! Нелогичность этой

религии пугала их, и они делали все возможное, чтобы ее искоренить. Я думаю, они шли на столь решительные меры не только потому, что она внушала им страх, но и потому, что она ужасно их привлекала. Прагматики бывают на удивление суеверны. Несмотря на всю их логику, римляне тряслись от страха перед сверхъестественным.

У греков все было иначе. Питая, подобно римлянам, страсть к симметрии и порядку, они тем не менее сознавали, как глупо отрицать невидимый мир и древних богов. Необузданные эмоции, варварство, мрак. — Смутное беспокойство проступило на лице Джулиана, и секунду-другую его взгляд блуждал по потолку. — Помните, мы только что говорили о том, как страшные, кровавые вещи могут быть необыкновенно прекрасны? Это очень греческая и очень глубокая мысль. В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться. А что может быть более ужасающим и прекрасным для духа, подобного греческому или нашему, чем всецело утратить власть над собой? На мгновение сбросить оковы бытия, превратить в грудку осколков наше случайное, смертное «я». Помните, как Еврипид описывает менад? Голова запрокинута назад, горло обращено к звездам, «так лань играет, радуясь роскошной зелени лугов».<sup>[18]</sup> Быть абсолютно свободным... Конечно, можно найти и другие, более грубые и менее действенные способы нейтрализовать эти губительные страсти. Но как восхитительно выпустить их в одном порыве! Петь, кричать, танцевать босиком в полуночной чаще — без малейшего представления о смерти, подобно зверям. Эти таинства обладают необычайной силой. Рев быков. Вязкие струи меда, вскипающие из-под земли. Если нам хватит силы духа, мы можем разорвать завесу и созерцать обнаженную, устрашающую красоту лицом к лицу. Пусть Бог поглотит нас, растворит нас в себе, разорвет наши кости, как нитку бус. И затем выплюнет нас возрожденными.

Теперь уже все мы сидели подавшись вперед и замерев. Я заметил, что у меня открыт рот и я слышу каждый свой вдох.

— Это, на мой взгляд, и есть страшный соблазн дионисийских мистерий. Нам трудно представить себе это пламя чистого бытия.

После занятия я спустился вниз как во сне. Голова шла кругом, но при этом я с болезненной остротой ощущал, что я молод и полон сил и передо мной распахнул объятия чудный день — невыносимая синева неба, ветер, разбрасывающий желтые и красные листья пригоршнями конфетти.

«В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться».

В тот вечер я записал в дневнике: «Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над собой — их новый пылающий цвет свел их с ума. Кто-то, кажется Ван Гог, сказал, что оранжевый — цвет безумия. *Красота есть ужас*. Мы хотим быть поглощенными ею, хотим найти прибежище в ее очищающем пламени».

Я зашел на почту и, все еще чувствуя непонятный туман в голове, нацарапал открытку матери. Огненно-красные клены и горный поток, на обратной стороне рекомендация: «Если вы хотите насладиться зрелищем листопада в Вермонте, лучше всего предпринять поездку в период с 25.09 по 15.10, когда он особенно живописен».

Когда я опускал ее в щель для иногородних писем, то заметил в другом конце зала Банни. Стоя спиной ко мне, он изучал ряды пронумерованных ящичков. Он остановился примерно там, где находился мой собственный, и, наклонившись, что-то туда опустил. Украдкой оглядевшись, он выпрямился и быстро вышел — руки, как обычно, в карманах брюк, волосы болтаются, упав на глаза.

Я подождал, пока он не исчез, и подошел к ящичку. Внутри лежал конверт кремового цвета. Он был новенький, из толстой бумаги, и выглядел очень официально, однако мое имя было написано карандашом, а почерк был детским и неразборчивым, как у пятиклассника. Карандашом была написана и сама записка — маленькие, кривые, разбегающиеся буковки:

*Ричард Старик!*

*Как ты Насчет пообедать в Субботу, где-то около часа?*

*Я тут знаю одно Классное местечко. Коктейли, все дела.*

*За мой счет. Буду рад тебя видеть,*

*твой Бан*

*PS надень Галстук. Ты б его конечно и так надел просто если без нево (орф.) они тебе Нацепят черт знает что из бабушкиного Сундука.*

Я перечитал записку и положил ее в карман. Выходя наружу, я чуть было не столкнулся в дверях с доктором Роландом. Сначала мне показалось, что он меня и знать не знает. Но едва я подумал, что мне удалось улизнуть, как скрипучий механизм его лица пришел в движение и откуда-то с пыльной верхотуры, дергаясь и зависая в воздухе, показался картонный задник к сцене узнавания.

— Добрый день, доктор Роланд, — сказал я, оставляя последнюю надежду.

— Ну, как она поживает, дружок?



Он имел в виду мою воображаемую машину. Кристину. Кристи-поддай-газку.

— Прекрасно.

— Возил ее в «Ридимд рипэйр»?

— Да.

— Проблема с коллектором, так?

Я подтвердил и только потом вспомнил, что до этого говорил ему о коробке передач. Но доктор Роланд уже начал развернутую лекцию на тему назначения и срока службы прокладки коллектора.

— Вот это-то и есть, — подытожил он, — одна из главных проблем с иномарками. Таким манером можно израсходовать море масла. Канистра за канистрой, а масло, между прочим, на деревьях не растет.

Он многозначительно воззрился на меня:

— Кто, ты говоришь, продал там тебе прокладку?

— Я уже не помню, — ответил я, впадая от скуки в транс, но все же стараясь незаметно двигаться к выходу.

— Наверно, Бад?

— Да, кажется, он.

— Или Билл. Билл Ханди — парень что надо.

— По-моему, это был Бад.

— Ну и как тебе эта старая сорока?

Я мог только гадать, относилось ли это к Баду или к какой-то настоящей сороке, а может быть, мы уже вступили во владения старческого маразма. Иногда было трудно поверить, что доктор Роланд состоит штатным преподавателем в колледже такого ранга. Он скорее напоминал одного из тех болтливых старикашек, которые, оказавшись на одном с тобой сиденье в автобусе, непременно начинают показывать всякие памятные клочки, которые годами хранят в бумажниках.

Он углубился в повторное рассмотрение некоторых пунктов только что прочитанной лекции о прокладках. Я ждал удобного момента, чтобы вдруг вспомнить о назначенной встрече, но тут, опираясь на палочку и сияя улыбкой, к нам подковылял большой друг доктора Роланда доктор Бленд. Доктору Бленду было под девяносто, и в течение последних лет пятидесяти он читал курс «Инвариантные субпространства». Курс этот славился монотонностью и практически абсолютной недоступностью для восприятия, а кроме того, тем, что заключительный тест, насколько у кого хватало памяти, состоял из одного-единственного вопроса. Вопрос был длиной в три страницы, но правильным ответом неизменно было «да». Это все, что нужно было знать, чтобы не провалиться по «Инвариантным

субпространствам».

Он был, если только это возможно, еще большим любителем почесать язык, чем доктор Роланд. Вместе они походили на супергероев из какого-нибудь комикса — непобедимый, блистательный дуэт бестолковщины и занудства. Я пробормотал «извините» и ускользнул, оставив их наедине с их грозными замыслами.

## Глава 2

Я надеялся, что в день нашего с Банни обеда будет прохладно, так как мой лучший пиджак был из темного кусачего твида, но в субботу, когда я проснулся, на улице уже стояла жара и было понятно, что это только начало.

— Ну и пекло сегодня будет, — сказала мне в коридоре уборщица, когда я проходил мимо. — Бабье лето.

Пиджак был роскошный (из ирландской шерсти, серый в темно-зеленую крапинку; я купил его в Сан-Франциско, выложив все, что скопил на летних подработках), но для такого жаркого дня он был явно слишком теплым. Я надел его и отправился в ванную повязать галстук.

У меня не было ни малейшего желания вступать в разговоры, и я был неприятно удивлен, застав в ванной Джуди Пуви — стоя у раковины, она чистила зубы. На ней были обрезанные джинсы, причудливо разрисованные маркером, и спандексовый топик, открывавший мощную, натренированную аэробикой талию. Джуди жила через пару комнат от меня. Кажется, у нее сложилось представление, что, раз она из Лос-Анджелеса, у нас должно быть много общего. Она подкарауливала меня в коридорах, чуть не силком выволакивала танцевать на вечеринках и даже заявила своим подружкам, что собирается со мной переспать (употребив при этом менее деликатное выражение). Она носила безумную одежду, красила волосы под седину и разъезжала в красном «корвете» с буквами ДЖУДИ П. на калифорнийских номерах. Ее громкий голос разносился по общежитию, как крики какой-нибудь тропической птицы.

— Привет, Ричард, — сказала она и сплюнула белую жижу.

— Привет, — буркнул я, углубившись в завязывание галстука.

— Здорово выглядишь.

— Спасибо.

— У тебя свидание?

— Чего?

— Говорю, куда собрался?

Я уже успел привыкнуть к ее расспросам.

— На обед.

— О! И с кем же?

— С Банни Коркораном.

— Ты знаешь Банни?

— Ну знаю. А ты?

— Еще бы. Мы с ним на истории искусства рядом сидели. Классный парень, с ним не соскучишься. Я вот только терпеть не могу его приятеля. Мерзкий такой тип, тоже в очках, как его там?

— Генри?

— Ага, он самый. По-моему, просто засранец.

Она наклонилась к зеркалу и принялась взбивать волосы, поворачивая голову и так и эдак. Ногти у нее были покрыты ядовито-красным лаком — впрочем, по их непомерной длине можно было заподозрить, что они накладные.

— Мне он вообще-то нравится, — сказал я, почувствовав себя оскорбленным.

— А мне — нет.

Она разделила волосы на пробор при помощи ногтя указательного пальца.

— Вел себя со мной как последняя сволочь. И близнецы эти меня тоже бесят.

— Почему? Близнецы очень милые.

— Да ну? — сказала она, выпучив густо подведенный глаз на мое отражение в зеркале. — Ладно, так и быть, расскажу. Короче, в прошлом семестре я была на одной вечеринке — напилась там, танцевала, как корова на льду, в общем, сам знаешь. Там все, понятно, толкались как не знаю кто, а эта девица, ну близняшка, зачем-то шла через зал, и бац! — я на нее налетела. Тут она ни с того ни с сего что-то такое мне сказала, жутко грубое, ну а я чисто на автомате плеснула ей пивом в лицо. Вечеринка такая была — меня тогда уже раз шесть облили, но я ж не стала из-за этого хай поднимать, правильно?

Так вот, она давай возмущаться, и тут раз — откуда ни возьмись — ее брат и этот Генри, а главное, оба с таким видом, как будто вот-вот по стенке меня размажут. — Она откинула волосы со лба, собрала их в хвост и внимательно осмотрела себя в зеркале. — Короче, я едва держусь на ногах, а эти двое на меня зверски так смотрят. Выглядело это все стремно, но мне уже было все по фигу, так что я просто послала их в жопу. — Она лучезарно улыбнулась. — Я там пила «камикадзе». Всегда, когда пью «камикадзе», выходит какая-нибудь фигня. То машину помну, то в драку ввяжусь...

— А дальше-то что?

Она пожала плечами:

— Говорю, я просто послала их в жопу. И близнец — тот начал на

меня орать так, как будто сейчас и вправду возьмет и убьет. А этот Генри, он просто стоял, но его я испугалась еще больше, чем близнеца. Так вот, там был один мой приятель, крутой такой, из байкерской банды, весь в цепях и всей этой хрени — Спайк Ромни. Может, слышал?

Я слышал. Собственно говоря, я даже его видел — на моей первой пятничной вечеринке. Это был гигантский боров, килограммов сто двадцать, не меньше, со шрамами на руках и стальными нащепками на носках мотоциклетных ботинок.

— Короче, Спайк подходит, видит, что на меня наезжают, пихает близнеца и говорит, чтоб тот отвалил. Я глазом не успела моргнуть, как они оба на него набросились. Народ там пытался их разнять — куча народу! — и ни хрена! Шесть человек не могли оттащить этого Генри — сломал Спайку ключицу, два ребра, а лицо разворотил просто в мясо. Я Спайку говорила потом, что надо пойти в полицию, но у него самого тогда были проблемы, и вообще-то ему нельзя было появляться на кампусе. Все равно, фигово вышло. — Она отпустила хвост, и волосы упали ей на плечи. — Я к чему: Спайк, он здоровый. И вдобавок без тормозов. Так посмотреть, он одной рукой мог бы задницу надрать этим умникам в костюмах и галстучках.

— Хмм, — произнес я, пытаюсь удержаться от смеха. Забавно было думать, что Генри сломал ключицу Спайку Ромни — Генри, в своих круглых очочках и с книгами на пали под мышкой.

— Тут не поймешь, — сказала Джуди. — Я думаю, когда такие все из себя правильные люди срываются, у них реально крышу сносит. У меня вот отец такой.

— Да, похоже на то, — ответил я, поправляя узел галстука.

— Ну, удачи, — равнодушно бросила она и направилась к двери, но вдруг остановилась. — Слушай, а ты не запаришься в этом пиджаке?

— Это мой единственный приличный.

— У меня там валяется один, хочешь примерить?

Я оторвался от зеркала. Джуди специализировалась на дизайне театральных костюмов, и у нее в комнате было полно всякой странной одежды.

— Он твой?

— Я стащила его из костюмерной. Собиралась обрезать и сделать что-то типа бюстье.

Ну-ну, подумал я, но все равно пошел к ней.

Пиджак, вопреки ожиданиям, оказался замечательным — от братьев Брукс, шелковый без подкладки, цвета слоновой кости с полосками

переливчатого зеленого. Он был мне слегка велик, но в общем сидел неплохо.

— Джуди, отличный пиджак, — произнес я, внимательно оглядывая обшлага. — Ты уверена, что он тебе не нужен?

— Можешь взять себе, — махнула рукой Джуди. — У меня все равно нет на него времени. Дел по горло — шью костюмы для этой долбаной «Как вам это понравится». Премьера через три недели, просто не знаю, куда деваться. Мне сейчас помогают первокурсники — блин, смотрят на швейную машинку, как баран на новые ворота.

— Кстати, старина, отличный пиджак, — заметил Банни, когда мы выходили из такси. — Это ведь шелк?

— Да. Его еще мой дед носил.

Двумя пальцами Банни ухватил меня за рукав и пощупал плотную желтоватую ткань.

— Классная вещь, — заключил он с важным видом. — Вот только не совсем по сезону.

— Разве?

— Не-а. Это ж Восточное побережье! У вас-то там, понятно, насчет одежды сплошное *laissez-faire*,<sup>[19]</sup> но здесь у нас обычно не расхаживают в купальниках круглый год. Черное и синее, дружок, черное и синее... только так. Позволь-ка, я открою дверь. Знаешь, думаю, тебе здесь понравится. Конечно, не «Поло Лаундж», но для Вермонта ничего. Что скажешь?

Это был маленький и очень изящный ресторан. Скатерти на столиках сверкали белизной, окна эркеров выходили во внутренний садик: живые изгороди и увитые розами решетки, настурции вдоль дорожки из каменных плит. Посетители были в основном средних лет и явно люди с достатком: похожие на провинциальных адвокатов румяные мужчины, в соответствии с вермонтской модой носившие туфли на каучуковой подошве и костюмы от «Хики-Фримен»; женщины в юбках из шалли, с перламутровой помадой на губах, по-своему вполне миловидные — ухоженные и неброско одетые. Когда мы входили, одна пара мельком взглянула на нас. Я прекрасно понимал, какое впечатление мы производим — два симпатичных паренька из колледжа, у обоих богатые отцы и никаких забот. Хотя почти все дамы за столиками годились мне в матери, одна-две выглядели очень привлекательно. «А могло бы быть неплохо», — подумал я, представив себе этакую моложавую матрону — одна в большом доме, делать особенно нечего, муж все время в разъездах по делам. Превосходные обеды, деньги на карманные расходы, может быть, даже что-нибудь действительно

серьезное, машина, например...

К нам незаметно подошел официант.

— Вы заказывали столик?

— На имя Коркорана, — бросил Банни, раскачиваясь на пятках и засунув руки в карманы. — А куда же подевался Каспар?

— Он в отпуске. Вернется через две недели.

— Рад за него! — сердечно сказал Банни.

— Я передам, что вы о нем спрашивали.

— Да, будьте добры, передайте!

— Каспар — отличный парень, здешний метрдотель, — пояснил мне Банни, пока мы следовали за официантом к нашему столику. — Большой такой, старый мужик с усами, австриец или вроде того. К тому же, — он понизил голос до громкого шепота, — к тому же он не педик, веришь-нет? Может, замечал уже — педики обожают работать в ресторанах. Я что имею в виду, буквально каждый пед...

Я заметил, что шея нашего официанта несколько неестественно напряглась.

— ...который мне встречался, просто с ума сходил по хорошей еде. Интересно, в чем тут дело? Может, что-то с психологией? Такое впечатление, что...

Я приложил палец к губам и кивком показал на спину официанта как раз в тот момент, когда он повернулся и метнул в нас невыразимо злобный взгляд.

— Вас устраивает ваш столик, джентльмены?

— Да, конечно! — ответил Банни, расплывшись в улыбке.

С подчеркнутой, ядовитой вежливостью официант вручил нам меню и удалился. Я опустился на стул и открыл меню на списке вин. Лицо у меня горело. Банни отхлебнул глоток воды и, устраиваясь поудобнее, осмотрелся с довольным видом:

— Место — просто класс.

— Хорошее место.

— Но до «Поло», конечно, далеко. — Он поставил локоть на стол и пятерней откинул волосы со лба. — Ты часто там бываешь — в «Поло», я имею в виду?

— Не очень.

Я никогда и не слышал про этот ресторан, что, пожалуй, неудивительно — как я понимаю, он находился примерно в шестистах километрах от моего городка.

— В такие местечки тебя обычно приводит отец, — задумчиво сказал

Банни. — Поговорить по-мужски, и все такое. Вроде «Дубовой комнаты» в «Плазе». Мой отец водил туда меня и братьев, когда нам исполнилось восемнадцать, — «опрокинуть первую рюмку».

Я единственный ребенок в семье, меня интересуют братья и сестры знакомых.

— Братьев? А сколько их у тебя?

— Четверо. Тедди, Хью, Патрик и Брейди. — Он рассмеялся. — Ужасно было, когда папаша меня туда привел, — как же, я ведь младший сын, а это такое великое событие. Помню, он всю дорогу приговаривал: «Вот уж ты и до крепкого дорос», «Не успеешь оглянуться, как окажешься на моем месте» и еще «Я-то, наверно, скоро сыграю в ящик», в общем, всякую такую чушь. А я все это время сидел и боялся пошевелиться. Где-то за месяц до того мы с Клоуком, моим хорошим другом, выбрались из стен родного Сент-Джерома в Нью-Йорк — посидеть в библиотеке над заданием по истории. В итоге мы славно посидели в «Дубовой комнате» — счет был просто огромный! — и улизнули, не заплатив. Ну, ты понимаешь, ребячьи проделки, все дела — но вот я снова в этом баре, да еще с отцом!

— Они тебя узнали?

— Ага, — мрачно кивнул он. — Как я и думал. Но вели себя очень прилично. Ничего не сказали, просто подсунули отцу старый счет вместе с новым.

Я попробовал представить себе эту сцену: поддатый пожилой отец, одетый в «тройку», сидит и греет в ладонях стакан со скотчем или что там у него было... А напротив — Банни. Он выглядел располневшим, но это была полнота от избытка мышц, заплывших жиром. Крупный парень, такие в средней школе обычно играют в американский футбол. Именно о таком сыне втайне мечтает каждый отец: большой добродушный сынуля, способный, но в меру, отличный спортсмен, любитель похлопать собеседника по плечу и рассказать бородатый анекдот.

— А он заметил? Твой отец?

— Не-е. Он уже набрался под завяз. Если б я встал за стойку вместо бармена, он и то б не заметил.

Официант снова направился к нашему столику.

— А вот и Сладкая попка ковыляет, — сказал Банни, углубляясь в меню. — Ты уже выбрал, что будешь есть?

— Что в нем такое? — спросил я у Банни, разглядывая его коктейль. Из ярко-кораллового, размером с маленький аквариум бокала во все стороны торчали цветные соломинки, бумажные зонтики и кусочки



фруктов.

Банни вытащил один зонтик и лизнул кончик.

— Море всего. Ром, клюквенный сок, кокосовое молоко, триплсек, персиковое бренди, мятный ликер. Не знаю, что еще. Попробуй, вкусная штука.

— Да ладно.

— Попробуй.

— Не стоит.

— Давай-давай.

— Нет, спасибо, не хочется.

— Последний раз я пил этот коктейль на Ямайке, позапрошлым летом, — мечтательно произнес Банни. — Мне его смешал один бармен, Сэм. Сказал: «Три таких коктейля, сынок, и ты не попадешь в дверь» — и, черт побери, так оно и вышло. Бывал на Ямайке?

— Нет, вернее, когда-то давно.

— Ты-то, наверно, привык к пальмам и кокосам у себя в Калифорнии. А вот мне там ужасно понравилось. Купил себе розовые плавки в цветочек и все такое. Я звал с собой Генри, но он заявил, что на Ямайке нет культуры. Не знаю, с чего это он — какой-то музейчик там точно был.

— Ты нормально общаешься с Генри?

— О, разумеется, — сказал Банни, откидываясь на спинку стула. — Мы жили в одной комнате на первом курсе.

— И он тебе нравится?

— Само собой, само собой. Правда, жить с ним очень трудно. Не выносит шума, не выносит сбороищ, не выносит беспорядка. И речи не может быть о том, чтоб после свидания пригласить девушку к себе — немного послушать Арта Пеппера, если понимаешь...

— Мне кажется, он довольно грубый.

Банни пожал плечами:

— Такой уж у него характер. Видишь, у него голова работает по-другому, чем у нас с тобой. Вечно витает в облаках со своим Платоном и всем остальным. Слишком много занимается, слишком серьезно себя воспринимает, учит санскрит, коптский и какие-то там еще задвинутые языки. Я ему говорю: Генри, если уж ты собираешься тратить время на что-то, кроме греческого — лично я думаю, что древнегреческого и нормального английского человеку совершенно достаточно, — купи себе пару кассет Берлина и подзаймись французским. Найди себе какую-нибудь юную шансонетку... *Vooley-vooley coussay avec moi*<sup>[20]</sup> и так далее.

— Сколько он вообще знает языков?

— Я уже сбился со счета. Семь или восемь. Он даже иероглифы умеет читать.

— Ух ты!

Банни с гордостью покачал головой:

— Он гений, этот парень. Мог бы работать переводчиком в ООН, если б захотел.

— Откуда он?

— Из Миссури.

У него было такое серьезное и невозмутимое выражение лица, что я подумал, это шутка, и засмеялся. Банни это удивило.

— А что? Ты думал, он из Букингемского дворца, да?

Все еще смеясь, я пожал плечами. Генри был таким необычным, что с ним не увязывалось ни одно место.

— Вот так-то, — назидательно произнес Банни. — «Недоверчивый штат». Паренек из Сент-Луиса, прям как старина Том Элиот. Отец — большая шишка в строительном бизнесе. Причем у него там не все чисто — по крайней мере, так говорят мои кузены из Сент-Лу. Сам Генри тебе и полслова не скажет, чем занимается его отец. Ведет себя, как будто не знает и знать не хочет.

— Ты был у него дома — в Сент-Луисе то есть?

— Ты что, смеешься? Он такой скрытный, как будто речь идет о Манхэттенском проекте, <sup>[21]</sup> не иначе. Правда, как-то раз видел его мать. Так, случайно. Заехала повидать его по пути в Нью-Йорк, и я как раз наткнулся на нее в Монмуте, на первом этаже — ходила и спрашивала, не знает ли кто-нибудь номер его комнаты.

— Как она выглядит?

— Симпатичная дама. Темные волосы, голубые глаза — точь-в-точь как у Генри. Норковое манто. На мой вкус, многовато всякой косметики. Ужасно молодая. Генри — ее единственное чадо, она в нем души не чает. — Он наклонился ко мне поближе. — Денег у семьи — ты просто не поверишь. Миллионы, старик, миллионы! Понятное дело, нувориши, но баксы есть баксы, согласен? — Он подмигнул. — Кстати. Все хотел спросить. А откуда презренный металл у твоего папаши?

— Нефть, — сказал я. Отчасти это было правдой.

Рот у Банни превратился в маленькое круглое «о».

— У вас есть нефтяные скважины?

— Ну, в общем, есть одна, — скромно произнес я.

— Но доход-то с нее приличный?

— Вроде бы да.

— Обалдеть, — сказал Банни, покачивая головой. — Золотой Запад.

— Нам с этой скважиной повезло.

— Ах ты черт... А вот мой отец всего-навсего президент какого-то вшивого банка.

Я почувствовал, что нужно срочно сменить тему, даже если придется ляпнуть что-нибудь совсем не к месту, — этот разговор грозил загнать меня в угол.

— Если Генри из Сент-Луиса, как получилось, что он такой умный?

Я задал этот вопрос без всякой задней мысли, но Банни неожиданно поморщился:

— В детстве с ним что-то такое стряслось, очень серьезное. Кажется, попал под машину, так, что еле выжил. Пару лет не ходил в школу — нет, он, конечно, занимался с домашними учителями и все такое, но штука в том, что очень долго он вообще ничего не мог делать, только лежал в кровати и читал. Хотя я подозреваю, он и так в два года читал книги, которые нормальные люди читают в колледже, — бывают, знаешь, такие детишки.

— Говоришь, он попал под машину?

— Я так думаю. Не представляю, что там еще могло стрястись. Он не любит об этом говорить. — Банни понизил голос. — Ты заметил, как он зачесывает волосы? На лоб, на правую сторону? Это потому, что у него там шрам. Он чуть не потерял глаз, до сих пор плохо им видит. И еще помнишь, какая у него неуклюжая походка, как будто он прихрамывает? Но вообще это все не важно — он сильный как бык. Уж не знаю, что он там делал — занимался с гантелями или что, но он себя, можно сказать, вновь поставил на ноги, это точно. Настоящий Тедди Рузвельт со всем этим знаменитым преодолением препятствий. Как тут его не уважать. — Он снова откинул волосы со лба и жестом заказал еще один коктейль. — Я это к чему говорю — посмотри, например, на Фрэнсиса. По мне, он ничуть не глупей Генри. Светский парень, денег куча. Вот только слишком легко ему это все досталось. Лентяй каких мало. Любит валять дурака, после занятий только и делает, что бегаёт по вечеринкам и надирается в хлам. А теперь Генри. — Он поднял бровь. — Его от греческого за уши не оттянешь...

— Ага, спасибо, сэр, вот сюда, — сказал он официанту, который приблизился с очередным кораллово-красным бокалом на подносе. — И еще один тебе, да?

— Нет, спасибо.

— Давай-давай, старик. Я плачу.

— Ну тогда, наверное, еще один мартини, — сказал я официанту,

который уже повернулся к нам спиной.

Он оглянулся и смерил меня презрительным взглядом.

— Спасибо, — пробормотал я, отводя взгляд от омерзительной улыбочки, игравшей у него на губах. Я смотрел в сторону до тех пор, пока не убедился, что он ушел.

— Знаешь, вот кого я действительно терпеть не могу, так это приставучих педов, — сказал Банни задумчивым тоном. — По мне, так их надо заживо сжигать на костре — всех скопом.

Я встречал людей, которые нападают на гомосексуализм, потому что эта тема вызывает у них чувство неловкости и, возможно, они сами несвободны от наклонностей такого рода, и людей, которые нападают на гомосексуализм совершенно искренне. Сначала я мысленно поместил Банни в первую категорию. Его панибратская манера общения была мне совершенно чужда и потому вызывала подозрения, к тому же он изучал античных авторов, что само по себе, конечно, ни о чем не говорит, но в определенных кругах все же вызывает двусмысленную ухмылку. «Хочешь знать, что такое античность? — спросил меня подвыпивший декан на преподавательской вечеринке пару лет назад. — Я тебе скажу, что такое античность. Сплошные войны и гомосеки». Донельза сентенциозное и вульгарное высказывание, но, как во многих афористичных пошлостях, в нем есть и толика истины.

Однако чем дольше я слушал Банни, тем яснее мне становилось, что в его разглагольствовании не было ни показного веселья, ни желания продемонстрировать собеседнику свою непричастность к предмету беседы. Он рассуждал без малейшего смущения, как какой-нибудь сварливый ветеран иностранных войн — сто лет как женатый, обросший потомством вояка, для которого эта тема и отвратительна, и бесконечно забавна.

— А как же твой друг Фрэнсис? — спросил я.

Я задал этот вопрос из чистого ехидства, просто чтобы посмотреть, как Банни вывернется с ответом. Фрэнсис мог быть или не быть гомосексуалистом, он мог запросто оказаться неотразимым дамским угодником, но он, несомненно, принадлежал к тому типу изысканно одетых, невозмутимых юношей с лисьими повадками, который должен был вызвать вполне определенные подозрения у человека с таким тонким нюхом, как у Банни.

Банни вскинул бровь:

— Что за бред! Кто тебе это сказал?

— Никто. Так, Джуди Пуви, — добавил я, когда понял, что мой первый ответ его не устраивает.

— Я догадываюсь, с чего она могла такое ляпнуть, но у нас тебе кого угодно геем назовут. На самом деле старомодные маменькины сынки все еще среди нас. Фрэнсису нужно просто обзавестись девушкой, и все будет в порядке. А ты-то сам как? — довольно агрессивно спросил он, прищурившись на меня сквозь стекла съехавших набок очков.

— В смысле?

— Ты старый волк-одиночка? Или какая-нибудь старлетка ждет тебя в Голливуд-Хай?

— Н-нет.

Мне не хотелось рассказывать о своих проблемах с подружками кому бы то ни было, а уж тем более Банни. Только недавно, перед самым отъездом, мне удалось выпутаться из отношений с одной девушкой, назовем ее Кэти. Я познакомился с ней в колледже на первом курсе, и сначала она мне очень понравилась. Мне казалось, что она интеллектуалка, которая, как и я, склонна мыслить критически и недовольна своим окружением. Однако примерно через месяц — а за это время она успела пристать ко мне как смола — я с немалым ужасом стал понимать, что она всего лишь продукт популярной психологии, расхожая версия Сильвии Платт для массового потребителя. Это тянулось бесконечно, как слезливый сериал, — просьбы, жалобы, исповеди на парковках, признания в «неадекватности» и «низкой самооценке», все эти пошлые горести. Не в последнюю очередь из-за нее я так отчаянно стремился уехать из дома и из-за нее же с опаской поглядывал даже на самых веселых и не склонных к умственным изыскам хэмпденских студентов.

При мысли о ней я помрачнел. Банни наклонился ко мне через стол.

— А правда, что в Калифорнии самые симпатичные девушки?

Я засмеялся так, что картины чуть не полилось у меня из носа. Банни заговорщицки подмигнул мне:

— Красотки в купальниках, а? Пляж, простынка, па-ра-рам?

— А ты думал!

Мой ответ ему понравился. Наклонившись ко мне еще ближе с видом старого прожженного дядюшки, он стал рассказывать про свою подружку, которую звали Марион:

— Ты наверняка ее видел. Маленькая блондинка с голубыми глазами, примерно вот такого роста.

Тут я и вправду вспомнил, что в самом начале семестра как-то раз встретил Банни на почте, где он довольно развязно беседовал с девушкой, подходившей под это описание.

— Вот, это и есть моя девушка. Кроме меня, никого к себе не

подпускает, — гордо сказал Банни, проводя пальцем по краю бокала.

Я как раз отпивал мартини и опять расхохотался так, что чуть не захлебнулся.

— К тому же она на начальном образовании — здорово, правда? Я имею в виду, она настоящая девушка. — Он развел руки, как будто показывая разделяющее их расстояние. — Длинные волосы, упитанная фигурка, совершенно спокойно носит платья. Мне это нравится. Можете называть меня старомодным, но слишком умные — не для меня. Вот, например, Камилла — с ней, конечно, здорово, она свой человек и так далее...

— Да брось! — сказал я, все еще смеясь. — Она очень красивая.

— Очень, очень, — согласился он, примирительно поднимая ладонь. — Я разве спорю? Вылитая статуя Дианы в клубе моего отца. Ей только не хватает твердой маминой руки, но все равно — она как дикая роза, а мне больше по душе садовые сорта. Она ведь вообще не думает о чем положено. И еще обожает ходить в старых шмотках своего братца. Говорят, некоторым девушкам такое идет — хотя, честно, я не представляю, каким, — но уж не ей, это точно. Слишком уж на него похожа. То есть Чарльз — симпатичный парень, и характер у него, как ни крути, просто золотой, но мне вряд ли пришло бы в голову на нем жениться, понимаешь?

Банни явно собирался сказать что-то еще, но вдруг осекся. Его кислая мина вызвала у меня недоуменную улыбку — неужели он испугался, что сболтнул лишнее, побоялся показаться нелепым? Я попытался придумать, как быстро сменить тему, чтобы избавить его от мучений, но тут он, как ни в чем не бывало, сел поудобней и украдкой оглядел зал.

— Слушай-ка, тебе не кажется, что нам пора?

За обедом мы перепробовали множество самых разнообразных блюд — омары, паштеты, муссы, — но все это не шло ни в какое сравнение с количеством выпитого. Три бутылки «Тетенже» поверх коктейлей и отправленное вдогонку бренди постепенно превратили наш столик в мировую ось, вокруг которой с сумасшедшей скоростью вращались слегка размытые предметы. Я все пил и пил из появлявшихся передо мной, как по волшебству, бокалов, а Банни провозглашал тосты — за Хэмпден-колледж, за Бенджамина Джоветта,<sup>[22]</sup> за Афины времен Перикла. Тосты становились все более и более витиеватыми, время бежало незаметно, и, когда нам подали кофе, за окном уже начало темнеть. Банни был так пьян, что потребовал у официанта две сигары, которые тот принес на маленьком подносе вместе со счетом, лежащим обратной стороной вверх.

Теперь полутемный зал кружился просто-таки с невообразимой скоростью. От сигары, вопреки ожиданиям, мне не стало легче — напротив, вдобавок ко всему перед глазами замелькали яркие пятнышки с темными краями, и я с содроганием вспомнил кошмарные одноклеточные организмы, которые когда-то мне приходилось, отчаянно моргая, до головокружения разглядывать в микроскоп. Я затушил сигару в пепельнице, при ближайшем рассмотрении оказавшейся моим десертным блюдом. Осторожно высвободив позолоченные дужки из-за ушей, Банни снял очки и начал протирать их салфеткой. Без них его глаза казались маленькими, подслеповатыми и дружелюбными. Они слегка слезились от сигарного дыма, и в уголках можно было заметить сеточку веселых морщинок.

— Вот это был обед, а, старик? — сказал он, сжимая в зубах сигару и рассматривая очки на свет в поисках пылинок. В тот момент он был очень похож на молодого безусого Тедди Рузвельта, готового повести «Лихих всадников»<sup>[23]</sup> на штурм холма Сан-Хуан или отправиться выслеживать дикого зверя в лесной чащобе.

— Все было замечательно. Спасибо.

Он выпустил огромное облако голубого едкого дыма.

— Первоклассная еда, приятное общество, море выпивки, что еще нужно? Как там в той песне?

— Какой?

— Я хотел бы сесть за стол, — пропел Банни, — и беседовать с друзьями, и... чего-то там еще, трам-парам.

— Не помню.

— Я тоже. Ее Этель Мерман поет.

В зале стало почти совсем темно. Я попробовал сфокусировать взгляд на предметах за пределами столика и обнаружил, что, кроме нас, в ресторане уже никого нет. В дальнем углу виднелась бледная тень, похожая на нашего официанта, — загадочное, почти сверхъестественное существо. Впрочем, если верить молве, обитатели мира теней всецело поглощены своими заботами, его же внимание было приковано к нам, и я чувствовал, как мы высвечиваемся в спектральных лучах его ненависти.

— Ох, наверно, надо идти, — вздохнул я и откинулся на стуле, едва удержав при этом равновесие.

Банни великодушно махнул рукой и перевернул счет. Разглядывая его, он порылся в кармане, затем взглянул на меня и улыбнулся:

— Слушай, старик.

— Да?

— Мне очень неловко, но, может быть, в этот раз заплатишь ты, а потом мы как-нибудь сочтемся?

Я ословело поднял брови и рассмеялся:

— У меня нет ни цента.

— У меня тоже. Забавно. Похоже, забыл дома бумажник.

— Шутишь?

— Вовсе нет, — весело сказал он. — Ни единой монетки. Я бы вывернул карманы, чтоб ты не сомневался, но Сладкая попка увидит.

У меня возникло острое ощущение, что наш злобный официант, притаившийся в тени, с интересом прислушивается к разговору.

— Сколько там вышло?

Банни провел спотыкающимся пальцем по столбику цифр:

— Все вместе получается двести восемьдесят семь долларов пятьдесят девять центов. Не считая чаевых.

Я был ошеломлен суммой и озадачен его безмятежным спокойствием.

— Ничего себе.

— Ну, вся эта выпивка, ты ж понимаешь.

— Что будем делать?

— Может, просто выпишешь чек? — предложил он самым обычным тоном.

— У меня нет чековой книжки.

— Тогда заплати карточкой.

— У меня нет карточки.

— Да брось, не выдумывай.

— Нет у меня карточки, — сказал я с нарастающим раздражением.

Банни отодвинул стул, поднялся, огляделся с нарочитой небрежностью, как детектив, прогуливающийся в фойе гостиницы. У меня мелькнула дикая мысль, что сейчас он просто рванется к выходу, но он только хлопнул меня по плечу.

— Сиди не дергайся, старик, — прошептал он. — Я пойду позвоню.

Сунув кулаки в карманы, он вразвалочку пошел к выходу, и в сумерках зала замелькали его белые носки.

Его не было довольно долго, и я уже начал думать, что он не вернется, что он выбрался через окно и оставил меня расхлебывать всю эту кашу, но наконец где-то хлопнула дверь, и вальяжной походкой Банни вернулся к столу.

— Расслабься, — сказал он, падая на стул. — Отбой тревоги.

— Что ты придумал?

— Позвонил Генри.



— Он приедет?

— Сей момент.

— Разозлился?

Банни отмел это предположение легким движением руки:

— Все нормально. Если честно, по-моему, он чертовски рад выбраться из дома.

Прошло десять мучительных минут, в течение которых мы делали вид, что допиваем ледяные остатки кофе. Наконец появился Генри. Под мышкой у него была зажата книга.

— Вот видишь? Я ж говорил, что он приедет, — прошептал мне Банни и обратился к подошедшему Генри: — О, привет! Как я рад видеть нашего...

— Где счет? — спросил Генри убийственно монотонным голосом.

— Вот, держи, дружище, большущее спасибо, — затараторил Банни, роясь среди чашек и бокалов. — Я твой должник на...

— Привет, — холодно сказал Генри, поворачиваясь ко мне.

— Привет.

— Как дела?

Он был похож на робота.

— Отлично.

— Это хорошо.

Банни наконец отыскал счет:

— Вот, вот он, старик.

Некоторое время Генри разглядывал листок с абсолютно каменным лицом.

— Кстати! — оживился Банни. В напряженной тишине его голос звучал как иерихонская труба. — Хотел было извиниться, что оторвал тебя от очередной книженции, но ты, я вижу, как всегда притащил ее с собой. Что там у тебя? Что-нибудь интересненькое?

Генри молча протянул ему книгу. Надпись на обложке была на каком-то восточном языке. Банни тупо уставился на заглавие, затем сунул книгу обратно Генри в руки.

— Замечательно, — выдавил он каким-то полуобморочным голосом.

— Вы готовы? — резко спросил Генри.

— Конечно, конечно. — Банни торопливо вскочил, чуть не опрокинув стол. — Одно лишь слово, трам-пам-пам, и в тот же самый миг...

Генри оплатил счет. Банни увивался вокруг него, как провинившийся ребенок.

Дорога домой была сплошной пыткой. От Банни, сидевшего сзади, летел фейерверк блестящих, но обреченных на провал попыток завязать разговор, одна за другой его остроты вспыхивали и гасли. Генри не сводил глаз с дороги, а я нервно щелкал крышкой пепельницы под приемником. В конце концов до меня дошло, как это, должно быть, действует на нервы, и с большим трудом заставил себя остановиться.

Сначала Генри отвез домой Банни. Изливая потоки бессвязных любезностей, Банни хлопнул меня по плечу и выбрался из машины.

— Ага, отлично, Генри, Ричард, вот мы и дома. Замечательно. Прекрасно. Тыща благодарностей... отличный обед... ну что ж, ту-туу, пока-пока...

Он хлопнул дверцей и потрусил к входу.

Едва он скрылся в общежитии, Генри повернулся ко мне:

— Мне очень жаль.

— Нет-нет, что ты, — ответил я, сгорая от стыда. — Просто вышла небольшая путаница. Я верну тебе деньги.

— Не вздумай. Это он во всем виноват.

— Но...

— Он сказал, что приглашает тебя, так ведь?

В его голосе звучало осуждение.

— Э-э, да.

— И совершенно случайно забыл дома бумажник?

— Ну, оплошал, со всеми бывает.

— Оплошность тут ни при чем, — отрезал Генри. — Это гнусный розыгрыш. Он принимает как данность, что те, кто рядом, готовы в мгновение ока оплачивать астрономические счета. Ему и в голову не приходит, в какое неловкое положение он ставит людей. Что, если бы меня не оказалось дома?

— Я думаю, он на самом деле просто забыл.

— Вы ехали туда на такси, — тут же сказал Генри. — Кто платил?

Я машинально открыл рот, чтобы возразить, и вдруг меня как водой окатили. За такси заплатил Банни. При этом он не преминул подчеркнуть свою щедрость.

— Вот видишь, — кивнул Генри. — У него даже не хватило ума до конца все продумать. Свинская шутка, вполне в духе Банни, но, надо сказать, я не думал, что у него хватит наглости сыграть ее с совершенно незнакомым человеком.

Я не знал, что на это ответить, и к Монмуту мы подъехали в полном молчании.

— Ну что же, — сказал он. — Мне жаль, что так получилось.

— Нет, правда, ничего страшного. Спасибо, Генри.

— Ладно, спокойной ночи.

Я постоял на крыльце, провожая взглядом удаляющуюся машину, затем поднялся в комнату и в пьяном ступоре повалился на кровать.

— Мы все знаем про твой обед с Банни, — сказал Чарльз.

Я вежливо посмеялся. Это было на следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру. С самого утра я пытался читать «Парменида»<sup>[24]</sup> на греческом. Этот диалог был мне не по зубам, тем более с похмелья, и я сидел над книгой уже так долго, что буквы начали плыть у меня перед глазами — не поддающиеся расшифровке значки, отпечатки птичьих лапок на песке. В бездумном оцепенении я смотрел в окно на скошенные луга, волнами зеленого бархата подступавшие к холмам на горизонте, и вдруг заметил близнецов, легко и неспешно скользивших по лужайке кампуса, как парочка привидений.

Я высунулся из окна и окликнул их. Они остановились и подняли головы, щурясь от яркого предзакатного солнца и прикрывая глаза ладонями. «Привет!» Их слабые, приглушенные расстоянием голоса донеслись до меня, почти слившись в один. «Спускайся к нам».

И вот мы уже бредем вдвоем по роще за колледжем и дальше, по опушке низкорослого соснового лесочка, протянувшегося к подножию гор.

В белых теннисных свитерах и теннисных туфлях, с растрепанными светлыми волосами, близнецы еще больше, чем обычно, напоминали ангелов. Я не очень понимал, зачем они позвали меня. В их вежливом обхождении сквозило легкое замешательство; они поглядывали на меня с некоторой опаской, словно бы я приехал из далекой страны с незнакомыми, экзотическими нравами и обычаями и требовалась немалая осторожность, чтобы не испугать или не обидеть меня.

— Откуда вы знаете про обед?

— Бан позвонил утром. А Генри рассказал нам еще вчера вечером.

— Он, наверно, здорово злится.

Чарльз пожал плечами:

— На Банни — может быть, а на тебя нет.

— Они ведь друг друга терпеть не могут, как я понимаю?

Близнецы изумленно посмотрели на меня.

— Вообще-то они старые друзья, — сказала Камилла.

— Я бы даже сказал, близкие друзья, — добавил Чарльз. — Одно время они были, что называется, не разлей вода.

— По-моему, они частенько ссорятся.

— Да, бывает, — сказала Камилла, — но это не значит, что они плохо друг к другу относятся. Генри такой серьезный, а Бан такой... э-э, в общем, несерьезный... Наверное, поэтому они прекрасно ладят.

— Вот именно, — сказал Чарльз. — L'Allegro и Il Penseroso.<sup>[25]</sup> Гармоничный дуэт. Мне кажется, Банни — единственный на свете, кто может рассмешить Генри.

Резко остановившись, он махнул рукой вдаль:

— Ходил туда когда-нибудь? Вон там, на холме, есть кладбище.

Я едва различал его сквозь сосны. Невысокие покосившиеся надгробия, как расшатанные зубы, торчали под такими странными углами, что в них чувствовалось застывшее движение, словно бы какая-то сверхъестественная сила, вроде полтергейста, лишь секунду назад разбросала их в истерическом припадке.

— Оно очень старое, — сказала Камилла. — Начала восемнадцатого века. Здесь был город, церковь и мельница. От построек остались одни фундаменты, зато сады до сих пор цветут — пепинки и зимние яблони. А там, где были дома, — мускусные розы. Бог знает, что с ними случилось. Может, эпидемия. Или пожар.

— Или могавки, — предположил Чарльз. — Сходи как-нибудь, посмотри. Место того стоит. Особенно кладбище.

— Там очень красиво. Особенно когда все в снегу.

За деревьями пламенел шар заходящего солнца, и перед нами маячили наши тени, причудливые и неестественно длинные. В воздухе стоял запах прелой листвы и дыма далеких костров, предчувствие сумеречной прохлады. Тишину нарушал только звук наших шагов по каменистой тропинке и шум ветра в вершинах сосен; меня одолевала дрема, голова раскалывалась, и во всем происходящем было что-то не вполне от этого мира, что-то похожее на сон. Мне казалось, я вот-вот вздрогну и проснусь, подниму голову от раскрытой книги и пойму, что сижу в своей темной комнате, совершенно один.

Вдруг Камилла остановилась и приложила палец к губам. На сухом, пополам расколотом молнией дереве сидели три огромные черные птицы, гораздо крупнее ворон. Таких я еще никогда не видел.

— Вороны, — пояснил мне Чарльз.

Мы замерли, наблюдая за ними. Неуклюже подпрыгивая, один из воронов добрался до конца ветки. Она заскрипела под его тяжестью, распрямилась, и с резким карканьем ворон поднялся в воздух. Двое других, тяжело хлопая крыльями, последовали за ним. Построившись треугольником, птицы проплыли над лугом. Три темные тени пронеслись

по траве.

Чарльз рассмеялся:

— Их трое, и нас трое. Предзнаменование, не иначе.

— Знак.

— Знак чего? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Чарльз. — Это Генри у нас любитель орнитомантии. Гадает по полету птиц.

— Он такой древний римлянин. Вот кто бы нам все истолковал.

Мы повернули домой, и вскоре, с вершины очередного подъема, вдали показались крыши общежитий. В холодной пустоте темнеющего неба молочной лункой ногтя плыл месяц. Я еще не привык к этим жутковатым осенним сумеркам, к резкому похолоданию и раннему приходу темноты. Вечер наступал слишком быстро, и опускавшаяся на луг мертвая тишина наполняла сердце странным трепетом и печалью. Я с тоской подумал об общежитии: пустые коридоры, старые газовые рожки, скрежет ключа в замке.

— Ну, до встречи, — сказал Чарльз, когда мы подошли к крыльцу Монмута. В свете фонаря его лицо казалось неестественно бледным.

Я увидел, что в Общинах уже зажглись огни и в окнах столовой мелькают темные силуэты.

— Здорово погуляли, — сказал я, засовывая руки глубже в карманы. — Может быть, поужинаете со мной?

— Боюсь, что нет. Нам нужно домой.

— Ну что же... — Я и огорчился, и почувствовал некоторое облегчение. — Значит, в другой раз.

— Слушай, а может?.. — вдруг произнесла Камилла, взглянув на брата. Тот нахмурился.

— Хм... А давай.

— Пойдем ужинать к нам, — сказала она, резко, словно в порыве вдохновения, повернувшись ко мне.

— Нет-нет, — поспешно отказался я.

— Пойдем, правда.

— Спасибо, не стоит. Seriously, не беспокойтесь.

— Пойдем-пойдем, — любезно сказал Чарльз. — У нас нет ничего особенного, но мы будем рады, если ты присоединишься.

Меня захлестнул прилив благодарности. На самом деле я хотел пойти с ними, очень хотел.

— А я точно не помешаю?

— Ничуть, — решительно заявила Камилла. — Пошли.

Чарльз и Камилла снимали меблированную квартиру на последнем этаже четырехэтажного дома в Северном Хэмпдене. Миновав прихожую, я оказался в маленькой гостиной со скошенными стенами и мансардными окнами. Кресла и тяжелый диван были обтянуты пыльной, протершейся на подлокотниках парчой: на бронзовой ткани — узор из роз, на болотно-зеленой — из желудей и дубовых листьев. Повсюду валялись потемневшие от времени полотняные салфетки. На каминной полке поблескивала пара подсвечников со стеклянными подвесками и несколько потускневших серебряных тарелок.

В квартире не то чтобы царил полный беспорядок, но до него было недалеко. Везде, где только можно, громоздились стопки книг; столы были завалены бумагами, пепельницами, бутылками из-под виски и коробками из-под конфет; по узкому коридору было не пройти из-за сваленных у стен зонтиков и галош. В комнате Чарльза на коврике была разбросана одежда, а через дверцу шкафа перекинута охапка разноцветных галстуков; ночной столик у кровати Камиллы был заставлен грязными чашками, среди которых подтекали перьевые ручки. В стакане засыхал букет ноготков, в изножье кровати был разложен незавершенный пасьянс. Общая планировка квартиры производила очень странное впечатление. Окна встречались в самых неожиданных местах, узкие коридорчики заканчивались тупиками, а дверные проемы были настолько низкими, что мне приходилось нагибаться. Я то и дело натыкался на какие-нибудь диковины: старый стереоскоп (пальмовые авеню призрачной Ниццы, уходящие в сепиевую даль), наконечники стрел в пыльной коробке, окаменелый отпечаток папоротника, птичий скелет.

Чарльз принялся исследовать содержимое кухонных шкафчиков. Камилла налила мне ирландского виски из бутылки, венчавшей стопку журналов «Нэшнл Джеографик».

— Ты видел смоляные ямы Ла-Бреа?<sup>[26]</sup> — спросила она так, словно это был самый обычный вопрос.

— Нет, — признался я, беспомощно уставившись в стакан.

— Представляешь, Чарльз, — крикнула она в сторону кухни, — он живет в Калифорнии и ни разу не был в Ла-Бреа.

Чарльз появился в дверном проеме, вытирая руки кухонным полотенцем.

— Правда? — спросил он с детским удивлением. — Почему?

— Не знаю.

— Там же так интересно! Подумать только!

— Ты многих здесь знаешь из Калифорнии? — спросила Камилла.

— Нет.

— По крайней мере, ты знаешь Джуди Пуви.

Я удивился: откуда ей это известно?

— Она не входит в число моих друзей.

— Моих тоже. В прошлом году она плеснула мне пивом в лицо.

— Я слышал, — засмеялся я, но она даже не улыбнулась.

— Не всему верь, что слышишь, — сказала она, отпивая виски. — А знаком ли ты с Клоуком Рэйберном?

Я видел его. Калифорнийцы в Хэмпдене — в основном из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса — сплотились в тесный круг, центром которого как раз и был Клоук Рэйберн: претенциозная улыбочка усталого светского льва, полуопущенные веки, сигареты одна за другой. Таких типов можно часто встретить в туалете на вечеринках, где они осторожно делают дорожки на краю раковины. Девушки из Лос-Анджелеса, в том числе Джуди, были фанатично преданы ему.

— Они с Банни приятели.

— Как так? — удивился я.

— Вместе учились в средней школе. В Сент-Джероме, в Пенсильвании.

— Это же Хэмпден, — подключился к разговору Чарльз. — Эти прогрессивные школы так и норовят заполучить проблемных студентов — дескать, «поможем жертвам непонимания». Клоук перевелся сюда после первого курса из колледжа в Колорадо. Там он целыми днями катался на лыжах и в конце года провалился по всем предметам. Хэмпден — последнее прибежище на свете...

— ...для отбросов общества со всего земного шара, — смеясь, закончила Камилла.

— Да ладно вам.

— Нет, я думаю, в каком-то смысле это действительно так, — сказал Чарльз. — Половина студентов учится здесь потому, что больше их никуда не примут. Не хочу сказать ничего плохого, Хэмпден — отличный колледж, но, может быть, в том-то и причина. Посмотри на Генри. Если бы его не взяли в Хэмпден, он, наверно, вообще остался бы без высшего образования.

— Не выдумывай.

— Я понимаю, звучит смешно, но он бросил школу в десятом классе. Подумай, какой приличный колледж возьмет такого недоучку? И вдобавок стандартные тесты... Генри отказался их сдавать. Уверен, это был бы

лучший результат за всю историю этих несчастных тестов, но они вызывают у него что-то вроде эстетического отвращения. Представляешь, что должна подумать приемная комиссия?

Он отхлебнул виски.

— Ну а ты как здесь оказался?

По выражению его глаз я не мог догадаться, о чем он думает.

— Мне понравился их буклет, — сказал я.

— И приемная комиссия, разумеется, встретила тебя с распростертыми объятиями.

Мне вдруг ужасно захотелось пить. В комнате было душно, у меня пересохло в горле, виски оставило во рту отвратительный привкус, и дело не в том, что оно было плохим, наоборот — отличным, но я был с похмелья, к тому же целый день не ел, и внезапно почувствовал, что сейчас меня вырвет.

Раздался стук в дверь — один короткий удар, а затем кто-то забарабанил не стесняясь. Не сказав ни слова, Чарльз осушил стакан и нырнул обратно в кухню, а Камилла пошла открывать.

Еще до того как дверь отворилась до конца, я различил блеск очков. Раздался нестройный хор приветствий, и все они ввалились в прихожую: Генри, Банни в обнимку с коричневым бумажным пакетом, Фрэнсис с бутылкой шампанского в правой руке, похожий на принца крови в своем длинном черном пальто и черных перчатках. Он вошел последним и, нагнувшись, громко чмокнул Камиллу в губы.

— Привет, дорогая! Мы ошиблись, но как удачно! Я купил шампанское, а Банни принес стаут, так что сегодня можно смешать «черный бархат». А что у нас на ужин?

Я поднялся. На долю секунды все замолчали, но тут Банни сунул свой пакет Генри и шагнул вперед, протягивая мне руку.

— Кого я вижу! — воскликнул он. — Соучастник преступления собственной персоной. Обедать мало показалось, еще и на ужин пожаловал?

Он хлопнул меня по плечу и понес какую-то ахинею. Мне было жарко, к горлу подкатывала тошнота. Я затравленно огляделся. Фрэнсис беседовал с Камиллой. Генри, стоявший у двери, слегка кивнул мне и еле заметно улыбнулся.

— Извини, — сказал я Банни. — Я сейчас.

Я пробрался на кухню. Она была похожа на кухню в доме стариков — потертый красный линолеум, закопченная плита, нутужно хрипящий холодильник. На крышу, вполне в стиле этой странной квартиры, вела дверь. Набрав воды из-под крана, я опрокинул стакан одним глотком:



слишком много, слишком быстро — классический случай. Чарльз сидел на корточках перед открытой духовкой и вилкой переворачивал отбивные из молодого барашка.

Я никогда не был любителем мясной пищи, в чем не последнюю роль сыграла весьма садистская экскурсия на мясокомбинат в шестом классе. Запах баранины не показался бы мне аппетитным и в лучшей ситуации, а в моем тогдашнем состоянии он был просто тошнотворным. Дверь на крышу была приоткрыта и подперта кухонным стулом, через ржавую сетку тянуло сквозняком. Я снова наполнил стакан и подошел к щели. «Глубокие вдохи, — подумал я, — свежий воздух, и все будет тип-топ...». Чарльз обжег палец и, чертыхнувшись, захлопнул духовку. Обернувшись, он с удивлением обнаружил меня:

— О, салют. Ты чего? Налить тебе еще?

— Нет, спасибо.

Он пригляделся к стакану у меня в руках:

— Что это у тебя — неужто джин? Где ты его откопал?

В дверях появился Генри.

— У тебя есть аспирин? — спросил он у Чарльза.

— Вон там. Выпить хочешь?

Вытряхнув на ладонь несколько таблеток, Генри проглотил их вместе с двумя загадочными капсулами, извлеченными из кармана, и запил протянутым Чарльзом виски.

Бутылочку с аспирином он оставил на полке. Я подошел и украдкой достал пару таблеток, но от внимания Генри это не укрылось.

— Нездоровится? — спросил он, как мне показалось, сочувственно.

— Нет, просто голова болит.

— Надеюсь, это у тебя не слишком часто?

— В чем дело? — спросил Чарльз. — Здесь что, все разболелись?

— Почему все толпятся на кухне? — обиженно прокричал из коридора Банни. — Когда мы наконец будем есть?

— Подожди, Бан, через минуту начнем.

Банни вразвалочку вошел на кухню и заглянул через плечо Чарльза, изучая противень, который тот только что вынул из духовки.

— По-моему, готово, — сказал он и, ухватив отбивную за косточку, вонзил в нее зубы.

— Банни, ну подожди немножко, — сказал Чарльз. — На всех может не хватить.

— Умираю от голода, — проговорил Банни с набитым ртом. — Крайняя степень истощения.

— Не забудь поглотить кости после ужина, — бросил Генри без тени улыбки.

— Заткнись.

— Правда, Бан, подожди чуть-чуть, — повторил Чарльз.

— Хорошо-хорошо, — ответил Банни, но, когда Чарльз отвернулся, украдкой стащил еще одну отбивную. Тонкая струйка розоватого сока потекла по его запястью и скрылась в рукаве.

Сказать, что ужин прошел плохо, было бы преувеличением, но и особо удачным назвать его было трудно. Я не совершил никакой явной глупости и не ляпнул ничего неуместного, но был недоволен собой, раздражен и подавлен, мало говорил, а ел и того меньше. Разговор по большей части касался неизвестных мне событий, и даже дружелюбные попытки Чарльза ввести меня в курс дела не слишком помогали понять, о чем речь. Генри и Фрэнсис без конца спорили о том, на каком расстоянии друг от друга стояли римские легионеры в боевом строю: плечом к плечу, как говорил Фрэнсис, или, как утверждал Генри, на расстоянии около метра. Этот спор перешел в другую, еще более долгую дискуссию — путаную и, на мой взгляд, исключительно занудную, — был ли первичный Хаос Гесиода не более чем пустым пространством или же хаосом в современном смысле слова. Камилла поставила пластинку Жозефины Бейкер, Банни съел мою отбивную.

Я ушел рано. И Фрэнсис, и Генри предложили отвезти меня домой, что почему-то еще больше меня расстроило. Я ответил, что лучше прогуляюсь, спасибо, и, ничего не соображая, с безумной улыбкой отступил из прихожей на лестницу, ни на секунду не поворачиваясь к ним спиной. Лицо у меня горело под их взглядами, выражавшими любопытство и легкую озабоченность.

До колледжа было недалеко, минут пятнадцать ходьбы, однако на улице холодало, у меня раскалывалась голова, а оставшееся от прошедшего вечера острое чувство неполноценности и полного провала нарастало с каждым шагом. Я снова и снова прокручивал в голове недавние события, пытаюсь припомнить точные формулировки замечаний, многозначительные интонации, утонченные оскорбления или, напротив, любезности, которые я мог упустить, и память охотно подбрасывала новый материал для мучительных переживаний.

Когда я вернулся, посеребренная луной комната показалась мне совершенно чужой. На столе перед распахнутым окном так и лежал открытый «Парменид», рядом стоял пластиковый стаканчик с недопитым

кофе. В комнате было прохладно, но я не стал закрывать окно. Я упал на кровать, не сняв ботинки и не включив свет.

Лежа на боку, я разглядывал пятно лунного света, растекшееся по дощатому полу. От внезапного порыва ветра взметнулись занавески, длинные и бледные, как привидения. Страницы «Парменида» зашелестели, словно открытую книгу пролистала невидимая рука.

Я собирался встать пораньше, но, когда проснулся, подскочив как пружина, уже вовсю светило солнце и часы показывали без пяти девять. Не побрившись, не причесавшись и даже не переодевшись после вчерашнего вечера, я схватил Лидэлла и Скотта<sup>[27]</sup> вместе с тетрадью по греческому и побежал на занятия.

За исключением Джулиана, который всегда принципиально задерживался на несколько минут, все уже были там. Проходя по коридору, я слышал голоса, но стоило открыть дверь, как мои одноклассники затихли и подняли головы.

Мгновение все молчали. Затем Генри произнес: «Доброе утро».

— Доброе утро, — ответил я. В ясном северном свете все они выглядели свежими, хорошо отдохнувшими, немного удивленными моим появлением; они внимательно наблюдали за мной, а я провел пятерней по волосам, мучительно сознавая, что не причесан.

— Похоже, приятель, ты сегодня забыл пообщаться с бритвой, — прокомментировал Банни. — Похоже...

Тут отворилась дверь, и вошел Джулиан.

Занятия в тот день были очень напряженными, особенно для меня, ведь мне нужно было так много наверстать. По вторникам и четвергам было приятно сидеть за чашкой чая и беседовать о литературе и философии, но остальные дни целиком посвящались греческой грамматике и литературной композиции, а это, по большей части, был умопомрачительно тяжелый труд. (Мне кажется, что сейчас, когда я стал старше и утратил прежнюю выносливость, я уже не смог бы подвигнуть себя на такую работу.) Так что мне было о чем беспокоиться помимо холодности, вновь охватившей моих одноклассников. Как и прежде, их окружала атмосфера непрístupной солидарности, как и прежде, они с изысканным, безупречным равнодушием смотрели сквозь меня. Вчера в их строю возникло свободное место, но сегодня оно исчезло, а я, казалось, вернулся к началу, не продвинувшись ни на шаг.

После занятий я пошел к Джулиану, якобы затем, чтобы обсудить, нельзя ли перезачесть некоторые предметы, хотя на уме у меня было нечто

совсем иное. Дело было в том, что решение бросить все ради греческого внезапно показалось мне поспешным, чтобы не сказать дурацким, а мои побудительные мотивы — просто смехотворными. О чем, спрашивается, я думал? Мне нравился греческий, и мне нравился Джулиан, но я уже не мог с уверенностью сказать, что мне симпатичны его ученики, и потом — неужто я и в самом деле хотел провести студенческие годы и всю дальнейшую жизнь, рассматривая фотографии разбитых куросов<sup>[28]</sup> и обсасывая тонкости употребления древнегреческих частиц? Два года назад подобное опрометчивое решение ввергло меня в тянувшийся целый год кошмар с захлороформленными кроликами и посещениями морга — кошмар, из которого я выбрался только чудом. Мое нынешнее положение было далеко не столь плачевным (мороз пробежал у меня по коже при воспоминании о лабораторных занятиях по зоологии: восемь утра, визг молочных поросят в тесных клетках), нет-нет, сказал я себе, гораздо менее плачевным. И все же недавний выбор казался большой ошибкой. Семестр, однако, был в разгаре, и еще раз менять предметы и куратора было поздно.

Думаю, я отправился тогда к Джулиану в надежде, что он возродит мою ослабевшую решимость, вернет неколебимую уверенность, владевшую мной в тот первый день. И это наверняка удалось бы ему без труда, если бы только наша беседа состоялась. Однако я так до него и не добрался. Поднявшись на лестничную площадку, я услышал голоса в коридоре перед его кабинетом и остановился.

Разговаривали Джулиан и Генри. Похоже, они не слышали, как я поднимался по лестнице. Генри собирался уходить, дверь кабинета была открыта, Джулиан стоял на пороге. Он сдвинул брови, и выражение его лица было очень серьезным, словно он говорил что-то чрезвычайно важное. Тут же решив (в припадке мнительности, а лучше сказать, паранойи), что они говорят обо мне, я высунулся из-за угла, насколько позволяла осторожность, и прислушался.

Джулиан как раз закончил свою речь. На секунду отведя взгляд в сторону, он прикусил нижнюю губу и вновь посмотрел на Генри.

Генри говорил тихо, но четко и, казалось, взвешивал каждое слово:

— Следует ли мне поступить, как я считаю нужным?

К моему удивлению, Джулиан заключил ладони Генри в свои.

— Именно так и следует всегда поступать. Никак иначе.

Что, черт возьми, подумал я, здесь происходит? Я замер на месте, стараясь не издать ни звука. Мне безумно хотелось исчезнуть, пока меня не заметили, но я боялся даже пошевелиться.

К моему несказанному, беспредельному удивлению, Генри наклонился

к Джулиану и быстро, по-деловому поцеловал его в щеку. Затем двинулся прочь, но, к счастью, обернулся, чтобы сказать что-то еще на прощание; я, как мог тихо, на цыпочках спустился вниз и, очутившись на нижней площадке, вне пределов слышимости, бросился бежать со всех ног.

Следующая неделя прошла в сюрреалистическом одиночестве. Листья желтели, часто шел дождь, рано темнело. В Монмуте студенты собирались по вечерам на первом этаже у камина, жгли похищенные под покровом ночи из преподавательского дома дрова и, протянув к огню разутые ноги, пили подогретый сидр. Я же шел с занятий прямиком к себе в комнату, минуя эти идиллические картины «домашнего очага» и не отзываясь даже на самые участливые и настойчивые приглашения присоединиться к общажному веселью.

Наверное, я был просто слегка подавлен столь непривычной, но уже утратившей новизну обстановкой: я чувствовал себя так, как будто находился в чужой стране с загадочным бытом, странными людьми и непредсказуемой погодой. Мне казалось, я болен, хотя теперь понимаю, что был вполне здоров, — просто мне все время было холодно, и я страдал бессонницей, нередко забываясь сном лишь на час-другой под утро.

На свете нет ничего более одинокого и бестолкового, чем бессонница. Я проводил ночи за греческим, просиживая порой до четырех утра — голова к тому времени гудела, глаза слезились, и во всем Монмуте светилось только мое окно. Когда сосредоточиться уже не было сил и буквы превращались в бессмысленные вилючки и треугольники, я читал «Великого Гэтсби» — одну из моих любимых книг. Я специально взял ее в библиотеке, надеясь, что она меня подбодрит, но эффект, разумеется, вышел обратный, поскольку сквозь призму владевшей мной меланхолии я видел в этом романе лишь некое трагическое сходство между Гэтсби и самим собой.

— После такой травмы мне пришлось туго, сам понимаешь...

В грохоте дискотеки слова загорелой блондинки едва долетали до меня. В начале вечеринки я уже выслушал эту историю: растянутые сухожилия, мир танца утерян безвозвратно, мир театра зовет к свершениям.

Она говорила все громче, силясь перекрыть музыку:

— Но, видишь, я очень остро осознаю себя как личность, осознаю свои потребности — я ведь столько пережила. Конечно, другие люди — это тоже очень важно, но, если честно, я всегда добиваюсь от них чего хочу.

Девушка была очень высокой, почти с меня ростом, и можно было не

спрашивать, откуда она — было и так понятно, что из Калифорнии. Наверное, дело было в ее голосе или, может быть, в красноватой веснушчатой коже (туго натянутой на выступающие ключицы и костлявую грудную клетку, безутешную в отсутствие каких-либо пленительных округлостей), открывавшейся моему взору в вырезе корсета от Готье. О том, что корсет от Готье, мне стало известно с ее собственных, как бы вскользь оброненных слов. На мой взгляд, ее одеяние скорее походило на мокрый купальник, нелепо зашнурованный спереди. Сквозь ее рубленое стаккато, которое так старательно имитируют калифорнийцы, выдающие себя за жителей Нью-Йорка, ясно проступали хрипловатые радушные нотки «золотого штата». Захолустная «Королева проклятых». Она была из тех симпатичных, загорелых бездельниц, которые в Калифорнии смотрели на меня как на пустое место. Однако сейчас она явно пыталась меня подцепить. После приезда в Вермонт мне случилось переспать — лишь однажды — с хрупкой рыжеволосой девчонкой, которую я встретил на вечеринке в первые же выходные. Потом мне сказали, что она богатая наследница бумажного магната со Среднего Запада, и с тех пор при встрече с ней я старательно отводил глаза. Как шутили в свое время мои одноклассники, это было единственным выходом для истинного джентльмена.

— Хочешь сигарету? — проорал я.

— Не курю.

— Я вообще-то тоже. Только на вечеринках.

— Ха-ха, ну давай, что ли... Кстати, не знаешь, где тут можно травки раздобыть? — прокричала она мне в самое ухо.

Пока я старательно ловил зажигалкой кончик ее сигареты, кто-то заехал мне локтем в спину и я чуть не упал на собеседницу. Музыка безумно грохотала, вокруг танцевали, на полу блестели лужи пива, у стойки бара творилось смертоубийство. Не было видно ничего, кроме Дантова сплетения тел и клубов дыма под потолком, но там, куда падал луч света из коридора, можно было различить то перевернутый стакан, то ярко накрашенный, искаженный хохотом рот. Даже по хэмпденским меркам вечеринка была безобразной и обещала стать еще хуже — первокурсники с отчаянными лицами уже выстроились в очередь перед туалетом, а кое-кого рвало прямо в зале, — но была пятница, я провел всю неделю над книгами, и мне было на все наплевать. Я точно знал, что не встречу здесь своих одноклассников. Не пропустив ни одной пятничной вечеринки с самого начала занятий, я знал, что студенты Джулиана избегают подобных мероприятий как чумы.

Блондинка уже переместилась на лестничную клетку, где было потише. Теперь можно было разговаривать спокойно, но после как минимум шести коктейлей с водкой мне в голову не приходило ни единой темы для разговора. Я даже не помнил, как ее зовут.

— Э-э, так на каком ты факультете? — спросил я наконец пьяным, непослушным голосом.

— На театральном. Ты уже спрашивал, — улыбнулась она.

— Извини, забыл.

Она критически оглядела меня:

— Слушай, тебе надо расслабиться. Посмотри на свои руки. Нельзя так напрягаться.

— Я расслаблен как никогда, — честно ответил я.

Вдруг в ее глазах вспыхнул огонек узнавания.

— Слушай, а я тебя знаю, — сказала она, оглядывая мой пиджак и галстук с изображением охоты на оленя. — Джуди мне все про тебя рассказала. Ты новенький из группы этих уродов, которые учат греческий.

— Джуди? В смысле, Джуди тебе все рассказала?

Она проигнорировала мой вопрос.

— На твоём месте я была бы поосторожней. Мне про них такой жуткой хрени порассказали...

— Например?

— Например, что они поклоняются дьяволу.

— У древних греков не было дьявола, — педантично поправил ее я.

— А мне говорили по-другому.

— Мало ли что... Наврали.

— Я еще кое-что слышала.

— И что же?

Она упрямо молчала.

— Кто тебе вообще все это наплел? Джуди?

— Сет Гартрелл, — сказала она так, словно теперь тема была закрыта.

Как ни странно, я знал, о ком идет речь. Гартрелл был бездарным художником и злостным сплетником, лексикон его при этом состоял из одних непристойностей, гортанных междометий и слова «постмодернизм».

— Ты общаешься с этой свиньей?..

В ее взгляде сверкнула враждебность:

— Сет Гартрелл — мой хороший друг.

Я и вправду выпил лишнего.

— Неужели? Тогда скажи-ка, откуда у его подружки все эти синяки? И правда, что он пишет на свои полотна, как Джексон Поллок?

— Сет — гений, — подчеркнуто холодно объявила она.

— Правда? Тогда он просто гениально притворяется ублюдком.

— Он прекрасный художник. Очень концептуальный. На художественном факультете все так говорят.

— Ах вот оно что! Ну тогда конечно. Раз все говорят, значит, это правда.

— Сета многие не любят. — Она уже не на шутку злилась. — Помоему, ему просто завидуют!

Кто-то потянул меня сзади за рукав. Поморщившись, я дернул локтем. Это могла быть только Джуди Пуви, и хотеть она могла лишь одного — занять денег. На каждой пятничной вечеринке она разыскивала меня примерно в одно и то же время и просила займы.

Меня снова потянули за рукав, на этот раз более настойчиво и бесцеремонно. Я раздраженно повернулся и, попятившись в изумлении, чуть не отдал ногам оказавшейся сзади блондинке.

Передо мной стояла Камилла. Сначала я увидел только ее стальные глаза — пронзительные, ошеломленные, сияющие в тусклом свете стойки бара.

— Привет, — сказала она.

— Привет. — Я прилагал все усилия, чтобы казаться равнодушным, и все же улыбался до ушей, не в силах скрыть радость. — Как дела? Как ты здесь оказалась? Принести тебе выпить?

— Ты занят?

Мне было трудно собраться с мыслями — золотистые завитки волос так очаровательно лежали у нее на висках.

— Нет-нет, ни капельки, — ответил я, глядя не в глаза, а на эти обворожительные завитки.

— Если занят, так и скажи, — негромко сказала она, бросив взгляд за мое плечо. — Не хочу отрывать тебя...

Ах да: мисс Готье. Я обернулся, почти уверенный, что услышу ехидное замечание, но она, видимо, махнула на меня рукой и уже подчеркнуто громко болтала с кем-то другим.

— Да нет, я совершенно свободен.

— Хочешь поехать за город на выходные?

— Что?

— Мы сейчас едем, Фрэнсис и я. У него дом в часе езды отсюда.

Я был здорово пьян, иначе вряд ли бы просто кивнул и пошел за ней без дальнейших вопросов. К выходу нам пришлось пробиваться через танцпол: волны пота и жара, мигающие рождественские гирлянды, жуткая



толкотня разгоряченных тел. Когда мы наконец выбрались на улицу, мне показалось, что я окунулся в прохладное, спокойное озеро. За закрытыми окнами приглушенно пульсировала дебильная музыка, сопровождаемая истошными воплями.

— Боже, ну и адское местечко, — сказала Камилла. — В каждом углу кого-нибудь рвет.

— Уух!

Из тени деревьев на нас выскочил Фрэнсис. Мы с Камиллой отпрянули, и он чуть изогнул губы в довольной усмешке. Блеснули стеклышки фальшивого пенсне, две струйки сигаретного дыма неспешно выплыли из его ноздрей и растаяли в воздухе.

— Привет. Камилла, я уж было подумал, что ты там и останешься.

— Честно говоря, мог бы пойти со мной.

— Рад, что не пошел, тут было столько всего интересного.

— Например?

— Например, охранники вынесли какую-то девицу на носилках, а огромная черная собака напала на сборище хиппи, — засмеялся Фрэнсис и подбросил связку ключей от машины. — Ну что, готовы?

У него был старый «мустанг», и всю дорогу мы ехали с откинутым верхом втроем на переднем сиденье. Как ни странно, раньше мне никогда не случалось ездить в кабриолете, но еще более поразительно, что я тут же уснул. Ощущение движения и взвинченные нервы нисколько не помешали, и, сам того не заметив, я уткнулся щекой в мягкую кожаную обивку дверцы: после бессонной недели я вырубился от шести коктейлей с водкой как от наркоза.

Я мало что помню о самой поездке. Фрэнсис вел машину уверенно и аккуратно: он был осторожным водителем в отличие от Генри, который всегда ездил быстро и часто лихачил, несмотря на плохое зрение. Ночной ветерок ерошил мне волосы, невнятные реплики Фрэнсиса и Камиллы и обрывки песен по радио причудливо вплетались в мои сновидения. Казалось, мы провели в пути всего несколько минут, как вдруг все стихло и я почувствовал на плече руку Камиллы.

— Просыпайся. Приехали.

Остатки снов мешались с явью, и мне было трудно понять, где я нахожусь. Помотав головой, я приподнялся на сиденье и стер ладонью слюну со щеки.

— Что, все еще спишь?

— Да нет, — сказал я, хотя на самом деле не совсем проснулся. Было

темно и не видно ни зги. Наконец я нащупал ручку дверцы, и только в тот момент, когда я вылезал из машины, из-за облаков показалась луна, и я увидел дом. Он был просто огромный. Его чернильный силуэт с островерхими башенками и «вдовьей дорожкой» резко выделялся на фоне неба.

— Ух ты!

Я не заметил, что Фрэнсис стоит рядом, и вздрогнул, услышав его голос прямо над ухом:

— Ночью трудно понять, какой он на самом деле.

— Это твой дом?

— Нет, — рассмеялся он. — Моей тетушки. Великоват для нее, но она не расстанется с ним ни за что на свете. На лето она приезжает сюда с моими двоюродными братцами, а так здесь живет только смотритель.

В холле сладковато пахло плесенью и стоял полумрак — казалось, что скудный, рассеянный свет идет от газовых рожков. Тени от пальм в кадрах, словно паутина, затягивали стены, а на потолке, таком высоком, что при одном взгляде вверх у меня закружилась голова, маячили искаженные очертания наших собственных теней. Из дальней комнаты доносились звуки фортепьяно. Длинные ряды фотографий и мрачных портретов в золоченых рамах уходили вглубь холла и исчезали из виду.

— Запах здесь, конечно, ужасный, — сказал Фрэнсис. — Если завтра будет хорошая погода, мы проветрим, а то у Банни разыграется астма от всей этой пыли... Это моя прабабушка, — сообщил он, указывая на фотографию, которая привлекла мое внимание, — а это, рядом с ней, ее брат — пошел ко дну вместе с «Титаником», бедняжка. Недели через три его теннисную ракетку выловили в Северной Атлантике.

— Пойдем, посмотришь библиотеку, — сказала Камилла.

Мы прошли через холл, Фрэнсис чуть позади нас с Камиллой, и миновали несколько комнат. Гостиная в лимонно-желтых тонах, с зеркалами в позолоченных рамах и хрустальными люстрами, темная столовая, заставленная мебелью красного дерева... Мне так хотелось задержаться и рассмотреть это великолепие, но пришлось удовольствоваться лишь беглым обзором на ходу. Звуки фортепьяно приблизились: играли Шопена, наверное, какую-нибудь прелюдию.

На пороге библиотеки у меня перехватило дыхание, и я застыл на месте: застекленные книжные шкафы и готические панно поднимались на добрые пять метров к украшенному фресками и лепными медальонами потолку. В глубине комнаты виднелся огромный, похожий на гробницу, мраморный камин, а под потолком, словно роня сверкающие хрустальные

капли, мерцал в полутьме шар роскошной газовой люстры.

Здесь стоял и рояль, за которым сидел Чарльз. На мягкой скамеечке рядом с ним я заметил стакан с виски. Чарльз был слегка пьян, и Шопен звучал небрежно, ноты сонно и плавно перетекали одна в другую. Ночной ветерок играл у него в волосах, покачивал тяжелые, изъеденные молью бархатные шторы.

— Обалдеть! — вырвалось у меня.

Музыка оборвалась, и Чарльз поднял голову:

— Наконец-то. Что так поздно? Банни вот уже спать отправился.

— А где Генри? — спросил Фрэнсис.

— Занимается. Может, еще спустится ненадолго перед сном.

Подойдя к роялю, Камилла сделала глоток виски из стакана Чарльза.

— Обязательно посмотри книги, — сказала она мне. — Представляешь, здесь есть первое издание «Айвенго».

— По-моему, его как раз продали, — сказал Фрэнсис, усевшись в кожаное кресло и закуривая. — Да, здесь есть парочка стоящих вещей, но в остальном — сплошь Мари Корелли<sup>[29]</sup> и старые выпуски «Ровер бойз».<sup>[30]</sup>

Я подошел к полкам. Нечто под названием «Лондон» некоего Пеннанта, шесть томов в переплете из красной кожи — огромные книги, полметра высотой. Рядом столь же массивное собрание в бледно-желтой коже — «История лондонских клубов». Либретто «Пиратов Пензанса».<sup>[31]</sup> Бесчисленные экземпляры «Бобси твинз».<sup>[32]</sup> «Марино Фальеро» Байрона в черном кожаном переплете, год отпечатан на корешке золотыми буквами: 1821.

— Слушай, если хочешь виски, налей себе в стакан, — сказал Чарльз Камилле.

— Не хочу. Я хочу еще глоточек из твоего.

Одной рукой протянув ей стакан, другой Чарльз ловко пронесся по клавиатуре.

— Сыграй что-нибудь, — попросил я.

Он закатил глаза.

— Ну сыграй, — поддержала Камилла.

— Не, не хочется.

— Разумеется — он же у нас давно все позабыл, — тихонько сказал Фрэнсис притворно сочувственным тоном.

Приложившись еще раз к виски, Чарльз правой рукой сыграл короткую восходящую гамму, закончив ее бессмысленной трелью. Затем, передав стакан Камилле, освободил левую, повернулся к роялю, и трель перешла в

первые такты одного из регтаймов Скотта Джоплина.

Он играл увлеченно, с улыбкой следя за пальцами, поднимаясь от басов до верхних октав сложными синкопами, которые сделали бы честь чечеточнику на лестнице Зигфелда. Камилла, сидевшая рядом с ним, улыбнулась мне, и я, все еще словно сквозь туман, улыбнулся в ответ. Отражавшееся от высокого потолка жутковатое эхо почему-то придавало этой отчаянно веселой музыке ностальгический оттенок, и я слушал, погруженный в воспоминания о никогда не виденном.

Чарльстон на крыльях парящих над землей бипланов. Сцены на палубе тонущего корабля, музыканты по пояс в бурлящей ледяной воде лихо выводят «Старое доброе время» — прощальный геройский припев. Нет, собственно говоря, в ту роковую ночь на «Титанике» пели вовсе не «Старое доброе время», а религиозные гимны. Гимны один за другим, католический священник без конца читал «Богородице Дево, радуйся», а салон первого класса, должно быть, точь-в-точь походил на эту библиотеку: темное дерево, пальмы в кадках, розовые шелковые абажуры с подрагивающей бахромой. Я и вправду слегка перебрал. Я сидел в кресле, завалившись набок и крепко вцепившись в подлокотники («Благодатная Марие, Матерь Божия...»), и даже пол у меня под ногами кренился, совсем как палубы на терпящем бедствие корабле: вот-вот мы все, вместе с роялем, издав истерическое «И-и-и!», соскользнем к стене.

На лестнице слышались шаги, и в библиотеку, сонно щурясь, в пижамах, ввалился взлохмаченный Банни.

— Какого черта! — обиженно пробубнил он. — Разбудили меня тут...

Никто даже не посмотрел на него и, в конце концов он плеснул себе виски и со стаканом в руке зашлепал босыми ногами обратно по лестнице.

Увлекательное это все же занятие — раскладывать содержимое памяти в хронологическом порядке. До первых выходных в загородном доме мои воспоминания о той осени туманны и расплывчаты, как неудачная фотография, начиная с этого уик-энда они становятся восхитительно четкими. Именно тогда надменные манекены, какими казались мои новые знакомые, начали зевать, потягиваться — одним словом, оживать. Конечно, прошло еще немало времени, прежде чем таинственное очарование и лоск новизны, не дававшие мне взглянуть на них объективно, исчезли без следа (хотя, надо сказать, их подлинная жизнь оказалась гораздо интереснее любой из версий, что рисовало мое воображение), но именно тогда за масками неприступных чужаков я впервые различил черты моих будущих друзей.

Сам себе в этих ранних воспоминаниях я представляюсь настороженным, недовольным, до странности молчаливым незнакомцем. Всю жизнь люди принимали мою застенчивость за угрюмость, снобизм, плохое настроение и тому подобное. «Хватит корчить такую надменную рожу!» — случалось, орал отец, когда я ел, смотрел телевизор или занимался каким-нибудь другим столь же безобидным делом. Однако черты лица (а дело, я думаю, именно в них — уголки моих губ обычно слегка опущены, но с настроением это никак не связано), которые так часто оказывали мне дурную услугу, иногда играли мне на руку. Месяцы спустя после знакомства с неразлучной пятеркой я с удивлением выяснил, что поначалу был для них не меньшей загадкой, чем они для меня. Я был твердо уверен, что они видят во мне неуклюжего провинциала, и не мог даже вообразить, что в моем поведении для них кроется нечто загадочное. Между тем именно так оно и было. Почему, спрашивали они меня потом, почему я ни словом не обмолвился о своем прошлом? Почему так старательно избегал их? (В ответ на этот вопрос я опустил глаза, осознав, что манера прятаться за первой попавшейся дверью вовсе не была гениальным шпионским трюком.) И почему, спрашивается, ни разу не пригласил их к себе, после того как сам побывал в гостях? Я-то думал, они пытаются уничтожить меня презрением, а на самом деле они просто ждали, с безупречной вежливостью незамужних тетюшек, что я сделаю ответный шаг.

Но как бы то ни было, именно тот уик-энд ознаменовал начало перемен. Темные промежутки между фонарями стали короче и случались реже — верный признак того, что поезд приближается к знакомым местам и скоро в окнах замелькают ярко освещенные улицы родного города. Дом был их козырем, их ненаглядным сокровищем, и в те выходные они показывали его мне не торопясь, постепенно, словно пытаясь растянуть удовольствие: головокружительные комнатухи в угловых башенках, высоченный чердак — балки едва различимы в полумраке, увешанные колокольчиками огромные старые сани в подвале, в которые, наверное, когда-то запрягали четверку лошадей. В бывшем сарае для экипажей теперь жил смотритель. («Кстати, вот идет миссис Хэтч. Милейшая женщина, но муж у нее — адвентист седьмого дня или что-то в этом роде, очень строгий. Когда он заходит в дом, мы тут же убираем спиртное. — А то что? — А то он впадет в депрессию и начнет разбрасывать по всему дому душеспасительные брошюры».)

Чуть позже мы прогулялись к озеру (как выяснилось, землевладельцы, имения которых располагались на его берегах, договорились, что озеро

будет находиться в общем пользовании). По дороге мне показали теннисный корт и старую беседку — толос<sup>[33]</sup> с дорическими колоннами, стилизованный под храмы Помпеи в соответствии с эстетическими воззрениями Стэнфорда Уайта,<sup>[34]</sup> и (как язвительно добавил Фрэнсис, которого раздражали эти викторианские потуги на классицизм) достойный послужить декорацией к фильмам Гриффита и де Милля.<sup>[35]</sup> Эта гипсовая бутафория, сообщил он, в свое время была заказана по каталогу «Сире, Роубак» и доставлена в разобранном виде. Парк кое-где сохранил остатки своего первоначального, по-викториански правильного и опрятного вида: осушенные пруды, где раньше плавали карпы, длинные белые колоннады, которые когда-то увивал плющ, аккуратно выложенные камнями границы дорожек между клумбами, где цветов давно уже не было и в помине. Однако по большей части эти следы былого величия едва проступали: живые изгороди буйно разрослись, а местные породы деревьев — лиственницы и ржавые вязы — совсем задушили оставшиеся кое-где айву и араукарию.

Безупречно гладкая поверхность озера, притаившегося среди берез, ярко блестела на солнце. В зарослях тростника виднелась маленькая деревянная лодка, белая снаружи и синяя внутри.

— А мы можем на ней покататься? — с любопытством спросил я.

— Конечно. Только не все вместе, а то утонем.

Я не плавал на лодке ни разу в жизни. Со мной отправились Генри и Камилла. Генри положил пиджак на банку и, закатав рукава по локоть, взялся за весла. Позже я хорошо познакомился с его манерой разражаться увлеченными, дидактическими, абсолютно самодостаточными монологами на тему, увлекавшую его в данный момент: племена катувеллаунов, поздняя византийская живопись, охота за головами на Соломоновых островах. В тот день, я помню, он говорил о Елизавете и Лестере: убитая жена, королевская барка, королева верхом на белом коне обращается к войскам у форта Тилбери, а Лестер и граф Эссекский держат повод... Поскрипывание весел и убаюкивающее гудение стрекоз сливались с его монотонным профессорским голосом. Камиллу клонило в сон, ее щеки горели румянцем, рука свесилась в воду за бортом. Облетающие с берез желтые листья медленно кружились в воздухе и опускались на озерную гладь. Лишь много лет спустя, далеко-далеко от тех мест я прочитал в «Бесплодной земле» Элиота эти строки:

Елизавета и Лестер  
Под взмахи весел

Корма красовалась  
Ракушкой морской  
Красной и золотой  
Рябью внезапной  
Подернулся берег  
Ветер с востока  
Нес над потоком  
Россыпь колоколов  
Белые башни  
Вайалала лайа  
Валлала лайлала <sup>[36]</sup>

Мы доплыли до другого берега и повернули назад, почти ослепленные блеском воды. Вернувшись, мы застали Банни и Чарльза на веранде. Они играли в карты, жуя сэндвичи с ветчиной.

— Эй, выпейте скорей шампанского! — приветствовал нас Банни.

— А то выдохнется.

— Где оно?

— Вон, в заварочном чайнике.

— Мистер Хэтч пришел бы в ярость, если б увидел на веранде бутылку, — пояснил Чарльз.

Они играли в «пьяницу» — это была единственная карточная игра, которую знал Банни.

В воскресенье я проснулся рано. В доме стояла тишина. Накануне вечером Фрэнсис отдал мою одежду миссис Хэтч в стирку и одолжил мне купальный халат; накинув его, я спустился, собираясь, пока никто не проснулся, немного посидеть на веранде в одиночестве.

Снаружи было прохладно и безветренно, небо подернуто белесой дымкой, какая бывает только осенним утром, плетеные стулья мокры от росы. Живые изгороди и лужайку перед домом накрыла сеть паутинок, на которых словно изморозь искрились бусинки росы. Готовясь к перелету на юг, ласточки беспокойно сновали у карнизов; издалека, с другого берега озера, укутанного одеялом тумана, донесся резкий одинокий утиный крик.

— Доброе утро, — раздался ровный голос у меня за спиной.

Вздвигнув, я обернулся и увидел, что на другом краю веранды сидит Генри. Он был без пиджака, но в остальном — в такую-то рань — одет безупречно: острые стрелки брюк, сияющая белизной накрахмаленная

рубашка. На столике перед ним, среди книг и бумаг, примостились кофеварка эспresso, выпускавшая облачка пара, и маленькая чашечка, а в пепельнице я с удивлением заметил дымящуюся сигарету без фильтра.

— Что-то ты спозаранку, — сказал я.

— Я всегда встаю рано. По утрам мне работается лучше всего.

— Чем занимаешься? Греческим? — спросил я, взглянув на книги.

Генри поставил чашку на блюдце:

— Перевожу «Потерянный рай».

— На какой язык?

— На латынь, — торжественно произнес он.

— Вот как. А зачем?

— Хочу посмотреть, что у меня выйдет. На мой взгляд, Мильтон — величайший английский поэт, я, например, ставлю его выше Шекспира, но иногда мне становится досадно, что он предпочитал писать по-английски. Конечно, он сложил немало стихов на латыни, но это было еще в студенческие годы. В «Потерянном рае» он доводит английский до пределов возможного, но я думаю, что язык без падежных окончаний в принципе не может поддержать тот структурный порядок, к торжеству которого он стремится.

Генри опустил сигарету в пепельницу. Как зачарованный я следил за поднимавшейся струйкой дыма.

— Хочешь кофе?

— Нет, спасибо.

— Надеюсь, ты спал хорошо.

— Да, очень.

— Мне здесь спится гораздо лучше, чем где бы то ни было, — сказал Генри, поправляя очки и склоняясь над словарем. Легкая сутулость плеч выдавала усталость и напряжение, которые я, ветеран многих бессонных ночей, тут же распознал. Внезапно я понял, что этот его неблагодарный труд был, скорее всего, просто средством скоротать ранние часы, сродни кроссвордам, над которыми убивают время многие жертвы бессонницы.

— Ты всегда так рано встаешь?

— Почти всегда, — ответил он, не поднимая глаз от бумаг. — Здесь очень красиво, но дело в том, что даже самые вульгарные вещи не вызывают отвращения на рассвете.

— Понимаю, о чем ты, — сказал я. Я действительно хорошо знал это чувство. Плано не казался мне невыносимым только ранним утром, когда на улицах не было ни души и сухая трава, заборы из сетки, одинокие низкорослые дубы — все было окутано мягким золотистым светом.



Генри оторвался от книг и посмотрел на меня почти с любопытством:

— Должно быть, тебе не очень нравилось там, где ты жил раньше?

Этот образчик дедукции в духе Шерлока Холмса изумил меня. Заметив мое смущение, Генри улыбнулся.

— Не волнуйся. Ты скрываешь это очень умело. — Он снова углубился в книгу, но через пару мгновений поднял глаза. — Знаешь, наши едва ли способны понять такие вещи.

Он произнес это без злости, без сочувствия, как бы мимоходом. Я даже не уверен, что правильно интерпретировал его слова, но именно тогда я впервые почувствовал нечто, чего раньше совсем не понимал: почему все остальные так любят его. Взрослые дети (да, понимаю, оксюморон) инстинктивно тянутся к крайностям: молодой ученый — гораздо больший педант, чем его старший коллега. И я, тоже будучи молод, принимал эти высказывания Генри очень близко к сердцу. Сомневаюсь, что сам Мильтон смог бы сильнее поразить мое воображение.

Полагаю, что в жизни каждого человека есть определенный критический период, когда характер определяется раз и навсегда. Для меня это был первый осенний семестр в Хэмпдене. Я прекрасно сознаю, сколь многие привычки (приобретенные, должен признаться, по большей части в подростковом подражании остальным студентам Джулиана) сохранились у меня до сих пор: манера одеваться, литературные вкусы, даже любимые блюда. Спустя годы мне не составляет ни малейшего труда припомнить распорядок дня моих новых друзей, вскоре ставший и моим собственным. При любых обстоятельствах они жили по часам, почти не оставляя места хаосу, который раньше казался мне неотъемлемым атрибутом студенческой жизни, — беспорядочное питание и занятия, полуночные походы в прачечную. В определенные промежутки времени, даже если мир грозил вот-вот обрушиться, можно было быть уверенным, что Генри сидит в круглосуточно открытом зале библиотеки, или что искать Банни совершенно бесполезно, потому что он ушел, как всегда по средам, на свидание с Марион или на свою обычную воскресную прогулку. (И так же, как Римская империя продолжала функционировать, даже когда людей, способных править ею, уже не осталось да и сама имперская идея давно погибла, наш ежедневный распорядок не изменился и в ужасные дни после смерти Банни. Всегда, всегда, вплоть до самого конца, по воскресеньям мы ужинали у Чарльза с Камиллой — за исключением вечера убийства, когда есть никому не хотелось и традиционный ужин перенесли на понедельник.)

Я был очень удивлен тем, с какой легкостью им удалось ввести меня в

циклический, поистине византийский круговорот своего существования. Они так привыкли друг к другу, что, наверное, видели в моем присутствии приятный элемент разнообразия, к тому же их интриговали даже самые заурядные мои привычки: пристрастие к детективам и регулярные походы в кино; то, что я пользовался одноразовыми бритвами и никогда не ходил в парикмахерскую, а стригся сам; даже то, что я читал газеты и время от времени смотрел новости по телевизору. Этот факт казался им верхом чудачества, эксцентричной особенностью, присущей мне одному. Никому из них не было абсолютно никакого дела до того, что происходит в мире; их невежество в области современной жизни и истории последних десятилетий поражало. Однажды за ужином Генри чуть не потерял дар речи, услышав от меня, что люди побывали на Луне.

— Не может быть, — сказал он потрясенно и отложил вилку.

— Правда-правда, — хором поддержали меня остальные, где-то умудрившиеся почерпнуть эту информацию.

— Не верю.

— Я сам видел, — подтвердил Банни. — По телику как-то показывали.

— Но как они туда попали? Когда это вообще произошло?

Когда мы собирались вместе, они все еще подавляли меня своим нерушимым единством, и по-настоящему близко я узнал их только поодиночке. Зная, что я тоже засиживаюсь допоздна, Генри иногда заезжал ко мне ночью по дороге из библиотеки домой. Фрэнсис — жуткий ипохондрик, который просто не мог ходить к врачу один, — часто уговаривал меня составить ему компанию, и, как ни странно, мы подружились именно во время этих поездок к аллергологу в Манчестер, к «ухо-горло-носу» в Кин и так далее. Той осенью ему больше месяца лечили зуб — сперва удаляли нерв, потом пломбировали канал. Каждую среду после полудня, белый как мел, он молча появлялся на пороге моей комнаты, и мы отправлялись в Хэмпден, в бар неподалеку от стоматологии, где сидели до трех часов, когда ему нужно было идти на прием. Я сопровождал его якобы для того, чтобы вести машину на обратном пути, пока он будет приходить в себя после веселящего газа, но, поскольку я дожидался его в баре, к тому моменту, когда он выходил от врача, наши возможности вести машину уже оказывались примерно на одном уровне.

Больше всего мне нравились близнецы. Они обращались со мной так радушно и непринужденно, словно мы были знакомы сто лет. К Камилле я питал особое чувство, но, как бы мне ни было приятно ее общество, я ощущал себя при ней слегка скованно, и дело было вовсе не в недостатке обаяния или сердечности с ее стороны, а в том, что я слишком сильно

жаждал произвести на нее впечатление. Я всегда с нетерпением ждал, когда снова ее увижу, и думал о ней беспокойно и часто, и все же куда уютней мне было в компании Чарльза. Импульсивный и добрый, он очень походил на сестру, но был больше подвержен перепадам настроения. Порой он надолго замыкался в себе, однако обычно был весел и разговорчив. В любом случае общаться с ним мне было легко. Одолжив у Генри машину, мы с ним ездили в Мэйн, где он традиционно заказывал клубный сэндвич в своем любимом баре, в Беннингтон, в Манчестер, на собачьи бега в Поуналь. Оттуда он в результате притащил домой старую борзую — она больше не могла участвовать в соревнованиях, и Чарльз спас ее от усыпления. Собаку звали Фрост. Она привязалась к Камилле и ходила за ней по пятам. Генри цитировал по памяти пассаж про Эмму Бовари и ее итальянскую борзую: «*Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne...*»<sup>[37]</sup> Но борзая была слабой и очень нервной, и однажды ясным декабрьским утром, когда она с радостным лаем бросилась в погоню за белкой, с ней случился сердечный приступ. В этом не было ничего неожиданного, служитель на трекке предупредил Чарльза, что собака, возможно, не протянет и недели, но близнецы все равно ужасно расстроились, и в тот день мы с грустью похоронили ее в саду за домом, где одна из тетушек Фрэнсиса устроила в свое время кошачье кладбище, ныне полное маленьких надгробий.

Собака питала симпатию и к Банни и частенько сопровождала нас с ним во время долгих воскресных прогулок — через ручьи и ограды, по болотам и пастбищам. Банни, страстно любивший ходить пешком, сам напоминал старую гончую. Его прогулки были такими утомительными, что никто, кроме меня и собаки, не соглашался составить ему компанию, но именно благодаря этим походам я хорошо изучил места вокруг Хэмпдена — все эти лесовозные дороги и охотничьи тропы, затерявшиеся водопады и скрытые в глуши озера.

Марион, подружка Банни, почти не показывалась на нашем горизонте — думаю, отчасти потому, что этого не хотел Банни, но прежде всего потому, что мы, видимо, интересовали ее еще меньше, чем она нас. («Ей больше нравится быть со своими подружками, — хвастался Банни мне и Чарльзу. — Они болтают о тряпках и перемывают косточки парням, всякая такая мура».) Невысокая и круглолицая, эта вздорная блондинка из Коннектикута была вполне симпатичной, если придерживаться тех стандартных представлений о внешности, согласно которым Банни можно было назвать красивым молодым человеком. Ее одежда представляла собой шокирующую смесь гардероба школьницы и матери семейства: юбки в

цветочек, свитера с вышитыми инициалами, а также сумочки и туфли, непременно подходившие по цвету к свитерам. По дороге на занятия я иногда замечал ее, каждый раз в новом свитерке, на детской площадке Центра развития малышей. Этот центр был какой-то частью факультета начального образования, и дети из Хэмпден-тауна ходили туда в садик. За ними-то Марион и надзидала, пытаясь яростными звуками свистка заставить детишек закрыть рта и разбиться на пары.

Хотя никто не распространялся об этом, я постепенно понял, что попытки приобщить Марион к развлечениям группы закончились полным провалом. Ей нравился Чарльз, который всегда вел себя очень вежливо и к тому же обладал удивительной способностью поддерживать оживленную беседу с кем угодно, от маленьких детей до официанток, Генри внушал ей, как и большинству знавших его людей, боязливое уважение, но она ненавидела Камиллу, а с Фрэнсисом у нее произошел какой-то катастрофический инцидент — настолько чудовищный, что никто о нем даже не заикался. Отношения, существовавшие между Марион и Банни, мне доводилось наблюдать разве что у супругов, проживших вместе по меньшей мере лет двадцать: отношения, постоянно колебавшиеся между трогательной заботой и мелочной раздражительностью. Марион вела себя очень по-командирски, обращаясь с Банни почти как со своими детсадовцами, да и Банни был похож на избалованного ребенка: то подлизывался к ней, то светился обожанием, то дулся. Ее придирки он, как правило, сносил спокойно, но, когда терпение у него лопалось, происходили жуткие сцены. Растрепанный, с безумными глазами, помятый еще больше обычного, он, бывало, стучался ко мне в комнату поздно вечером, бормоча: «Впусти меня, старина, ты просто обязан мне помочь, Марион вышла на тропу войны...» Через несколько минут раздавался аккуратный и настойчивый стук в дверь. Это была Марион — губы ниточкой, этакая сердитая куколка.

— Банни у тебя? — спрашивала она, встав на цыпочки и сисясь заглянуть мне через плечо.

— Нет.

— Правда?

— Марион, его здесь нет.

— Банни! — угрожающе взывала она.

Ответа не было.

— Бан-ни!!!

И тут, повергая меня в страшное смущение, за моей спиной с овцеватым видом появлялся сам Банни:

— Привет, солнышко.  
— Ты где был?  
Банни только мекал в ответ.  
— Думаю, нам нужно поговорить.  
— Зайка, я занят.  
— Тогда... — она бросала взгляд на свои изящные часики от Картье, — ...я иду домой. И через полчаса ложусь спать.  
— Вот и славненько.  
— Значит, увидимся минут через двадцать.  
— Э, погоди-ка, я, кажется, не сказал, что...  
— В общем, жду тебя, — говорила Марион и исчезала.  
— Я не пойду! — возмущенно орал Банни.  
— Я бы на твоём месте ни за что не пошел.  
— Да что она себе воображает!  
— Просто не ходи.  
— Нет, я её проучу! Давно пора было! Я занятой человек. Дел по горло. И я не собираюсь ни перед кем отчитываться!  
— Вот именно.  
Наступала неловкая тишина. Наконец Банни поднимался со стула:  
— Ну ладно, мне пора.  
— Ага. Счастливо, Бан.  
— Только не воображай, что я иду к Марион, — словно оправдываясь, добавлял он.  
— Я и не думал, ну что ты.  
— Угу, — рассеянно кивал головой Банни и уносился прочь.  
На следующий день они с Марион вместе появлялись в столовой или прогуливались под ручку возле детской площадки.  
— Так значит, вы с Марион помирились? — спрашивали мы, как только встречали его одного.  
— Вроде того, — сконфуженно признавался Банни.

Уик-энды в доме Фрэнсиса были самым счастливым временем. Той осенью листья пожелтели рано, но погожие дни стояли почти до конца октября, так что большую часть выходных мы проводили на улице. Не считая редких и вялых партий в теннис (отчаянный взмах, звонкий удар с лету — и мяч улетает за ограду корта, а оба игрока принимаются удрученно шарить ракетками в высокой траве), мы не предавались никаким атлетическим забавам — что-то в этом месте вдохновляло на восхитительную, роскошную лень, какой я не наслаждался с детства.

Впрочем, как я сейчас понимаю, мы весь день, хотя и понемногу, что-нибудь пили: струйка алкоголя начиналась с «кровавой Мэри» за завтраком и не иссякала до глубокой ночи. Пожалуй, это и было главной причиной нашего заторможенного состояния. Выбравшись на веранду с книгой, я тут же засыпал в кресле; взяв лодку, я вскоре уставал грести и часами дрейфовал по озеру. (О, эта лодка! Когда меня мучает бессонница, я пытаюсь представить, что лежу в ней, положив голову на стяжку кормы. Вода глухо плещется о деревянные борта, а желтые листья берез медленно кружатся в воздухе и, падая, касаются моего лица.) Периодически мы затевали что-нибудь более экзотическое. Однажды Фрэнсис нашел в ящике ночного столика своей тетушки «беретту» с запасом патронов, и некоторое время мы с небывалым азартом соревновались в стрельбе. (Борзая после всех своих бесчисленных забегов принимала каждый выстрел за сигнал стартового пистолета, и мы заперли ее в подвале.) Мишенями нам служили банки из-под краски. Мы расставляли их в ряд на плетеном чайном столике, который вытащили во двор. Однако это увлечение пришлось прекратить, когда Генри, страдавший сильной близорукостью, нечаянно подстрелил утку. Происшествие сильно его огорчило, и «беретту» убрали с глаз долой.

Кроме меня и Банни, все в нашей компании любили крокет, но мы с ним так и не освоили эту игру и лупили по мячу на манер неопытных гольфистов. Иногда, повинувшись неожиданному приливу бодрости, мы отправлялись на пикник. Поначалу все горело желанием устроить что-нибудь экстраординарное — тщательно составляли меню, выбирали удаленное и неизведанное местечко, — но заканчивалось все одним и тем же: ословевшие от жары, сонные и изрядно набравшиеся, мы с трудом заставляли себя подняться и плелись домой, волоча сумки с одеялами и посудой. Обычно же мы просто валялись весь день на лужайке перед домом, потягивая martini из термоса и наблюдая, как блестящая черная ниточка муравьев извивается на тарелке с остатками кекса. Наконец термос пустел, солнце заходило, и мы неохотно брели домой ужинать.

Вечера, когда приглашение на ужин в загородном доме принимал Джулиан, были особыми, торжественными событиями. Фрэнсис заказывал тонну разных продуктов, часами листал поваренные книги и нервничал, раздумывая над тем, что приготовить, какое вино подать, какой сервиз поставить на стол и какое блюдо иметь в запасе на случай, если суфле не поднимется. Смокинги отправлялись в химчистку, из цветочного магазина доставляли букеты, Банни убирал подальше «Невесту Фу Манчу» и расхаживал по дому с томиком Гомера.

Не понимаю, зачем на подготовку тратилось столько сил. К приезду Джулиана мы неизбежно были измотаны и взвинчены до предела. Эти вечера нелегко давались всем участникам, включая, я уверен, и почетного гостя. Впрочем, он вел себя безупречно — элегантен, остроумен, любезен и в восторге от всего — пусть и принимал в среднем лишь одно из трех таких приглашений. У меня плохо получалось скрывать душевное напряжение: мое знание этикета оставляло желать лучшего, смокинг с чужого плеча сковывал движения. Все остальные были гораздо опытнее в подобном притворстве. Бывало, за пять минут до появления Джулиана они, обмякнув, сидели на диванах в гостиной — во взглядах полное изнеможение, пальцы то и дело тянутся к воротничкам, шторы задернуты, в кухне на блюдах с подогревом томится ужин. Однако как только раздавался звонок, спины мгновенно выпрямлялись и в гостиной воцарялась оживленная беседа; даже смокинги, только что казавшиеся измятыми, теперь выглядели безукоризненно.

Тогда эти ужины казались мне мучительным испытанием, но сейчас, в воспоминаниях, они оборачиваются чем-то невыразимо прекрасным: темное сводчатое подземелье столовой, потрескивание поленьев в очаге, призрачная бледность и странное сияние наших лиц. Свет от камина растягивал наши тени, сверкал на столовом серебре, бросал отсветы на высокие стены; огненное отражение горело в окнах, словно снаружи погибал охваченный пожаром город. Пламя гудело и трепетало, так что казалось, будто под потолком, отчаянно пытаюсь вырваться на волю, мечется стайка птиц. И я бы, наверное, нисколько не удивился, если бы длинный банкетный стол красного дерева, накрытый белой скатертью, уставленный фарфоровыми блюдами, подсвечниками, вазами с фруктами и цветами, просто растворился в воздухе, как волшебный сундук из сказки.

Мои мысли снова и снова возвращаются к одной картине тех вечеров — она не дает мне покоя, словно навязчивый сюжет, исподволь повторяющийся в каждом сне. Джулиан встает с почетного места во главе стола и поднимает бокал с вином. «Живите вечно», — произносит он.

И все мы встаем следом и, будто отряд кавалеристов, скрещивающих сабли, со звоном сдвигаем бокалы: Генри и Банни, Чарльз и Фрэнсис, Камилла и я. «Живите вечно!» — хором откликаемся мы и единым жестом подносим бокалы к губам.

Всегда, всегда один и тот же тост. Живите *вечно*.

Сейчас я недоумеваю, как, проводя с ними столько времени, я почти не догадывался о том, что происходило в конце того семестра. Вообще-то в

сугубо физическом плане замечать было практически нечего — для этого они были слишком умны, — но я, пораженный своего рода сознательной слепотой, не обращал внимания даже на те мелкие странности, которые все же выходили наружу сквозь созданную ими броню. Иначе говоря, я никак не желал расставаться с иллюзией, что их отношение ко мне абсолютно искреннее, что мы друзья и между нами никаких секретов, хотя безусловная правда заключалась в том, что во многие вещи они не спешили посвящать меня даже спустя долгое время после знакомства. Старательно игнорируя этот факт, в глубине души я все прекрасно понимал. Я знал, например, что мои друзья иногда делали что-то впятером, не приглашая меня (хотя и не знал, что именно), а будучи застигнуты врасплох, лгали дружно и весьма правдоподобно. Настолько убедительно звучали их слова, настолько блестяще освоили они контрапункт и вариации вранья (непогрешимо беспечные рассказы близнецов вели вдохновенную тему на фоне шутовской болтовни Банни или раздраженно-скучающего тона Генри, в который раз воспроизводившего цепочку тривиальных событий), что я обычно верил им, зачастую вопреки неумолимым свидетельствам обмана.

Конечно, сейчас, возвращаясь в прошлое, я вижу признаки происходившего — отдадим им должное, признаки весьма скромные — взять хотя бы их манеру таинственно исчезать на несколько часов, а в ответ на вопрос, где же их носило, напускать тумана; их загадочные шутки, беглые замечания на греческом или, хуже того, на латыни, явно для меня не предназначенные. Естественно, мне это не нравилось, но, с другой стороны, ничего необычного или тревожного здесь не было; только гораздо позже мне открылся жуткий смысл некоторых из тех реплик и шуток. Скажем, к концу семестра Банни приобрел несносную привычку громогласно раздражаться песенкой «Фермер из долины». Бесконечное повторение куплетов казалось мне утомительным, но не более, и я только пожимал плечами, видя дикое беспокойство остальных, — теперь-то я понимаю, что от этого детского мотивчика душа у них уходила в пятки.

Разумеется, кое-что все-таки привлекало мое внимание. В конце концов, мы действительно много общались, только слепой не заметил бы ничего. Однако, как правило, это были случайности, расхождения, по большей части настолько незначительные, что вы и сами поймете, насколько смехотворными оказались бы любые подозрения. Например, все пятеро были крайне предрасположены к мелким бытовым травмам. Их вечно царапали кошки, им то и дело случалось порезаться при бритье или споткнуться в темноте о табуретку — разумные объяснения, бесспорно, но такое обилие синяков и ссадин у людей, ведущих сидячий образ жизни, не



могло не удивлять. Странной казалась и их постоянная озабоченность погодой. На мой взгляд, они не занимались ничем таким, чему могла бы помешать буря или поспособствовать солнечный денек. Тем не менее погода была у них общим пунктиком, особенно по этому поводу тревожился Генри. В первую очередь его волновали резкие спады температуры; порой, ведя машину, он, словно капитан корабля перед штормом, принимался яростно крутить ручки приемника в поисках сообщений об атмосферном давлении, долгосрочных прогнозов и вообще любых метеосводок. Сообщение об ожидаемом низком давлении повергало его в необъяснимое уныние. Что же будет зимой, думал я, но, едва выпал первый снег, этот острый интерес к погоде исчез без следа.

Мелочи. Помню, как-то я проснулся в шесть утра, спустился на кухню и обнаружил, что кто-то недавно вымыл пол, он еще был влажным и блестел — безупречная работа, если бы не таинственный отпечаток босой ноги Пятницы на песчаной отмели между нагревателем и верандой. Иногда по ночам я различал сквозь сон обрывки разговоров, скрип ступеней, поскуливание борзой, царапавшейся под дверью моей спальни. Однажды я ненароком подслушал, как близнецы шептались о каких-то простынях. «Глупый, — пробормотала Камилла, и на секунду передо мной мелькнула изорванная и заляпанная грязью ткань, — ты не те взял. Мы не можем вернуть их в таком виде.

— Подумаешь, вернем другие.

— Нет, они догадаются. В прокате прачечной на все ставят штамп. Придется сказать, что мы их потеряли».

Хотя я не стал долго размышлять над этим разговором, он меня озадачил, тем более что близнецы явно смутились, когда я поинтересовался, в чем дело. Еще одну загадку я обнаружил однажды днем на кухне: на дальней горелке плиты, испуская необычный запах, булькал большой медный котел. Я поднял крышку, и мне в лицо ударили клубы едкого и горького пара. В почерневшем кипятке плавали узкие заостренные листья. Что за черт, подумал я, удивившись, и приготовился посмеяться, но, когда я спросил об этом вареве Фрэнсиса, он отрезал без тени улыбки: «Мой настой для ванны».

Оглядываясь назад, так легко расставить все части головоломки по местам. Но я был слеп ко всему, кроме собственного счастья. Могу лишь добавить, что сама жизнь казалась мне тогда волшебной: сплетение символов, совпадений, предчувствий, знамений. Каждый день был чудесным продолжением дня вчерашнего; шаг за шагом являло себя некое лукавое, но благосклонное провидение, и я ощущал дрожь человека,

стоящего на пороге поразительного открытия, как будто одним прекрасным утром все должно было сойтись в высшей точке — мое будущее, прошлое, вся моя жизнь, — а я, подскочив на кровати, только и смог бы, что издавать ошеломленные возгласы не уместящегося в словах восторга.

Той осенью мы провели в загородном доме столько восхитительных дней, что сейчас, по прошествии лет, они сливаются в пеструю, милую сердцу кутерьму. С приближением Хэллоуина исчезли последние, самые стойкие полевые цветы и задул резкий, порывистый ветер, сметавший на серую, измятую волнами поверхность озера ворохи желтых листьев. В такие промозглые дни, когда по свинцовому небу бежали тяжелые тучи, мы не вылезали из библиотеки, то и дело подкладывая дрова в затопленный с утра камин. Голые ивовые ветви постукивали по стеклам, словно костяшки скелетов. На одном конце стола близнецы играли в карты, на другом занимался Генри, а Фрэнсис, уютно устроившись в нише окна с тарелкой канапе, читал мемуары герцога Сен-Симона в оригинале — почему-то он решил непременно одолеть этот объемистый труд. Фрэнсис учился в нескольких европейских школах и говорил по-французски безупречно, если не считать ленивого, снобистского акцента, который отличал и его английский. Иногда я просил его помочь мне, когда выполнял задания по начальному курсу французского — занудные рассказы из серии «как Мари и Жан-Клод ходили в табачную лавку»; он зачитывал их с такой томной протяжностью (*Marie — a apporté — des légumes — à son frère*<sup>[38]</sup>), что все чуть не по полу катались от смеха. Растянувшись на коврике перед камином, Банни делал домашнее задание; время от времени он исподтишка таскал у Фрэнсиса канапе или со страдальческим видом задавал какой-нибудь дурацкий вопрос по грамматике. При том что греческий давался ему со скрипом, он изучал его гораздо дольше остальных — с двенадцати лет, — чем без конца хвастался, намекая, что это был детский каприз, раннее проявление гениальности в духе Александра Поупа.<sup>[39]</sup> На самом деле, как я узнал от Генри, у Банни была сильная дислексия, и курс древнегреческого ему навязали в школе: там придерживались теории, что изучение языков, в которых не используется латинский алфавит — греческого, иврита или русского, — оказывает терапевтическое воздействие на детей, неспособных научиться читать обычным способом. Как бы то ни было, истинные лингвистические таланты Банни были гораздо скромнее его претензий, и даже с простейшим заданием он не мог справиться без постоянных вопросов, жалоб и набегов на кухню. К концу семестра у него

началось обострение астмы. С всклокоченными волосами, в наброшенном поверх пижамы халате он бродил по дому, хрипло дыша и театральным жестом поднося ко рту ингалятор. Мне по секрету сообщили, что таблетки против астмы вызывают у него бессонницу и нарушение пищеварения. На это побочное действие лекарств я и списывал тогда повышенную раздражительность Банни. Как выяснилось позже, причина коренилась совсем в другом.

Даже не знаю, о чем вам еще рассказать. Может, о том, как в одну декабрьскую субботу около пяти утра Банни пронесся по дому, как слон, прыгая по нашим кроватям с воплями «Первый снег!»? Или как Камилла учила меня танцевать бокс-степ, или как Банни перевернул лодку (в которой, кроме него, были Генри и Фрэнсис), потому что ему померещилась водяная змея? Или о том, как мы отмечали день рождения Генри, или о тех двух случаях, когда к нам, волоча за собой йоркширского терьера и второго мужа, неожиданно пожаловала мать Фрэнсиса? (Его матушка была той еще штучкой — ярко-рыжие волосы, изумрудное ожерелье, невообразимые туфельки из крокодиловой кожи. Крис, ее новый муж, играл эпизодическую роль в нескончаемой мыльной опере и был лишь несколькими годами старше Фрэнсиса. Звали ее Оливия. Когда я познакомился с ней, она только что выписалась из Центра Бетти Форд, излечившись от алкоголизма и пристрастия к какому-то наркотику, и с нескрываемой радостью вновь устремлялась на проторенную тропку греха. Чарльз рассказал мне, что как-то раз она постучалась к нему среди ночи и спросила, нет ли у него настроения присоединиться к ней с Крисом в постели. Я до сих пор получаю от нее открытки на Рождество.)

Впрочем, один из тех дней словно выгравирован в моей памяти: ослепительно солнечная суббота, последний по-летнему теплый денек октября. Накануне — кстати сказать, было довольно холодно — мы болтали и пьянствовали почти до утра. Проснулся я поздно. Было душно, меня слегка мутило, одеяла сбились в изножье кровати, а комнату заливал яркий свет. Очень долго я лежал не шевелясь. Солнце сквозь веки обжигало глаза, ноги под ворохом одеял зудели от жары. Весь дом подавленно замер в беззвучном мареве.

Я медленно спустился по скрипучей лестнице. Дом казался покинутым. Наконец в тенистой части веранды я обнаружил Фрэнсиса и Банни. Банни сидел в футболке и бермудах, Фрэнсис накинул заношенный махровый халат, украденный из отеля. На его неестественно бледном лице альбиноса горели розовые пятна, а прикрытые веки почти явственно подрагивали от боли.

Они пили «устрицы прерий». Фрэнсис, не глядя, подвинул ко мне свой бокал:

— Вот, выпей. Еще один взгляд на эту гадость — и меня вырвет.

В кровавой ванне кетчупа и вустерского соуса, словно живой, подрагивал желток.

— Нет уж, спасибо, — сказал я, отодвигая бокал.

Откинувшись в кресле, Фрэнсис скрестил ноги и страдальчески сжал пальцами переносицу.

— И зачем я только готовлю эту отраву? — простонал он. — Никакого эффекта. Нужно принять алкозельцер.

Тихонько прикрыв за собой раздвижную дверь, на веранду проскользнул Чарльз, одетый в красный полосатый халат.

— Знаешь, что тебе на самом деле нужно? «Поплавок» с мороженым.

— Ох, только твоих поплавок мне и не хватало.

— Говорю тебе, они действуют. С научной точки зрения. Холодное питье помогает от тошноты, а...

— Чарльз, я слышу твою теорию в сотый раз, но, по-моему, все это глупости.

— Да можешь ты хоть секунду послушать? Мороженое замедляет пищеварение. Кока-кола прекращает позывы к рвоте, а от кофеина проходит головная боль. Сахар дает силы. И вдобавок ускоряет расщепление алкоголя. Это просто идеальное средство.

— А сделай-ка мне такую штуку, — заинтересованно подал голос Банни.

— Сам сделай, — с внезапным раздражением отрезал Чарльз.

— Нет, серьезно, — сказал Фрэнсис. — Мне просто нужен пакетик алкозельцера.

Вскоре на веранду спустился Генри (он, в отличие от остальных, встал с рассветом и был одет прилично), а вслед за ним появилась сонная Камилла, влажная и покрасневшая после ванны. Ее золотая головка, вся в беспорядочных завитушках, напоминала растрепанную ветром хризантему. Дело шло к двум часам. Борзая дремала на боку, каштановый глаз был приоткрыт и потешно вращался в глазнице.

Алкозельцера в доме все равно не нашлось, так что Фрэнсис принес бутылку имбирного пива, стаканы и лед, и какое-то время мы потихоньку приходили в себя. Солнце палило вовсю, становилось все жарче. Камилла, которая не любила сидеть на месте и вечно искала, чем бы себя занять — партией в карты, сборами на пикник, поездкой, чем угодно, — скучала, не скрывая своего недовольствия. У нее в руках была книга, но она так и не

открыла ее; перебросив ноги через подлокотник плетеного кресла, она упрямо отбивала босой пяткой рваный ритм. Наконец, главным образом чтобы поднять ей настроение, Фрэнсис предложил прогуляться к озеру. Камилла мгновенно оживилась. Делать было нечего, и мы с Генри тоже решили пройтись. Чарльз и Банни уснули прямо в креслах и только мерно посапывали.

Небо сияло яростной, обжигающей синевой, кроны деревьев полыхали раскаленными оттенками алого и золотого. Фрэнсис, отправившийся на прогулку босиком и в халате, осторожно перешагивал через камни и ветки, стараясь не расплескать пиво. Когда мы пришли на берег, он зашел в воду по колено и, воздев руки, как Иоанн Креститель, позвал нас к себе.

Мы сняли обувь и носки. Прозрачная бледно-зеленая вода прохладой ласкала лодыжки, на дне, покрытая сетью солнечных бликов, зыбилась галька. К Фрэнсису подошел Генри; он закатал брюки, но остался в пиджаке и галстуке — старомодный банкир с картины сюрреалиста. Ветерок прошелестел в березах, показав на мгновение бледную изнанку листьев. Юбка платья Камиллы надулась, словно белый воздушный шар. Засмеявшись, она быстро сбила подол, но ветер тут же надул его снова.

Камилла и я брели по мелководью, где вода едва доходила до щиколоток. Поверхность озера переливалась нестерпимо яркими солнечными бликами, словно это было и не озеро, а мираж в Сахаре. Генри и Фрэнсис ушли далеко вперед. Облаченный в белый халат Фрэнсис о чем-то говорил и бурно жестикулировал, а Генри, сложив руки за спиной, спокойно возвышался рядом — Сатана, терпеливо выслушивающий страстные прорицания безумного отшельника.

Пройдя изрядный путь вдоль берега, мы повернули назад. Прикрывая глаза ладонью, Камилла рассказывала мне какую-то долгую историю про борзую — кажется, собака сгрызла хозяйский коврик из овчины, близнецы попытались спрятать улику, а потом, отчаявшись, решили ее уничтожить, — но я едва следил за ходом повествования. Она была очень похожа на Чарльза, но правильные мужские черты брата, повторенные с незначительными вариациями в сестре, приобрели что-то поистине магическое. Для меня Камилла была мечтой, ставшей явью. Один взгляд на нее пробуждал к жизни почти безграничный мир фантазий — от эллинизма до готики, от вульгарного до сакрального.

Завороженный мягкими модуляциями ее хриповатого голоса, я искоса поглядывал на ее профиль, как вдруг резкий возглас вернул меня к действительности. Камилла остановилась.

— Что случилось?

Она опустила голову:

— Смотри!

От ее ступни поднимался темный фонтанчик крови. Я растерянно наблюдал, как над бледными пальцами, словно кольца кровавого дыма, кружатся тонкие алые нити.

— Боже, что с тобой?

— Не знаю. Наступила на что-то острое.

Она положила руку мне на плечо, и я обнял ее за талию. Из стопы, чуть выше свода, торчал длинный, зловеще поблескивающий осколок зеленого стекла. Кровь извергалась сильными ритмичными толчками — судя по всему, Камилла повредила артерию.

— Что там такое? — спросила она, пытаясь разглядеть ногу.

— Фрэнсис! — заорал я. — Генри!

Заметив рану, Фрэнсис ускорил шаг, подобрав повыше подол халата:

— Матерь Божья! Что ты с собой натворила? Идти-то хоть можешь? Дай-ка я посмотрю!

Камилла вцепилась мне в руку. Вся ее ступня была словно покрыта алой глазурью. Густые капли срывались в озеро и медленно расплывались, как тушь в чистой воде.

— Больно? — простонал Фрэнсис, закрывая глаза.

— Нет, — поспешно ответила она, но я-то знал, что ей жутко больно: она побледнела как полотно, и я чувствовал, как ее бьет дрожь.

Внезапно рядом оказался Генри и тоже склонился над ней.

— Обними меня за шею, — деловито сказал он, ловко подхватывая ее на руки, как ребенка.

— Фрэнсис, живо беги в машину за аптечкой. Встретимся на полпути.

— Хорошо! — с облегчением ответил Фрэнсис и торопливо зашлепал к берегу.

— Генри, отпусти меня. Ты же весь в крови.

Он сделал вид, что не слышит.

— Ну-ка, Ричард, — обратился он ко мне, — возьми вон тот носок и затяни его потуже вокруг лодыжки.

Только тут я вспомнил, что в таких случаях накладывают жгут, — отличный бы вышел из меня врач, нечего сказать.

— Не слишком туго?

— Нет, нормально. Генри, правда, хватит, я же тяжелая.

Он улыбнулся. На одном из его передних зубов я разглядел небольшую щербинку, которую прежде никогда не замечал; она придавала его улыбке странное обаяние.

— Ты легкая как перышко.

Порою, когда случается какая-нибудь беда, реальность становится слишком неожиданной и странной, непостижимой, и все тут же заполняет собой нереальное. Движения замедляются, кадр за кадром, словно во сне; один жест, одна фраза длятся вечность. Мелкие детали — сверчок на стебельке, прожилки листа — внезапно выходят на передний план, обретая болезненную четкость. Именно это и произошло тогда, пока мы добирались от озера домой. Пейзаж был похож на огромную картину, неестественно насыщенные краски которой выдают ее рукотворное происхождение. Каждый камешек, каждая травинка были прорисованы с беспощадной скрупулезностью, при взгляде на небо от синевы ломило глаза. Камилла обмякла на руках у Генри — голова запрокинута, словно у утопленницы, изгиб шеи безжизнен и прекрасен. Подол ее платья беспечно трепетал на ветру. Брюки Генри были заляпаны пятнами величиной с четвертак, слишком красными для крови, — как будто кто-то стряхнул на него только что вынутую из краски кисть. В промежутках между звуками наших шагов я слышал только комариный звон крови в ушах.

Чарльз, босой, все еще в халате, кубарем скатился с холма. Фрэнсис спешил за ним по пятам. Опустившись на колени, Генри осторожно уложил Камиллу на траву. Она приподнялась на локтях.

— Камилла, ты умираешь? — выпалил Чарльз, падая на землю рядом с сестрой и с ужасом глядя на рану.

— Кому-то, — сказал Фрэнсис, разматывая бинт, — придется вытащить этот осколок.

— Может, я попробую? — спросил Чарльз, поднимая глаза.

— Только осторожно.

Взявшись за пятку, Чарльз ухватил осколок двумя пальцами и слегка потянул. Камилла судорожно втянула воздух.

Чарльз отпрянул как ошпаренный. Он было опять протянул руку, но тут же ее опустил. На кончиках пальцев у него блестела кровь.

— Ну, давай же, — сказала Камилла, совладав с собой.

— Не могу. Боюсь сделать тебе больно.

— Мне и так больно.

— Не могу, — выдавил Чарльз, жалобно глядя на нее.

— Отойди отсюда, — скомандовал Генри, быстро встав на колени и приподнимая раненую ногу.

Чарльз отвернулся. Он был бледен не меньше сестры, и я вспомнил старое поверье: когда один из близнецов ранен, другой тоже чувствует боль.

Глаза Камиллы распахнулись, она дернулась, но Генри уже держал в окровавленной руке изогнутый кусок стекла.

— Consummatum est.<sup>[40]</sup>

Фрэнсис начал орудовать йодом и бинтами.

— Ничего себе, — сказал я, рассматривая на свет стекляшку в красных разводах.

— Вот и умница, — приговаривал Фрэнсис, старательно бинтуя ступню. Как многие ипохондрики, он умел разговаривать с больными на редкость утешным тоном, не хуже опытной сиделки. — Вы только посмотрите на нее. Она даже не плакала.

— Не так уж это было и больно.

— Черта с два! Просто ты очень храбрая девочка.

Генри поднялся с колен.

— Да, очень храбрая, — сказал он.

Ближе к вечеру мы с Чарльзом сидели на веранде. Внезапно похолодало; по-прежнему сияло солнце, но поднялся ветер. Мистер Хэтч недавно вошел в дом с охапкой дров, и в воздухе уже потянуло тонким и терпким запахом дыма. Фрэнсис, напевая, отправился готовить ужин; его звонкий, высокий, немного фальшивящий голос доносился до нас из окна кухни.

Рана Камиллы оказалась неопасной. Фрэнсис сразу же повез ее в травмпункт — Банни, раздосадованный тем, что проспал столь интересное событие, поехал с ними — и они вернулись уже через час. Камилле наложили шесть швов, перебинтовали ногу и выдали пузырек тайленола с кодеином. Теперь Генри и Банни играли в крокет, а она наблюдала за игрой. Слегка опираясь на больную ногу, она прыгала вдоль края площадки на здоровой, что издавала впечатление разудалого танца.

Мы пили виски с содовой. Чарльз попытался научить меня играть в пикет («Ведь в пикет играл Родон Кроули в „Ярмарке тщеславия“, помнишь?»), но я оказался никудышным учеником, и карты лежали без дела.

Чарльз отхлебнул виски. Он так и провел весь день в халате.

— Жаль, что завтра нам нужно возвращаться в Хэмпден, — сказал он.

— Жаль, что нам вообще нужно возвращаться, — отозвался я. — Вот было бы здорово здесь жить.

— Ну, в принципе это возможно.

— Что?

— Не сейчас, конечно. Потом. После колледжа.



— То есть?

— Видишь ли, — пожал плечами Чарльз, — тетушка Фрэнсиса ни за что не станет продавать дом на сторону. Она хочет оставить его в семье. Когда Фрэнсису исполнится двадцать один, он получит его за гроши. А если даже это будет не так дешево, у Генри денег столько, что он не знает, куда их девать. Они могут скинуться и купить дом вдвоем. Запросто.

Этот прагматичный ответ озадачил меня.

— Я что имею в виду, — пояснил Чарльз, — когда Генри закончит колледж — если, конечно, он его закончит, — ему понадобится местечко, где можно спокойно писать книги и изучать двенадцать великих цивилизаций.

— Как это, если он закончит?

— Да так. Надоест ему, и все. Он и раньше поговаривал, что бросит учебу. По большому счету в колледже ему делать нечего, а работу искать он точно никогда не станет.

— Ты думаешь? — с любопытством спросил я. Я всегда представлял себе Генри преподавателем греческого в каком-нибудь элитном колледже, затерянном на просторах Среднего Запада.

— Вот еще! — фыркнул Чарльз. — С какой стати? Деньги ему не нужны, а преподаватель из него ужасный. Фрэнсис — тот и подавно за всю жизнь палец о палец не ударил. Подозреваю, он мог бы жить с матерью, если б не ее новоиспеченный муженек. Нет, здесь ему будет лучше. К тому же и Джулиан тут рядом.

Сделав глоток, я пригляделся к далеким фигурам на площадке. Банни, не обращая внимания на закрывавшие глаза пряди волос, готовился ударить по шару, примеряясь молотком и раскачиваясь взад-вперед, как чемпион мира по гольфу.

— А у Джулиана есть родственники?

— Нет, — ответил Чарльз, обсасывая кубик льда. — Только какие-то племянники, но он их терпеть не может. Ну-ка, ну-ка, смотри, — оживился он, приподнимаясь в кресле.

Я проследил за его взглядом. Банни, стоявший на дальнем краю лужайки, наконец-то сделал удар. Шар прокатился мимо шестых и седьмых ворот, но каким-то чудом задел колышек.

— Погоди, — сказал я. — Вот увидишь, он потребует еще удар.

— Не дождется, — сказал Чарльз, опускаясь в кресло, но все еще следя за игроками. — Генри сейчас вправит ему мозги.

Генри указывал на пропущенные ворота, хотя слов было не разобрать, я был уверен, что он педантично цитирует правила. До нас долетели вопли

оскорбленного Банни.

— Похмелье вроде прошло, — чуть погодя заметил Чарльз.

— У меня тоже, — ответил я.

Закат разливал золото по траве, вытягивал из деревьев длинные бархатистые тени. Омытые вечерним светом облака казались творением Констебля. Мне не хотелось в этом признаваться, но я снова был почти пьян.

Мы посидели в тишине, наблюдая за игрой. С площадки доносились приглушенные сухие удары молотков по шарам, на кухне под звон кастрюль и хлопанье шкафчиков Фрэнсис распевал, судя по исполнению, самую веселую песню на свете: «Мы овечки, заблудшие в дикой чащобе... Бе-е! Бе-е! Бе-е!...»<sup>[41]</sup>

— А если Фрэнсис купит дом, — сказал я наконец, — думаешь, он пустит нас жить?

— Еще бы. С одним только Генри он спятит от скуки. Банни, наверно, придется работать в банке, но он сможет навещать нас по выходным, если оставит дома Марион и детишек.

Я рассмеялся. Накануне вечером Банни объявил, что хочет восьмерых детей, четырех мальчиков и четырех девочек. В ответ Генри разразился долгой тирадой, объясняя без тени иронии, что в природе завершение репродуктивного цикла неизбежно влечет за собой скорую дегенерацию и смерть.

— Ужасно, — сказал Чарльз. — Я просто вижу, как он стоит в садике перед домом, напялив дурацкий фартук.

— Поджаривает гамбургеры, ага.

— А вокруг него с воплями носятся штук двадцать детишек.

— Пикники Киванис-клуба.

— Шезлонги от «Лэй-Зи-Бой».

— Не говори...

Ветер встряхнул кроны берез, и те щедро осыпали нас желтыми листьями. Я снова отхлебнул виски. Если б я даже вырос в этом доме, я и то не мог бы любить его сильнее; и скрип качелей, и узор вьющегося по решетке ломоноса, и мягкие складки холмов с серой каймой у горизонта, и едва заметная за деревьями полоска шоссе — все это не могло бы быть более родным. Самые краски этого места вошли в мою кровь. Если Хэмпден впоследствии вспоминался мне смятенным вихрем белых, зеленых и красных мазков, то загородный дом появлялся перед мысленным взором роскошной акварелью — слоновая кость, ляпис-лазурь, каштан, охра, золото, — на которой лишь постепенно проступали знакомые

контуры: стены, крыша, небо, клены. Увы, даже в тот вечер, когда я сидел на веранде с Чарльзом и вдыхал запах поднимавшегося из труб дыма, мне не верилось, что это действительно происходит со мной; все было у меня перед глазами и все же казалось прекрасной иллюзией.

Темнело, подходило время ужина. Одним глотком я допил виски. Жить здесь и никогда не возвращаться в мир асфальта, торговых центров и сборной мебели, жить здесь с Чарльзом, Камиллой, Генри, Фрэнсисом, может быть, даже с Банни и быть уверенным, что никто из нас не обзаведется семьей, не уедет домой, не найдет работу в каком-нибудь городе за тысячи километров отсюда — одним словом, не запятнает себя ни одним из тех предательств, которые совершают друзья после колледжа; жить и знать, что все останется в точности таким же, как сейчас, — эта мечта была поистине божественной, и я не знаю, верил ли я даже в тот миг, что она может сбыться, но мне хотелось бы думать, что верил.

Фрэнсис набирал обороты для проникновенного финала: «Хор джентльменов в чаду кабаков... Проклят отныне во веки веков...»

Чарльз искоса взглянул на меня:

— Ну так что?

— В смысле?

— Я имею в виду, какие планы? — спросил он с улыбкой. — Что будешь делать в ближайшие лет сорок-пятьдесят?

На лужайке в этот момент Банни выбил шар Генри метров на двадцать за край площадки. Полыхнул взрыв смеха. Негромкий, но отчетливый, он долетел к нам слабым эхом в вечернем воздухе. Этот смех преследует меня до сих пор.

## Глава 3

С первого же дня, как я оказался в Хэмпдене, я начал со страхом думать о конце семестра, который означал для меня возвращение в Плано, к автозаправкам на выжженной пыльной равнине. По мере того как семестр подходил к концу, а снега наметало все больше, утренние часы становились все темнее и дата на заляпанной ксерокопии (17 декабря — последний срок сдачи всех работ), приклеенной к дверце шкафа, все ближе, моя меланхолия перерастала в смятение. Мне казалось, я не вынесу очередное Рождество с семьей: ни малейшего намека на снег, пластмассовая елка и не смолкающий ни на минуту телевизор. Да и сами родители не то чтобы жаждали меня видеть. В последние годы они подружились с бездетной и патологически болтливой пожилой четой по фамилии МакНэтт. Мистер МакНэтт торговал автозапчастями, миссис МакНэтт, похожая на жирного голубя, продавала косметику «Эйвон». Под их влиянием родители пристрастились к поездкам по дешевым фабричным магазинчикам, начали играть в кости и просиживать вечера напролет в баре отеля «Рамада-инн», где играл тапер. С наступлением праздников все это поглощало их почти целиком, и, хотя мое присутствие было недолгим и редким, они видели в нем лишь досадную помеху и даже что-то вроде молчаливого упрека.

Впрочем, праздниками проблема не ограничивалась. Поскольку Хэмпден находился так далеко на севере, а отопление старых зданий требовало немалых затрат, на январь и февраль колледж закрывали. Я уже просто слышал, как, пропустив пару-тройку бутылок пива, мой отец жалуется на меня мистеру МакНэтту, а тот, в свою очередь, подначивает его намеками на то, что я испорчен и что он-то уж точно, будь у него сын, не позволил бы ему садиться себе на шею. Это привело бы отца в бешенство, и в конце концов он с трагическим видом вломился бы ко мне в комнату и, закатив глаза, как Отелло, выставил бы меня вон, указуя дрожащим перстом на дверь. Когда я учился в старших классах и в прежнем колледже, он проделывал это много раз без всякой причины, просто чтобы продемонстрировать свой авторитет матери и работникам заправки. Как только ему надоедало всеобщее внимание и матери дозволялось «немного его образумить», меня всегда звали обратно. Но что будет на этот раз? У меня даже больше не было комнаты: в октябре мать сообщила в письме, что продала всю мебель и превратила мою спальню в свою «швейную мастерскую».

Генри и Банни улетали на все каникулы в Италию, в Рим. Эта новость, объявленная Банни в начале декабря, меня удивила, тем более что уже около месяца в их отношениях сквозила некоторая напряженность. Я объяснял ее растущим недовольством Генри — в последнее время Банни постоянно тянул из него деньги, Генри же, хотя и сетовал по этому поводу, почему-то никогда ему не отказывал. Я был почти уверен, что дело не в самих деньгах, а в принципе. Не сомневался я и в том, что сам Банни даже не подозревал, что между ними что-то не так.

Предстоящая поездка целиком завладела помыслами Банни. Он купил кучу одежды, целую стопку путеводителей, аудиокурс «Parliamo Italiano», [\[42\]](#) обещавший научить слушателей итальянскому менее чем за две недели («Даже тех, кому никогда не везло с другими языками!» — заверяла реклама на обложке), и экземпляр «Ада» Данте в переводе Дороти Сэйерс. Он знал, что мне некуда податься на каникулы, и с наслаждением посыпал мои раны солью. «Я буду вспоминать о тебе, попивая кампари и катаясь в гондолах», — подмигнув, пообещал он. Генри о поездке не распространялся. Пока Банни трещал без умолку, он сидел и, глубоко, сосредоточенно затягиваясь, курил, делая при этом вид, что не понимает ни слова из той галиматии, которую Банни пытался выдать за итальянский.

Фрэнсис сказал, что будет только рад пригласить меня на Рождество в Бостон, а потом отправиться со мной в Нью-Йорк. Близнецы позвонили бабушке в Виргинию, и та сказала, что тоже будет рада принять меня на все каникулы. Однако оставался еще один вопрос — на эти два месяца мне была необходима работа. Если я хотел продолжить учебу в следующем семестре, мне нужны были деньги, которые мне вряд ли удалось бы заработать, шляясь с Фрэнсисом по Нью-Йорку. Дядя близнецов был юристом, и, как обычно во время праздников, они собирались побыть у него клерками, но им и так каждый раз приходилось ломать голову над тем, как растянуть эту работу на двоих: Чарльз возил дядюшку Ормана по магазинам и случайным распродажам имущества, а Камилла должна была сидеть в офисе у телефона, по которому никто никогда не звонил. У них наверняка не возникало и мысли, что мне тоже может понадобится заработок, — с рассказами о калифорнийской *richesse* [\[43\]](#) я явно перестарался. «А что я буду делать, пока вы на работе?» — спросил я, надеясь, что они уловят мой намек, но он конечно же от них ускользнул. «Боюсь, что делать там особенно и нечего, — извиняющимся тоном ответил Чарльз. — Ну, читать, болтать с бабушкой, играть с собаками».

Похоже, единственное, что мне оставалось, — это Хэмпден. Доктор

Роланд был не против взять меня на зиму, но предложенной им зарплаты не хватало даже на мало-мальски приличное жилье. Чарльз и Камилла уже сдавали квартиру кому-то еще, а к Фрэнсису на это время переезжал кузентинейджер. Квартира Генри, насколько я знал, оставалась свободной, но сам он не предложил ею воспользоваться, а попросить мне не позволяла гордость. Пустовал и загородный дом, но он был в часе езды от города, а машины у меня не было. Наконец я узнал об одном бывшем хэмпденском студенте — старом хиппи, устроившем музыкальную мастерскую в здании заброшенного склада. Он разрешал бесплатно там пожить, если ты соглашался время от времени помогать вытачивать колки или шлифовать мандолины.

Я не хотел обременять себя ничьим состраданием или презрением и отчасти поэтому скрыл от всех истинные обстоятельства своей зимовки. Не встретив тепла и понимания у ничемных гламурных родителей, я решил остаться в Хэмпдене (по неопределенному адресу) и уйти с головой в греческий, с гордостью отвергнув малодушно предложенную ими денежную помощь.

Такой стоицизм, такое стремление всецело посвятить себя занятиям и пренебрежение к мирским соблазнам, которое сделало бы честь даже Генри, вызвало восхищение у всех, в том числе у него самого. «Я и сам был бы не прочь провести здесь эту зиму, — сказал он, когда промозглым вечером в конце ноября мы возвращались по щиколотку в размокшей листве от Чарльза с Камиллой. — Колледж закрыт, после трех часов дня в городе не работает ни один магазин. Все вокруг пусто и белым-бело, никаких звуков — только шум ветра. В старину снега наметало по самые крыши, люди сидели запертые в своих домах, как в клетках, и умирали голодной смертью. Их находили только весной». Голос его звучал ровно, убаюкивающе, однако меня охватило беспокойство — там, где я жил раньше, зимой и снега-то не было.

В последнюю неделю семестра все только и делали, что паковали вещи, что-то печатали, бронировали билеты и звонили домой родителям, — все, кроме меня. Мне не нужно было спешить, чтобы пораньше сдать задания, ведь я никуда не уезжал, а начать собираться в свое удовольствие я мог и после того, как в общежитиях никого не останется. Первым покидал колледж Банни. Три недели до этого он провел в панике, бегая с заданием по последнему из своих четырех предметов. Это были какие-то «Шедевры английской литературы», и Банни предстояло написать двадцать пять страниц о Джоне Донне. Нам всем было очень любопытно, как он с этим справится, поскольку, мягко говоря, Банни не обладал особым

писательским даром. По его словам, во всем была виновата дислексия, но на самом деле подлинная проблема заключалась в его совершенно детской неспособности на чем-либо сосредоточиться. Он почти не притрагивался ни к обязательным текстам, ни к дополнительной литературе. Его познания в любой области, как правило, представляли собой мешанину искаженных, зачастую вовсе не относящихся к теме или выбивающихся из контекста фактов, которые были почерпнуты им из обсуждений на занятиях или, как он свято верил, где-то вычитаны. Когда нужно было садиться за работу, он дополнял эти сомнительные обрывки тем, что ему удавалось выудить при перекрестном допросе Генри (к которому он давно привык обращаться, как к ходячему словарю), а также сведениями из двух других неизбежных источников: «Всемирной книжной энциклопедии» и издания под названием «Мыслители и творцы» — составленного в конце прошлого века преподобным Э. Типтоном Четсфордом шеститомника, который предназначался для детей и содержал краткие, снабженные монументальными гравюрами очерки жизни замечательных людей разных эпох.

Под затуманенным исследовательским взглядом Банни эта и без того необычная подборка материала претерпевала дальнейшие метаморфозы. Как следствие, все до единого его творения оказывались настолько оригинальными, что с неизменным успехом повергали читателя в смятение. И все же работа по Джону Донну была худшей из всех никудышных работ Банни. (По иронии судьбы, она же оказалась и единственной опубликованной. После его исчезновения какой-то журналист попросил небольшую выдержку из трудов пропавшего молодого ученого, и Марион дала ему ксерокопию. Один тщательно отредактированный абзац оттуда в итоге появился в журнале «Пипл».)

Банни где-то прослышал, что Джон Донн был дружен с Исааком Уолтоном,<sup>[44]</sup> и в каком-то тусклом закоулке его мозга это знакомство постепенно разрослось до того, что Банни уже практически не видел никакой разницы между двумя почтенными мужами. Мы так и не поняли, как возникла эта роковая связь. Генри возлагал вину на «Мыслителей и творцов», но выяснить это наверняка уже не представлялось возможным. За неделю-другую до срока сдачи Банни начал регулярно навещать меня. Часа в два-три ночи он возникал на пороге моей комнаты со съехавшим набок галстуком и выпученными глазами, так что можно было подумать, будто пять минут назад он едва не стал жертвой природного катаклизма.

— Привет-привет, — бормотал он, входя и запуская обе пятерни в

растрепанную шевелюру. — Надеюсь, не разбудил. Ничего, если я включу свет, а? М-м, о чем я? А ну да, ну да...

Включив свет, он несколько минут расхаживал со сложенными за спиной руками и лишь покачивал головой. Наконец замирал как вкопанный и с отчаянием в глазах выдавал:

— Метагемерализм. Расскажи мне об этом. Все, что можешь. Мне нужно хоть что-нибудь узнать о метагемерализме.

— Извини, я даже не знаю, что это такое.

— Я тоже, — обреченно вздыхал Банни. — Кажется, что-то связанное с пасторальным искусством. Так я смогу связать Донна с Уолтоном, понимаешь?

И вновь начинал кружить по комнате.

— Донн. Уолтон. Метагемерализм. Вот где собака зарыта.

— Банни, мне кажется, такого слова вообще нет.

— Есть-есть. Происходит из латыни. Каким-то там боком связано с иронией и пасторалью. Я просто уверен. Картины, скульптуры, все в таком духе, скорее всего.

— Оно хотя бы есть в словаре?

— Черт его знает. Даже не знаю, как оно толком пишется. Я вот о чем, — складывал он рамку из пальцев, — поэт и рыболов. Parfait.<sup>[45]</sup> Добрейшие друзья. Живут привольной жизнью на просторе. А связкой тут должен быть метагемерализм, понимаешь?

И так продолжалось полчаса, а то и больше, — Банни нес вдохновенный бред о рыбалке, сонетах и бог знает еще о чем, пока в середине монолога его не осеняла очередная гениальная мысль. Тогда он исчезал так же внезапно, как и появлялся.

Он дописал работу за четыре дня до сдачи и гордо расхаживал по кампусу, показывая ее всем подряд.

— Неплохо получилось, Бан, — осторожно заметил Чарльз.

— Спасибо, польщен.

— Но тебе не кажется, что стоило почаще упоминать Джона Донна? Тема ведь касалась его, нет?

— А, Донн... — отвечал Банни с усмешкой. — Честно говоря, не хотелось его во все это впутывать.

Генри читать работу не стал.

— Уверен, это выше моего понимания, — я серьезно, Банни, — сказал он, пробежав взглядом первую страницу. — Слушай, что у тебя с машинкой?

— Печатал через три интервала, — гордо ответил Банни.



— Строчки чуть ли не в трех сантиметрах друг от друга.

— Похоже, типа, на белый стих, правда?

Генри презрительно хмыкнул:

— Скорее, типа, на меню.

Единственное, что мне оттуда запомнилось, — это последнее предложение: «И оставляя Уолтона и Донна на берегах метагемерализма, мы шлем прощальный привет двум знаменитым корешам былых времен». Мы подозревали, что работу не примут, но Банни на этот счет совершенно не волновался: он был весь в предвкушении поездки в Италию — близкой настолько, что по ночам над его кроватью уже нависала тень Пизанской башни, — и думал лишь о том, как бы поскорее вырваться из Хэмпдена, разделаться с семейными праздниками и наконец-то прыгнуть в самолет.

Без особых церемоний он спросил, не помогу ли я ему собраться, раз уж мне все равно нечего делать. Я пообещал помочь. Когда я зашел к нему, Банни стоял посреди неимоверного бардака и без разбора вываливал содержимое ящиков в чемоданы. Я осторожно снял со стены японскую гравюру в рамке и положил ее на стол. «Не трожь! — заорал он и, с грохотом уронив очередной ящик, метнулся к картинке. — Этой штуке две сотни лет!» Сказать по правде, я знал, что эта штука намного моложе, поскольку пару недель назад случайно заметил, как он кропотливо вырезал ее из книги в библиотеке. Я промолчал, но выходка настолько меня разозлила, что я тут же ушел, не дослушав его неуклюжих полуизвинений. Позже, после его отъезда, я обнаружил в почтовом ящике вымученную примирительную записку, в которую были завернуты дешевый томик стихов Руперта Брука<sup>[46]</sup> и упаковка мятных леденцов.

Генри покинул Хэмпден тихо и быстро. Вечером он сказал нам, что уезжает, а на следующий день его уже и след простыл. Отправился ли он в Сент-Луис или же напрямик в Италию — никто из нас не знал. Через два дня уехал и Фрэнсис, и провожали мы его так, словно расставались на три года: добрые сорок пять минут Чарльз, Камилла и я стояли, потирая замерзшие носы и уши, перед заведенным «мустангом», утопавшим в белых клубах выхлопа, пока Фрэнсис, опустив боковое стекло, выкрикивал нам прощальные напутствия.

Близнецы уезжали последними, и, видимо, отчасти поэтому думать об их отъезде мне было особенно тяжело. Когда гудки Фрэнсиса смолкли в безмолвной заснеженной дали, мы вышли на лесную тропинку и добрались до их дома, едва перебросившись парой слов. Чарльз включил свет, и я увидел душераздирающе прибранную квартиру: пустая раковина, натертые воском полы и выставленные у двери чемоданы.

В тот день столовая и кафетерии были закрыты уже с полудня. Шел сильный снег, быстро темнело, в чисто вымытом, пахнущем лизолом холодильнике не осталось ни крошки. Усевшись за кухонный стол, мы разделили импровизированный ужин: консервированный грибной суп, крекеры и пустой чай — у нас не было ни молока, ни сахара. Главной темой разговора была предстоящая поездка близнецов: как они управятся с багажом, на какое время следует заказать такси, чтобы им успеть на поезд, отходящий в половине седьмого утра, и все в таком духе. Я включился в их разговор, но меня уже начало охватывать то глубокое уныние, в котором мне было суждено провести еще много недель. Затихающий шум «мустанга», постепенно сходящий на нет в онемевшем белом пространстве, до сих пор звучал у меня в голове, и тут я внезапно осознал, какими одинокими будут следующие два месяца — колледж закрыт, все укутано снегом, вокруг ни души.

Они сказали, чтобы я не приходил их провожать, ведь они уезжают очень рано, но все равно уже в пять утра я оказался у них, чтобы попрощаться еще раз. Утро было безоблачным, черное небо усеяно звездами, столбик термометра на портике Общин упал до минус двадцати. Перед домом стояло готовое к отъезду такси. Шофер как раз захлопнул крышку набитого доверху багажника, а Чарльз и Камилла запирали дверь подъезда.

Они были слишком озабочены и взволнованы, чтобы обрадоваться моему появлению. Близнецы плохо переносили путешествия: их родители погибли в автокатастрофе, и они начинали нервничать задолго до того, как им предстояло куда-нибудь ехать.

Вдобавок они опаздывали. Чарльз опустил чемодан на землю и пожал мне руку.

— Счастливого Рождества, Ричард. Ты ведь, надеюсь, будешь нам писать? — сказал он и потрусил к машине. Камилла, попытавшись справиться с двумя огромными саквояжами, в конце концов уронила их в снег:

— Черт побери, мы просто не затащим все это барахло в вагон!

На ее бархатных щеках пылал румянец. В ту минуту она была красива, как никто и никогда в моей жизни. Чувствуя, как кровь стучит в висках, я стоял и таращился на нее как идиот. Мои тщательно разработанные планы прощального поцелуя были уже напрочь забыты, как вдруг она подлетела и обвила меня руками. Шумное дыхание почти оглушило меня, и тут же ее щека обожгла меня льдом. Я схватил затянутую в перчатку руку и почувствовал, как на ее тонком запястье бьется частый пульс.

Такси просигналило, из окна высунулся Чарльз:

— Ну что вы там?!

Я помог донести саквояжи и, когда машина тронулась, встал в круг света под фонарем. Повернувшись на заднем сиденье, близнецы махали мне, а я смотрел им вслед, пока такси не повернуло за угол и они не исчезли вместе с искаженным призраком моего отражения, пляшущим на выпуклом темном стекле.

Я стоял посреди опустевшей улицы, пока не стало слышно ничего, кроме посвиста поземки. Тогда, засунув руки поглубже в карманы, я повернул обратно к кампусу, и скрип снега под ногами показался мне невыносимо громким. Общежития стояли темными немymi глыбами. Большая стоянка за теннисным кортом выглядела совсем пустой: лишь пара-тройка преподавательских машин и зеленый пикап техслужбы. В моем корпусе повсюду валялись вешалки и коробки из-под обуви, двери остались открытыми настежь, было тихо и мрачно, как в склепе. Никогда еще мне не было так плохо и тоскливо. Я опустил шторы, лег в кровать и провалился в сон.

У меня было так мало вещей, что все можно было унести за один раз. Проснувшись около полудня, я упаковал оба чемодана и, сдав ключ охране, потащился по пустынному заснеженному шоссе в город, по адресу, который хиппи продиктовал мне по телефону.

Идти нужно было дольше, чем я предполагал, и вскоре мне пришлось свернуть с шоссе и углубиться в совершенно дикую местность у подножия Маунт-Катаракт. Дорога шла по берегу Бэттенкила — быстрой и мелкой, часто пересекаемой мостами речушки. Домов было очень мало, и даже угрюмые, внушавшие ужас коробки трейлеров в обрамлении огромных поленниц и черных столбов дыма, обычные для вермонтской глуши, попадались лишь изредка. Машин не было вовсе, если не считать одного ископаемого средства передвижения, покоившегося перед чьим-то крыльцом на сложенных столбиками кирпичках.

Летом подобное утомительное путешествие, вероятно, еще могло бы доставить некоторое удовольствие, но сейчас, в декабре, утопая в снегу с двумя тяжеленными чемоданами, я стал сомневаться, дойду ли вообще. Руки и ноги окоченели от холода, мне то и дело приходилось останавливаться и отдыхать, однако мало-помалу местность стала принимать все более обитаемый вид, и наконец, как и предполагалось, я вышел на Проспект-стрит — одну из улиц в Восточном Хэмпдене.

Эта часть города была мне совершенно незнакома. Она ни капли не

походила на тот Хэмпден, который я знал, с кленами и дощатыми фасадами магазинчиков, мирной, деревенской зеленью и часами на здании суда. Это был разбомбленный лабиринт водонапорных башен, ржавых рельсов, покосившихся складов и фабрик с заколоченными дверьми и разбитыми окнами. Все выглядело так, будто простояло брошенным со времен Великой депрессии, — все, за исключением невзрачного маленького бара на углу, где, судя по тесной кучке припаркованных у входа пикапов, недостатка в посетителях не было даже в середине дня. С неоновых реклам пива свисали огоньки гирлянд и пластиковые венки остролиста. За стеклом витрины я увидел мужиков во фланелевых рубашках, сидевших рядом за стойкой со стаканами пива и стопками. В глубине бара у бильярдного стола сгрудился народ помладше, все больше дородные молодцы в бейсболках. Я подошел к обитой красным винилитом двери и заглянул внутрь сквозь дверное окошко. Может, зайти и спросить дорогу, немного выпить, согреться? Почему бы нет, подумал я, и уже было взялся за засаленную медную ручку, как вдруг заметил название бара, выведенное на витрине, — «Баулдер Тэп». Судя по сообщениям в местных новостях, «Баулдер Тэп» был эпицентром тех немногих преступлений, которые совершались в Хэмпдене: поножовщина, изнасилования, все без единого свидетеля. Пожалуй, это было не совсем то место, куда заблудившийся студент мог заглянуть без опаски и пропустить стаканчик.

Впрочем, отыскать обиталище хиппи в итоге оказалось не так уж трудно — один склад, стоявший прямо у реки, был выкрашен в ядовитый сиреневый цвет.

Хиппи, когда он наконец открыл дверь, выглядел очень недовольным, как будто я его разбудил. «Слушай, в следующий раз просто возьми и толкни дверь», — буркнул он вместо приветствия. Это был низенький рыжебородый толстяк в покрытой пятнами от пота футболке, и по его виду можно было предположить, что он провел немало чудных вечеров в компании приятелей у бильярдного стола в «Баулдер Тэп». Он показал мне мое будущее жилище — комнату, к которой вела железная (и конечно же без перил) лестница, — и молча исчез.

Я оказался в пыльном, похожем на пещеру помещении с дощатым полом и высоким потолком с обнаженными балками. Кроме раздолбанного комода и примостившегося в углу барного стула здесь не было никакой мебели, зато стояли газонокосилка, проржавевшая бочка и козлы, на которых валялись ошметки наждачки, столярные инструменты и изогнутые куски древесины — возможно, панцири тех самых мандолин. Пол был усыпан опилками, гвоздями и окурками вперемешку с промасленными

обертками и номерами «Плейбоя» семидесятых годов; квадратики стекол в решетке рамы покрывала пушистая смесь изморози и грязи.

Разжав окоченевшие пальцы, я выронил на пол один, затем второй чемодан. Мозг мой словно бы тоже окоченел и с какой-то странной легкостью лишь фиксировал впечатления, не подвергая их оценке. Внезапно до меня донесся жуткий рев и плеск. Обойдя козлы, я посмотрел через заднее окно наружу и остолбенел, увидев в метре под собой бурлящий поток воды. Было видно, как чуть дальше по течению он обрывается вниз с плотины и над самым краем висит облако взвеси. Попытавшись протереть кружок на стекле, чтобы разглядеть это зрелище получше, я заметил, что здесь, в помещении, у меня изо рта идет пар.

Вдруг я ощутил что-то очень похожее на ледяной душ. Я поднял голову — в потолке зияла внушительная дыра. Я увидел кусочек голубого неба и облако, быстро проплывающее между черными зазубренными краями. На полу, удивительно точно повторяя очертания дыры, красовалась россыпь снежной пудры, девственную поверхность которой нарушал одинокий четкий след — мой собственный.

Потом меня часто спрашивали, понимал ли я, что поселиться в неотапливаемом доме на севере Вермонта в середине зимы почти равносильно самоубийству? Сказать по правде — нет, не понимал. Где-то на задворках моего сознания, конечно, всплывали некогда слышанные истории о замерзших насмерть людях — пьяницах, стариках, неосторожных лыжниках, — но я никак не думал, что все эти ужасы могут иметь отношение ко мне. Да, мое жилище было неудобным, там было грязно, как в хлеву, и холодно, как в погребе, но мне и в голову не приходило, что я подвергаю опасности свою жизнь. В конце концов, хиппи жил в том же здании, а в моей комнате, как сообщила секретарша студенческой справочной, раньше жили другие студенты. Правда, мне не сообщили, что та часть склада, где жил хиппи, как следует отапливалась, а студенты, понимая, что их ждет, заблаговременно вооружались обогревателями и электрическими одеялами. Кроме того, дыра в потолке была новейшим усовершенствованием дизайна, не внесенным в базу данных справочной. Я уверен, что любой нормальный человек, узнав об условиях моей зимовки, не пожалел бы сил, чтобы отговорить меня от этого предприятия, но в том-то и дело, что всех этих подробностей не знал никто. Я так стыдился нового жилья, что не стал рассказывать о нем никому, даже доктору Роланду. Только хиппи был полностью в курсе дела, но он стоял выше треволнений этого мира, за исключением, конечно, забот

о собственной персоне.

Рано утром, еще затемно, я просыпался на полу среди вороха одеял (я спал в двух или трех свитерах, теплом нижнем белье, шерстяных брюках и пальто) и в чем был шел на работу. Дорога отнимала немало времени, а если шел снег или дул сильный ветер, то и последние силы. Замерзший и измученный, я обычно подходил к Общинам ровно к тому моменту, когда сторож открывал двери, и сразу же спускался в подвал, чтобы побриться и принять душ. В годы Второй мировой, когда в Общинах временно размещался госпиталь, это несколько зловещее помещение — белый кафель, сплетения труб, сточная воронка в центре пола — служило инфекционным изолятором, сейчас же оно стояло почти заброшенным. К счастью, уборщицы наполняли в подвале ведра, и поэтому воду не отключали, там даже стоял исправный водогрей; в глубине одного из застекленных шкафчиков у меня хранился незаметный сверток с мылом, бритвой и полотенцем. Потом я поднимался наверх и завтракал консервированным супом с чашкой растворимого кофе. Когда появлялись секретарши и доктор Роланд, я был уже по уши в работе.

Столь внезапный приступ усердия несказанно удивил и даже несколько насторожил шефа, уже давно привыкшего к моим постоянным прогулам, опозданиям и не выполненным в срок поручениям. Он начал расточать похвалы моему трудолюбию, подробно расспрашивать о проделанной за день работе, а несколько раз я даже слышал, как он обсуждает произошедшую со мной перемену с доктором Кабрини — главой факультета психологии и единственным коллегой доктора Роланда, оставшимся в Хэмпдене на зиму. Несомненно, сначала он решил, что за всем этим кроется какой-нибудь новый подвох. Но время шло, и каждый день самоотверженной работы прибавлял к моему послужному списку очередную золотую звездочку. Наконец он поверил, сначала робко, затем — торжествуя. В начале февраля он даже повысил мне зарплату. Может быть, как истинный приверженец бихевиоризма, доктор Роланд надеялся, что прибавка подвигнет меня на еще большие достижения. Однако ему пришлось горько пожалеть об этом опрометчивом поступке, когда с началом весеннего семестра я вернулся в свою уютную комнатку в Монмуте и, как ни в чем не бывало, взялся за старое.

Я сидел в кабинете доктора Роланда до упора, а затем шел ужинать в кафетерий. В иные благословенные вечера после ужина можно было провести еще некоторое время в тепле. Как тщательно изучал я доски объявлений, высматривая собрания «Анонимных алкоголиков» и выступления старшекласников местной школы с каким-нибудь старым

мюзиклом! Увы, такая удача выпадала редко. Как правило, в семь Общины закрывали, и мне не оставалось ничего другого, как тащиться домой сквозь темень и снег.

Я не могу передать, какой дикий холод стоял на складе, — ни до ни после той зимы мне не приходилось испытывать ничего подобного. Наверное, будь у меня хоть капля соображения, я бы тут же побежал покупать обогреватель, но всего четыре месяца назад я покинул один из самых теплых в Америке штатов и лишь слабо подозревал о существовании подобных приспособлений. Я считал, что мои еженощные мучения — чуть ли не норма для жителей Вермонта зимой. Холод, от которого ломило кости и болели суставы, свирепый холод, беспощадно вторгавшийся в мои сны — плавучие льды, пропавшие экспедиции, прожектора поисковых самолетов, скользящие по белым вершинам айсбергов, и я — в одиноком дрейфе по беспросветным арктическим морям. По утрам я просыпался с ощущением, будто меня избили. Сначала я думал, это оттого, что я сплю на полу, и только потом понял, что истинной причиной была жестокая, непрекращающаяся дрожь — всю ночь напролет мои мышцы сокращались, как у подопытной зверушки с вживленными в мозг электродами.

Удивительно, но хиппи (кстати, его звали Лео) очень не нравилось, что я почти не занимался выточкой распорок, формовкой обечаек и прочими хитроумными манипуляциями. «Слушай, ты просто пользуешься моей добротой, — говорил он всякий раз, заметив меня. — Еще никто так не кидал Лео. Ни-кто». Почему-то ему втемяшилось в голову, что я обучался изготовлению инструментов и мог выполнять самую квалифицированную работу, хотя я конечно же не говорил ему ничего подобного. «Говорил-говорил, — ответил он на мои клятвенные заверения в обратном. — Что я, не помню, что ли? Ты сам сказал, что целое лето жил в Голубых горах и делал там цимбалы. В Кентукки. А то нет?»

Мне нечего было на это ответить. Я привык изворачиваться, сталкиваясь с последствиями собственного вранья, но чужая неприкрытая ложь, как правило, повергает меня в абсолютную растерянность. Я робко воззвал к правде, пробормотав, что никогда не был в Голубых горах и даже не знаю, как выглядят цимбалы. «Тогда иди точи колки, — нахально заявил он. — Или хотя бы пол подмети». Тут я попытался возмутиться и возразил, что не могу вытачивать колки в помещении, где из-за холода даже не снять перчаток. «Ну и что? Отрежь у них кончики пальцев», — ничуть не смутившись, посоветовал Лео. Такими вот случайными столкновениями перед дверью склада наше общение, собственно говоря, и ограничивалось.

Скоро мне стало ясно, что Лео, несмотря на свою прославленную любовь к мандолинам, не переступал порог мастерской уже, наверное, лет сто. Я начал подозревать, что он даже не знает о дыре в крыше, и однажды набрался смелости и упомянул ее в разговоре. «Во-во, я как раз думал, ты ее и заделаешь, а то от тебя вообще никакой пользы», — сказал хиппи. То, что я послушался и однажды в воскресенье действительно попытался заделать дыру с помощью первых попавшихся частей будущих мандолин, можно объяснить лишь крайней степенью моей деморализации. Эта попытка едва не стоила мне жизни: крыша оказалась предательски крутой, я потерял равновесие и чуть было не свалился в запруду, однако в последний момент ухватился за водосточный желоб, к счастью, выдержавший мой вес. Мне удалось спастись (правда, потом пришлось сделать противостолбнячную прививку, потому что руки были в порезах от ржавой жести), но хипповские деревяшки вместе с молотком и пилой угодили в воду. Инструменты пошли ко дну, и Лео, наверное, до сих пор не заметил их пропажи, а вот деревянные, естественно, всплыли, и их маленькую флотилию пригнало течением прямо под окна его спальни. Само собой, у хиппи нашлось что сказать об этом явлении, а также о сопливых студентах, которым наплевать на чужое добро, и о том, как всю дорогу каждый, кому не лень, пытается обобрать его до нитки.

Незаметно промелькнуло Рождество. Примечательным в нем было лишь то, что решительно все оказалось закрыто и мне некуда было пойти погреться, не считая церкви, где я провел пару часов. После службы я вернулся на склад, завернулся в одеяло и, не зная, как спастись от холода, принялся раскачиваться, вспоминая все солнечные рождественские праздники детства — с апельсинами, велосипедами, разноцветными обручами и зеленой мишурой, весело шуршащей под ветерком вентилятора.

Время от времени на кампус приходила почта. Фрэнсис в письме на шести страницах распинался о своем плохом настроении и слабом здоровье и подробно описывал практически все блюда, которые ему довелось отведать на каникулах. Близнецы, вот кому спасибо, присылали коробки с бабушкиным печеньем и письма, написанные разными чернилами: черными писал Чарльз, красными — Камилла. Числа десятого января я получил открытку из Рима, без обратного адреса. Это была фотография статуи императора Августа из Примапорты. Под ней Банни на удивление здорово изобразил себя и Генри: маленькие фигурки в римских тогах и круглых очочках с любопытством косились в направлении, указываемом простертой рукой статуи. (Император Август был кумиром Банни. Нам



было ужасно неловко, когда на рождественском вечере филологического факультета, во время чтения второй главы Евангелия от Луки он издал радостный вопль, услышав его имя. «Не, а че такого? — возмутился он, когда мы его одернули. — Надо ж было провести всеобщую перепись, не так, что ли?»)

Эта открытка хранится у меня до сих пор. Что характерно, написана она карандашом; текст немного смазан, но еще вполне читаем. Подписи нет, но ошибиться в авторстве невозможно:

*Ричард Старик*

*как ты там — мерзнешь? здесь очень даже тепло. Мы живем в Пенсione (орф.) Я заказал по ошибке Устриц вчера в ресторане это было что-то жуткое но Генри взял и все съел. Еще здесь все чертовы католики. Arrivaderci, до скорого.*

Фрэнсис и близнецы задавали, и не раз, вопросы о моем новом адресе. «Где ты сейчас живешь?» — черным цветом спрашивал Чарльз. «Правда, где?» — вторила Камилла красным. (Она писала чернилами особого, рыжеватого оттенка, при виде которого в моем сознании звучал живую ее нежный, с хрипотцой голос, лишь обостряя мою тоску по ней.) Я не мог дать им обратный адрес и поэтому оставлял их вопросы без ответа, наполняя письма пространными рассуждениями о снеге, красоте, одиночестве и тому подобном. Я часто думал, какой странной должна была казаться моя жизнь далеким адресатам моих бесстрастных посланий. Они повествовали о каком-то безликом существовании, описывали жизнь во всех ее проявлениях, но без малейших подробностей, постоянно испытывали терпение читателя размытыми, туманными пассажами. Изменив несколько дат и реалий, их легко можно было бы выдать за письма Гаутамы.

Я писал эти письма по утрам в кабинете, в библиотеке, в коридорах Общин, где по вечерам оставался до тех пор, пока уборщицы не объявляли мне, что здание закрывается. Вся моя жизнь укладывалась в те разрозненные отрезки времени, которые удавалось провести в общественных местах. Мне казалось, что я брожу по вокзалу, а моего поезда все нет и нет. И словно один из тех призраков, которые поздней ночью спрашивают у пассажиров, когда отправляется «Полуночный экспресс», потерпевший крушение лет двадцать назад, я переходил из одного зала ожидания в другой, пока не наступал тот жуткий миг, когда закрывалась последняя дверь. Я покидал уютный мир чужих людей и

подслушанных за день разговоров и оказывался на улице, где неизменный холод пронизывал меня до костей. Я сразу забывал, что такое свет, что такое тепло. Никогда, никогда больше не смогу я согреться.

Я научился становиться невидимым и достиг в этом деле совершенства. Я мог провести два часа за чашкой кофе и четыре за обедом, а официантки даже не смотрели в мою сторону. Уборщицы, выставлявшие меня из Общин под закрытие, вряд ли отдавали себе отчет в том, что каждый вечер обращаются к одному и тому же человеку дважды. По воскресеньям, набросив на плечи плащ-невидимку, я иногда по шесть часов кряду сидел в приемной врача, безмятежно листая «Янки» («Дары моря на острове Каттиханк») или «Ридерз Дайджест» («Десять способов помочь больной спине!»), и ни медсестра, ни врач, ни ожидавшие своей очереди пациенты не подозревали о моем присутствии.

Однако, как и человек-невидимка из романа Уэллса, я обнаружил, что за чудесный дар приходится расплачиваться, и в моем случае ценой так же оказалось некоторое помрачение рассудка. Мне стало казаться, что люди не замечают мой взгляд и лишь по воле случая не проходят сквозь меня. Мои суеверия стали сгущаться в подобие мании. Я начал твердо верить, что рано или поздно одна из шатких железных ступенек, ведущих в мою комнату, отвалится и я рухну вниз и сломаю себе шею или, хуже того, — ногу (в последнем случае я наверняка замерзну или умру с голоду, прежде чем Лео придет мне на помощь). Однажды, когда я быстро и без малейшего страха одолел лестницу, я поймал себя на том, что у меня в голове вертится старая песенка Брайана Ино («И в Нью-Дели, и в Гонконге знают, это ненадолго...»), и с тех пор я обязательно напевал ее всякий раз, когда поднимался или спускался по злосчастным ступенькам.

Дважды в день, перед тем как перейти реку по узкому мостику, я непременно останавливался и копался в грязно-бурой снежной каше у обочины, пока не находил камень приличных размеров. Наклонившись над заледеневшими перилами, я швырял его в бурлящий поток, который мчался над гранитными валунами, похожими на крапчатые яйца в гнезде динозавра. Может быть, это была дань речному богу за безопасный проход по мосту или попытка доказать ему, что я, пусть и невидимый, все же существую. Речушка была довольно мелкой, и иногда я слышал, как брошенный камень ударяется о дно. Вцепившись обеими руками в перила, я зачарованно наблюдал, как вода течет, вскипая и пенясь, над гладкими отполированными камнями, и думал о том, каково было бы упасть и раскроить о них голову: зловещий хруст, внезапная слабость и красные мраморные прожилки, разбегающиеся в воде.

Если я брошусь вниз, подумалось мне вдруг, кто найдет меня в этом белом безмолвии? Может быть, река протащит меня по камням и выплюнет в заводи за красильной фабрикой, где какая-нибудь женщина, выезжая со стоянки после работы, часов в пять, случайно заметит меня в свете фар? Или же меня прибьет в тихое местечко за поросшей мхом глыбой, где, подобно тем частям мандолин, я буду упрямо болтаться размокшим свертком в ожидании весны?

Январь перевалил за середину. Столбик термометра неуклонно падал; моя жизнь, до сих пор лишь одинокая и безрадостная, стала невыносимой. Каждый день я автоматически брел на работу и обратно. Порой приходилось идти по жуткому морозу, порой по такой метели, что не было видно ничего, кроме снежной круговерти, и добраться домой можно было, только держась вплотную к ограждению шоссе. Придя на склад, я заворачивался в грязные одеяла и замертво валился на пол. Все мои силы уходили на отчаянную борьбу с холодом, стоило же хоть чуть-чуть расслабиться, как меня охватывали болезненные видения в духе Эдгара По. Однажды ночью мне приснился собственный труп — глаза широко открыты, во вздыбленных волосах ледяное крошево.

Каждое утро я появлялся в кабинете доктора Роланда с такой точностью, что по мне можно было проверять часы. Этот, с позволения сказать, заслуженный профессор психологии не заметил ни одного из «десяти признаков близкого нервного срыва», или что там ему полагалось распознавать навскидку и объяснять студентам. Напротив, в моем молчании он черпал вдохновение для долгих монологов об американском футболе и о собаках, которые были у него в детстве. Редкие замечания, с которыми он обращался ко мне, оставались для меня загадками. Например, он как-то спросил, почему это я, учась на театральном отделении, ни разу не участвовал в постановках. «В чем дело? Ты что, стесняешься? Покажи им, на что ты способен!» В другой раз он между делом поведал мне, что, учась в Брауне, снимал комнату вместе с соседом по этажу. Однажды он сказал, что не знал, что мой друг тоже остался на зиму в Хэмпдене.

— Нет, все мои знакомые разъехались, — возразил я, несколько не погрешив против истины.

— Ну-ну, нельзя так разбрасываться друзьями. Самая крепкая дружба возникает на студенческой скамье. Знаю-знаю, ты мне не веришь, но вот доживешь до моих лет, тогда сам все поймешь.

Возвращаясь домой по вечерам, я стал замечать, что контуры предметов подергиваются белизной. Мне казалось, что у меня нет прошлого, нет никаких воспоминаний, что всю жизнь я провел на этой

шипящей поземкой, мертвенно сияющей дороге.

Я не знаю, что со мной было. Врачи потом сказали, что во всем виноваты хроническое переохлаждение и плохое питание плюс пневмония в легкой форме, но я не уверен, что этим можно объяснить галлюцинации и помутнение рассудка. Я даже не понимал, что болен, — любые симптомы, будь то боль или озноб, тонули в пучине гораздо более насущных проблем.

Ведь, как ни крути, вляпался я основательно. По статистике, это был самый холодный январь за последние двадцать пять лет. Я панически боялся замерзнуть насмерть, но податься мне было совершенно некуда. Наверно, я мог бы попроситься немного пожить у доктора Роланда, в квартире, которую он делил с престарелой подругой, но неловкость подобной ситуации казалась мне хуже смерти. Других даже случайных знакомых у меня не было, и мне оставалось разве что стучаться в первую попавшуюся дверь. Как-то раз, одним особо паршивым вечером, я попытался позвонить родителям с телефона у входа в «Баулдер Тэп». Шел мокрый снег, и я так дрожал, что с трудом смог просунуть монеты в щель. Не знаю, что я хотел от них услышать; отчаянная надежда на то, что они предложат выслать мне денег или билет на самолет, была утопией, и я это понимал. Может быть, стоя по колено в слякоти на продуваемой всеми ветрами Проспект-стрит, я ухватился за смутную мысль, что мне немного полегчает, если я просто позвоню туда, где тепло и светит солнце. Но когда после шестого или седьмого гудка я услышал раздраженное, хмельное отцовское «алло!», к горлу у меня подкатил ком и я повесил трубку.

Доктор Роланд снова упомянул моего воображаемого друга. На этот раз он заметил его поздно вечером на площади, возвращаясь домой через город.

— Я же говорил вам, что все мои друзья разъехались.

— Да ты знаешь, о ком я, — здоровенный такой парень. Еще очки носит.

Кто-то похожий на Генри? На Банни?

— Вы, наверно, ошиблись.

Температура упала так низко, что мне пришлось на некоторое время перебраться в «Катамаунт-мотель». Я был единственным постояльцем. Хозяин заведения, кривоzubый старик, жил в соседней комнате и всю ночь кашлял и харкал, не давая мне уснуть. У меня на двери не было нормального замка, только доисторическая конструкция, открыть которую можно было обычной шпилькой. На третью ночь я очнулся от страшного сна (лестница из классического кошмара, все ступеньки разной высоты и ширины, прямо передо мной очень быстро спускается какой-то человек) и

услышал слабый щелчок. Приподнявшись на кровати, я с ужасом увидел в призрачном лунном свете, как ручка тихонько поворачивается. «Кто там?» — чуть ли не заорал я, и ручка остановилась. Еще долго потом я, лежа в темноте, не смыкал глаз. На следующий день я съехал, предпочитая тихую смерть на складе перспективе быть зарезанным в постели.

Жуткая метель, разыгравшаяся в самом начале февраля, принесла обильный урожай оборванных линий электропередачи, дорожных происшествий и, лично для меня, галлюцинаций. В свисте ветра и реве воды мне слышались голоса. «Ложись, — раздавался их шепот. — Поворачивай налево, а то хуже будет». Моя пишущая машинка в кабинете доктора Роланда стояла прямо перед окном. Однажды во второй половине дня, когда уже смеркалось, я выглянул во двор и замер, увидев, как под фонарем материализовалась неподвижная темная фигура — руки спрятаны в карманах пальто, лицо обращено в мою сторону. Сгущались сумерки, и шел сильный снег. «Генри?» — недоверчиво пробормотал я и крепко зажмурился, пока на обратной стороне век не проступили звездочки. Когда я вновь посмотрел в окно, то увидел лишь снег, кружащийся в желтом конусе пустоты под фонарем.

Ночью я лежал на полу и, не переставая дрожать, смотрел на светящийся столб снежинок, паривших между дырой в потолке и полом. Меня несло вниз по наклонной, в непроглядную темень, где не было ни мыслей, ни чувств, но в последнюю секунду, где-то на грани забытья, внутренний голос подсказывал, что, уснув, я могу уже не проснуться. С огромным трудом я заставлял себя открыть глаза, и тогда снежный столп, светло и неприступно возвышавшийся в темном углу, вдруг представал мне в своем истинном грозном обличье, улыбаясь и что-то нашептывая, — холодный сияющий ангел смерти. Но мне уже было все равно, мой застывший взгляд медленно угасал, и я снова соскальзывал в черную бездну сна.

Я начал терять чувство времени. Каждый день я по-прежнему тащился в кабинет шефа (только лишь потому, что там было тепло) и выполнял положенную мне нехитрую работу, но, честно сказать, не знаю, сколько бы еще мне удалось протянуть, не случись нечто совершенно удивительное.

Тот вечер я не забуду никогда в жизни. Была пятница, и доктору Роланду понадобилось уехать из города до следующей среды. Для меня это означало четыре дня подряд на складе, и даже в своем затуманенном состоянии я понимал, что могу замерзнуть насмерть без всяких шуток.

После закрытия Общин я пошел домой. Снега было по колено, и вскоре онемевшие ноги уже ломило от холода. Дойдя до Восточного

Хэмпдена, я всерьез задался вопросом: смогу ли одолеть остаток пути до склада, а если да, то что я там буду делать? Все вокруг было темно и безжизненно. Даже «Баулдер Тэп» был закрыт, тусклая лампочка над таксофоном у входа была, казалось, единственным огоньком на много километров вокруг. Я пошел на свет, словно пытаюсь догнать мираж в пустыне. У меня оставалось около тридцати долларов — вполне достаточно, чтобы вызвать такси до «Катамаунт-мотеля» и остановиться в гнусной камере без замка, какие бы ужасы там меня ни поджидали.

Я еле ворочал языком, и телефонистка отказалась дать мне номер службы такси:

— Вы должны сказать, какая именно служба вам нужна. Мы не можем...

— Я не знаю, какая именно, — проговорил я, словно с набитым ртом. — Здесь нет телефонной книги.

— Извините, но мы не можем...

— «Рэд-топ»? — выпалил я в отчаянии, стараясь вспомнить хоть какие-то названия, выдумать их, все, что угодно. — «Йеллоу-топ»? «Таун-такси»? «Чекер»?

Наконец одно из них, видимо, оказалось верным, или, может быть, телефонистка просто сжалась надо мной. Раздался щелчок, и записанный на пленку голос сообщил номер. Я набрал его очень быстро, чтобы не забыть, — так быстро, что перепутал цифры и в итоге лишился четвертака.

У меня была еще одна монетка — последняя. Я снял перчатку и негнушными пальцами пошарил в кармане. Наконец выудил ее и уже собирался опустить в щель, как вдруг она выскользнула, и, метнувшись вслед, я ударился лбом об острый угол железной полки под таксофоном.

Несколько минут я лежал, уткнувшись лицом в снег. В ушах шумело. Падая, я сбил трубку, и теперь та болталась на шнуре, издавая короткие гудки, доносившиеся до меня словно из параллельного мира.

Я поднялся на четвереньки и, уставившись прямо перед собой, увидел темное пятно на снегу там, где только что я лежал. Я дотронулся до лба — на пальцах была кровь. Четвертак исчез, вдобавок я забыл номер. Я решил вернуться попозже, когда бар будет открыт и можно будет наменять мелочи. Кое-как я встал на ноги и, оставив трубку болтаться, побрел прочь.

Половину лестницы я прошагал, половину прополз на четвереньках. По лицу текла кровь. Я остановился передохнуть на площадке и почувствовал, что все вокруг расплывается: помехи между каналами, пара секунд сплошной ряби, наконец черные линии выгнулись и на экране вспыхнула картинка — нечеткая, но все же узнаваемая. Дергающаяся

камера, рекламный ролик из страшного сна. Мастерская-склад «Мандолины Лео». Последняя остановка, прямо у реки. Низкие цены. Обращайтесь к нам по любым вопросам мясозаготовки.

Плечом открыв дверь нараспашку, я принялся шарить в поисках выключателя, как вдруг заметил нечто, заставившее меня подскочить от ужаса. У окна высилась неподвижная фигура в длинном черном пальто — руки сложены за спиной, в одной из них светится огонек сигареты.

С треском и гулом зажегся свет. Призрачная фигура, тут же превратившаяся в существо из плоти и крови, повернулась ко мне. Это был Генри. Казалось, он готов отпустить какое-то шутливое замечание, но, едва он увидел меня, глаза у него полезли на лоб, а рот стал похож на маленькую букву «о».

Несколько секунд мы молча таращились друг на друга.

— Генри? — наконец выдавил я еле слышным шепотом.

Он выпустил сигарету и шагнул ко мне. Это действительно был он: румяные влажные щеки, эполеты снега на плечах.

— Бог ты мой, Ричард! — воскликнул он. — Что с тобой стряслось?

Не помню, чтобы раньше он хоть раз выказывал такое удивление. Я стоял как вкопанный, не сводя с него глаз. Предметы стали невыносимо яркими, ослепительно белыми по краям. Меня повело в сторону, я попытался опереться о косяк и понял, что падаю, но Генри рванулся ко мне и успел подхватить.

Он опустил меня на пол и, скинув пальто, укрыл им меня как одеялом. Щурясь от света, я взглянул на него и вытер рот.

— Генри, откуда ты взялся?

— Я прилетел из Италии пораньше.

Он убрал мне волосы со лба, стараясь разглядеть рану.

— Шикарное у меня тут местечко, а? — со смехом спросил я.

Генри окинул взглядом дыру в потолке.

— Да, практически Пантеон, — обронил он, деловито наклоняясь, чтобы снова осмотреть мой разбитый лоб.

Я смутно помню, как Генри вез меня на машине, помню свет ламп и склонившиеся надо мной лица, помню, что меня просили привстать, когда мне вовсе этого не хотелось, и как у меня пытались взять кровь, а я что-то жалобно возражал. Но первое более-менее отчетливое воспоминание — это тот момент, когда я приподнялся с подушки и обнаружил, что лежу на больничной кровати в полутемной палате с белыми стенами, а из руки у меня торчит иголка капельницы.

Генри сидел рядом на стуле и читал при свете настольной лампы. Заметив, что я проснулся, он отложил книгу.

— Твой порез оказался неопасным. Рана была неглубокой и чистой. Тебе наложили пару швов.

— Это что — наш медпункт?

— Нет, это больница. Я отвез тебя в Монпелье.

— А зачем капельница?

— Врач сказал, что у тебя воспаление легких. Может быть, хочешь что-нибудь почитать? — вежливо спросил он.

— Нет, спасибо. Сколько сейчас времени?

— Час ночи.

— Вообще-то я думал, ты еще в Риме.

— Я вернулся пару недель назад. Если хочешь еще поспать, я позову медсестру — она сделает тебе укол.

— Да нет, не надо. Как получилось, что я не встретил тебя раньше?

— Я не знал, где ты живешь. Кроме почтового адреса колледжа, у меня не было никаких твоих координат, так что вчера пришлось поспрашивать у секретарш. Кстати, как называется городок, где живут твои родители?

— Плано. А что?

— Может быть, мне стоит позвонить им?

— Не беспокойся, — сказал я и снова сполз под одеяло. Иголка капельницы была холодной, как сосулька. — Лучше расскажи мне про Рим.

— Хорошо, — согласился он и тихим спокойным голосом принялся рассказывать о прелестных этрусских фигурках из терракоты в музее на вилле Джулия и заросших кувшинками фонтанах в ее нимфеуме; о вилле Боргезе и Колизее; о том, как ранним утром выглядит город с Палатина и как прекрасны, наверное, были действующие термы Каракаллы со всем своим мраморным убранством, библиотеками, огромным круглым залом калидария и фригидариумом, гигантский бассейн которого уцелел и существует по сей день, и еще о многом другом, вот только не помню, о чем именно, поскольку я конечно же уснул.

В больнице я провел четверо суток. Почти все это время Генри просидел у моей постели. Он приносил газировку всякий раз, когда мне хотелось пить, а также снабдил меня бритвенными принадлежностями, зубной щеткой и парой собственных пижам из шелковистого египетского хлопка — кремового цвета, восхитительно мягких, с маленькими алыми инициалами ГМВ (М означало Марчбэнкс), вышитыми на кармане. Еще он принес мне бумагу и карандаши (они были мне совершенно ни к чему, но,



думаю, Генри просто не мог себе этого представить) и груду книг — половина из них была на неизвестных мне языках, да и вторая могла с тем же успехом быть на китайском. Как-то вечером, когда голова уже раскалывалась от Гегеля, я попросил его принести мне журнал. Просьба привела его в некоторое замешательство. Вернувшись, он протянул мне какой-то специальный ежемесячник (кажется, «Фармакологический бюллетень»), найденный на столике в коридоре. Мы почти не разговаривали. Большую часть времени Генри читал, и меня поражала его сосредоточенность — шесть часов кряду, практически не отрывая взгляд от страниц. Он почти не обращал на меня внимания. Однако все самые тяжелые ночи, когда я с трудом дышал и не мог уснуть от боли в легких, он тоже не сомкнул глаз.

А однажды, когда медсестра опоздала с раздачей лекарств на три часа, он с олимпийским спокойствием вышел за ней в коридор и своим сдержанным, монотонным голосом прочитал столь убийственно красноречивую нотацию, что медсестра (нахальная и вечно всем недовольная швабра с крашеными, как у стареющей стюардессы, волосами) несколько смягчилась. Впредь она стала обращаться со мной гораздо бережнее — перестала зверски отдирать пластыри с иголки капельницы и ставить синяки, бездумно тыкая шприцем в поисках вен, а как-то раз, измеряя температуру, даже назвала меня «лапой».

Врач неотложки сказал, что Генри спас мне жизнь. Эти слова, которые я потом не раз повторял в присутствии других людей, казались мне романтическими и исполненными драматизма, однако про себя я считал их преувеличением. Только потом, задним числом, я начал понимать, что врач, скорее всего, был прав. В двадцать лет мне казалось, что я бессмертен. Однако, несмотря на то что мой организм довольно быстро преодолел болезнь, зимовка на складе не прошла для меня даром. С тех пор у меня при малейшем похолодании начинают ныть кости и уже несколько раз возникали проблемы с легкими, вдобавок я стал легко простужаться, хотя раньше просто не знал, что это такое.

Я передал слова врача Генри. Он рассердился. Нахмурившись, он что-то съязвил — странно, я забыл, что именно, но помню, что мне стало очень неловко, — и больше я никогда не поднимал эту тему. На самом деле, я думаю, он и вправду спас меня. И если где-то есть место, где ведутся списки и раздаются награды, напротив его имени наверняка стоит золотая звездочка.

Впрочем, я впадаю в сентиментальность. Иногда, когда я думаю о той зиме, мне трудно от этого удержаться.

В понедельник утром меня наконец-то выписали. Все руки у меня были в следах от уколов, в кармане лежал пузырек с антибиотиком. Несмотря на то что я прекрасно мог передвигаться без посторонней помощи, к машине Генри, по настоянию врачей, меня вывезли санитары. Ощущать себя закутанным овощем в инвалидной коляске было довольно унижительно.

— Отвези меня в «Катамаунт-мотель», — попросил я Генри на въезде в город.

— Нет, — ответил он, — пока ты поживешь у меня.

Генри жил на первом этаже старого дома на Уотер-стрит в Северном Хэмпдене, всего лишь в квартале от Чарльза с Камиллой, ближе к реке. Он не любил принимать гостей, и раньше я был у него всего один раз, да и то лишь пару минут. От жилища близнецов его квартира отличалась большей площадью и полным отсутствием хлама. Просторные комнаты были совершенно одинаковы: дощатые полы, белые стены, окна без штор. Мебель была добротной, но довольно простой и далеко не новой, ее было немного. Некоторые комнаты стояли абсолютно пустыми, и от всего помещения веяло чем-то призрачным и нежилым. Близнецы как-то сказали мне, что Генри не любит электрический свет, и действительно, кое-где на подоконниках я заметил керосиновые лампы.

В мой прошлый визит его спальня, в которой мне теперь предстояло жить, была закрыта — как мне показалось, несколько демонстративно. Там стояли книги (вовсе не так много, как можно было бы предположить), односпальная кровать и шкаф с внушительным навесным замком. Больше почти ничего не было. На двери шкафа висело черно-белое фото (оказавшееся обложкой «Лайф» 1945 года), на котором я узнал Вивьен Ли и с огромным удивлением — молодого Джулиана. Снимок был сделан на каком-то приеме: у обоих в руках бокалы, Джулиан что-то шепчет Вивьен Ли на ушко, и та смеется.

— Где это снято? — спросил я.

— Не знаю. Джулиан говорит, что уже не помнит. Просматривая старые журналы, нет-нет да и наткнешься на его фотографии.

— Да? А с чем это связано?

— В свое время он был знаком со многими.

— С кем?

— Почти все эти люди уже умерли.

— Нет, правда, с кем?

— Ричард, я даже не знаю. — И затем, уступая: — Я видел его

фотографии с Ситвеллами.<sup>[47]</sup> И с Элиотом. Еще есть одна, немного забавная, с той актрисой — не помню, как ее звали. Она тоже давно умерла. — Он задумался. — Блондинка. Кажется, она была замужем за каким-то бейсболистом.

— Мерилин Монро?

— Возможно. Фото было не очень хорошим. Обычный газетный снимок.

Накануне Генри съездил на склад и забрал мои вещи. Чемоданы стояли на полу у кровати.

— Генри, я не хочу занимать твое место, — сказал я. — Где ты сам-то будешь спать?

— В дальней комнате есть другая кровать — откидывается от стены. Не знаю, как такие правильно называются. Я на ней еще ни разу не спал.

— Тогда давай там буду спать я?

— Нет. Мне самому любопытно попробовать. К тому же я считаю, время от времени стоит менять место, где спишь, — сны становятся интереснее.

Я рассчитывал провести у Генри всего несколько дней (уже в понедельник я снова вышел на работу), но в результате остался у него до начала семестра. Я не мог понять, почему Банни говорил, что с ним трудно уживаться. О лучшем соседе нельзя было и мечтать — спокойный, опрятный и почти безвылазно у себя в комнате. Обычно, когда я приходил с работы, Генри дома не было; он никогда не рассказывал мне, где проводит вечера, а я никогда не спрашивал. Но иногда к моему возвращению был готов ужин (в отличие от Фрэнсиса Генри не был изобретательным поваром и готовил только простые блюда — курицу с вареной картошкой и прочую холостяцкую пищу), и мы усаживались за картонным столиком на кухне, ели и разговаривали. К тому времени я уже хорошо уяснил, что лучше не совать нос в его дела, но однажды вечером любопытство взяло верх, и я спросил: «А что, Банни все еще в Риме?»

Он ответил не сразу.

— Думаю, да, — сказал он, положив вилку. — По крайней мере, он был там, когда я улетал.

— Почему он не вернулся вместе с тобой?

— Не думаю, что ему хотелось уезжать. Я оплатил жилье до конца февраля.

— Он взвалил на тебя всю аренду?

Генри снова помедлил с ответом.

— Честно говоря, как бы Банни ни старался уверить тебя в обратном, ни у него, ни у его отца нет ни гроша.

От изумления я открыл рот:

— Я-то думал, его родители вполне обеспечены.

— Я бы так не сказал, — спокойно произнес Генри. — Когда-то у них, возможно, и были деньги, но даже если так, они давным-давно их истратили. Один их ужасный дом, должно быть, обошелся в целое состояние. Они обожают пускать пыль в глаза, перечисляя яхт- и кантри-клубы, в которых они состоят, и элитные заведения, в которых обучались их сыновья, но все это загнало их в долги. Они производят впечатление людей состоятельных, но на деле не успевают латать дыры в семейном бюджете. Полагаю, мистер Коркоран в двух шагах от банкротства.

— Банни, кажется, живет очень даже неплохо.

— У Банни, с тех пор как я его знаю, не было ни цента карманных денег, — язвительно сообщил Генри. — Зато всегда присутствовала неумемная жажда роскоши. Неудачное сочетание, на мой взгляд.

Мы продолжали есть в тишине.

— На месте мистера Коркорана, — чуть погодя прервал молчание Генри, — я бы подключил Банни к бизнесу или отправил его получать какую-нибудь профессию сразу же после школы. Банни совершенно нечего делать в колледже. Он и читать-то научился только лет в десять.

— Он недурно рисует, — заметил я.

— Да, я тоже так считаю. Но совершенно очевидно, что у него нет никаких способностей к научной работе. Пока позволял возраст, им следовало отдать его в подмастерья к художнику, а не посылать во все эти частные школы для отстающих детей.

— Он прислал мне симпатичную карикатуру, где вы с ним стоите у статуи императора Августа.

Генри прокомментировал мои слова резким звуком неодобрения.

— Это было в Ватикане. Целый день он только и делал, что во весь голос отпускал остроты из серии «католики и макаронники».

— По крайней мере, он не умеет говорить по-итальянски.

— Его итальянского вполне хватало, чтобы заказывать самые дорогие блюда всякий раз, когда мы приходили в ресторан, — сурово сказал Генри, и я счел за лучшее сменить тему.

В последнюю субботу каникул я лежал на кровати в комнате Генри и читал. Сам Генри куда-то ушел, пока я еще спал. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Я подумал, что он, наверное, забыл ключ, и пошел открыть.

На пороге стоял Банни. На нем были темные очки и — полная противоположность его обычным бесформенным обноскам из твида — прекрасно сшитый итальянский костюм с иголочки. Было видно, что за каникулы он набрал килограммов шесть-семь. Судя по всему, он совершенно не ожидал меня здесь увидеть.

— О, приветтики, Ричард, — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Buenos días.<sup>[48]</sup> Рад тебя видеть. Я заметил, что у дома нет машины, но думаю, дай все равно зайду — я ведь только что приехал. А где хозяин жилища?

— Его нет.

— Чем же ты тут тогда занимаешься? Это что — ограбление со взломом?

— Я тут остался ненадолго пожить. Кстати, я получил твою открытку.

— Пожить? — переспросил он, как-то по-особенному разглядывая меня. — Как это? — Было странно, что он еще ничего не знает.

— Я болел, — ответил я и пояснил в двух словах, что произошло.

— Хммф... — отозвался Банни.

— Может, хочешь кофе?

Мы прошли через спальню на кухню.

— Похоже, ты тут вполне обжился, — бросил Банни, глядя на чемоданы и ночной столик с моими вещами. — Слушай, а у тебя только американский кофе?

— В смысле? «Фольджерс»?

— В смысле, эспresso нет?

— А-а. Нет. К сожалению.

— Лично я — фанат эспresso, — оповестил меня Банни. — Пил его в Италии всю дорогу. У них там на каждом шагу всякие эти кафешки, где можно сидеть целый день и просто пить кофе.

— Да, я слышал.

Он снял очки и уселся за стол.

— У тебя там нет ничего приличного поесть? — спросил он, заглядывая в холодильник, пока я доставал оттуда сливки. — А то я еще не завтракал.

Я приоткрыл холодильник пошире.

— Вон тот сыр вроде бы ничего, — сказал он.

Поскольку Банни не выказывал особого желания оторваться от стула и сделать что-нибудь самостоятельно, я отрезал хлеба и сделал ему бутерброд с сыром. Потом налил кофе и тоже сел за стол.

— Расскажи мне о Риме.

— Офигенно, — сказал Банни, впившись в бутерброд. — Вечный город. Картин и статуй — как грязи. В каждом переулке по церкви.

— Что ты успел посмотреть?

— Кучу всего. Сложно запомнить все эти названия, ты ж понимаешь. Под конец уже болтал по-итальянски так, что любой итальянец мог позавидовать.

— Скажи что-нибудь.

Банни сложил большой и указательный пальцы в кружок и, потрясая рукой, как повар в рекламе, что-то выдал по-итальянски.

— Звучит неплохо. А что это значит?

— Это значит «Официант, принесите ваши фирменные блюда», — сказал Банни и снова принялся за бутерброд.

Щелкнул замок, хлопнула дверь, и из коридора донеслись неторопливые шаги.

— Генри, ты? — проорал Банни.

Шаги на секунду замерли, после чего очень быстро направились к кухне. Подойдя к двери, Генри замер в проеме и без всякого выражения уставился на Банни.

— Я так и думал, что это ты, — сказал он.

— Ну привет, что ли, — развалившись на стуле, проговорил Банни с набитым ртом. — Как поживаешь?

— Отлично. Как твои дела?

— Я слышал, ты привечаешь страждущих, — подмигнув мне, сказал Банни. — Совесть замучила? Решил совершить пару добрых делишек?

Генри ничего не ответил. Постороннему человеку он наверняка показался бы совершенно спокойным, но я видел, что он не на шутку взволнован. Он пододвинул стул и сел. Затем встал и подошел к плите налить себе кофе.

— Да, спасибо, я бы тоже еще выпил, если не возражаешь, — сказал Банни. — Здорово снова вернуться в старые добрые Штаты. Сочные гамбургеры прямо с гриля, все дела. Страна безграничных возможностей. «Пусть всегда развешаются звезды и полосы».

— Ты давно приехал?

— В Нью-Йорк прилетел вчера поздно вечером.

— Жаль, что меня не было дома, когда ты зашел.

— А где ты был? — с подозрением спросил Банни.

— В супермаркете.

Это было неправдой. Не знаю, чем он занимался, но точно не четырехчасовой закупкой еды.

— Где же продукты? — спросил Банни. — Давай я помогу их занести.

— Я заказал доставку на дом.

— В «Фуд-кинге» теперь есть доставка?

— Я был в другом месте.

Чувствуя себя неловко, я поднялся и пошел в спальню.

— Нет-нет, постой, — сказал Генри, допивая кофе одним глотком и опуская чашку в раковину. — Банни, я, к сожалению, не знал, что ты зайдешь. Нам с Ричардом через пару минут нужно уходить.

— А что такое?

— У меня назначена встреча в городе.

— С адвокатом? — ехидно предположил Банни и тут же во все горло рассмеялся над собственной шуткой.

— Нет, с окулистом. Я для этого и зашел, — обратился он ко мне. — Надеюсь, ты не против. Мне в глаза будут капать специальный препарат, и я не смогу вести машину.

— Да, конечно.

— Это недолго. Тебе не обязательно ждать, можешь просто заехать за мной через некоторое время.

Банни проводил нас к машине. Под ногами громко скрипел снег.

— Ах, Вермонт-Вермонт... — фальшиво пропел он и, сделав глубокий вдох, похлопал себя по груди, как Оливер Дуглас в заставке «Зеленых акров». — Чудесный воздух мне на пользу. Так когда, ты говоришь, вы вернетесь?

— Не знаю, — сказал Генри и, протянув мне ключи, направился к пассажирской двери.

— Вообще-то у меня к тебе был небольшой разговорчик.

— Не возражаю, но сейчас я уже немного опаздываю, серьезно, Бан.

— Тогда до вечера?

— Как скажешь, — пожал плечами Генри, садясь в машину и захлопывая дверь.

Когда мы тронулись, Генри закурил сигарету и погрузился в молчание. После возвращения из Италии он стал много курить, почти пачку в день, что для него было необычно. Мы въехали в город, и, только когда я остановился у клиники окулиста, он восторженно и недоуменно посмотрел на меня:

— Что случилось?

— Во сколько мне за тобой заехать?

Генри посмотрел в окно на низкое серое здание с вывеской

«Хэмпденская глазная клиника».

— Бог ты мой, — сказал он, рассмеявшись мимолетным саркастическим смешком. — Поезжай дальше.

В тот вечер я лег рано, около одиннадцати, но в двенадцать меня разбудил громкий, настырный стук в дверь. С минуту я лежал прислушиваясь и в итоге решил пойти посмотреть.

Генри в халате уже стоял в полутемном коридоре. Одной рукой он пытался надеть очки, в другой была керосиновая лампа, от которой по стенам узкой прихожей расплзались длинные причудливые тени. Заметив меня, он приложил палец к губам. Лампа давала жутковатый свет, и, пока мы стояли среди мохнатых, подрагивающих теней — не шевелясь, полусонные, в халатах, — меня не покидало чувство, будто, очнувшись от одного сна, я тут же угодил в другой, еще более невероятный, прямиком в какое-то запредельное бомбоубежище бессознательного.

Кажется, мы простояли так очень долго — стук прекратился и вдали стих скрип шагов, а мы все не двигались с места. Генри выразительно посмотрел на меня, и еще какое-то время никто из нас не шевелился. «Ладно, теперь все в порядке», — наконец сказал он и, резко повернувшись, прошагал мимо меня к себе в комнату, окруженный суматошными всполохами света от качающейся лампы. Я постоял еще несколько секунд в темноте и тоже вернулся в постель.

На следующее утро, около десяти, когда я стоял на кухне и гладил рубашку, в дверь снова постучали. В коридоре, как и вчера, я наткнулся на Генри.

— Как ты думаешь, это похоже на Банни? — спросил он вполголоса.

— Нет, не очень.

Стучали легко и негромко, Банни же всегда молотил в дверь так, будто собирался ее высадить.

— Подойди к боковому окну и попробуй посмотреть, кто это.

Я прошел в соседнюю комнату и осторожно нырнул к противоположной стене. В доме не было штор, и поэтому пробраться незамеченным к дальней части окна было очень трудно. К тому же окно выходило на улицу под неудобным углом, и у входа я разглядел лишь рукав черного пальто, над которым развевался кусочек шелкового шарфа. Я прокрался обратно к Генри.

— Было плохо видно, но, скорее всего, это Фрэнсис.

— Ах вот оно что... Ну, можешь впустить его, — сказал Генри и



вернулся на свою половину.

Я снова миновал соседнюю комнату и открыл дверь. Фрэнсис стоял, оглянувшись назад и, очевидно, уже собираясь уходить.

— Привет, — сказал я.

Он удивленно повернулся ко мне. С тех пор как мы виделись в последний раз, лицо его еще больше заострилось.

— О, привет! Я уже подумал, что дома никого нет. Как твое самочувствие?

— Прекрасно.

— Что-то ты неважно выглядишь.

— Да ты в общем-то тоже, — рассмеялся я в ответ.

— Я вчера слишком много выпил, и мой желудок этого не одобрил. Хотел взглянуть на твое знаменитое тяжелое ранение в голову. У тебя теперь будет шрам?

Я провел его на кухню и, подвинув гладильную доску, освободил место.

— А где Генри? — спросил он, стягивая перчатки.

— У себя.

Он принялся разматывать шарф.

— Я только поздороваюсь с ним и сразу вернусь, — быстро проговорил он и выскользнул из кухни.

Но возвращаться он не спешил. Мне стало скучно, я снова взялся за утюг и уже почти успел догладить рубашку, как вдруг до меня донесся его голос, взмывший почти до истерического крика. Я перебрался в спальню, чтобы получше расслышать, в чем дело.

— ...вообще думаешь? Бог ты мой, да он же совершенно не в себе! Ты и знать не знаешь, что он может...

Последовало негромкое бормотание — голос Генри. Затем вновь Фрэнсис.

— Мне наплевать, — с жаром сказал он. — Господи, но вот теперь ты этого добился. Я всего два часа как в городе, и уже... Мне наплевать, — повторил он в ответ на какую-то неразборчивую реплику Генри. — К тому же для этого все равно поздновато, нет?

Молчание. Потом заговорил Генри, но так, что я не смог разобрать ни слова.

— Тебе это не нравится? Тебе?! — воскликнул Фрэнсис. — А мне, ты думаешь, приятно, что...

Осекшись, он продолжил уже на тон ниже, и я опять ничего не понял. Я тихонько вернулся на кухню и поставил чайник. Минут пять спустя,

прервав мои размышления о только что услышанном, показался Фрэнсис. Протиснувшись между доской и стеной, он подхватил со стула перчатки и шарф.

— Жаль, но мне пора бежать. Надо выгрузить вещи из машины и начать уборку. Этот кузен устроил у меня настоящий разгром. По-моему, он ни разу не удосужился вынести мусор за все это время. Дай-ка я взгляну на твою рану.

Я откинул волосы со лба и показал место пореза. Швы уже давно сняли, и почти ничего не было заметно.

Фрэнсис наклонился поближе, разглядывая мой лоб сквозь пенсне.

— Силы небесные, совсем ослеп, ничего не вижу. Когда у нас начинаются занятия — в среду?

— По-моему, в четверг.

— Тогда до четверга, — сказал он и исчез.

Я повесил рубашку на вешалку и, вернувшись в спальню, начал собирать вещи. Монмут открывали сегодня после обеда; может быть, попозже Генри отвезет меня туда вместе с чемоданами.

Я почти закончил сборы, когда Генри позвал меня из своей комнаты:

— Ричард?

— Да?

— Загляни ко мне, пожалуйста, на секунду.

Войдя, я обнаружил, что Генри, закатав рукава рубашки по локоть, сидит на краю откидной кровати с разложенным в изножье пасьянсом. Волосы у него спадали не на ту сторону, и у самых их корней я увидел длинный бугристый шрам, перерезанный белыми рубцами под углом к надбровью.

— Я хотел попросить тебя об одном одолжении.

— Да, конечно.

Он шумно втянул носом воздух и поправил съехавшие очки.

— Не мог бы ты позвонить Банни и спросить, не зайдет ли он ко мне сегодня?

Я был так удивлен, что на секунду замешкался с ответом:

— Само собой. Конечно. С удовольствием.

Он закрыл глаза и потер виски.

— Спасибо.

— Да нет, не за что.

— Если хочешь переправить что-то из своих вещей на кампус, то совершенно свободно можешь воспользоваться моей машиной, — невозмутимо сказал он, разглядывая меня.

Я понял его намек:

— Хорошо.

Я погрузил вещи, отвез их в Монмут, взял у охранника ключи от своей комнаты и только потом, спустя добрых полчаса после нашего разговора, позвонил Банни с таксофона на первом этаже.

## Глава 4

Почему-то я был уверен, что, когда приедут близнецы, когда мы все вновь обустроимся, возьмемся за Лидэлла и Скотта и одолеем два-три задания по греческой литературной композиции, наша жизнь вернется в уютную, размеренную колею прошлого семестра и все станет таким же, как раньше. Но я ошибался.

Чарльз и Камилла написали, что их поезд приходит в Хэмпден поздно вечером в воскресенье. В понедельник, когда студенты со своими пожитками — лыжами, магнитофонами, картонными коробками и тому подобным — повалили в Монмут, мной владела смутная надежда, что близнецы заглянут ко мне, но они так и не объявились. Во вторник тоже не поступило никаких известий — ни от них, ни от всех остальных; только Джулиан оставил в моем почтовом ящике коротенькую любезную записку, в которой поздравлял меня с началом семестра и просил перевести к первому занятию одну из од Пиндара.

В среду я пошел к Джулиану, чтобы сдать свои регистрационные карточки. Он как будто был рад меня видеть.

— Похоже, ты вполне поправился, — заметил он. — Не сказать, впрочем, что у тебя цветущий вид. Генри держал меня в курсе твоего выздоровления.

— Правда?

— Наверное, хорошо, что он прилетел раньше намеченного, — продолжал Джулиан, просматривая карточки, — хотя, признаюсь, он удивил меня, нагрянув ко мне прямо из аэропорта — посреди ночи, в страшную метель.

«Очень интересно», — подумал я, а вслух спросил:

— Он остановился тогда у вас?

— Да, но лишь на несколько дней. Ты, наверное, знаешь, что Генри тоже был болен? В Италии, во время поездки.

— А что с ним было?

— По нему этого не скажешь, но на самом деле здоровье у Генри далеко не железное. У него проблемы со зрением и сильнейшие мигрени, иногда ему приходится очень тяжело... В этот раз приступ оказался особенно сильным. По-моему, ему не стоило лететь в таком состоянии, но, с другой стороны, удачно, что он не остался в Риме, иначе он не смог бы помочь тебе. Скажи, как ты очутился в таком ужасном месте? Родители

отказали тебе в поддержке? Или ты сам не хотел просить у них деньги?

— Это я не хотел просить.

— В таком случае ты куда больший стоик, чем я, — рассмеялся Джулиан. — Мне почему-то кажется, родители не испытывают к тебе сильных чувств, верно?

— Ну, в общем, да.

— А почему, как ты думаешь? Или это бестактный вопрос? По-моему, они должны гордиться тобой, но иногда кажется, что у тебя вообще нет родных, даже наши сироты не производят такого впечатления. Кстати... ты не знаешь, почему Чарльз и Камилла до сих пор не осчастливили меня визитом?

— Я их тоже еще не видел.

— Где же они могут быть? И Генри меня не навестил. Только ты и Эдмунд. Фрэнсис по крайней мере позвонил, но мы разговаривали буквально минуту. Он куда-то спешил и сказал, что зайдет позже, но так и не появился... Как ты думаешь, Эдмунд выучил хотя бы пару слов по-итальянски? Я боюсь, что нет.

— Я не говорю по-итальянски.

— Увы, я тоже. А когда-то говорил, и неплохо. Некоторое время я жил во Флоренции, правда, это было почти тридцать лет назад. Ты еще увидишь кого-нибудь из группы до вечера?

— Может быть.

— Конечно, это всего лишь формальность, но регистрационные карточки должны оказаться у декана сегодня, и, подозреваю, он будет недоволен тем, что я не подал их в срок. Меня, как ты понимаешь, это не тревожит, но любому из вас он, если пожелает, несомненно, способен доставить кое-какие неприятности.

Я начинал злиться. Близнецы уже три дня как были в Хэмпдене и даже ни разу не позвонили. Поэтому я отправился к ним прямо от Джулиана, но дома их не было.

За ужином они тоже не появились — собственно говоря, как и все остальные. Я ожидал, что по крайней мере точно встречу там Банни, однако по пути в столовую все же зашел к нему и наткнулся на Марион, как раз запиравшую его дверь. Она довольно развязно объявила, что у них обширные планы на вечер и не стоит ожидать, что Банни вернется рано.

Я поужинал в одиночестве. Возвращаясь домой, я не мог избавиться от противного, смурного ощущения, что меня разыгрывают. В семь я позвонил Фрэнсису, но никто не ответил. Генри я тоже не дозвонился.

До полуночи я просидел над греческим. Почистив зубы, умывшись и приготовившись ко сну, я все-таки еще раз спустился к таксофону. Как и прежде, трубку никто не брал. После третьего звонка я достал четвертак и задумчиво подбросил его в воздух. Затем, сам не зная почему, набрал номер загородного дома.

Там тоже не отвечали, но что-то заставило меня подождать дольше обычного, и наконец — после, наверное, тридцати гудков — раздался щелчок, и я услышал хрипкое «алло?» Фрэнсиса. Пытаясь выдать себя за другого, он говорил нарочито низко, но провести меня было не так легко: не ответить на звонок было выше его сил, и мне не раз доводилось слышать этот дурацкий басок.

«Ал-ло», — снова сказал он, и на последнем слоге его деланно низкий голос дал трещину. Я опустил палец на рычаг и постоял, слушая наступившую в трубке тишину.

Я очень устал и все же никак не мог уснуть; раздраженное недоумение, подстегиваемое каким-то нелепым страхом, охватывало меня все сильнее. Включив свет, я порылся в книгах и нашел роман Рэймонда Чандлера, привезенный мной из Калифорнии. Я уже читал его и подумал, что несколько страниц нагонят на меня сон, но, как выяснилось, я почти забыл сюжет и не успел спохватиться, как прочитал пятьдесят страниц, потом еще полсотни...

Прошло часа три, а сна не было ни в одном глазу. Топили вовсю, от батарей по комнате расходились волны сухого жара. Мне захотелось пить. Дочитав главу, я встал, набросил пальто поверх пижамы и пошел в Общины за кока-колой.

В безупречно чистых коридорах было пусто. Отовсюду шел запах свежей краски. Миновав ярко освещенную, словно нарисованную на картинке прачечную — ее кремовые стены были неузнаваемы без густого слоя граффити, образовавшегося к концу семестра, — я прошел в дальний конец холла, где с тихим гудением горели ядовитым светом автоматы, и купил банку колы.

Возвращаясь другим путем, я вздрогнул от неожиданности, услышав гулкое треньканье, доносившееся из комнаты для отдыха, — там играла музыка. Я заглянул — на светящемся экране Лорел и Харди<sup>[49]</sup> в бурне электронного снега пытались затащить рояль по бесконечным лестничным пролетам. Сначала мне показалось, что у них нет ни единого зрителя, но потом над спинкой одинокого диванчика перед телевизором я заметил лохматую светлую шевелюру. Я подошел и присел рядом:

— Банни, как дела?

Он поднял ословелые глаза, но как будто узнал меня не сразу. От него разило спиртным.

— Дики, дружище. Ну конечно, — выговорил он наконец, с трудом разлепляя губы.

— Чем занимаешься?

— Сижую болею, чтоб не соврать.

— Что, перебрал?

— Не, желудочный грипп, — сердито буркнул он.

Бедный Банни. Он никогда не мог просто признаться, что пьян, и вечно ссылался на головную боль или необходимость выписать новый рецепт на очки. Кстати сказать, точно так же он вел себя и во многих других случаях. Как-то в четверг, на следующий день после свидания с Марион, он возник у моего столика с подносом, полным молока и пончиков, и, когда он присел, я заметил у него над воротничком огромный багровый засос. «Вот это синяк! Как тебя угораздило, Бан?» — спросил я его в шутку, но он страшно обиделся. «Упал с лестницы», — отрезал он и до конца завтрака хранил молчание, уминая свои пончики.

— Наверно, ты подхватил его в Италии, — подыграл я ему.

— Наверно.

— К врачу ходил?

— А смысл? Само пройдет, нужно только время. Смотри не заразись, старик. Держись подальше.

Хотя я и так сидел на другом конце дивана, я сделал вид, что отодвигаюсь. Некоторое время мы молча смотрели фильм. Канал показывал безобразно. Олли только что надвинул шляпу Стэну на глаза, Стэн бродил кругами, натываясь на мебель и отчаянно дергая руками за поля. Он налетел на Олли, и тот дал ему затрещину. Покосившись на Банни, я понял, что он полностью поглощен происходящим — рот приоткрыт, взгляд намертво прикован к экрану.

— Банни?

— Чего? — спросил он, не глядя на меня.

— Где все?

— Спят, где ж им еще быть, — раздраженно бросил он.

— Ты не знаешь, близнецы вернулись?

— Типа того.

— Ты их видел?

— Нет.

— Да что с вами со всеми стряслось? Ты что, злишься на Генри?

Он не ответил. Внезапно подкативший страх заставил меня уткнуться в телевизор.

— Вы поссорились в Риме, да? — спросил я, совладав с собой.

Банни натужно прочистил горло. Я подумал, сейчас он скажет, чтобы я не совал нос не в свое дело, но вместо этого он показал на что-то пальцем и снова откашлялся:

— Ты это, колу свою пить будешь?

Я совсем про нее забыл. Жестянка, вся в капельках воды, лежала на диване между нами. Я протянул ее Банни. Щелкнув крышкой, он сделал долгий жадный глоток и, оторвавшись, рыгнул.

— Освежающее мгновение, — провозгласил он, а затем неожиданно выдал: — Хочешь маленький совет насчет Генри?

— Что?

— Он не такой, как ты думаешь.

— Э-э, что ты имеешь в виду?

— То и имею. Он не такой, как ты думаешь, — повторил он, на этот раз громче. — Не такой, как думает Джулиан. Не такой, как думают все. — Снова бульканье колы. — Он долго меня морочил, но теперь хватит.

Я вдруг почувствовал себя очень неловко: до меня начало доходить, что тут, скорее всего, замешан секс, и мне, наверное, лучше оставаться в блаженном неведении. Я покосился на Банни. Вздорное, недовольное лицо, намечающийся второй подбородок, очки сползли на самый кончик острого носа. Может быть, в Риме Генри пытался приставать к нему? Гипотеза абсурдна, но допустима. Если так, страшно представить, какая там поднялась свистопляска. Я просто не мог предположить, что еще могло бы вызвать столько перешептываний и недомолвок и вдобавок так сильно подействовать на Банни. У него единственного из нас была девушка, и я был уверен, что он с ней спит, но в то же время он был ужасно чувствителен к любым замечаниям на этот счет — мгновенно обижался, изображал оскорбленную невинность. По сути дела, он был невероятным ханжой. Кроме того, несомненно, было что-то очень странное в готовности Генри в любой момент раскошелиться ради Банни. Он платил за него в ресторанах, оплачивал его счета, постоянно отстегивал ему на карманные расходы, как муж расточительной жене. Возможно, Банни, потеряв чувство меры и принимая все эти дары как должное, впал в бешенство, выяснив, что за щедростью Генри стоит расчет.

Но так ли это? Безусловно, какой-то расчет в поведении Генри был, однако, каким бы удобным ни казалось такое объяснение, я очень сомневался, что расчет этот связан с чем-то подобным. Конечно, я помнил о



той сцене с Джулианом у дверей кабинета, но она имела совсем иную окраску. Я жил вместе с Генри целый месяц и ни разу не уловил ни малейшего намека на неловкость известного рода — неловкость, которую я, как приверженец, в общем и целом, традиционной ориентации, обычно чувствую очень остро. Сильные флюиды такого свойства исходили от Фрэнсиса, их легкое дуновение я ощущал в присутствии Джулиана, даже Чарльз, которого, как я знал, интересовали женщины, временами вел себя с наивной, застенчивой манерностью красивого мальчика, которую мой отец, например, тут же истолковал бы однозначно, но от Генри — ровным счетом ничего. Счетчики Гейгера на нуле. Если на то пошло, ему, судя по всему, нравилась Камилла: именно ее слова тут же превращали его во внимательного слушателя, именно ей были адресованы его нечастые улыбки.

И даже если я ошибался и у Генри на самом деле были гомосексуальные наклонности (что было вполне возможно), то может ли быть, что предметом его симпатий стал Банни? Не задумываясь, я мог дать лишь один ответ на этот вопрос: нет. Генри не только не выказывал ни тени романтического интереса к Банни, но и вообще в последнее время с трудом его выносил. К тому же в этом отдельно взятом ключе Банни должен был бы вызвать у Генри с его поистине кошачьей опрятностью даже большее отвращение, чем, скажем, у меня. Я, в принципе, был готов признать, что Банни недурен собой, но стоило мне попытаться сфокусировать на нем взгляд в свете сексуальной привлекательности, как в нос тут же ударяли отвратительные запахи потных рубашек и грязных носков, а в глаза бросались заплывшие жиром мышцы. Насколько я знал, девушек такие вещи не слишком смущают, но мне он казался не более эротичным, чем старый футбольный тренер.

Внезапно на меня накатила дикая усталость. Я поднялся. Банни уставился на меня с открытым ртом.

— Ладно, Бан, что-то спать хочется. Может, завтра еще увидимся.

— Надеюсь, ты не подцепил от меня эту чертову заразу, старик, — пробурчал он.

— Надеюсь, нет, — ответил я, охваченный невесть откуда взявшейся жалостью к нему. — Спокойной ночи.

На следующее утро я поднялся в шесть, рассчитывая позаниматься греческим, но обнаружил, что мой Лидэлл и Скотт куда-то запропастился. Перерыв все вокруг, я с досадой вспомнил, где оставил словарь, — у Генри. Почему-то его не оказалось среди моих книг, когда я укладывал вещи;

торопливо, но тщательно поискав по квартире, я тогда махнул рукой, подумав, что еще успею заехать за ним. Теперь же я серьезно влип. До первого занятия греческим оставалось целых четыре дня, но Джулиан нагрузил меня домашней работой сверх всякой меры, а библиотека еще не открылась: на каникулах там начали переводить каталоги с десятичной классификации Дьюи на систему библиотеки Конгресса.

Спустившись к таксофону, я набрал номер Генри. Как и ожидалось, ответа не было. Стоя на сквозняке и слушая, как лязгают и шипят батареи, а в трубке один за другим раздаются нескончаемые гудки, я вдруг подумал: почему бы мне не смотаться за словарем прямо сейчас? Генри дома нет — я был почти уверен в этом, — а у меня в кармане лежит ключ от квартиры. Ему понадобится немало времени, чтобы доехать от особняка Фрэнсиса до Северного Хэмпдена, я же, если потороплюсь, буду там через пятнадцать минут. Бросив трубку, я выбежал на улицу.

В этот неуютный рассветный час квартира Генри снаружи выглядела покинутой. Его машины не было ни на подъездной дорожке, ни в одном из окрестных закоулков, где Генри парковался, когда хотел скрыть, что он дома. На всякий случай я все же постучал. *Pas de réponse.*<sup>[50]</sup> Отогнав мысль, что он, щурясь и запахивая халат, как раз выходит в прихожую и сейчас мы столкнемся нос к носу, я воровским движением повернул ключ и шагнул внутрь.

Никого не было, но в квартире стоял невероятный беспорядок: книги, бумаги, грязные чашки, все вверх дном. Мебель покрывал тонкий слой пыли, на дне бокалов виднелся липкий кровавый сгусток от высохшего вина. В раковине на кухне громоздились немытые тарелки, молоко забыли убрать в холодильник, и оно скисло. Если учесть обычную чистоплотность Генри, все это выглядело очень странно.

Я почувствовал себя прохожим, нечаянно набредшим на место преступления. Пугаясь звука собственных шагов, я прошелся по комнатам. Лидэлл и Скотт попался на глаза почти сразу — на столике в гостиной. «Как я мог его не заметить?» — подумал я, пытаюсь восстановить в памяти день переезда. Должно быть, это Генри нашел его и положил на видное место... Боязливо озираясь, мечтая поскорее убраться отсюда, я взял словарь, и тут мой взгляд упал на клочок бумаги — он лежал там же, на столике. Я узнал почерк Генри:

Внизу рукой Фрэнсиса был приписан телефонный номер с кодом 617. Я перевернул бумажку — это было библиотечное извещение о просроченной книге, выписанное всего три дня назад.

Не вполне понимая, зачем я это делаю, я положил Лидэлла и Скотта и с бумажкой в руке подошел к телефону. Код походил на массачусетский; возможно, это был код Бостона. Взглянув на часы, я набрал номер, переведя оплату на кабинет доктора Роланда.

Ожидание, пара гудков, щелчок. «Вы позвонили в адвокатскую контору Робсона Тафта на Федерал-стрит, — сообщил мне вежливый голос автоответчика. — В настоящее время наш коммутатор не работает. Пожалуйста, перезвоните с девяти до...»

Все еще не отрывая глаз от бумажки, я повесил трубку и почувствовал укол беспокойства, припомнив, как Банни с издевкой предположил, что Генри нужен адвокат. Снова взяв трубку, я позвонил в справочную и узнал номер агентства «Трансмировых авиалиний».

— Здравствуйте. Я хотел бы, э-э, подтвердить предварительный заказ, — сказал я диспетчеру. — На имя Генри Винтера.

— Одну секунду, мистер Винтер. Номер вашего заказа?

— Ах, номер... — Я замялся, расхаживая взад-вперед, стараясь соображать быстрее. — Боюсь, сейчас у меня нет его под рукой, не могли бы вы просто... — Тут я заметил цифры после названия компании. — Прошу прощения. Наверное, вот он. Двести девятнадцать?

Послышался стук клавиш. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, я выглянул в окно — посмотреть, не подъезжает ли Генри... Вдруг, чуть не подпрыгнув, я сообразил, что у него нет машины. Я не вернул ее после того, как в воскресенье отвез свои вещи на кампус, и она небось так и стоит на парковке за теннисным кортом.

В панике я чуть было не бросил трубку — если Генри идет пешком, я не услышу его приближения, может быть, он уже поднимается на крыльцо, — но в этот момент раздался бодрый голос диспетчера.

— Все в порядке, мистер Винтер, — сказала она. — Разве наш агент не сообщил вам, что если билеты куплены менее чем за три дня до вылета, то подтверждение не требуется?

— Нет, — отрезал я, уже потянувшись к рычагу, но тут до меня дошел смысл ее слов.

— За три дня? — переспросил я.

— Как правило, вылет подтверждается автоматически при покупке билетов, тем более не подлежащих возврату, как в вашем случае. Вас должны были поставить в известность об этом во вторник.

При покупке билетов? Не подлежащих возврату?

— Я хотел бы убедиться, что здесь нет никакой ошибки. Не могли бы вы предоставить мне полную информацию?

— Разумеется, мистер Винтер, — с заученной вежливостью ответила диспетчер. — Рейс компании «Трансмировые авиалинии» номер 401, вылет из Бостона, аэропорт Логан, выход 12, завтра вечером в восемь часов сорок пять минут. Прибытие в Буэнос-Айрес, Аргентина, утром в шесть ноль одну. Самолет делает остановку в Далласе. Четыре билета в один конец стоимостью семьсот девяносто пять долларов каждый, итого... — снова стук клавиш, — три тысячи сто восемьдесят долларов плюс налог, оплата произведена карточкой «Америкэн экспресс». Все верно?

У меня все поплыло перед глазами. Буэнос-Айрес? Четыре билета в один конец? Завтра?

— Желаю вам и вашей семье приятного полета рейсом нашей компании, — жизнерадостно выдала диспетчер и отключилась. В трубке завыл длинный гудок, а я так и стоял, судорожно сжимая ее в руках.

Вдруг меня осенило. Оторвавшись от телефона, я прошел через гостиную и распахнул дверь спальни. Голые книжные полки, пустой платяной шкаф, на дверце которого болтался раскрытый замок. Секунд пять я стоял, уставившись на этот замок с выбитой понизу надписью YALE, затем прошел во вторую спальню. Снова пустой шкаф — только вешалки звякнули на металлической перекладине, когда я заглянул внутрь. Повернувшись к выходу, я налетел на пару стоящих у косяка огромных кожаных чемоданов, перетянутых черными ремнями. Я попытался приподнять один из них и чуть не кувыркнулся под его тяжестью.

«Боже мой, что они задумали?» — пронеслось у меня в голове.

Вернувшись в гостиную, я положил бумажку с номером на прежнее место. Потом схватил словарь и, оказавшись за порогом, рванул в сторону колледжа.

Когда Северный Хэмпден остался позади, я перешел на шаг. Сквозь крайнее недоумение пробивались холодные струйки тревоги. Я чувствовал, что нужно что-то предпринять, но даже отдаленно не представлял себе что. Знает ли обо всем этом Банни? Почему-то мне казалось, что нет, а еще казалось, что лучше его не спрашивать. Аргентина. Что такое Аргентина? Прерии, лошади, пастухи, вроде ковбоев, в забавных плоских шляпах с помпонами. Танго. Писатель Борхес. Говорят, там скрывался Бутч Кэссиди, [\[51\]](#) а также доктор Менгеле, Мартин Борман и другие малоприятные персонажи.

Промелькнуло смутное воспоминание: однажды вечером в загородном доме Генри рассказывал про какую-то южноамериканскую страну — может быть, как раз Аргентину? Я напряг память. Кажется, речь шла о путешествии вместе с отцом, каких-то там деловых интересах, острове у побережья... Но отец Генри где только не путешествовал; кроме того, какая тут связь? Четыре билета? В одну сторону? И если обо всем этом известно Джулиану — а уж он-то, по-моему, знал все про всех, про Генри тем более, — то почему не далее как вчера он расспрашивал меня о том, куда же все подевались?

Голова раскалывалась. Выйдя из леса на усеянный мириадами снежных искорок луг, я увидел, что из двух старых почерневших труб по бокам здания Общин поднимается дым. Было холодно и безлюдно, только у черного входа двое сонных рабочих мрачного вида разгружали пикап с молоком, проволочные ящики с грохотом ударялись об асфальт.

Столовая уже открылась, но в такую рань там не было ни одного студента, завтракали только люди из obsługi, перед тем как заступить на смену. Я взял себе чашку кофе и пару яиц всмятку и присел за столик у окна.

Занятия начинались сегодня, в четверг, но встреча с Джулианом предстояла мне только в понедельник. После завтрака я вернулся домой и засел за неправильные вторые аористы. В четыре часа я наконец поднял голову от книг и посмотрел в окно. На западе тускнели последние отблески солнца, снег на лугу был исчерчен длинными тенями тисов и ясеней, и было такое ощущение, будто весь день я провел в постели и, только что продрав глаза, пытаюсь отойти от сна.

Вечером по случаю начала семестра был объявлен торжественный ужин — ростбиф, фасоль с миндалем, сырное суфле и какое-то навороченное чечевичное блюдо для вегетарианцев. Я поужинал в одиночестве за тем же столиком, где сидел утром. В столовой было не повернуться; все курили, смеялись, тащили стулья к столикам, где и так уже не было места, и, приветствуя знакомых, бродили с тарелками в руках от одной тусовки к другой. Рядом со мной сидели студенты художественного факультета — об их принадлежности к искусству свидетельствовали горделивые пятна краски на одежде и забившаяся под ногти тушь. Один из них рисовал маркером на полотняной салфетке, другой ел рис из плошки, пользуясь перевернутыми кисточками вместо палочек. Я видел их впервые. Попивая кофе и оглядывая зал, я внезапно подумал, что Лафорг оказался прав: я действительно отрезан от жизни колледжа (впрочем, не сказать, чтобы я горел желанием сводить близкое

знакомство с людьми, которым кисти для рисования служили столовым прибором).

Поблизости два неандертальца вели беспощадный сбор средств для пивной вечеринки в скульптурной мастерской. Я знал эту парочку, как знали ее почти все хэмпденские студенты. Один из неандертальцев был сыном крупного рэкетира с Западного побережья, другой — сыном известного продюсера. Они значились соответственно президентом и вице-президентом Студенческого совета и использовали эти должности для организации женских боев в грязи, конкурсов «Кто больше выпьет», «Мисс Мокрая футболка» и тому подобных мероприятий. Оба были под метр девяносто — амбалы с отвисшей челюстью и трехдневной щетиной, в глазах — ничего, кроме безграничной тупости. Весной, едва потеплеет, такие, насколько я знал, обычно и вовсе забывают дорогу в аудитории и с утра до вечера валяются раздетыми по пояс на газоне, прихватив магнитофон и кулер с пивом. Общее мнение сходилось на том, что они славные ребята. Может, они и правда вели себя прилично с теми, кто одалживал им машину, продавал травку или оказывал другие услуги, но шизоидный блеск в их пороссячьих глазах, особенно у продюсерского сына, вызывал у меня острое желание держаться подальше. Его называли «Синий Свин» — далеко не всегда в шутку, но прозвище ему нравилось, и с идиотской гордостью он стремился его оправдывать: напившись (что происходило регулярно), поджигал мусорные баки, засовывал первокурсников в дымоходы, крушил окна пивными кегами и так далее.

Синий Свин (иначе Джад) и Фрэнк наконец добрались и до меня. Фрэнк сунул мне под нос жестянку с монетами и мятыми купюрами.

— А вот и мы. Тут у скульпторов пивной разгон вечером намечается. Как насчет раскошелиться?

Опустив чашку на блюдце, я выудил из кармана пиджака четвертак и несколько центов.

— Слышь, мужик, а че, больше никак? — угрожающе процедил Джад. *Noi polloi. Barbaroi.* <sup>[52]</sup>

— К сожалению, — бросил я, отодвигая стул, и потянулся к вешалке за пальто.

Вернувшись домой, я сел за стол и, машинально открыв словарь, уставился на стену перед собой. «Аргентина?» — произнес я, словно ожидая ответа.

В пятницу утром я пошел на французский. Студенты по большей части дремали на задних партах, очевидно, пожиная плоды вчерашнего

празднества. Ядовитый запах моющих средств, исходивший от полов и классной доски, противное гудение ламп дневного света и монотонный распев форм условного наклонения погрузили в транс и меня самого — слегка покачиваясь от усталости и скуки, я сидел, совершенно не замечая течения времени.

После занятия я направился напрямик к ближайшей телефонной кабинке и, набрав номер загородного дома, старательно прослушал по меньшей мере пятьдесят гудков. Ответа не было.

Шел снег. Я добрел до Монмута, поднялся к себе и уселся на кровать, задумчиво — а точнее, бездумно — глядя в окно на обледеневшие тисы. Через некоторое время я заставил себя перебраться за стол, но заниматься все равно не смог. В один конец, сказала диспетчер. Не подлежат возврату.

В Калифорнии было одиннадцать утра. Мои родители наверняка на работе. Спустившись в холл к моему старому другу таксофону, я позвонил матушке Фрэнсиса в Бостон, переведя оплату на моего отца.

— Ах, Ричард, — сказала она, когда до нее дошло, кто я такой. — Мой дорогой. Как это любезно с твоей стороны. Я так надеялась, что ты приедешь к нам в Нью-Йорк на Рождество. Где ты, прелесть моя? Прислать за тобой машину?

— Нет, спасибо, я в Хэмпдене. А Фрэнсис случайно не у вас?

— Но ведь Фрэнсис должен быть в колледже, разве нет?

— Извините, — в смятении выговорил я. Только в этот момент я сообразил, как глупо было звонить, не придумав заранее благовидный предлог. — Прошу прощения. Боюсь, я все перепутал.

— Что ты говоришь, дорогой?

— Мне казалось, он собирался сегодня быть в Бостоне.

— Ну, если так, то меня он пока не навестил. Я не расслышала, солнышко, так где ты сейчас? Давай я все-таки попрошу Криса за тобой заехать?

— Нет-нет, спасибо, я, собственно говоря, не в Бостоне. Я...

— Ты звонишь из колледжа? — обеспокоенно воскликнула она. — Дружочек, что случилось?

— Ничего, мэм, совсем ничего, — пробормотал я, подавив привычное желание бросить трубку — для этого было поздно. — Просто он зашел ко мне вчера вечером, я уже почти спал на самом деле, но мне послышалось, он сказал, что едет в Бостон... О! А вот и он! — театрально воскликнул я, от души надеясь, что моя реплика прозвучала не слишком ходульно.

— Где? Ты его видишь?

— Да, вон он, на лужайке, куда-то идет. Спасибо, большое спасибо,

миссис, э-э, Абернати. — Окончательно запутавшись, я даже не мог вспомнить фамилию ее нового мужа.

— Можно просто Оливия, дорогой. Поцелуй за меня этого негодника и передай, чтоб не забыл позвонить в воскресенье.

Поспешно распрощавшись — к тому времени меня уже несколько раз прошиб пот, — я повернулся прочь, и тут откуда ни возьмись ко мне устремился Банни. Он был в одном из своих шикарных новых костюмчиков и бодро жевал огромный ком резинки. Мне смертельно не хотелось разговаривать с ним, но отступить было некуда.

— Здорово, старик. А куда это Генри подевался? — начал он с места в карьер.

— Не знаю...

— Я вот тоже, — воинственно отозвался он. — С понедельника его не видел. И Франсуа тоже нигде нету, и близнецов. А с кем это, кстати, ты сейчас разговаривал?

— Э-э, да вот как раз с Фрэнсисом, — соврал я. — Так, поболтали немного.

Засунув руки глубоко в карманы, Банни качнулся на пятках.

— Хм. Это он тебе звонил?

— Ну да.

— Откуда?

— Из дома, наверно.

— Точно? Звонок, случайно, не междугородний был?

У меня по спине побежали мурашки. Неужели он все-таки что-то знает обо всем этом?

— По-моему, нет, — ответил я.

— Генри тебе ничего не говорил насчет того, что собирается куда-нибудь уехать?

— Нет. А что?

— А то, что в его квартире уже несколько дней по вечерам свет не горит. И машина исчезла. Я всю Уотер-стрит обыскал, ее нигде нет.

Почему-то мне вдруг стало очень смешно. Я направился к черному ходу. Оконце в верхней части двери выходило на парковку за кортом. Ну разумеется — машина Генри так и стояла там, где я ее оставил.

Я показал в окошко:

— Вон она. Видишь?

Челюсти Банни замедлили ход, а лицо затуманилось от мыслительного усилия:

— Забавно...



— Почему?

Задумчивый розовый пузырь медленно расцвел у него на губах и лопнул со звонким хлопком.

— Да так, — бросил он и снова заработал челюстями.

— С чего ты взял, что они уехали?

— Так тебе все сразу и расскажи! — мотнув головой, усмехнулся он. — Какие вообще планы, старик?

Мы пошли ко мне наверх. По пути он остановился у общего холодильника, открыл дверцу и, подслеповато щурясь, принялся исследовать содержимое.

— Есть тут что-нибудь твое?

— Нет.

Но он уже доставал оттуда замороженный чизкейк. К коробочке была приклеена жалобная записка: «Пожалуйста, не надо это красть! Я на финансовой помощи. Дженни Дрекслер».

— Покатит, — сказал он, воровато оглядываясь. — Никого вроде нет?

— Никого.

Он засунул коробку под пальто и, насвистывая, пошел дальше по коридору. Зайдя в комнату, он выплюнул жвачку и быстрым небрежным движением прилепил комок к внутреннему краю мусорного ведра, вероятно, надеясь, что я не замечу. Плюхнувшись на стул, он принялся наворачивать чизкейк прямо из коробки обнаруженной на комодe ложечкой.

— Фу, какая гадость. Хочешь попробовать?

— Нет, спасибо.

Банни задумчиво облизал ложечку.

— Кислятина. Лимона слишком много бухнули, вот в чем проблема. А вот сыра пожалели.

Он задумался — я был уверен, об этой неудачной пропорции ингредиентов, — а потом вдруг спросил:

— Ты ведь в прошлом месяце порядком тусовался с Генри?

— Вроде того, — насторожившись, ответил я.

— Небось разговоры там всякие разговаривали, а?

— Под настроение.

— А про то, как мы были в Риме, он тебе не рассказывал? — спросил он, не сводя с меня пристального взгляда.

— Ну так, без подробностей.

— Он что-нибудь говорил про свой ранний отлет?

«Наконец-то, наконец-то мы доберемся до сути», — подумал я с облегчением и, не погрешив против истины, ответил:

— Нет, толком, считай, ничего. Когда он появился, я понял, что он уехал раньше срока. Но я не знал, что без тебя. В конце концов я его как-то спросил, и он сказал, что ты еще в Риме. Вот и все.

Поморщившись, Банни подцепил огромный кусок чизкейка.

— То есть он не объяснил, почему так рано уехал? — спросил он с набитым ртом.

— Нет, — покачал я головой, но, когда Банни не ответил, добавил: — Это как-то связано с деньгами, да?

— Это он тебе так сказал?

— Нет... Но он упомянул, что у тебя были проблемы с финансами, так что ему пришлось платить за жилье и все остальное. Это правда?

Банни махнул рукой, словно отгоняя муху:

— Ох уж этот Генри... Люблю я его, да и кто из нас его не любит, но, между нами, есть в нем все же чуток еврейской крови.

— Чего?

Но Банни обрел дар речи только после того, как расправился с очередным куском чизкейка:

— Это ж надо поднимать столько шуму после того, как выручил друга в трудную минуту! Но я-то знаю, в чем тут дело. Он просто боится, что его, так сказать, используют.

— Что ты имеешь в виду?

— Да то, что в детстве кто-то взял и нашептал ему: «Сынок, у тебя куча денег, и, когда ты станешь большим, люди станут выманивать их у тебя всеми правдами и неправдами».

Прядь волос скрывала один его глаз, словно повязка старого морского волка. Другим он бросил на меня хитрый, всезнающий взгляд.

— Но я тебе так скажу: не в самих деньгах тут дело. Денег-то у него куры не клюют, дело в принципе. Он хочет быть уверен, что его любят не за толстый кошелек, а типа, просто так, за то, какой он есть.

Этот пассаж несказанно изумил меня, поскольку полностью противоречил моим собственным наблюдениям за частыми и, по моим меркам, экстравагантными проявлениями щедрости Генри.

— Так, значит, вы не из-за денег поссорились, — подытожил я.

— Не-а.

— Тогда, может быть, все-таки скажешь, из-за чего?

Банни подался вперед. Глубокая задумчивость на его лице на мгновение уступила место абсолютной искренности. Когда он открыл рот, я не сомневался, что сейчас он уж точно расскажет все без обиняков, но вместо этого он откашлялся и попросил меня, если не трудно, пойти

сварить ему кофейку.

Вечером, лежа на кровати с конспектом, я вздрогнул от внезапного воспоминания, как будто в лицо мне ударил луч прожектора. *Аргентина*. Это слово нимало не утратило способность потрясать мое воображение и, поскольку я не имел точного представления о расположении обозначаемой им страны на карте, словно бы начало жить своей собственной, непонятной жизнью. Суровое *Ар* в начале навевало мысли о золоте, идолах, затерянных в джунглях городах и подводило к зловещей, непроницаемой камере *Ген*, а звучное *Тина* повисало в конце знаком вопроса — какая ерунда, боже мой, но тогда мне казалось, что каким-то туманным образом это название, будучи одним из немногих фактов, которыми я располагал, может оказаться зашифрованным ответом или ключом к разгадке. Однако опешил я вовсе не от этого, а от осознания того, сколько сейчас времени — девять двадцать, убедился я, посмотрев на часы. Значит, самолет уже несет их по темному небу к выдуманной мной Аргентине? Или нет?

Отложив тетрадь, я поднялся с кровати и присел на стул у окна. В тот вечер я больше не занимался.

Выходные прошли, как проходит все на свете. Я провел их за греческим, одинокими походами в столовую и все теми же бесплодными раздумьями у себя в комнате. Меня мучила обида, и к тому же я скучал по ним гораздо сильнее, чем был готов признаться. Банни, непонятно почему, стал меня избегать. Пару раз я видел его в компании Марион и ее подружек; он что-то вещал с важным видом, а они, столпившись вокруг, восхищенно внимали ему открыв рот. (Все эти девицы были с факультета начального образования и, полагаю, считали его невероятным эрудитом — ведь он изучал древнегреческий и носил очки в металлической оправе.) Один раз я заметил его в компании Клоука Рэйберна, его давнего друга, но я не был знаком с Клоуком и постеснялся заговорить с Банни в его присутствии.

С острым, растущим час от часу любопытством я ждал первого занятия у Джулиана. В понедельник я проснулся в шесть утра. Не желая приходить в несусветную рань, я довольно долго просидел в комнате уже полностью одетый и страшно переполошился, когда, взглянув на часы, понял, что если не потороплюсь, то просто-напросто опоздаю. Схватив книги, я ринулся к выходу.

Уже у самого Лицея я осознал, что бегу, и заставил себя сбавить шаг. Очутившись внутри, я совладал с дыханием и медленно поднялся наверх.

Ноги двигались, но в голове была пустота — совсем как в детстве, когда рождественским утром, после ночи, проведенной в нестерпимом предвкушении, все мои желания иссякали как по мановению руки и я подходил к двери комнаты, где меня ждали подарки, так, словно это было обычное утро обычного дня.

Они уже были там, все до единого: настороженные близнецы, примостившиеся на подоконнике; Фрэнсис, спиной ко мне; рядом с ним Генри. Банни, сидевший напротив них, раскачивался на стуле и что-то рассказывал.

— А теперь самый приколы, — обратился он к Генри и Фрэнсису, кивком привлекая к беседе и близнецов. Все взгляды были обращены на него, никто даже не заметил, как я вошел. — Так вот, начальник тюрьмы говорит: «Сынок, время уже вышло, а помилования от губернатора так и нет. Желаете сказать последнее слово?» Этот чувак стоит соображает и, когда его уже подводят к стулу... — Банни поднес к глазам карандаш и уставился на кончик, — ...оборачивается и бросает через плечо: «Ну что ж, теперь губернатор точно не получит мой голос на следующих выборах!»

Он с хохотом откинулся назад и тут заметил меня — я так и торчал в дверях, как остолоп.

— Чего стоишь, заходи, — сказал он, со стуком опуская на пол передние ножки стула.

Близнецы вскинули глаза, вздрогнув, словно олени. Генри был невозмутим, как Будда, только плотно сжатые губы все же выдавали волнение, но Фрэнсис побледнел прямо-таки до зеленого оттенка.

— А мы тут байки травим, пока суд да дело, — радушно сообщил мне Банни, снова принимаясь раскачиваться. — Ладно, поехали дальше. Смит и Джонс совершают вооруженное ограбление и оказываются в камере смертников. Само собой, оба апеллируют по обычным каналам, но апелляцию Смита отклоняют первой, и ему прямая дорога на электрический стул.

Он философски махнул рукой, словно иллюстрируя бренность этого мира, а потом вдруг неожиданно подмигнул мне.

— Так вот, Джонса приводят посмотреть на казнь, он видит, как его дружка пристегивают к стулу...

Я заметил, что Чарльз, уставившись в пространство, прикусил губу.

— ...и тут входит начальник тюрьмы. «Ну что, Джонс, — говорит, — какие новости насчет апелляции? — Да особо никаких, господин начальник, — отвечает Джонс. — Ах вот как, — продолжает тот, взглянув на часы, — ну тогда уж, наверно, нет смысла тащиться обратно в камеру,

а?»

Запрокинув голову, Банни расхохотался, очень довольный собой, но никто даже не улыбнулся.

Когда Банни опять принялся за свое («А вот есть классная телега про Дикий Запад — ну, когда там еще виселицы в ходу были...»), Камилла подвинулась, освобождая место, и послала мне вымученную улыбку.

Я подошел и уселся на подоконник между ней и Чарльзом. Она быстро поцеловала меня в щеку:

— Как поживаешь? Ты, наверно, не мог понять, куда мы делись, да?

— Поверить не могу, что мы так до сих пор и не виделись, — негромко произнес Чарльз, поворачиваясь ко мне и забрасывая лодыжку одной ноги на колено другой. Нога тряслась, как испуганный зверек; ему пришлось положить сверху ладонь, чтобы унять дрожь. — Все дело в том, что мы страшно влипли с квартирой.

Не знаю, что я ожидал услышать от них, но явно не это:

— С квартирой?

— Мы оставили ключ в Виргинии.

— Тетушке Мэри-Грэй пришлось ехать аж в Роанок, чтобы отправить его через «Федерал экспресс».

— Я думал, вы сдаете кому-то еще, — с подозрением сказал я.

— Да, но этот наш съемщик уехал неделю назад. Как последние идиоты, мы попросили его выслать нам ключ простым письмом. А хозяйка квартиры во Флориде. Так что все это время мы торчали в загородном доме.

— Как мыши в мышеловке.

— Фрэнсис повез нас туда, а за пару километров до дома с машиной что-то стряслось. Жуткий скрежет и дым столбом.

— Руль отказал, представляешь? Мы влетели в канаву.

Они тараторили, перебивая друг друга. На несколько секунд их перекрыл пронзительный голос Банни:

— Так вот, у этого судьи была излюбленная система. По понедельникам он вешал угонщиков скота, по вторникам — шулеров, по средам — убийц...

— ...Нам пришлось добираться пешком, — продолжал Чарльз, — а потом мы днями напролет названивали Генри, чтоб он за нами приехал. Но он не брал трубку, ты ведь знаешь, как трудно с ним бывает связаться...

— А у Фрэнсиса даже еды никакой не было, только несколько банок маслин и смесь для выпечки.

— Ох да, маслины и «Бисквик» на завтрак, обед и ужин.

«Неужели правда?» — подумал я и на краткий миг испытал огромное

облегчение — нет, ну надо ж было быть таким дураком! — но тут вспомнил квартиру Генри и чемоданы у двери.

Банни подбирался к развязке:

— ...И тут судья говорит: «Сынок, сегодня у нас пятница, и, хотя я с удовольствием повесил бы тебя прямо сейчас, придется подождать до вторника, так как...»

— Даже молока не было, — добавила Камилла. — «Бисквик» приходилось замешивать на воде.

Раздалось негромкое покашливание, и я поднял глаза. На пороге стоял Джулиан.

— Умолкните, трещотки, — сказал он во внезапно наступившей тишине. — Силы небесные, и где же вы пропадали все это время?

Чарльз прочистил горло и, глядя на стену, принялся как заведенный пересказывать историю про ключ от квартиры, машину в канаве и маслины с «Бисквиком». В косых лучах зимнего солнца предметы выглядели застывшими, прорисованными до мелочей, словно бы ненастоящими, и у меня возникло ощущение, что я начал смотреть с середины какой-то запутанный фильм и никак не могу уловить нить повествования. Тюремные шуточки Банни почему-то совершенно выбили меня из колеи, хотя я вспомнил, что раньше, осенью, он тоже постоянно рассказывал что-нибудь подобное. Тогда, как и сейчас, ответом было лишь натянутое молчание, но ведь другого эти глупые, дрянные шуточки и не заслуживали. Мне всегда казалось, что Банни черпает их из какого-нибудь доисторического сборника анекдотов вроде «Адвокаты шутят», который, скорее всего, валяется у него на книжной полке рядом с автобиографией Боба Хоупа,<sup>[53]</sup> романами про Фу Манчу и «Мыслителями и творцами». (Позже выяснилось, что так оно и было.)

— Почему вы не позвонили мне? — озадаченно и, как мне показалось, несколько обиженно спросил Джулиан, когда Чарльз закончил свой рассказ.

Близнецы смотрели на него, не зная, что ответить.

— Нам это как-то в голову не пришло, — наконец сказала Камилла.

Джулиан посмеялся и процитировал афоризм из Ксенофонта, в котором буквально говорилось о палатках, воинах и приближении врага, но подразумевалось, что в час испытаний лучше всего обращаться за помощью к своим.

После греческого я вышел из кабинета, не обменявшись ни с кем ни словом, и зашагал прочь от Лицея в полном смятении чувств. Все мысли тут же отзывались беспричинным ощущением опасности и настолько противоречили друг другу, что я утратил способность строить какие-либо

предположения и лишь тупо изумлялся происходящему. Перспектива возвращения в комнату казалась невыносимой. Я отправился в Общины и почти час просидел в кресле у окна, не в силах решить, чем заняться. Пойти в библиотеку? Взять машину Генри (ключи все еще были у меня) и съездить куда-нибудь — например, проверить, нет ли в «Орфеуме» дневного сеанса? Сходить к Джуди попросить таблетку валиума?

В конце концов я пришел к заключению, что последнее является необходимым условием для осуществления любого другого плана. Я вернулся в Монмут и поднялся к Джуди, но обнаружил на двери ее комнаты накорябанную золотым маркером записку: «Бет! Мы с Трэйси едем обедать в Манчестер. Давай с нами? Я в мастерской до одиннадцати. Д.».

Я стоял, озадаченно рассматривая дверь, облепленную фотографиями разбитых автомобилей и провокационными журнальными заголовками. На дверной ручке болталась в петле голая кукла Барби. Времени было начало второго. Я подошел к безупречно белой двери своей собственной комнаты — она единственная не была украшена постерами «Флештоунз», религиозной пропагандой, суицидными цитатами из Арто<sup>[54]</sup> и тому подобным — и подивился скорости, с какой мои соседи умудрились наклепать всю эту дрянь, а также загадочности их мотивов.

Я лежал на кровати и смотрел в потолок, пытаясь вычислить, когда вернется Джуди, и придумать, чем развлечься до ее возвращения, когда ко мне постучали. Я отворил дверь — в коридоре стоял Генри.

— Привет, — сказал он.

Я словно бы онемел. Он созерцал меня с терпеливым безразличием — сосредоточенный, невозмутимый, под мышкой зажата книга.

— Здорово, — ответил я наконец.

— Как поживаешь?

— Отлично.

— Это хорошо.

Долгое молчание.

— Ты сейчас занят? — вежливо осведомился он.

Вопрос застал меня врасплох.

— Н-нет...

— Не хочешь составить мне компанию и немного прокатиться?

Я потянулся за пальто.

Выехав из Хэмпдена, мы свернули с главного шоссе на грунтовку, которую до этого я никогда не замечал.

— Куда мы едем? — поинтересовался я с некоторым беспокойством.

— Я подумал, что можно было бы посетить распродажу имущества на

Олдкворри-роуд, — безмятежно ответил Генри.

За всю свою жизнь я редко испытывал такое удивление, как в тот раз, когда дорога действительно привела нас, почти час спустя, к большому дому, вывеска перед которым гласила «РАСПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА».

Хотя сам дом был просто шикарным, распродажа оказалась так себе: рояль, заставленный столовым серебром и надтреснутыми бокалами, большие стоячие часы, несколько коробок с пластинками, кухонной утварью и игрушками и кое-что из мягкой мебели, изрядно поцарапанной кошками. Все это было кое-как свалено в гараже.

Перебирая стопку старых нот, я краем глаза следил за Генри. Он без особого интереса поворошил серебряные ножи, равнодушно наиграл одной рукой несколько тактов из стоявших на пюпитре «Грез» Шумана, открыл заднюю дверцу часов и осмотрел механизм, после чего углубился в долгую беседу с подошедшей племянницей бывшего владельца о том, когда лучше всего высаживать в грунт луковицы тюльпанов. Перерыв ноты два раза подряд, я переместился к посуде, потом к пластинкам. Генри купил садовую тяпку за двадцать пять центов.

— Извини, что вытащил тебя в такую даль, — сказал он на обратном пути.

— Ничего страшного, — пробормотал я, съездившись на сиденье около самой дверцы.

— Признаться, я проголодался. А ты? Не хочешь ли, случайно, поужинать?

Мы заехали в закусочную на окраине Хэмпдена. Ранним вечером там не было ни души. Генри заказал ужин по полной программе — гороховый суп, ростбиф, салат, картофельное пюре с мясной подливкой, кофе и кусок пирога — и методично расправился с ним в полном молчании, смакуя каждое блюдо. Ковыряя свой омлет, я был не в силах сдержаться и то и дело поглядывал на Генри. Мне казалось, я пришел в вагон-ресторан, где стюард усадил меня за один столик с другим одиноким путешественником. Этот благовоспитанный незнакомец, возможно, даже не говорил на моем языке, однако ему, похоже, было приятно ужинать в моем обществе — от него исходила спокойная приветливость, словно мы были знакомы всю жизнь.

Поев, он достал из кармана рубашки сигареты (он курил «Лаки страйк»; даже сейчас, мысленно рисуя его образ, я тут же вспоминаю этот



красный кружок у него над сердцем) и, щелчком выбив пару, протянул пачку мне, вопросительно подняв бровь. Я покачал головой.

Он выкурил одну сигарету, потом другую. Нам принесли по второй чашке кофе. Сделав глоток, он пристально посмотрел на меня:

— Почему ты весь день такой притихший?

Я только пожал плечами.

— Разве ты не хочешь послушать про нашу поездку в Аргентину?

Опустив чашку на блюдце, я несколько секунд осознавал услышанное. Затем меня одолел смех.

— Да... Да, конечно, хочу... Расскажи.

— Тебя не удивляет, что я знаю? Про то, что ты знаешь, я имею в виду?

Отразившееся на моем лице замешательство, видимо, говорило само за себя, потому что теперь засмеялся он.

— Никакой мистики. Когда я позвонил, чтобы аннулировать заказ, — они, естественно, не хотели этого делать, билеты вообще-то не подлежали возврату, но, думаю, мне удалось все уладить, — так вот, когда я позвонил в компанию, они очень удивились и сказали, что ведь я подтвердил вылет буквально накануне.

— Как ты узнал, что это я им звонил?

— Кто же еще? Только у тебя был ключ. Нет-нет, все нормально, я специально оставил его тебе, — тут же прибавил он, когда я начал смущенно оправдываться. — По ряду причин это значительно упростило бы дело впоследствии, но, как назло, ты нагрязнул в самый неудачный момент. Я отлучился всего на пару часов, приди ты чуть позже, никаких следов уже бы не осталось.

Он отпил кофе. У меня накопилось столько вопросов, что не было никаких шансов расположить их в логическом порядке.

— Зачем ты оставил мне ключ? — спросил я наобум.

— Если б мы все же уехали, кому-то пришлось бы в конце концов открыть квартиру для хозяйки, — пожал плечами Генри. — Понятно, что я прислал бы тебе указания, с кем связаться и как распорядиться оставшимися вещами, — вот только я совсем забыл про этого несчастного Лидэлла и Скотта. Ну, вернее, не то чтобы совсем... Но того, что ты явишься за ним, так сказать, *bei Nacht und Nebel*,<sup>[55]</sup> я действительно не учел. Глупо с моей стороны. Ты знаком с бессонницей ничуть не хуже меня.

— Давай проясним все до конца. Вы в результате не были в Аргентине?

Генри насмешливо хмыкнул и сделал жест официанту.

— Разумеется, нет. В противном случае я сейчас не сидел бы здесь с тобой.

Оплатив счет, он предложил отправиться вместе с ним к Фрэнсису. «Думаю, его самого дома нет», — прибавил он.

— Зачем тогда туда ехать?

— Дело в том, что у меня в квартире беспорядок, и я перебрался к нему до тех пор, пока не организую уборку. Ты случайно не знаешь какой-нибудь приличной конторы по найму домашней прислуги? Фрэнсис говорит, что после визита уборщиц из городского бюро по трудоустройству у него пропали две бутылки вина и пятьдесят долларов.

Сдерживать поток вопросов стоило мне нечеловеческих усилий, однако по дороге я не произнес ни слова. Наконец мы подъехали к дому Фрэнсиса.

— Да, как я и думал, его еще нет, — сказал Генри, отпирая дверь.

— А где он?

— Повез Банни в Манчестер ужинать. Потом они, кажется, собирались в кино — Банни хотел посмотреть какой-то фильм. Не хочешь кофе?

Фрэнсис снимал жилье в уродливом здании постройки семидесятых, находившемся во владении колледжа. Квартыры в нем пользовались большой популярностью среди студентов: они были просторнее, чем комнаты в старых домах кампуса, и позволяли жить не слишком на виду у соседей. Правда, в качестве своего рода нагрузки к этим квартирам прилагались плохо освещенные лестницы, полы, покрытые линолеумом, и дешевая современная мебель, придававшая им сходство с номерами «Холидей-инн», однако Фрэнсиса, похоже, это не смущало. Свое обиталище он обставил мебелью, привезенной из загородного дома, хотя выбирал он ее, надо сказать, как попало, и в результате возникла варварская смесь стилей, разноцветных обивок, светлого и темного дерева.

Обследовав кухню, мы не обнаружили ни кофе, ни чая — только запас виски и немного «виши». «Ему не помешало бы сходить в магазин», — прокомментировал Генри, заглядывая мне через плечо в очередной пустой шкафчик. Я достал лед и стаканы, и, захватив большую бутылку «Фэймос Граус», мы прошли по призрачно-белесым полям линолеума в полутемную гостиную.

— Значит, в Аргентину вы не полетели... — начал я, когда мы расположились в креслах за журнальным столиком и Генри, включив лампу, разлил виски.

— Нет.

— Почему?

Вздыхнув, Генри полез в нагрудный карман за сигаретами.

— Из-за денег, — ответил он. — У меня, в отличие от Фрэнсиса, нет доверительного фонда, только ежемесячная сумма на содержание. Она существенно превышает мои обычные затраты, и многие годы я откладывал **большую** часть этих денег на сберегательный счет. Но Банни опустошил его практически полностью. У меня не было ни малейшего шанса получить на руки больше тридцати тысяч долларов, даже если бы я продал машину.

— Тридцать тысяч — это очень много.

— Да, немало.

— Но зачем вам могло понадобиться столько денег?

Генри выпустил кольцо дыма. Поколыхавшись в желтом круге света под абажуром, оно медленно уплыло в темноту.

— Затем, что мы не собирались возвращаться, а разрешения на работу за границей ни у кого из нас не было. Нам пришлось бы очень долго жить исключительно на то, что мы взяли с собой. Собственно говоря... — на этих словах он повысил голос, словно я собирался его прервать, хотя на самом деле я только издал нечленораздельный звук изумления, — ... Буэнос-Айрес вовсе не был конечным пунктом назначения. Это была лишь промежуточная остановка.

— Что?!

— Будь у нас достаточно средств, мы, наверное, полетели бы в Париж или Лондон — любой город с большим аэропортом, где много транзитных пассажиров, — оттуда в Амстердам и только потом в Южную Америку. Очевидно, что в этом случае проследить наш путь было бы гораздо труднее. Однако таких денег у нас не было. Оставалось лететь в Аргентину, а оттуда кружным путем добираться в Уругвай. Страна опасная и непредсказуемая, но для наших целей она вполне подходила. У моего отца капиталовложения в тамошнюю крупную собственность. Мы легко бы нашли, где поселиться.

— Твой отец знал об этом?

— Он узнал бы в конечном итоге. На самом деле я рассчитывал попросить тебя связаться с ним после того, как мы добрались бы до места. Случись что непредвиденное, он смог бы помочь нам — в крайнем случае, даже смог бы вытащить нас из страны. У него там есть связи, на правительственном уровне. Кроме него, не знал бы никто.

— И он бы тебе не отказал?

— Мой отец и я не слишком близки, но я его единственный сын, —

неохотно пояснил Генри и, допив виски, встряхнул льдинки в стакане. — Впрочем, мы отвлеклись. Хотя я располагал лишь очень небольшой наличностью, мои кредитные карточки были в полном порядке, так что оставалась одна задача — собрать сумму, которой бы нам хватило на некоторое время. Тут как раз мог помочь Фрэнсис. Он и его матушка, как ты, наверное, знаешь, живут на доходы от фонда, но у них также есть право ежегодно забирать три процента основного капитала, то есть примерно сто пятьдесят тысяч. Обычно эти деньги не трогают, но теоретически любой из них может получить их когда захочет. Управляет фондом одна бостонская адвокатская контора. В четверг утром мы уехали из загородного дома, заскочили в Хэмпден за вещами, а потом поехали в Бостон. Мы остановились в «Паркер-хаус». Очаровательный отель. Не бывал там? Нет? В нем останавливался Диккенс, когда приезжал в Америку.

Ну да ладно. Так вот, у Фрэнсиса была встреча с управляющим фондом, а близнецы отправились уладить кое-какие вопросы с паспортами. Знаешь, вот так внезапно собраться и уехать за границу вовсе не просто, нужно предусмотреть массу вещей — но мы вроде бы обо всем позаботились, и казалось, препятствий больше нет. Мы немного беспокоились за близнецов, но, конечно, не было бы ничего страшного, если бы они присоединились к нам с Фрэнсисом на несколько дней позже. Я вполне успевал завершить кое-какие оставшиеся дела, а Фрэнсис заверил меня, что получить деньги будет легче легкого: нужно только заехать в фирму и подписать пару бумаг. Разумеется, его мать потом все обнаружила бы, но что она смогла бы сделать после его отъезда?

Однако он не вернулся к условленному сроку, прошло три часа, потом четыре. Пришли близнецы, мы заказали обед в номер, и тут ввалился Фрэнсис. Он едва ли не бился в истерике. Дело в том, что денег за этот год уже не было. Его матушка забрала их при первой же возможности, ничего ему не сказав. Неприятный сюрприз в любом случае, но в наших обстоятельствах — просто катастрофа. Фрэнсис перепробовал все: пытался одолжить деньги под залог фонда, даже передать свое право пользования процентами управляющей компании — а это, если ты хоть что-нибудь понимаешь в фондах, последний и самый отчаянный шаг. Близнецы были за то, чтобы рискнуть и уехать как есть. Однако... Ситуация была непростой. После отъезда путь назад был бы отрезан — а что бы мы делали в Уругвае без средств? Жили бы в домике на дереве, как Венди и потерянные мальчики? — Он вздохнул. — Вот так мы и сидели — на чемоданах, с готовыми паспортами, но без денег. Я не преувеличиваю. На всех четверых не набралось бы и пяти тысяч. Мы долго спорили, но в

конце концов пришли к выводу, что единственный выход — вернуться в Хэмпден. По крайней мере еще на какое-то время.

Он сообщил мне все это ровным, спокойным тоном, но, слушая его, я чувствовал, что у меня все сильнее сосет под ложечкой. Общая картина была до сих пор неясна, но то, что я видел, мне совсем не нравилось. Долгое время я не мог произнести ни слова и только разглядывал тени на потолке.

— Господи, Генри...

Генри вопросительно шевельнул бровью. Тень рассекала его лицо пополам, в руке он так и держал пустой стакан.

— Что вы натворили?

Сухо улыбнувшись, он потянулся в темноту за бутылкой.

— Мне кажется, ты и сам все понял. Позволь, теперь я задам тебе вопрос. Почему ты прикрывал нас?

— Что?

— Ты знал, что мы собрались за границу. Ты знал это с прошлого четверга и не сказал ни одной живой душе. Почему?

Стены комнаты уже давно растворились во мраке, на фоне которого бледным пятном выделялось лицо Генри. Случайные отблески играли на оправе очков, горели в янтарной глубине стакана, сияли синевой в глазах.

— Не знаю.

— Неужто и вправду не знаешь? — улыбнулся он.

Я не ответил.

— В конце концов, мы не поверяли тебе наши планы и не просили молчать. Ты мог остановить нас в любой момент, но не сделал этого. Почему?

— Генри, ради всего святого, что вы натворили?

— Догадайся.

Самое страшное было в том, что я действительно все понял, понял уже давно.

— Вы убили кого-то, да?

Генри откинулся в кресле и, к моему невероятному удивлению, рассмеялся:

— Молодец! Я так и думал, что ума тебе не занимать. Я чувствовал, что рано или поздно ты сам поймешь, что к чему, и говорил это всем остальным с самого начала.

Наш освещенный круг ограждала тяжелая бархатная завеса тьмы. Внезапно я испытал ощущение, в котором соединились клаустрофобия и страх высоты: стены были готовы обрушиться нам на голову, но вместе с

тем отступили далеко-далеко, оставив нас обоих подвешенными в безграничном аспидном пространстве. Внутри шевельнулась тошнота; сглотнув, я сосредоточил взгляд на Генри:

— Кого вы убили?

Генри поморщился:

— В сущности, не важно. Можно сказать, это был несчастный случай.

— То есть вы не замышляли ничего такого?

— Ну что ты, нет, конечно, — удивился он.

— Как это произошло?

— Не знаю даже, с чего начать, — отпив виски, задумчиво произнес Генри. — Помнишь, минувшей осенью мы обсуждали с Джулианом то, что Платон называл мистериальной исступленностью? Иными словами, дионисийское неистовство — *bakcheia*.

— Ну да, помню, — нетерпеливо ответил я. Очень похоже на Генри — ни с того ни с сего отправиться в историко-философский экскурс.

— Так вот, мы решили попробовать это испытать.

— Что-что? — переспросил я, подумав, что неверно понял.

— Я говорю, мы решили устроить вакханалию.

— Да ладно тебе.

— Именно так.

— Ты шутишь.

— Нет.

— В жизни не слышал ничего более странного!

Генри пожал плечами:

— С какой стати вообще можно было это затеять?

— Мысль об этом не давала мне покоя.

— Почему?

— Ну, насколько я знаю, вакханалий не было две тысячи лет.

Он помедлил, но, поняв, что не убедил меня, продолжил:

— В конце концов, соблазн перестать быть собой, даже на краткий миг, очень велик. Сбросить оковы когнитивного восприятия, подняться над суетным и преходящим. Вакхическая исступленность дает и иные блага, трудно выразимые словами, — блага, на которые древние авторы лишь намекают и которые сам я постиг только *post factum*.<sup>[56]</sup>

— И что это за блага?

— Вакханалия называется мистерией не просто так. Можешь мне поверить, — недовольно бросил Генри. — Однако не будем недооценивать притягательность исходной идеи: утратить эго, утратить его без остатка и таким образом возродиться к жизни вечной, вне тюрьмы смертности и

времени. Эта идея привлекала меня с самого начала, даже когда я ничего толком не знал и подходил к вакханалии как антрополог, а не как потенциальный адепт. Античные комментаторы описывают мистерии вкратце и с большой осторожностью. Приложив немало усилий, я смог собрать кое-какую информацию: во что нужно одеваться, что делать и говорить. Гораздо сложнее было понять, в чем же заключается само таинство — как войти в экстатическое состояние, что служит катализатором... — Голос его звучал мечтательно и чуть насмешливо. — В ночь нашей первой попытки мы просто напились в стельку и уснули — как были, в хитонах — в лесу рядом с домом Фрэнсиса.

— Вы нарядились в хитоны?

— Да, нарядились, — раздраженно ответил Генри. — Исключительно в интересах науки. Мы сделали их из простыней на чердаке. Не об этом речь. В первый раз ничего не произошло, если не считать того, что потом нас мучило похмелье и все мышцы болели после ночи, проведенной на голой земле. В следующий раз мы выпили меньше, но результат остался прежним. Мы сидели за полночь на холме и распевали греческие гимны — посвящение в студенческое братство, да и только, — и вдруг Банни захохотал так, что упал навзничь и кеглей скатился вниз.

Стало ясно, что одного вина недостаточно. Бог ты мой... Что только мы не перепробовали — наркотики, молитвы, даже яд в небольших дозах. Мне становится дурно при одном воспоминании. Мы жгли болиголов и вдыхали дым. Я знал, что пифия жевала листья лавра, но и это нам не помогло. Может быть, ты помнишь, что как-то раз обнаружил наш отвар на плите, у Фрэнсиса на кухне?

Я не верил своим ушам.

— Почему я ничего об этом не знал?

— Ну что ты, по-моему, совершенно ясно почему, — сказал Генри, потянувшись за сигаретами.

— Что ты имеешь в виду?

— Разумеется, мы просто не могли тебе рассказать. Мы едва тебя знали. Ты бы решил, что мы сошли с ума.

Так вот, в какой-то момент нам показалось, что все средства исчерпаны. Полагаю, отчасти меня вели в заблуждение описания пифийских пророчеств — *pneuma enthusiastikon*,<sup>[57]</sup> ядовитые испарения и так далее. Эти процессы документированы довольно отрывочно, но все же лучше, чем вакхические методы, и некоторое время я думал, что то и другое должно быть как-то связано. Только после долгого периода проб и ошибок стало очевидно, что это не так и что не хватает нам, скорее всего,

чего-то очень простого. Так оно и оказалось.

— И что же это было?

— Буквально следующее. Чтобы принять бога, в этом или любом другом таинстве, нужно находиться в состоянии эвфемии, культовой чистоты. Оно лежит в самом сердце вакхической мистерии. Даже Платон говорит об этом. Прежде чем божественное сможет вступить в свои права, смертное тело — наша брэнная оболочка, прах земной — должно очиститься.

— Каким образом?

— Посредством символических актов, вполне универсальных во всем греческом мире, — лить воду на голову, совершать омовения, поститься... У Банни с постом были проблемы, да и с омовениями, осмелюсь заметить, тоже, но все остальные тщательно следовали подготовительным процедурам. И все же, чем больше мы старались, тем менее осмысленным все это казалось, пока в один прекрасный день меня не осенила очевиднейшая мысль, а именно что любой религиозный ритуал — не более чем условность, если практикующий не видит скрытый за ним глубокий смысл.

Знаешь, что Джулиан говорит о «Божественной комедии»? — спросил он после паузы.

— Нет, Генри, не знаю.

— Что она недоступна для нехристианина. Что если человек хочет не только прочитать, но и понять Данте, он должен стать христианином хотя бы на несколько часов. С вакханалией было то же самое. Нужно было принять ее законы. Любопытствующий наблюдатель и даже ученый никогда не смогут ее постичь. Впрочем, мне кажется, поначалу было и невозможно подходить к ней иначе — ведь мы видели лишь разрозненные фрагменты, к тому же сквозь пелену веков. Скрыта была жизненная сила таинства: красота, ужас, жертвенность.

Сделав последнюю затяжку, он потушил сигарету.

— Мы просто-напросто не верили. А вера была абсолютно необходимым условием. Вера и готовность всецело подчиниться воле божества.

Я ждал продолжения.

— Честно говоря, на этой стадии мы уже были готовы все бросить, — сказал он. — Предприятие было по-своему интересным, но и хлопот возникало предостаточно. Ты не представляешь, сколько раз ты чуть нас не застукал.

— Правда?



Он кивнул:

— Правда. Ты, наверное, не помнишь, что как-то раз пошел в библиотеку за книгой около трех ночи? Мы услышали, как ты спускаешься. Я тогда прятался за драпировкой буквально на расстоянии вытянутой руки. В другой раз ты встал еще до нашего возвращения. Нам пришлось проскользнуть внутрь через черный ход и, как вора, красться по лестнице на цыпочках. Конечно же все эти босоногие прятки в темноте весьма и весьма утомляли. К тому же холодало. Источники сообщают, что oreibasai<sup>[58]</sup> происходили в середине зимы, но подозреваю, что пелопоннесские зимы значительно мягче вермонтских.

И тем не менее мы приложили столько усилий, что было как-то глупо, в свете нашего откровения, не попробовать еще раз до того, как выпадет снег. Внезапно все показалось очень серьезным. Мы постились три дня — дольше, чем когда-либо. Во сне мне явился вестник. Все шло превосходно, я чувствовал себя окрыленным — казалось, некий порыв вот-вот поднимет меня в воздух, — и еще у меня было ощущение, которого я никогда не испытывал прежде: будто сама реальность преобразается в нечто прекрасное и опасное и некая неведомая сила влечет нас к скрытой пока что цели.

Оставалась только одна проблема — Банни. Он просто не мог взять в толк, что все кардинально изменилось. Мы были близки к цели как никогда, на счету был каждый день, ночами уже подмораживало, и, если бы выпал снег — а это могло вот-вот случиться, — нам пришлось бы ждать до весны. Мысль о том, что Банни станет причиной крушения всех надежд, была невыносима. А я знал, что именно так все и будет. В решающий момент ему захочется удивить всех очередным ослиным анекдотом, и все полетит к чертям. Сомнения мучили меня уже на второй день поста, а на третий, накануне назначенной ночи, Чарльз заметил его в столовой: он уминал чизбургер, запивая его молочным коктейлем. Это стало последней каплей. Мы решили ускользнуть без него. Мы давно прекратили попытки по выходным — это было слишком рискованно, несколько раз ты чуть не наткнулся на нас, — теперь мы обычно уезжали за город поздно вечером в четверг и возвращались в три-четыре утра. Вот только в тот раз мы уехали рано, еще до ужина, и не сказали Банни ни слова.

Генри снова закурил и погрузился в молчание.

— И что?

— Не знаю, как и сказать, — неожиданно рассмеялся он.

— Скажи уж как-нибудь.

— Все получилось.

— Получилось?

— Именно.

— Но как это...

— Просто получилось.

— Боюсь, я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря «получилось».

— Я имею в виду — полный успех.

— То есть?

— Это было великолепно. Ошеломительно. Марево, факелы, пение. Вокруг выли волки, и где-то в темноте ревел бык. Река бурлила молоком. Луна прибывала и убывала прямо на глазах, словно при ускоренном показе фильма, по небу неслись вихри облаков. Виноградные лозы вырастали из земли и оплетали деревья, словно змеи; времена года сменялись в мгновение ока, казалось, промелькнула целая череда лет... Я хочу сказать, мы привыкли считать воспринимаемые чувствами изменения сущностью времени, а ведь это вовсе не так. Времени нет дела до весны и зимы, рождения и смерти, доброго и дурного, ему все равно. Это нечто неизменное, радостное и абсолютно непреложное. Дуализм исчезает — нет больше эго, нет «я», — и тем не менее это совершенно не похоже на ужасные сравнения из восточных религий, когда личность уподобляют капле воды в океане вселенной. Наоборот, скорее вся вселенная расширяется, чтобы заполнить собой границы личности. Ты и представить не можешь, насколько бледной кажется рутина повседневного существования после такого экстаза. Я был как младенец, я не помнил даже своего имени. Мои ступни были изрезаны в кровь, а я ничего не чувствовал.

— Но ведь в основе своей эти ритуалы связаны с сексом?

Фраза прозвучала не как вопрос, а как утверждение. Даже не моргнув, Генри спокойно ждал, пока я продолжу.

— Что, разве нет?

Генри аккуратно положил недокуренную сигарету в пепельницу. В своем темном костюме и аскетичных очках он был похож на священника, такой же сдержанный и учтивый.

— Конечно же да, — охотно подтвердил он. — Ты и сам знаешь это не хуже меня.

Я и боялся и надеялся услышать подробности, но Генри молчал.

— И что именно вы делали? — в итоге спросил я.

— Думаю, не стоит обсуждать детали, — мягко сказал он. — Да, в происходившем был определенный чувственный элемент, но в основе своей явление принадлежало духовной сфере.

— Может, вы и Диониса видели? — вырвалось у меня в шутку, но Генри кивнул так, словно бы я спросил его о чем-то само собой разумеющемся — например, сделал ли он домашнее задание. Я остолебенел. — Как, прямо во плоти? В козлиной шкуре? С тирсом?

— Что ты можешь знать о Дионисе? — сказал Генри, вскинув голову. — Что, по-твоему, мы видели — карикатуру? Изображение на вазе?

— Не могу же я поверить, что вы действительно...

— Что, если бы ты никогда не видел моря? Если бы твое представление о нем основывалось на детском рисунке — волны, намалеванные синим мелком? Ты и понятия не имеешь, как выглядит Дионис. Мы сейчас говорим о Боге. Бог — дело серьезное.

Недовольно поморщившись, он откинулся в кресле.

— Не веришь мне, можешь спросить остальных. В конце концов, нас было четверо. У Чарльза на руке остался кровавый след — он не помнил, кто его укусил, но это не был укус человека. Слишком большой. И вместо следов зубов — странные ровные проколы. Камилла говорит, что некоторое время ей казалось, будто она стала ланью, и это тоже загадочно, потому что все остальные, я в том числе, помнят, что гнали по лесу лань. Мы бежали не разбирая дороги, так что, когда пришли в себя, совершенно не понимали, где находимся. Позже выяснилось, что мы преодолели по меньшей мере четыре заграждения из колючей проволоки — как, не могу и вообразить, — и углубились в лес далеко за пределы имения Фрэнсиса, километров на десять — двенадцать. И тут я подхожу к довольно прискорбной части рассказа.

В какой-то момент прямо за моей спиной послышался странный, угрожающий звук. Я развернулся, чуть не потеряв равновесие, и ударил наугад, не понимая, что же передо мной. Ударил левой, которая у меня, естественно, развита несколько хуже. Я почувствовал страшную боль в костяшках, и в тот же миг это что-то чуть не выбило из меня дух. Как ты понимаешь, было темно, я практически ничего не видел. Я нанес еще удар, уже правой, вложив в него всю силу, и на этот раз раздался громкий хруст и вопль. Что было сразу после, не очень понятно — на этом месте в моих воспоминаниях провал.

Камилла убежала далеко вперед, но Чарльз и Фрэнсис следовали за мной и вскоре нагнали. Я отчетливо помню момент, когда они с треском показались из зарослей. Это зрелище до сих пор стоит у меня перед глазами: одежда разодрана, во всклоченных волосах листья и грязь. Они замерли, тяжело дыша, со злобными остекленевшими взглядами — я тоже не узнал их и, думаю, завязалась бы драка, но тут из-за облаков показалась

луна. Мы стояли, уставившись друг на друга. Постепенно все начало возвращаться на места. Я посмотрел на руку и увидел кровь и еще кое-что похуже. Тут Чарльз шагнул к какому-то предмету у моих ног. Я наклонился следом и увидел, что это человек. Он был мертв. Лет сорок, одет в желтую клетчатую рубашку — видел, наверное, такие шерстяные рубахи на местных жителях. У него была сломана шея, а мозги, извини за подробность, размазаны по лицу... И я понятия не имею, как это произошло. Хаос был страшный. Я был весь в крови, брызги были даже на очках.

Чарльз рассказывает другую историю. Он помнит, что видел меня рядом с телом, но еще вспоминает, что долго над чем-то бился, тянул изо всех сил и вдруг понял, что пытается вырвать руку какому-то человеку, упершись ногой ему в подмышку. Фрэнсис... сложно сказать. Как с ним об этом ни заговоришь, он каждый раз выдает новую версию.

— А Камилла?

— Боюсь, мы никогда не узнаем, что же там было на самом деле, — вздохнул Генри. — Мы нашли ее далеко не сразу. Она тихонько сидела на берегу ручья, опустив ноги в воду. На ее хитоне не было ни пятнышка, но волосы пропитались кровью насквозь — темные, слипшиеся, как будто она пыталась покрасить их в красный цвет.

— Как такое могло случиться?

— Непонятно.

Он закурил очередную сигарету.

— Так или иначе, тот человек был мертв. Мы стояли в лесной глуши, полуголые, в грязи, и у наших ног лежало его тело. Мы ничего не сообщали. Я то и дело отключался, чуть было не уснул стоя, но тут Фрэнсис наклонился, чтобы рассмотреть тело поближе, и с ним случился жестокий приступ сухой рвоты. Почему-то это привело меня в чувство. Я велел Чарльзу пойти найти Камиллу, а сам тем временем обшарил карманы убитого. Мне попала только какая-то карточка с его именем, кажется, водительское удостоверение — никакой пользы эта находка, естественно, нам не принесла.

Я не понимал, что делать дальше. Учти, было холодно, я давно не спал, трое суток не ел и не мог похвастаться особой ясностью мышления. Некоторое время — боже, какая путаница была у меня в голове — я всерьез собирался вырыть могилу, но потом понял, что это безумие. Мы не могли торчать там всю ночь. Кроме того, вырыть могилу было нечем. На секунду я едва не поддался панике — не можем же мы просто так оставить труп лежать? — но тут же понял, что это и есть наш единственный выход. Мы

ведь даже не знали, где машина. Я с трудом представлял, как мы будем волочить тело — по горам, по долам — неизвестно сколько времени. И даже если б дотащили его до машины, куда бы мы его повезли?

Поэтому, когда Чарльз вернулся с Камиллой, мы просто ушли. Что было, как я сейчас понимаю, умнейшим из возможных поступков. Не сказать, чтобы команды опытных следователей каждый день прочесывали вермонтские леса. Это дикое место. Люди то и дело погибают при самых разных обстоятельствах. Мы понятия не имели, кто этот человек, не было ни одной ниточки, которая могла бы привести от него к нам. Вся наша забота была найти машину и добраться домой незамеченными. Что мы и сделали.

Наклонившись, он налил себе еще, я последовал его примеру. Минуту-другую мы сидели в молчании.

— Генри... — выдавил я.

— Ты не представляешь, как это было тягостно, — сказал он, покачав головой. — Однажды я сбил на шоссе оленя. Видеть, как это благородное животное бьется в кровавой агонии, с переломанными ногами... А в этот раз было еще хуже, но я, по крайней мере, надеялся, что этим все кончится. Я и представить не мог, что у истории будет продолжение.

Он отпил виски.

— К сожалению, продолжение следует. Об этом позаботился Банни.

— То есть?

— Ты же слышал его сегодня утром. Он изводит нас без конца. Ума не приложу, что теперь делать.

Послышалось щелканье ключа в замке. Генри допил виски одним долгим глотком.

— А вот и Фрэнсис, — сказал он, потянувшись к выключателю.

## Глава 5

Когда зажегся верхний свет и отступившая тьма очертила привычные, посюсторонние границы гостиной (заваленный бумагами стол, продавленный низкий диван, пыльные шторы модного покроя, попавшие к Фрэнсису после очередной дизайнерской горячки его матери), у меня возникло ощущение, будто я только что вырвался из страшного сна и в панике нашарил кнопку ночника. Было отрадно видеть, что двери и окна на прежних местах и никакая чертовщина не перевернула все вверх дном под покровом ночи.

Щелкнул замок. Из темной прихожей показался Фрэнсис. Он тяжело дышал, удрученно сдергивая перчатки за кончики пальцев.

— Господи, Генри! Ну и вечер!

С порога он не мог меня видеть. Генри, покосившись в мою сторону, кашлянул — негромко и со значением. Фрэнсиса так и развернуло.

Мне казалось, я ответил на его взгляд как ни в чем не бывало, но, видимо, только казалось. Должно быть, все было написано у меня на лбу.

Фрэнсис долго и пристально рассматривал меня, забыв про перчатку, свисавшую с его руки безжизненным зверьком.

— О нет, — наконец произнес он, все еще не сводя с меня глаз. — Генри, ты ведь не...

— Боюсь, именно это я и сделал.

На секунду Фрэнсис крепко зажмурился. Он сильно побледнел, его осунувшееся лицо казалось сухим и шершавым, как след мелка на грубой бумаге. Я подумал, что сейчас он упадет в обморок.

— Не волнуйся, — поспешил успокоить его Генри.

Он не шелохнулся.

— Правда, Фрэнсис, все нормально, — чуть раздраженно добавил Генри. — Садись, в конце-то концов.

Тяжело дыша, Фрэнсис прошел в комнату и, рухнув в кресло, полез в карман за сигаретами.

— Он сам обо всем догадывался, — сказал Генри. — Я же тебе говорил.

Едва удерживая сигарету в дрожащих пальцах, Фрэнсис взглянул на меня:

— Это правда?

Я не ответил. У меня мелькнуло подозрение, что я стал жертвой

чудовищного розыгрыша. Фрэнсис обреченно провел рукой по лицу:

— Наверное, уже все знают. Даже не пойму, чего я теперь волнуюсь.

Генри принес из кухни стакан и, налив виски, протянул его Фрэнсису со словами «Deprendi miserum est».<sup>[59]</sup>

К моему удивлению, Фрэнсис рассмеялся — коротеньким унылым смешком.

— Боже правый! — воскликнул он, сделав большой глоток. — Это какой-то кошмар! Ричард, даже представить не могу, что ты теперь о нас думаешь!

— Это не важно, — произнес я без задней мысли, но тут же с изумлением понял, что так оно и есть. Это действительно почти не имело значения; во всяком случае, я не прибег к обычной разговорной фразе.

— Что ж, наверно, ты уже понял, как основательно мы влипли, — сказал Фрэнсис, сложив два пальца пинцетом и потирая уголки глаз. — Ума не приложу, что нам делать с Банни. Я чуть было не влепил ему пощечину, пока мы стояли в очереди на этот идиотский фильм.

— Вы ездили в Манчестер? — спросил Генри.

— Да. Но это ничего не меняет, люди обожают подслушивать, и никогда не знаешь, кто может оказаться у тебя за спиной. Был бы еще фильм стоящий...

— А что это было?

— Какой-то бред на тему холостяцкой вечеринки. Мне сейчас просто нужно принять снотворное и пойти спать. — Он допил свое виски и налил еще. — С ума сойти, — обратился он ко мне. — Ты так спокойно все воспринимаешь. Мне жутко неловко из-за этой истории.

Повисло молчание.

Наконец я спросил:

— Что вы собираетесь делать?

Фрэнсис вздохнул:

— То-то и оно — мы думали, делать ничего не придется. Понимаю, звучит не очень здорово, но что мы можем сейчас?

Его упаднический тон и рассердил и огорчил меня.

— Лично я понятия не имею, — сказал я. — Лучше скажите мне, ради бога, почему вы сразу не заявили в полицию?

— Ты конечно же шутишь, — сухо произнес Генри.

— Могли бы сказать, что ничего не знаете. Что просто наткнулись на труп, там, в лесу. Господи, ну не знаю — что сбили его на дороге, что он выскочил прямо вам под колеса, да мало ли что?

— Тем самым мы бы совершили непростительную глупость. Это был

несчастный случай, и мне жаль, что все так получилось, но, честно говоря, я не понимаю, как шестьдесят или семьдесят лет, проведенные мной в вермонтской тюрьме, послужат интересам налогоплательщиков или, если на то пошло, моим собственным.

— Но это же был несчастный случай. Ты сам только что сказал.

Генри пожал плечами.

— Если б вы пошли сразу, то могли бы отделаться каким-нибудь не очень серьезным обвинением. Может, даже и до суда бы не дошло.

— Может, — рассудительно согласился Генри. — Но не забывай, что мы в Вермонте.

— Какая, к черту, разница?

— К несчастью, разница есть, и весьма существенная. Если бы дело передали в суд, нас бы судили здесь, в штате. И, осмелюсь добавить, люди далеко не нашего круга.

— И что?

— Можешь приводить любые аргументы, но тебе не удастся убедить меня, что присяжные — заметь, все как один вермонтцы на грани бедности — проявят хоть каплю жалости к четверем студентам, проходящим по обвинению в убийстве их соседа.

— Жители Хэмпдена годами мечтали о чем-то подобном, — добавил Фрэнсис, прикуривая новую сигарету от окурка старой. — Нам бы не удалось отделаться обвинением в непредумышленном убийстве. Скорее всего, нас без долгих разговоров отправили бы на электрический стул.

— Представь, как бы это выглядело, — продолжил Генри. — Нам всем около двадцати, мы образованны, неплохо обеспечены и — что, может быть, самое главное, — не из Вермонта. Думаю, любой беспристрастный судья сделал бы скидку на наш возраст, обстоятельства и так далее, но...

— Четверо богатеньких ребяташек из колледжа? — поддержал его Фрэнсис. — Пьяные? Наглотававшиеся неизвестно чего? Глубокой ночью в частных владениях этого фермера?

— Вы были на его территории?

— Судя по всему, да, — ответил Генри. — Там нашли тело, как писали в газетах.

Я пробыл в Вермонте недолго, но достаточно, чтобы представить себе реакцию любого истинного вермонтца на такое известие. Нарушение границ частных владений было равносильно взлому жилища.

— О боже, — вздохнул я.

— И это еще не все, — сказал Фрэнсис. — Мы были завернуты в простыни. Босиком. В крови с головы до ног. Пьяные в стельку. По-твоему,



мы должны были отправиться к шерифу и попытаться все это объяснить?

— Сомневаюсь, что мы смогли бы объяснить хоть что-нибудь, — с задумчивой улыбкой произнес Генри. — Нет, правда — мне кажется, ты не совсем представляешь наше состояние в тот момент. Еще час назад мы были вне себя — в прямом смысле этого выражения. Чтобы выйти так далеко за пределы сознания, требуется сверхчеловеческое усилие, но это пустяки по сравнению с тем, чего стоит возвращение.

— Вот именно. Не стоит думать, будто что-то щелкнуло, и вот мы стоим как ни в чем не бывало, в здравом уме и твердой памяти. Мы были как после электрошоковой терапии.

— До сих пор не понимаю, как нам удалось добраться до дома незамеченными, — заметил Генри.

— Нет, не было ни малейшего шанса состряпать правдоподобную историю. Боже ты мой, я более-менее пришел в себя лишь спустя несколько недель. Камилла так и вовсе три дня не могла говорить.

Тут я вспомнил: Камилла, горло повязано красным шарфом, за весь вечер — ни звука. Ларингит, пояснили они.

— Да, это было очень странно, — сказал Генри. — Она все довольно ясно понимала, но не могла справиться со словами. Как будто перенесла удар. Когда она наконец заговорила, это был не английский и даже не греческий, а французский, который она учила в школе. Простейшие слова. Я помню, как сидел у ее кровати, а она считала до десяти и показывала на предметы вокруг: *la fenêtre, la chaise...* <sup>[60]</sup>

Фрэнсис засмеялся:

— Глядя на нее, можно было лишь умиляться. Я спросил, как она себя чувствует, а она ответила: «*Je me sens comme Hélène Keller, mon vieux*». <sup>[61]</sup>

— И вы не позвали врача?

— Смеешься?

— А если б ей не стало лучше?

— Ну, мы тоже прошли через нечто подобное, — сказал Генри. — Только у нас это более или менее прошло через пару часов.

— Вы что, тоже не могли говорить?

— Изодранные в клочья, все в синяках!.. — завелся Фрэнсис. — Да мы были не в состоянии пошевелить ни языком, ни мозгами. Пойди мы в полицию, на нас бы повесили все нераскрытые убийства в Новой Англии за последние пять лет. — Он развернул воображаемую газету. — «Свихнувшиеся хиппи обвиняются в жестоком убийстве птицевода», «Старина Эйб такой-то стал жертвой зверского ритуала».

— «Коренной житель Вермонта растерзан юными сатанистами», — добавил Генри, прикуривая сигарету.

Фрэнсис разразился смехом.

— На беспристрастном слушании дела у нас была бы хоть какая-то надежда, — сказал Генри. — Увы, рассчитывать на это не приходится.

— А лично я не могу представить себе худшей участи, чем сидеть на скамье подсудимых и слушать, как твою судьбу решают окружной судья и присяжные телефонистки.

— Перспектива действительно незавидная, — подытожил Генри. — Впрочем, пока что меня волнует не столько состав присяжных, сколько поведение нашего общего друга Банни.

— Банни? А что с ним?

— О, это тяжелый случай — полная неспособность держать язык за зубами.

— Вы говорили с ним?

— Да миллион раз, — сказал Фрэнсис.

— Он что, пытался пойти в полицию?

— Если он будет продолжать в том же духе, — сказал Генри, — в этом отпадет всякая необходимость. Они сами постучатся к нам в дверь. Увещевать его бесполезно. До него просто не доходит, насколько все серьезно.

— Не хочет же он, чтоб вы угодили в тюрьму?

— Если бы он немного подумал, то, вероятно, пришел бы к тому же выводу, — безучастно ответил Генри. — А кроме того, понял бы, что и сам не особенно жаждет попасть за решетку.

— Кто, Банни? А он-то при чем?

— Он знал обо всем с начала ноября и не сообщил в полицию, — пояснил Фрэнсис.

— Дело даже не в этом. Он все же достаточно смьшлен, чтобы не донести на нас намеренно. У него нет надежного алиби на ту ночь, и он должен понимать: если окажется, что нам не миновать тюрьмы, то я, по крайней мере, сделаю все возможное, чтобы он отправился туда вместе с нами.

Генри затушил сигарету в пепельнице.

— Беда в том, что он круглый дурак и рано или поздно сболтнет что-нибудь, не предназначенное для чужих ушей. Возможно, без злого умысла, но, честно говоря, его мотивы не слишком меня заботят. Ты же видел, как он вел себя сегодня утром. Если б это дошло до полиции, его бы тут же взяли в оборот. Но он, разумеется, уверен, что все эти идиотские шутки —

вершина остроумия и интеллекта, недостижимая для окружающих.

— Ума у него — ровно на то, чтобы не сдать нас властям, — сказал Фрэнсис и помолчал, наливая новую порцию виски. — Но нам никак не удастся вдолбить ему, что перестать чесать языком на каждом шагу — в его собственных интересах, и даже больше, чем в наших. Нет, правда, я практически уверен, что, впав в свое знаменитое покаянное настроение, он просто возьмет и кому-нибудь расскажет.

— Расскажет? Кому?

— Марион. Или отцу. Или декану. — Его передернуло. — От одной мысли у меня мурашки по коже. Он точь-в-точь как те типы в «Перри Мейсоне», которые в самом конце серии поднимаются с задней скамьи зала суда.

— Банни Коркоран, юный сыщик, — сухо произнес Генри.

— Как он вообще обо всем узнал? Его ведь не было с вами, так?

— Собственно говоря... — сказал Фрэнсис, — он был с тобой.

Он взглянул на Генри, и, к моему удивлению, оба расхохотались.

— Что такое? Что смешного-то? — насторожился я.

Это развеселило их еще больше.

— Ничего, — наконец выдавил Фрэнсис.

— Нет, правда, ничего такого, — смущенно вздохнув, сказал Генри. — В последнее время я смеюсь по самым невероятным поводам. — Он закурил очередную сигарету. — Банни действительно был тогда с тобой. По крайней мере, в начале вечера, помнишь? Вы еще ходили в кино.

— «Тридцать девять ступеней».

И, словно споткнувшись обо что-то, я вспомнил: ветреный осенний вечер, полная луна просвечивает сквозь мутные рваные облака. Я допоздна засиделся в библиотеке и пропустил ужин. Прихватив в кафетерии сэндвич, я пошел домой, глядя, как на тропинке передо мной танцуют и кружатся листья. Тут меня окликнул Банни и спросил, не хочу ли я составить ему компанию — он шел на собрание киноклуба, где в тот день показывали Хичкока.

Фильм уже начался, и все места были заняты. Нам пришлось сидеть на покрытых дорожкой ступеньках. Оперевшись на локти, Банни вытянул ноги и принялся хрустеть леденцами. Стены дрожали от сильного ветра, дверь то и дело хлопала, пока кто-то не догадался подпереть ее кирпичом. По экрану, на фоне черно-белого кошмара переброшенных через пропасти стальных мостов, с визгом неслись локомотивы.

— Да, после мы немного выпили, и он пошел к себе.

— Если бы, — вздохнул Генри.

— Он еще без конца спрашивал, не знаю ли я, где вы.

— Он прекрасно знал, где мы. Мы несколько раз пригрозили ему, что, если он не будет вести себя как следует, мы не возьмем его с собой.

— И в итоге его осенила потрясающая идея зайти к Генри и напугать его, — сказал Фрэнсис, вновь наливая себе виски.

— Меня это очень разозлило, — признался Генри. — Даже если бы ничего не произошло, это была гнусная затея. Он знал, где лежит запасной ключ, и просто вошел в квартиру.

— Но даже тогда все могло бы еще повернуться иначе. Просто возникла ужасная цепь совпадений. Если бы мы остановились по дороге, чтобы избавиться от наших нарядов, если бы поехали сюда или к близнецам, если бы Банни не уснул...

— Он спал?

— Да. В противном случае ему надоело бы ждать и он бы ушел. Мы вернулись в Хэмпден около шести утра. Дорогу назад к машине мы нашли чудом — в темноте, через все эти поля и буераки... Конечно, было страшно глупо ехать в Северный Хэмпден в наших окровавленных тряпках. Мы могли попасться на глаза полиции, угодить в аварию — все что угодно. Но я скверно себя чувствовал и плохо соображал, так что, наверное, приехал домой, повинувшись инстинкту.

— Он ушел от меня примерно в полночь.

— Значит, он находился один в моей квартире примерно с половины первого до шести утра. А предположительное время смерти, указанное в заключении экспертизы, — где-то между часом и четырьмя. Это одна из немногих приличных карт, выпавших нам в этой игре. Банни придется изрядно попотеть, доказывая, что его действительно с нами не было. К сожалению, разыграть эту карту мы можем только в крайнем случае. — Он пожал плечами. — Зажги он лампу, оставь хоть какой-нибудь признак жизни...

— Но ты же понимаешь, это должно было стать невероятным сюрпризом — взять и выпрыгнуть на нас из темноты.

— Мы вошли, включили свет и поняли, что отступать поздно, — он тут же вскочил. И увидел нас...

— ...в обгаренных кровью белых одеждах — вылитые персонажи Эдгара По, — мрачно продолжил Фрэнсис.

— Ничего себе. И как он среагировал?

— А как ты думаешь? Мы напугали его до смерти.

— Жаль, что не буквально, — сказал Генри.

— Расскажи ему про мороженое.

— Да, это было последней каплей, — раздраженно заметил Генри. — Он достал у меня из морозилки ведро мороженого — скрасить себе ожидание. Положить небольшую порцию на блюдечко он, конечно, не мог — ему непременно было нужно целое ведро. И когда он уснул, мороженое растаяло и потекло, сначала испачкав его самого, а затем — кресло и мой замечательный восточный коврик. М-да. Старинная была вещь и довольно ценная, но в химчистке сказали, что тут уже ничего не поделаешь. Мне вернули одни ошметки.

Он потянулся за сигаретой.

— Так вот, увидев нас, он заверещал, как баньши...

— ...и никак не мог заткнуться, — вставил Фрэнсис. — Не забывай, было шесть утра, все соседи спали... Помнится, Чарльз шагнул к нему, попытался успокоить, но Банни все равно орал как резаный. Минуты две спустя...

— Это длилось всего несколько секунд, — возразил Генри.

— ...спустя минуту Камилла схватила стеклянную пепельницу и запустила в него, попала ему прямо в грудь.

— Удар был не сильный... — задумчиво сказал Генри, — но пришелся как нельзя вовремя. Он мгновенно умолк и уставился на Камиллу, а я сказал ему, чтобы он прекратил орать, пока не разбудил соседей. Дескать, мы просто сбили оленя по дороге домой.

— Тут он вытер лоб, закатил глаза и понес свое обычное: «блин, ну вы, ребята, меня и напугали», «ох, что-то я, наверно, задремал» и так далее и тому подобное, — продолжил Фрэнсис.

— А пока он так охал и ахал, мы стояли словно статуи — такая скульптурная группа в окровавленных простынях. Свет горит, на окнах нет штор, с улицы все видно — лучше не придумаешь. Он говорил страшно громко, свет бил в глаза, и я так от всего обессилел, что не мог и пальцем пошевелить — просто стоял и смотрел на него. Господи, мы все в крови этого фермера, везде красные следы, светает, и в довершение всего — Банни. Я совершенно растерялся. Вдруг Камилла сделала самую разумную вещь — выключила свет, и тут я понял, что не важно, на что мы похожи и кто это видит, — нам нужно сию же секунду избавиться от лохмотьев, помыться и привести в порядок квартиру.

— Мне фактически пришлось сдирать с себя эту несчастную простыню, — поежился Фрэнсис. — Кровь засохла, и ткань пристала к коже. Пока я возился, все уже столпились в ванной. Душ хлещет на полную, в ванне бурлит красная вода, на кафеле ржавые лужи. Это был кошмар.

— Нам чудовищно не повезло, что Банни застал нас в таком виде, — покачал головой Генри. — Но, черт побери, не могли же мы дожидаться, когда он соизволит уйти. Всюду кровь, вот-вот проснутся соседи, у меня было полное ощущение, что с минуты на минуту в дверь забарабанит полиция...

— Да, Банни, конечно, оказался жутко некстати, но, с другой стороны, не сказать, что все выглядело так, будто нас накрыл сам Эдгар Гувер, <sup>[62]</sup> — заметил Фрэнсис.

— Это верно, — отозвался Генри. — Не хочу сказать, что присутствие Банни казалось какой-то невероятной угрозой, скорее — мелкой неприятностью, я ведь сразу понял, что он начнет все выпытывать. Будь у меня время, я бы усадил его и все объяснил. Вот только времени совершенно не было.

— Господи, Генри, я до сих пор боюсь заходить к тебе в ванную, — содрогнувшись, сказал Фрэнсис. — Раковина в потеках крови, на крючке эта твоя ужасная бритва... На нас живого места не было.

— Хуже всего пришлось Чарльзу.

— Не говори! Он был весь утыкан шипами.

— Вдобавок этот укус...

— Никогда не видел ничего подобного, — покачал головой Фрэнсис. — Сантиметров десять в ширину, следы зубов как впечатанные. Помнишь, что сказал Банни?

Генри рассмеялся:

— Да. Расскажи ему.

— В общем, мы все были в ванной, дверь оставалась приоткрытой, а Банни, судя по всему, подглядывал. Чарльз протянул руку за мылом и тут снаружи — безумно деловой голос Банни: «Слушай, Чарльз, а ведь этот олень тебе чуть руку не отхватил».

— Какое-то время он вертелся рядом, отпуская всевозможные комментарии, — продолжил Генри, — а потом вдруг исчез. Меня встревожил столь внезапный уход, но я был рад, что он наконец перестал путаться под ногами. Нам нужно было успеть многое и в предельно короткий срок.

— А ты не боялся, что он пойдет и кому-нибудь расскажет?

Генри недоуменно посмотрел на меня.

— Кому?

— Ну, мне. Или Марион. Да кому угодно.

— Нет. Тогда у меня не было причин опасаться, что он выкинет нечто подобное. Не забывай, он был с нами во время предыдущих попыток,

поэтому наше появление не должно было показаться ему таким уж из ряда вон выходящим. Затея держалась в строгом секрете. Он был посвящен во все с самого начала. Вздумай он кому-нибудь рассказать, ему пришлось бы объяснять всю подноготную — можешь вообразить, какое бы он произвел впечатление. О наших планах знал Джулиан, но я был уверен, что Банни не отважится на разговор с ним без нашего ведома. И, как оказалось, я был прав.

Он помолчал и достал сигарету.

— Уже совсем рассвело, а у нас по-прежнему был полный бардак — на крыльце кровавые следы, повсюду разбросаны хитоны. Близнецы надели какие-то мои старые вещи и пошли приводить в порядок крыльцо и салон машины. Хитоны нужно было сжечь, но разводить костер на заднем дворе я не хотел. Жечь их внутри тоже было опасно — могла сработать пожарная сигнализация. Хозяйка квартиры постоянно закликает меня не пользоваться камином — дескать, он не работает, но я всегда подозревал, что это не так. Я решил рискнуть, и, к счастью, подозрение оправдалось.

— От меня не было никакого толка, — вздохнул Фрэнсис.

— Ни малейшего, — язвительно согласился Генри.

— Ничего не мог поделать. Я думал, меня вот-вот вырвет. Так что я просто ушел в комнату Генри и лег спать.

— Да уж, мы все бы тогда с удовольствием отправились спать, но кто-то должен был все убрать. Близнецы вернулись около семи. Я все еще мучился в ванной. Чарльз был утыкан шипами и колючками, как еж. Какое-то время мы с Камиллой вытаскивали их пинцетом, потом я вернулся в ванную — надо было все закончить. Самое трудное было позади, но глаза у меня уже закрывались сами собой. Полотенца выглядели более-менее прилично — мы старались их не трогать, — но все-таки пятна на них остались. Последним усилием я загрузил их в стиральную машину. Близнецы уже спали, на той откидной кровати в дальней комнате, я подвинул Чарльза и тут же отключился.

— Четырнадцать часов. Ни разу в жизни не спал так долго.

— Я тоже. Как убитый. Без снов.

— Это полностью выбивает из колеи. Когда я лег, солнце только всходило, а когда проснулся, было уже темно. Казалось, сон длился всего секунду, вдобавок звонил телефон, и я просто не мог понять, где я. Он все звонил и звонил, тогда я встал и пошел в прихожую. Кто-то сказал, чтоб я не брал трубку, но...

— Это твоя мания — отвечать на телефон, — сказал Генри. — Всегда и везде. Даже в гостях.

— Да, а что мне оставалось делать? Лежать и слушать, как он трезвонит? Короче говоря, я поднял трубку, и это оказался Банни — блаженный, как дитя. «Ну вы, ребята, и офигели! Вы что, в нудисты записались? А вот как насчет завалиться всем поужинать в „Бистро“?» И так далее...

Я подался вперед.

— Постой. Это не тогда, когда?..

Генри кивнул.

— Да, ты тоже пришел. Помнишь?

— Конечно, — ответил я, необъяснимо обрадовавшись, что на сцене наконец появилась моя скромная персона. — Разумеется. Я встретил Банни, когда он шел к вам.

— Не обижайся, но нас немного удивило, что он явился вместе с тобой, — сказал Фрэнсис.

— На самом деле, я думаю, он хотел поговорить обо всем с нами наедине, но это могло и подождать. Я уже говорил тебе, что наше появление не должно было показаться ему таким уж странным. Ведь он был с нами прежде, и выдавались ночи, когда... как это лучше сказать?

— ...когда нас всех тошнило и мы возвращались домой лишь под утро, по уши в грязи, — закончил за него Фрэнсис. — Правда, в этот раз мы были в крови и ему наверняка хотелось узнать во всех подробностях, как же мы умудрились сбить оленя, но тем не менее...

Поежившись, я невольно вспомнил рассказ пастухов из «Вакханок»: копыта и окровавленные ребра, петли кишок, свисающие с еловых ветвей. <sup>[63]</sup> Sparagmos и omorhagia — вот как это называлось по-гречески. Разрывание на части и поедание сырой плоти. Внезапно в памяти всплыла другая картина: приходящая Генри, их усталые лица, ехидное приветствие Банни: «Khairate, <sup>[64]</sup> погубители оленей!»

В тот вечер они были какими-то притихшими и бледными, но не более, чем можно ожидать от жертв сильного похмелья. Только ларингит Камиллы казался странным. Они сказали, что вчера напились в дым; Камилла забыла свитер и простудилась, возвращаясь домой пешком. На улице было темно, и шел дождь. Генри протянул мне ключи от машины и попросил сесть за руль.

Была пятница, но из-за плохой погоды в «Бистро» почти никого не было. Мы заказали гренки по-валлийски и сидели, слушая, как потоки дождя, подгоняемые ветром, хлещут по крыше. Банни и я пили виски с горячей водой, все остальные — чай.



— Что, все еще мутит, bakchoi?<sup>[65]</sup> — с усмешкой спросил Банни, после того как официант принял заказ.

Камилла состроила ему гримасу.

Когда после ужина мы вышли на стоянку, Банни обошел машину, осмотрел фары, попинал шины.

— Вы в этой были вчера ночью? — спросил он, прикрывая очки от дождя.

— Да.

Откинув мокрую прядь со лба, он наклонился, разглядывая бампер.

— Вот это я понимаю — немецкие машины. Печально, но, по-моему, фрицы дадут детройтской стали сто очков вперед. Только полюбуйте, ни единой царапины.

Я спросил, что он имеет в виду.

— А, да они тут просто катались, пьяные. Создавали угрозу дорожному движению, так сказать. Сбили оленя. Насмерть? — спросил он Генри, открывавшего в этот момент правую дверцу.

— Что?

— Оленя, говорю, насмерть сбили?

— Мертвее не бывает, — бросил Генри и сел в машину.

Долгое время никто не произносил ни слова. Было так накурено, что у меня слезились глаза. Под потолком висело густое облако сизого дыма.

— Так в чем проблема? — снова спросил я.

— В каком смысле?

— Что было дальше? Вы рассказали ему или нет?

Генри с шумом набрал воздух в легкие:

— Нет. Могли бы, но ясно, что чем меньше народу знает, тем лучше. При первой возможности я осторожно завел с ним разговор об этом с глазу на глаз, но мне показалось, история с оленем его вполне устраивает, и я оставил все как есть. Не было никакого смысла посвящать его, раз он не догадался сам. Труп обнаружили, в «Хэмпденском обозревателе» промелькнула заметка — все прекрасно. Вот только для Хэмпдена подобные истории, очевидно, редкость, и, как назло, две недели спустя они напечатали еще одну статью — «Загадочная смерть в округе Бэттенкил». На нее-то Банни и наткнулся.

— Глупее не придумаешь, — сказал Фрэнсис. — Он никогда не читает газет. Ничего бы не случилось, если бы не эта проклятая Марион.

— У нее подписка на «Обозреватель», как-то связанная с Центром развития малышей, — пояснил Генри, потирая уголки глаз. — Банни с

Марион сидели в столовой, она разговаривала с подругой, Банни же, судя по всему, не знал, чем себя занять, и поэтому принялся читать ее газету. Мы с близнецами подошли поздороваться, и первым, что он выдал, едва нас заметив, было: «Эй, ребят, гляньте-ка, возле дома Фрэнсиса убили какого-то птицевода!» Следом зачитал пару абзацев — проломлен череп, оружие преступления и прочие улики не обнаружены, явные мотивы отсутствуют. Я даже не успел подумать, как сменить тему, как его осенило: «Эй! Двенадцатое ноября? Это ж когда вы были у Фрэнсиса. Вы тогда еще оленя сбили. — Ты, очевидно, что-то путаешь, — говорю я. — Да нет же, как раз двенадцатое. Я помню, потому что тринадцатого у моей мамы день рождения. Обалдеть можно, а?» Мы покивали: «Да, пожалуй». А он: «Генри, если б я был подозрительным типом, я б предположил, что это сделали вы — ну, тогда, когда вы вернулись все в крови как раз из этого округа».

Он снова закурил.

— Время близилось к обеду, в столовой собралась толпа, Марион с подругой ловили каждое слово, к тому же знаешь, как он вечно голосит... Мы, конечно, посмеялись, Чарльз отпустил какую-то шутку, но едва нам удалось отвлечь его от газеты, как он снова в нее уткнулся. «Нет, ребят, не могу поверить! Самое натуральное убийство, да еще в лесу, да еще в каких-то пяти километрах от вас! Да уж, если б вас тогда тормознула полиция, вы бы уж точно сейчас сидели за решеткой. Тут вот номер — позвонить, если у кого есть какая информация. Если захотеть, можно было б стопудово устроить вам кучу неприятностей...» и так далее, и тому подобное.

— Я не знал, что и думать. Шутил он или в самом деле что-то заподозрил? В конце концов мне удалось его уговорить, но меня не покидало ужасное чувство, что он заметил, что меня беспокоила эта статья. Он слишком хорошо меня знает, к тому же в отношении таких вещей у него шестое чувство. А я действительно нервничал. Подумать только — вот-вот начнется обед, повсюду охранники, половина из них так или иначе связана с хэмпденской полицией... Я хочу сказать, в случае мало-мальски серьезного дознания наша история с оленем лопнула бы, как мыльный пузырь. Ясно как божий день, что мы не сбивали никакого оленя. Ни на одной из машин не было даже царапины. И если бы кто-нибудь случайно предположил связь между нами и убитым фермером... В общем, я был рад, что его удалось переключить на что-то другое, но уже тогда понимал, что этим дело не кончится. Он допекал меня этой статьей до самого конца семестра — полагаю, без задней мысли, но, к несчастью, не только наедине, но и при посторонних. Знаешь, как это с ним бывает. Если

он вобьет себе в голову нечто подобное, то уже не отстанет.

И я знал. Банни обладал сверхъестественной способностью нащупывать темы, неприятные для собеседника, а затем беспощадно прохаживаться по ним. К примеру, с самого начала нашего знакомства он не уставал глумиться над пиджаком, в котором я появился тогда, на обеде, и в широком смысле — над тем, что ему представлялось моим пошлым калифорнийским стилем. Объективно моя одежда ничем не отличалась от его собственной, и все же ехидным замечаниям Банни не было конца. Думаю, объяснялось это тем, что, несмотря на мой добродушный смех, он смутно ощущал, что задел меня за живое, что на самом деле меня невероятно терзали едва заметные различия в манере одеваться и, пожалуй, куда более заметные — в привычках и манере поведения между мной и остальными членами нашей группы. Я хорошо умею растворяться в любой среде — вам вряд ли довелось бы встретить более типичного калифорнийского тинейджера и более циничного и бессердечного студента-медика, чем я. Тем не менее, вопреки всем усилиям, мне почему-то никогда не удается слиться с окружением полностью, и в каком-то смысле я всегда выделяюсь на общем фоне — так сидящий на зеленой ветке хамелеон остается совершенно обособленным существом, как бы искусно он ни копировал все оттенки цвета. Всякий раз, когда Банни публично и бесцеремонно уличал меня в том, что моя рубашка содержит примесь синтетики, или критически замечал, что в моих совершенно обычных брюках, как две капли воды похожих на его собственные, якобы видно что-то от «западного края», большей частью удовольствия от этой забавы он был обязан безошибочному, собачьему чутью, подсказывавшему ему, что именно от таких разговоров мне хотелось провалиться сквозь землю. Он не мог не заметить, что, упомянув об убийстве, нащупал у Генри болезненное место. А заметив, не мог удержаться от того, чтобы не бить по нему снова и снова.

— Конечно же он ничего не знал, — сказал Фрэнсис. — Серьезно, ничего. Он просто развлекался. Ему нравилось заводить речь о фермере, которого мы, дескать, взяли и убили, — только чтобы посмеяться над моим испугом. Как-то раз он сказал, что видел у моего дома полицейского, который расспрашивал о чем-то хозяйку квартиры.

— Мне он говорил то же самое. Еще постоянно шутил, что позвонит по номеру, указанному в газете, а потом мы разделим вознаграждение на пятерых. Снимал трубку. Делал вид, что набирает номер.

— Можешь представить, во что это превратилось со временем. Господи боже мой! Кое-что он говорил прямо при тебе. Самое ужасное, что

он мог завести об этом речь в любой момент. Перед самыми каникулами он засунул мне ту газету под дворник машины — «Загадочная смерть в округе Бэттенкил». Потрясло меня в первую очередь то, что, оказывается, он оставил ее себе и хранил все это время.

— Хуже всего, — сказал Генри, — что мы абсолютно ничего не могли поделать. Некоторое время мы подумывали рассказать ему всю правду и тем самым, так сказать, сдаться ему на милость, но потом поняли, что предсказать его реакцию уже невозможно. Он был не в духе, болел и беспокоился об оценках. К тому же семестр почти заканчивался. В тот момент лучшим выходом казалось остаться с ним в хороших отношениях до начала праздников — это значит, возить его по разным местам, покупать всякую всячину, уделять массу внимания — и надеяться, что за зиму все уладится само собой... Все то время, что мы проучились вместе, в конце каждого семестра он предлагал мне отправиться в путешествие. Подразумевалось, естественно, что мы поедem, куда ему захочется и за мой счет. Ему самому не хватило бы денег даже на дорогу до Манчестера. И когда в начале декабря, как я и предполагал, он поднял этот вопрос, я подумал, а почему бы нет? В этом случае хотя бы один из нас сможет присматривать за ним на каникулах, да и смена обстановки, возможно, пошла бы на пользу. Замечу также, что не видел ничего дурного в том, чтобы он хоть немного почувствовал себя передо мной в долгу. Он хотел поехать на Ямайку или в Италию. Я понимал, что Ямайку мне не вынести, и поэтому купил два билета до Рима и снял комнаты неподалеку от Пьяцца ди Спанья.

— И еще дал ему деньги на одежду и все эти бесполезные самоучители и путеводители.

— Да. Я израсходовал немалую сумму, но это казалось своего рода разумным капиталовложением. Я даже подумал, что все предприятие доставит мне некоторое удовольствие. Но никогда, даже в худших кошмарах... Нет, право, не знаю, с чего начать. Увидев наши комнаты, которые на самом деле оказались просто очаровательными: расписной потолок, прекрасный старинный балкон, чудесный вид — я даже немного гордился, что мне удалось их отыскать, — Банни надулся и начал ныть, что они убоги, что здесь собачий холод и дрянная сантехника, иными словами, что для жилья они совершенно непригодны и как это меня вообще угораздило их снять? Он, дескать, думал, у меня хватит ума не попасться в эту вшивую ловушку для тупых туристов, но теперь-то понимает, что ошибался. Он предрекал, что ночью нам здесь обязательно перережут глотки. Тогда я относился к его капризам еще довольно терпимо и потому

спросил, где бы он предпочел остановиться, раз уж ему так не нравятся наши комнаты? На что он ответил, почему бы нам не снять номер-люкс в «Гранд-отеле»? Не просто комнату, а номер-люкс, понимаешь.

Он все стонал, и в конце концов я заявил, что об этом не может быть и речи. Хотя бы потому, что обменный курс был невыгодным и комнаты — заметим в скобках, оплаченные вперед из моего кармана, — уже были мне несколько не по средствам. Целыми днями он ходил обиженный, изображал умирающего лебедя, размахивал ингалятором, симулируя приступы астмы, и постоянно донимал меня, называл скрягой, говорил, что он вообще-то привык путешествовать с комфортом, и так далее. В итоге я потерял терпение и сказал, что если эти комнаты хороши для меня, то для него и подавно. Нет, подумать только, это был настоящий палаццо, он принадлежал графине, я отдал целое состояние... Короче говоря, я не собирался платить полмиллиона лир в день за общество американских туристов и пару листов почтовой бумаги с эмблемой отеля.

Так что мы остались в апартаментах возле Пьяцца ди Спанья, которые он упорно продолжал превращать в подобие ада. Он зудел не переставая — его не устраивал ковер, его не устраивал водопровод, ему казалось, что я даю ему слишком мало карманных денег. Кстати сказать, жили мы в двух шагах от Виа Кондотти — улицы с самыми дорогими в Риме магазинами. По его словам, мне повезло. Само собой, мне было хорошо — я ведь мог покупать себе все, что угодно, а ему только и оставалось, что валяться на чердаке и глотать пыль, как последнему сироте. Я делал все, чтобы как-то его задобрить, но чем больше я покупал, тем больше ему хотелось. Вдобавок от него почти нельзя было укрыться. Стоило оставить его на пару минут одного, как он начинал скулить. Но когда я приглашал его сходить в музей или осмотреть церковь — бог ты мой, мы были в Риме! — его тут же охватывала смертельная скука и интересовало лишь одно: когда мы отсюда уйдем. Дошло до того, что я даже не мог спокойно почитать книгу — он обязательно вламывался в комнату. Силы небесные. Всякий раз, как я принимал ванну, он прилипал к двери и что-то мне кричал. Однажды я застал его роющимся в моем чемодане. Я хочу сказать, — он деликатно помолчал, — когда речь идет о столь тесном пространстве, его трудновато делить даже с человеком, вовсе не отличающимся назойливостью. Возможно, я просто забыл, на что это было похоже, когда на первом курсе я жил вместе с Банни, а может быть, со временем я еще больше привык жить один, но, так или иначе, через пару недель я был на грани нервного срыва. Я уже просто не мог его видеть. К тому же надвигались и прочие неприятности. Ты ведь знаешь, — немного резко обратился он ко мне, —

что иногда у меня бывают головные боли, и довольно сильные?

Я знал. Банни, любивший рассказывать о болячках, своих и чужих, описывал его мигрени благоговейным шепотом: Генри неподвижно лежит на спине в темной комнате, на глазах повязка, голова обложена льдом.

— Боли посещают меня не так часто, как прежде. Лет в тринадцать-четырнадцать они преследовали меня постоянно. Зато сейчас, когда мигрень все-таки случается, иногда всего раз в год, то протекает гораздо хуже, чем раньше. После нескольких недель в Италии я почувствовал ее приближение. Ошибки быть не могло. Звуки становятся громче, предметы расплываются, боковое зрение туманится, и на периферии мерещатся крайне неприятные вещи. Тело наливается свинцом. Я смотрю на вывеску — и не могу прочесть надпись, слышу простейшее предложение — и не могу понять смысл. Здесь мало чем можно помочь, но я сделал что смог — завесил окна, принял лекарство, старался не волноваться и не покидать комнату. В конце концов я понял, что мне придется связаться с моим врачом в Штатах. На мое лекарство не выписывают рецепт, обычно я обращался за уколом в неотложку. Я не знал, как поведет себя врач-итальянец, если к нему прибежит американский турист и заплетающимся языком попросит сделать укол фенобарбитала.

В любом случае было поздно. Меня накрыло в считанные часы, и о визите в больницу не могло быть и речи. Не знаю, пытался ли Банни вызвать врача. Его итальянский так безобразен, что все его попытки к кому-нибудь обратиться заканчивались, как правило, тем, что он ненароком оскорблял собеседника. Неподалеку находился офис «Америкэн экспресс», где ему наверняка дали бы адрес англоговорящего врача, но до этого Банни, конечно, не додумался.

Несколько последующих дней в памяти почти не отложились. Я лежал у себя, задернув шторы и наклеив поверх них газеты. Даже льда было не достать, только кувшины с тепленькой acqua semplice<sup>[66]</sup> — впрочем, я и по-английски объяснялся с трудом, не то что по-итальянски. Понятия не имею, где был Банни. Не помню, чтобы он попадался мне на глаза, да и вообще мало что помню.

Ну да ладно. Несколько суток я не вставал с постели. Все было черным-черно. Стоило моргнуть, как голова раскалывалась пополам. Я впадал в забытие, вновь приходил в себя, и так до бесконечности. Наконец в один прекрасный момент я понял, что смотрю на яркую полоску света у края шторы. Не знаю, как долго я смотрел на нее, но постепенно я осознал, что на улице утро, что боль немного утихла и я худо-бедно могу двигаться. И еще, что мне очень сильно хочется пить. Кувшин был пуст, я накинул

халат и отправился за водой.

Наши с Банни комнаты разделял просторный зал с высоким потолком, расписанным фресками в духе Карраччи, и прекрасной скульптурной лепниной, а на балкон вели застекленные двери. Свет почти ослепил меня, но за моим столом я успел заметить согнувшийся над книгами и бумагами силуэт, подозрительно похожий на Банни. Я схватился за ручку двери, подождал, пока глаза привыкнут к свету, и сказал: «Доброе утро, Бан».

Он подпрыгнул как ошпаренный, вороша бумаги и тетради, словно пытался что-то спрятать. И вдруг я понял: он читал мой дневник. Я подошел и выхватил его. Банни все время искал случая сунуть туда нос. В последний раз я спрятал дневник за батареей, но, видимо, пока я лежал с мигренью, Банни как следует порылся у меня в комнате. Как-то раз прежде он уже находил его, но, поскольку я пишу на латыни, он вряд ли что-либо разобрал. Я даже не упоминал его настоящего имени. *Cuniculus molestus*,<sup>[67]</sup> на мой взгляд, было вполне подходящим обозначением. Этого ему в жизни было не понять без словаря.

К несчастью, пока я болел, ему представилась прекрасная возможность восполнить пробелы в своих познаниях. Он не поленился найти словарь и... да, знаю, мы всегда смеялись над его никудышным знанием латыни, однако ж он умудрился состряпать вполне сносный перевод последних записей. Я и помыслить не мог, что он на такое способен. Уверен, ему пришлось сидеть над ним с утра до ночи.

Я был слишком ошарашен, чтобы рассердиться. Я уставился на перевод — он лежал прямо там, — потом на Банни, и тут он вдруг отпихнул стул и начал на меня орать. Мы убили этого парня, замочили глазом не моргнув и даже не подумали сказать ему об этом, но он-то знал всю дорогу, что тут что-то не так, и с каких это пор я стал называть его кроликом, и он сейчас все бросит и пойдет к американскому консулу, а тот пришлет полицию... И вот здесь — это было, конечно, глупо с моей стороны — я влепил ему пощечину, со всего маху. — Он вздохнул. — Не стоило этого делать. Мною двигал даже не гнев, а ощущение полного бессилия. Мне было плохо, я едва стоял на ногах, я боялся, что его услышат, я просто не мог это больше выносить.

Удар получился сильнее, чем мне хотелось. У него отвисла челюсть, на щеке остался белый след. Потом кровь прилила обратно, он побагровел и закатил истерику — вопил, ругался, молотил кулаками. По лестнице застучали каблуки, кто-то бешено запричитал на итальянском и забарабанил в дверь. Я схватил дневник и листки с переводом и бросил в камин. Банни кинулся за ними, но я держал его, пока бумага не загорелась,

а потом крикнул, что можно войти. Это оказалась горничная. Она влетела, что-то тараторя — так быстро, что я не разобрал ни слова. Сперва я подумал, что ее рассердил шум, но потом понял, что дело в другом. Она знала, что я заболел; несколько дней из моей комнаты не доносилось ни звука, и тут, как она испуганно объяснила, поднялся крик, и она подумала, что ночью я, вероятно, умер, а другой молодой *signore*<sup>[68]</sup> только что обнаружил мой хладный труп, — но теперь-то видит, что сгустила краски. Не нужно ли вызвать врача? «Скорую»? Может, принести *bicarbonato di sodio*?<sup>[69]</sup>

Я поблагодарил ее и сказал, что все в полном порядке. Потом... Потом я, помню, топтался на месте, пытаюсь придумать, чем объяснить причиненное беспокойство, но она, как ни в чем не бывало, ушла, чтобы принести нам завтрак. Банни стоял с озадаченным видом. Разумеется, он понятия не имел, о чем шла речь. Наверное, со стороны это выглядело немного загадочно и зловеще. Он спросил, куда она пошла и о чем говорила, но я был слишком зол и устал, чтобы объяснять. Я ушел к себе в комнату и оставался там до возвращения горничной. Она накрыла стол на террасе, и мы вышли позавтракать.

Как ни странно, Банни было нечего сказать. После неловкого молчания он осведомился о моем самочувствии, поведал о своих похождениях за время моей болезни, но не произнес ни слова о нашем недавнем инциденте. Тем временем я пришел к выводу, что мне остается лишь следить за собой. Я понимал, что серьезно его задел — в дневнике было несколько крайне нелицеприятных записей, — и поэтому решил впредь обращаться с ним как нельзя более обходительно, полагая, что больше проблем не возникнет.

Он отпил виски. Я поймал его взгляд.

— Ты хочешь сказать, надеясь, что не возникнет?

— Я знаю Банни лучше, чем ты, — отрезал Генри.

— А как же насчет того, что он говорил про полицию?

— Ричард, было ясно, что он не готов обратиться в полицию.

— Пойми, если бы речь шла только об убийстве невинного человека, все было бы совершенно иначе, — подавшись вперед, сказал Фрэнсис. — Дело не в том, что его мучает совесть. Или что в нем проснулся безудержный праведный гнев. Нет, в нем кипит обида. Он думает, что несправедливо обошлись с ним самим.

— Честно говоря, я думал, что, утаив правду, лишь окажу ему услугу. Но он разозлился — вернее, до сих пор злится — именно потому, что от него все скрыли. Он чувствует себя ущемленным. Отринутым. И лучшее,



что я мог сделать, — попытаться загладить вину. Ведь мы с ним — старые друзья.

— Расскажи ему о вещах, за которые Банни расплатился твоей кредиткой, пока ты болел.

— Я узнал об этом значительно позже, — мрачно произнес Генри. — Сейчас это уже не важно.

Он закурил новую сигарету.

— Думаю, он был в шоке, когда все обнаружил. К тому же он находился в чужой стране, без знания языка, не имея ни цента собственных денег. Поэтому первое время он вел себя нормально. Но как только до него дошло, что моя судьба, по сути, в его руках — а на это, поверь, ушло совсем немного времени, — ты представить не можешь, какую пытку он мне устроил. Он говорил об этом постоянно. В ресторанах, в магазинах, в такси. Конечно, был не сезон, американцев встречалось не так уж много, но, подозреваю, есть целые семьи, которые вернулись домой, куда-нибудь в Огайо, обсуждая... Боже ты мой. Изнурительные монологи в «Остерия дель Орсо». Скандал на Виа деи Честари. Попытка воспроизвести событие — к счастью, прерванная — в холле «Гранд-отеля».

Так вот, однажды мы сидели в кафе. Банни, как всегда, болтал без умолку, и тут я заметил, что какой-то человек за соседним столиком ловит каждое слово. Мы собрались уходить. Он тоже поднялся. Я не знал, что и думать. Незнакомец был немцем — я слышал, как он по-немецки обращался к официанту, — однако я понятия не имел, знает ли он английский, а если да, то слышал ли, что говорил Банни. Возможно, это был всего лишь скучающий гомосексуалист, но мне не хотелось рисковать. Я повел Банни переулками, сворачивая то туда, то сюда, и, когда мы дошли до Пьяцца ди Спанья, у меня возникло полное ощущение, что мы от него оторвались. Но, как оказалось на следующее утро, я ошибался — проснувшись, я посмотрел в окно и увидел его внизу, у фонтана. Банни пришел в восторг — ура, это же настоящий шпионский детектив! Он хотел спуститься и посмотреть, станет ли этот тип преследовать нас. Мне фактически пришлось удерживать его силой. Я наблюдал за немцем все утро. Он покрутился у фонтана, выкурил несколько сигарет и через пару часов исчез. Начиная с полудня Банни беспрестанно ныл и часам к четырем разошелся так, что я сдался, и мы отправились поесть. Но едва мы миновали площадь, как мне показалось, что в отдалении за нами снова следует этот немец. Я развернулся и пошел ему навстречу, надеясь столкнуться с ним лицом к лицу. Он испарился, но через две минуты вновь замаячил у нас за спиной.

Если раньше я испытывал лишь тревогу, то теперь почувствовал настоящий страх. Я тут же свернул на соседнюю улицу и наметил обходной путь домой — в тот день Банни так и не дождался обеда и чуть не свел меня с ума. Я просидел у окна дотемна, пытаясь заткнуть Банни и обдумать дальнейший ход действий. Кажется, немец не выследил, где именно мы живем, — иначе с чего бы ему было слоняться все утро по площади, вместо того чтобы подняться прямо к нам, раз уж ему что-то от нас понадобилось? В общем, где-то после полуночи мы покинули палаццо и перебрались в «Эксельсиор», к вящей радости Банни — как же, напитки в номер, какое счастье. Я с опаской высматривал немца повсюду вплоть до самого отлета из Рима — Господи, я до сих пор порой вижу его во сне, — но он больше не появлялся.

— Чего он, по-твоему, хотел? Денег?

Генри пожал плечами:

— Как знать? В любом случае я располагал тогда очень незначительной суммой. Походы Банни к портным и прочие его увеселения фактически меня разорили. Вдобавок этот переезд в отель — деньги меня не волновали, серьезно, но от Банни можно было повеситься. Он ни на минуту не мог оставить меня одного. Садился ли я за письмо, пытался ли позвонить по телефону, он непременно начинал кружить у меня за спиной, *arrectis auribus*,<sup>[70]</sup> подслушивая и подсматривая. Пока я был в ванной, он заходил ко мне в комнату и копался в вещах — после его инспекций одежда в ящиках комода была скомкана, записные книжки набиты крошками. Любое мое действие вызывало у него подозрения.

Я терпел долго, но постепенно меня стало охватывать отчаяние, да и мое самочувствие оставляло желать лучшего. Я понимал, что бросать его в Риме одного опасно, но ситуация с каждым днем ухудшалась, и в конце концов стало ясно, что мое дальнейшее там пребывание нисколько не поможет решить проблему. Было уже понятно, что у нас четверых нет никакого шанса, как обычно, вернуться в колледж в начале семестра — хотя вот, полюбуйте-ка на нас теперь — и что нам предстоит разработать план, пусть не самый удачный и чреватый многочисленными осложнениями. Но для этого мне требовались две-три недели передышки в Штатах. Поэтому как-то ночью, когда Банни был мертвецки пьян и спал, я собрал вещи, оставил ему обратный билет и две тысячи долларов, заказал такси в аэропорт и улетел первым же рейсом.

— Ты оставил ему две тысячи долларов? — спросил я, вытаращив глаза.

Генри подернул плечами. Фрэнсис покачал головой и усмехнулся:

— Это ерунда.

Я устался на них.

— Нет, правда, это пустяк, — мягко сказал Генри. — Боюсь сказать, во сколько мне обошлась вся поездка. Конечно, родители щедры ко мне, но все же не до такой степени. Мне никогда в жизни не приходилось просить денег — до последнего времени. Сейчас от моих сбережений практически ничего не осталось, и я не знаю, как долго еще мне удастся пичкать отца с матерью историями о капитальном ремонте машины и прочих подобных мероприятиях. Я хочу сказать, я был вполне готов тратить на Банни в разумных пределах, но, кажется, он никак не может взять в толк, что я всего лишь студент, довольствующийся определенной ежемесячной суммой, а вовсе не бездонный мешок с деньгами... И самое ужасное, этому не видно конца. Не могу даже предположить, что будет, если у родителей лопнет терпение и они лишат меня поддержки — вероятность чего в ближайшем будущем крайне велика, если так пойдет и дальше.

— Он тебя шантажирует?

Генри и Фрэнсис переглянулись.

— Не совсем, — уклончиво ответил Фрэнсис.

— Банни смотрит на это иначе, — устало сказал Генри. — Надо знать его родителей, чтобы понять как. Семейная политика Коркоранов — пристраивать сыновей в самые дорогие школы, после чего оставлять их на самообеспечении. Родители не дают Банни ни цента — и, судя по всему, так было всегда. Он рассказывал, что когда его отправили в Сент-Джером, то даже не дали денег на учебники. Довольно странный метод воспитания детей, на мой взгляд. Похоже на тех рептилий, которые бросают молодь на произвол стихий, едва та вылупится на свет. Неудивительно, что у Банни постепенно созрела теория, согласно которой жить за чужой счет куда почетнее, чем работать.

— Но я думал, его родители такие аристократы, — удивился я.

— Коркораны одержимы манией величия. Проблема в том, что состояние их банковских счетов не дает для этого никаких оснований. Без сомнения, вешать своих сыновей на чужую шею представляется им необычайно аристократичным жестом.

— В этом плане у него определенно ни стыда ни совести, — сказал Фрэнсис. — Даже по отношению к близнецам, а ведь у них почти так же плохо с деньгами, как у него самого.

— Чем больше сумма, тем лучше, при этом мысль о возврате у него даже не возникает. Само собой, он скорее удавится, чем устроится на работу.

— Его удавит собственное же семейство, — угрюмо заметил Фрэнсис. Он закурил и закашлялся, выпуская дым. — Но я хочу сказать, когда такой вот недоросль садится тебе на шею, его благородное презрение к труду начинает изрядно раздражать.

— Немыслимо, — покачал головой Генри. — Я бы устроился на любую работу, на шесть работ, лишь бы не кланчить у людей деньги. Вот, например, ты, — обратился он ко мне. — Твои родители не особенно тебя балуют, так ведь? Тем не менее ты избегаешь занимать деньги с такой щепетильностью, что это даже немного глупо.

Я покраснел и ничего не ответил.

— Господи, мне кажется, ты бы скорее погиб на этом складе, чем попросил кого-нибудь из нас выслать тебе пару сотен долларов.

Он закурил и энергично выпустил струю дыма, словно желая подчеркнуть сказанное.

— Это микроскопическая сумма. Уверяю тебя, к концу следующей недели нам придется потратить на Банни в два-три раза больше.

От удивления я открыл рот.

— Смеешься?

— Если бы.

— Мне тоже нетрудно давать в долг, — подхватил Фрэнсис. — Когда есть что. Но Банни тянет деньги, как пылесос. Даже в лучшие времена ему ничего не стоило спросить, не найдется ли у меня сотни долларов — я, видите ли, обязан был выдать их ему по первому требованию.

— И ни малейшего намека на благодарность, ни разу, — раздраженно заметил Генри. — На что он вообще их тратит? Будь у него хоть капля самоуважения, он бы пошел в службу занятости студентов и нашел себе работу.

— Если он не умерит аппетит, через пару неделек там окажемся мы с тобой, — мрачно изрек Фрэнсис и плеснул себе виски, большая часть которого оказалась на столе. — Я потратил на него тысячи. Тысячи, — повернулся он ко мне, осторожно взяв стакан трясущейся рукой. — И почти все это — счета в ресторанах. Свинья. Все очень по-дружески — почему бы нам не пойти поужинать? Спрашивается, как я сейчас скажу ему «нет»? Моя мать считает, я подсел на наркотики. Да и что, скажите на милость, ей еще остается думать? Она попросила деда не давать мне денег, и с января я не получаю ни черта, кроме обычного чека на дивиденды, который меня, в общем и целом, устраивает, однако я не в состоянии каждый вечер выкладывать сто долларов за чей-то ужин.

Генри пожал плечами:

— Он всегда был таким. Всегда. Он забавный, он был мне симпатичен, мне было его немного жаль. Что мне стоило одолжить ему деньги на учебники, зная, что он никогда мне их не вернет?

— Вот только сейчас он не ограничивается учебниками, и мы не можем ему отказать.

— На сколько примерно вас еще хватит?

— Не навсегда.

— А что будет, когда денег не станет?

— Не знаю, — сказал Генри, потирая глаза за стеклами очков.

— Может быть, мне стоит поговорить с ним?

— Не вздумай! — в один голос воскликнули Генри и Фрэнсис так, что я отпрянул.

— Но почему?

Последовало неловкое молчание. Наконец Фрэнсис сказал:

— Не знаю, заметил ты или нет, но Банни ревнует нас к тебе. Он и так думает, что мы против него объединились. А если ему покажется, что и ты хочешь встать на нашу сторону...

— Не показывай, что тебе все известно. Ни в коем случае. Если только не хочешь усугубить положение.

Несколько секунд все молчали. Воздух в комнате был сизым от дыма, и сквозь его пелену квадрат белого линолеума казался фантастической полярной пустыней. Через стены из соседней квартиры просачивалась музыка. «Грэйтфул Дэд». О боже.

— То, что мы совершили, — ужасно, — вдруг изрек Фрэнсис. — То есть, конечно, мы не Вольтера убили. Но все равно. Это плохо. И мне стыдно.

— Да, конечно, мне тоже, — деловито отозвался Генри. — Но не настолько, чтобы садиться из-за этого в тюрьму.

Фрэнсис усмехнулся и, налив виски, выпил залпом.

— Нет. Не настолько.

У меня слипались глаза, и я чувствовал себя разбитым, как будто мне снился нескончаемый гнетущий сон. Я уже задавал этот вопрос, но повторил его еще раз, слегка удивившись звуку собственного голоса в тишине:

— Что вы собираетесь делать?

— Не знаю, что мы собираемся делать, — ответил Генри так спокойно, словно речь шла о его планах на вечер.

— Ну, я-то знаю, — сказал Фрэнсис.

Он нетвердо поднялся и потянул указательным пальцем за воротник. Я

недоуменно посмотрел на него, и он рассмеялся, заметив мое удивление.

— Я спать хочу, — воскликнул он, трагически закатив глаза, — *dormir plutôt que vivre!*

— Dans un sommeil aussi doux que la mort...<sup>[71]</sup> — с улыбкой произнес Генри.

— Господи, Генри, есть хоть что-нибудь, чего ты не знаешь? Аж тошнит...

Стянув галстук, Фрэнсис осторожно развернулся и, слегка пошатываясь, вышел из комнаты.

— Кажется, он немного перебрал, — сказал Генри.

Где-то хлопнула дверь, и послышался шум воды, хлынувшей в ванну из открытых на полную кранов.

— Час еще не поздний. Не хочешь раз-другой сыграть в карты?

Я растерянно заморгал.

Протянув руку к краю стола, он достал из ящичка колоду карт (от Тиффани, с золотыми монограммами Фрэнсиса на голубых рубашках) и начал ловко их тасовать.

— Можем сыграть в безик или, если хочешь, в юкер, — предложил он, взметая в ладонях маленький золотой с голубым вихрь. — Вообще-то мне нравится покер — конечно, игра вульгарная и к тому же откровенно скучна для двоих, — но в ней есть некоторый элемент случайности, он-то меня и привлекает.

Я взглянул на него, на мелькавшие в его уверенных руках карты и вдруг понял, кого мне это странным образом напоминает: Тодзё, заставлявшего своих приближенных в разгар боевых действий играть с ним в карты всю ночь напролет.<sup>[72]</sup>

Он подвинул колоду ко мне.

— Желаешь снять? — спросил он, закуривая.

Я посмотрел на карты, перевел взгляд на ровное, ясное пламя спички в его пальцах.

— Я вижу, тебя все это не слишком тревожит?

Генри глубоко затянулся и потушил спичку.

— Нет, — ответил он, задумчиво глядя на взвившуюся от обгорелого конца струйку дыма. — Думаю, я смогу всех нас вытащить. Правда, успех будет зависеть от определенного стечения обстоятельств, а его придется ждать. Также, до некоторой степени, вопрос упирается в то, как далеко в конечном счете мы готовы пойти. — Прикажешь сдавать? — спросил он и снова взял карты.

Очнувшись от пустого тяжелого сна, я обнаружил, что лежу на диване, скрючившись в прямоугольнике утреннего света, струящегося из окна у изголовья. Вставать я не спешил, пытаюсь сообразить, где я и как здесь оказался, — чувство было скорее приятным, но мгновенно омрачилось, едва я вспомнил, что произошло вчера вечером. Я сел, потирая опечатавшийся на щеке узор диванной подушки. Резкое движение отдалось головной болью. На столике передо мной рядом с переполненной пепельницей стояла почти пустая бутылка «Фэймос Граус» и был разложен пасьянс. Значит, мне не приснилось, значит, все было на самом деле.

Хотелось пить. Я пошел на кухню и выпил стакан воды из-под крана. На кухонных часах было семь.

Налив себе еще воды, я вернулся в гостиную и сел на диван. От первого стакана, опрокинутого залпом, меня слегка подташнивало, и я пил медленно, мелкими глотками, поглядывая на покерный пасьянс, разложенный Генри. Должно быть, он принялся за него, когда я лег спать. Вместо того чтобы постараться собрать флешы по вертикали и фулы с каре по горизонтали, что было бы разумно, он попытался выложить пару горизонтальных стрит-флешей и все испортил. Интересно, почему он решил сыграть так? Хотел испытать удачу? Или просто устал?

Я собрал карты, перетасовал их и, разложив одну за другой в соответствии с правилами, которым он сам же меня и обучил, набрал на пятьдесят очков больше. На меня смотрели холодные, самодовольные лица: валеты в черном и красном, пиковая дама с предательским взглядом. Внезапно меня сотрясла пробежавшая по всему телу волна слабости и тошноты. Не раздумывая, я вышел в прихожую и, натянув пальто, тихо выскользнул из квартиры.

В утреннем свете коридор был похож на больничный бокс. Помедлив на площадке, я оглянулся на дверь Фрэнсиса, уже неотличимую от других в длинном безымянном ряду.

Наверное, если я и испытал миг сомнения, то именно тогда — стоя на промозглой, неуютной лестнице и глядя на дверь только что покинутой квартиры. Кто эти люди? Насколько хорошо я их знаю? Могу ли я хоть кому-нибудь из них доверять, если на то пошло? Почему они рассказали обо всем именно мне?

Забавно, но, размышляя об этом сейчас, я понимаю, что в то утро, в ту самую минуту, пока я хлопал глазами на лестнице, у меня была возможность избрать другой путь, совершенно отличный от того, которым я в итоге пошел. Но конечно же я не распознал критический момент.

Сдается мне, мы никогда не распознаем его вовремя. Я просто зевнул и, страхнув мимолетный дурман, пошел дальше вниз.

Придя домой, я понял, что больше всего хочу задернуть занавески и нырнуть в постель, вдруг показавшуюся мне самой желанной на свете — слежавшаяся подушка, грязные простыни, все как всегда. Но об этом нечего было и думать. Через два часа начиналась композиция, а я еще не сделал домашнюю работу.

Нужно было написать сочинение на две страницы, взяв темой любую из эпиграмм Каллимаха. У меня была готова только страница, и в спешке я принялся за вторую, выбрав короткий и не совсем честный путь — сначала текст по-английски, затем дословный перевод на греческий. Джулиан предостерегал нас от этого. Смысл занятий композицией, по его словам, заключается вовсе не в том, чтобы лучше освоить формальную сторону языка (для этого есть множество других упражнений), а в том, что при правильном, спонтанном выполнении они учат думать по-гречески. Втиснутый в жесткие рамки незнакомого языка, изменяется сам ход ваших мыслей, говорил он. Некоторые привычные понятия становятся вдруг невыразимыми, другие, прежде неведомые, напротив, пробуждаются к жизни, обретая чудесное воплощение. Должен признаться, мне сложно объяснить по-английски, что именно я здесь имею в виду. Могу лишь сказать, что *incendium* по своей природе совершенно не похож на *feu*, от которого француз прикуривает сигарету, и оба не имеют почти ничего общего с неистовым, нечеловеческим *pur*, знакомым грекам, тем огнем, который ревел на башнях Трои и, завывая, рвался к небу на пустынном, открытом всем ветрам берегу, где был возведен погребальный костер Патрокла.

*Pur* — в одном этом слове для меня заключена вся тайна, вся кристальная, чудовищная ясность древнегреческого языка. Как сделать так, чтобы вы увидели этот странный суровый свет, пронизывающий пейзажи Гомера и сияющий в диалогах Платона, чуждый свет, для которого в нашем языке нет имени? Наш родной язык — это язык сложностей и частных, вместилище чучел и черпаков, подкидышей и пива. Это язык капитана Ахава, Фальстафа и миссис Гэмп. И хотя он идеально подходит для размышлений подобных персонажей, от него нет ни капли прока, когда я пытаюсь описать с его помощью то, за что так люблю греческий — язык, не знающий вывертов и уловок, язык, одержимый действием и упивающийся созерцанием того, как действие это множится, неумоимо марширует вперед, а все новые и новые действия ровным шагом вливаются



в хвост колонны с обеих сторон, и вот уже весь длинный и четкий строй причины и следствия движется к тому, что окажется неизбежным и единственно возможным концом.

В каком-то смысле именно поэтому мне были так близки мои одноклассники. Им тоже был знаком этот давным-давно погибший пейзаж, прекрасный и мучительный, им тоже случалось, оторвавшись от страниц, смотреть на мир глазами жителей пятого века до нашей эры. В такие минуты он казался им вялым и чужим, словно бы и не был для них родным домом. Это и восхищало меня в Джулиане и особенно в Генри. Их разум, их зрение и слух непрестанно обретались в границах строгих древних размеров — мир или, по крайней мере, мир, каким знал его я, и вправду не был им родиной. Они были аборигенами той страны, по которой я брел всего лишь восхищенным туристом, и корни их уходили настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Древнегреческий — трудный язык, действительно очень трудный, и есть немалая вероятность, что, проучив его всю жизнь, человек так и не сможет связать на нем двух слов. Однако даже сейчас я не могу вспоминать без улыбки, как скованно и продуманно, словно речь хорошо образованного иностранца, звучал английский Генри в сравнении с изумительной беглостью и уверенностью его греческого — красноречивого, остроумного, живого. Я всегда восхищался тем, как Генри и Джулиан спорят и перешучиваются, беседуя по-гречески, — на английском я ни разу не слышал от них ничего подобного; столько раз Генри снимал при мне трубку с привычным осторожным и раздраженным «Алло?», и я никогда не забуду безудержную радость его «Khaire!», когда на другом конце провода оказывался Джулиан.

После услышанного накануне строчки о любовных клятвах, лепестках роз и крыльях шалунишки Эрота меня совсем не привлекали. В итоге мой выбор пал на одну из эпитафий, в переводе звучащую так: «На рассвете мы предали огню Меланиппа; на закате дева Басило лишила себя жизни, ибо не могла больше длить ее, положив брата на погребальный костер; и на дом снизошло двойное горе, и вся Кирена склонила голову, видя опустошение, посетившее обитель счастливых детей».

Не прошло и часа, как я дописал сочинение. Прочитав все от начала до конца и проверив окончания, я умылся, надел свежую рубашку и, захватив книги, отправился к Банни.

Из нас шестерых только мы с ним жили на кампусе, его корпус от моего отделяла лужайка. Банни жил на первом этаже, что, полагаю, было для него страшно неудобно, ведь почти все время он околачивался наверху,

на общей кухне — гладил брюки, рылся в холодильнике или просто торчал в окне, окликая всех подряд. Постучав и не услышав ответа, я поднялся на кухню и увидел, что Банни в одной майке сидит на подоконнике и пьет кофе, листая какой-то журнал. К моему удивлению, с ним были и близнецы: Чарльз стоял скрестив ноги и, угрюмо помешивая кофе, глядел в окно, а Камилла (и это весьма удивило меня, потому что хлопоты по хозяйству с ней никак не вязались) гладила рубашку Банни.

— О, привет, старик, — сказал Банни. — Заходи. А мы тут кофий гоняем. — Да, как видишь, — добавил он, заметив, что мой взгляд прикован к Камилле, стоящей у гладильной доски. — Женщины отлично годятся для одной, нет, для двух вещей, хотя, будучи джентльменом, — он лучезарно подмигнул, — я не стану называть вторую — разнополое собрание, все дела. Чарльз, налей-ка ему кофе, а?

— Не надо мыть, и так чистая, — прикрикнул он, когда, достав из сушилки над раковиной кружку, Чарльз открыл кран. — Написал сочинение?

— Ну да.

— Какая эпиграмма?

— Двадцать вторая.

— Хмм... Что-то всех потянуло на слезливые штучки. Чарльз взял ту самую, где девицы убиваются по умершей подружке, а ты, Камилла, ты выбрала...

— Четырнадцатую, — отозвалась Камилла, не поднимая головы, и зверски припечатала воротник кончиком утюга.

— Ха! А я вот взял одну такую пикантную эпиграммку... Кстати, Ричард, ты когда-нибудь бывал во Франции?

— Нет.

— Тогда айда с нами этим летом.

— С нами? С кем?

— Ну, со мной и с Генри.

От неожиданности я открыл рот:

— Во Францию?

— May wee?<sup>[73]</sup> Двухмесячный тур. Просто офигенно. Вот, зацени.

С этими словами он бросил мне журнал, оказавшийся глянцевым проспектом.

Я бегло просмотрел его. Это и вправду был сногшибательный тур — «круиз на баржах с каютами-люкс» стартовал в Шампани, сменялся полетом на воздушных шарах до Бургундии, оттуда вновь продолжался на баржах и, минуя Божоле, проходил по Ривьере, Каннам и Монте-Карло.

Буклет изобиловал сверкающими фотографиями — изысканные блюда, украшенные цветами баржи, лопающиеся от счастья туристы, которые обливались шампанским и махали из гондол крестьянам, хмуро поглядывавшим на них с раскинувшихся внизу полей.

— Что, здорово, а?

— Не то слово.

— В Риме, конечно, неплохо, но вообще-то порядочная дыра, если разобраться. Ну и потом лично мне хотелось бы больше свободы, веселья, что ли. Не сидеть, как всегда, на месте, а плыть себе да плыть. Опять же, с парочкой местных обычаев познакомиться... Вот увидишь, Генри в кои-то веки нормально оттянется — но это только между нами.

«Да уж, пожалуй... На всю катушку», — подумал я, разглядывая фотографию женщины, с оскаленной улыбкой психопатки выставившей перед собой французский багет.

Близнецы старательно избегали моего взгляда — Камилла склонилась над доской, Чарльз, опершись о подоконник, все высматривал что-то в окне.

— Да, вот эта задумка с шарами — просто отличная, — беззаботно продолжал Банни, — но я все думаю, а как же они там... э-э... нужду справляют? За борт или как?

— Слушайте, мне нужно еще несколько минут, — вдруг сказала Камилла. — Уже почти девять. Чарльз, идите с Ричардом прямо сейчас. Скажите Джулиану, чтобы начинал без нас.

— А что так долго-то? — недовольно, спросил Банни, вытянув шею в сторону доски. — В чем проблема? Вообще, кто тебя учил гладить?

— Никто. Мы отдаем белье в прачечную.

Чарльз направился за мной к выходу, отстав на пару шагов. Мы молча прошли по коридору, спустились по лестнице, но на первом этаже он поравнялся со мной и, схватив за руку, втащил в пустую комнату для игры в карты. В двадцатых-тридцатых годах Хэмпден пережил повальное увлечение бриджем; когда же энтузиазм угас, комнатам так и не нашлось применения, разве что время от времени кто-нибудь сбывал там наркотики, печатал на машинке или устраивал тайные свидания.

Он закрыл дверь. Прямо передо мной оказался древний карточный стол, инкрустированный по углам четырьмя мастями.

— Нам звонил Генри, — понуро вымолвил Чарльз, колупая большим пальцем отслоившийся край бубны.

— Когда?

— Рано утром.

Я не знал, что на это ответить.

— Извини, — сказал Чарльз, поднимая глаза.

— За что?

— За то, что он рассказал тебе. Вообще за все. Камилла так расстроилась...

Он выглядел спокойным — усталым, но спокойным, и в его ясных глазах я прочел тихую, печальную искренность. Неожиданно к горлу подкатил комок. Я питал симпатию и к Генри, и к Фрэнсису, но о том, что какая-нибудь беда приключится с близнецами, было просто страшно подумать. С щемящим чувством я вспомнил, как хорошо они всегда ко мне относились, какой милой была Камилла в те первые напряженные недели и как Чарльз, словно повинувшись некоему шестому чувству, навещал меня в самые нужные моменты или вдруг оборачивался ко мне в толпе, излучая негласный посыл — бальзамом проливавшийся на сердце, — что мы с ним особые друзья; вспомнил все наши прогулки, поездки и ужины у них на квартире, вспомнил их письма, которые с таким постоянством приходили ко мне в долгие зимние месяцы.

Откуда-то сверху раздался стон и рев водопровода. Мы переглянулись.

— Что вы собираетесь делать? — спросил я. Кажется, на протяжении последних суток я только и задавал всем этот вопрос, но так и не получил удовлетворительного ответа.

Чарльз пожал плечами, вернее, это было забавное однобокое подергивание, общее у них с Камиллой.

— Откуда я знаю, — сказал он устало. — По-моему, нам пора идти.

Когда мы вошли в кабинет Джулиана, Генри и Фрэнсис уже были там. Фрэнсис не успел закончить сочинение. Он строчил вторую страницу, не обращая внимания на испачканные чернилами пальцы, а Генри тем временем проверял уже написанное, молниеносно вставляя подписные и надстрочные знаки своей авторучкой.

— Привет, — сказал он, не поднимая головы. — Закройте, пожалуйста, дверь.

Чарльз лягнул ее ногой.

— Плохие новости, — объявил он.

— Очень плохие?

— В финансовом смысле — да.

Не отрываясь от сочинения, Фрэнсис тихо выругался сквозь зубы. Генри быстро сделал последние пометки и помахал листом, чтобы чернила высохли.

— Ох, ради всего святого, — произнес он с мягким укором. — Надеюсь, это может и подождать. Совершенно не хочу думать о посторонних вещах во время занятия. Фрэнсис, как там твоя вторая страница?

— Одну минуту, — по слогам проговорил Фрэнсис, словно преодолевая торопливый скрип пера по бумаге.

Генри встал, склонился над плечом Фрэнсиса и, опершись локтем о стол, принялся проверять первый абзац.

— Камилла сейчас с ним? — спросил он.

— Да, гладит его поганую рубашонку.

— Хмм... — Он указал на что-то кончиком ручки. — Здесь вместо конъюнктива нужен оптатив.

Фрэнсис, уже почти добравшийся до конца страницы, остановился на середине предложения и стал исправлять ошибку.

— А этот губной звук в данном случае становится «пи», а не «каппой».

Банни пришел с опозданием и был зол на весь свет. «Слушай, Чарльз, — начал он с места в карьер, — если хочешь, чтобы эта твоя сестра когда-нибудь вышла замуж, то сначала научи ее пользоваться утюгом». Моя домашняя работа была сделана наспех, я валился с ног от усталости и, пока шло занятие, пытался сосредоточиться из последних сил. В два часа у меня был французский, но сразу после греческого я вернулся домой и, приняв таблетку снотворного, лег в постель. Прием снотворного был перестраховкой — я уснул бы и без него, но одна мысль о том, что целый день я могу проворочаться в муторном полузабытьи под вездесущий шум труб, была невыносима.

Так что спал я крепко, даже крепче, чем нужно, и время промелькнуло незаметно. Уже почти стемнело, когда из каких-то неведомых далей до меня донесся стук в дверь.

Это была Камилла. Должно быть, выглядел я ужасно — она удивленно посмотрела на меня и рассмеялась.

— Ты только и делаешь, что спишь. Почему, когда я захожу к тебе, ты всегда в постели?

Я ничего не соображал. Шторы были задернуты, в коридоре темно. В тяжелой голове носились обрывки сновидений, меня вело, и в тот момент она перестала быть недостижимой солнечной девушкой из плоти и крови, но стояла передо мной смутным и невыразимо хрупким видением: смещение теней, тонких рук, разметающихся волос — волшебная сумеречная Камилла из подземелья моих снов.

— Проходи, — сказал я.

Он вошла, закрыла дверь и подвинула себе стул. Босоногий, с расстегнутым воротником, я сел на край смятой постели и подумал, как было бы чудесно, окажись это и вправду сном, тогда я смог бы подойти, взять ее лицо в ладони и поцеловать — веки, губы, то место у виска, где волосы цвета меда превращались в шелковистое золото.

Мы все смотрели друг на друга.

— Ты, случайно, не заболел? — спросила она.

В темноте блеснул ее браслет. Я сглотнул, на ум не приходил ни один подходящий ответ.

Она встала.

— Я, наверно, лучше пойду. Извини, что разбудила. Просто хотела спросить, не хочешь ли ты прокатиться?

— Что?

— Прокатиться. Да нет, не волнуйся. В другой раз.

— А куда?

— Никуда. Куда-нибудь. Через десять минут мы встречаемся с Фрэнсисом в Общинах.

— Постой...

Я почувствовал себя как в сказке. Во всем теле еще сладко ныла сонная тяжесть, и я представил, как здорово будет идти вместе с Камиллой к Общинам в меркнувшем свете, сквозь снег, вот так — в полудреме, словно под гипнозом.

Я встал. Казалось, на это ушла целая вечность: пол медленно отдалялся, будто в силу какого-то органического процесса я рос все выше и выше. Подошел к шкафу — пол, словно палуба корабля, отозвался легким покачиванием. Нашарил пальто, потом шарф, вспомнил о перчатках, но пришел к выводу, что сейчас это будет слишком сложно.

— Ну все, я готов.

Она удивленно выгнула бровь:

— Вообще-то на улице холодно. Случайно, не хочешь надеть ботинки?

Шел ледяной дождь, по слякоти мы добрались до Общин. Чарльз, Фрэнсис и Генри уже ждали нас. В собравшемся составе — все, кроме Банни, — было что-то знаменательное, хотя я и не мог до конца понять, что именно.

— Что вы затеяли? — спросил я, заторможенно оглядывая их.

— Ничего, — ответил Генри, чертя на полу какой-то узор блестящим наконечником зонта. — Просто решили устроить небольшую поездку. Я

подумал, было бы здорово... — он выдержал многозначительную паузу, — ненадолго выбраться из колледжа, может быть, где-нибудь поужинать...

«Без Банни, вот что здесь подразумевается, — подумал я. — Интересно, где он, кстати?» Острие зонта сверкнуло. Я поднял голову и поймал на себе удивленный взгляд Фрэнсиса.

— Что такое? — раздраженно спросил я, покачнувшись в дверном проеме.

Он насмешливо хмыкнул:

— Ты что, пьян?

Оказывается, все смотрели на меня с каким-то забавным выражением.

— Да, — ответил я. Это было неправдой, но пускаться в объяснения мне не хотелось.

Свинцовое небо едва не падало на подернутые взвесью дождя верхушки деревьев. Под его тяжелым покровом даже пейзаж вблизи Хэмпдена, такой знакомый, казался безликим и чужим. Над долинами стоял туман, вершину Маунт-Катаракт было не разглядеть из-за сплошной холодной пелены. Без этого вездесущего пика, который был для меня стержнем Хэмпдена и всей округи, я с трудом понимал, где мы находимся, и, хотя я проезжал по этой дороге сотни раз в любую погоду, мне казалось, что мы стремимся вглубь неведомой, лишенной опознавательных знаков территории. За рулем сидел Генри. Ехал он, как всегда, довольно быстро, шины свистели на мокрой черной дороге, по бокам веером разлетались брызги.

— Я присмотрел это место примерно месяц назад, — сказал он, притормаживая на подъезде к белому сельскому домику, от ограды которого сбегало вниз заснеженное пастбище, утыканное стогами сена. — Участок по-прежнему продается, но, по-моему, цена завышена.

— Сколько акров? — спросила Камилла.

— Сто пятьдесят.

— Что, скажи, пожалуйста, ты будешь делать с такой огромной площадью?

Взмахом руки она убрала волосы с лица, и я снова уловил блеск браслета: «Темной прядью играет ветер, темные пряди от губ отводит...»<sup>[74]</sup>

— Ты ведь не будешь ее возделывать?

— На мой взгляд, чем больше земли, тем лучше. Я был бы только рад, будь у меня ее столько, что все шоссе, телеграфные столбы и прочее, чего я не желаю видеть, просто оказались бы вне поля зрения. Наверное, в наше

время это невозможно в принципе, а этот дом так и вовсе стоит практически на дороге. Я видел еще одну ферму, но это уже в соседнем штате, в Нью-Йорке...

Навстречу в шлейфе брызг пронесся пикап.

Все были необычайно спокойны и раскованны, и я догадывался почему — с нами не было Банни. Темы этой они избегали с тщательным безразличием. Он сейчас где-то там, подумал я, что-то подделывает, о чем лучше не спрашивать. Я откинулся назад и стал следить за кривыми серебряными тропками капель на стекле.

— Если бы я покупала дом, то где-нибудь здесь, — сказала Камилла. — Горы мне всегда нравились больше, чем побережье.

— Мне тоже, — отозвался Генри. — Наверное, в этом отношении мои вкусы можно назвать эллинистическими. Мне интересны замкнутые материковые пространства, труднодоступные места, глухомань. Море меня никогда не привлекало. Приходят на ум слова Гомера о мужах аркадских, помните? «...они небрегли о делах мореходных».<sup>[75]</sup>

— Это потому, что ты вырос на Среднем Западе, — заявил Чарльз.

— Но если следовать этой линии рассуждения, было бы логично предположить, что мне нравятся степи и равнины. Однако это совершенно не так. Описания Трои в «Илиаде» ужасны — бескрайняя равнина под палящим солнцем. Нет, меня всегда притягивали гористые, непроходимые ландшафты. Именно оттуда родом самые странные языки и загадочные мифологии, там возникли древнейшие города и самые дикие религии. К слову сказать, сам Пан родился в горах. И Зевс. «На Паррасии был ты рожден, — мечтательно произнес он, словно не заметив, что перешел на греческий, — изобильно эта вершина одета густою листвой...»<sup>[76]</sup>

Уже стемнело. Нас окружала тихая таинственная глушь, укутанная ночью и туманом. По обеим сторонам дороги возвышались скалистые склоны, густо поросшие лесом. Здесь не было ничего от милого, старомодного изящества Хэмпдена с его волнистыми холмами, антикварными лавочками и домиками для лыжников; нет, все было гигантским, опасным и первобытным, только темень и пустота, даже ни одного рекламного щита.

Фрэнсис, знавший этот район лучше остальных, сказал, что поблизости должно быть придорожное кафе, хотя в существование человеческого обиталища в радиусе ста километров было трудно поверить. Но вот мы обогнули поворот, и в свете фар появился изрешеченный пулями ржавый металлический знак, сообщавший, что именно «Хузатоник-инн»,



прямо по курсу, подарил миру пирог «а-ля мод».

Здание опоясывала дряхлая веранда: просевшие столбы, отслоившаяся краска. Интерьер передней представлял собой интригующее сочетание красного дерева и изъеденного молью бархата, разбавленное оленьими головами, рекламными календарями и памяtnыми тарелками в честь двухсотлетия Штатов.

В зале было лишь несколько местных жителей, которые, оторвавшись на миг от еды, окинули нас полным искреннего и невинного любопытства взглядом — наши темные костюмы, очки, гравированные запонки Фрэнсиса и его галстук от Шарве, короткую стрижку и лоснящееся каракулевое пальтишко Камиллы. Эта единодушная открытость меня удивила — никто не таращился, никто не хмурился, — но потом я понял: должно быть, они просто не догадываются, что мы из колледжа. Где-нибудь поближе к Хэмпдену на нас тут же бы навесили ярлык богатеньких студентов-разгильдяев, от которых много шума и никаких чаевых. Здесь же мы были всего лишь незнакомцами, редкими в этих местах.

К нам даже не подошли принять заказ. Ужин появился мгновенно, как по волшебству: свиное жаркое, галеты, репа, кукуруза и ореховая паста — все в толстых фарфоровых мисках с портретами президентов (вплоть до Никсона) по краям. Официант, краснолицый парень с обкусанными ногтями, замялся у нашего стола и наконец робко спросил:

— Вы, ребят, случайно не из Нью-Йорк-Сити?

— Нет, — сказал Чарльз, принимая от Генри тарелку с галетами. — Мы здешние.

— Из Хузатоника?!

— Я имею в виду, из Вермонта.

— А не из Нью-Йорка, не?

— Нет, — радушно ответил Фрэнсис, принимаясь за жаркое. — Я, например, из Бостона.

— Я был там как-то раз, — сказал парень, явно впечатленный ответом. Рассеянно улыбнувшись, Фрэнсис потянулся за кукурузой.

— У вас, наверно, «Рэд Сокс» — любимая команда?

— Вообще-то да, я болею за них, — отозвался Фрэнсис. — Вполне. Только что-то они всегда проигрывают.

— Ну, не то чтоб все время. Хотя, по-моему, Кубка серий им и вправду никогда не видать. <sup>[77]</sup>

Он топтался на месте, пытаясь придумать что-нибудь еще, и вдруг Генри повернулся к нему.

— Присядь, — неожиданно сказал он. — Почему бы тебе не

поужинать с нами?

После неловких попыток протеста парень все же придвинул к нам стул, но от еды наотрез отказался. «Ужин заканчивается в восемь, — сообщил он, — наверно, больше никто не приедет. Мы ведь далеко от главного шоссе, а тут почти все ложатся спать очень рано». Звали его, как мы выяснили, Джон Дикон. Ему было двадцать — так же, как и мне. Два года назад закончил школу в Хузатонике, после этого стал помогать дяде на ферме. Работа официанта была ему в новинку — устроился на зиму, чтобы не бездельничать. «Я тут всего третью неделю. Вообще-то мне нравится. Еда что надо. И кормят бесплатно».

Надо сказать, Генри, который питал стойкое презрение к *hoi polloi* (эта категория в его понимании была довольно широкой и включала самых разных людей, начиная с тинейджеров с бум-боксами на плечах и кончая хэмпденским деканом, который изучал американистику в Йеле и был весьма обеспеченным человеком) и был презираем ими в ответ, тем не менее обладал удивительной способностью находить общий язык с простыми людьми, бедняками, жителями захолустья. Он снискал крайнюю неприязнь у всей администрации колледжа, однако у садовников, поваров и уборщиц — уважение и почет. Он не обращался с ними как с равными — так он не обращался практически ни с кем, — но и не прятался за снисходительным дружелюбием, присущим богатым. «Я считаю, что к бедности и болезням мы относимся с куда большим лицемерием, чем люди в минувшие века, — сказал однажды Джулиан. — Здесь, в Америке, богатые пытаются делать вид, будто деньги — это единственное, что отличает их от бедных, а ведь это просто-напросто не так. Кто-нибудь помнит определение справедливости в „Государстве“ Платона? Для общества справедливость заключается в том, что каждый его слой функционирует на собственной ступени иерархии и довольствуется своим местом. Неимущий человек, стремящийся занять более высокое общественное положение, лишь понапрасну обрекает себя на страдания. И имевшие хоть чуть-чуть мудрости бедняки всегда это знали, так же как и наделенные ею богачи».

Я вовсе не уверен в правоте этих слов. Ведь если все так, что бы тогда оставалось мне — сидеть в Плано и до самой смерти вылизывать стекла машин? Но Генри, без сомнения, был настолько уверен в своих возможностях и положении в этом мире, настолько с ними сжился, что в его присутствии и другие (я в их числе) обретали уверенность и смотрели на свои менее завидные обстоятельства другими глазами. На людей бедных его манера держаться обычно не производила особого впечатления, и, как

следствие, они могли разглядеть за ней настоящего Генри — Генри, каким знал его я: вежливого, немногословного и во многих отношениях настолько же простого и прямодушного, как они сами. Этой способностью обладал и Джулиан, пользовавшийся любовью и уважением своих бесхитростных сельских соседей, подобно тому как, приятно думать, добрейший Плиний был почитаем беднотой Комо и Тифернума.<sup>[78]</sup>

Почти весь ужин Генри и паренек разговаривали об участках земли возле Хэмпдена и Хузатоника, переходя от одной не имеющей для меня смысла категории к другой — границы, застройка, стоимость акра, нерасчищенные участки, права на собственность, фактическое владение и так далее, — а все остальные ели и слушали. Было полное впечатление, что я оказался свидетелем разговора двух вермонтских старожилов на какой-нибудь богом забытой заправке или перед кассой бакалейной лавки, однако от этой беседы мне почему-то стало необъяснимо легко и приятно, словно все-все у меня в жизни было хорошо.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется странным, как незаметно растворился мертвый фермер в моем болезненном и истеричном воображении. Мне нетрудно представить кошмары, которые способен вызвать подобный персонаж: вот я открываю дверь аудитории и вижу, что одетая во фланелевую рубашу фигура без лица сидит, словно огромная сломанная кукла, за партой или, оторвавшись от записей на доске, оборачивается ко мне со зловещей ухмылкой. Тем не менее — и это весьма показательно — думал я о нем редко, да и то лишь случись кому-нибудь о нем упомянуть. Столь же мало, если не меньше, он волновал и остальных, судя по их ровному и совершенно естественному поведению в минувшие месяцы.

Сколь ни чудовищно звучит это признание, труп фермера воспринимался как бутафория — манекен, который рабочие сцены в темноте подтащили к ногам Генри, чтобы публика издала вздох изумления, как только зажгутся огни ramпы. И хотя образ убитого — окровавленное тело с застывшим взглядом — всегда вызывал легкий frisson,<sup>[79]</sup> он был относительно безобидным в сравнении с той донельзя реальной и неотвязной угрозой, которую, как я теперь видел, представлял Банни.

Банни с его неизменным грубоватым дружелюбием производил впечатление человека устойчивого, но на самом деле обладал дико неуравновешенным характером. Тому было много причин, но главная заключалась в полной неспособности хоть немного подумать, прежде чем что-нибудь сделать. Он плыл по жизни, ведомый лишь тусклыми огнями

привычек и стимулов, в полной уверенности, что, попадись на пути препятствие, он запросто преодолеет его одной только силой инерции. Однако в новой ситуации, сложившейся после убийства, инстинкты напрочь ему отказали. Теперь, когда старые проверенные бакены фарватера были, так сказать, передвинуты под покровом ночи, управлявший его психикой автопилот оказался бесполезен. Вода заливала палубы, а он судорожно метался и, пытаясь остаться на плаву, только еще больше разбивал днище о рифы.

Думаю, в глазах посторонних Банни оставался старым добрым балагуром — он все так же хлопал всех и каждого по плечу, все так же поедал сладости в читальном зале, множа залежи крошек между страницами греческих книг. Однако за этой хлипкой ширмой происходили вполне определенные перемены, не предвещавшие ничего хорошего. Поначалу я лишь смутно улавливал их, но с течением времени стал замечать все яснее.

Многое в нашей жизни выглядело так, будто ничего не случилось. Мы ходили на занятия, корпели над греческим и в целом, как в своем кругу, так и вне его, с успехом создавали впечатление, что все нормально. Помнится, мне согревала душу мысль, что Банни, несмотря на очевидный внутренний раздрай, без особого труда следует ежедневной рутине. Теперь-то, конечно, я понимаю, что только рутина и служила ему опорой. В ней словно бы заключался его последний уцелевший ориентир, и он цеплялся за него с ожесточенным упорством собаки Павлова — отчасти в силу привычки, отчасти потому, что заменить его было нечем. Полагаю, все, кроме меня, давно сознавали, что старые ритуалы стали чем-то вроде костюмированного представления, неуклонное следование сценарию которого было залогом спокойствия Банни. Я же понял, как далеко все зашло, лишь став свидетелем следующего инцидента.

Мы проводили очередные выходные в доме Фрэнсиса. Не считая едва уловимой натянутости, отмечавшей тогда любые контакты с Банни, все шло довольно гладко, и в тот вечер за ужином он был в хорошем настроении. Когда я отправился спать, он все еще сидел внизу и, попивая оставшееся от ужина вино, играл с Чарльзом в триктрак. Однако ближе к середине ночи меня разбудил дикий рев на другом конце коридора, там, где находилась комната Генри.

Я сел в кровати и включил свет.

— Да тебе ж на все насрать — не так, что ли?! — услышал я крик Банни, за которым последовал приглушенный грохот, как если бы со стола единым махом смели стопку книг. — На все, кроме себя любимого!

Сволочь! Всем вам на все насрать! Вот бы Джулиан удивился, если б я ему рассказал пару... Не трожь меня! — взвизгнул он. — Убери свои лапы!

Снова грохот — на этот раз, похоже, досталось какой-то мебели — и голос Генри, торопливый и гневный. Затем, перекрывая все, — вопль Банни. «Ну давай! — надсаживался он так, что я подумал, сейчас проснется весь дом. — Давай, попробуй! Думаешь, я тебя испугался? Да меня от тебя уже тошнит, пидор ты несчастный! Фашист! *Вшивая, вонючая жидовская морда...*»

Следом раздался оглушительный треск. Хлопнула дверь. По коридору прогремели быстрые шаги. Потом до меня донеслись глухие всхлипы — нескончаемая череда надрывных, захлебывающихся звуков.

Около трех часов все стихло, и я уже собрался снова лечь, но тут кто-то тихо прошел по коридору и, помедлив, постучался ко мне. Это был Генри.

— Боже ты мой, — рассеянно произнес он, оглядывая разворошенную постель и кучу одежды на коврик. — Хорошо, что ты еще не спишь. Я заметил у тебя свет.

— Слушай, что там такое случилось?

Генри провел пятерней по растрепанным волосам.

— А ты как думаешь? — устало сказал он. — Я понятия не имею, серьезно. Должно быть, я сделал нечто такое, что вывело его из себя, вот только, убейте, не пойму что. Я сидел читал, он зашел и попросил словарь. Вернее, попросил меня посмотреть какое-то слово, а потом... Скажи, у тебя случайно не найдется аспирина?

Я присел на кровать и принялся рыться в ящике ночного столика: бумажные платки, очки, брошюры серии «Христианская наука», принадлежавшие одной из престарелых родственниц Фрэнсиса.

— Нет, похоже, нет, — констатировал я. — Так все-таки что случилось?

Генри вздохнул и грузно опустился в кресло.

— Аспирин есть у меня в комнате. В жестянке, в кармане пальто. Там же синяя коробочка с пилюлями. И сигареты. Не мог бы ты за ними сходить?

Он был так разбит и бледен, что мне показалось, он заболел.

— Ничего не понимаю...

— Я не хочу там появляться.

— Почему?

— Банни уснул на моей кровати.

Я настороженно посмотрел на него.

— Ну, знаешь, лично я не собираюсь...

Он не дал мне закончить, обессиленно махнув рукой:

— Да нет, все нормально. Правда. Мне просто немного не по себе, не хочу туда идти. Не волнуйся, он крепко спит.

Я тихо выскользнул в коридор. Уже взявшись за ручку, я помедлил, прислушиваясь. Изнутри отчетливо доносился сиплый храп Банни.

Несмотря на то что я слышал финал спектакля, увиденное превзошло все ожидания: по всему полу были разбросаны книги, ночной столик опрокинут, у стены валялся искореженный ротанговый стул. Свернутый абажур торшера замыкал желтоватый свет в кривую, бредовых очертаний фигуру. Прямо посреди разгрома, уткнувшись щекой в рукав пиджака, возлежал Банни. Рот его был приоткрыт, веки набрякли, одна нога, так и обутая в лакированную туфлю, свисала с кровати. Без очков его лицо выглядело непривычно. Он шмыгал носом и что-то бормотал во сне. Отыскав лекарства и сигареты, я поспешно убрался прочь.

Поздно утром, когда мы с Фрэнсисом и близнецами уже завтракали, на кухне появился угрюмый и опухший Банни. Проигнорировав наши неловкие «с добрым утром», он прошагал прямо к шкафчику, залил молоком тарелку хлопьев и, не проронив ни слова, сел за стол. В наступившей тишине я услышал, как в дом вошел мистер Хэтч. Извинившись, Фрэнсис поспешно направился в холл, откуда вскоре послышался негромкий рокот разговора. Прошло несколько минут. Я искоса поглядывал на Банни, мрачно уминавшего хлопья, и вдруг в окне позади его головы различил далекую спину мистера Хэтча. Он шел к мусорной куче на краю поля за садом, и в руках у него темнели скорбные останки ротангового стула.

Эти приступы истерии, стоившие всем стольких нервов, случались довольно редко. Однако они ясно показывали, в каком разладе с самим собой пребывал Банни. В эпицентре подобных скандалов всегда оказывался Генри — ведь это Генри «предал» его. Однако, как ни забавно, именно с ним Банни вел себя более-менее пристойно в повседневном общении. Все остальные так или иначе постоянно его раздражали. Он мог сорваться на Фрэнсиса, скажем, за какое-нибудь высказывание, показавшееся ему претенциозным, или прийти в необъяснимую ярость от предложения Чарльза угостить его мороженым, но с Генри подобных ссор по пустякам он почему-то не устраивал — и это несмотря на то, что Генри, в отличие от остальных, был далек от того, чтобы надрываться ради умиротворения Банни. Когда в разговоре всплывала тема круиза на баржах,

а происходило это едва ли не каждый день, он слушал разве что вполуха, поддакивая механически и через силу. Самонадеянное предвкушение поездки, распиравшее Банни, было, на мой взгляд, страшнее любой истерики: как можно было не понимать, что никакого путешествия не будет, что даже если оно и состоится, то окажется сплошным кошмаром? Но нет — Банни с блаженной улыбкой душевнобольного часами изливал на нас грезы о Ривьере, не замечая ни каменных складок у рта Генри, ни зловещих провалов тишины, возникавших всякий раз, когда, наконец выдохшись, он подпирал подбородок рукой и устремлял в пространство мечтательный взгляд.

Очень часто казалось, что подавляемая злость на Генри перетекает у него в отношения со всем остальным миром. С кем бы Банни ни общался, он вел себя грубо, несдержанно, то и дело норовил затеять свару. Сводки о его поведении доходили до нас по самым разным каналам. То он запустил туфлю в хиппи, игравших в хакисак под его окном, то пригрозил расправой соседу, не пожелавшему убавить громкость радио, то обозвал одну из сотрудниц финансового отдела троглодиткой. Полагаю, нам повезло, что среди множества его знакомых было мало людей, с которыми он встречался регулярно. Джулиан видел Банни чаще многих, но их общение не выходило за рамки занятий. Куда большие неприятности сулила его дружба с Клоуком Рэйберном, бывшим одноклассником, и, наконец, главную угрозу таили в себе его отношения с Марион.

Нам было известно, что Марион, в полной мере ощутившая на себе перемену в его поведении, недоумевает и сердится. Если бы она понаблюдала за ним в нашем кругу, то, несомненно, поняла бы, что она сама тут ни при чем, но такой возможности не было и она видела лишь проваленные свидания, бесконечные капризы, угрюмые взгляды и беспричинные вспышки раздражения, причиной которых, казалось, была исключительно она сама. Может, он встречается с другой? Или просто хочет уйти? Знакомая Камиллы, работавшая в Центре развития малышей, рассказала ей, что однажды Марион звонила оттуда Банни шесть раз подряд, и в конце концов он оборвал разговор, швырнув трубку.

«Боже, ну пожалуйста, пусть она наконец сделает ему ручкой», — возведя очи горе, взмолился Фрэнсис, когда услышал эти новые разведданные. Больше тема не обсуждалась, но мы пристально наблюдали за нашей парочкой и просили небеса, чтобы так оно и случилось. Если бы Банни мог соображать, он, конечно, держал бы рот на замке, но, увы, его сдернутое с насеста подсознание летучей мышью металось по пустым коридорам черепа, и о том, что он может выкинуть, можно было только

гадать.

С Клоуком Банни виделся несколько реже. У них было мало общего, не считая проведенных вместе школьных лет, к тому же Клоук, постоянно вращавшийся в полубогемной тусовке и прочно сидевший на колесах и наркоте, был всецело поглощен собственной персоной и едва ли мог заметить что-то неладное в поведении Банни, даже если бы вдруг обратил на него внимание. Он жил в соседнем со мной корпусе, Дурбинстале. Прозванное хэмпденскими остряками «Далман-холл»,<sup>[80]</sup> это здание было кипучим центром того, что администрация колледжа деликатно называла «деятельностью, связанной с запрещенными препаратами». Заглянувший туда посетитель нередко оказывался свидетелем взрывов и мелких пожаров, виновниками которых были либо незадачливые одиночки, трудившиеся над очисткой кокаина в своих комнатах, либо студенты-химики, сообща работавшие над схожими проектами в подвале. К счастью для нас, комната Клоука была на первом этаже и выходила окнами на лужайку. Так как шторы у него были все время раздвинуты, а поблизости не росло ни одного дерева, можно было спокойно сидеть на крыльце библиотеки и с каких-нибудь пятнадцати метров беспрепятственно услаждать зрение великолепным видом Банни в живописном обрамлении окна — вот он застыл с открытым ртом над комиксами, вот, размахивая руками, что-то вещает невидимому Клоуку.

— Я просто хочу быть в курсе того, где он бывает, — пояснил Генри.

Впрочем, следить за Банни было довольно просто — думается, прежде всего потому, что и он, в свою очередь, не хотел надолго выпускать нас, особенно Генри, из поля зрения.

С Генри, как я уже говорил, он обращался довольно почтительно, остальным же изо дня в день приходилось принимать на себя напор его рвущейся наружу агрессии. Как правило, он просто действовал нам на нервы — например, частыми и невежественными нападками на Католическую церковь. Семейство Банни принадлежало к епископальной церкви, мои родители, насколько я знаю, были далеки от всякой религии, но Генри, Фрэнсис и близнецы получили католическое воспитание, и, хотя в церковь, на моей памяти, никто из них не ходил, неистощимый поток тупоумных богохульств Банни приводил их в бешенство. Подмигивая и бросая хитрые взгляды, он рассказывал байки о падших монашках, распутных прихожанках и священниках-педерастах. («А потом этот отец и говорит службе — учтите, парнишке девять лет, он был в младшей скаутской группе, которой я командовал, — так вот, он говорит Тиму Малруни, дескать, сын мой, а не хочешь ли пойти посмотреть, где мы



спим, — ну, я и другие отцы?») Он сочинял гнусные истории об извращениях, которым предавались папы римские, сообщал малоизвестные пункты католической доктрины, нес всякий бред о заговорах Ватикана, не обращая внимания ни на сокрушительные опровержения Генри, ни на сдержанно-язвительные реплики Фрэнсиса о протестантах, мечтающих вылезти из грязи в князи.

Хуже было, когда он смыкал челюсти, вцепившись в кого-то одного. С какой-то сверхъестественной проницательностью он всегда точно определял, когда и в какое место вонзить зубы, чтобы как можно больнее ранить, как можно сильнее разозлить. Чарльз был человеком добродушным и редко сердился всерьез, но даже его эти антикатолические диатрибы доводили до такого состояния, что чашка чаю дребезжала у него на блюдечке. Он был чувствителен и к замечаниям о своей тяге к спиртному. Вообще-то Чарльз и вправду пил много. Все мы пили немало, но от Чарльза, пусть он и не скатывался в откровенное пьянство, при этом частенько несло алкоголем в самое неподходящее время дня. Скажем, неожиданно заглянув к нему еще до обеда, я не раз заставлял его со стаканом чего-нибудь крепкого — что, возможно, было не так уж и странно, учитывая тогдашнее положение дел. Банни устраивал по этому поводу целые представления, мерзко изображая дружескую озабоченность, сдобренную в его исполнении ехидными комментариями о забулдыгах и алкашах. Он подсчитывал, сколько коктейлей Чарльз выпил за вечер, раздувая результат до баснословных размеров. Он тайком подкидывал в его почтовый ящик вопросники («Бывает ли Вам необходимо выпить, чтобы поддержать себя в течение дня?») и брошюрки (веснушчатое дитя с жалобным взглядом спрашивает у родительницы: «Мама, а кто такой „пьяница“?»), а однажды дошел до того, что сообщил его адрес местному подразделению «Анонимных алкоголиков», после чего на Чарльза посыпались просветительские трактаты, телефонные звонки и даже появился с личным визитом некий благонамеренный член этой организации, достигший «двенадцатой ступени».

С Фрэнсисом все обстояло еще неприятней. Об этом никогда не упоминалось, но все мы знали, что он гей. Он не отличался неразборчивостью в связях, но время от времени отправлялся на какие-то загадочные «вечеринки», а однажды, еще на заре нашего знакомства, попытался пристать ко мне — ненавязчиво, но явно. Случилось это после обеда, мы что-то неспешно пили, а потом решили покататься на лодке. Я уронил весло и, перегнувшись через борт, отчаянно старался его выловить, как вдруг пальцы Фрэнсиса скользнули по моей щеке — словно бы

невзначай, но слишком медленно для случайного прикосновения. Опешив, я повернул голову, наши взгляды, как это бывает в подобных ситуациях, встретились, и секунду-другую мы смотрели друг другу в глаза. Лодку качало из стороны в сторону, уплывавшее весло было забыто. В жутком смущении я отвел глаза, и вдруг, к моему огромному удивлению, он взорвался смехом, очевидно не в силах вынести мой конфуз.

— Нет? — спросил он.

— Нет, — облегченно ответил я.

Можно было бы предположить, что этот инцидент несколько охладит нашу дружбу. Не думаю, что однополая любовь способна сильно смутить человека, посвятившего массу энергии изучению античной литературы, но вместе с тем мне не по себе, когда это явление начинает соотноситься со мной напрямую. Мне было приятно общество Фрэнсиса, и все же, находясь рядом с ним, я постоянно нервничал. Как ни странно, именно эта его попытка разрядила атмосферу. Подозреваю, я знал, что нечто подобное неизбежно, и боялся этого, однако, как только вопрос был, так сказать, снят с повестки дня, я стал чувствовать себя с ним совершенно спокойно даже в самых сомнительных ситуациях: в подпитии, наедине в его квартире, бок о бок на заднем сиденье машины.

Его отношения с Банни сложились совсем иначе. Они вполне ладили в компании, но, стоило подольше понаблюдать за каждым из них, становилось ясно, что они очень редко делали что-нибудь вместе и никогда не проводили время вдвоем. Причину этого я знал, мы все знали. И все же долгое время я искренне полагал, что, в общем и целом, они хранят взаимное дружеское расположение. Мне и в голову не приходило, что в бесцеремонных шутках Банни на определенную тему было припрятано отточенное лезвие злобы, предназначенное специально для Фрэнсиса.

Наверное, самое болезненное потрясение испытываешь, когда вдруг понимаешь, насколько был слеп. Я ведь совершенно не задумывался — а задуматься стоило — над тем, что в этих дремучих предрассудках Банни, так меня забавлявших, нет ни грамма иронии, но лишь глухая, непробиваемая убежденность.

При нормальных обстоятельствах Фрэнсис прекрасно мог бы постоять за себя. Он был вспыльчив по природе, остер на язык, и ему бы не составило никакого труда поставить Банни на место, однако он, по понятным причинам, относился к этой соблазнительной возможности с опаской. Мы все с мучительной ясностью видели ту метафорическую склянку с нитроглицерином, которую Банни держал при себе днем и ночью, периодически показывая нам ее краешек (на случай, если кто-то забыл, что

она постоянно с ним), и мог шваркнуть об пол в любой момент.

Честно говоря, у меня не хватает духа перечислить все гадости, которыми он, на словах и на деле, досаждал Фрэнсису: унижительные розыгрыши, ремарки о педиках и трансвеститах, дотошные расспросы о его предпочтениях и привычках — клизмы, хомячки, лампочки? Все это изливалось на его бедную голову нескончаемым зловонным потоком.

«Хоть раз, — помню, однажды прошипел Фрэнсис сквозь зубы. — Один-единственный раз мне хотелось бы...»

Но, по большому счету, все мы были абсолютно беспомощны.

Казалось, я, тогда еще ни в чем не повинный ни перед Банни, ни перед остальным человечеством, избегаю плачевной участи мишени под этим непрерывным снайперским огнем. К сожалению, не тут-то было, и, возможно, сожалеть об этом скорее следовало Банни, чем мне. Только слепой не увидел бы, как опасно в его положении отталкивать единственное беспристрастное лицо, единственного потенциального союзника. Ведь Банни на свой лад был симпатичен мне не меньше остальных, и я бы еще семь раз подумал, прежде чем окончательно встать на их сторону, не примись он за меня с таким остервенением. Возможно, им двигала ревность, ведь он начал сдавать позиции в группе примерно с момента моего там появления. Подобная детская и нелепая обида, безусловно, никогда не проступила бы на поверхность, не угоди он в объятия паранойи, напрочь лишившей его способности отличать друзей от врагов.

Мало-помалу во мне росло отвращение к нему. Словно не ведающая жалости гончая, он мгновенно и безошибочно схватывал след всего, что выбивало почву у меня из-под ног, всего, что я старался скрыть любой ценой. Он не уставал развлекаться, играя со мной в одни и те же садистские игры. Ему нравилось провоцировать меня на вранье. «Шикарный галстук, — говорил он, к примеру, — это ж небось „Эрмес“?» И, стоило мне согласиться, быстро тянулся через стол и выставял на всеобщее обозрение более чем скромное происхождение моего несчастного галстука. Или вдруг резко замолкал посреди разговора и спрашивал: «Ричард, старик, а чего это у тебя нигде ни одной фотки предков, а?»

Именно к таким деталям он и обожал цепляться. В его собственной комнате размещалась целая выставка безупречных семейных сувениров, совершенных, как серия рекламных плакатов: мать Банни в белой норковой горжетке — юная дебютантка бала дарит фотографа высокомерным взглядом; Банни в компании братьев — маленькая орава бежит с ракетками

по яркому черно-белому полю для игры в лакросс; Рождество в кругу семьи — респектабельный родительский дуэт в дорогих халатах, роскошная елка, под елкой — донельзя навороченная железная дорога, на переднем плане пятеро белобрысых мальчуганов в одинаковых пижамах резвятся с ошалевшим спаниелем.

«Что?! — восклицал он, изображая невинное изумление. — В Калифорнии кончились фотоаппараты? Или ты просто не хочешь, чтоб друзья любовались убогим полиэстровым костюмом твоей мамочки? Кстати, что твои родители заканчивали? — продолжал он, прежде чем я успевал вставить хоть слово. — Йель, Гарвард, Принстон? Или какой-нибудь захудалый колледж — это все, на что их хватило?»

Рассказывая о семье, я старался не завираться, но столь яростных атак мои басни, конечно, выдержать не могли. Мои родители даже не окончили школу, а мать действительно носила дешевые брючные костюмы, купленные в фабричном магазине. У меня была одна-единственная ее фотография — размытый поляроидный снимок. Щурясь в объектив, она стояла, опираясь одной рукой о забор и положив другую на новую отцовскую газонокосилку, которая и послужила поводом прислать мне это фото: мать посчитала, что меня заинтересует последнее семейное приобретение. Других фотографий матери у меня не было, и я хранил снимок, заложив им букву «М» в словаре Вебстера, но как-то ночью вскочил с кровати, охваченный внезапным страхом, что Банни, большой любитель совать всюду нос, чего доброго, обнаружит его. Ни один тайник не производил впечатления надежного. В конце концов я сжег фото в пепельнице.

Подобные приватные дознания были отвратительны, но у меня нет подходящих слов, чтобы описать мучения, выпадавшие на мою долю, когда он демонстрировал свое искусство в присутствии зрителей. Банни давным-давно мертв, *requiescat in pace*, <sup>[81]</sup> но до конца своих дней я не забуду ту изуверскую интерлюдия, которую он разыграл со мной однажды в гостях у близнецов.

Парой дней раньше Банни доставал меня расспросами о том, где я учился. Не знаю, почему я не мог взять и выложить правду, что ходил в самую обыкновенную школу у себя в Плано. Фрэнсис побывал во множестве самых элитных школ Швейцарии и Англии, а Генри, прежде чем бросить учебу в десятом классе, — в не менее элитных американских заведениях. Однако близнецы закончили ничем не примечательную школу в Роаноке, и даже прославленный Сент-Джером, где учился Банни, был на самом деле всего лишь дорогой коррекционной школой — из тех, чью

рекламу («мы уделяем повышенное внимание детям, недостаточно успевающим в учебе») можно увидеть на последних страницах любого журнала вроде «Кантри энд Таун». У меня не было ни одной серьезной причины стыдиться, и все же я увиливал от ответа, пока наконец Банни не припер меня к стенке. Отчаявшись, я сказал ему, что ходил в Рэнфрю-холл — в этой частной школе неподалеку от Сан-Франциско учатся, а вернее, играют в теннис благополучные юнцы без особых интересов. Ответ его вроде бы устроил, но потом, к моему беспредельному смятению, он вновь поднял эту тему при всех.

— Так, значит, ты учился в Рэнфрю? — дружески поинтересовался он, приготовясь закинуть в рот горсть фисташек.

— Да.

— А в каком году, говоришь, ты закончил?

Я назвал настоящую дату своего выпуска.

— О, так ты учился там вместе с фон Раумером, — сказал он, деловито жуя орешки.

— Что-что?

— Алек. Алек фон Раумер. Из Фриско. Друг Клоука. Он тут как-то заглянул к нему, и мы немного пообщались. Говорит, в Хэмпдене — куча ребят из Рэнфрю.

Я не ответил, надеясь, что на этом он успокоится.

— Так это, ты знаешь Алека?

— Ну так, немного.

— Забавно. А он говорит, что не помнит тебя, — сказал Банни и, не спуская с меня глаз, потянулся за новой пригоршней фисташек. — Ни капли.

— Ничего удивительного, школа-то большая.

Он кашлянул.

— Уверен?

— Ну да.

— Фон Раумер вот говорит, крошечная. Всего две сотни учеников.

Он помолчал и, подкрепившись орехами, продолжил:

— А в каком корпусе, я забыл, ты там жил?

— Тебе это все равно ничего не скажет.

— Фон Раумер сказал, чтоб я обязательно у тебя спросил.

— И что от этого изменится?

— Да нет, нет, ничего, старик, это я так... — сама безобидность, поспешил он успокоить меня. — Просто чертовски странно, n'est-ce pas?<sup>[82]</sup> Вы с Алеком крутились целых четыре года в таком тесном месте, и он даже

ни разу тебя не заметил.

— Я был там всего два года.

— А почему тебя нет в выпускном альбоме?

— Очень даже есть.

— А вот и нет.

Близнецы выглядели убито. Генри сидел к нам спиной, делая вид, что ничего не слышит, но вдруг, не поворачивая головы, произнес:

— Ты-то откуда знаешь, есть он там или нет?

— Я, например, никогда не снимался для этих альбомов, — нервно сказал Фрэнсис. — Терпеть не могу, когда меня фотографируют. Сколько бы я ни...

Банни и ухом не повел:

— Не, так чего ж ты? Давай — я дам тебе пять баксов, если скажешь, в каком корпусе ты жил.

Он сверлил меня взглядом, в котором светился жуткий восторг. Я что-то пробормотал и, неловко поднявшись со стула, пошел на кухню налить себе воды. Нагнувшись над раковиной, я приложил стакан к виску; из гостиной до меня донесся шепот Фрэнсиса, невнятный, но возмущенный, и следом — вызывающий хохот Банни. Я вылил воду и открыл кран на полную мощность, заглушая все звуки. Как получилось, что мой сложный, нервный и тонко отлаженный рассудок совершенно спокойно обрел равновесие после такой встряски, как известие об убийстве, а разум Банни, в сущности более крепкий и примитивный, в итоге сдвинуло набекрень? Я до сих пор иногда размышляю над этим. Если он жаждал мести, то мог легко отомстить, не подвергая себя риску. Чего добивался он этой медленной и взрывоопасной пыткой? Была ли она частью какого-то замысла, подчинялась ли некой цели? Или же собственные поступки были для него так же необъяснимы, как и для нас?

Впрочем, возможно, объяснить их не так уж сложно — и это было хуже всего. Как однажды заметила Камилла, Банни вовсе не стал жертвой замещения личности или шизофренического срыва — нет, просто все дурные черты его характера, доселе проявлявшиеся лишь эпизодически и мельком, соединились и окрепли, окончательно взяв над ним верх. Его безобразное поведение мы испытывали на себе и раньше, только в менее убийственной форме. Даже в лучшие времена он высмеивал мой калифорнийский акцент, пальто из секонд-хенда и лишенную изящных безделушек комнату, но так бесхитростно, что я мог лишь посмеяться. («Господи, Ричард! — сокрушался он, подобрав мою старую туфлю и сунув палец в дырку на подошве. — Что вы за люди такие, калифорнийцы? Чем

богаче, тем фиговой выглядите. Даже в парикмахерскую лишний раз не сходите. Не успею я и глазом моргнуть, как ты отпустишь волосы до плеч и будешь ныкаться тут в обносках, как Говард Хьюз».<sup>[83]</sup>) Мне и в голову не приходило обижаться — это же Банни, мой друг, у которого сзади на брюках огромная дыра, а карманных денег даже меньше, чем у меня. Мой ужас во многом объяснялся именно тем, что его новая линия поведения была очень похожа на прежнее обаятельное подтрунивание, и столь внезапный отход от правил ошеломил и разъярил меня точно так же, как если бы, устраивая мы время от времени дружеские поединки, он вдруг загнал меня в угол и избил до полусмерти.

И вместе с тем всем паршивым воспоминаниям вопреки, в нем столько всего оставалось от прежнего Банни, которого я знал и любил! Порой, заметив его издали — руки в карманах, все та же смешная походка вразвалочку, губы сложены трубочкой и что-то насвистывают, — я чувствовал прилив симпатии, смешанной с сожалением. Я прощал его снова и снова, и всякий раз побуждал меня к этому пустяк: взгляд, жест, наклон головы. В такие моменты казалось, что бы он там ни делал, на него невозможно злиться. Увы, именно эти моменты он зачастую и использовал для нападения. Он сидел с самым приветливым видом, как всегда болтая о чем-то без умолку, а потом, не меняясь в лице, откидывался на спинку стула и выдавал что-нибудь настолько чудовищное, настолько подлое и обескураживающее, что я в сердцах клялся никогда этого не забывать и ни за что не прощать. Клятву эту я нарушал бесчисленное число раз. Чуть было не сказал, что в итоге мне пришлось ее сдержать, но это не совсем так. Даже сейчас у меня не получается изобразить в душе хотя бы подобие злости на Банни. На самом деле больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы сию минуту, отряхиваясь от дождя и мотая головой, как старый пес, он вошел в комнату вместе с запахом мокрого твида и, снимая запотевшие очки, проскрипел что-нибудь вроде «Дики, сынок, чем порадуешь в этот промозглый вечер умирающего от жажды старика?».

*Amor vincit omnia* — наверное, всем хотелось бы верить в истинность этой избитой фразы. Но если я что и уяснил за свою недолгую грустную жизнь, так это что данный трюизм лжет. Любовь отнюдь не побеждает все. И тот, кто уверен в обратном, — глупец.

Камиллу он изводил просто по причине ее пола. В каком-то смысле она была его самой уязвимой мишенью — не по своей вине, а лишь в силу того, что в Древней Греции женщины в общем-то находились на положении низших по отношению к мужчине существ, вид которых был куда приятней

их речи. Это распространенное среди эллинов мнение укоренилось столь глубоко, что следы его заметны в самих основах языка. Лучшей иллюстрацией, на мой взгляд, может служить одна из первых выученных мной аксиом греческой грамматики: у мужчин есть друзья, у женщин — родственники, у животных — им подобные.

Банни не щадил сил, отстаивая этот принцип, — отнюдь не потому, что стремился к эллинской чистоте, просто с его низким нравом иначе и быть не могло. Женщины не нравились ему, их общество не доставляло ему удовольствия, и даже с Марион, бывшей, по собственному утверждению Банни, его *raison d'être*,<sup>[84]</sup> он обращался пренебрежительно, словно с наложницей. В отношении Камиллы он был вынужден занять несколько иную позицию и снисходительно поглядывал на нее, как старый добродушный папаша на глупенькую дочку. Остальным в группе он жаловался, что Камилла не желает знать свой шесток и только мешает серьезным занятиям. Мы находили это весьма забавным. Честно говоря, никому из нас, даже самым способным, не было суждено снискать в будущем лавры на академическом поприще: Фрэнсис был слишком ленив, Чарльз слишком рассеян, а Генри чересчур непостоянен, да и вообще пугающе своеобразен — этакий Майкрофт Холмс классической филологии. Камилла не была исключением, подобно мне втайне предпочитая легкодоступные наслаждения английской литературы рабскому труду, которого требовал греческий язык. Но то, что озабоченность чужими умственными способностями выражал бедняга Банни, было откровенно смешно.

Подозреваю, роль единственной девушки в нашей группе — по сути дела, мужском клубе — была не из легких. К счастью, Камилла и не думала самоутверждаться, подражая стереотипу мужского поведения, и избежала участи грубой и вздорной товарки. Она оставалась милой, изящной девушкой, любившей поваляться в постели с коробкой шоколадных конфет, девушкой, чьи белые шарфики беспечно развевались на ветру, а волосы пахли гиацинтами, девушкой, обаянию и проницательности которой позавидовала бы любая другая. Трепет шелка в лесу черных костюмов, она была загадочной и восхитительно женственной, и все же глубоко ошибся бы тот, кто принял бы ее за слабое, хрупкое создание. Во многих отношениях она напоминала Генри: та же невозмутимость и склонность к уединению, та же практичность и независимость, иногда — та же отстраненная надменность. На выходных в загородном доме можно было нередко обнаружить, что она ускользнула куда-нибудь в одиночку — на берег озера или в подвал, где я однажды ее и нашел: накинув на колени



пальто, она сидела в брошенных доживать там свой век саях и читала. Без нее все было бы ужасно неуравновешенно и странно. Свита из черных валетов, черный король и джокер — она была дамой, завершавшей этот расклад.

Близнецы всегда пленяли меня — и думаю, дело было в окружавшем их легком флере чего-то необъяснимого, чего-то такого, что я, казалось, вот-вот должен был уловить, однако так никогда и не смог. Чарльз, добрая и мечтательная душа, порой походил на загадку, но вот Камилла была настоящей тайной, сейфом, взломать который было мне не под силу. Я никогда не мог с уверенностью сказать, что у нее на уме, а уж Банни и подавно. Он часто задевал ее и в лучшие времена, неуклюже и без умысла, но как только все покатилося под гору, начал сознательно оскорблять и унижать, не гнушаясь самых мерзких способов. Большая часть его усилий, однако, пропадала впустую. Она оставалась глухой к издевкам над внешностью, абсолютно спокойно выслушивала его тошнотворные сальности, смеялась над попытками критиковать ее вкус или логику, игнорировала назойливые тирады, которые Банни, изображая энциклопедиста, начинал искаженными цитатами, предварительно насобирав их по крохам ценой невероятных усилий, только для того, чтобы доказать: все без исключения женщины не годятся ему и в подметки, ведь они, в отличие от него, не созданы для философии, искусства и прочих высоких материй, их незавидный удел — найти себе мужа и заниматься хозяйством.

Лишь один-единственный раз на моей памяти ему удалось задеть ее за живое. Это было на квартире у близнецов, поздно ночью. Чарльз, по счастью, уехал вместе с Генри за льдом — в тот вечер он основательно выпил, и случись ему оказаться рядом, неизвестно еще, чем бы все кончилось. Банни надрался так, что едва сидел. Почти весь вечер он оставался в сносном настроении, но вдруг ни с того ни с сего повернулся к Камилле и спросил:

— Слушай, а как это так вы живете вместе — ну, с Чарльзом то есть?

Она дернула плечом.

— Так что?

— Это удобно, — ответила Камилла. — Выгодно.

— А вот по мне это, блин, как-то очень странно.

— Мы живем вместе с детства.

— Не шибко тут, по-моему, уединишься, а? В такой-то клетушке? Тут, считай, и развернуться-то толком негде.

— Здесь две спальни.

— И вот, когда темной ночью на кого-то находит тоска...

На несколько секунд повисла тишина.

— Понятия не имею, что ты хочешь сказать, — холодно произнесла Камилла.

— Еще как имеешь. Чертовски удобно, ага. И типа, все по-античному к тому же. Эти греки развлекались со своими братьями и сестрами, как фиг знает кто... Оп-ля! — довольно воскликнул он, удержав стакан, чуть было не упавший с подлокотника кресла. — Ну, само собой, это против законов и все такое. Но вам-то что? Нарушил один, можно плевать на все остальные, верно я говорю?

Я был потрясен. Мы с Фрэнсисом уставились на него, он же тупо осушил стакан и вновь потянулся за бутылкой.

К моему несказанному удивлению, Камилла, подпустив в голос яда, выдала:

— Не стоит воображать, что я сплю со своим братом, только потому, что я никогда не стану спать с тобой.

Банни рассмеялся противным утробным смехом:

— Лапочка, да у тебя б денег не хватило затащить меня в постель. Не-е, ни за какие коврижки.

Она посмотрела на него как на пустое место. Потом встала и вышла на кухню, оставив нас с Фрэнсисом посреди гнетущего молчания — одного из самых мучительных в моей жизни.

Религиозные инсинуации, скандалы, оскорбления, вымогательство, долги — сплошь мелочи, если подумать; раздражители, казалось бы, слишком незначительные, чтобы толкнуть пятерых разумных людей на тяжкое преступление. Но, осмелюсь сказать, лишь став соучастником убийства, я понял, насколько сложным, ускользающим от понимания поступком оно может быть, насколько трудно порой его приписать единственному трагическому мотиву. Увязать его с подобным мотивом было бы довольно легко. Разумеется, он присутствовал. Однако инстинкт самосохранения вовсе не настолько силен, как принято считать. В конце концов, олицетворяемая Банни угроза не была сиюминутной — она неспешно надвигалась, тихо поспевала на слабом огоньке, и, по крайней мере в теории, можно было изыскать способы временно ее нейтрализовать или даже полностью предотвратить. Мне совсем не сложно представить, как мы стоим, в нужном месте в условленный час, и вдруг нас охватывает суматошный порыв все пересмотреть и, возможно, в последнюю минуту даровать гибельную для нас самих отсрочку. Страх за свою жизнь мог

побудить нас подвести Банни к виселице и накинуть ему на шею петлю, но, для того чтобы сделать последний шаг и выбить из-под него табуретку, требовался более сильный стимул.

Банни, сам того не подозревая, своим поведением предоставил его нам. Я бы и рад сказать, что на содеянное меня подвигла некая неодолимая, фатальная причина. Но тем самым, думаю, я бы просто соврал. Это было бы обманом, если бы я попытался убедить вас, что в тот воскресный апрельский вечер мной владело что-то подобное.

Интересный вопрос: о чем я думал, глядя, как его глаза ползут на лоб в недоверчивом испуге («Да ладно, ребят, вы ж просто прикалываетесь?») перед тем, как спустя несколько секунд закрыться навсегда? Не о том, что помогаю друзьям, конечно же нет. Не о страхе, не о чувстве вины. Я думал о мелочах. Колкости, скользкие намеки, дежурные издевки. Сотни мелких, оставшихся без ответа унижений, копившихся во мне месяцами. О них-то я и думал, ни о чем другом. Только благодаря им я смог спокойно наблюдать за тем, как на один долгий миг он завис, отчаянно балансируя, на краю обрыва (руки молотят воздух, глаза бешено вращаются в орбитах — комик из немого кино, поскользнувшийся на банановой кожуре), прежде чем рухнуть в пустоту, навстречу собственной смерти.

Генри, казалось, вынашивал план — какой, я не знал. Он часто пропадал по каким-то таинственным делам, что, конечно, случалось и раньше, но теперь я, желая уверить себя, что хоть кто-то держит ситуацию под контролем, приписывал его исчезновениям смутный обнадеживающий смысл. Нередко он отказывался открывать дверь — даже поздно вечером, когда в окнах горел свет и я точно знал, что он дома. Бывало не раз и не два, что он появлялся за ужином взлохмаченный, в мокрых туфлях и с засохшими пятнами грязи на отворотах в остальном безукоризненных черных брюках. На заднем сиденье его машины откуда ни возьмись появилась стопка книг на арабском, как мне показалось, языке с печатью библиотеки Уильямс-колледжа. Это было вдвойне интригующе: вряд ли Генри умел читать на арабском, да и выдать их ему на дом в библиотеке другого колледжа никак не могли. Украдкой открыв одну из них, я обнаружил, что из кармашка не вынута карточка и последним брал эту книгу некто Ф. Локет и было это в 1929 году.

Однако самое странное я увидел, отправившись однажды в Хэмпден в компании Джуди Пуви. Мне нужно было сдать кое-какую одежду в химчистку, и Джуди, собравшаяся в город, предложила меня подвезти. Мы управились со всеми делами (включая невероятную порцию кокаина на

парковке у «Бургеркинга») и уже на обратном пути остановились на перекрестке перед светофором. Приемник «корвета» был настроен на одну из манчестерских радиостанций, играла жуткая музыка («Линьярд Скиньярд» — «Вольная птица»), Джуди, как и полагалось девице, чей скромный ум давно атрофировался от лошадиных доз кокаина, несла какую-то чушь (что-то о своих знакомцах, занимавшихся сексом в супермаркете: «Прям посреди прохода! В отделе заморозки!»), но вдруг посмотрела в окно и хихикнула:

— Эй, это не твой там друг четырехглазый?

Я встрепенулся и подался вперед. Прямо перед нами, на другой стороне улицы, находился маленький хэд-шоп — бонги, гобелены, пузырьки «Раш»,<sup>[85]</sup> а также всевозможные травы и благовония на полках за прилавком. Единственным, кого я там когда-либо видел, был унылый, траченный молью хиппи в бабушкиных очках — хэмпденский выпускник и владелец этой убогой лавочки. Но сейчас на фоне небесных карт и единорогов я с изумлением узрел Генри. Он стоял у прилавка, сверяясь с записями на листке, который держал в руке. Хиппи начал было что-то говорить, но Генри, оборвав его на полуслове, указал на полку за его спиной. Хиппи пожал плечами и достал оттуда какую-то бутылочку. Я наблюдал, затаив дыхание.

— Он-то там чего, интересно, забыл? Привязался к этому сморчку несчастному... Дерьмовый, кстати, магазинчик. Я туда как-то раз заходила, искала маленькие весы — у них там вообще ни фиги нет, одни хрустальные шары и хрень всякая. Помнишь те зеленые пластмассовые весы, которые я... Эй, да ты ведь меня даже не слушаешь! — сердито воскликнула она, заметив, что я все еще смотрю в окно.

Хиппи нагнулся и принялся шарить под прилавком.

— Хочешь, бибикну?

— Не вздумай! — заорал я, весь на взводе от кокаина, и оттолкнул ее руку от руля.

— Блин! Не пугай меня так! — Она прижала руку к груди. — Черт! У меня сейчас мозги наружу полезут, это же просто спид какой-то, а не кокаин. Нет, точно, спидов набодяжили... Ну сейчас, сейчас, — огрызнулась она: загорелся зеленый, и стоявший позади нас грузовик начал истошно сигналить.

Украденные книги на арабском? Хэд-шоп в Хэмпден-тауне? Я не улавливал связи между действиями Генри и не мог даже себе представить, что он замышляет, однако по-детски верил в него и, подобно доктору Ватсону, с безоговорочным доверием наблюдавшему за действиями своего

прославленного друга, терпеливо ждал, когда его замысел наконец станет явным.

Что и произошло через пару дней — однако не совсем так, как я думал.

Ночью в четверг, около половины первого, ко мне постучали. Я стоял в одной пижаме, пытаюсь постричься с помощью маникюрных ножниц и карманного зеркальца. Толком у меня это никогда не выходило — получалась в лучшем случае инфантильная стрижка а-ля Артюр Рембо. Не выпуская из рук инструменты, я открыл. На пороге стоял Генри.

— О, привет! Заходи.

Осторожно переступая пыльные клочья волос, он прошел и сел за стол. Критически оценив свой профиль, я продолжил нелегкое занятие.

— Как дела? — сказал я, нацелившись ножницами на длинный завиток возле уха.

— Ты ведь какое-то время изучал медицину, если не ошибаюсь?

Это было обычной прелюдией к расспросам о проблемах со здоровьем. После года на медицинском факультете я обладал весьма скудными познаниями в этой области, однако моим друзьям (которые не знали о медицине вообще ничего и считали ее не столько наукой, сколько разновидностью симпатической магии) это вовсе не мешало постоянно консультироваться со мной по поводу разнообразных болей и колик с благоговением дикарей, пришедших на поклон к знахарю племени. Невежество страждущих простиралось от трогательного до шокирующего. Генри — полагаю, из-за богатого опыта собственных недомоганий — знал больше других, но порой и он изумлял меня совершенно серьезными вопросами о жизненных соках и разлитии желчи.

— У тебя что-то болит? — спросил я, косясь на его отражение в зеркальце.

— Мне нужна формула для расчета дозировки.

— В смысле, расчета дозировки? Дозировки чего?

— Есть ведь такое понятие? Определенная математическая формула, позволяющая вычислить нужную дозу лекарства в соответствии с ростом и весом человека, или что-то в этом роде.

— Все зависит от концентрации лекарства, — ответил я. — Здесь я тебе ничем помочь не могу. Нужно посмотреть в Настольном справочнике врача.

— Это исключено.

— Им очень просто пользоваться.

— Я имею в виду другое. Того, что мне нужно, в этом справочнике нет.

— Да ну, брось ты.

Секунду-другую было слышно только натужное щелканье моих ножниц. Наконец он сказал:

— Ты не понял. Это не то, что обычно выписывают врачи.

Я опустил ножницы:

— Боже мой, Генри. Что там у тебя? ЛСД или что?

— Допустим, — спокойно ответил он.

Положив инструменты на стол, я повернулся к нему:

— Генри, послушай меня, не стоит. Не помню, говорил я тебе или нет, но пару раз я пробовал ЛСД. В десятом классе. Лучше б я этого никогда не...

— Я понимаю, что рассчитать концентрацию подобного препарата трудно, — невозмутимо продолжил он. — Но предположим, у нас имеются некоторые данные, полученные опытным путем. Скажем, известно, что количество X определенного препарата наносит серьезный вред животному весом около тридцати килограммов, а чуть большее количество Y убивает его. Я вывел приблизительную формулу, но речь идет об очень незначительной разнице дозировок. Итак, исходя из того, что есть, как мне лучше произвести дальнейшие расчеты?

Прислонившись к комоду, я уставился на Генри, позабыв о стрижке:

— Покажи, что там у тебя.

Немного поколебавшись, он полез в карман. Когда он разжал кулак, я, не поверив глазам, наклонился поближе. На ладони лежал бледный гриб с тонкой ножкой.

— *Amanita caesaria*, — объявил он и, увидев выражение моего лица, добавил: — Вовсе не то, что ты думаешь.

— Я в курсе, что такое *Amanita*.

— Не все они ядовиты. Данный вид, например, съедобен.

— Тогда что это, галлюциноген? — спросил я, взяв гриб и поднеся его к свету.

— Нет. На самом деле кесарев гриб отличается хорошими вкусовыми качествами — римляне, кстати, очень его любили. Но сейчас его почти не собирают — из-за смертоносного двойника.

— Смертоносного двойника?

— *Amanita phalloides*, — скромно промолвил Генри. — Бледная поганка.

Мне было трудно собраться с мыслями.

— Что ты затеял? — наконец спросил я.

— А ты как думаешь?

Вскочив, я подошел к столу. Генри спрятал гриб обратно в карман и

достал сигарету.

— У тебя не найдется пепельницы? — вежливо осведомился он.

Я протянул ему банку из-под газировки. Он почти успел докурить, прежде чем я отважился высказаться:

— Генри, по-моему, это дурная затея.

Он удивленно поднял бровь:

— Да? Отчего же?

«Отчего же? Он еще спрашивает...»

— Оттого, что... что следы яда можно запросто обнаружить, — выпалил я. — Любого яда, понимаешь? По-твоему, если Банни ни с того ни с сего отдаст концы средь бела дня, все подумают, что так и надо? Да любой, даже самый тупой патологоанатом...

— Знаю, — терпеливо произнес Генри. — Именно поэтому я и спрашиваю тебя о дозировке.

— При чем тут это? Даже крошечная доза может...

— ...вызвать сильнейшее отравление, — перебил Генри и закурил новую сигарету. — Но отнюдь не обязательно со смертельным исходом.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, — ответил он, поправляя очки, — что существует множество первоклассных ядов и в плане вирулентности эти грибы не выдерживают никакого сравнения с большинством из них. В лесу скоро будет полным-полно наперстянки и аконита. Из обычной липучки для мух я мог бы добыть сколько угодно мышьяка. Или даже взять травы, которые в здешних местах не растут, — силы небесные, Борджиа просто рыдали бы, случись им оказаться в магазине здоровой пищи, который я обнаружил в Браттлборо на прошлой неделе. Чемерица, мандрагора, масло полыни. Кажется, люди готовы покупать абсолютно все, если убедить их в том, что это натуральный продукт. Например, полынное масло, которое продавалось в качестве экологически чистого средства от насекомых, — можно подумать, оно безопаснее, чем химия из супермаркета. Одной-единственной бутылки хватило бы, чтобы отправить на тот свет целую армию. — Он снова поправил очки. — Проблема с этими превосходными веществами, как ты верно заметил, в одном — способе подачи. Конечно, фаллотоксины — грязное дело. Рвота, желтуха, судороги. Совсем не то что милосердные изобретения итальянцев, такие быстрые и безболезненные. Но, с другой стороны, что еще можно столь же легко преподнести жертве? Я, как ты знаешь, не ботаник. Даже миколог не сразу отличит бледную поганку от кесарева гриба. Студенты принесли из леса грибы... в общую массу затесалось несколько ядовитых... один из друзей ужасно занемог, а

другой...

Он пожал плечами.

Наши взгляды скрестились.

— Ты точно знаешь, что тебе самому не достанется слишком много? — спросил я.

— Нет, едва ли я могу знать это точно. Угроза моей собственной жизни должна быть правдоподобной, поэтому, как видишь, мне придется иметь дело с ювелирно рассчитанной разницей в дозировке. И все же вероятность успеха очень высока. Мне нужно лишь позаботиться о себе. Все остальное пойдет своим ходом.

Я понимал, что он имеет в виду. План обладал несколькими серьезными недостатками, но был великолепен по сути: что можно было предугадать почти с математической точностью, так это то, что независимо от предложенного блюда Банни так или иначе умудрится съесть вдвое больше остальных.

Сквозь завесу табачного дыма лицо Генри казалось бледным и безмятежным. Он вновь извлек из кармана гриб.

— Так вот, одна шляпка *A. phalloides* примерно такого размера способна вызвать сильное отравление у здоровой собаки весом около тридцати килограммов. Рвота, понос... Судорог, правда, я не заметил. Не думаю, чтобы там дошло до печеночной недостаточности, но об этом пусть судят ветеринары. Очевидно...

— Генри, откуда такие сведения?

Немного помолчав, он поинтересовался светским тоном:

— Помнишь тех двух отвратительных боксеров — у пары из квартиры этажом выше?

Это было ужасно, но я не мог удержаться от смеха:

— Нет, только не это...

— Боюсь, именно оно, — сухо сказал он, сминая окурок о жестянку. — К несчастью, один из них вполне оправился. Зато другой уже не будет таскать мусор мне на крыльцо. Он издох через двадцать часов, а доза была лишь чуть больше — примерно на один грамм. Исходя из этого, мне кажется, я смогу определить, сколько вещества должно прийти на каждого из нас. Правда, меня беспокоит то, что разные экземпляры могут отличаться по концентрации яда. Ведь это не тот случай, когда все точно как в аптеке. Возможно, я ошибаюсь — уверен, ты гораздо лучше разбираешься в таких материях, — но, по-моему, гриб весом два грамма вполне может оказаться так же ядовит, как и тот, что весит три. Отсюда моя дилемма.



Он достал из нагрудного кармана листок, исписанный цифрами.

— Мне совершенно не хочется втягивать тебя в это, но на мои собственные вычисления большой надежды нет, а все остальные и вовсе ничего не смыслят в математике. Взгляни, пожалуйста.

«Рвота, желтуха, судороги...» Я механически взял листок. Он пестрел алгебраическими уравнениями, но об алгебре мне сейчас думалось меньше всего. Я покачал головой и уже было протянул его обратно, но взглянул на Генри, и моя рука застыла. Я понял, что могу поставить на этой затее крест — прямо сейчас. Ему действительно требовалась помощь, иначе бы он не пришел ко мне. Умолять его побереечь себя бесполезно, но не исключено, что, притворившись, будто говорю со знанием дела, я смогу разубедить его.

Я сел за стол и с карандашом в руке принялся продирается сквозь хитросплетения цифр. Уравнения концентрации никогда не были моим коньком в химии. Решать их довольно трудно, даже если требуется узнать концентрацию вещества, растворенного в известном объеме дистиллированной воды, а определить ее в телах неправильной формы было практически невозможно. Должно быть, Генри пришлось привлечь все свои познания в начальной алгебре, и, насколько я мог судить, он проделал неплохую работу, но если с этой задачей и можно было справиться, то явно не с помощью одной только алгебры. Человек, хорошо разбирающийся в высшей математике, возможно, смог бы добиться более-менее убедительного результата. Я же позабыл и то небольшое, что некогда знал, и, хотя мне удалось кое-где подправить расчеты, получившийся ответ был, скорее всего, крайне далек от истины.

Я отложил карандаш и расправил плечи. На все про все у меня ушло примерно полчаса. Тем временем Генри взял с полки «Чистилище» и стал читать, уйдя в книгу с головой.

— Послушай, Генри...

Он поднял на меня отсутствующий взгляд.

— Вряд ли из этого выйдет толк.

Он закрыл книгу, заложив пальцем страницу:

— Я знаю, что допустил ошибку во второй части. Там, где начинается разложение на многочлены.

— Все в целом — достойная попытка, но, даже не вдаваясь в подробности, могу сказать, что без химических таблиц, практических навыков высшей математики плюс основательного знания химии здесь не обойтись. Иначе это не вычислить. Химическая концентрация, она даже не в граммах с миллиграммами измеряется, там другое — моли.

— Так ты можешь решить эту задачу?

— Боюсь, что нет, хотя я сделал все, что мог. В любом случае я не смогу дать тебе точный ответ. Профессору математики и тому пришлось бы здесь попотеть.

— Хм-м... Вообще-то я тяжелее Банни, — сказал Генри, глядя на листок поверх моего плеча. — Килограммов на десять. Это ведь должно сыграть мне на руку, так?

— В принципе — да, но при такой огромной погрешности в расчетах полагаться на эту разницу не приходится. Было бы килограммов двадцать, тогда еще...

— Яд начинает действовать спустя как минимум десять-двенадцать часов, — не сдавался он. — Так что даже в случае передозировки у меня будет некоторое преимущество, запас времени. Имея противоядие...

— Противоядие? — ошарашенно переспросил я, откинувшись на спинку стула. — Такое вообще есть?

— Атропин. Содержится в белладонне.

— Господи, Генри, ты себя точно прикончишь — не одним, так другим.

— В небольших дозах атропин вполне безопасен.

— То же самое говорят о мышьяке, но я бы не стал это проверять.

— Их действие прямо противоположно. Атропин возбуждает нервную систему, учащает сердцебиение и так далее. Фаллотоксины, напротив, ее подавляют.

— Все равно звучит как-то сомнительно — один яд противодействует другому.

— Вовсе нет. Персы были виртуозными отравителями, и по их свидетельствам...

Я вспомнил о книгах в машине у Генри.

— Персы?

— Да. Согласно знаменитому...

— Вот уж не знал, что ты умеешь читать на арабском.

— Я не умею, во всяком случае не очень хорошо, но они были профессионалами в этом деле, а нужные мне трактаты никто никогда не переводил. Я читал как мог, со словарем.

Я снова подумал о тех мельком виденных книгах: пропитавшиеся пылью страницы, разваливающиеся от времени переплеты.

— Когда это все было написано?

— Примерно в середине пятнадцатого века.

Я припечатал карандаш к столу.

— Генри, вообще-то...

— Что?

— Ну... ты мог бы придумать что-нибудь и получше. Нельзя же безоговорочно доверять каким-то допотопным рецептам.

— Никто не умел применять яды лучше персов. Это настоящие справочники, практические руководства, если угодно. Я не знаю ничего столь же точного и исчерпывающего.

— Но отравить — это одно, а вылечить — совсем другое.

— Люди пользовались этими книгами на протяжении веков. Достоверность изложенных там сведений не подлежит сомнению.

— Знаешь, я в общем-то тоже уважаю древние знания, но не стал бы рисковать жизнью, полагаясь на какое-то средневековое снадобье.

— Что ж, я могу проверить эти сведения где-нибудь еще...

Фраза прозвучала без должной убедительности.

— Нет, правда, Генри, это слишком серьезно, чтобы...

— Спасибо, ты оказал мне большую услугу, — произнес он с беспощадной учтивостью и снова открыл «Чистилище». — Должен заметить, это не очень хороший перевод, — заметил он, небрежно листая страницы. — Если не знаешь итальянский, лучше взять перевод Синглтона — вполне дословно, хотя, конечно, никаких терцин там не увидишь. Для этого нужно читать оригинал. В величайшей поэзии музыка проступает, даже если ты не знаком с языком. Я страстно любил Данте, еще когда не знал ни слова по-итальянски.

— Генри, — произнес я низким, предостерегающим тоном.

Он с досадой взглянул на меня:

— Послушай, что бы я ни предпринял, это так или иначе будет сопряжено с опасностью.

— И с идиотизмом, если ты погибнешь.

— Чем больше я слышу о круизе на баржах, тем менее страшной мне кажется смерть. Ты мне весьма помог. Спокойной ночи.

На следующий день, около полудня, ко мне заглянул Чарльз. «Ох и душно же здесь у тебя», — воскликнул он и, скинув пальто, бросил его на спинку стула. Волосы у него промокли, лицо пылало, на кончике красиво вылепленного носа дрожала капля воды. Он улыбнулся и смахнул ее.

— Главное, не вздумай выходить на улицу, — сказал он. — Погода ужасная. Кстати, не видел Фрэнсиса?

Я пробежал пятерней по волосам. Была пятница, на французский я не пошел и все утро провел, слоняясь по комнате, в отупении после бессонной

ночи.

— Генри заходил вчера ночью, в первом часу.

— Правда? Что говорил? Да, чуть не забыл...

Он дотянулся до кармана пальто и достал что-то завернутое в салфетки.

— Я тут сэндвич тебе принес, раз ты не ходил на обед. Камилла сказала, что тетка на раздаче видела, как я его украл, и поставила против моей фамилии черную галочку.

Даже не глядя, я знал, с чем сэндвич: мармелад и плавленый сыр. Близнецы с ума сходили по этой начинке, я же был к ней равнодушен. Развернув уголок, я надкусил сэндвич и положил его на стол.

— Ты в последнее время разговаривал с Генри? — спросил я.

— Да, только сегодня утром. Он отвозил меня в банк.

Поразмыслив, я снова приложился к сэндвичу. Подмести я так и не удосужился, и обрезки волос по-прежнему валялись на полу.

— Он случайно ничего не говорил о...

— О чем?

— О том, чтобы пригласить Банни на ужин — через недельку-другую?

— А, это... — протянул Чарльз, раскинувшись на кровати и поудобнее устраивая голову на подушках. — Мне казалось, ты давно знаешь. Он уже не первый день об этом думает.

— А что об этом думаешь ты?

— Думаю, ему чертовски повезет, если он найдет достаточно грибов, чтобы Банни хотя бы затошнило. Просто еще рано. На прошлой неделе он чуть не силком вытащил нас с Фрэнсисом в лес, но мы ничего не нашли. Фрэнсис под конец прибежал, весь сияющий — «А! Только посмотрите, сколько их у меня тут!» — но это оказались дождевики.

— Так, по-твоему, найдет или нет?

— Конечно, найдет. Если подождет немного. Слушай, сигарет у тебя, разумеется, нет?

— Нет.

— Жаль, что ты не куришь. Даже странно. Ты ведь, надеюсь, не занимался спортом в школе?

— Нет.

— Бан не курит именно поэтому — в нежном возрасте ему промыл мозги какой-то футбольный тренер, убежденный сторонник здорового образа жизни.

— Бан в последнее время к вам часто заглядывает?

— Не особо. Вчера вот только зашел под вечер — и сидел до

последнего, еле выпроводили.

— Слушай, это ведь не просто сотрясение воздуха? Вы действительно хотите довести дело до конца?

— Я скорее отправлюсь за решетку, чем смирюсь с мыслью, что Банни будет сидеть у меня на шее всю оставшуюся жизнь. А если подумать, то и за решетку мне совсем неохота.

Он сел на край кровати и согнулся, словно от резкой боли в животе.

— Эх, а все-таки жаль, что у тебя нет сигарет. Как зовут ту ужасную девицу, твою соседку по этажу, — Джуди?

— Да.

— Может, сходишь к ней и попросишь пачку, а? У таких, как она, сигареты должны валяться блоками.

Надвигалось потепление. Грязный снег был испещрен рытвинами и таял, обнажая островки скользкой пожелтевшей травы. С крыш с треском срывались и стремительно, словно брошенные кинжалы, летели наземь сосульки.

— Мы могли бы сейчас быть в Южной Америке, — задумчиво сказала Камилла, когда однажды вечером мы сидели у меня в комнате и, слушая перезвон капли за окном, пили бурбон из чашек. — Забавно, правда?

— Да, — отозвался я, хотя меня туда в свое время никто не приглашал.

— Тогда мне не понравилась эта идея. А теперь я думаю, у нас бы все получилось.

— Сильно сомневаюсь.

Она подперла щеку кулаком.

— Да нет, это было бы неплохо. Представь, мы спали бы в гамаках. Учили бы испанский. Жили бы в маленьком домике с цыплятами во дворе.

— Подцепили бы какую-нибудь болезнь. Угодили бы под пулю, — продолжил я.

— Есть вещи и похуже, — сказала она, послав мне косой взгляд, пронзивший меня до костей.

Стекла задрожали под порывом ветра.

— В любом случае я рад, что ты осталась.

Она промолчала и только пригубила бурбон, не отрывая глаз от темноты за окном.

Шла первая неделя апреля, и все мы переживали нелегкое время. Банни, до недавних пор пребывавший в сравнительно спокойном состоянии, впал в буйство, после того как Генри отказался свозить его в

Вашингтон на проходившую в Смитсоновском комплексе выставку бипланов Первой мировой войны. Близнецам по два раза на дню звонил из банка какой-то зловещий тип по имени Б. Перри, а Генри получал аналогичные звонки от не менее зловещего Д. Вэйда. Мать Фрэнсиса провела о его попытке изъять часть капитала фонда и теперь забрасывала его письмами.

— Боже правый, — пробормотал Фрэнсис, распечатав очередное послание и пробежав его с гримасой отвращения.

— Что пишет?

— «Лапушка. Мы с Крисом так за тебя волнуемся, — начал читать Фрэнсис убийственно серьезным голосом. — Я конечно не слишком хорошо разбираюсь в проблемах молодежи и может быть ты проходишь через что-то такое, что я уже слишком стара понять, но я всегда надеялась, что ты сможешь поделиться своими проблемами с Крисом».

— По-моему, у него самого проблем куда больше, чем у тебя, — заметил я. Персонаж, которого Крис играл в «Молодых врачах», спал с женой своего брата и был замешан в организованном похищении новорожденных младенцев.

— Да уж, не сомневаюсь. Коль скоро он женат на моей матери в свои двадцать шесть.

— «Поверь, мне ужасно не хочется поднимать эту тему, — продолжил он чтение, — и я бы даже не заикнулась о ней если бы Крис не настоял но, милый мой, ты ведь знаешь как он тебя любит и еще понимаешь он сказал что уже много раз сталкивался с такими вещами в шоу-бизнесе. Поэтому я позвонила в Центр Бетти Форд и солнышко знаешь, что мне сказали? У них есть чудесная уютная комнатка, зайчик, как раз для тебя...» Нет, дай мне дочитать, — прервал он мой смех.

— «Я понимаю, тебе эта затея не понравится но, лапушка, здесь совсем нечего стыдиться, это Болезнь, вот что они мне сказали когда я туда пошла и мне так полегчало ты просто не представляешь. Я конечно не знаю что именно ты принимаешь но послушай, золотко, давай посмотрим практично, это ведь все равно должно быть не дешево правда и скажу тебе начистоту, мы просто не можем позволить себе такие расходы, сам знаешь в каком состоянии дедушка и еще эти налоги на дом...»

— Да, придется ехать, — сочувственно произнес я.

— Издеваешься? Это же в Палм-Спрингс или где-то рядом, там людей запирают в четырех стенах и заставляют заниматься аэробикой. Моей матери надо поменьше смотреть телевизор, — подытожил он, бросив еще один критический взгляд на письмо.

Зазвонил телефон.

— Черт побери, — устало выругался Фрэнсис.

— Не поднимай.

— Тогда она начнет звонить в полицию, — обреченно сказал он и, сняв трубку, прижал ее к уху плечом.

Пока Фрэнсис лихорадочно расхаживал туда-сюда («Странный? Что значит, у меня какой-то странный голос?»), я счел за лучшее удалиться и отправился на почту, где, открыв ящик, с удивлением обнаружил элегантную записку от Джулиана, в которой содержалось приглашение на обед.

Иногда, по особым случаям, Джулиан приглашал нас отобедать с ним. Он был великолепным поваром, а кроме того, с молодых лет, когда он, пожиная плоды семейного капитала, жил в Европе, за ним тянулась слава великолепного устроителя приемов. Собственно говоря, этому обстоятельству он и был обязан большей частью своих знакомств с выдающимися людьми того времени. Осберт Ситвелл упоминает в своем дневнике «восхитительные миниатюрные fêtes»<sup>[86]</sup> Джулиана Морроу. Подобные отзывы встречаются в письмах самых разных особ — от Чарльза Лафтона<sup>[87]</sup> до герцогини Виндзорской<sup>[88]</sup> и Гертруды Стайн. Сирил Конноли — гость, известный своей крайней привередливостью, — однажды заметил Гарольду Актону,<sup>[89]</sup> что Джулиан — самый любезный американец из всех, которых ему доводилось встречать (двусмысленный комплимент, надо признать), а Сара Мерфи,<sup>[90]</sup> чьи приемы никто не смог бы упрекнуть в недостатке изысканности и размаха, как-то написала Джулиану, умоляя прислать ей его рецепт sole véronique.<sup>[91]</sup> Мне было известно, что Генри нередко обедал с Джулианом вдвоем, я же удостоился подобной чести впервые и был весьма польщен, но вместе с тем ощутил какую-то смутную тревогу. В то время все выходившее за рамки обычного казалось мне исполненным скрытой угрозы, и, испытывая удовольствие, я тем не менее не мог отделаться от мысли, что Джулианом двигало нечто совсем иное, нежели бесхитростное желание насладиться моим скромным обществом. Дома я еще раз внимательно изучил записку. Невесомый, витиеватый стиль несколько не развеял моих подозрений, что здесь кроется что-то еще. Я позвонил на коммутатор и оставил для Джулиана сообщение, что прибуду завтра, в час дня.

— Джулиан ведь ничего не знает о том, что случилось? — спросил я у Генри, найдя в тот же день возможность поговорить с ним наедине.

— Что? Ах да, — сказал Генри, оторвавшись от книги. — Разумеется,

знает.

— Он знает, что вы убили того фермера?!

— Вовсе не обязательно так кричать, — осадил меня Генри, резко повернувшись в кресле, и уже более спокойным тоном продолжил: — Он знал, к чему мы стремились. И полностью это одобрял. На следующий день мы приехали к нему домой. Рассказали о том, что произошло. Он был в восторге.

— Вы рассказали ему все, до конца?

— Не было ни малейшей причины его расстраивать, если я правильно понял твой вопрос, — произнес он и, поправив очки, вновь погрузился в книгу.

Как и следовало ожидать, Джулиан приготовил обед сам и сервировал большой круглый стол у себя в кабинете. После нескольких недель скверного расположения духа, скверных разговоров и скверной столовской пищи перспектива разделить с ним трапезу неимоверно ободряла — он был обворожительным собеседником, а приготовленные им блюда, несмотря на кажущуюся простоту, отличались изысканностью и полновесным вкусом и неизменно оказывали на гостя самое благотворное воздействие.

На столе было баранье жаркое, молодая картошка, горошек с луком-пореем и укропом, а также бутылка роскошного и безумно ароматного «шато-латур». Я поглощал все это с невероятным аппетитом и вдруг заметил, что возле моего локтя с ненавязчивым волшебством возникло четвертое блюдо — грибы. Мои старые бледные знакомые с тонкими ножками дымились в красном винном соусе, пахнущем рутой и кориандром.

— Откуда они у вас?

— О, а ты весьма наблюдателен, — сказал он, польщенный. — Чудесные, правда? И весьма редкие. Мне принес их Генри.

Я поспешно отхлебнул вина, чтобы скрыть ужас.

— Он утверждает... Ты позволишь? — кивком указал он на сотейник.

Я передал его, и он зачерпнул немного грибов и положил их себе на тарелку.

— Спасибо. О чем я говорил? Ах да. Генри утверждает, что именно эти грибы были излюбленным лакомством императора Клавдия. Интересно, если учесть обстоятельства его смерти — ты конечно же помнишь?

Я помнил. По приказу Агриппины в его любимое грибное блюдо подмешали яд.

— Хороши — не то слово, — промолвил Джулиан, откусив кусочек. —



Тебе случалось сопровождать Генри в его экспедициях по сбору этих красавцев?

— Пока нет. Он как-то не приглашал.

— Должен сказать, мне никогда особенно не нравились грибы, но все, что он приносил мне, оказывалось божественным.

Вдруг до меня дошло. Это был отлично продуманный предварительный этап плана Генри.

— Значит, это не в первый раз?

— Да. Разумеется, я не стал бы доверять кому придется, но он, кажется, знает о них удивительно много.

— Думаю, вы правы, — отозвался я, вспомнив о том несчастном боксере.

— Поразительно, насколько хорошо у него получается все, за что бы он ни взялся. Он выращивает цветы, чинит часы, как настоящий часовщик, складывает в уме огромные числа. Даже если речь идет о чем-нибудь совсем простом, вроде повязки на порезанный палец, ему все равно удается сделать это лучше других. — Он вновь наполнил свой бокал. — Подозреваю, что родители Генри расстроены его решением целиком посвятить себя изучению античности. Конечно, я не могу с ними согласиться, и все же в определенном смысле это действительно достойно сожаления. Ведь он мог бы стать великим врачом, военным или физиком.

— Или великим шпионом, — рассмеялся я.

Джулиан рассмеялся в ответ:

— Каждый из вас мог бы стать отличным шпионом. Подслушивать разговоры высших чинов, непринужденно скользя меж столиков казино... Кстати, настоятельно рекомендую попробовать грибы — они изумительны.

Я допил вино.

— Пожалуй, не откажусь, — сказал я и аккуратно взял сотейник.

Покончив с едой, мы убрали посуду и сидели, болтая о всякой всячине, как вдруг Джулиан спросил, не замечал ли я в последнее время чего-нибудь необычного в поведении Банни.

— Да нет, в общем ничего такого, — ответил я и с великим вниманием стал разглядывать свою чашку с чаем.

Он удивленно поднял бровь:

— Правда? Мне кажется, он ведет себя очень странно. Только вчера мы с Генри беседовали о том, каким он стал бесцеремонным и несговорчивым.

— По-моему, он просто не в настроении.

Он покачал головой:

— Не знаю, не знаю. Эдмунд такой простодушный. Я никогда бы не подумал, что ему удастся удивить меня, речью ли, поступком, но недавно у нас с ним состоялся весьма неординарный разговор.

— Неординарный? — осторожно переспросил я.

— Возможно, он всего лишь прочитал нечто такое, что его встревожило. Однако я переживаю за него.

— Да? Почему?

— Честно говоря, я опасаясь, что он близок к некоему пагубному религиозному обращению.

Я остолбенел:

— Правда?

— Я уже сталкивался с подобным. Во всяком случае, мне не приходит на ум другой причины столь внезапного интереса к этике. Не хочу сказать, что Эдмунд безнравственен, но я практически не встречал молодых людей, которых вопросы морали занимали бы в равно ничтожной степени. Поэтому я очень удивился, когда он со всей серьезностью начал спрашивать меня о таких туманных понятиях, как грех и прощение. Полагаю, он подумывает о том, чтобы стать прихожанином какой-нибудь церкви. Может быть, здесь замешана та девушка, как ты считаешь?

Он имел в виду Марион. Ее влиянию Джулиан обычно приписывал все недостатки Банни — лень, раздражительность, проявления безвкусицы.

— Возможно.

— Она католичка?

— По-моему, пресвитерианка.

Джулиан питал вежливое, но беспощадное презрение к иудейско-христианской традиции во всех ее формах и, полагаю, как и Плиний, на которого он походил во многих отношениях, втайне считал ее культом убогим и раздутым до нелепых размеров. Он всегда отрицал это в ответ на прямой вопрос, уклончиво ссылаясь на свою любовь к Данте и Джотто, но все откровенно религиозное откликалось в нем тревогой закоренелого язычника.

— Пресвитерианка? Неужели? — воскликнул он, словно не веря своим ушам.

— Кажется, да.

— Вот так-так... Что бы ни говорили о Римской церкви, это достойный и сильный противник. Обращение в католицизм я смог бы принять по крайней мере с уважением. Но я буду безмерно разочарован, если его уведут у нас пресвитериане.

В начале апреля погода неожиданно переменилась — настали не по сезону теплые, подкупающе щедрые деньки. Небо было ясным, в мягком, обволакивающем воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, солнце струило лучи на грязную землю со сладостным рвением, присущим июню. Деревца на опушке леса покрылись первым желтоватым налетом молодой листвы, в рощах раздавался хохот и перестук дятлов, и, лежа в постели у раскрытого окна, я слушал стремительный шорох талого снега, всю ночь не смолкавший в сточных канавах.

По прошествии недели все принялись опасливо гадать, как долго эта погода продержится. Оправдывая лучшие предположения, она держалась — спокойно и уверенно. На клумбах цвели нарциссы и гиацинты, на лугах — фиалки и барвинки, над живыми изгородями пьяно порхали еще не просохшие белые бабочки. Я убрал пальто и теплые ботинки и расхаживал в одной рубашке, едва не приплясывая от радости.

«Скоро все это кончится», — высказал свой прогноз Генри.

Шла третья неделя апреля — газоны зеленели, как райские поляны, и яблони цвели безудержно и безоглядно. Был вечер пятницы, я читал у себя в комнате, окно было открыто, и влажный, прохладный ветерок шелестел бумагами на столе. На противоположном конце лужайки устроили вечеринку, из темноты до меня доносились смех и музыка. Давно перевалило за полночь, и я уже клевал носом над книгой, но вдруг сквозь дрему услышал, как снаружи кто-то на все лады выкрикивает мое имя.

Я встрепенулся, и в этот миг на пол передо мной со стуком упала туфля Банни. Я вскочил и высунулся в окно. Неподалеку внизу виднелась лохматая покачивающаяся фигура, цеплявшаяся в поисках опоры за хлипкий саженец.

— Какого черта?

Он только слабо махнул рукой, изобразив подобие приветствия, и, потеряв равновесие, вылетел в темноту. Хлопнула дверь черного входа, и минуту спустя моя дверь затряслась под его кулаками. Я открыл.

Он ввалился в одной туфле, оставляя за собой макабрическую цепочку разнокалиберных грязных следов. Очки съехали набок, от него немилосердно разило спиртным. «Дики, дружище», — проговорил он заплетающимся языком.

Казалось, призывные вопли лишили его последних сил, а заодно и всякой способности к общению. Он стащил грязный носок и неуклюже отшвырнул его в сторону. Тот приземлился на мою кровать.

Мало-помалу мне удалось вытянуть из него события минувшего вечера. Близнецы пригласили его на ужин, а потом в бар.

После этого, уже сам по себе, он отправился на ту самую вечеринку напротив, где какой-то голландец пытался его накурить, а одна первокурсница угощала текилой из термоса. («Симпатичная такая девчонка. Правда, блин, хиппушка. На ней были эти... сабо — знаешь, такие деревянные штуки на ноги? И еще футболка крашеная с цветными кругами. Терпеть их не могу. Я ей говорю: „Солнышко, ты ж такая милашка, как тебе в голову взбрело нацепить на себя это барахло?“») Внезапно он прервал рассказ и, пошатываясь, быстро поковылял в коридор, оставив дверь нараспашку, вслед за чем раздались громopodobные звуки богатырской рвоты.

Его не было довольно долго. Когда он вернулся, от него несло блевотиной, а на побелевшем лице блестели капли пота, однако, казалось, он немного пришел в себя.

— Уф, — выдохнул он, мешком свалившись в кресло и промокая лоб красной банданой. — Кажись, съел че-то не то.

— Ты успел добраться до туалета? — нерешительно спросил я — реактивные звуки раздавались подозрительно близко.

— Не, — ответил он, тяжело дыша. — Забежал в чулан уборщицы. Налей-ка мне воды, а?

Выйдя в коридор, я обнаружил, что дверь чуланчика приоткрыта, и, краем глаза заметив в его черных глубинах смердящую лужу, поспешил свернуть на кухню.

Когда я вошел в комнату, Банни посмотрел на меня каким-то рыбьим взглядом. Выражение его лица совершенно изменилось, и что-то в нем меня насторожило. Я протянул ему стакан, половину которого он тут же выпил одним большим, жадным глотком.

— Не так быстро, — предостерег я.

Банни пропустил это мимо ушей и, прикончив остаток в один присест, дрожащей рукой поставил стакан на стол. На лбу у него выступили бусины пота.

— Ох, боже мой, — запричитал он. — Господи ты ж боже мой...

Предчувствуя недоброе, я сел на кровать, стараясь подыскать какую-нибудь отвлеченную тему, но не успел собраться с мыслями, как он вновь заговорил.

— Больше не могу это терпеть, — пробормотал он. — Просто не могу. Всеблагий японский бог.

Я промолчал.

Он вытер лоб непослушной рукой.

— Ты небось думаешь, что за фигню я тут несу, да? — спросил он с издевкой.

Не зная, куда деваться, я поменял местами скрещенные ноги. Я предвидел этот момент и уже давно ждал его и страшился. Мне вдруг захотелось ринуться вон из комнаты, бросив Банни одного, но тут он уронил лицо в ладони.

— Все правда, — пробубнил он. — Сплошная правда, ей-богу. Только я один и знаю.

Я поймал себя на том, что, как последний идиот, все еще надеюсь, что это ложная тревога. Может быть, он окончательно поругался с Марион. Может быть, у его отца случился инфаркт. Я сидел, не в силах пошевелиться.

Медленно, словно бы вытирая лицо, он опустил руки, и я увидел его глаза — налитые кровью, болезненно блестящие.

— Тебе такое даже не снилось, ни фигя-то тебе... дружок... не снилось.

Я больше не мог это выносить и встал, растерянно оглядывая комнату:

— Э-э, может быть, дать тебе аспирина? Все хотел предложить, но... Если выпить пару таблеток, то утром...

— Думаешь, я спятил, да? — перебил меня Банни.

Почему-то я знал, что все будет именно так — пьяный Банни и я, один на один, в два часа ночи.

— Нет, что ты. Просто тебе нужно немного...

— Думаешь, я псих? Крыша поехала, ага? Никто меня не слушает! — выкрикнул он.

Я уже был на взводе:

— Успокойся, я тебя слушаю.

— Ну, тогда я тебе щас кое-что расскажу...

Когда он умолк, на часах было три. Рассказ его был скомканным и пьяным, бессвязным, с обилием замысловатой брани и заверениями в собственной невиновности, но я без труда смог понять, о чем речь. Однажды я уже слышал эту историю. Какое-то время мы сидели, не произнося ни слова. Свет настольной лампы бил мне прямо в глаза. Вечеринка все не утихала, и вдалеке приглушенно пульсировал омерзительный, навязчивый рэп.

Дыхание Банни стало громким и астматическим. Он уронил голову на грудь, но сразу же очнулся.

— А? Что? — выпалил он в замешательстве, словно бы кто-то подошел к нему сзади и гаркнул в ухо. — А, ну да...

Я молчал.

— Как тебе вообще это все?

Ответить я был не в состоянии. Чуть раньше у меня меня мелькнула унылая надежда, что, отключившись на несколько секунд, он все забудет.

— Жуткая вещь. Неопровержимо, но факт. Погоди-ка, что-то не то. Как там на самом деле?

— Невероятно, но факт, — механически ответил я.

К счастью, мне не потребовалось изображать перед Банни потрясение. Мне и так было тошно, хуже некуда.

— Вот то-то и оно, — с трудом разлепляя губы, назидательно изрек он. — А это ведь мог быть твой сосед. Да вообще кто угодно. Фиг тут что угадаешь.

Я закрыл лицо руками.

— Рассказывай кому хочешь, — пробормотал Банни. — Хоть сраному мэру. Мне наплевать. Пускай их посадят прямо в этот загон напротив почты... ну, который у них рядом с судом. Думает, он весь из себя такой умный... Генри ваш. Это мы просто здесь, в Вермонте, а так бы ему ох как пришлось попрыгать. У моего отца один старый кореш — комиссар полиции в Хартфорде. Если он об этом узнает — бли-ин... Они с ним вместе в школу ходили. В десятом классе даже с его дочкой встречался...

Голова его начала падать, но он моментально встряхнулся.

— Ох, господи! — вскрикнул он, едва не свалившись со стула.

Я уставился на него.

— Слушай... дай-ка мне, что ли, вон ту туфлю.

Я протянул ему туфлю вместе с носком. Он озадаченно посмотрел на них и засунул в карман куртки.

— Ну, это... Держи хвост пистолетом, — сказал он и исчез, оставив дверь открытой. Еще какое-то время были слышны причудливые звуки хромоногого нисхождения по лестнице.

Казалось, окружающие предметы набухают и сжимаются в такт моему сердцу. В ужасающем оцепенении я опустился на кровать и, облокотившись о подоконник, попытался привести себя в чувство. От противоположного корпуса по-прежнему разносился скотский рэп, на крыше были видны две сторбленные фигуры — занимались они тем, что швыряли пустыми пивными банками в кучку неприкаянных хиппи, которые собрались вокруг разведенного в урне костра и пытались раскуриться. Очередная банка пролетела мимо, следующая, звякнув, отскочила от чьей-то патлатой

головы. Смех, возмущенные крики.

Я смотрел на искры, разлетающиеся от помойного костра, и вдруг мой мозг пропахала мысль: «Почему это вдруг Банни пришел ко мне? Не к Клоуку и даже не к Марион?» Ответ предстал с такой ослепительной ясностью, что я обомлел: просто моя комната была ближе всех. Марион жила в Роксбурге, на другом конце кампуса, а комната Клоука располагалась в дальнем крыле Дурбинсталя. Обе дороги представляли серьезное испытание для пьяного тела на шатких ногах. Монмут же стоял всего в каких-нибудь десяти метрах, и мое освещенное окно, должно быть, забрезжило на пути Банни путеводной звездой.

Наверное, хорошо было бы сказать, что в те минуты я разрывался на части, ломая голову над моральной подоплекой доступных мне вариантов действия. Однако, если мне не изменяет память, ничего подобного я не испытывал. Я просто обулся и спустился вниз, чтобы позвонить Генри.

Таксофон висел у черного входа и был, как мне казалось, чересчур открыт для посторонних взглядов. Шлепая по росистой траве, я дошел до лабораторного корпуса и отыскал самую неприметную телефонную кабинку на последнем этаже.

Аппарат на том конце провода прозвонил, наверное, раз сто. Все впустую. Со злостью утопив рычаг, я набрал номер близнецов. Восемь гудков, девять, наконец, к моему облегчению, сонное «алло» Чарльза.

— Привет, это я, — буркнул я в трубку. — Тут кое-что случилось.

— В чем дело? — спросил он, сразу насторожившись. Было слышно, как он сел в постели.

— Он рассказал мне. Только что.

На том конце возникла долгая пауза.

— Алло?

— Позвони Генри, — вдруг сказал Чарльз. — Положи трубку и позвони ему прямо сейчас.

— Я уже пробовал. Он не отвечает.

Чарльз тихо выругался.

— Дай подумать... Вот черт! Можешь зайти к нам?

— Конечно. Сейчас?

— Я сбегая к Генри и попытаюсь вытащить его. Пока ты доберешься, мы успеем вернуться. Хорошо?

— Ладно, — ответил я, но Чарльз уже бросил трубку.

Когда минут двадцать спустя я подходил к дому близнецов, мне навстречу показался Чарльз, в одиночку возвращавшийся от Генри.

— Безрезультатно?

— Как видишь, — ответил он, тяжело дыша. Волосы у него торчали во все стороны, плащ был накинут прямо поверх пижамы.

— Что будем делать?

— Не знаю. Пойдем к нам. Что-нибудь придумаем.

Едва мы повесили одежду, как в комнате Камиллы зажегся свет и в дверях, щурясь, появилась она сама, разруганная от сна.

— Чарльз? О, а ты как здесь оказался? — добавила она, увидев меня.

Чарльз несколько путано объяснил, что случилось. Она слушала, прикрыв глаза от света сонной рукой. На ней была мужская рубашка, слишком большая для нее, и я поймал себя на том, что разглядываю ее ноги — смуглые икры, изящные лодыжки, трогательные, по-мальчишески неухоженные ступни.

— Он дома? — спросила она.

— Ясное дело.

— Точно?

— А где еще ему быть в три часа ночи?

— Подожди-ка, — сказала она и подошла к телефону. — Просто хочу кое-что попробовать.

Она набрала номер, выждала секунду-другую, дала отбой, снова крутанула диск.

— Это код, — пояснила она, прижав трубку к уху плечом. — Два гудка, пауза, повтор.

— Код?

— Да. Он как-то сказал мне... О, Генри, привет, — произнесла она в трубку и села на диван.

Чарльз послал мне выразительный взгляд.

— Черт побери, он небось даже не думал ложиться и сидел там все это время, — тихо сказал он.

— Да, — соглашалась с чем-то Камилла. Она смотрела в пол, скрестив ноги и лениво покачивая ступней. — Хорошо. Я передам ему.

Она положила трубку.

— Ричард, он просит тебя зайти. Иди сейчас же. Он тебя ждет. Что ты так на меня смотришь? — огрызнулась она на Чарльза.

— Код, ага?

— Ну и что тут такого?

— Ты никогда мне об этом не говорила.

— Ерунда какая. Было б о чем говорить.

— И зачем это вам с Генри понадобился секретный код?



- Ничего секретного здесь нет.
- Тогда почему ты мне не сказала?
- Чарльз, ну что ты как ребенок?

Генри — сна ни в одном глазу, никаких объяснений — встретил меня в халате у двери. Я прошел за ним на кухню, он усадил меня и налил кофе:

— А теперь расскажи мне, что произошло.

Я пустился в пересказ. Он сидел напротив, не сводя с меня синих глаз и куря сигареты одну за другой. От усталости я часто путался и сбивался, но Генри слушал терпеливо и не перебивал, когда я начинал буксовать или уходить в сторону. Вопросов он почти не задавал и только просил повторить некоторые эпизоды.

Когда я умолк, уже взошло солнце и пели птицы. Перед глазами у меня плавали круги. Прохладный ветерок шевелил кухонные занавески. Генри погасил лампу и, встав у плиты, принялся, словно на автомате, готовить яичницу с беконом. Я в оцепенении наблюдал, как он босиком передвигается по кухне, затопленной серым утренним светом.

Пока мы ели, я украдкой поглядывал на него. Лицо его было бледным, взгляд — озабоченным, глаза — утомленными, но ни одна черточка не выдавала мыслей.

— Слушай, Генри...

Он вздрогнул — это были первые слова, сказанные за последние полчаса или около того.

— О чем ты сейчас думаешь?

— Ни о чем.

— Если ты по-прежнему хочешь его отравить...

— Не говори глупостей, — раздраженно оборвал он меня. — Сделай одолжение — закрой на минуту рот и дай мне подумать.

Я бросил на него слегка обиженный взгляд. Генри резко встал и пошел налить себе еще кофе. На мгновение он застыл, стоя спиной ко мне и упершись руками в столешницу, затем обернулся.

— Извини, — произнес он устало. — Просто это не очень приятно — оглядываться на предмет стольких усилий и понимать, что все было сплошной нелепицей. Ядовитые грибы — Вальтер Скотт, да и только.

Я опешил:

— Вообще-то я думал, это хорошая идея.

Он потер уголки глаз:

— Слишком хорошая. Полагаю, когда человек, привыкший к умственному труду, сталкивается с необходимостью действия, он склонен

мысленно приукрашивать его, продумывать с чрезмерной тонкостью. На бумаге все выглядело весьма изящно, и только сейчас, когда дошло до дела, я понимаю, насколько все чудовищно сложно.

— А что не так?

Он поправил очки:

— Яд действует слишком медленно.

— Но ведь ты, кажется, считал это преимуществом?

— Это оборачивается массой проблем. На некоторые из них ты сам же и указал. Немалый риск привносит расчет дозировки, но самое слабое место — время. В рамках моей концепции, чем дольше, тем лучше, и все же... За двенадцать часов можно поведать миру очень многое... В принципе, я понимал это с самого начала. Видишь ли, сама мысль о том, чтоб его убить, была так отвратительна, что я мог рассматривать ее только как своего рода шахматную задачу. Игру. Ты представить себе не можешь, сколько я над ней размышлял. Взять хотя бы выбор яда. Тебе известно, что при отравлении некоторыми ядами моментально распухает горло? У жертв отнимается язык, и они не могут назвать имя отравителя.

Он помолчал и со вздохом продолжил:

— Так приятно, пленившись примерами Медичи и Борджиа, перебирать в уме всевозможные способы — отравленные кольца, розы... Ты ведь, наверное, слышал о таком? Отравить розу, преподнести ее даме, дама случайно задевает пальчиком шип и падает замертво. Я знаю, как изготовить свечу, которая возымеет смертельный эффект, если будет гореть в закрытом помещении. Или как отравить подушку или молитвенник...

— А что насчет снотворного?

Он лишь посмотрел на меня с досадой.

— Я серьезно. Люди то и дело умирают, наглотавшись этих таблеток.

— Где мы возьмем снотворное?

— Это же Хэмпден-колледж. Такие вещи можно достать в два счета.

— Как мы сделаем так, чтобы Банни принял его?

— Скажем, что это тайленол.

— И как же, скажи на милость, мы заставим его выпить десяток таблеток тайленола?

— Можем вскрыть капсулы и высыпать содержимое в стакан виски.

— По-твоему, Банни не моргнув глазом выпьет стакан виски с толстым слоем белого порошка на дне?

— По-моему, ты только что собирался скормить ему тарелку поганок.

Мы замолчали, тишину нарушали только назойливые трели какой-то птицы. Генри закрыл глаза и помассировал виски.

— Что собираешься делать? — спросил я.

— Съезжу в пару мест, — ответил он. — А тебе надо пойти домой и лечь спать.

— Ты уже что-то придумал?

— Нет, но мне хочется кое-что выяснить. Я бы отвез тебя на кампус, но, думаю, будет очень некстати, если нас увидят вместе.

Он принялся рыться в кармане халата — выудил спички, перья для ручек, синюю коробочку для пилюль. Наконец отыскал пару четвертаков и выложил их на стол:

— Вот. Купи по дороге домой какую-нибудь газету.

— Зачем?

— На случай, если кто-нибудь задастся вопросом, с чего это ты разгуливаешь в столь ранний час. Возможно, вечером ты мне снова понадобишься. Если я не застаю тебя дома, то оставляю сообщение от имени доктора Спрингфилда. Не пытайся связаться со мной раньше времени — разумеется, если только не возникнет нештатная ситуация.

— Само собой.

— Тогда до встречи.

Он двинулся прочь из кухни, но на пороге обернулся.

— Да, хотел сказать — я никогда этого не забуду, — задержав на мне взгляд, произнес он сухим, деловитым тоном.

— Да ну что ты, пустяки...

— Отнюдь — это жизненно важно, и ты это понимаешь.

— Ты сам пару раз выручал меня, — сказал я ему вслед, но Генри уже вышел и, должно быть, не услышал. Во всяком случае, он ничего не ответил.

Купив газету в ближайшем магазинчике, я направился в сторону колледжа. Нырнув в сырой, пахнущий свежестью лес, я свернул с тропинки и, перелезая через замшелые валуны и поваленные деревья, пустился кружным путем.

Когда я добрался до кампуса, было еще рано. Взлетев по черной лестнице Монмута, я замер на верхней площадке, обнаружив, что у чулана стоит староста корпуса, окруженная стайкой визгливо тараторящих девушек в халатах. Попытавшись проскользнуть мимо, я был схвачен за руку бдительной Джуди Пуви, облаченной в черное кимоно.

— Эй, смотри, тут у нас в чулане наблевали!

— Это кто-то из долбанных первокурсников, — сказала стоявшая рядом девица. — Сначала нажрут как свиньи, а потом бегут метать коржи по

чужим корпусам.

— Ну, не знаю, кто это натворил, — провозгласила староста, — но кто бы то ни был, на ужин он ел спагетти.

— Хмм...

— Значит, этот кто-то не ходит в столовую — то есть он не с кампуса.

Прорвавшись к себе в комнату, я запер дверь и уснул, едва коснувшись головой подушки.

Я проспал весь день, уткнувшись лицом в подушку: уютный дрейф, лишь изредка нарушаемый подводным течением действительности (шаги, разговоры, хлопанье дверей), вплетавшимся холодными нитями в темные, теплые, как кровь, воды дремоты. День уступил место сумеркам, а я все спал и спал, пока наконец гром и грохот сливаемой из бачка воды не заставили меня перевернуться на спину, выдернув из сна.

В соседнем Патнам-хаусе уже началась субботняя вечеринка. Это означало, что ужин кончился, все буфеты закрыты и я проспал по меньшей мере четырнадцать часов. В Монмуте не было ни души. Я встал, побрился и принял горячую ванну. Затем надел халат и, жуя найденное на общей кухне яблоко, спустился вниз, к телефону на вахте, посмотреть, нет ли для меня сообщений.

Их было три. Банни Коркоран, без пятнадцати шесть. Моя мать, из Калифорнии, в восемь сорок пять. И доктор Г. Спрингфилд из стоматологической клиники, предлагавший мне нанести ему визит при первой же возможности.

Я умирал от голода и очень обрадовался, когда, придя к Генри, обнаружил, что Чарльз и Фрэнсис ковыряют холодную курицу и остатки салата.

Генри выглядел так, словно не спал с нашей последней встречи. На нем был старый твидовый пиджак с растянутыми локтями и брюки, на коленях которых виднелись бурые пятна от травы. Поверх его заляпанных грязью туфель были натянуты гетры защитного цвета.

— Если ты голоден, тарелки в серванте, — сказал он, грузно опускаясь на стул, как старый фермер, вернувшийся домой с поля.

— Где ты был?

— Поговорим об этом после ужина.

— А где Камилла?

Чарльз хохотнул. Фрэнсис отложил куриную ножку и с важностью дворецкого произнес:

— У нее свидание.

— Смейшься? С кем?

— С Клоуком.

— Они на вечеринке, — пояснил Чарльз. — Перед началом Клоук пригласил ее в бар выпить коктейль, все как полагается.

— С ними сейчас Банни и Марион, — добавил Фрэнсис. — Это Генри предложил. Сегодня вечером Камилла присматривает сам-знаешь-за-кем.

— Сам-знаешь-кто звонил мне сегодня днем, оставил сообщение, — сказал я.

— Сам-знаешь-кто топтал тропу войны с самого утра, — заметил Чарльз, отрезая ломтик хлеба.

— Пожалуйста, только не сейчас, — устало сказал Генри.

После того как убрали тарелки, Генри водрузил локти на стол и закурил. Под глазами у него темнели круги, на щеках — двухдневная щетина.

— Так что у тебя за план? — осведомился Фрэнсис.

Генри отбросил спичку в пепельницу.

— В эти выходные, — сказал он. — Завтра.

Я застыл, не донеся до рта чашку с кофе, и вытаращился на него.

— Боже ты мой, — воскликнул Чарльз, даже не пытаясь скрыть смятение. — Так скоро?

— Дольше медлить нельзя.

— Но как? Что мы вообще можем сделать в такой короткий срок?

— Я тоже не в восторге, но, если мы будем выжидать, другого шанса не будет до следующих выходных. И если на то пошло, может не быть вообще.

Секунду-другую все молчали.

— Ты это серьезно? — растерянно спросил Чарльз. — Это все... ну, как бы... однозначно?

— Все далеко не однозначно, — ответил Генри. — Мы не сможем контролировать ситуацию полностью. Но я хочу, чтобы мы были готовы, если возможность осуществить план нам все же представится.

— Звучит несколько неопределенно, — заметил Фрэнсис.

— Так и есть. И, к сожалению, не может быть иначе, поскольку большая часть работы возлагается на самого Банни.

— Как это? — спросил Чарльз, откинувшись на спинку стула.

— Несчастный случай. Если точнее, несчастный случай на прогулке в горах. — Генри выдержал паузу. — Завтра воскресенье.

— Ну да.

— Значит, при условии хорошей погоды Банни, скорее всего, отправится побродить по окрестностям.

— Он далеко не всегда выбирается с кампуса по воскресеньям, — сказал Чарльз.

— Допустим, завтра выберется. И мы довольно неплохо представляем его маршрут.

— У этого маршрута много вариантов, — вставил я.

В прошлом семестре я часто сопровождал Банни на его прогулках. Он мог отклоняться от намеченного курса самым неожиданным образом, совершая крюк за крюком и не останавливаясь ни перед заборами, ни перед горными потоками.

— Да, конечно. Но в общем и целом он нам известен.

Достав из кармана лист бумаги, Генри разложил его на столе. Наклонившись поближе, я увидел, что это карта.

— Банни стартует от своего корпуса, огибает теннисные корты и, дойдя до опушки, держит путь не в сторону Северного Хэмпдена, а на восток, к Маунт-Катаракт. Местность, густо поросшая лесом, тропинок там немного. Он движется в этом направлении, пока не выйдет на оленью тропу — Ричард, ты знаешь, о чем я говорю: та тропка с большим белым камнем, — и круто сворачивает по ней на юго-восток. Примерно через километр тропа разветвляется...

— Но если вы будете ждать его там, то упустите, — сказал я. — Я ходил с ним этим путем. Он может свернуть на юг, а может с тем же успехом пойти на запад.

— Ну, если так, мы можем упустить его и раньше, — возразил Генри. — Насколько я знаю, иногда он вовсе пренебрегает тропой и продолжает идти на восток, пока не упрется в шоссе. Но я рассчитываю на то, что он предпочтет традиционный вариант. Погода хорошая — скорее всего, ему захочется растянуть прогулку.

— А вторая развилка? Неизвестно ведь, какую из тропинок он выберет?

— Нам и не нужно это знать. Ты ведь помнишь, где они сходятся? Над ущельем.

Казалось, на минуту-другую все онемели.

— Итак, смотрите, — наконец продолжил Генри, достав из кармана карандаш. — Он подойдет туда со стороны колледжа, с юга. Мы же прибудем на место с запада, по шестому шоссе.

— Значит, поедem на машине?

— Первую часть пути да. Сразу за этой свалкой, перед поворотом на

Бэттенкил, от шоссе отходит грунтовка. У меня возникло подозрение, что она находится в частном владении — в этом случае она бы нас не устроила, — но сегодня днем я отправился в архив суда и выяснил, что это всего лишь старая лесовозная дорога. Кончается тупиком где-то посреди чащи, но по ней можно подъехать почти вплотную к ущелью. От грунтовки до него остается метров пятьсот. Это расстояние мы пройдем пешком.

— Мы придем туда, и что дальше?

— Там мы будем ждать. Сегодня я дважды проделал путь Банни от кампуса до ущелья и обратно и оба раза засекал время. От порога общежития у него уйдет не меньше получаса. Соответственно мы спокойно успеем добраться туда в обход и застать его врасплох.

— А если он не придет?

— Что ж, в этом случае мы не теряем ничего, кроме времени.

— Может, кому-нибудь из нас пойти с ним?

Генри покачал головой:

— Я уже думал об этом. Неудачная мысль. Если он забредет в ловушку сам — в одиночку, по собственной воле, — вряд ли потом удастся распутать ниточку, ведущую к нам.

— Если то, если это, — угрюмо заметил Фрэнсис. — Сплошная игра случая.

— Она-то нам и нужна.

— Не понимаю, чем тебе не нравится первый план.

— Он слишком стилизован. И строится на расчете вплоть до мелочей.

— Но ведь расчет предпочтительнее случайности.

Генри разгладил ладонью складки карты:

— Здесь-то ты и заблуждаешься. Если мы стремимся выстроить события с излишней скрупулезностью, достичь точки X логическим путем, то должны учитывать, что, начав в точке X, тем же логическим путем можно проследовать в обратном направлении — и выйти прямо на нас. Проницательный ум без труда распознает чужой расчет. Но случайность? Она непредсказуема, непостижима, божественна. Что может быть лучше, чем предоставить Банни самому выбрать обстоятельства собственной гибели?

Стояла тишина. За окном с пронзительной ритмичной монотонностью верещали сверчки.

Фрэнсис — лицо его побледнело и стало влажным — закусил губу:

— Чтобы уяснить до конца — мы ждем возле ущелья, надеясь, что он пойдет именно тем путем. И если да, сталкиваем его вниз — прямо там, посреди бела дня — и исчезаем. Я правильно обрисовал картину?

— Более-менее.

— Что, если он придет не один? Или поблизости окажется кто-то еще?

— Выбравшись в лес погожим весенним днем, мы еще не преступаем закон. В наших силах свернуть все в любую минуту, вплоть до момента его падения. А это будет момент в прямом смысле слова. Если мы встретим кого-то по пути к машине — вряд ли, но все же, — то скажем, что произошел несчастный случай и мы спешим за подмогой.

— Но что, если кто-нибудь все увидит?

— На мой взгляд, это малореально, — ответил Генри, уронив со всплеском кусочек сахара в кофе.

— Но ведь возможно?

— Возможно все. Но вероятность на нашей стороне, нужно только не гнать ее прочь. Каковы шансы, что некто, доселе нами не замеченный, объявится в этом крайне уединенном месте в ту самую долю секунды, которая потребуется на то, чтобы столкнуть Банни с обрыва?

— Этого нельзя исключать.

— Фрэнсис, ничего нельзя исключать. Например, того, что сегодня ночью наш друг угодит под машину, тем самым существенно облегчив жизнь всем нам.

В окно ворвался мягкий прохладный ветерок, принес с собой запах дождя и яблоневого цвета. Я не заметил, как вспотел, и от дуновения свежего воздуха голова моя словно бы наполнилась веселящим газом, а тело покрылось липкой смазкой озноба.

Чарльз нарочито откашлялся, и все повернулись на звук:

— А известно, сколько... Я хочу сказать... ты уверен, что там достаточно высоко? Вдруг он...

— Я специально взял с собой рулетку, — сказал Генри. — Высшая отметка обрыва — четырнадцать с половиной метров, этого должно хватить. Самое сложное — подвести его туда. Если он упадет с более низкой точки, худшее, что ему грозит, — сломанная нога. Разумеется, многое зависит от того, как он будет падать. Для желаемого результата лучше спиной вперед.

— Я знаю случаи, когда люди падали с самолетов и все равно выживали, — вмешался Фрэнсис. — Что, если он выдержит удар?

Приподняв очки, Генри потер уголок глаза:

— Ну, вообще-то по дну ущелья протекает ручей. Воды там немного, но достаточно. Так или иначе, после падения он будет в шоке. Нам только нужно будет подтащить его к ручью и немного подержать лицом вниз — думаю, это займет не больше двух-трех минут. Если, упав, он не потеряет



сознание, двое из нас могли бы даже спуститься и помочь ему добраться туда самому...

Чарльз вытер потный, пылающий лоб:

— Господи боже мой, только послушайте, что мы несем...

— Что такое?

— Мы спятили, не иначе.

— Чарльз, в чем дело?

— Нет, мы точно сошли с ума. Как мы вообще сможем проделать все это своими собственными руками?

— Все это доставляет мне не больше удовольствия, чем тебе.

— Но это же безумие! Как у нас только язык поворачивается такое говорить? Нужно придумать что-нибудь другое.

Генри пригубил кофе:

— Если ты в состоянии внести лучшее предложение, я буду несказанно рад его выслушать.

— Ох, то есть я просто хочу сказать — может, нам, ну... взять и исчезнуть? Сядем сегодня вечером в машину да и уедем, а?

— Куда? — отрешенно спросил Генри. — И на какие деньги?

Чарльз молчал.

— Так вот, — продолжил Генри, проводя карандашом линию на карте. — Думаю, убраться оттуда будет проще простого, хотя нам следует соблюдать особую осторожность при повороте на грунтовку и выезде обратно на шоссе.

— Чью машину возьмем, мою или твою? — спросил Фрэнсис.

— Мою, я думаю. Машины вроде твоей слишком бросаются в глаза.

— Может быть, стоит взять автомобиль напрокат?

— Нет. Как раз подобные вещи все и губят. Если мы обойдемся без экстравагантных жестов, нас даже не заметят. Люди не обращают внимание на девяносто процентов того, что видят.

Повисла пауза.

Чарльз снова кашлянул.

— А потом? — спросил он. — Мы просто поедem домой?

— Мы просто поедem домой, — эхом отозвался Генри, прикуривая сигарету. — Seriously, здесь не о чем волноваться. Предприятие кажется рискованным, но, если посмотреть на него с логической точки зрения, это самый безопасный вариант. Никаких признаков убийства. И потом, кто знает, что у нас есть повод? Понимаю, понимаю, — с досадой предупредил он мою реплику. — Однако я очень удивлюсь, если он уже рассказал кому-то еще.

— Откуда ты знаешь, что он сделал, а что нет? Он мог разболтать половине студентов на вечеринке.

— Тем не менее я готов поставить все фишки на то, что он этого не сделал. Конечно, Банни непредсказуем, но на данном этапе в его действиях прослеживается некое подобие рудиментарного здравомыслия. У меня были все основания полагать, что сначала он расскажет тебе.

— С какой стати?

— Надеюсь, ты не думаешь, что из всех имевшихся кандидатур он выбрал тебя по чистой случайности?

— Я только знаю, что первым попался ему в подходящий момент.

— А к кому еще ему было идти? — спросил Генри тоном человека, уставшего объяснять прописные истины. — Он никогда бы не пошел прямо в полицию. В этом случае его положение было бы ничем не лучше нашего. По этой же причине он не отважился бы рассказать кому-нибудь из посторонних. Следовательно, остается весьма ограниченный круг потенциальных доверенных лиц. Марион — раз. Его родители — два. Клоук — три. Джулиан — в качестве запасного варианта. И, наконец, ты.

— Тогда с чего ты взял, что он, например, уже не проговорился Марион?

— Банни, конечно, глуп, но все же не настолько. Расскажи он Марион, на следующее утро об этом знал бы весь колледж. Клоук не подходит по ряду других соображений. Вряд ли бы он поднял панику, но доверия все равно не заслуживает — скользкий и безответственный тип. Банни питает к нему дружеские чувства — полагаю, даже восхищается им, — и все же он никогда не посвятил бы его в дело подобного рода. Родителям он не скажет ни за что на свете. Разумеется, впоследствии они бы приложили все силы, чтобы уберечь сынулю от тюрьмы, но при этом, выслушав его историю, несомненно, тотчас же помчались бы с ней в полицию.

— А Джулиан?

Генри пожал плечами:

— Да, пожалуй. Ему он действительно мог все рассказать. Я первый готов это допустить. Однако пока не рассказал, и есть вероятность, что не расскажет — по крайней мере, до поры до времени.

— Почему это?

Генри выразительно поднял бровь:

— Потому что кому из нас, как ты думаешь, Джулиан больше поверит? Все молчали. Генри глубоко затянулся.

— Стало быть, — сказал он, задержав дым, — метод исключения. Он не рассказал ни Марион, ни Клоуку, опасаясь, что они предадут дело

всеобщей огласке. По той же причине он не рассказал и родителям — а если решится на это, то лишь в самом крайнем случае. Спрашивается, сколько вариантов у него оставалось? Всего два. Рассказать Джулиану — учителю, который ему не поверит, или тебе — своему человеку, который не только поверит, но и оставит все при себе.

Я в оцепенении смотрел на него. Наконец выговорил:

— Это только догадки.

— Отнюдь. Неужели ты думаешь, мы сейчас сидели бы здесь, расскажи он кому-то еще? Или, может быть, ты считаешь, что, рассказав тебе, он сломя голову бросится искать следующего слушателя, даже не выяснив толком твоей реакции? Неужели не догадываешься, зачем он звонил тебе? И почему целый день не давал покоя всем остальным?

Я не ответил.

— Да потому, — сказал Генри, — что он пробует почву. Вчера он был в пьяном угаре, обуреваем лишь собственными переживаниями. Но сегодня уже далеко не уверен в том, как ты воспринял услышанное. Ему нужно чужое мнение. И он стремится как можно скорее получить твой отклик, чтобы понять, как действовать дальше.

— Не понимаю.

— Что ты не понимаешь?

— Почему тебе так зверски не терпится прикончить его, если, по-твоему, кроме меня, он никому не расскажет?

Генри пожал плечами:

— Пока не рассказал. Это не то же самое, что не расскажет. Расскажет, и очень скоро.

— Может, я попробую отговорить его?

— Признаться, не стал бы идти на такой риск.

— По-моему, до сих пор речь шла о риске, в сто раз большем.

— Послушай, — сказал Генри, пригвоздив меня к месту мутным взглядом, — не хочу тебя обидеть, но если ты думаешь, что располагаешь хоть каплей влияния на Банни, то заблуждаешься самым прискорбным образом. Выражаясь, с твоего позволения, ясным языком, он никогда не питал к тебе особой симпатии. И если ты попытаешься выступить в роли миротворца, это неминуемо обернется ядерным взрывом.

— Но ведь пришел-то он именно ко мне?

— По понятным и отнюдь не романтическим причинам. — Он снова пожал плечами. — Пока мне было доподлинно известно, что он не проговорился, мы могли ждать до бесконечности. Но сегодня, Ричард, ты подал нам сигнал тревоги. Теперь он подумает: все нормально, ничего

такого уж страшного здесь нет — и ему будет вдвое легче повторить свой рассказ кому-нибудь другому. А за ним и третьему. Он сделал первый шаг вниз по наклонной. И раз так, у меня складывается ощущение, что дальнейшие события будут развиваться с головокружительной быстротой.

У меня вспотели ладони. Несмотря на открытое окно, воздух казался спертым. Я слышал дыхание каждого: спокойные, размеренные вдохи и выдохи. Четыре пары легких, с ужасающим автоматизмом поглощающие остатки кислорода.

Генри сомкнул пальцы и, вывернув руки ладонями наружу, потянулся и хрустнул суставами.

— Кстати, ты уже можешь идти, если хочешь, — обратился он ко мне.

— Тебе нужно, чтоб я ушел? — спросил я и удивился собственной резкости.

— Это твое дело. Но я не вижу никаких причин оставаться. Мне хотелось дать тебе примерное представление о плане, однако чем меньше подробностей ты будешь знать, тем в известном смысле лучше. — Он зевнул. — Ты должен быть осведомлен в общих чертах, но я уже сейчас чувствую, что оказал тебе медвежью услугу.

Встав, я обвел взглядом стол:

— Так-так-так... Ладно... Понятно...

Фрэнсис возрился на меня в удивлении.

— Пожелай нам удачи, — сказал Генри.

Я неуклюже хлопнул его по плечу:

— Удачи вам.

Чарльз, незаметно для Генри, перехватил мой взгляд и, улыбнувшись, произнес одними губами: «Позвоню тебе завтра, хорошо?»

Внезапно меня охватила буря эмоций. Опасаясь сказать или сделать какую-нибудь глупость, о которой потом буду сожалеть, я оделся и, одним глотком допив кофе, вышел не попрощавшись.

Возвращаясь домой по ночному лесу, руки в карманах, глаза долу, я едва не столкнулся с Камиллой. Она была изрядно навеселе. Воскликнув «Привет!», она взяла меня под руку и развернула в обратном направлении.

— Спорим, не угадаешь, где я сейчас была? На свидании!

— Да, я уже слышал.

Она рассмеялась, и этот чуть сдавленный смех, низкий и пленительный, омыл меня теплой волной.

— Забавно, правда? Я чувствовала себя такой шпионкой! Банни только что пошел домой. Проблема теперь в том, что Клоук, кажется, положил на

меня глаз.

Я едва различал в темноте ее лицо. Тяжесть ее руки была удивительно приятна, а отдающее джином дыхание окутывало мою щеку сладковато-терпким облачком.

— Он хоть прилично себя вел?

— О да, как настоящий кавалер. Угостил меня ужином, а потом еще какими-то красными коктейлями — по вкусу точь-в-точь фруктовый лед.

Мы вышли на пустынные улицы Северного Хэмпдена с разбросанными тут и там голубоватыми огнями фонарей. В лунном свете все выглядело таинственным, не было слышно ни звука. Подул слабый ветерок, и у кого-то на крыльце мелодично дрогнула подвеска из металлических трубочек.

Я остановился, и Камилла потянула меня за руку:

— Чего же ты? Идем.

— Нет.

— Почему?

Волосы у нее были растрепаны, на бархатных губах темнели следы коктейля, и весь ее вид говорил о том, что она и знать не знает о происходящем у Генри.

Завтра она пойдет с ними. Наверное, кто-нибудь скажет, что ей лучше остаться, но в итоге она все равно пойдет с ними.

Я откашлялся:

— Слушай...

— Что?

— Пойдем ко мне домой.

Она нахмурилась:

— Прямо сейчас?

— Да.

— Зачем это?

Снова раздался тихий перезвон трубочек — вкрадчивый, серебристый.

— Так... Просто я хочу, чтоб ты пошла со мной.

Камилла отрешенно разглядывала меня с бессмысленной сосредоточенностью пьяного человека. Она стояла на внешнем крае стопы, отчего ее чуть вывернутые, как у жеребенка, ноги в черных чулках были похожи на две изумительные буквы L.

Я крепко стиснул ее ладонь в своей. Мимо луны пробегали облака.

— Ну пойдем, пожалуйста.

Она привстала на цыпочки. Мягкий, прохладный поцелуй оставил на губах вкус фруктового льда. «Ах, вот ты какая», — пронеслось у меня в

голове. Сердце забилося, как выброшенная на берег рыба.

Вдруг она отняла руку:

— Мне пора.

— Пстой... Не уходи.

— Не могу. Они будут волноваться, что со мной.

Она клюнула меня в щеку и поспешила дальше. Я провожал ее взглядом, пока она не свернула за угол, потом сунул руки в карманы и побрел к себе.

На следующий день я проснулся в неясной тревоге, рывком подняв голову с подушки. Комнату наполнял холодный солнечный свет, в коридоре бухал басами чей-то магнитофон. Было поздно — двенадцать или, может быть, даже больше. Я дотянулся до браслета часов на ночном столике и встrepенулcя пуще прежнего. Стрелки показывали пятнадцать минут третьего. Вскочив, я принялся впопыхах одеваться, оставив всякую мысль о том, чтобы побриться или хотя бы причесаться.

Натягивая в коридоре пиджак, я обнаружил, что навстречу мне, застегивая на ходу сережку, деловито спешит Джуди. Она была разодета как на парад, воплотив в наряде все причудливое многообразие своих представлений о вечернем туалете.

— Ты идешь? — спросила она, заметив меня.

— Куда? — озадаченно ответил я, держась за ручку двери.

— Да что с тобой? Ты вообще где живешь, на Марсе, что ли?

Я смотрел на нее, ничего не понимая.

— Ну, вечеринка, — нетерпеливо пояснила она. — «Весенний отрыв». Прямо позади Дженнингса. Уже час, как все началось.

Воспаленные краешки ноздрей Джуди напоминали нос кролика, и ее пальцы с красными ногтями скользнули по ним характерным жестом.

— Давай попробую угадать с трех раз, чем ты занималась?

Она расхохоталась:

— У меня дома еще полно. Джек в прошлые выходные ездил в Нью-Йорк, привез оттуда целую тонну. Лора Стора раздобыла экстази, а этот уродец из подвала в Дурбинстале — ну, химик который — только что сварганил приличную порцию спидов. Хочешь сказать, ты ничего этого не знал?

— Нет.

— Ну ты даешь! «Весенний отрыв» — это ж тебе не хвост собачий. Народ готовился месяцами. Жаль только, вчера все не устроили — такая погода была классная. Кстати, ходил сегодня на обед?

Она имела в виду, выходил ли я наружу.

— Нет.

— Ну то есть, на улице вообще-то ничего, но как-то холодновато. Я тут выбралась и сразу подумала: вот, блин, дерьмо! Так это — ты идешь или нет?

Мой взгляд не выражал ничего, кроме растерянности, — я вылетел из комнаты, даже не подумав, куда я, собственно, собрался.

— Хочу сначала перекусить, — наконец сказал я.

— Это правильно. Я вот в прошлом году пошла на пустой желудок, ну а там травы покурили, все такое, и мартини я выпила, наверно, литра два. Не, все нормально было, но потом мы поехали на аттракционы. Ну, помнишь, когда они карнавал устроили? Хотя тебя еще тогда здесь, наверно, не было... В общем, короче — вот тут я попала! Я ж пила целый день и обгорела вдобавок — а тусовались мы тогда всей компанией с Джеком. И типа, я вообще-то никуда ехать не собиралась, но потом решила, да чего уж тут? Все ломанулись на чертово колесо, ну и я такая: дай прокачусь разок, какая фигня...

Я вежливо дослушал историю, завершившуюся, как и ожидалось, потоками вулканической рвоты за стойкой с хот-догами.

— Так что сейчас я ни-ни. Называется сделай паузу — ощути магию белого порошка. Кстати, а чего бы тебе не вытащить этого друга своего, как его — Банни? Прихвати его заодно, он сейчас как раз в библиотеке.

— Что-что? — переспросил я, сразу же став весь внимание.

— Я говорю, расшевели его там. Пусть хоть пойдет дунет как следует, напас-другой ему точно не помешает.

— В библиотеке, говоришь?

— Ну да — шла недавно мимо читалки, видела его в окне. Слушай, а у него случайно нет машины?

— Нет.

— Я просто подумала, может, он нас подбросил бы. До Дженнингса идти и идти. Ну, или это глюки у меня такие, не знаю. Блин, вообще меня что-то так разнесло, пора опять аэробикой заняться.

Было уже три. Я запер дверь и, нервно позвякивая ключами в кармане, направился в библиотеку.

День был странным — гнетущим и неподвижным. Кампус как будто вымер (видимо, все ушли на вечеринку). Трава на лужайках, яркие пятна тюльпанов — все застыло под затянутым тучами небом, словно ожидая чего-то. Где-то проскрипел ставень. У меня над головой, в хищных когтях

черного вяза, бился в агонии воздушный змей. Потом затих. «*Это же просто Канзас*, — подумал я. — Канзас перед приходом торнадо».

Библиотека была похожа на склеп, освещенный изнутри промозглым флуоресцентным светом, от которого все вокруг казалось еще более серым и холодным. Слепо сияющие окна читального зала не выдавали никаких признаков жизни: книжные полки, пустые кабинки, ни души.

Библиотекарша — убогое создание по имени Пегги — сидела за стойкой, уйдя с головой в зачитанный «Женский день», и даже не посмотрела в мою сторону. В углу тихо жужжал ксерокс. Я поднялся на второй этаж и, обогнув иностранную секцию, прошел в читальный зал. Там было пусто, но за одним из ближних столов виднелось красноречивое гнездышко из книг, скомканной бумаги и жирных пакетов из-под чипсов.

Я подошел поближе. Чувствовалось, что покинули его совсем недавно, стоявшая там недопитая банка виноградной газировки была еще запотевшей и холодной на ощупь. Я не знал, что делать — может, он просто вышел в туалет и сию секунду вернется? — и уже собирался уйти, как вдруг заметил записку.

На томе Всемирной книжной энциклопедии лежал замусоленный, свернутый вдвое тетрадный листок, на обороте которого мелким корявым почерком было написано «Марион». Я развернул его и быстро пробежал глазами:

*Слушай Старушка*

*Что-то меня здесь задрало сидеть. Иду на вечеринку попить пивка.*  
*Покедова.*

*Б*

Сложив записку, я тяжело опустился на подлокотник стула. Отправляясь на прогулку, Банни всегда покидал кампус в районе часа. Сейчас три. Он на вечеринке возле Дженнингса. Они упустили его.

Я спустился по черной лестнице к выходу цокольного этажа, дошел до Общин (фасад из красного кирпича распластался театральной декорацией на фоне пустого неба) и позвонил Генри из автомата. Трубку не брали. С близнецами та же история.

В Общинах не было никого, кроме пары изможденных уборщиц и тетки в рыжем парике, обслуживавшей коммутатор, — все выходные напролет она, скрючившись, сидела над вязанием, решительно наплевав на поступающие звонки. Как обычно, в спину ей бешено мигали лампочки, но она обращала на них не больше внимания, чем тот злосчастный радист на



«Калифорнийце» в ночь, когда «Титаник» пошел ко дну. Миновав парик, я направился к автоматам и уже со стаканчиком водянистого кофе вернулся позвонить еще раз. По-прежнему лишь длинные гудки.

Повесив трубку, я неспешно поднялся наверх и, достав из кармана подобранное на почте издание выпускников колледжа, сел в кресло у окна, чтобы спокойно выпить кофе.

Прошло пятнадцать минут, затем двадцать. Журнал нагонял на меня откровенную тоску. Складывалось полное впечатление, что лучшее, на что способны в жизни хэмпденские выпускники, это открыть магазинчик керамики на острове Нантакет или вступить в монашескую общину в Непале. Я отбросил журнал и уставился в окно. Освещение снаружи было очень необычным. Зелень травы почему-то становилась в нем до предела насыщенной, и раскинувшаяся внизу лужайка излучала неестественное, инопланетное сияние. На медном флагштоке посреди лилового неба хлопал американский флаг.

С минуту я сидел, разглядывая его, и вдруг, не в силах больше выносить ожидание, надел пальто и двинулся в сторону ущелья.

Лес был мертвенно тихим и как никогда враждебным. Черно-зеленые заросли, невозмутимые, словно вода в болоте, были насквозь пропитаны запахом прели и мокрой земли. Ни малейшего ветерка, ни одной птичьей трели, ни единого шороха. В ветвях кизила парили белые цветы — неподвижные и неземные под этим набухшим, погружающимся во мрак небом.

Я ускорил шаг — под ногами хрустели ветки, в ушах хриплым шумом отдавалось дыхание, — и вскоре тропинка вывела меня на поляну. Я застыл, переводя дух, и только спустя секунду-другую осознал, что там никого нет.

Ущелье лежало по левую руку — ощерившийся, вероломный надрез, обнажавший острое каменистое дно. Стараясь не подходить вплотную, я осторожно заглянул через край. Стояла полная тишина. Я повернулся к зарослям, из которых только что вышел, как вдруг послышалась возня, и откуда ни возьмись появилась голова Чарльза.

— Здорово! — обрадованно прошептал он. — Как тебя угораздило?..

— Закрой рот, — оборвал его резкий голос, и мгновение спустя, как по волшебству, из подлеска навстречу мне вышел Генри.

Сердце билось в горле, я не мог вымолвить ни слова. Взгляд Генри обжег меня огнем. Он собрался что-то сказать, но тут раздался треск сучьев и, повернувшись на звук, я с изумлением увидел Камиллу в брюках

защитного цвета, которая перелезала через поваленный ствол.

— Что происходит? — услышал я голос Фрэнсиса где-то совсем рядом. — Могу я наконец выкурить сигарету?

Генри не ответил.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он меня с непередаваемым раздражением.

— Сегодня на кампусе вечеринка.

— Что?

— Вечеринка. Он сейчас там... И он не придет.

— Вот видишь, я же тебе говорил, — удрученно произнес Фрэнсис, осторожно выбираясь из кустов и отряхивая ладони. Что характерно, он был одет самым неподобающим образом — на нем был хороший, пожалуй даже элегантный, костюм.

— Меня, как всегда, никто не слушает. А я ведь еще час назад сказал, что мы только зря теряем здесь время.

— Откуда ты знаешь, что он на вечеринке? — спросил Генри.

— Он оставил записку. В библиотеке.

— Пойдемте домой, — сказал Чарльз, вытирая тыльной стороной ладони грязный след на щеке.

Генри не обратил на него никакого внимания.

— Черт, — сдавленно выругался он, мотнув головой, словно стряхивая воду. — Я так надеялся, что мы покончим с этим сегодня.

Какое-то время никто не произносил ни слова.

— Я хочу есть, — нарушил молчание Чарльз.

— Умираю от голода, — рассеянно добавила Камилла, и вдруг глаза ее в ужасе округлились. — О нет!

— Что такое? — выпалили все хором.

— Ужин. Сегодня же воскресенье. Сегодня он должен прийти к нам на ужин.

Повисла мрачная пауза.

— Я и думать про это забыл, — пробормотал Чарльз.

— Я тоже, — отозвалась Камилла. — А у нас дома ни крошки.

— Надо будет что-нибудь купить на обратном пути.

— Например?

— Не знаю. Что-нибудь, что можно быстро приготовить.

— Это немыслимо, — обрушился на них Генри. — Я же специально напомнил вам обо всем вчера вечером.

— Но мы забыли! — сокрушенным дуэтом воскликнули близнецы.

— Как вы могли забыть?

— Знаешь, если встаешь, планируя отправить кого-то на тот свет в два часа дня, уже как-то не думаешь, чем будешь угощать новоиспеченного мертвеца на ужин.

— Кстати, как раз сезон для спаржи, — участливо вставил Фрэнсис.

— Сомневаюсь, что она есть в «Фуд-кинге».

Генри вздохнул и направился к зарослям.

— Куда ты? — с тревогой спросил Чарльз.

— Выкопать парочку папоротников. После этого можем возвращаться.

— Ох, выкинь это из головы, — прикуривая сигарету, сказал Фрэнсис и, отшвырнув спичку, добавил: — Seriously, ну кто нас увидит?

Генри обернулся:

— Кто-нибудь. И если это случится, я хочу иметь убедительный ответ на вопрос: что мы тут делали? И подбери спичку, — отчитал он Фрэнсиса.

Пустив клуб дыма, тот ответил ему злым взглядом.

Темнело, и с каждой минутой становилось все холодней. Я застегнул пиджак и, усевшись на сырой камень, с которого открывался вид на ущелье, уставился на грязный, забитый листвой ручеек, вяло бежавший по дну. За спиной близнецы спорили о вечернем меню, но вникать в их разговор мне не хотелось. Фрэнсис курил, прислонившись к дереву, потом затушил окурок о подошву и присел рядом со мной.

Время текло. Небо стремительно наливалось багрянцем. Светлый островок берез на другой стороне ущелья качнулся под порывом ветра, и я поежился. Сзади лились потоком реплики близнецов. Всякий раз, когда они были чем-то рассержены или расстроены, их можно было принять за Траляля и Труляля.

Внезапно зашелестел подлесок, и на краю поляны, вытирая запачканные ладони о брюки, появился Генри.

— Кто-то идет, — тихо произнес он.

Близнецы мгновенно прекратили спорить:

— Что?!

— Там, с другой стороны. Послушайте.

Мы молчали, обмениваясь тревожными взглядами. По лесу промчался вихрь, и на поляну вылетел ворох белых лепестков кизила.

— Ничего не слышу, — сказал Фрэнсис.

Генри приложил палец к губам. На секунду все снова замерло, напряженно вслушиваясь. Наконец я с облегчением выдохнул и открыл было рот, но тут и вправду услышал — хруст веток, шаги.

Мы переглянулись. Генри прикусил губу и быстро осмотрелся. Края ущелья были голыми — спрятаться негде, перебежать через поляну и

скрыться в лесу, не наделав большого шума, нам бы никак не удалось. Он хотел что-то сказать, но вдруг совсем близко затрещали кусты, и он поспешно убрался с открытого места меж двух деревьев, словно нырнув с людной улицы в темный подъезд.

Остальные озирались, окаменев посреди поляны, и как один повернули голову к Генри, скрывшемуся в тенистом убежище. Он досадливо замахал нам рукой. Неожиданно я услышал скрежет гравия и, не соображая, что делаю, судорожно отвернулся, притворившись, что внимательно изучаю ствол стоящего рядом дерева.

Шаги приближались. Чувствуя на коже затылка покалывание бесчисленных иголок, я почти уткнулся лицом в ствол, стараясь сохранять видимость глубокого научного интереса: серебристая, прохладная на ощупь кора, черная, блестящая цепочка муравьев, марширующих из укромной трещинки.

Вдруг, и едва ли не раньше, чем я успел это осознать, шаги остановились прямо за моей спиной.

Я оторвал взгляд от коры и заметил Чарльза. Побелев, с искаженным лицом, он уставился в пространство перед собой. Я хотел спросить его, в чем дело, но в этот момент внутри у меня что-то оборвалось и изо всех шлюзов хлынуло ощущение нереальности происходящего — у меня над ухом загремел голос Банни:

— Вот это да, с ума сойти! Что это у нас тут такое? Никак, сборище юных натуралистов?

Я обернулся. Это был Банни собственной персоной — в гигантском желтом дождевике, доходившем ему почти до пят, он возвышался надо мной всем своим внушительным ростом.

Наступила жуткая тишина.

— Привет, Бан, — пролепетала Камилла.

— Привет вам в ответ.

В руке у него была бутылка пива — «Роллинг-рок», забавно, что я это помню, — и, запрокинув ее, он приложился к горлышку и сделал долгий булькающий глоток.

— Фу-ух... Вы, народ, че-то частенько стали шнырять по лесу в последнее время, — сказал он и добавил, слегка ткнув меня в бок: — Кстати, я тут все тебе названивал.

Мое сознание не справлялось с оглушительным фактом внезапного появления Банни. Я лишь ошарашенно смотрел на него — как он снова сделал глоток, как опустил бутылку, как вытер ладонью рот, — он стоял так близко, что я чувствовал тяжесть его густого, отдающего пивом дыхания.

— А-а, хорошо, — выдохнул он и, откинув волосы, рыгнул. — Так что, истребители оленей? Что вы затеяли? Неужто просто так вот взяли и выбрались сюда понаблюдать за флорой и фауной, а?

У края поляны раздался шорох и осторожное покашливание, словно бы вежливый слушатель выражал несогласие с оратором.

— Не совсем, — произнес ровный, бесстрастный голос.

Банни изумленно повернулся — я тоже, — и в этот момент от тени леса отделилась фигура Генри. Он подошел к нам и радушно оглядел Банни. Руки у него были в земле, в одной из них он держал садовый совок.

— Привет, — сказал он. — Вот уж не ждали тебя здесь увидеть.

Банни ответил ему пристальным недобрым взглядом:

— Господи! Чем это ты тут занимаешься, хоронишь, что ли, кого?

Генри улыбнулся.

— В самом деле, очень удачно, что ты оказался поблизости.

— Это что, какое-то совещание?

— Ну, в общем-то да, — помолчав, любезно согласился Генри. — Думаю, при желании можно сказать и так.

— При желании, — передразнил его Банни.

Генри закусил нижнюю губу.

— Вот именно, — сказал он абсолютно серьезным тоном. — Хотя лично я употребил бы иное слово.

Вокруг царило невероятное спокойствие. Откуда-то издалека, из чащи, донесся приглушенный бессмысленный хохот дятла.

— Скажи-ка мне лучше, — произнес Банни, и мне показалось, что я впервые уловил в его глазах искорку подозрения. — А все-таки какого такого черта вы все тут делаете?

Лес молчал, ни единого звука.

— Да так... Папоротники ищем, — с улыбкой ответил Генри и сделал шаг к Банни.

## Книга вторая

*Дионис [...] был Владыкой иллюзий, по желанию которого из корабельной доски могла вырасти виноградная лоза и который, в целом, даровал своим почитателям способность видеть мир в его несуществующих обличьях.*

*Э. Р. Доддс. Греки и иррациональное*

## Глава 6

В качестве необязательного примечания: я вовсе не считаю себя злодеем (впрочем, смешно — ведь как раз убийцы и падки на такие заявления). Всякий раз, когда мне случается наткнуться в новостях на сообщение об убийстве, меня поражает то неколебимое, почти трогательное упорство, с которым детские врачи, забавы ради отправлявшие своих маленьких пациентов на тот свет, или терроризировавшие не один штат маньяки — одним словом, душегубы и изверги всех мастей — отказываются признать в себе злое начало, более того, непременно стараются выставить себя в выгодном свете. «Вообще-то я очень хороший человек», — это слова одного из недавних серийных убийц (кажется, его приговорили к электрическому стулу), искромсавшего топором полдюжины медсестер в Техасе. Было интересно читать о ходе его дела в газетах.

Нет, конечно, я никогда не мнил себя образцом добродетели, однако и к отъявленным негодяям причислить себя не могу. Наверное, просто невозможно думать о себе в таком ключе, что лишний раз иллюстрирует пример нашего тexasского друга. То, что мы совершили, было ужасно, и все же я сильно сомневаюсь, что кого-то из нас можно без преувеличения назвать безнравственным. Считайте, что меня подвела бесхарактерность, Генри — высокомерие, всех нас — увлечение греческим... в общем, что угодно.

Не знаю... Наверное, мне стоило получше задуматься над тем, во что я ввязываюсь. Однако первое убийство — фермер — казалось таким простым: камень, бесследно ушедший на дно. Второе тоже представлялось нетрудным, по крайней мере сначала, но я и помыслить не мог, насколько в этот раз все будет иначе. То, что мы приняли за безобидную болванку (тихий всплеск, мгновенное погружение и снова невозмутимая темная гладь), оказалось глубинной бомбой, внезапно рванувшей под зеркальной поверхностью, и отголоски этого взрыва, кажется, не затихли до сих пор.

В конце шестнадцатого века итальянский физик Галилей провел ряд экспериментов с целью изучения природы падающих тел. Сбрасывая предметы — согласно легенде, с Пизанской башни, — он измерял ускорение, развиваемое ими при падении. Его результаты гласили следующее: падая, тела набирают скорость; чем дольше падает тело, тем быстрее оно движется; скорость падающего тела равна ускорению

свободного падения, помноженному на время падения в секундах. Подставив соответствующие данные, мы получим, что в момент удара о дно ущелья наше конкретное тело падало со скоростью более десяти метров в секунду.

Так что, думаю, вы понимаете, насколько быстро все произошло. И прокрутить этот фильм в замедленном режиме, изучить каждый отдельный его кадр нельзя. Сейчас я вижу то же, что и тогда, — картинка проносится с молниеносной, обманчивой легкостью, обычно отличающей съемки аварий: молотящие воздух руки, осыпающиеся камни, пальцы — они тщетно цепляются за ветку и исчезают. Из подлеска, как черные комья земли во время артобстрела, в небо взмываются с карканьем вороны. Камера резко переходит на Генри, который отступает на шаг от края ущелья. Затем пленка обрывается, и экран гаснет. *Consummatum est.*

Когда, лежа в постели, я становлюсь невольным зрителем этой малоприятной хроники (она прекращается, стоит мне открыть глаза, но, едва я закрываю их, неумолимо начинается снова), меня всегда удивляет отстраненность точки съемки, необычность деталей и почти полное отсутствие эмоций. В этом отношении она передает запомнившиеся ощущения очень точно, вот только время, наряду с частыми повторами, привнесло в воспоминание ощущение угрозы, отсутствовавшее в действительности. Я наблюдал за происходящим вполне спокойно — без страха, без жалости, разве что с ошеломленным любопытством, — и поэтому в итоге оно неизгладимо запечатлелось на волокнах моих зрительных нервов, но странным образом не затронуло разум.

Прошел не один час, прежде чем до меня начало доходить, что мы натворили, и не один день (месяц? год?), прежде чем я осознал, что произошло на самом деле. По-видимому, мы слишком много об этом думали, слишком часто говорили, и в результате умозрительная схема покинула область размышлений и зажила своей собственной страшной жизнью. Ни разу, в самом буквальном смысле этого слова, мне не пришло в голову, что все это выйдет за рамки игры. Даже самые прагматичные детали были пронизаны атмосферой нереального, будто бы мы планировали не убийство товарища, а маршрут экзотического путешествия, в которое — так, по крайней мере, думал я — нам заведомо не суждено отправиться.

«Что немыслимо, то неосуществимо», — любил говорить Джулиан на занятиях. Разумеется, он просто хотел подвигнуть нас к более строгой умственной дисциплине, однако эта максима, если посмотреть на нее под другим углом зрения, прекрасно иллюстрирует рассматриваемый случай.



Мысль об убийстве Банни была невероятной, чудовищной, и тем не менее мы постоянно возвращались к ней, убеждали себя в том, что альтернативы нет, разрабатывали планы, которые выглядели бредовыми и невыполнимыми, однако на деле неплохо сработали... Что тут еще сказать? Месяцем-двумя раньше меня ужаснула бы любая мысль о преступлении. Но в то воскресенье, когда я стоял и смотрел на самое что ни на есть настоящее убийство, мне казалось, на свете нет ничего легче. Раз — и он сорвался, два — и все было кончено.

Почему-то этот отрывок дается мне с трудом — может быть, потому, что тема его неразрывно связана для меня с множеством ночей, похожих на эту: ноющая боль в животе, истерзанные нервы, стрелка часов словно навечно застыла между четырьмя и пятью часами утра. Не добавляет вдохновения и сознание того, что все попытки анализа здесь, в общем и целом, бессмысленны. Я не понимаю, зачем мы сделали это, не уверен, что при аналогичных обстоятельствах мы не сделали бы этого снова, и то, что я на свой лад сожалею о содеянном, уже ничего не меняет.

Сожалею я и о том, что главная на самом-то деле часть моего рассказа предстает перед вами несостоятельным, куцым наброском. Я заметил, что даже самые наглые и хвастливые убийцы теряются, когда им приходится рассказывать о своих преступлениях. Не так давно я купил в книжном магазине аэропорта автобиографию одного печально известного маньяка и был разочарован, не найдя в ней ровным счетом никаких красочных подробностей. На очередном захватывающем месте (дождливая ночь, безлюдная улица, вот-вот на нежной шейке жертвы № 4 сомкнутся стальные пальцы) автор неожиданно и даже как будто стесняясь перескакивал на какую-нибудь совершенно постороннюю тему. (Известно ли читателю, что в тюрьме он прошел IQ-тест? И что его результат оказался почти таким же, как у Джонаса Солка?<sup>[92]</sup>) Большую часть книги составляли постные старушечьи разглагольствования о тюремной жизни — плохая кормежка, забавы на прогулках, скучные арестантские хобби. Пять долларов были выброшены на ветер.

Впрочем, в определенном смысле я догадываюсь, что чувствует мой коллега. Нельзя сказать, что «все провалилось в темноту» — ничего подобного, просто в момент преступления возникает какой-то примитивный притупляющий эффект, из-за него-то оно и расплывается, ускользая из цепких щупалец памяти. Должно быть, этот же эффект объясняет способность охваченных паникой матерей прыгать в ледяную воду или бросаться в пылающий дом, спасая ребенка, и именно благодаря

ему сломленный горем человек порой может не обронить на похоронах ни единой слезинки. Есть вещи, которые настолько ужасны, что осознать их сразу просто невозможно. Есть и такие — обнаженные, мельтешащие, непреходящие в своем кошмаре, — осознать которые на самом деле невозможно в принципе. Только потом, в одиночестве, среди воспоминаний, начинает брезжить некоторое подобие понимания — когда пепел остыл, когда плакальщицы разошлись, когда ты вдруг оглядываешься и видишь, что отныне живешь в совершенно ином мире.

Мы вернулись к машине. Снегопад еще не начался, но притихшие, настороженные деревья уже съжились под покровом неба, словно заранее ощущая тяжесть льда, который покроет их ветви с наступлением ночи.

— Господи, только посмотрите на эту грязь, — воскликнул Фрэнсис, когда мы проскочили очередную выбоину. Машину тряхнуло, и на стекло с глухим всплеском обрушился веер бурых брызг.

Генри переключил на первую передачу.

Новая выбоина — челюсти у меня лязгнули, как капкан. Вздывая фонтаны свежей грязи, засвистели шины, и, едва было выбравшись из ямы, мы ухнули в нее обратно. Генри чертыхнулся и дал задний ход.

Фрэнсис, опустив стекло, высунулся наружу:

— Глуши мотор, из этой нам точно не...

— Мы еще не застряли.

— А я говорю, застряли. Ты только загоняешь нас глубже. Господи, Генри, да выключи...

— Заткнись.

Взвизгнули задние шины. Близнецы, сидевшие по обе стороны от меня, обернулись посмотреть на летящую из-под колес грязь. Генри снова дернул рычаг, и одним триумфальным рывком машину вынесло из ямы.

Со вздохом облегчения Фрэнсис обмяк на сиденье. Он был осторожным водителем и нервничал всякий раз, когда за рулем оказывался Генри.

Добравшись до города, мы направились к дому Фрэнсиса. Близнецы и я должны были разойтись по домам, а Генри и Фрэнсис — привести в порядок машину. Генри заглушил двигатель, и с последним звуком мотора наступила пугающая тишина.

Он поймал мой взгляд в зеркале заднего вида:

— Нам надо кое-что обсудить.

— Что именно?

— Когда ты вышел из общежития?

— Примерно в четверть третьего.

— Тебя кто-нибудь видел?

— Да нет, вроде никто.

Остывая после трудной дороги, машина пощелкивала, шипела и оседала с чувством выполненного долга. Генри собрался сказать что-то еще, но тут Фрэнсис вскинул руку:

— Смотрите! Это что, снег?

Близнецы прильнули к стеклам. Генри, ноль внимания, сидел, закусив губу. Наконец произнес:

— Мы вчетвером были в «Орфеуме» — двойной сеанс, с часу до четырех сорока пяти. После чего немного прокатились по городу и вернулись домой... — он сверился с часами, — в пять пятнадцать. Это что касается нас. Что делать с тобой, не совсем понятно.

— А почему бы мне не сказать, что я был с вами?

— Потому, что тебя с нами не было.

— Да, но кто об этом знает?

— Кассирша в «Орфеуме», вот кто. Мы заплатили за билеты стодолларовой купюрой, и, можешь быть уверен, эта девушка нас запомнила. Мы сели на балконе и выскользнули через запасной выход спустя минут пятнадцать после начала первого фильма.

— Но ведь я спокойно мог встретить вас уже в кинотеатре?

— Мог. Если бы у тебя была машина. Учти: сказать, что ты взял такси, нельзя, так как это легко проверить. Кроме того, ты в это время как раз гулял по кампусу. Говоришь, перед тем как пойти к нам, ты был в Общинах?

— Да.

— Значит, на мой взгляд, все, что тебе остается, — это сказать, что оттуда ты пошел прямо домой. Не идеальная версия, но лучшей альтернативы нет. Поскольку вполне вероятно, что сейчас тебя увидят, придется сочинить, что ты таки встретился с нами, но уже после фильма. Скажем, мы позвонили тебе около пяти и подобрали на стоянке. Ты доехал с нами до дома Фрэнсиса и вернулся к себе пешком — конечно, выходит не слишком гладко, но придется этим удовольствоваться.

— Хорошо.

— Когда окажешься в общежитии, проверь, не оставлял ли кто для тебя сообщений между половиной четвертого и пятью. Если да, нужно будет придумать причину, по которой ты не смог ответить на звонки.

— Слушайте, да ведь это и вправду снег, — прошептал Чарльз.

Мелкий снежок, едва различимый на фоне сосен.

— И последнее, — сказал Генри. — Не надо вести себя так, будто с минуты на минуту ожидаешь услышать какую-то исключительно важную новость. Иди домой. Почитай книгу. Думаю, сегодня нам уже не стоит пытаться связаться друг с другом — разумеется, за исключением крайней необходимости.

— Никогда не видел, чтобы снег шел почти в начале мая, — отрешенно произнес Фрэнсис, глядя наружу. — Еще вчера было плюс двадцать.

— А был на этот счет прогноз? — спросил Чарльз.

— Не знаю, не слышал.

— Нет, вы только посмотрите... Практически накануне Пасхи!

— Не вижу повода для оживления, — мрачно отозвался Генри. Он не хуже фермера разбирался в том, как погодные условия влияют на всхожесть, рост, сроки цветения и тому подобное. — Теперь погибнет все, что успело распуститься.

Я не на шутку замерз и изо всех сил спешил домой. На апрельский пейзаж убийственным оксюмороном опускалась апатия ноября. Снег уже шел всюду. Рыхлые снежинки невесомо парили среди весенней листвы, словно преодолев земное притяжение, и пейзаж был похож на заколдованную страну, где уже не действуют привычные законы природы. Тропинка шла прямо под цветущими яблонями, дрожавшими в сумерках колонной гигантских светлых зонтов. Снежные хлопья сонно и мягко заполняли их кроны. Я пренебрег этим зрелищем и только ускорил шаг. Минувшая зима поселила во мне безотчетный страх перед снегом.

Никаких сообщений на вахте не оказалось. Я поднялся к себе, переоделся, подумал, что делать со снятой одеждой, решил было постирать, но, побоявшись, что это покажется подозрительным, в конце концов просто запихал ее на самое дно мешка с грязным бельем. Потом сел на кровать и уставился на циферблат.

Пора было ужинать, тем более что за весь день во рту у меня не было ни крошки, однако есть совсем не хотелось. Я подошел к окну, посмотрел, как под высокими арками света на теннисных кортах кружатся снежинки, и снова сел на кровать.

Минута тянулась за минутой. Та непонятная анестезия, которая помогла мне пережить недавнее событие, потихоньку испарялась, и с каждой секундой мысль о том, что мне предстоит просидеть всю ночь одному, становилась все более и более невыносимой. Я включил радио,

выключил его, взял в руки книгу. Поняв, что не могу на ней сосредоточиться, открыл другую. Прошло чуть больше пяти минут. Я снова взялся за первую и тут же отложил ее. Затем, прекрасно понимая, что этого делать не стоит, спустился к телефону и набрал номер Фрэнсиса.

Он снял трубку после первого же гудка:

— Привет, что случилось?

— Ничего. Я так просто.

— Точно?

На заднем плане я услышал негромкую речь Генри. Отвернувшись от трубки, Фрэнсис что-то сказал ему.

— Что поделяваете?

— Ничего особенного, решили немного выпить. Подожди-ка секунду, — добавил он, отреагировав на невнятную реплику Генри.

Настала пауза, потом до меня долетели обрывки разговора, и наконец в трубке раздался деловитый и строгий голос Генри:

— В чем дело? Ты где?

— У себя.

— Зачем ты звонишь?

— Я просто подумал, может, я бы зашел к вам — ну, пропустить чего-нибудь или так посидеть?

— Неудачная мысль. Я как раз уходил — твой звонок застал меня у двери.

— Что собираешься делать дальше?

— Честно говоря, я собираюсь принять ванну и лечь спать.

В трубке повисла тишина.

— Алло?

— Генри, я себе места не нахожу. Просто не знаю, что делать.

— Все что угодно, — дружеским тоном отозвался он. — Главное, никуда не отлучайся.

— А что плохого, если я...

— Ты никогда не пробовал в минуты беспокойства думать на другом языке? — оборвал меня Генри.

— Что-что?

— Это позволяет держать себя в руках, не дает мыслям разбегаться. Хорошее упражнение в любой ситуации. Или можешь попробовать то, что делают буддисты.

— Чего?

— В дзен-буддизме есть практика, которая называется «дза-дзен», — если не ошибаюсь, похожая существует в тераваде под названием

«саматха». Нужно сесть и остановить взгляд на голой стене. Какие бы чувства ты ни испытывал, какими бы сильными или даже непреодолимыми они ни казались, следует оставаться неподвижным. И смотреть на стену. Разумеется, для успешного результата требуется сохранять сидячее положение как можно дольше.

Снова повисла пауза, в течение которой я пытался подыскать нужные слова, чтобы выразить все, что я думаю об этом идиотском совете.

— Ладно, слушай, я очень устал, — продолжил Генри, прежде чем я успел собраться с мыслями. — Увидимся завтра на занятиях.

— Генри? — спохватился я, но он уже положил трубку.

В полной прострации я вернулся в комнату. Очень хотелось выпить, но никакой выпивки у меня не было. Я сел на кровать и уставился в окно.

Снотворное кончилось, я прекрасно это знал, но все равно встал и достал из ящика стола пузырек — проверить на всякий случай. Там был только витамин С, который мне дали зимой в медпункте. Маленькие белые кругляшки. Я высыпал их на стол и составил из них несколько фигурок, затем, вспомнив про эффект плацебо, проглотил одну витаминку — бесполезно.

Я сидел не шевелясь, стараясь ни о чем не думать. Было такое ощущение, будто я жду чего-то, что бы сняло напряжение и помогло мне развешаться, хотя ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем я не мог вообразить абсолютно ничего подобного. Казалось, прошла вечность. И вдруг меня пронзила страшная мысль: «Неужели это оно? Неужели так теперь будет всегда?»

Я посмотрел на часы. Прошло чуть больше минуты. Я встал и, даже не потрудившись запереть дверь, пошел к Джуди.

Каким-то чудом Джуди оказалась у себя — она была заметно под газом и красила губы.

— Привет, — сказала она, не отрываясь от зеркала. — Не хочешь на вечеринку?

Даже не помню, что я ей ответил, что-то насчет плохого самочувствия.

— Угостись вон рогаликом, — предложила она, изучая в зеркале свой профиль.

— Мне бы лучше снотворного, если есть.

Она вкрутила помаду, хлопнула колпачком и выдвинула ящик туалетного столика. На самом деле это был вовсе не туалетный столик, а обычный письменный стол из общажного инвентаря, точно такой же, как у меня. Но Джуди, словно дикарь, который, будучи не в состоянии понять прямое назначение стола, превратил бы его в подставку для оружия или,

например, увитый цветочными гирляндами фетиш, целенаправленно переоборудовала его в косметический полигон с оборками из гофрированного шелка по периметру и стеклянной столешницей, на которой возвышалось трельяжное зеркало с подсветкой. Порывшись в чудовищной свалке пудрениц и карандашей, она вытащила какой-то пузырек, рассмотрела его на свет, швырнула в мусорную корзину и протянула мне другой:

— Вот это покатит.

Я повертел его в руках. На дне лежали две коричневатые таблетки, а на этикетке было всего два слова: ОТ БОЛИ.

— Это что — анацин какой-нибудь? — недовольно спросил я.

— Они нормальные, выпей одну. Сволочная погода, правда?

— Угу, — промычал я в ответ и, проглотив таблетку, вернул пузырек.

— Да ладно, оставь себе, — великодушно бросила она, вновь поглощенная своим туалетом. — Блин, вечно здесь, в Вермонте, снег этот сраный. Не пойму, с какого перепуга я вообще сюда приперлась. Пива хочешь?

У нее в комнате, в шкафу, был холодильник. Чтобы добраться до него, надо было преодолеть обширные залежи поясов, шляп и кружевных блузок.

— Не, я не буду, — сказала она, когда я протянул ей бутылку. — И без того уже развезло. Кстати, ты ведь так и не пошел на то сборище возле Дженнингса?

— Нет, — ответил я, сделал глоток и замер с бутылкой у губ. В запахе и вкусе пива было что-то странное, и вдруг я вспомнил: Банни, его тяжелое дыхание, пенящаяся лужица пива на земле. Бутылка, со звяканьем прыгающая по склону обрыва.

— И правильно сделал. Было холодно, да еще группа вдобавок лажала. Видела там твоего друга, как его... Полковника, во.

— Кого?

Она засмеялась:

— А ты не в курсе? Это его Лора Стора так зовет. Она одно время жила в соседней с ним комнате, и он просто задолбал ее своим Джоном Филипом Суза — крутил эти марши целыми сутками.

Имелся в виду Банни. Я опустил бутылку. Но все внимание Джуди, слава богу, было сосредоточено на подводке бровей.

— Знаешь, вообще-то мне кажется, у Лоры что-то нервно-пищевое — не анорексия, а эта... Короче, как у Карен Карпентер,<sup>[93]</sup> когда люди специально суют себе два пальца в рот. Мы с Трэйс вчера вечером поехали с ней в «Бистро», и, на полном серьезе, она там так обожралась, что аж

дышать не могла. Потом пошла проблежаться в мужской туалет, а мы с Трэйс такие сидим и смотрим друг на друга: типа, это как? нормально, да? А в конце Трэйс мне все рассказала... Короче, ты помнишь, когда Лора была в больнице, типа, на тему моноклеоза? Так вот, на самом-то деле...

Она продолжала трещать, а я смотрел на нее, осаждаемый своими жуткими мыслями. Вдруг до меня дошло, что она замолчала и теперь вопросительно смотрит на меня, судя по всему, ожидая ответа.

— Что-что? — переспросил я.

— Я говорю, ты когда-нибудь слышал что-нибудь дебильней?

— М-мм...

— Такое впечатление, что ее родителям просто по барабану. — Она задвинула ящик с косметикой и повернулась ко мне: — Ну и фиг с ними. Так что, идешь на вечеринку?

— А кто устраивает?

— Ну ты и тормоз — Джек Тейтельбаум, кто ж еще? В Дурбинсталском подвале. Вроде как должна играть Сидова группа, кстати, на ударных там снова Моффат. А еще что-то такое говорили про стриптиз в клетке. Короче, думай скорей, и пошли.

Ответить у меня не поворачивался язык. Категорический отказ от приглашений Джуди стал рефлексом настолько прочным, что я просто не мог заставить себя сказать «да». Но тут я представил себе свою комнату — кровать, стол, комод, брошенные книги.

— Да хватит тебе, — кокетливо сказала Джуди. — Ты и так никогда со мной не ходишь.

— Ладно, уговорила. Дай только пальто захвачу.

Только гораздо позже я узнал, что за снадобье дала мне Джуди, — демерол. Когда мы пришли на вечеринку, он уже начал потихоньку действовать. Цвета, очертания, снежная кутерьма за окном, грохот Сидовой группы — все было мягким, утешным, всепрощающим. В лицах людей, прежде мне отвратительных, я замечал странную красоту. Я всем улыбался, и все улыбались в ответ.

Джуди (ах, Джуди, благослови ее Бог) оставила меня в компании того самого Джека Тейтельбаума и какого-то парня по имени Ларс и ушла, чтобы принести нам выпить. Все вокруг было омыто небесным светом. Я слушал, как Ларс и Джек разговаривают о пинболе, мотоциклах, женском кикбоксинге, и был искренне тронут их попытками вовлечь меня в беседу. Ларс предложил мне тяжку травы. Жест показался мне несказанно душевным, и внезапно я понял, что был несправедлив к моим сотоварищам



по колледжу. Это были простые, хорошие люди, соль земли, люди, знакомство с которыми я должен был почитать за честь.

Пока я пытался придумать, как же облечь это прозрение в слова, Джуди вернулась с выпивкой. Я прикончил свою порцию и, отправившись за новой, ощутил, что бреду в приятном, текучем тумане. Кто-то угостил меня сигаретой. Я увидел Джада и Фрэнка — Джад красовался в картонной короне с эмблемой «Бургер-кинга». Как ни странно, этот убор был ему к лицу. С запрокинутой в диком хохоте головой, с огромной кружкой пива в руках, он походил на какого-то мифического ирландского героя — Кухулина или, может быть, Брайана Бору. В задней комнате Клоук играл в пул. Я незаметно понаблюдал за ним — с мрачной миной он натер мелом кий и нагнулся над столом. *Щелк*. Разноцветные шары разлетелись по полю. Перед глазами у меня поплыли пятна света. Я задумался о молекулах, атомах и прочих бесконечно малых, невидимых глазу частицах.

Потом я помню, что меня начало мутить и я стал протискиваться к выходу, на воздух. Я видел дверь, приглашающе подпертую кирпичом, чувствовал на лице холодную струю сквозняка. Потом... не знаю, наверно я отключился, потому что в следующий момент я уже стоял, прислонившись к стене, и мне что-то говорила какая-то незнакомая девушка.

Постепенно до меня дошло, что, должно быть, я оказался с ней рядом уже некоторое время назад. Похлопав глазами, я предпринял отважную попытку поймать ее в фокус. Очень симпатичная: добродушное курносое лицо, темные волосы, веснушки, голубые глаза. Я уже видел ее, в очереди у стойки или где-то еще, и не обратил особого внимания. И вот она стоит передо мной, как видение, пьет красное вино из пластикового стаканчика и называет меня по имени.

Я не мог разобрать, что она говорит, но тембр ее голоса — хрипловатый, жизнерадостный, необъяснимо приятный — различал даже сквозь шум. Я наклонился — она была невысокой, метр пятьдесят с небольшим, — и приставил к уху ладонь:

— Чего?

Рассмеявшись, она привстала на цыпочки и приблизила лицо вплотную. Запах духов. Жаркие волны шепота, бьющие в щеку.

Я ухватил ее за запястье.

— Здесь слишком шумно, — проговорил я ей на ухо, задев губами прядь волос. — Давай переместимся.

Она снова засмеялась:

— Но мы же только вошли. Ты сказал, что замерз.

«Хмм...» — это меня озадачило. Ее бледные глаза выдавали скуку и,

казалось, разглядывали меня с какой-то интимной насмешкой.

— Я хотел сказать, куда-нибудь, где потише.

Она перевернула стаканчик и посмотрела на меня сквозь прозрачное доньшко:

— К тебе или ко мне?

— К тебе, — не раздумывая ни секунды, ответил я.

С ней было хорошо. Смешки в темноте, разметавшиеся по моему лицу волосы и забавные короткие придыхания, совсем как у тех случайных девушек в старших классах. Мои ладони уже почти забыли, что такое тепло чужого тела. Когда, спрашивается, я в последний раз вот так целовался? Сто лет назад.

Странно думать, как просто все бывает. Вечеринка, несколько коктейлей, прелестная незнакомка. Именно так и жило большинство моих однокашников. Потом, за завтраком, они рассказывали друг другу о своих любовных приключениях с таким смущенным видом, будто эта милая, безобидная слабость, занимавшая в каталоге грехов графу где-то посередине между пьянством и обжорством, на самом деле была верхом разврата.

Постеры, засохшие цветы в пивной кружке, зеленоватая подсветка магнитофона. Все это очень напоминало мою провинциальную юность, но казалось невероятно далеким и невинным, как нечаянно всплывший эпизод выпускного бала. Ее блеск для губ на вкус был как жевательная резинка. Я зарылся лицом в нежную, горьковато пахнущую шею и принялся раскачивать податливое тело — что-то шепча, бормоча, чувствуя, как проваливаюсь все глубже и глубже во мрак полузабытой жизни.

Я проснулся в абсолютной панике. Перед глазами дьявольским красным светом мигали электронные часы — 02:30. Мне приснился сон, в общем-то совсем не страшный: мы с Чарльзом ехали в поезде и второпях пробирались от тамбура к тамбуру, пытаясь от кого-то скрыться; вагоны были набиты народом с вечеринки — Джуди, Джек, Джад в картонной короне. Однако весь сон напролет меня не покидало ощущение, что все это не важно, что у меня есть какая-то более насущная проблема, вот только никак не удастся вспомнить, в чем она заключается. Потом я вспомнил и сразу проснулся.

Ощущение было такое, как будто, очнувшись от кошмара, я попал в еще худший кошмар. Лихорадочно хлопая по стене в поисках выключателя, я вдруг с ужасом понял: это не моя комната. Непонятные очертания, незнакомые тени угрожающе обступили меня со всех сторон; я никак не

мог взять в толк, где нахожусь, и несколько мгновений был во власти дикой мысли, уж не умер ли я? Вдруг под боком я почувствовал чье-то тело и инстинктивно отпрянул. Потом тихонько толкнул его локтем — никакой реакции. Минуту-другую я лежал, стараясь собраться с духом, затем встал, нашарил в потемках свои вещи и, кое-как одевшись, ушел.

Выйдя из здания, я поскользнулся на обледенелой ступеньке и спикировал носом в самый настоящий сугроб. Помедлив пару секунд, я поднялся на колени и с изумлением огляделся. Несколько запоздалых снежинок — еще куда ни шло, но я никогда бы не подумал, что погода может измениться так стремительно, а главное, до такой степени. От цветов не осталось и следа, лужайки как не бывало. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралось чистое гладкое покрывало голубоватого искрящегося снега.

Саднило ладони, вдобавок я, кажется, сильно ушиб локоть. Не без труда поднявшись на ноги, я обернулся посмотреть, откуда же я вышел, и с ужасом понял, что это был корпус Банни. Черное окно его комнаты на первом этаже молчаливо воззрилось на меня. Я представил пустую кровать, запасные очки на столе, улыбающиеся в темноте лица на семейных фотографиях.

Вернувшись к себе путаным кружным путем, я повалился на постель прямо в пальто и туфлях. Горел свет (я оставил его, уходя на вечеринку), и я почувствовал себя уязвимым и совершенно беззащитным, но выключать его почему-то не хотелось. Кровать, словно плот, слегка покачивало, и я уперся в пол ногой, чтобы унять эту зыбь.

Потом я уснул и пару часов спал как убитый, пока меня не разбудил стук в дверь. Охваченный новым приступом паники, я вскочил, сию секунду совладать с пальто, которое умудрилось обвиться вокруг ног и теперь сопротивлялось с отчаянием живого существа.

Дверь приоткрылась. Ни звука. «Что, черт возьми, с тобой такое?» — раздался затем чей-то резкий голос, и на пороге возник Фрэнсис. Он стоял и смотрел на меня, как на буйнопомешанного, не снимая затянутую в черную перчатку руку с дверной ручки.

Я прекратил брыкаться и уронил голову на подушку. Я так обрадовался ему, что был готов смеяться от счастья, и в голове у меня был такой кавардак, что, кажется, я таки разразился глупым хихиканьем.

— Франсуа, — проблеял я, как последний идиот.

Закрыв дверь, он подошел и остановился, разглядывая меня. Это действительно был он — снег в волосах, снег на длинном черном пальто.

— С тобой все в порядке? — спросил он, выдержав долгую,

издевательскую паузу. Я протер глаза и предпринял вторую попытку:

— Привет. Извини. Все нормально, правда.

Он продолжал меня разглядывать. Потом снял пальто и, положив его на спинку стула, спросил:

— Чаю не хочешь?

— Нет.

— Тогда я заварю себе, если ты не против.

Когда он вернулся с кухни, я уже худо-бедно пришел в себя. Он поставил чайник на батарею и достал чайные пакетики из ящика стола:

— Вот, присоединяйся. Специально оставлю тебе чашку без трещины. Молока на кухне не было.

Его присутствие действовало успокаивающе. Я сидел, пил чай и смотрел, как он снимает туфли и носки и устраивает их возле батареи на просушку. У него были длинные, узкие ступни — пожалуй, даже слишком длинные для его тощих, костлявых лодыжек. Он пошевелил босыми пальцами, посмотрел на меня:

— Жуткая ночь. Ты выходил на улицу?

Я вкратце рассказал ему о своих похождениях, опустив эпизод с девушкой.

— Ничего себе, — сказал он, ослабив узел галстука. — А я просто слонялся по квартире, пугаясь собственной тени.

— Как остальные? Кто-нибудь звонил?

— Нет. Около девяти позвонила мать, но у меня не было сил с ней разговаривать. Соврал, что сижу над домашней работой.

Я уставился на его руки, которые двигались по столу как самостоятельные существа. Заметив мой взгляд, он прижал ладони к столешнице.

— Нервы, — сказал он.

Какое-то время мы просто сидели молча. Я поставил чашку на подоконник и лег, прислонившись затылком к стене. После демерола в голове осталось что-то вроде эффекта Доплера, словно бы мимо с шумом проносились машины и, затихая, исчезали вдали. Я таращился в пустоту — не знаю, как долго, — но мало-помалу начал улавливать, что Фрэнсис смотрит на меня с каким-то странным интересом. Я что-то пробормотал и, спрыгнув с кровати, шагнул к комоду, чтобы достать алкозельтцер.

От резкого движения в глазах потемнело. Ничего не соображая, я безуспешно пытался вспомнить, куда засунул нужную коробку, как вдруг почувствовал, что Фрэнсис стоит прямо у меня за спиной, и обернулся.

Его лицо оказалось совсем близко. Он положил руки мне на плечи и,

наклонившись, поцеловал в губы.

Это был настоящий поцелуй — медленный, долгий, основательный. Я потерял равновесие и, стараясь не упасть, схватил его за руку; он втянул воздух, его ладони скользнули мне за спину, и, не успев ничего сообразить, я сам уже целовал его. Острый язык, горький, мужской вкус чая и сигарет.

Тяжело дыша, он высвободился и стал целовать мне шею. Мой взгляд ошалело пронесся по комнате: ничего себе ночка.

— Слушай, Фрэнсис, прекрати.

Он уже расстегивал мне верхнюю пуговицу рубашки, но вдруг зашелся сдавленным смехом.

— Болван, ты хоть знаешь, что у тебя рубашка наизнанку?

Обессиленный и растерянный, я тоже засмеялся:

— Хватит, Фрэнсис, отстань от меня.

— Будет здорово, обещаю.

События развивались. По моим издерганным нервам пробежала предательская искра. Глаза Фрэнсиса за стеклышками пенсне казались неправдоподобно большими и порочными. Он быстро снял его и не глядя бросил на комод.

Тут совершенно неожиданно в дверь постучали. Отшатнувшись друг от друга, мы переглянулись.

Фрэнсис тихо выругался и прикусил губу. В ужасе застегивая рубашку непослушными пальцами, я уже раскрыл рот, но он тут же шикнул на меня.

— А вдруг это?.. — прошептал я.

Я хотел сказать «А вдруг это Генри?», но в голове у меня вертелось «А вдруг это полиция?», и я знал: у Фрэнсиса в голове тот же вопрос.

Снова стук, на этот раз более настойчивый. С колотящимся от страха сердцем я добрался до кровати и сел, стараясь придать себе непринужденный вид. Пригладив волосы, Фрэнсис крикнул: «Войдите!».

Мне было так плохо, что я даже не сразу понял, что на пороге всего лишь Чарльз. Он стоял, опершись локтем о дверной косяк, вокруг шеи небрежными петлями был обмотан красный шарф. С первого взгляда было ясно, что он пьян.

— Привет, — кивнул он Фрэнсису. — А ты-то какого черта здесь забыл?

— Слушай, ты напугал нас до смерти.

— Жалко, не знал, что ты тут окажешься. Генри позвонил и выдернул меня из постели.

Мы оба озадаченно смотрели на него, ожидая разъяснений. Он скинул пальто и, повернувшись, остановил на мне напряженный, водянистый

взгляд:

— Ты мне снился.

— Чего?

— Только что вспомнил, — не сразу произнес он. — Сегодня ночью мне приснился сон, и там был ты.

Прежде чем я успел сказать ему, что он мне тоже снился, вмешался Фрэнсис:

— Ладно, Чарльз, что все-таки случилось?

Чарльз пригладил растрепанные волосы.

— Ничего, — ответил он и, сунув руку в карман пальто, достал оттуда пачку сложенных вдоль листков. — Ты сделал домашнее задание по греческому?

Я хлопнул себя по лбу. За все выходные я даже ни разу не вспомнил про задание на понедельник.

— Генри подумал, ты мог забыть. Он позвонил и попросил принести тебе на всякий случай, чтобы ты списал.

Чарльз набрался под завяз, хотя по голосу этого вовсе не чувствовалось. Слова текли плавно, но от него за версту несло виски, и он с трудом держался на ногах. Лицо его ангельски сияло и румянилось.

— Он больше ничего не сказал? Может, он уже что-то слышал?

— Генри очень расстроен из-за погоды. Пока ничего такого он не слышал. Слушайте, ну и жарница здесь у вас, — вздохнул он, скидывая пиджак.

Фрэнсис, закинув ступню одной ноги на колено другой и придерживая на лодыжке чашку, поглядывал на Чарльза с мрачной хитрецей. Пошатнувшись, как кегля, тот резко повернулся к нему:

— Чего уставился?

— Скажи-ка, нет ли у тебя случайно в кармане бутылки?

— Нет.

— Глупости, Чарльз, что же еще может там так плескаться?

— Ну и что с того?

— Я бы не отказался от глоточка.

— Ах так, ну ладно, — недовольно пробубнил Чарльз. Он взял пиджак и вынул из внутреннего кармана плоскую бутылку, где еще оставалось немного виски. — Держи. Только не будь свиньей.

Фрэнсис допил чай и взял бутылку.

— Спасибо, — сказал он и вылил все содержимое в чашку. Я взглянул на него: темный костюм, прямая осанка, небрежно скрещенные ноги — сама респектабельность, если не считать босых ног. Внезапно я понял, что

смотрю на него взглядом постороннего, взглядом, каким я смотрел на него при нашей первой встрече, и вижу невозмутимого, благовоспитанного, богатого, безупречного во всех отношениях юношу. Иллюзия была настолько убедительной, что, даже понимая ее вопиющее несоответствие действительности, я ощутил странное облегчение.

Он залпом выпил виски.

— Чарльз, нам нужно тебя протрезвить. Через пару часов уже занятие.

Чарльз со вздохом плюхнулся в изножье кровати. Он выглядел изможденным, но признаком этого была не смертельная бледность, не круги под глазами, как бывает обычно, а румяная и сонная тоска.

— Знаю, — отозвался он. — Надеялся, что пройдуся и все выветрится.

— Тебе стоит выпить кофе.

Он утер капли пота со лба:

— Нет, одним кофе здесь не поможешь.

Я разгладил листки и, сев за стол, начал переписывать упражнения.

Фрэнсис подсел к Чарльзу:

— А где Камилла?

— Спит.

— Как провели вчерашний вечер? Пьянствовали?

— Нет. Квартиру убирали, — обиженно бросил Чарльз.

— Смеешься?

— Нет, серьезно.

Я тоже все никак не мог протрезветь, и поэтому смысл переписываемого отрывка от меня упорно ускользал. Мозг разве что случайно выхватывал какое-нибудь предложение из толщи текста. Устав от долгого марша, солдаты остановились, чтобы принести жертвы в храме. Я вернулся на родину и сказал, что видел Горгону, но при этом не обратился в камень.

— У нас дома полно тюльпанов, можешь взять себе, если хочешь, — ни с того ни с сего предложил Чарльз.

— В смысле?

— Пока все не завалило снегом, мы выбрались из дома и нарвали сколько смогли. Теперь они повсюду, даже в стаканах.

«Тюльпаны», — повторил я про себя, уставившись на мешанину букв. Интересно, как называли их древние греки, если только они вообще у них росли? На тюльпан похожа буква «пси». Внезапно среди непроходимой алфавитной чащи один за другим стали появляться черные тюльпанчики, быстро и хаотично, как капельки дождя.

Текст сливался в одно пестрое пятно. Я закрыл глаза и долго сидел в

полудреме, пока не услышал, что меня зовет Чарльз. Не вставая, я обернулся — они собрались уходить; сидя на кровати, Фрэнсис завязывал шнурки.

— Куда вы?

— Домой, переодеться. Уже поздно.

Я совсем не хотел оставаться в одиночестве, но вместе с тем ощутил необъяснимо острое желание, чтобы они оба поскорее убрались. Уже встало солнце, и, уходя, Фрэнсис выключил лампу. От бледного, сдержанного утреннего света показалось, что стало ужасно тихо.

— Пока, — бросил он, и вскоре с лестницы донеслись их удаляющиеся шаги.

В этот ранний час все было приглушенным и выцветшим — грязные чашки, незаправленная кровать, снежинки, проплывавшие за окном с угрожающим спокойствием.

В ушах звенело. Дрожащей, испачканной чернилами рукой я снова принялся выводить буквы, и скрип пера по бумаге звучал непривычно громко. Я подумал о комнате Банни, об ущелье, о бесконечных пластах тишины, которые пролегли между ними.

— А где же Эдмунд? — спросил Джулиан, когда мы открыли учебники.

— Полагаю, дома, — отозвался Генри. Он пришел перед самым началом, и у нас не было возможности поговорить. Он выглядел спокойным, хорошо отдохнувшим — куда больше, чем того заслуживал.

Остальные тоже держались на удивление уверенно. Даже Фрэнсис и Чарльз были аккуратно одеты, гладко выбриты и вели себя так, словно решительно ничего не произошло. Камилла сидела между ними, небрежно примостив локоть на стол и подперев щеку ладонью, безмятежная, как орхидея.

Джулиан недоуменно посмотрел на Генри:

— Он что, болен?

— Не знаю.

— Возможно, он немного опаздывает из-за погоды. Думаю, нам стоит подождать еще минуту-другую.

— Да, давайте подождем, — сказал Генри и снова уткнулся в книгу.

После занятия, когда, покинув Лицей, мы подошли к березовой роще, Генри огляделся, желая удостовериться, что поблизости никого нет. Мы сбились плотнее, ожидая, что он скажет, и стояли, пуская облачка пара, но



тут я услышал, что меня кто-то зовет, и заметил вдалеке доктора Роланда, ковылявшего по снегу с проворством ожившего трупа.

Пожав плечами, я переглянулся с остальными и пошел ему навстречу. Тяжело дыша, то и дело прерывая речь кашлем и бормотанием, он принялся рассказывать мне о каком-то деле, ради которого я должен срочно заглянуть к нему в кабинет.

Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, подстраивая свой шаг под его немощное шарканье. Поднимаясь по лестнице, доктор Роланд то и дело останавливался, чтобы пнуть мелкий мусор, пропущенный уборщицами, и всякий раз сопровождал это назидательными комментариями. Он продержал меня с полчаса. Когда наконец-то с опухшими ушами и рассыпающейся стопкой листов под мышкой я вылетел на крыльцо, возле рощи уже никого не было.

Не знаю, чего я ожидал, но за ночь земля определенно не сорвалась с орбиты. Студенты сновали туда-сюда, спешили на занятия, все шло своим чередом. Небо скрывала серая пелена, с гор дул ледяной ветер.

Захватив в кафетерии молочный коктейль, я пошел домой. В коридоре я чуть не столкнулся с Джуди и был награжден свирепым взглядом. Под глазами у нее были черные круги, весь вид выдавал жестокое похмелье.

— О, привет, — пробормотал я, осторожно огибая ее. — Извини.

— Эй, стой! — раздалось в ответ.

Я обернулся.

— Так, значит, ты вчера гостил у Моны Бил?

Сначала я даже не понял, что она имеет в виду:

— Чего?

— Ну и как она? — ехидно продолжала Джуди. — Бойкая девушка?

Смутившись, я пожал плечами и пошел было дальше, но она на этом не успокоилась и схватила меня за локоть:

— Кстати, ты в курсе, что у нее есть друг? Тебе повезет, если он ничего не узнает.

— Мне все равно.

— В прошлом семестре он избил Брэма Гернси — думал, тот пытается ее клеить.

— Если кто кого и клеил, то это она меня.

Искоса взглянув на меня, Джуди ухмыльнулась:

— Я просто хотела сказать, что она в общем-то не особо выбирает, кому давать.

Перед самым пробуждением мне приснился кошмар.

Я был в большой старомодной ванной комнате, как в фильмах с За За Габор, — золоченая фурнитура, зеркала, розовая плитка. В углу на тонкой высокой подставке стоял круглый аквариум с золотыми рыбками. Я подошел посмотреть на них, но, едва стихло кафельное эхо шагов, услышал равномерное «кап-кап-кап» из крана.

Ванна того же розового цвета была до краев наполнена водой, и на дне, полностью одетый, лежал Банни. Глаза у него были открыты, очки перекошены, зрачки — разных размеров: один огромный и черный, другой не больше точки. У поверхности слабо колыхался кончик его галстука.

Кап-кап-кап. Я не мог пошевелиться. Вдруг до меня донеслись приближающиеся шаги и голоса. С ужасом я осознал, что нужно во что бы то ни стало спрятать труп, вот только куда? Окунув руки в ледяную воду, я схватил его под мышки и стал вытаскивать из ванны, но ничего, ничего не получалось... Его голова беспомощно откинулась назад, открывшийся рот заполнила вода...

Пытаясь совладать с его тяжестью, пятаюсь судорожными рывками, я задел аквариум, и тот с грохотом разлетелся, ударившись об пол. У моих ног среди осколков забились золотые рыбки. Кто-то забарабанил в дверь. От страха я выпустил труп, и, подняв фонтан брызг, тот с жутким всплеском рухнул обратно в ванну, и я проснулся.

Уже почти совсем стемнело. В груди страшно и беспорядочно стучало, как будто о ребра, пытаюсь вырваться на волю, в смертном отчаянии билась пойманная птица. Тяжело дыша, я распластался на кровати.

Когда меня немного отпустило, я отважился сесть. Меня била дрожь, все тело покрывал липкий пот. Длинные тени, зловещий оранжево-розовый закат. За окном на снегу играли дети, в их смехе и криках чудилось что-то безумное. Зажмурившись, я надавил кулаками на веки. Белесые пятна, яркие точки. О боже...

Вода ринулась из бачка с таким ревом, что казалось, сейчас поглотит меня. Все было как обычно, точно все-все мои пьяные встречи с унитазом в барах и на заправках сложились в одну: фаянсовое жерло крупным планом, долгое клокотание сливного водоворота, холод кафеля на щеке. Умываясь, я заплакал. Слезы тут же мешались с холодной водой в блестящих розовых ковшиках ладоней, и поначалу я даже не заметил, что плачу. Лишенные всяких эмоций всхлипы подступали с произвольной регулярностью, как недавние позывы сухой рвоты — стоило стихнуть одному, как тут же возникал другой. Я не мог объяснить эти слезы, они были чем-то посторонним, чем-то никак не связанным со мной. Я поднял голову и с

отстраненным интересом посмотрел на свое плачущее отражение в зеркале. Выглядел я ужасно. «Что все это значит?» — спросил я себя. Кроме меня, никто и не думал распускаться, я же пошел вразнос и теперь стоял, как Рэй Милланд в «Потерянном уик-энде» — еще немного, и мне тоже примерещится кровожадная летучая мышь.

Из окна сильно дуло. По телу разливалась слабость, но вместе с тем странное облегчение и спокойствие. Я принял горячую ванну, бросив туда добрую горсть ароматических солей из запасов Джуди, и, когда вытерся и оделся, почувствовал себя уже в норме.

*Nihil sub sole novum*,<sup>[94]</sup> — пришло мне на ум по пути в комнату. В бесконечности времени любое действие обращается в ничто.

Когда в тот вечер я прибыл на ужин к близнецам, все уже были в сборе и, расположившись вокруг радио, слушали прогноз погоды с таким видом, словно шла война и передавали очередную сводку с фронта. «В четверг, — вещал бодрый голос диктора, — по-прежнему ожидается прохладная облачная погода, возможны ливни с грозами. Однако окончательное потепление не заставит себя долго ждать, и...»

Генри выключил приемник.

— Если нам повезет, к завтрашнему вечеру от снега не останется и следа. Ричард, здравствуй. Ты сейчас откуда?

— Из дома, а что?

— Так, ничего. Я как раз собирался попросить тебя об одном одолжении.

— Каком?

— Я бы хотел, чтобы ты посмотрел те два фильма и потом пересказал их нам. Что, если я отвезу тебя в «Орфеум» после ужина? Не против?

— Хорошо.

— Понимаю, подобная просьба совсем некстати, учитывая, что завтра у нас занятие, но с нашей стороны было бы крайне неосмотрительно снова появиться в кинотеатре. Если хочешь, Чарльз напишет за тебя домашнее задание, он сам предложил.

— Если взять ту желтую бумагу, которой ты обычно пользуешься, и твою ручку, Джулиан ничего не заметит, — сказал Чарльз.

У Чарльза был просто-таки изумительный талант к подделке чужого почерка, проявившийся, по словам Камиллы, еще в детстве: в четвертом классе — идеальные подписи учителей в таблице успеваемости, к шестому — целые записки от родителей после прогуланных уроков. Я всегда прибегал к его услугам, когда мне требовалась подпись доктора

Роланда на ведомости рабочих часов.

— Честно говоря, мне очень неудобно тебя об этом просить, — сказал Генри. — По-моему, фильмы кошмарные.

И действительно, назвать их шедеврами было трудно. В первом, снятом в начале семидесятых, главный герой бросил жену и отправился в путешествие через всю страну. По пути его занесло в Канаду, где он связался с группой скрывающихся там уклонистов от армии. В конце концов он вернулся к жене, и оба повторно принесли брачные клятвы в ходе смехотворной хипповской церемонии. Хуже всего был саундтрек — сплошные песни под гитару, в которых через строчку звучало слово «свобода».

Второй — «Поля позора» — был сравнительно новым и рассказывал о вьетнамской войне. В этой крупнобюджетной картине было задействовано много известных актеров; правда, она грешила слишком реалистичными, на мой вкус, спецэффектами: оторванные руки-ноги, все в таком духе.

Выйдя из зала, я заметил неподалеку машину Генри с выключенными фарами. В квартире близнецов все сидели, закатав рукава, за кухонным столом и корпели над греческим. Когда мы вошли, они сразу оживились, Чарльз пошел варить кофе, я принялся разбираться в своих пометках. Ни тот ни другой фильм не отличались четкостью сюжетной линии, и пересказ их оказался делом нелегким.

— Но это же ужасно! — кипятился Фрэнсис. — Мне стыдно, что люди подумают, будто мы действительно смотрели эту чушь.

— Подожди-ка, ничего не понимаю, — вмешалась Камилла.

— Я тоже, — сказал Чарльз. — Почему сержант решил сжечь деревню с мирными жителями?

— Именно, — поддержала Камилла. — И что это за мальчик с щенком, который оказался там в самой гуще? Он был как-то знаком с Чарли Шином?

Чарльз превосходно справился с моим заданием. На следующее утро в Лицее я как раз спешно просматривал исписанные собственным почерком листы, когда вошел Джулиан. Он застыл в дверях, посмотрел на пустующий стул и рассмеялся:

— О, нет! Неужели опять?

— Похоже, что да, — отозвался Фрэнсис.

— Разве наши занятия стали настолько скучными? Пожалуйста, передайте Эдмунду, что, если завтра он соизволит осчастливить нас своим присутствием, я постараюсь явить подлинные чудеса красноречия.

К полудню стало очевидно, что синоптики ошиблись. Температура упала на пять градусов, а чуть позже вновь пошел снег.

В тот вечер мы собирались поехать куда-нибудь поужинать, но, когда я и близнецы пришли к Генри, он встретил нас в исключительно дурном настроении:

— Угадайте, кто мне сейчас звонил?

— Кто?

— Марион.

Чарльз так и сел:

— Что ей нужно?

— Хотела узнать, не видел ли я Банни.

— И что ты сказал?

— Ну разумеется, что не видел, — раздраженно ответил Генри. — В последний раз он был у нее в субботу, они должны были встретиться в воскресенье, но он так и не появился.

— Волнуется?

— Не слишком.

— Тогда в чем проблема?

— Ни в чем, — вздохнул он. — Надеюсь, завтра погода улучшится.

Но улучшения не последовало. В среду утром было морозно и солнечно, вдобавок за ночь снежный покров вырос еще на несколько сантиметров.

— Конечно, я не вижу ничего страшного в том, что Эдмунду иногда случается пропустить занятие, — нахмурившись, произнес Джулиан. — Но сразу три подряд? А ведь вам известно, с каким трудом он наверстывает материал.

— Дальше так продолжаться не может, — заключил Генри, когда вечером мы сидели на кухне у близнецов и курили, отодвинув тарелки с недоеденной яичницей.

— А что мы можем поделать?

— Пока не представляю. Знаю одно: его никто не видел уже трое суток, и, если в самое ближайшее время мы не начнем проявлять беспокойство, это будет выглядеть несколько странно.

— Но ведь остальные-то и не думают беспокоиться, — сказал Чарльз.

— С остальными он и общался отнюдь не так часто. Интересно, дома ли Марион? — произнес Генри, взглянув на часы.

— А что?

— Возможно, мне стоит ей позвонить.

— Я тебя умоляю, — закатил глаза Фрэнсис. — Только не надо впутывать в это ее.

— У меня нет ни малейшего намерения впутывать ее во что бы то ни было. Я просто хочу дать ей понять, что никто из нас не видел Банни уже три дня.

— И что, по-твоему, она должна после этого сделать?

— Надеюсь, она позвонит в полицию.

— Ты что, с ума сошел?

— Объясняю: если не позвонит она, это придется сделать нам самим, — отрезал Генри. — Чем дольше о нем никаких известий, тем худший все это приобретает оборот. Я вовсе не хочу, чтобы поднялась вселенская шумиха.

— Но тогда зачем звонить в полицию?

— Затем, что, если мы обратимся к ним не затягивая, не будет вообще никакого шума. Скорее всего, они подумают, что это ложная тревога, но все же пошлют сюда пару человек...

— Если его до сих пор никто не нашел, с чего ты взял, что это удастся какому-то дорожному патрулю?

— Никто не нашел, потому что никто не искал. Он всего в каком-то километре отсюда.

Человеку, снявшему трубку, понадобилось немало времени, чтобы позвать Марион. Генри терпеливо ждал, уставившись в пол, однако постепенно взгляд его начал снова туда-сюда, и, возмущенно фыркнув, он вскинул голову:

— Боже милостивый, что ж так долго? Фрэнсис, дай-ка мне сигарету.

Когда он прикуривал, Марион наконец добралась до телефона.

— О, привет, Марион, — сказал Генри, выпустив клуб дыма. — Рад, что застал тебя. Нет ли там поблизости Банни?

Короткая пауза.

— Так-так, а ты случайно не знаешь, где он? — продолжил Генри, потянувшись к пепельнице.

— Честно говоря, я хотел спросить тебя о том же самом, — сказал он после очередной реплики Марион. — Его уже дня три не было на занятиях.

На этот раз пауза затянулась. Генри слушал с восхитительно невозмутимым лицом, но вдруг его глаза округлились.

— Что? — едва ли не вскрикнул он.

Мы все разом обернулись к нему как ужаленные. Однако тревожный

взгляд его синих глаз был обращен на стену поверх наших голов.

— Понятно, — сказал он наконец.

Снова молчание.

— В любом случае, если ты его увидишь, передай ему, пожалуйста, что я просил позвонить. Буду очень признателен. Запиши мой номер.

Когда Генри положил трубку, выражение его лица было очень странным. Мы по-прежнему не сводили с него глаз.

— Генри, что там такое? — первой спросила Камилла.

— Она сердится, но ни капли не волнуется. Ждет, что он появится с минуты на минуту. Даже не знаю, — сказал он, глядя в пол. — Звучит фантастически, но она сказала, что ее подруга — некая Рика Тальхейм — сегодня видела Банни около Первого вермонтского банка.

Мы потеряли дар речи. Фрэнсис издал скептический смешок.

— Боже мой, но ведь этого быть не может, — произнес Чарльз.

— Конечно же нет.

— Но зачем кому-то сочинять такие небылицы?

— Что только людям не чудится — вот и весь ответ. Разумеется, она не могла его видеть, — повысив голос, добавил Генри, когда заметил испуганный взгляд Чарльза. — Вот только я не знаю, что нам теперь делать.

— То есть?

— По-моему, это не слишком удачный ход — звонить и заявлять об исчезновении человека, если его видели шесть часов назад.

— Так все-таки как мы поступим? Будем ждать?

— Нет, — покусав губу, ответил Генри. — Придется искать какой-то другой выход.

— Куда же, скажите на милость, исчез Эдмунд? — спросил Джулиан утром в четверг. — Не знаю, как долго он собирается отсутствовать, но с его стороны было очень необдуманно не связаться прежде со мной.

Никто не ответил. Удивленный молчанием, он поднял взгляд от книги.

— В чем дело? — спросил он с дружелюбной насмешкой в голосе. — Откуда эти удрученные лица? Полагаю, некоторым из вас до сих пор стыдно за столь неудовлетворительную подготовку к вчерашнему уроку, — добавил он более строгим тоном.

Чарльз с Камиллой переглянулись. Непонятно почему, именно на этой неделе Джулиан нагрузил нас под завязку. С письменными заданиями все более-менее справились, но на чтение пришлось махнуть рукой, и вчерашнее занятие было не раз отмечено мучительным молчанием,

рассеять которое не мог даже Генри.

Джулиан задумчиво посмотрел в окно.

— Прежде чем мы начнем, я попрошу кого-нибудь из вас пойти позвонить Эдмунду и передать, что я настоятельно рекомендую ему присоединиться к нам, если, конечно, он не прикован к постели. Если он не прочитал заданный материал, ничего страшного. Сегодня у нас очень важный урок, и ему не следует его пропускать.

Генри встал, но тут неожиданно вмешалась Камилла:

— Вряд ли он дома.

— Тогда где же он? Куда-то уехал?

— Я не знаю.

Сдвинув на нос очки для чтения, Джулиан посмотрел на нее поверх стекол:

— Как это понимать?

— Мы уже несколько дней его не видели.

Джулиан театрально приподнял брови, изображая наивное изумление, и я в очередной раз подумал, до чего все-таки они с Генри похожи — та же странная смесь холодности и теплоты:

— Ну надо же. Какой курьез! И вы даже не подозреваете, где он может быть?

От ехидной незавершенной нотки в его голосе мне стало не по себе. Я устоял в стол, изучая водянистую рябь бликов от хрустальной вазы.

— Нет, — ответил Генри. — Мы и сами несколько озадачены.

— Надо полагать.

На один долгий, томительный миг Джулиан перехватил его взгляд.

«Он знает, что мы врем, — подумал я в приливе паники. — Просто пока не может догадаться, что именно здесь не так».

После обеда и французского я пошел в библиотеку и засел на втором этаже, обложившись книгами. День был ярким и странным, похожим на сон. Ровная заснеженная лужайка с рассыпанными по ней кукольными фигурками людей напоминала слой сахарной пудры на торте; маленькая собачка с лаем мчалась за мячом; из игрушечных дымоходов шел настоящий дым.

«В это же самое время год назад... — подумал я вдруг. — Чем я занимался?» Мотался с приятелем в Сан-Франциско, копался в книжных магазинах на полках с поэзией и переживал по поводу поступления в Хэмпден. А теперь вот сижу в холодном зале, набросив на плечи пальто, и гадаю, как бы не угодить за решетку.



Где-то жалобно взывала электрическая точилка. Я положил голову на пустые, бессмысленные книги — шепот, негромкие шаги, резкий запах старой бумаги. *Facilis descensus Averno*.<sup>[95]</sup> Несколько недель назад Генри разозлился на близнецов за то, что они оспаривали идею ликвидации Банни, выдвигая аргументы нравственного порядка.

— Хватит нести вздор, — огрызнулся он.

— Но как, — чуть не плача, воскликнул Чарльз, — как вообще это можно оправдать? Это же намеренное, хладнокровное убийство!

— Я предпочитаю думать об этом как о перераспределении материи, — ответил Генри без тени иронии.

Внезапно проснувшись, я обнаружил, что надо мной возвышаются Фрэнсис и Генри.

— Что такое? — всполошился я, протирая глаза.

— Ничего, — ответил Генри. — Давай поговорим в машине.

Не успев толком прийти в себя, я спустился за ними к выходу. Машина была припаркована перед книжным магазинчиком.

— Так что случилось? — снова спросил я, едва мы сели в салон.

— Ты не знаешь, где сейчас Камилла?

— Разве не дома?

— Нет.

— А зачем вообще она вам понадобилась?

Генри вздохнул. В машине было холодно, и его вздох вырвался облачком пара.

— Кажется, началось. Мы с Фрэнсисом видели Марион и Клоука у вахты на въезде — они разговаривали с охранниками.

— Когда?

— Около часа назад.

— Думаешь, они уже успели что-то предпринять?

— Не стоит торопиться с выводами, — ответил Генри, глядя на крышу магазина, блестевшую на солнце ровным слоем льда. — Нужно, чтобы Камилла зашла к Клоуку и попыталась выяснить, в чем дело. Я бы поговорил с ним и сам, но мы практически не знакомы.

— А меня он терпеть не может, — заявил Фрэнсис.

— Я с ним общался пару раз.

— Этого недостаточно. Он в хороших отношениях с Чарльзом, вот только его тоже нигде нет.

Я достал из кармана упаковку «Ролэйдс»<sup>[96]</sup> и, отправив в рот таблетку,

принялся жевать.

— Что ты там ешь? — спросил Фрэнсис.

— «Ролэйдс».

— Пожалуй, дай-ка и мне одну, — сказал Генри. — Думаю, нам стоит снова заехать к близнецам.

На этот раз нам повезло — дверь приоткрылась, и мы увидели настороженное лицо Камиллы. Генри начал было что-то говорить, но она послала ему предупреждающий взгляд.

— Привет, проходите.

Минуя темный коридор, мы молча проследовали за ней в гостиную. Помимо Чарльза там оказался Клоук.

При нашем появлении Чарльз встал. Похоже, он немного нервничал. Клоук, небритый и обгоревший на солнце, остался на месте и окинул нас сонным, безразличным взглядом. За его спиной Чарльз вскинул брови и беззвучно произнес: «Обкурился».

— Привет, — нарушил молчание Генри. — Как поживаешь?

Из груди Клоука вырвался глубокий, мокрый кашель, справившись с которым он взял со столика пачку «Мальборо» и вытряс оттуда сигарету.

— Неплохо. Как сам?

— Отлично.

Он сунул сигарету в угол рта, прикурил и снова закашлялся.

— Какие люди, — поприветствовал он меня. — Как оно вообще?

— Нормально.

— Видел тебя на вечеринке в Дурбинстале.

— Я тебя тоже.

— Как там Мона? — спросил он безразличным, лишенным всякого намека тоном.

— Понятия не имею, — буркнул я и вдруг заметил, что все до единого смотрят теперь на меня.

— Мона? — после недоуменной паузы переспросил Чарльз.

— Есть тут такая, — ответил Клоук. — Второкурсница, живет в одном корпусе с Банни.

— Кстати о Банни, — вставил Генри.

Развалившись в кресле, Клоук перевел взгляд на него. Белки его глаз были красными, веки набрякли.

— А, ну да, мы тут как раз о нем говорили. Вы, значит, его уже пару дней не видели?

— Мы — нет. Думали, может, ты?

Секунду помедлив с ответом, Клоук покачал головой.

— Нет, я-то тем более, — хрипло произнес он и наклонился стряхнуть пепел. — Вообще не пойму, куда он делся. С субботы его не видел, если подумать.

— Я вчера вечером разговаривал с Марион, — сказал Генри.

— Знаю. Вообще-то она волнуется. Встретил ее сегодня в Общинах, сказала, что его не было дома дней пять. Она подумала, может, он уехал к родителям, и позвонила в Коннектикут Патрику, брату его, но он сказал, что его там нет. А потом — Хью в Нью-Йорк, но он сказал то же самое.

— Родителям его она позвонила?

— Блин, нет, конечно. Она ж не хочет подкинуть ему проблем.

Помолчав, Генри спросил:

— Как ты думаешь, где он?

Клоук отвел взгляд и пожал плечами. Вопрос ему явно не понравился.

— Ты ведь знаешь его дольше, чем я. Кстати, кажется, один из его братьев учится в Йеле, нет?

— Ну да, Брейди. В школе бизнеса. Но Патрик вроде тогда сказал, что только что говорил с ним.

— Патрик живет с родителями, так?

— Типа того. Он открыл там какое-то свое дело, спортивный магазин, что ли, теперь пытается его раскрутить.

— А Хью, насколько я знаю, адвокат?

— Да, Хью самый старший. Он сейчас в Нью-Йорке, работает в «Милбэнк Твид».

— Но ведь есть еще один брат, женатый?

— Это как раз Хью и есть.

— Нет, я имею в виду другого.

— А, Тедди. Нет, Банни точно не у него.

— Откуда ты знаешь?

— Тед с женой живут у ее родителей. По-моему, они не особо ладят.

Какое-то время все молчали.

— Где он, по-твоему, в принципе может быть?

Клоук потянулся к столику и стряхнул пепел. Длинные темные волосы, как ширма, заслонили от нас его лицо. Когда он вновь посмотрел на нас, во взгляде его читались тревога и сомнение.

— Ты заметил, — сказал он, — что недели две-три назад у Банни откуда-то вдруг появилось море бабла?

— Что ты хочешь этим сказать? — немного резко спросил Генри.

— Ты же знаешь Банни, он вечно пустой. А вот недавно где-то разжился, и при этом очень неслабо. Может, это ему бабка прислала или

еще кто, но уж точно не родители.

Снова повисла тишина. Генри закусил губу:

— На что ты намекаешь?

— Значит, заметил.

— Да, теперь припоминаю.

Клоук беспокойно поерзал в кресле:

— Дальше все строго между нами, лады?

У меня засосало под ложечкой, и я присел.

— Что именно?

— Даже не знаю, стоит ли об этом говорить.

— Если, по-твоему, это важно, сделай одолжение.

Затянувшись, Клоук смял окурок в пепельнице.

— Ты ведь в курсе, что я приторговываю кокаином? Понемногу, конечно, — поспешно добавил он, — пару грамм там, пару грамм сям. Чисто для себя и друзей. Работа непыльная, да и доход какой-никакой.

Мы все переглянулись. На новость это никак не тянуло. Клоук был одним из самых крупных наркоторговцев на кампусе.

— И что дальше? — поинтересовался Генри.

Клоука такая реакция удивила. Он пожал плечами.

— Ну, в общем, я знаю в Нью-Йорке одного китайца с Мотт-стрит — зверский так-то мужик, но у меня с ним нормальные отношения, он без базара дает мне столько, на сколько я наскребу. Чаще всего кокс, иногда в придачу немного травы, хотя, конечно, с травой тот еще геморрой. Знаю я его уже порядком — зацепились, еще когда вместе с Банни в Сент-Джероме учились. — Он помолчал. — Короче, ты ведь знаешь, что Бан всегда на мели?

— Да, знаю.

— Ну вот, в общем, его вся эта кухня всегда интересовала, реально. Типа, быстрые баксы, круто. Если б у него хоть раз завелись бабки, я б, наверно, взял его в долю — чисто в финансовом плане, конечно, — но, во-первых, у него их никогда не было, а во-вторых, Банни вообще нельзя лезть в такие дела. — Он снова закурил. — Короче, поэтому мне и стремно.

Генри нахмурился:

— Боюсь, я не совсем понимаю.

— В общем, лоханулся я тут пару недель назад — взял его с собой в Нью-Йорк.

Мы уже слышали об этой экспедиции, участием в которой Банни похвалялся буквально на каждом шагу.

— Ну и?

— Не знаю, просто немного стремно, вот и все. Смотри сам — он знает, где живет китаец, так? А теперь ему вдобавок привалило денег, и когда я разговаривал с Марион...

— Думаешь, он поехал туда один? — спросил Чарльз.

— Без понятия. Надеюсь, что нет, само собой. На самом деле я его с этим мужиком не знакомил, и вообще...

— Неужели Банни на такое способен? — вмешалась Камилла.

— Честно говоря, — отозвался Генри, сняв очки и протирая их носовым платком, — подобная дурацкая выходка, как я сейчас понимаю, была бы вполне в его духе.

Все замолчали. Генри поднял голову. Без очков его глаза казались незрячими, застывшими, чужими.

— Марион знает об этом?

— Нет, и лучше ничего ей не говорить, серьезно.

— У тебя есть еще какие-нибудь основания полагать, что Банни поехал в Нью-Йорк?

— Нет. Просто куда еще он мог подеваться, сам прикинь? Кстати, Марион говорила тебе, что Рика Тальхейм видела его в среду возле банка?

— Да.

— Вроде странно, но, если так подумать, не особо. Допустим, он поехал в Нью-Йорк с парой сотен и начал там понтоваться, что дома у него еще больше. А эти ребята, они из-за паршивой двадцатки изрубят тебя на куски и выкинут на помойку. Говорю, не знаю... Может, они ему сказали что-то типа: съезди-ка домой, забери из банка все, что есть, и возвращайся сюда, тогда и поговорим.

— У Банни даже нет банковского счета.

— Откуда ты знаешь? Он что, докладывать тебе обязан?

— Да, ты прав, — ответил Генри.

— А почему бы тебе просто туда не позвонить? — посоветовал Чарльз.

— Кому? В справочнике этого мужика нет, и визиток он тоже не раздает.

— Тогда как ты держишь связь?

— Звоню еще одному челу.

— Вот и позвони ему, — предложил Генри, пряча платок в карман и надевая очки.

— Они все равно ничего мне не скажут.

— Я не понял — ты с ними на дружеской ноге, нет?

— Думаешь, у них там школа юных следопытов, что ли? — взорвался

Клоук. — Издеваешься? Это самые настоящие бандосы, они такое творят — вы б обоссались со страху.

На один жуткий миг мне показалось, что Фрэнсис вот-вот расхохочется, однако в последний момент ему удалось сдержаться. Прикрыв лицо ладонью, он зашелся театральным кашлем. Даже не взглянув в его сторону, Генри с размаху хлопнул его по спине.

— Тогда что ты предлагаешь? — вмешалась Камилла.

— Не знаю. Было б неплохо забраться к нему в комнату — посмотреть, скажем, взял ли он с собой чемодан.

— Разве она не заперта? — поинтересовался Генри.

— Заперта, конечно, в том-то и дело. Марион говорила с охраной, просила открыть запасным ключом, но те — ни в какую.

Генри закусил губу.

— Ну, мне кажется, при желании проникнуть туда не так уж и сложно, — медленно проговорил он. — Как ты считаешь?

Клоук потушил окурок и взглянул на Генри с огоньком интереса в глазах:

— Нет, в общем, несложно.

— Комната на первом этаже. Зимние рамы уже убрали.

— А сетки, по идее, не проблема.

Они смотрели друг на друга в упор.

— Может, даже стоит попробовать прямо сейчас, — сказал Клоук.

— Мы пойдем с тобой.

— Слушай, только не всем кагалом.

Я увидел, что Генри послал Чарльзу быстрый выразительный взгляд. Тот, стоя у Клоука за спиной, едва заметно кивнул.

— Ладно, давайте я пойду, — выпалил он как-то чересчур громко и залпом опрокинул стакан с остатками виски.

— Клоук, как тебя только угораздило во все это влезть? Неужели не страшно? — спросила Камилла.

Он снисходительно рассмеялся:

— Да ну, ничего такого. Просто с этими ребятами нужно держать ухо востро, только и всего.

Генри в два шага обогнул кресло Клоука и что-то зашептал Чарльзу на ухо. Чарльз вновь ответил сдержанным кивком.

— Само собой, они иногда пытаются тебя развести, но я-то в курсе, что к чему. А вот Банни вообще не врубается, думает, это, типа, такой большой прикол — стодолларовые бумажки валяются под ногами и ждут, что придет какой-нибудь лох и подберет...

Когда он закончил свой монолог, Чарльз с Генри уже все обсудили и Чарльз стоял перед шкафом, натягивая пальто. Взяв со столика черные очки, Клоук поднялся с дивана. От него исходил слабый сухой аромат пряных трав — отголоски запаха заядлых любителей марихуаны, который никогда не выветривался из Дурбинсталя: масло пачули, сигареты с гвоздикой, благовония.

Чарльз обмотал шею шарфом. По его лицу было непонятно, спокоен он или встревожен. Глаза смотрели куда-то в пустоту, губы сомкнулись в ровную твердую линию, а ноздри слегка раздувались в такт дыханию.

— Будь осторожен, — сказала Камилла.

Она обращалась к Чарльзу, но Клоук принял напутствие на свой счет и, улыбнувшись, бросил:

— Да ладно, прорвемся.

Она проводила их к выходу и, закрыв дверь, сразу повернулась к нам. Генри приложил палец к губам. Мы слушали, как они спускаются по лестнице, и хранили молчание, пока снаружи не раздались звуки мотора.

Генри подошел к окну и чуть отодвинул край линялой гардины:

— Уехали.

— Генри, ты уверен, что это была правильная мысль? — спросила Камилла.

Все еще глядя в окно, он пожал плечами:

— Не знаю, мне пришлось импровизировать.

— Лучше бы ты сам сходил. Правда, почему ты отпустил его одного?

— Я бы пошел, но в интересах дела так лучше.

— Что ты ему сказал?

— Ах да. Даже Клоук сразу поймет, что Банни никуда не уезжал. Все его пожитки остались в комнате. Деньги, запасные очки, пальто. Скорее всего, Клоук тут же захочет улизнуть, поэтому я велел Чарльзу во что бы то ни стало уговорить его позвать Марион. Когда она увидит все это... О проблемах Клоука она ничего не знает, да и слушать не станет. Если только меня не подводит интуиция, она позвонит в полицию или, в самом крайнем случае, родителям Банни, и я сомневаюсь, что Клоук сможет ее остановить.

— Сегодня его уже не найдут, — сказал Фрэнсис. — Через пару часов стемнеет.

— Да, но если нам повезет, они бросятся на поиски прямо с утра.

— Нам, наверное, придется давать какие-нибудь показания, как думаешь?

— Трудно сказать, — рассеянно ответил Генри. — Я не знаю, что

обычно бывает в таких случаях.

Тонкий солнечный луч ударил в призмы канделябра на камине и разбежался по скошенным стенам ослепительными подрагивающими пятнами света. Внезапно в голове у меня стали беспорядочно всплывать образы из всех виденных мною детективов: комнаты без окон, резкий свет, узкие коридоры. Образы эти вовсе не казались искусственными или надуманными — напротив, они возвращались как неизгладимое воспоминание, как нечто пережитое. «Не думать, главное — не думать», — твердил я себе, разглядывая в оцепенении холодную яркую солнечную лужу, пропитавшую коврик у меня под ногами.

Камилла пыталась прикурить сигарету, но, едва вспыхнув, спички гасли одна за другой. Наконец Генри взял у нее коробок и чиркнул сам — пламя загорелось сильно и ровно. Камилла наклонилась, прикрыв одной рукой огненный язычок и придерживая другой запястье Генри.

Минуты ползли мучительно медленно. Камилла принесла на кухню бутылку виски, и мы сели играть в юкер — Фрэнсис и Генри против меня и Камиллы. Камилла играла хорошо — юкер был ее любимой игрой, ее коньком, — но я как партнер ничего собой не представлял, и мы проигрывали взятку за взяткой.

В квартире было очень тихо: редкое позвякивание стаканов, шорох карт. Я изо всех сил старался сосредоточиться на игре, но вновь и вновь ловил себя на том, что смотрю в соседнюю комнату: мой взгляд как магнитом притягивали часы на каминной полке. Это был один из образчиков столь любимого близнецами викторианского антиквариата — белый фарфоровый слон, на спине у которого перед паланкином с циферблатом восседал отбивавший время маленький черный погонщик в золоченых штанах и тюрбане. В погонщике этом было что-то дьявольское, и всякий раз как я смотрел в ту сторону, мне чудилось, будто он глядит на меня со злорадной ухмылкой.

Я давно потерял счет очкам и партиям. Комнату постепенно заполнял полумрак.

Генри положил карты на стол.

— Марч,<sup>[97]</sup> — объявил он.

— Мне это уже надоело, — сказал Фрэнсис. — Где он бродит, в конце-то концов?

Громко и аритмично, с жестяным призвуком, тикали часы. Мы сидели в свете угасающего дня, позабыв про карты. Камилла взяла из миски яблоко, устроилась на подоконнике и, угрюмо впившись зубами в белую



мякоть, стала смотреть на улицу. Сумерки огненным контуром обрисовывали ее силуэт, горели красным золотом в волосах, рассеивались в ворсинках шерстяного подола, небрежно закинутого на колени.

— Может быть, что-то случилось? — нарушил молчание Фрэнсис.

— Не говори ерунды. Что могло случиться?

— Все, что угодно. Может, Чарльз потерял голову, выкинул какой-нибудь фортель...

Генри взглянул на него с ядовитым скепсисом:

— Успокойся. И где ты только набрался этой достоевщины?

Фрэнсис собрался было что-то возразить, но тут Камилла спрыгнула с подоконника:

— Идет!

Генри встал следом:

— Он один?

— Да, — ответила Камилла, бросившись стремглав к двери.

Она выбежала встретить его на площадку, и вскоре оба близнеца уже были на кухне.

Чарльз диковато озираясь, волосы у него стояли дыбом. Он снял пальто и, бросив его на стул, плюхнулся на диван:

— Налейте мне выпить.

— Все в порядке?

— Да.

— Как все прошло?

— Кто-нибудь слышал мою просьбу?

Генри плеснул виски в грязный стакан и сунул его Чарльзу:

— Осложнений не было? Полиция приехала?

Чарльз сделал большой глоток, поморщился и кивнул.

— А где Клоук? Дома?

— Наверно.

— Расскажи нам все по порядку.

Чарльз допил виски. Лицо его было влажным, лихорадочно красным.

— Ты был прав насчет его комнаты, — сказал он.

— То есть?

— Это было жутко. И мерзко. Постель не заправлена, везде пыль... На столе валялся надкусанный «Твикс», по нему ползали муравьи... Клоук испугался и хотел уйти, но, пока он не смылся, я позвонил Марион. Она прибежала буквально через пару минут. Все оглядела, но почти ничего не сказала, похоже, зрелище ее потрясло. Клоук был весь как на иголках.

— Он рассказал ей эту историю с наркотиками?

— Нет. Правда, делал намеки, и не раз, но она его практически не слушала.

— Как она... — начал Генри, но Чарльз, вызывающе вскинув голову, перебил его:

— Знаешь, Генри, мы здорово оплошали, что не пошли туда первыми. Нужно было все тщательно осмотреть, прежде чем кого-то звать.

— А в чем дело?

— Смотри, что я нашел.

С этими словами он вытащил из кармана лист бумаги.

Генри быстро схватил его и пробежал глазами:

— Как тебе удалось?

— Просто повезло. Лежало прямо на столе. Естественно, я стянул это при первой возможности.

Я заглянул Генри через плечо. Это была ксерокопия страницы «Хэмпденского обозревателя». Между статейкой о достоинствах готовых жилых модулей и рекламой садовых инструментов приютился небольшой, но броский заголовок.

### **ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ В ОКРУГЕ БЭТТЕНКИЛ**

Департамент шерифа округа Бэттенкил совместно с полицией Хэмпдена продолжают расследовать совершенное 12 ноября сего года зверское убийство Гарри Рэя МакРи — птицевода и бывшего члена Вермонтской ассоциации яйцепроизводителей. Обезображенный труп м-ра МакРи был обнаружен на территории его фермы в Механиксвиле. Полиция исключает версию преступления по корыстным мотивам. Как сообщают знавшие убитого лица, у него было несколько врагов среди коллег-птицеводов и прочих жителей округа, однако никто из них не проходит по данному делу в качестве подозреваемого.

В ужасе я наклонился поближе — на слове «обезображенный» меня словно ударило током, теперь это было единственное, что я различал на странице, — но Генри уже принялся изучать обратную сторону листа.

— Ну что ж, по крайней мере копия сделана не с вырезки, — заключил он. — Вероятнее всего, он снял ее с библиотечного экземпляра газеты.

— Надеюсь, что так, но нет никаких гарантий, что она единственная.

Положив ксерокопию в пепельницу, Генри чиркнул спичкой и поднес

ее к уголку. Вверх по краю поползла ярко-рыжая полоска, поглощая весь лист; на мгновение высветились слова, но бумага тут же почернела и скорчилась.

— Так или иначе, уже поздно, — сказал Генри. — Хорошо, что нам попало хотя бы это. Что было дальше?

— Дальше... Марион сходила в Патнам-хаус и вернулась с подругой.

— Какой еще подругой?

— Я с ней не знаком. Ута или Урсула, как-то так. Скандинавского вида девица, еще постоянно носит свитера грубой вязки. Не важно — в общем, Клоук сидел и курил с таким видом, будто у него колики, а эта Ута, или как ее там, вошла, тоже на все посмотрела и предложила сходить к старосте корпуса.

Раздался смешок Фрэнсиса. В общежитиях Хэмпдена к старостам обычно ходили жаловаться, если заедало задвижки на окнах или кто-нибудь из соседей включал музыку слишком громко.

— На самом деле это было очень кстати, а то бы мы, наверно, сейчас там так и стояли. Старостой оказалась та рыжая горлопанка, которая всю дорогу ходит в армейских ботинках. Брайони Диллард — так, кажется?

— Все верно, — подтвердил я. Помимо того что она была старостой и рьяным членом Студенческого совета, эта девица возглавляла в городе группу левых активистов и без устали пыталась пробудить политическую сознательность у хэмпденской молодежи, неизменно топившей ее пламенные призывы в болоте пофигизма.

— Так вот, та явилась и сразу взяла быка за рога, — продолжил Чарльз, зажав между губ сигарету. — Записала наши имена. Задала пару-тройку вопросов. Прошла по комнатам и учинила допрос соседям. Позвонила в Службу поддержки студентов, потом охране. Там сказали, что, конечно, кого-нибудь пришлют, но вообще-то такие случаи не входят в их компетенцию — пропавшие студенты то есть, — и посоветовали ей позвонить в полицию. Налей-ка мне еще, а? — попросил он, внезапно повернувшись к Камилле.

— И те приехали?

Чарльз утер пот со лба:

— Да. Их было двое. Плюс еще двое из охраны.

— И что?

— Охранники просто сновали там без толку. А вот полицейские времени даром не теряли. Один начал осматривать комнату, а другой собрал всех в коридоре и стал задавать вопросы.

— Какие?

— Кто и где видел его в последний раз? Как давно он не появлялся дома? Где он может быть? Очевидные вроде бы вопросы, но, учти, в этот момент они прозвучали впервые.

— Клоук что-нибудь сказал?

— Ничего особенного. Началась суматоха, народ столпился у двери, всем просто не терпелось выложить свои сногшибательные сведения, хотя, конечно, никто ничего не знал. На меня даже не обратили внимания. Потом встряла какая-то тетка из Службы поддержки — перла как танк и все повторяла, что полиция здесь вообще ни при чем и колледж как-нибудь сам разберется. Наконец одного из полицейских это достало, и он говорит: «Что у вас у всех с головой? Парень пропал уже неделю назад, а вы до сих пор даже не почесались. Это вам не игрушки, и если, не дай бог, с ним что-то случилось, просто так колледж не отделается». Тетка завелась пуще прежнего, но тут из комнаты вышел второй полицейский с бумажником Банни в руках.

Тут все, конечно, притихли. В бумажнике оказалось двести долларов и все его документы. Полицейский сказал, что надо связаться с семьей. В толпе зашушукались, а тетка вся побелела и сказала, что сейчас же пойдет и разыщет его личное дело. Полицейский пошел вместе с ней.

В коридоре уже было не развернуться. С улицы лезли, будто медом намазано: что, мол, тут у вас происходит? Второй полицейский сказал, чтоб все шли по домам, Клоук воспользовался толкучкой и улизнул. Правда, перед этим отвел меня в сторонку и еще раз напомнил, чтоб я ничего не говорил о наркотиках.

— Надеюсь, ты подождал, пока тебе лично не разрешили уйти?

— Да, долго ждать не пришлось. Полицейский хотел побеседовать с Марион, поэтому просто записал наши с Утой данные и сказал, что мы свободны. Это было около часа назад.

— Тогда почему ж ты вернулся только сейчас?

— Как раз собирался рассказать. Мне не хотелось больше никому попадаться на глаза, и я решил выйти с кампуса задворками. Конечно, глупейшая ошибка, если подумать, — идти пришлось как раз под окнами администрации. Я уже почти добрался до рощицы, но тут услышал, что меня зовет та самая мегера из Службы поддержки — заметила меня из окна деканской канцелярии.

— Что она там делала?

— Звонила по межгороду. Они связались с отцом Банни — тот на всех орал и грозился, что подаст на колледж в суд. Декан пытался его успокоить, но мистер Коркоран требовал позвать кого-нибудь, кого он знает лично.

Они звонили тебе, Генри, но тебя, разумеется, не было.

— Это он попросил их разыскать меня?

— Скорее всего. Они чуть было не послали в Лицей за Джулианом, но тут эта мадам как раз увидела меня. Там собралась целая армия — полицейский, секретарша декана, человек пять из соседних кабинетов, вдобавок та безумная старая дева из архива. Пара-тройка преподавателей, конечно. В соседнем кабинете кто-то пытался дозвониться до ректора. Судя по всему, тетка с полицейским ворвались к декану как раз в разгар совещания. Кстати, Ричард, я видел там твоего друга — доктора Роланда.

Так вот, когда я вошел, они все расступились и декан протянул мне трубку. Отец Банни не сразу меня узнал, но, узнав, успокоился и спросил, доверительным таким тоном, нет ли здесь какого-нибудь подвоха, дескать, может, это все обычные студенческие проказы?

— О боже, — вздохнул Фрэнсис.

Чарльз искоса взглянул на него:

— Между прочим, он и о тебе спрашивал. Как там, говорит, наш рыжий-бесстыжий?

— Что еще говорил?

— Мы очень мило побеседовали на самом деле. Он поинтересовался каждым в отдельности, просил всем передать привет.

Повисла долгая неловкая пауза.

Закусив губу, Генри подошел к бару и налил себе выпить.

— Как-то всплыл эпизод с банком? — спросил он.

— Да, Марион дала им координаты той девушки. Кстати, — он поднял голову, его размытый взгляд смотрел куда-то в пустоту, — Генри, Фрэнсис, забыл сказать, она назвала полицейским и ваши имена.

— С какой стати? — всполошился Фрэнсис. — Зачем?

— Они хотели знать, с кем он дружил.

— Но почему обязательно я?

— Фрэнсис, успокойся.

Тем временем совсем стемнело. Небо окрасилось в сиреневый цвет, заснеженные улицы наполнились тихим неземным свечением. Генри включил лампу.

— Как ты думаешь, они примутся искать его еще сегодня?

— Искать они, без сомнения, будут. Другое дело где?

Несколько секунд никто не произносил ни слова. Чарльз задумчиво потряхивал кубики льда в стакане.

— Знаете, все-таки мы совершили ужасную вещь, — сказал он.

— У нас не было другого выхода, Чарльз, и мы уже не раз это

обсуждали.

— Я все понимаю, но у меня из головы не идет мистер Коркоран. Помните, сколько праздников мы провели у него в доме... И еще, не знаю... Он так душевно разговаривал со мной по телефону.

— Мы все только выиграли.

— Точнее, почти все.

Генри язвительно улыбнулся:

— Ну, не скажи. Πελλαίου βοῦς μέγας εἰν Αἰδη. [\[98\]](#)

Буквально это означало, что в мире теней огромный бык стоит всего лишь грош, но я понял, что тем самым хотел сказать Генри, и невольно засмеялся. Расхожее верование древних гласило, что в преисподней все исключительно дешево.

Уходя, Генри предложил подвезти меня домой. Было поздно, и, когда мы остановились позади общежития, я спросил, не хочет ли он составить мне компанию и поужинать в Общинах?

По пути мы заглянули на почту — Генри решил заодно проверить свой ящик. Делал он это примерно раз в три недели, так что его ожидала целая пачка корреспонденции. Остановившись у мусорного ведра, он без особого интереса перебирал конверты, выкидывая нераспечатанным едва ли не каждый второй, но вдруг замер.

— Что такое?

Он рассмеялся:

— Посмотри у себя в ящике. Это анкета — Джулиану решили устроить проверку.

Когда мы пришли в столовую, она закрывалась и уборщицы уже начали мыть пол. Раздачу свернули, и я пошел на кухню попросить хлеба и арахисового масла, а Генри заварил себе чашку чая. Кроме нас, в главном зале никого не было. Мы сели за столик в углу, напротив собственных отражений в черном квадрате окна. Достав ручку, Генри принялся заполнять анкету.

Уминая сэндвич, я просмотрел свой экземпляр. Напротив каждого вопроса стояли цифры — от одного (неудовлетворительно) до пяти (отлично). Насколько, по Вашему мнению, данный преподаватель компетентен? ...пунктуален? ...охотно предоставляет помощь во внеурочное время? Генри незамедлительно обвел все пятерки, затем вписал в одну из граф число 19.

— А это что?

— Общее количество курсов, которые вел у меня Джулиан.

— Он вел у тебя девятнадцать курсов?

— Это с дополнительными занятиями и всем прочим, — недовольно ответил Генри.

В тишине слышался только скрип его ручки и гроыхание посуды на кухне.

— Такие рассылают всем или только нам? — спросил я.

— Только нам.

— Чего ради, интересно?

— Полагаю, ради отчетности.

Он открыл последнюю страницу, оказавшуюся практически чистой. *Если у Вас есть какие-либо особые похвальные или критические замечания о работе данного преподавателя, пожалуйста, изложите их здесь. Разрешается использовать дополнительные листы.*

Ручка Генри нерешительно замерла над бумагой, затем он сложил опросник и отодвинул его в сторону.

— Что, совсем ничего не напишешь? — спросил я.

Генри отпил чай:

— По-твоему, в природе существует способ донести до сознания декана, что среди нас обитает божество?

После ужина я вернулся к себе. Мысль о предстоящей ночи ужасала меня, но вовсе не потому, что я боялся визита полиции или меня мучила совесть, — все подобные предположения были бы здесь неверны. Напротив, к тому времени, за счет необъяснимых ресурсов подсознания, я вполне успешно выработал нечто вроде защитного механизма, который блокировал все, что было связано с убийством. Конечно, я так или иначе касался этой темы в нашем узком кругу, но в одиночку размышлял над ней редко.

Оставаясь один, я испытывал напасти другого рода: приступы нервозности, беспричинный страх, беспредельное отвращение к самому себе. Все глупости и жестокости, которые только числились за мной, всплывали в памяти с неправдоподобной четкостью. Бесполезно было мотать головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли, — парад проступков и провинностей, возглавляемый неведь откуда взявшимися детскими воспоминаниями (мальчишка-инвалид, которого я дразнил, пасхальный цыпленок, которого я затискал до смерти), шествовал во всем своем язвющем великолепии.

Пытаясь отвлечься, я садился за греческий, но толку было чуть. Найдя в словаре нужное слово, я забывал его, стоило только оторвать взгляд от страницы; из головы разом улетучились все падежи и склонения.

Около полуночи я спустился позвонить близнецам. В трубке раздалось сонное «алло» Камиллы. Она была немного пьяна и уже собиралась лечь.

— Расскажи мне что-нибудь забавное.

— Не знаю я ничего забавного.

— Ну тогда просто что-нибудь.

— Может, сказку? Как насчет «Золушки»? Или лучше «Три медведя»?

— Расскажи мне какой-нибудь случай из детства — когда ты была совсем маленькой.

И тогда она рассказала мне о своем единственном воспоминании об отце. Это было незадолго до автокатастрофы. Шел снег, Чарльз спал, а она стояла в кровати и смотрела в окно. Отец, одетый в старый серый свитер, стоял во дворе и обстреливал снежками забор.

— По-моему, дело было ближе к вечеру. Не знаю, зачем он вышел во двор, помню только, что мне захотелось к нему так сильно, что я попыталась выбраться из кровати. Тут пришла бабушка и подняла загородку, чтоб я не смогла вылезти, — я, конечно, заплакала. Потом там оказался дядя Хилари — это брат бабушки, он жил тогда вместе с нами — увидел, что я плачу, и пожалел меня. Порылся в карманах, нашел рулетку и дал мне ее поиграть.

— Рулетку?

— Ну да. Знаешь, такие, которые сматываются сами, если нажать на кнопку? Мы с Чарльзом потом все время из-за нее ссорились. Она до сих пор где-то дома валяется.

Около десяти утра меня разбудил стук в дверь.

На пороге я обнаружил Камиллу — судя по ее виду, одевалась она впопыхах. Пока я стоял, щурясь спросонья, она, не дождавшись приглашения, вошла и заперла дверь:

— Ты уже выходил на улицу?

По спине пробежал паучок тревоги, я присел на кровать:

— Нет. А что?

— Ума не приложу, что происходит. Чарльза и Генри вызвали в полицию. Где Фрэнсис, даже не знаю.

— Что?!

— Сегодня около семи к нам пришел полицейский, попросил позвать Чарльза. Зачем — не сказал. Чарльз оделся, они ушли, а в восемь позвонил Генри. Сказал: ничего, если он немного опоздает? Я спросила, что он имеет в виду. Мы ведь не договаривались ни о какой встрече. А он: «Спасибо.



Извини, что так получилось, просто у меня здесь полицейские, им нужно что-то выяснить насчет Банни».

— Не волнуйся, как-нибудь образуется.

Она откинула прядь со лба тем же сердитым жестом, каким это обычно делал Чарльз.

— Но это еще не все. Там снаружи — настоящее столпотворение. Журналисты, полиция... Полный дурдом.

— Значит, они начали искать?

— Понятия не имею. Но мне показалось, они движутся в сторону Маунт-Катаракт.

— Может, нам стоит на время исчезнуть с кампуса?

Ее бледно-серебристый взгляд беспокойно покругил по комнате:

— Может. Одевайся, а там посмотрим.

Стоя в ванной, я в спешке скреб щеки станком, как вдруг на пороге показалась Джуди и со всех ног ринулась ко мне — от неожиданности я даже порезался.

— Ричард, ты слышал? — ухватив меня за локоть, спросила она.

Потрогав щеку, я увидел на пальцах кровь и сердито посмотрел на Джуди:

— Что я должен был слышать?

— Про Банни.

Глаза у нее были большие и круглые, и говорила она как-то сдавленно:

— Мне Джек сегодня все рассказал. А ему Клоук вчера вечером. Я такое в первый раз слышу, чтоб кто-то вот так вот взял и испарился. Это уж как-то чересчур. А Джек еще говорит, что если его до сих пор не нашли, то...

Нет, то есть наверняка с ним все в порядке и ничего страшного — тут же добавила она, заметив выражение моего лица.

Я не знал, что на это ответить.

— Смотри, если что, я дома.

— Хорошо.

— Нет, серьезно, если тебе вдруг, например, захочется поговорить... Я все время у себя, заходи, не стесняйся.

— Спасибо, — довольно резко ответил я.

Вместо того чтобы скорчить обиженную мину, она взглянула на меня в упор, и в ее глазах я увидел сострадание и понимание той изоляции, на которую обрекает человека горе.

— Все будет хорошо, — сказала она, стиснув мою руку, и ушла, уже в

дверях послав мне еще один скорбный взгляд.

Кипучая деятельность, захлестнувшая кампус, превзошла мои ожидания, даже несмотря на рассказ Камиллы. Стоянка была забита машинами, и все вокруг заполнили горожане — большей частью, судя по виду, рабочие с фабрики, многие были с детьми, почти все несли сумки с обедом. Широкими, ломаными цепочками они продвигались в направлении Маунт-Катаракт, тыча в снег палками, а вокруг, с любопытством поглядывая на них, слонялись студенты. Были там и патрульные, и помощники шерифа, и несколько человек из полиции штата. На лужайке, рядом с парой официального вида машин, выстроились три фургона: местная радиостанция, столовая передвижная закусочная, «ЭкшнНьюз-12».

— Что они все здесь забыли?

— Смотри, кажется, Фрэнсис, — услышал я вместо ответа.

Вдалеке среди толпы я заметил пятно рыжих волос, зоб шарфа, обмотанного вокруг шеи, и черное пальто. Вскинув руку, Камилла окликнула его.

Фрэнсис протолкался сквозь группу работников столовой, высыпавших посмотреть на необычное зрелище. В пальцах у него дымилась сигарета, под мышкой была зажата газета.

— Привет! Как вам это все? Невероятно, правда?

— Что вообще происходит?

— Как — что? Охота за сокровищами.

— Какая еще охота?

— Вчера вечером Коркораны назначили крупное вознаграждение. Все предприятия в Хэмпдене закрыты. Хотите кофе? У меня есть доллар.

Миновав мрачную жиденькую массовку техперсонала, мы подошли к столовому фургону.

— Пожалуйста, три кофе, два с молоком, — обратился Фрэнсис к толстухе в окошке.

— Молока нет, только сухие сливки.

— Ну, тогда, наверно, просто черный. — Он повернулся к нам: — Газету еще не видели?

Это оказался свежий выпуск «Хэмпденского обозревателя». На первой полосе красовалась размытая, сравнительно недавняя фотография Банни, под ней — заголовок: ХЭМПДЕН-КОЛЛЕДЖ: ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО 24-ЛЕТНЕГО СТУДЕНТА.

— Двадцатичетырехлетнего? — удивился я. Мне и близнецам было

двадцать, Генри и Фрэнсису — двадцать один.

— В начальных классах он пару раз оставался на второй год, — ответила Камилла.

— А, понятно.

В воскресенье во второй половине дня студент Хэмпден-колледжа Эдмунд Коркоран, известный в кругу семьи и друзей как Банни, посетил организованную на кампусе вечеринку, которую вскоре же покинул — предположительно, чтобы встретиться со своей подругой Марион Барнбридж, также учащейся в Хэмпдене. С тех пор его никто не видел.

Вчера обеспокоенные мисс Барнбридж и друзья Эдмунда известили о его продолжительном отсутствии полицию г. Хэмпдена, а также полицию штата, которые немедленно распространили информацию об исчезновении. Поисковая операция начинается сегодня в окрестностях колледжа. Приметы пропавшего (см. стр. 5).

— Дочитала?

— Да, переворачивай.

... рост 1 м 90 см, крупного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки. Был одет в серую твидовую куртку, брюки защитного цвета и желтый плащ-дождевик.

— Ричард, возьми кофе.

Фрэнсис осторожно развернулся со стаканчиками в руках.

В школе Э. Коркоран активно занимался спортом, был членом команд по хоккею, лакроссу и гребле, а возглавленная им в выпускном классе команда «Росомахи из Сент-Джерома» стала победителем юношеского чемпионата Массачусетса по американскому футболу. В Хэмпден-колледже он выполнял обязанности старшины студенческого пожарного отряда. Эдмунд изучал языки и литературу, уделяя особое внимание классической филологии. Соученики отзываются о нем как о «настоящем полиглоте».

— Ха! — не удержалась Камилла.

Клоук Рэйберн, друг Э. Коркорана, бывший в числе тех, кто сообщил полиции о его исчезновении, говорит, что Эдмунд — «нормальный, сознательный парень, наркотики — это точно не про него». Вчера днем, заподозрив неладное, Клоук по собственной инициативе проник в его комнату, после чего обратился в полицию.

- Неправда, это не он позвонил им, — заметила Камилла.
- И ни слова о Чарльзе, — добавил Фрэнсис.
- Deo gratias,<sup>[99]</sup> — тихо сказала она.

Родители пропавшего, Макдональд и Кэтрин Коркоран, проживающие в г. Шейди-Брук, штат Коннектикут, прибывают сегодня в Хэмпден, чтобы содействовать поискам младшего из своих пяти сыновей, (см. «Семья склонилась в молитве» на стр. 10). Мистер Коркоран является президентом Бингамской банковской и фондовой компании, а также членом совета директоров Первого национального банка Коннектикута. На вопрос нашей газеты он ответил: «От нас тут мало что зависит, но мы постараемся помочь, чем только сможем». Он также сказал, что за неделю до исчезновения Эдмунда разговаривал с ним по телефону и не заметил ничего необычного.

Кэтрин Коркоран сообщила о своем сыне следующее: «Эдмунд очень привязан к семье. Если бы что-то было не так, он, безусловно, рассказал бы об этом Маку или мне».

За сведения, которые помогут установить точное местонахождение Э. Коркорана, назначено вознаграждение в 50 000 долларов, собранное благодаря усилиям семьи пропавшего, Бингамской банковской и фондовой компании, а также Шотландской ложи ордена лося.

Налетел ветер. Кое-как сложив вырывающуюся газету, мы вернули ее Фрэнсису.

— Пятьдесят тысяч... Это очень даже немало, — задумчиво произнес я.

— И ты еще удивляешься, что здесь делают все эти хэмпденцы? — сказал Фрэнсис, отпивая кофе. — Ох, ну и холодина сегодня.

Мы решили погреться в Общинах.

— Ты ведь уже в курсе насчет Чарльза и Генри? — спросила Камилла

Фрэнсиса.

— Да, ну и что? Они же вчера сказали Чарльзу, что, возможно, еще захотят с ним побеседовать?

— А Генри им зачем?

— Вот о ком бы я точно не стал беспокоиться.

В Общинах было очень жарко и на удивление пусто. Усевшись на клейкий, обитый черным винилом диван, мы потягивали кофе. Люди входили и выходили, впуская волны холодного воздуха, кое-кто останавливался у нашего дивана спросить, не слышно ли чего-нибудь новенького? Джад МакКена по прозвищу Синий Свин нагрянул со своей жестянкой и на правах вице-президента Студенческого совета спросил, не хотим ли мы помочь поисковому фонду? На троих мы наскребли доллар мелочью.

Потом к нам прибило Лафорга. Он начал увлеченный и пространный рассказ о похожем исчезновении, случившемся в Университете Брандейса, но в разгар повествования у него за плечом откуда ни возьмись вырос Генри.

Лафорг обернулся.

— О, — издал он слабый, подчеркнуто равнодушный возглас.

Генри ответил легким кивком:

— Bonjour, Monsieur Laforgue. Quel plaisir de vous revoir.<sup>[100]</sup>

Судорожным взмахом Лафорг достал платок и сморкался не меньше пяти минут, после чего, аккуратно сложив его, повернулся к Генри спиной и возобновил свой рассказ. По его словам выходило, что студент, никого не оповестив, просто уехал в Нью-Йорк.

— А этот парень — как его, Бэмби?

— Банни.

— Да, так вот он отсутствует еще всего ничего. В конце концов он объявится сам по себе, и все почувствуют себя последними дураками. — Он понизил голос: — По-моему, в администрации потеряли всякое чувство меры — наверно, испугались, что родители подадут в суд. Но только я вам этого не говорил.

— Ни в коем случае.

— Вы же понимаете, мои отношения с деканом простыми не назовешь.

— Я немного устал, но в целом беспокоиться не о чем, — сказал Генри, когда мы сели в машину.

— Что они от тебя хотели?

— Ничего особенного. Как долго мы с ним знакомы, не замечал ли я в

последнее время каких-нибудь странностей в его поведении, были ли у него причины бросить учебу? Разумеется, последние несколько месяцев в его поведении было сколько угодно странностей, отрицать это не было смысла. Но еще я сказал, что практически не общался с ним накануне исчезновения, и это правда. — Он покачал головой. — Подумать только. Целых два часа. Даже не знаю, хватило бы у меня сил довести все до конца, знай я, какая бессмыслица нас ожидает.

Заехав к близнецам, мы обнаружили Чарльза — прямо в одежде и обуви он растянулся ничком на диване, одна рука свесилась, и задравшийся рукав пальто обнажал манжету рубашки и запястье.

Почувствовав наше появление, он в испуге проснулся. Лицо у него опухло, на щеке отпечатался узор диванной подушки.

— Как все прошло? — спросил Генри.

Привстав, Чарльз протер глаза:

— Вроде нормально. Они хотели, чтоб я подписал какую-то бумагу, где было описано все вчерашнее.

— Мне они тоже нанесли визит.

— Seriously? И чего хотели?

— Все то же самое.

— Как они вели себя? Хорошо?

— Не особо.

— Надо же, а вот со мной обращались лучше некуда. Даже пончиками с кофе угостили.

Наступила пятница, это означало, что занятий у нас нет, а Джулиан проводит время дома. В тот день мы решили пообедать блинами в кафе на стоянке грузовиков между Хэмпденом и Олбани. Джулиан жил совсем неподалеку, и на обратном пути Генри ни с того ни с сего предложил заехать к нему.

Я никогда не был у Джулиана, но предполагал, что остальные бывали там сотни раз. На самом же деле гостей он принимал нечасто (разве что Генри являл собой знаменательное исключение), и удивляться здесь, собственно говоря, нечему. Джулиан всегда вежливо, но твердо держал дистанцию между собой и своими студентами, и, хотя он относился к нам с гораздо большим вниманием и теплотой, чем это обычно принято у преподавателей, ни о каком паритете, даже в случае Генри, не могло быть и речи. Наши занятия проходили скорее под знаком просвещенной монархии, чем демократии. Как-то раз он сказал: «Я являюсь вашим учителем,

поскольку знаю больше, чем вы». В психологическом плане его манера общения была исключительно доверительной, однако внешне все протекало прохладно и деловито. Желая видеть в нас только самые привлекательные качества, Джулиан культивировал их и превозносил до такой степени, что создавалось впечатление, будто мы совершенно лишены посредственных и незавидных черт. Мне было очень приятно приспосабливаться к этому притягательному, пусть и не слишком правдивому образу, а впоследствии и сознавать, что я действительно в большей или меньшей мере приобрел черты того персонажа, которого так долго и мастерски изображал. Однако при этом я всегда отдавал себе отчет в том, что Джулиан отказывается воспринимать нас такими, какие мы есть, отказывается видеть в нас все выходящее за рамки той блестящей роли, которую он нам уготовил: *et genis gratus, et corpore glabellus, et arte multiscius, et fortuna opulentus*.<sup>[101]</sup> Думаю, этой избирательной слепотой, заслонявшей от него все наши личные проблемы, и объясняется тот факт, что даже сугубо житейские неурядицы Банни в его глазах выглядели исканиями смятенного духа.

Я не знал, да и теперь не знаю, практически ничего о жизни Джулиана за пределами кабинета и допускаю, что именно это обстоятельство придавало всем его словам и поступкам оттенок пленительной тайны. Несомненно, его частная жизнь была, как и у всех, далеко не безупречной, однако та ипостась, в которой он представал перед нами, сияла таким совершенством, что мне казалось, нельзя и помыслить, насколько изысканное существование он ведет вне стен колледжа.

Так что, как можно догадаться, мне было крайне любопытно увидеть его жилище. Большой каменный дом находился далеко в стороне от шоссе и одиноко возвышался на холме, вокруг, насколько хватало глаз, — лишь снег да деревья. Выглядел он внушительно, хотя и в совершенно ином ключе, нежели монструозная готическая резиденция тетушки Фрэнсиса. Мне доводилось слышать множество сказочных описаний расположенного за домом сада, а также интерьеров самого дома: аттические вазы, мейсенский фарфор, полотна Альма-Тадемы и Фрита.<sup>[102]</sup> Но сад утопал в снегу, а хозяин, судя по всему, отсутствовал — по крайней мере, на звонок никто не открыл. Оглянувшись на нас, ожидавших в машине у подножия холма, Генри достал из кармана листок и, настрочив записку, воткнул ее в щель между дверью и притолокой.

— Студенты принимают участие в поисках? — спросил Генри на

подъездах к Хэмпдену. — Не хочу там появляться, если мы будем слишком выделяться на общем фоне. С другой стороны, если мы не появимся, нас могут обвинить в черствости, как вы думаете?

Он помолчал, обдумывая ситуацию.

— Возможно, все же стоит поехать взглянуть. Чарльз, с тебя на сегодня хватит. Думаю, тебе лучше пойти домой.

Мы отвезли близнецов домой и уже втроем приехали на кампус. Я ожидал, что к тому времени участники поисков устанут и разойдутся по домам, но с удивлением обнаружил, что они, напротив, прочесывают окрестности с удвоенным рвением. Полицейские, люди из администрации колледжа, техперсонал и охранники, бойскауты, около тридцати студентов (в том числе официозного вида группа, подозрительно похожая на Студенческий совет) и орды горожан — скопление было изрядным, но с вершины холма, где мы стояли, казалось до странного маленьким и потерянным, как стая пингвинов на бескрайних просторах Антарктиды.

Мы спустились вниз — Фрэнсис угрюмо плелся позади, отстав на пару шагов, он был против того, чтобы ехать сюда, — и смешались с толпой. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Сзади раздалось бормотание рации, и, обернувшись от неожиданности, я налетел прямоком на начальника охраны.

— Глаза разуй! — рявкнул тот.

Это был коренастый, похожий на бульдога мужик с сеткой пигментных пятен на носу и толстых щеках.

— Извините, я нечаянно. Вы не подскажете...

— Студентики, блин, — процедил он, отворачиваясь так, будто собирался сплюнуть. — Шляются тут, понимаешь, под ноги лезут, нет, чтоб взять и помочь.

— Для начала не мешало бы сказать, чем именно, — раздался голос Генри.

Начальник охраны резко обернулся, и почему-то взгляд его упал не на Генри, а на Фрэнсиса, который стоял, уставившись в пространство.

— А, так вот это кто выступает... Мистер Мустанг! Что, так до сих пор и паркуемся на преподавательской стоянке?

Вздвогнув, Фрэнсис стал ошалело озираться.

— Да-да, ты. Знаешь, сколько у тебя уже просроченных квитков? Девять! Я как раз на прошлой неделе подал рапорт декану. Надеюсь, он устроит тебе сладкую жизнь. А будь моя воля, я б вообще тебя на нары отправил, понятно?

Фрэнсис стоял, беспомощно хлопая глазами. Генри схватил его за



рукав и потащил прочь.

Длинная извилистая линия горожан с дружным скрипом пробиралась по снегу. Мы отошли в самый конец и приноровились к общему темпу.

Сознание того, что Банни лежит примерно в трех километрах к юго-западу отсюда, увы, не добавляло поискам интереса, и я тупо тащился вместе со всеми, уткнувшись невидящим взглядом под ноги. Чуть впереди вышагивала команда полицейских — нагнув головы, они о чем-то негромко переговаривались, возле них с лаем кружила немецкая овчарка. В воздухе чувствовалась тяжесть, и небо над горами было затянуто грозowymi тучами. Полы пальто Фрэнсиса театрально вздымались на ветру, он то и дело украдкой оглядывался, высматривая, не приближается ли его мучитель, и время от времени страдальчески покашливал.

— Какого черта ты не заплатил по этим квитанциям? — вполголоса отчитал его Генри.

— Отстань от меня.

Казалось, мы ползем так уже несколько часов — во всяком случае, энергичное покалывание у меня в ногах давно сменилось онемением; чуть поодаль загребали снег тяжелые черные ботинки полицейских, дубинки увесисто покачивались на массивных поясах. Над деревьями прострекотал вертолет, он завис почти прямо над нами, затем развернулся и исчез. Начинало темнеть, и люди потянулись назад, вверх по утоптанному склону.

— Пойдемте отсюда, — в четвертый или пятый раз повторил Фрэнсис.

Когда наконец мы двинулись прочь, навстречу нам попался один из полицейских — краснорожий рыжеусый здоровяк.

— Что, все? На сегодня шабаш? — спросил он с улыбкой.

— Пожалуй, что так, — ответил Генри.

— Вы, ребята, знали этого паренька?

— Вообще-то да, знали.

— Может, есть какие прикидки, куда он мог подеваться?

«Прямо сцена из фильма, — подумал я, отвечая дружелюбным взглядом простодушной ряхе под фуражкой. — Вот только, если б это было в кино, мы бы наверняка задержались и навлекли на себя подозрения».

— Сколько стоит телевизор? — спросил Генри по дороге домой.

— А что?

— Я бы хотел посмотреть вечерний выпуск новостей.

— Подозреваю, это не самая дешевая вещь, — высказал свое мнение Фрэнсис.

— Какой-то телевизор стоит на чердаке в Монмуте, — вдруг вспомнил

я.

— У него есть хозяин?

— Скорее всего.

— Ну тогда мы обязательно его вернем, — заключил Генри.

Фрэнсис занял наблюдательный пост у двери, а мы с Генри принялись осматривать чердак — сломанные лампы, стеллажи коробок, уродливая мазня первокурсников с художественного факультета. Наконец мы нашли телевизор за старой клеткой для кроликов и погрузили его в машину. По пути к Фрэнсису мы заехали за близнецами.

— Коркораны весь день пытались связаться с тобой, — сообщила Камилла Генри.

— Отец Банни звонил по меньшей мере пять раз.

— Еще звонил Джулиан. Он очень расстроен.

— Да, и еще Клоук, — добавил Чарльз.

Генри замер:

— Чего он хотел?

— Хотел убедиться, что мы с тобой ничего не сказали полиции насчет наркотиков.

— И что ты ему ответил?

— Что я ничего такого им не сказал, а насчет тебя не знаю.

— Ладно, поехали, а то опоздаем, — прервал их Фрэнсис, взглянув на часы.

Мы поставили телевизор на стол в гостиной и, повоевав с антенной и настройками, в итоге добились более-менее приличного изображения. На экране шли заключительные титры какого-то фильма. Следом начались новости. Едва промелькнула заставка, на заднике слева от диктора появился кружок, внутри которого была изображена фигурка полицейского с собакой на поводке, а по краю шла надпись: НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА.

Диктор устремила взгляд в камеру. «Сегодня в окрестностях Хэмпдена начались поиски пропавшего студента Хэмпден-колледжа Эдмунда Коркорана — сотни человек принимают непосредственное участие в операции и тысячи молятся за ее благополучный исход».

Пошел сюжет: густо поросшая лесом котловина, цепочка спин, взмахи палками, рык и лай уже знакомой нам немецкой овчарки.

— О, вы ведь там тоже должны быть? — оживилась Камилла. — Что-то я вас пока не вижу.

— Смотрите, вон тот мужлан, — опознал давешнего обидчика Фрэнсис.

«Около ста добровольцев, — вступил голос за кадром, — прибыли сегодня утром в Хэмпден-колледж, чтобы помочь студентам в поисках их товарища — двадцатичетырехлетнего уроженца города Шейди-Брук Эдмунда Коркорана, исчезнувшего в минувшее воскресенье. До недавнего времени какие-либо указания на его возможное местонахождение отсутствовали, однако сегодня днем в редакцию нашей программы поступил телефонный звонок, который, по мнению властей, может пролить свет на этот загадочный случай».

— Что-что? — переспросил Чарльз у телевизора.

«Я передаю слово нашему корреспонденту Риду Добсону».

На экране появился одетый в военную куртку человек с микрофоном в руке, за спиной у него виднелись ряды бензоколонок.

Фрэнсис наклонился поближе.

— Я знаю это место. Это «Ридимд рипэйр» на шестом шоссе.

— Тш-ш...

Дул сильный ветер. Микрофон зафонил и с треском затих. «Сегодня в тринадцать пятьдесят шесть „ЭкшнНьюз-12“ получил важные сведения, которые могут кардинально изменить ход действий полиции в недавно начатом деле об исчезновении студента Хэмпден-колледжа», — глядя на нас исподлобья, объявил репортер.

Камера подалась назад, и рядом с военной курткой возник пожилой человек в комбинезоне и засаленной темной ветровке. Его круглую голову обтягивала вязаная шапка, приветливое, по-детски безмятежное лицо было как будто нарочно обращено в сторону.

«Мы беседуем с позвонившим в редакцию нашей программы Уильямом Ханди, — продолжил репортер, — совладельцем автомастерской „Ридимд рипэйр“ и членом Спасательной команды округа Хэмпден».

— Генри... — испуганно прошептал Фрэнсис. Я с удивлением заметил, что он вдруг побелел как полотно.

Генри полез в карман за сигаретами.

— Вижу, — мрачно отозвался он.

— Что такое? — спросил я.

Не сводя глаз с экрана, Генри постукивал кончиком сигареты о пачку:

— Этот человек обычно чинит мою машину.

«Мистер Ханди, — многозначительным тоном обратился к своему собеседнику репортер, — расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о том, что вы видели в минувшее воскресенье».

— Нет, только не это, — вырвалось у Чарльза.

— Тихо, — бросил в его сторону Генри.

Механик робко взглянул в объектив и снова отвел взгляд:

«Ну, значит, в воскресенье, где-то, кажись, после обеда, вон к той вон колонке подъехал кремовый „ле-манс“, не новый, года так уже три-четыре...»

Запнувшись, он неуклюже вздернул руку и показал куда-то за кадр.

«Там было трое мужчин, двое спереди, один взади. Неместные, это точно. И вроде как спешили куда. Я б даже ничего такого и не подумал, вот только парень тот как раз с ними был — я, как увидал его в газете, сразу признал».

Сердце у меня ушло в пятки — трое мужчин! светлая машина! — но в ту же секунду я сообразил, что это никак не может быть про нас: мы ехали *вчетвером*, вдобавок с Камиллой, а Банни в воскресенье возле машины даже близко не было. К тому же у Генри БМВ, а это совсем не то же самое, что «пontiак».

Генри, казалось, забыл про сигарету, висевшую теперь у него между пальцев.

«На данный момент семья пропавшего еще не получала требований выкупа, тем не менее власти пока что не исключают возможность похищения. Рик Добсон в прямом эфире для „ЭкшнНьюз-12“.

— Спасибо, Рик. Если кто-либо из наших зрителей располагает дополнительной или альтернативной информацией, убедительно просим обращаться в нашу студию по телефону „горячей линии“, который вы видите на экране, с пяти до девяти часов...

Сегодня Образовательный комитет округа Хэмпден провел голосование по одному из самых противоречивых вопросов...»

В наступившей тишине мы, должно быть, минут пять оторопело смотрели на пустой экран. Наконец близнецы переглянулись и разразились смехом.

Все еще не сводя удивленный взгляд с телевизора, Генри покачал головой:

— Вермонтцы...

— Так ты знаешь этого типа? — спросил Чарльз.

— Это местный механик, я уже два года пользуюсь его услугами.

— Он что, сумасшедший?

— Сумасшедший, или решил таким образом развлечься, или, может быть, хочет получить вознаграждение — даже не знаю что сказать. Мне он казался вполне вменяемым, правда, помню, однажды отвел меня в сторону и начал что-то втолковывать о Царстве Божием на земле.

— Ох, что бы там ни было, по-моему, он оказал нам огромную

услугу, — сказал Фрэнсис.

— Не уверен, — возразил Генри. — Похищение человека — это серьезное преступление. Если начнется уголовное расследование, они могут наткнуться на некоторые вещи, которых в наших интересах им бы лучше не знать.

— Каким образом? Этот бред о похитителях нас совершенно не касается.

— Я не имею в виду ничего существенного. Но есть масса мелочей, которые могут скомпрометировать нас с тем же успехом — стоит только их сопоставить. Например, билеты на самолет, которые я, как последний дурак, оплатил карточкой. Куда мы собирались лететь в самом начале семестра? Попробуй объясни. А твой фонд, Фрэнсис? А наши счета? Последние полгода — регулярное снятие крупных сумм. Спрашивается: на какие цели? Что мы сможем предъявить? Зато у Банни в шкафу — целая выставка *grêl-à-porter*,<sup>[103]</sup> приобрести экспонаты которой на собственные средства он, совершенно ясно, не мог.

— Ну знаешь... Чтоб до всего этого докопаться, нужно еще основательно попотеть.

— Чтоб до всего этого докопаться, нужно сделать два-три продуманных звонка.

В этот момент зазвонил телефон.

— Черт! — взвыл Фрэнсис.

— Не подходи, — сказал Генри.

Но Фрэнсис, как и следовало ожидать, все равно снял трубку. Настороженное «да?», пауза.

— А, здравствуйте-здравствуйте, мистер Коркоран, — сказал он, присаживаясь на диван и жестом показывая нам, что все в порядке. — Что-нибудь слышно?

На этот раз пауза затянулась. Минуты три Фрэнсис внимательно слушал, уставившись в пол и кивая, но немного погодя принялся нетерпеливо качать ногой.

— Что там? — шепнул Чарльз.

Фрэнсис сложил ладонь клювом и изобразил «бла-бла-бла».

— Я знаю, чего он хочет, — обреченно произнес Чарльз. — Хочет пригласить нас к себе в отель на ужин.

— Спасибо, но вообще-то мы только что поужинали, — сказал Фрэнсис, подтверждая тем самым его догадку. — Нет, конечно же нет... Да... Разумеется, я сразу же попытался с вами связаться, но во всей этой кутерьме... Э-э, обязательно...

Он повесил трубку и пожал плечами в ответ на наши вопросительные взгляды.

— Я честно пытался... Он ждет нас у себя в номере через двадцать минут.

— Нас?

— Один я туда не поеду.

— Кто с ним там еще?

Фрэнсис переместился на кухню и принялся рыться в шкафчиках:

— Кто, кто... Вся банда в сборе, кроме Тедди, но он тоже вот-вот придет.

Мы помолчали.

— Что ты там делаешь? — спросил Генри.

— Готовлю себе маленький допинг.

— Сделай мне тоже, — крикнул Чарльз.

— Скотч устроит?

— Лучше бурбон, если есть.

— Можно сразу парочку, — присоединилась Камилла.

— Неси уж, что ли, всю бутылку, — сказал свое веское слово Генри.

После того как они уехали, я растянулся на диване и, отдавая должное виски и сигаретам Фрэнсиса, стал смотреть «Джеопарди». Один из участников был из Сан-Джильберто — местечка, находившегося в каких-нибудь десяти километрах от моего родного Плано. Все эти маленькие калифорнийские городки тянутся друг за другом, так что не всегда можно определить, где кончается один и начинается другой.

Дальше в программе был телефильм — земле угрожало столкновение с другой планетой, и ученые всего мира собрались, чтобы совместными усилиями предотвратить катастрофу. Один небезызвестный пронира астроном, постоянно участвующий во всяких ток-шоу, играл самого себя в почетной эпизодической роли.

В одиннадцать начались новости, смотреть которые мне почему-то стало боязно, и я переключился на общеобразовательный канал, где показывали «Историю металлургии». Передача на самом деле оказалась вполне интересной, но я устал, к тому же принял на грудь, а потому уснул, не досмотрев ее.

Проснувшись, я обнаружил, что укрыт одеялом, а по комнате растекается сизый утренний свет. В нише окна спиной ко мне сидел Фрэнсис, по-прежнему одетый в костюм. Он ел что-то красное из

пристроенной на колене банки — приглядевшись, я опознал вишни в ликере.

— Сколько времени?

— Шесть, — не оборачиваясь, ответил он с полным ртом.

— Почему ты меня сразу не разбудил?

— Я вернулся только в полпятого. Отвезти тебя домой все равно бы не смог — не то состояние. Хочешь вишен?

Состояние его действительно было так себе: весь расхристанный, движения заторможенны, голос — тусклый и неживой.

— Где же ты был всю ночь?

— У Коркоранов.

— Только не говори, что вы все это время пили.

— Как же иначе.

— Что, до четырех утра?

— Когда мы уходили, они еще даже не думали закругляться. В ванне стояло пять или шесть ящиков пива.

— Вот уж не знал, что там намечается веселье.

— Это было пожертвование от «Фуд-кинга». Пиво, я имею в виду. Мистер Коркоран с Брейди заехали на склад и привезли часть партии в номер.

— Где они, кстати, остановились?

— Понятия не имею, — механически ответил он. — Один из этих огромных приплюснутых мотелей с неоновыми вывесками. Крысиная дыра без намека на сервис. Все комнаты смежные, в каждой работал телевизор — никакого спасения. Хью притащил с собой детей — эта погань без остановки верещала и кидалась чипсами. Настоящий ад... Нет, правда, — возразил он без тени юмора, когда я начал смеяться, — мне кажется, после этой ночи я способен пережить все, что угодно. Хоть ядерную войну. Наверное, даже смог бы прыгнуть с парашютом. Стоило мне на секунду отлучиться, кто-то из маленьких дегенератов взял мой любимый шарф и завернул в него куриную ножку. Помнишь тот чудный шелковый шарф с узором из часов? Теперь его только выбросить.

— Они были очень расстроены?

— Кто, Коркораны? Скажешь тоже. Они даже не заметили.

— Вообще-то я не про шарф.

— А-а... — Он закинул в рот очередную вишенку. — Да, в каком-то смысле да. Ни о чем другом практически не говорили, но я бы не сказал, что они прямо-таки все извелись. Мистер Коркоран то горевал и расхаживал кругами по комнате, то вдруг начинал играть с мелюзгой и

угощать всех пивом.

— Марион там была?

— Да, и Клоук тоже. В какой-то момент он куда-то поехал с Брейди и Патриком, а когда они вернулись, от них за версту несло травой. Мы с Генри всю ночь просидели на батарее, развлекая мистера Коркорана. Камилла, кажется, пошла поздороваться с семейством Хью и как в воду канула. Что приключилось с Чарльзом, даже не знаю.

Помолчав, Фрэнсис мотнул головой:

— Странно... Тебя никогда не посещала жуткая мысль, до чего это все забавно?

— По-моему, ничего особо забавного здесь нет.

— Да, пожалуй, — отозвался он, прикуривая сигарету; руки у него слегка дрожали. — Кстати, мистер Коркоран сказал, что завтра сюда прибывает Национальная гвардия. Ох, какой все-таки бардак...

Я поймал себя на том, что смотрю на банку с вишнями, не вполне осознавая, что это за предмет.

— Зачем ты это ешь?

— Не знаю, — ответил Фрэнсис, заглянув внутрь. — Гадость и вправду редкостная.

— Так выкинь.

Он толкнул оконную ручку, и рама со скрежетом поползла вверх. Мне в лицо ударила струя холодного воздуха.

— Эй, ты что?!

Он выбросил банку наружу и налег всем весом на раму, я подошел помочь. Наконец та с грохотом захлопнулась. Опершись о подоконник, мы стояли переводя дух. Вишневый сок прочертил на снегу пунктирную дугу.

— Кадр, достойный Кокто, не находишь? — обронил Фрэнсис. — Честно говоря, я валюсь с ног, так что, извини, меня ждет ванна.

Он набирал воду, а я одевался в прихожей, когда зазвонил телефон.

Это был Генри:

— О, извини, я думал, что набрал номер Фрэнсиса.

— Так и есть, подожди секунду.

Я положил трубку и позвал его. Фрэнсис вышел из ванной в трусах и майке, щеки у него были в пене, в руке он держал станок.

— Кто это?

— Генри.

— Скажи ему, что я в ванной.

— Он в ванной.



— Как бы не так, — ответил Генри. — Он стоит рядом с тобой. Его очень хорошо слышно.

Я передал трубку, Фрэнсис поднес ее к уху, держа на расстоянии, чтобы не заляпать пеной. Послышалась речь Генри, и секунду спустя сонные глаза Фрэнсиса округлились:

— О нет, только не я.

Вновь голос Генри, повелительный и недовольный.

— Нет, Генри, абсолютно серьезно — я устал и ложусь спать. Делай что хочешь, но...

Вдруг Фрэнсис изменился в лице и, громко выругавшись, припечатал трубку к телефону с такой силой, что тот жалобно звякнул.

— Что такое?

Фрэнсис сверлил взглядом несчастный телефон:

— Черт бы его побрал. Даже не дослушал.

— Так что случилось?

— Он хочет, чтоб мы снова шли месить снег с этой треклятой поисковой командой. Прямо сейчас! Но я не он, я не могу не спать неделю напролет!

— Сейчас? Но ведь еще совсем рано?

— Он говорит, они начали уже час назад. Чтоб его... Нет, он хоть когда-нибудь спит?!

Мы еще не говорили о том недавнем случае в моей комнате, и в навевающей дрему тишине машины я почувствовал, что нужно прояснить ситуацию.

— Слушай, Фрэнсис...

— Да?

— Мне подумалось, что лучше выяснить все без обиняков. Знаешь, вообще-то ты меня не очень привлекаешь. Э-э... То есть пойми меня правильно, не то чтобы...

— Какое совпадение, — безучастно произнес он. — Вообще-то ты меня тоже.

— Но...

— Ты подвернулся в неудачный момент, вот и все.

Остаток пути до кампуса мы проехали в довольно-таки неприятном молчании.

За минувшие двенадцать часов поиски, судя по всему, вышли на новый виток. Теперь вокруг сновали сотни людей: люди в униформе, люди с

собаками, камерами и мегафонами, люди, которые покупали булочки в передвижной закусочной и пытались что-нибудь разглядеть сквозь тонированные стекла фургонов с телевидения (помимо «ЭкшнНьюз-12» прибыли два канала, один из них — бостонский), припаркованных на лужайке вместе с десятками не поместившихся на стоянке машин.

Мы нашли Генри на портике Общин. Он увлеченно читал переплетенную в пергамент книжицу на каком-то восточном языке. Чуть поодаль, развалясь на скамейке как парочка тинейджеров, передавали друг другу стаканчик с кофе сонные, взъерошенные близнецы.

— О, доброе утро, — оторвавшись от книги, поздоровался Генри, когда Фрэнсис со злобной миной пнул его в ступню.

— Как только у тебя язык поворачивается? Я и пяти минут сегодня не поспал! У меня во рту уже три дня ни крошки не было!

Заложив страницу ленточкой, Генри сунул книгу в нагрудный карман.

— Ну, тогда пойди купи себе какую-нибудь плюшку, — предложил он дружеским тоном.

— У меня нет денег.

— Я тебе дам.

— Не хочу я никаких вонючих плюшек!

Я оставил их вдвоем и подсел к близнецам.

— Ты вчера полжизни потерял, — сообщил Чарльз.

— Я уже понял.

— Жена Хью показывала нам детские фото полтора часа подряд.

— Если не дольше, — сказала Камилла. — А Генри пил пиво из банки.

Мы помолчали.

— Ну, а ты чем занимался? — спросил Чарльз.

— Ничем особенным. Фильм смотрел по телику.

Близнецы сразу оживились:

— Правда? Какой? Про столкновение планет?

— Мы тоже смотрели вполглаза, пока кто-то не переключил на другой канал, — сказала Камилла.

— Чем все закончилось?

— А вы до какого места досмотрели?

— До лаборатории в горах, когда эти юные энтузиасты насели на того старого циника, который все знал, но не хотел помогать.

Я пересказывал развязку, когда вдруг из толпы вынырнул Клоук. Я замолчал, ожидая, что он подойдет к нам, но он только кивнул и направился к Генри. Я напряг слух.

— Слушай, так и не удалось вчера с тобой толком поговорить, —

донеслись до меня слова Клоука. — Я связался с теми парнями в Нью-Йорке — Банни там не было.

Генри ответил не сразу:

— Мне казалось, ты говорил, что с ними нельзя связаться.

— Да нет, так-то можно, просто заморочно. Но я говорю, они его все равно не видели.

— Откуда ты знаешь?

— Что?

— Мне казалось, ты говорил, что им нельзя верить ни капли.

— Я такое говорил?

— Да.

— Короче, слушай сюда, — сказал Клоук, снимая темные очки. — Эти ребята не врут. Как-то не сразу об этом подумал, ну да ладно, сейчас доперло — в Нью-Йорке Банни попал во все газеты. Так вот, если б они что-то с ним сделали, то уж точно не сидели б сейчас там у себя и не трепались бы со мной по телефону.

Генри не отреагировал, и Клоук не на шутку занервничал:

— Эй, что за дела-то такие? Ты ведь ничего никому не сказал, а?

Генри издал невнятный звук, истолковать который можно было как угодно.

— Что?

— Никто ни о чем не спрашивал.

Клоук, которого такой поворот в разговоре явно не успокоил, ждал продолжения. В конце концов, пытаясь скрыть замешательство, он вновь нацепил очки.

— Э-э, ну ладно... Это самое... Увидимся.

Когда он исчез, Фрэнсис изумленно воззрился на Генри:

— Что, скажи на милость, ты затеваешь?

Но ответа не последовало.

День прошел как во сне. Голоса, лай собак, тугой гул пропеллера вертолета. Дул сильный ветер, и его шум в верхушках деревьев был похож на рев океана. Вертолет прислало Главное полицейское управление штата Нью-Йорк; говорили, что он оснащен специальным инфракрасным тепловым датчиком. Помимо этого какой-то доброволец предоставил для поисков устрашающую конструкцию под названием «дельтамотолет» — теперь эта чертова штуковина тарахтела у нас над самой головой, и я ждал, когда она наконец рухнет в бурелом вместе со своим ретивым пилотом. На смену спонтанным и жидким цепочкам пришли настоящие фаланги,

каждой из которых руководил человек с мегафоном, и волна за волной, в строгом порядке мы маршировали по укутанным снегом холмам.

Пастбища, поля, поросшие кустарником высоты. На подходах к подножию горы местность шла под уклон. Внизу стоял густой туман, и долина была похожа на огромный дымящийся котел, из которого, как головы грешников, торчали макушки деревьев. Мало-помалу мы спустились на дно, и весь остальной мир перестал существовать. Рядом со мной шел Чарльз, раскрасневшиеся щеки и шумное дыхание не давали повода усомниться в его материальности, но выбившийся на несколько шагов вперед Генри уже стал призраком, и его силуэт уплывал от нас сквозь белесую муть, до странности легкий и иллюзорный.

Спустя несколько часов мы одолели долгий подъем и набрали на арьергард другого, менее многочисленного отряда. Там были люди, чье присутствие здесь меня удивило и даже немного тронуло: Мартин Хоффер — старый, заслуженный композитор с музыкального факультета, средних лет женщина, которая всегда проверяла студенческие карточки на входе в столовую, однотонное драповое пальтишко почему-то придавало ей невероятно трагический вид, доктор Роланд, чьи трубные соло на носовом платке разносились далеко окрест в стылом воздухе.

— Смотрите, это случайно не Джулиан? — вдруг удивленно спросил Чарльз.

— Где?

— Разумеется, нет, — отозвался Генри.

Но он ошибся — это действительно был Джулиан. Он делал вид, будто не замечает нас, до тех пор, пока игнорировать нас стало уже физически невозможно. Он внимал сублимной низенькой женщине с остреньким личиком, в которой я узнал общажную уборщицу.

— Ба, вот так сюрприз! — воскликнул он, обратив к нам притворно удивленное лицо, едва его собеседница замолчала. — Подкрались, как кошки. Вы знакомы с миссис О'Рурк?

Миссис О'Рурк застенчиво улыбнулась:

— Ну, для меня-то они уже старые знакомые. Молодежь думает, уборщицы их в упор не видят, но я вот знаю вас всех в лицо.

— Я и не сомневался, — сказал Чарльз. — Меня вы уж точно забыть не могли — Бишоп-хаус, десятая комната, помните?

Он произнес это с такой теплотой, что она польщенно зарделась.

— Еще б не помнить — ты тот самый малый, который всегда таскал у меня швабру.

Пока продолжался этот обмен любезностями, Джулиан тихонько

переговаривался с Генри, и я наострил уши.

— Нужно было сказать мне об этом раньше.

— Разве мы вам не сказали?

— Да, и тем не менее... Это было уже после того, как Эдмунд пропустил два занятия, — сокрушался Джулиан. — Все это время я считал, что он симулирует недомогание. Говорят, будто его похитили, но, по-моему, это звучит глуповато. Впрочем, как знать?

— Будь это мое дите, так уж пусть лучше б похитили, чем в таком-то снегу, бог весть где, да еще почти целую неделю, — высказалась миссис О'Рурк.

— Все же я искренне надеюсь, что с ним ничего не случилось. Да, вы ведь знаете, что сюда приехали его родственники? Вы уже с ними встречались или только намереваетесь?

— Во всяком случае, не сегодня, — ответил Генри.

— Конечно, конечно, — поспешно согласился Джулиан. Он недолюбливал Коркоранов. — Я и сам предпочел бы пока воздержаться от визита — если рассудить здраво, сейчас это было бы даже бестактно... Правда, сегодня утром я совершенно случайно встретил отца и одного из братьев. У брата на плечах сидел ребенок, и при иных обстоятельствах у меня бы, пожалуй, сложилось впечатление, что они направляются на пикник.

— И как только ума хватило таскать такую кроху по такой погоде, ему небось и трех годиков еще нет, — поделилась своими впечатлениями миссис О'Рурк, которая, очевидно, стала свидетельницей встречи.

— Боюсь, я вынужден согласиться. Трудно представить, зачем в подобной ситуации могло понадобиться присутствие малыша.

— И ведь орал как резаный, аж зашелся весь, — не унималась миссис О'Рурк.

— Наверное, он просто замерз, — промурлыкал под нос Джулиан. Тон его ненавязчиво намекал на то, что тема его утомила.

Генри негромко кашлянул:

— Вы говорили с его отцом?

— Всего лишь секунду. Он... впрочем, каждый из нас реагирует на такого рода события по-своему. Правда, Эдмунд очень похож на него?

— Как и все братья, — сказала Камилла.

Джулиан улыбнулся:

— О да! И их так много... Будто прямо из сказки... — Он взглянул на часы. — Надо же! Оказывается, уже первый час.

Фрэнсис, до сих пор пребывавший в мрачном молчании, мгновенно

встрепенулся.

— Вы нас покидаете? Хотите, я вас подвезу? — с надеждой спросил он Джулиана.

Это была наглая попытка покинуть пост. Генри шумно втянул воздух, на лице его читался не столько гнев, сколько неподдельное изумление. Он с угрозой взглянул на Фрэнсиса, но тут Джулиан, который уже смотрел куда-то вдаль и не подозревал о животрепещущей драме, исход которой зависел от его ответа, покачал головой:

— Нет, спасибо. Бедный Эдмунд... Знаете, я очень за него переживаю.

— Только представьте, каково сейчас его родителям, — тотчас же вставила миссис О'Рурк.

— Да уж, — ответил Джулиан, ухитрившись выразить интонацией и сочувствие, и неприязнь к Коркоранам.

— Я б, наверно, просто умом тронулась на их месте.

Джулиан неожиданно поежился и поднял воротник пальто:

— Ночью я глаз сомкнуть не мог, до того был расстроен. Он такой славный юноша и такой безрассудный, я искренне к нему привязан. Если с ним что-нибудь произошло, не представляю, как я это перенесу.

Взгляд его был устремлен на величественную панораму заснеженной глуши с разбросанными тут и там крошечными фигурками людей, и, хотя в голосе его звучала тревога, на лице проступало что-то едва ли не мечтательное. Исчезновение Банни сильно огорчило его, это было очевидно, однако видел я и то, что размах поисков, их почти оперная зрелищность ему по душе и эстетика происходящего доставляет ему — уж не знаю насколько осознанное — удовольствие.

От Генри это тоже не укрылось.

— Словно какой-нибудь эпизод из Толстого, правда? — заметил он.

Джулиан оглянулся вполоборота, и я с удивлением заметил, что лицо его светится настоящим восторгом:

— Да, верно подмечено.

Около двух часов перед нами, словно из-под земли, выросли двое мужчин в черных пальто.

— Чарльз Маколей? — осведомился тот, что пониже, — широкоплечий крепыш с тяжелым, пристальным взглядом.

Остановившись, Чарльз непонимающе уставился на него. Тот извлек из нагрудного кармана бэйдж.

— Агент Харви Давенпорт, Северо-Восточное региональное подразделение ФБР.

На секунду мне показалось, Чарльз сейчас потеряет самообладание, но он только спросил:

— Что вам нужно?

— Мы бы хотели поговорить с тобой.

— Это не займет много времени, — добавил его спутник — высокий сутулый итальянец с печальным, обвислым носом. Голос его звучал на удивление мягко и приятно.

Генри, Камилла и Фрэнсис тоже застыли на месте и разглядывали незнакомцев с разной степенью интереса и беспокойства.

— Да и потом, пять минут в тепле тебе точно не повредят, а то так, глядишь, и яйца недолго отморозить, — ухмыльнулся Давенпорт.

Они удалились, оставив нас изнывать в неизвестности. Обсуждать случившееся при таком количестве чужих ушей было конечно же невозможно, и мы просто брели, опасаясь поднять лишний раз глаза. Вскоре стрелки подошли к трем, еще немного — и они уже показывали начало пятого. До отбоя было еще далеко, но, как только стало ясно, что процесс перешел в заключительную стадию, мы, не сговариваясь, молча зашагали к машине.

— Как по-вашему, что им от него нужно? — спросила Камилла уже, наверное, в десятый раз.

— Не знаю, — следя за дорогой, повторил свой ответ Генри.

— Он ведь уже дал показания.

— Он дал показания полиции, а не ФБР.

— Какая разница? Зачем им вообще потребовалось с ним о чем-то говорить?

— Камилла, я не знаю.

Когда мы приехали к близнецам, к нашему огромному облегчению, Чарльз уже был там. Он лежал на диване и разговаривал по телефону с бабушкой, на журнальном столике перед ним стоял стакан с виски — судя по всему, «снятие стресса» шло полным ходом.

— Бабушка передает привет. Очень расстроена — у нее в азиях завелся какой-то вредитель, — повесив трубку, сказал он Камилле. Но она его как будто не слышала.

— Что это у тебя с руками?!

Чарльз не очень уверенно вытянул руки ладонями вверх — кончики пальцев были черные.

— Они взяли у меня отпечатки. Было даже интересно — у меня ведь еще никогда их не брали.

Мы настолько опешили, что даже не знали, что сказать. Потом Генри взял его за руку и, поднеся ее ближе к свету, внимательно рассмотрел черные пятна.

— Зачем им это понадобилось?

Чарльз потер бровь запястьем:

— Они закрыли доступ в его комнату. Сейчас там везде напыляют этот порошок и собирают все в пластиковые мешочки.

Генри отпустил его руку.

— Но зачем?

— Не знаю. Им нужны отпечатки всех, кто заходил в комнату в тот четверг и что-либо трогал.

— Какой от этого прок? У них все равно нет отпечатков Банни.

— Как выяснилось, есть. Когда Банни был бойскаутом, его отряд сдавал зачет по какой-то там охране правопорядка и у всех «сняли пальчики». Они до сих пор хранятся в каком-то архиве.

Генри сел рядом:

— А беседовать с тобой им зачем понадобилось?

— Это как раз было первое, что они у меня спросили.

— То есть?

— «Как ты думаешь, почему мы пригласили тебя побеседовать с нами?» — Он отер щеку тыльной стороной ладони. — Генри, я тебе сразу скажу: это не полиция, этих людей на мякине не проведешь.

— Как они вели себя?

Чарльз пожал плечами:

— Тот, что пониже, Давенпорт, особо не церемонился. А другой, итальянец, был вполне вежлив, но его-то я и испугался. Он почти все время молчал, только слушал. На самом деле он гораздо умней своего напарника.

Чарльз замолчал, о чем-то задумавшись, но Генри не терпелось узнать все до конца:

— Да, и что? Что дальше?

— Ничего. Нам... не знаю. Нам нужно быть очень осторожными. Они пытались подловить меня, и не раз.

— В смысле?

— Ну, например, когда я сказал им, что в тот четверг мы с Клоуком оказались в комнате Банни около четырех часов.

— Но ведь так все и было? — удивился Фрэнсис.

— Естественно, но итальянец — нет, приятный все-таки тип — вдруг



напустил на себя такой озабоченный вид. «Послушай, — говорит, — ты точно ничего не путаешь? Подумай хорошенько». Я не знал, что и думать, потому что я очень хорошо помню, что мы вошли туда почти ровно в четыре. А Давенпорт говорит: «Да, хорошенько подумай; вот, например, твой дружок Клоук сказал, что вы позвали остальных только после того, как провели там вдвоем целый час, так дело было?»

— Я догадываюсь, что они хотели нащупать: не пытались ли вы тем временем избавиться от каких-либо возможных улик, — сказал Генри.

— Может быть. А может, просто хотели посмотреть, совру я или нет.

— И что, ты соврал?

— Нет. Но вообще-то нервы у меня пошаливали, и если б они задали какой-нибудь более щекотливый вопрос... Ты просто не понимаешь, что это такое. Их двое, а ты — один, и у тебя практически нет времени подумать... Да, да, знаю, что ты хочешь сказать, — поспешно добавил он с болезненной гримасой. — Но это совсем не то же самое, что давать показания полиции. Захолустные копы, с которыми мы общались, по сути и не рассчитывают ничего обнаружить. Они б обалдели, если б узнали правду; признайся мы, они бы, наверно, просто нам не поверили. Но эти двое... — Его передернуло. — Мы слишком привыкли полагаться на внешнюю сторону вещей, я только сейчас это понял. Можно сколько угодно уверять себя в том, что все зависит от нашей смекалки, но на самом деле все держится на том, что мы не производим впечатления преступников. Эти люди — совсем другие: будь мы хоть училками из воскресной школы, они б все равно на это не купились.

Он глотнул из стакана:

— Да, кстати, Генри, они просто засыпали меня вопросами о вашей поездке в Италию.

Генри сразу насторожился:

— О деньгах что-нибудь спрашивали? Кто все финансировал?

Чарльз допил виски и секунду-другую болтал в стакане лед.

— Нет, хотя я до смерти боялся, что спросят. Думаю, стоит поблагодарить Коркоранов — тем, судя по всему, удалось-таки поразить их воображение. Скажи я, что Банни никогда не надевал одну и ту же пару трусов дважды, они бы, скорее всего, поверили.

— А что насчет того вермонтца, который выступал вчера в новостях? — спросил Фрэнсис.

— Не знаю. Мне показалось, что больше всего их интересует Клоук. Возможно, они просто хотели проверить, насколько наши с ним показания сходятся. Хотя при этом задали пару довольно странных вопросов,

которые... не знаю. В общем, не удивлюсь, если окажется, что он успел поделиться этой своей теорией с половиной кампуса — о том, что Банни похитили наркоторговцы, я имею в виду.

— Нет, этого быть не может, — заявил Фрэнсис.

— Почему? Нам-то он рассказал, а ведь мы ему даже не друзья. Правда, эти двое из ФБР, кажется, думают, что мы с ним еще какие приятели.

— Надеюсь, ты потрудился их разубедить? — спросил Генри, прикуривая сигарету.

— Клоук наверняка сам уже об этом позаботился.

— Не факт. — Генри отбросил спичку в пепельницу и глубоко затянулся. — Знаете, сначала я подумал, что эта вынужденная связь с Клоуком — большая неудача. Теперь же я начинаю осознавать, что это, можно сказать, подарок фортуны.

Прежде чем мы успели спросить, как это следует понимать, он взглянул на часы:

— Силы небесные, уже почти шесть. Мы рискуем пропустить новости.

Когда мы ехали к Фрэнсису, дорогу нам перебежала беременная собака.

— Это очень плохая примета, — сообщил Генри.

Но чего именно нам следует опасаться, он так и не пояснил.

Мы успели к самому началу выпуска. С озабоченным, но в то же время очень довольным видом диктор оторвался от бумаг и взглянул в камеру: «В окрестностях Хэмпден-колледжа продолжаются широкомасштабные, но, к сожалению, пока безрезультатные поиски пропавшего студента Эдварда Коркорана».

— Ну хотя бы с именем, наверно, уж можно было определиться, — заметила Камилла, выуживая из кармана брата сигарету.

В кадре появился аэрофотоснимок заснеженной горной местности, утыканный, как военная карта, флажками. На переднем плане огромным неровным пятном расплывалась Маунт-Катаракт.

«На второй день поисковой операции в ней приняли участие уже более трехсот человек, — сообщил голос за кадром. — К рядовым гражданам присоединились полицейские, пожарные, служащие госучреждений и солдаты Национальной гвардии. Сегодня участники совместными усилиями прочесали труднодоступные районы в предгорьях Маунт-Катаракт. Кроме того, собственное расследование начало ФБР».

Картинка дернулась и уступила место репортажу: на экране возник тощий седой человек в ковбойской шляпе — Дик Постонкил, шериф округа Хэмпден, как сообщала подпись. Он что-то говорил, но до нас не доносилось ни слова; на заднем плане собралась толпа поисковиков, они тянули шею и ухмылялись в камеру.

Спустя несколько секунд, шипя и щелкая, пробился звук. Шериф, судя по всему, уже закруглялся: «...напомнить любителям горных прогулок, чтоб они заранее составляли маршрут, выходили на него организованными группами, держались проторенных троп и брали с собой запас теплой одежды на случай внезапных перепадов температуры».

— Это был шериф округа Хэмпден Дик Постонкил с рекомендациями по поводу мер безопасности во время зимнего отдыха в горах, — жизнерадостно провозгласил диктор.

Он повернул голову, и другая камера перехватила его крупным планом.

«Пока что единственный ключ к разгадке исчезновения хэмпденского студента был получен от местного предпринимателя и постоянного зрителя „ЭкшнНьюз-12“ Уильяма Ханди, который сообщил информацию о пропавшем юноше, воспользовавшись телефоном нашей „горячей линии“. Сегодня представители правоохранительных органов округа и штата, при содействии мистера Ханди, работали над составлением описания предполагаемых похитителей разыскиваемого студента...»

— Округа и штата, — повторил Генри.

— Что?

— Не федеральных.

— Само собой, — сказал Чарльз. — Ты что, думаешь, ФБР поверило рассказам какого-то полудикого вермонтца?

— Если нет, то что их сюда привело?

Мысль была неутешительна. В ярких лучах полуденной записи вниз по ступенькам здания суда семенила группа людей. Среди них, внимательно смотря под ноги, спускался и мистер Ханди. Волосы у него были зализаны назад, вместо комбинезона на нем теперь красовался небесно-голубой воскресный костюм.

Навстречу ему с микрофоном в руке устремилась Лиз Окавелло. Эта особа — модные очки, навороченная дикторская прическа — была восходящей звездой местного телевидения: она вела собственное ток-шоу на темы важнейших событий недели и рубрику «Кинопульс» в новостях.

«Мистер Ханди! Мистер Ханди!»

Он озадаченно замер, однако его спутники даже и не думали

останавливаться, и он оказался в гордом одиночестве. Те, правда, мигом оценили ситуацию и, вернувшись, сгрудились вокруг него, как телохранители. Взяв его под локти, они было двинулись прочь, но Ханди напыжился и остался на месте.

«Мистер Ханди, — проталкиваясь поближе, вновь обратилась к нему Лиз, — как я понимаю, сегодня вы предоставили полиции подробные словесные портреты неизвестных, которых вы видели в воскресенье вместе с пропавшим юношей?»

Мистер Ханди ответил на удивление расторопным кивком. На смену его вчерашней робости и неловкости пришла несколько более уверенная манера.

«Не могли бы вы вкратце описать их и нашим телезрителям?»

Окружение Ханди вновь попыталось оттащить его в сторону, но тот, похоже, намертво приклеился к ступеньке под глазом объектива.

«Ну, они, как бы, это... не отсюда были. Такие... м-м... смуглые, чернявые.

— Чернявые?»

Его уже силой волокли вниз, и, оглянувшись, как приговоренный, решивший раскрыть перед казнью страшную тайну, Ханди произнес:

«Ну, арабы, короче».

Лиз восприняла это заявление с такой безмятежностью, что поначалу я подумал, что ослышался.

«Спасибо, мистер Ханди, — бросила она вслед увлекаемому прочь механику и повернулась лицом к камере: — Коллеги?

— Спасибо, Лиз. Это была Лиз Окавелло с репортажем от здания суда округа Хэмпден», — просиял диктор.

— Стоп, — сказала Камилла. — Мне не послышалось? Он действительно это сказал?

— Что?

— Про арабов. Он на самом деле сказал, что Банни ехал в машине с какими-то арабами?

«Тем временем, — продолжал диктор, — члены нескольких церковных общин, расположенных на территории Вермонта, Нью-Хэмпшира и Массачусетса объединились в молитве за пропавшего юношу. По словам преподобного Пула из Первой лютеранской церкви, прихожане Первой баптистской и Первой методистской церквей, а также церкви Святого причастия неустанно возносят...»

— Да, Генри... Все же мне очень интересно, что у этого твоего механика на уме, — произнес Фрэнсис.

Генри закурил сигарету. Когда огонек уже подбирался к фильтру, он спросил:

— Чарльз, тебе сегодня задавали какие-нибудь вопросы насчет арабов?

— Но ведь они только что сказали, что Ханди никак не связан с расследованием ФБР, — отозвалась вместо Чарльза Камилла.

— Откуда мы знаем, что там на самом деле.

— Думаешь, они выпустили его на сцену для отвода глаз?

— Не знаю что и думать.

Между тем на экране появилась худощавая, ухоженная женщина лет пятидесяти пяти — кардиган от Шанель, жемчужные бусы, длинное каре с уложенными вверх концами.

«О да, жители Хэмпдена встретили нас с такой теплотой, — сказала она. Можно было подумать, что у нее легкий насморк, голос показался мне до странности знакомым, вот только где я мог его слышать? — Вчера вечером, когда мы наконец добрались до отеля, консьерж ждал...»

— Консьерж... — презрительно скривился Фрэнсис. — В «Коучлайтинн» консьержа нет и в помине.

Я пригляделся к женщине повнимательнее:

— Это мать Банни?

— Да, это она, — ответил Генри. — Совсем забыл, у тебя ведь еще не было случая с ней познакомиться.

Шея ее была густо покрыта морщинами и веснушками, характерными для женщин ее возраста и сложения. Волосы и глаза были того же цвета, что у Банни, однако, что касается собственно черт лица, с младшим сыном ее роднил только остренький, любопытный носик — в ее наружность он вписывался прекрасно, но на широкой незатейливой физиономии Банни всегда выглядел так, словно был наспех приделан в самом конце процесса, когда ничего более подходящего уже не нашлось.

«Ах, вы знаете, нас просто засыпали письмами, открытками, букетами — нескончаемый поток со всей страны!»

— Ее что, чем-то накачали?

— То есть?

— Ну как-то не очень заметно, чтоб она переживала.

«Естественно, естественно... — глубокомысленно закивала головой

миссис Коркоран. — Мы все просто сходим с ума, иначе не назовешь. И я очень надеюсь, что ни одной матери не придется вынести то, что в последние несколько дней вынесла я. Однако погода, похоже, наконец-то улучшается, к тому же мы повстречали здесь столько чудесных людей, а уж какими великодушными оказались хэмпденские предприниматели...»

— Надо сказать, она довольно фотогенична, нет? — заметил Генри, когда пошла реклама.

— Впечатление такое, что к ней на кривой козе не подъедешь.

— Да от нее б даже черти в аду разбежались, — раздался пьяный голос Чарльза.

— Ну почему же? С ней далеко не все так плохо, — возразил Фрэнсис.

— Ты говоришь это только потому, что она все время к тебе подлизывается. Из-за твоей матери, и так далее, — ответил Чарльз.

— Она ко мне подлизывается?! Что ты плетешь?

— Меня от нее воротит. Это же просто чудовищно: внушить своим детям, что главное в этом мире — деньги, но при этом зарабатывать их собственным трудом — позор. А потом взять и вышвырнуть одного за другим с пустым карманом — путевка в жизнь! Она никогда Банни гроша ломаного...

— Без его отца здесь, кстати, тоже не обошлось, — сказала Камилла.

— Э-э, ну да, может быть... не знаю. Я просто хочу сказать, что таких жадных, тщеславных людишек еще поискать. Когда их видишь в первый раз, то думаешь: ах, какое милое, приятное семейство, как у них все со вкусом устроено. Но на самом деле нули без палочек, тошнотворная «маргариновая семья». — Чарльз повернулся ко мне: — Знаешь, у них в доме есть комната — называется «комната в стиле Гуччи».

— Как-как?

— В общем, как я понял, они решили поиграть в авангардистов и испоганили все стены этими знаменитыми полосками Гуччи. В каких только журналах эти фото потом не печатали. В «Образцовом доме» ими проиллюстрировали статью на тему «нестандартного декора» или какой-то похожей бредятины — короче, тебе советуют, например, нарисовать на потолке спальни огромного омара, потому что это якобы страсть как красиво и оригинально. — Он закурил. — То есть, я хочу сказать, в этом все Коркораны. Дешевая показуха. По сравнению с остальной семейкой Банни был еще ничего, но даже он...

— Терпеть не могу Гуччи, — заявил Фрэнсис.

— Да? Серьезно? — удивился Генри, который секунду назад, казалось, был целиком погружен в раздумья о судьбах человечества. — По-моему, то,

что выходит под этим брендом, по-своему великолепно.

— Генри, я тебя умоляю...

— Это так дорого и вместе с тем так безобразно... Мне кажется, они специально разрабатывают уродливый дизайн. Но люди все равно покупают их вещи — просто потому, что приучены благоговеть перед всем извращенным.

— И в чем же ты видишь здесь великолепие?

— Великолепие есть во всем, что сделано с размахом, — ответил Генри.

Я возвращался домой на автопилоте, почти не глядя по сторонам, но, когда дошел до яблонь у Патнам-хауса, вдруг заметил, что мне наперерез шагает какой-то угрюмый верзила.

— Это ты Ричард Пэйпен? — спросил он, поравнявшись со мной, и, едва я кивнул, врезал мне промеж глаз. Я опрокинулся навзничь как подкошенный.

— Чтоб больше не смел лезть к Моне! — заорал он. — Еще раз к ней подойдешь, я тебе все кишки выпущу, понял?

Не дождавшись ответа, он лихо пнул меня в бок и вразвалку зашагал по снегу — проскрипели шаги, хлопнула дверь.

Я лежал и смотрел на небо — звезды почему-то казались еще более далекими, чем обычно. Наконец я кое-как поднялся и, охая от острой боли в ребрах, похромал домой.

На следующий день я проснулся поздно. Боль в боку унялась — кажется, ребра остались целы, — но, стоило мне шевельнуть головой, как стало ясно, что глазу повезло гораздо меньше. Пока, щурясь от яркого солнца, я валялся в постели, вчерашние события всплывали обрывками сна. Потом я дотянулся до часов и обнаружил, что уже почти полдень, — почему, черт побери, никто до сих пор за мной не зашел? Вместе со мной с кровати поднялось отражение в зеркале напротив: волосы дыбом, рот идиотски перекошен — точь-в-точь персонаж комикса, на которого свалился кирпич, не хватает разве что нимба со звездочками и чирикающими птичками. Впрочем, этот маленький недостаток с лихвой компенсировал полноценный фингал, переливавшийся роскошными оттенками пурпура, шафрана и индиго.

Второпях умывшись и почистив зубы, я вылетел из Монмута, собираясь разыскать кого-нибудь из группы, но первым знакомым человеком у меня на пути оказался Джулиан, который неспешно

направлялся в Лицей.

Увидев меня, он отпрянул с чаплинским выражением простодушного изумления:

— Что с тобой стряслось?

— Вы сегодня еще ничего нового не слышали?

— Нет... — произнес он, с любопытством разглядывая меня. — Ричард, честно сказать, ты выглядишь как герой потасовки в ковбойском салуне.

В обычных обстоятельствах мне было бы слишком стыдно открыть ему правду, но я так устал лгать, что вдруг ощутил жгучую потребность обойтись без вранья — хотя бы в таком пустячном деле — и чистосердечно рассказал, как все было.

— Значит, без драки не обошлось? — неожиданно расцвел Джулиан. — Какая захватывающая история... Я правильно понимаю, что ты питаешь к этой девушке глубокие чувства?

— Боюсь, мы почти незнакомы.

— Клянусь богами, — рассмеялся он, — сегодня ты просто поражаешь меня своей искренностью.

В ответ на это я мог бы сказать, что он просто пугает меня своей пронизательностью.

— Жизнь вдруг стала полна несказанного драматизма, — продолжал он. — Совсем как в романах... Кстати, я ведь еще не рассказывал тебе, что вчера у меня в Лицее объявились довольно странные визитеры?

— Нет. Что за визитеры?

— Их было двое. Поначалу я несколько встревожился — подумал, что это, должно быть, чиновники Госдепартамента или кто похуже. Ты ведь, наверное, слышал о моих неурядицах с израмским правительством?

Я не вполне понимал, чем, по мнению Джулиана, он так уж не угодил правительству Израма (даже если учесть, что речь идет о террористическом государстве), но все его опасения на этот счет основывались на том, что лет десять назад ему довелось обучать юную наследницу израмского престола. После революции она была вынуждена бежать из страны и, уж не знаю каким образом, очутилась в итоге в Хэмпден-колледже. В течение четырех лет она была студенткой Джулиана, обучение проходило в виде частных уроков под непосредственным наблюдением израмского министра образования, который периодически прилетал из Швейцарии с подарочным грузом икры и шоколада, чтобы в очередной раз убедиться в соответствии учебной программы потребностям будущей законной правительницы его страны.



Принцесса была сказочно богата. (Генри рассказывал, что однажды мельком видел ее — в темных очках и куньей шубе она спускалась по ступенькам Лицея в окружении телохранителей.) Ее династия существовала со времен Вавилонской башни и с тех пор успела скопить несметное состояние, большую часть которого родственникам и приближенным принцессы все же удалось переправить за пределы страны. Однако за ее голову была назначена награда, в результате чего наследница жила в изоляции под неусыпной опекой личной службы безопасности и, несмотря на свой юный возраст и студенческую среду, практически без друзей. Последующие годы и вовсе превратили ее в затворницу. Опасаясь покушений, она постоянно меняла место жительства; вся ее семья, за исключением пары дальних родственников и умственно отсталого брата, не покидавшего стен лечебницы, была постепенно ликвидирована. Пуля нашла даже старого министра образования, когда в один прекрасный день спустя полгода после выпуска принцессы из Хэмпдена тот вышел погреться на солнышке во двор своего уютного домика в Монтрё.

Джулиан питал расположение к принцессе и из чистого принципа сочувствовал роялистам — собственно, этим его пресловутая вовлеченность в израмскую политику и ограничивалась. Тем не менее он предпочитал не летать самолетами, не принимал никаких почтовых отправок без обратного адреса, остерегался случайных посетителей и уже очень давно не предпринимал путешествий за рубеж. Были ли подобные меры предосторожности оправданными или нет, судить не мне, и все же, на мой скромный взгляд, Джулиан не был так уж сильно связан с принцессой, да и у лидеров израмского джихада, скорее всего, были дела поважнее, чем охота за каким-то преподавателем античной словесности из Новой Англии.

— Как выяснилось, к Госдепартаменту они не имели никакого отношения, но их причастность к одному из правительственных ведомств не вызывала сомнений. Насчет таких вещей у меня шестое чувство, любопытно, правда? Один из них оказался итальянцем, был очень обходителен... едва ли не галантен на свой лад, довольно забавный. Меня это все озадачило. Они сказали, что Эдмунд употреблял наркотики.

— Правда?

— По-моему, исключительно нелепое утверждение, ты не находишь?

— И что вы на это ответили?

— Я ответил: «Конечно же нет». Не хочу себе льстить, но мне кажется, что я сравнительно хорошо знаю Эдмунда. У него довольно застенчивая, даже, можно сказать, пуританская натура... Нет, я не могу вообразить,

чтобы он занимался чем-то подобным, к тому же молодые люди, которые принимают наркотики, всегда так неотесанны и прозаичны... Но знаешь, что мне ответил этот итальянец? Буквально следующее: «С нынешней молодежью ни в чем нельзя быть уверенным». Как по-твоему, он прав? Лично я не могу с ним согласиться.

Мы прошли сквозь здание Общин (сверху, из столовой, доносился грохот тарелок — близилось время обеда), и, сказав, что мне по пути, я предложил проводить Джулиана до Лицея.

Обычно эта часть кампуса, прилегавшая к Северному Хэмпдену, была тихой и безлюдной, снежный покров под соснами оставался ровным и нетронутым до самой весны. Сейчас же все было истоптано и замусорено так, что напоминало рыночную площадь в конце торгового дня. Кто-то въехал на джипе в старый вяз — осколки стекла, искореженная защитная решетка, страшная рана, желтеющая на стволе. По склону холма с визгом и совершенно недетской руганью каталось на картонках малолетнее городское отребье.

— Бедные дети, — пробормотал Джулиан.

Я расстался с ним у черного входа в Лицей и отправился во владения доктора Роланда. Было воскресенье, и его кабинет пустовал. Я запер дверь и провел остаток дня в приятном уединении, разбирая бумажки для шефа и попивая мутную кофейную взвесь из кружки с надписью «С днем рождения, Ронда!».

Из коридора доносились чьи-то голоса. В какой-то момент мне показалось, что, если прислушаться, вполне можно различить слова, но напрягаться совсем не хотелось. Позже, уже покинув здание и напрочь о них забыв, я все-таки узнал, кому они принадлежали, и понял, что ощущение безопасности, не покидавшее меня в тот день, было несколько неоправданным.

Агенты ФБР, сказал Генри, разместили свой временный штаб в аудитории рядом с кабинетом доктора Роланда — туда-то его и пригласили. Меня отделяли от них какие-нибудь пять метров, они даже пили тот самый мутный кофе, который я сварил в преподавательской кофеварке.

— Да, любопытно. Едва я сделал первый глоток, как сразу подумал о тебе.

— Почему это?

— Вкус был странным. Если точнее, жженым. Обычный вкус твоего кофе.

В аудитории, по описанию Генри, висела доска, исписанная

квадратными уравнениями, и стоял длинный стол, за которым они втроем и расположились. На столе — кипы бумаг, портативный компьютер, две набитые окурками пепельницы и прозрачная коробка леденцов из кленового сиропа. «Это для моих ребяташек», — пояснил итальянец, глянув с улыбкой на янтарные желуди и фигурки пилигримов.

Генри конечно же справился блестяще. Сам он об этом не сказал, но все было ясно и так. Он был фактически автором этой драмы и до сих пор скромно стоял за кулисами в ожидании момента, когда сможет выйти на сцену и сыграть отведенную себе роль: образцовый студент, немногословный, но готовый к сотрудничеству, умный, сообразительный, но не выскочка. По его словам, разговор даже доставил ему удовольствие. Давенпорт оказался ничтожным филистером, зато итальянец был очарователен — задумчив и вежлив («Как один из тех старых флорентийцев, которых Данте встречает в Чистилище»). Звали его Сциола. Он весьма заинтересовался поездкой в Рим и много о ней расспрашивал, не столько как следователь, сколько как заядлый турист и ценитель архитектуры. («А в базилике Санта-Прасседе были? Это которая недалеко от вокзала Термини, у нее еще сбоку часовенка такая занятная».) К тому же он говорил по-итальянски, и они с Генри успели немного поболтать, пока Давенпорт, который, естественно, не понимал ни слова и хотел поскорее перейти к делу, не оборвал их милый диалог.

Посвящать меня в суть этого «дела» Генри не стал, но заверил, что ФБР в любом случае идет по ложному следу.

— Более того, я, кажется, понял, в кого они на самом деле метят.

— Да? В кого?

— В Клоука.

— Ты что, хочешь сказать, они подозревают его в убийстве?

— Нет, но они считают, он что-то скрывает. Да и вообще ведет себя довольно странно. Честно говоря, по-моему, у них есть все на то основания. Кстати, они очень хорошо осведомлены об организации его бизнеса. Им известны многие вещи, которых он, совершенно точно, им не сообщал.

— Например?

— Имена, даты, места встреч. У меня сложилось впечатление, что некоторые детали этой подпольной схемы они пытаются увязать со мной, — разумеется, сия смехотворная затея с треском провалилась. *Di immortales*,<sup>[104]</sup> они даже задавали вопросы о рецептах на анальгетики, которые мне выдавали в медпункте на первом курсе... Стол был буквально завален папками: медицинские карточки, заключения психологов, отзывы

преподавателей, учебные работы, табели успеваемости — чего там только не было. Конечно, они разложили их там не без умысла — думаю, хотели меня запугать: дескать, вот, смотри, что у нас есть. Ну, в моих-то бумагах, насколько мне известно, нет ничего предосудительного. А вот у Клоука... Плохие оценки, наркотики, неоднократное отстранение от занятий — одним словом, тот еще послужной список. Не знаю, что их на это навело, его бумаги или, может быть, что-то из его слов, но по большей части они выпытывали подробности его отношений с Банни. И не только у меня — Джулиана, Брейди и Патрика они расспрашивали о том же. Джулиан, разумеется, ничего не знал, а вот у братьев, судя по всему, нашлось, что рассказать. Я тоже внес свою лепту.

— Это ты о чем?

— Ну как же — они прекрасно знакомы с Клоуком, не далее как позавчера курили с ним марихуану на стоянке «Коучлайт-инн».

— Нет, а ты-то что им сказал?

— Я просто поделился с ними опасениями, которые вызвала у Клоука их совместная с Банни экскурсия в Нью-Йорк.

Я чуть не упал со стула:

— Господи, Генри, ты уверен, что не наломал дров?

— Разумеется, — ни секунды не сомневаясь, ответил он. — Это именно то, что им хотелось услышать. Они битый час задавали мне наводящие вопросы, наконец я решил, что пора, и обронил пару фраз... Они тут же за них ухватились, и я с охотой предоставил им остальную информацию. По-видимому, в ближайшее время нашему дорогому дилеру придется немного поволноваться, но, честно говоря, нам это только на руку. Пока они будут его обрабатывать, возможно, придет потепление — кстати, ты заметил, как прояснилось в последние дни? По-моему, дороги уже начали оттаивать.

Мой синяк вызвал массу споров и домыслов (у Фрэнсиса отвисла челюсть, когда шутки ради я сказал, что получил его в качестве памятного сувенира от фэбээровцев), однако все это напрочь затмил ажиотаж, развернувшийся вокруг заметки в свежем номере бостонской «Геральд». Накануне в Хэмпден прибыли корреспонденты нью-йоркских «Пост» и «Дэйли таймс», но бостонский борзописец, без сомнения, заткнул их за пояс.

**ВЕРМОНТ: ПРОПАВШИЙ СТУДЕНТ МОГ СТАТЬ**

## ЖЕРТВОЙ НАРКОТИКОВ

В вермонтском округе Хэмпден третий день продолжают поиски студента Хэмпден-колледжа Эдмунда Коркорана, исчезнувшего 24 апреля. Федеральные власти, недавно приступившие к собственному расследованию, предполагают, что в исчезновении могут быть замешаны наркотики. При обыске комнаты пропавшего агенты ФБР обнаружили предметы, сопутствующие употреблению наркотиков, а также небольшое количество кокаина. Ранее Коркоран не был замечен в употреблении наркотических веществ, однако, как сообщают лица из окружения юноши, в последние месяцы в его поведении обозначились странные перемены — обычно приветливый и общительный, он стал угрюмым и неразговорчивым (см. «Что скрывают от вас ваши дети» на стр. 6).

Похоже, мы оказались единственными, кого эта новость озадачила, — всем остальным она, как выяснилось, была уже давно известна. Первой свою версию случившегося предложила мне Джуди:

— Ты в курсе, что на самом деле нашли у Банни в комнате? Нет? Короче, это было зеркало Лоры Сторы. На нем в свое время, наверно, весь Дурбинсталль дорожки делал. Старое такое, там еще по краям желобки типа рамки. Джек прозвал его Снежной королевой — если совсем приперло, в этой рамке всегда можно было наскрести остатков, причем нормально. И в принципе это, конечно, Лорино зеркало, но по ходу как бы уже и общее. Она говорит, что уже сто лет его не видела — тусовалась в марте у кого-то в одном из новых корпусов, зеркало лежало в общей комнате, а потом вдруг пропало, похоже, кто-то спер. Брэм сказал, Клоук говорит, когда он попал тогда к Банни в комнату, этого зеркала там и в помине не было, — мол, это федералы его потом подложили. На самом деле, Клоук вообще думает, это все подстава. Как в том сериале — «Миссия невыполнима» или в книжках Филипа Дика — блин, паранойя реальная. Он сказал Брэму, что фэбээровцы понаставили в Дурбинсталле скрытых камер — прикинь, дичь какая? А Брэм говорит, это все из-за того, что Клоук боится заснуть и уже двое суток сидит на спидах: заперся у себя в комнате, тянет дорожки и гоняет по кругу «Баффало Спрингфилд», причем одну и ту же песню. Знаешь, наверно: «Что-то такое вокруг происходит... Но что, до меня не особо доходит...» Я вот думаю, странно как-то. Чуть какой депресняк,

народ вдруг резко ставит старый хипповский хлам, который, по-хорошему, вообще б никогда слушать не стал. У меня вот когда кот умер, я пошла и набрала у подруги кучу кассет Саймона и Гарфункеля... Короче, не суть.

Откуда я все это узнала? О, это отдельная песня. В общем, Лора вся на изменах, они как-то вычислили, что зеркало ее, а она уже и так на испытательном сроке. В прошлом семестре отделалась кое-как общественными работами, а ее ведь тогда чуть не выперли — Неваляшку запалили, и та настучала на нее и на Джека, ты ж наверняка помнишь всю эту заваруху, нет?

— Что еще за Неваляшка?

— Да знаешь ты ее. Та еще стерва. На первом курсе раза четыре перевернула папочкин «вольво», а самой хоть бы хны, потому и погоняло такое.

— Все равно не пойму, при чем здесь эта особа.

— Ох, Ричард, да ни при чем, ты прям как тот мужик в «Драгнете», которому всегда только факты подавай. Просто Лора жутко перестремалась — в администрации говорят, что если она не скажет, как это зеркало попало к Банни, то позвонят ее родителям, а она вообще без понятия, как это сраное зеркало там оказалось. Тут еще круче — эти агенты прознали про экстази, которое она притащила на «Весенний отрыв», и хотят, чтоб она всех сдала. А я ей говорю, Лора, не вздумай, будет как тогда с Неваляшкой, тебя все будут гнобить и придется переводиться в другой колледж. Это как Брэм говорил...

— А где сейчас Клоук?

— Ты хоть минуту можешь помолчать? Я как раз хотела рассказать... Короче, фиг его знает. Вчера под вечер он уже просто на стенку лез, попросил у Брэма машину и свалил с кампуса, а сегодня машина вдруг очутилась на стоянке, ключи в зажигании, никто ничего не видел, дома его нет, и вообще хрен поймешь, что происходит... Я к спидам теперь даже близко боюсь подходить. Да, кстати, все хотела спросить, где это ты так глазом приложился?

Придя к Фрэнсису, я обнаружил там близнецов (недоставало только Генри, который уехал обедать с Коркоранами) и пересказал им то, что услышал от Джуди.

— Я, между прочим, видела это зеркало, — заметила Камилла.

— Я тоже, — сказал Фрэнсис. — Старый, обшарпанный кусок стекла. Он у Банни уже давно валялся.

— Я думал, это его.

— Интересно, как оно у него оказалось?

— Если эта девушка оставила зеркало в общей комнате, Банни, скорее всего, просто на него наткнулся и решил прихватить с собой, — предположил Чарльз.

Это было очень похоже на правду, поскольку Банни, бесспорно, страдал легкой формой kleptomanii. Он частенько прикарманивал небольшие и не особенно ценные предметы — маникюрные ножнички, пуговицы, катушки липкой ленты, — которые потом оседали у него в комнате в виде маленьких бардачных заначек. Этому пороку он предавался тайно, однако уже более ценные вещи, брошенные без присмотра, присваивал открыто и без малейших угрызений совести. Ему ничего не стоило сунуть под мышку бутылку виски или оставленную посыльным на крыльце коробку с цветами и удалиться, тихонько посвистывая. Он проделывал это так уверенно и невозмутимо, что мне казалось, он даже не понимает, что совершает кражу. Однажды мне довелось слышать, как он с азартом и явно без задней мысли расписывает Марион, что, по его мнению, следует делать с теми, кто ворует продукты из холодильников на общих кухнях.

Лоре Сторе, конечно, пришлось несладко, однако у бедного Клоука дела обстояли еще хуже. Чуть позже мы узнали, что на кампус он вернулся не по доброй воле, а подчиняясь приказу фэбээровцев: те развернули его, не успел он отъехать от Хэмпдена и десяти километров. Они привели его в свою штаб-квартиру и продержали там до глубокой ночи; что они ему сказали, я не знаю, однако в понедельник утром он потребовал, чтобы впредь при даче показаний присутствовал его адвокат.

Миссис Коркоран, по словам Генри, была готова съесть живьем тех ищеек и писак, которые осмелились предположить, будто ее сын употреблял наркотики. Во время обеда в «Бистро» к столику Коркоранов подобрался какой-то журналист и спросил, что они думают по поводу «предметов, сопутствующих употреблению наркотиков», найденных в комнате Банни.

Мистер Коркоран встрепенулся и, важно нахмурившись, произнес: «Ну-у, в общем, мы думаем, что это все... э-хэм... как бы...» — но миссис Коркоран прервала мужа и, не отрывая глаз от тарелки, где под ее неумолимым ножом корчился стейк с перцем, произнесла в адрес наглого щелкопера небольшую обличительную речь. Во-первых, «предметы, сопутствующие употреблению наркотиков», как они изволят

выражаться, — это отнюдь не то же самое, что наркотики, во-вторых, остается только сожалеть, что пресса сочла допустимым опубликовать обвинения против человека, который волей обстоятельств отсутствует и физически лишен возможности их опровергнуть, в-третьих, на долю бедной матери и так выпало тяжкое бремя, и всякие посторонние лица, желающие выставить ее сына без пяти минут наркобароном, нисколько эту ношу не облегчают. Все сказанное было в той или иной мере разумно и справедливо и на следующий день слово в слово появилось на страницах «Пост» — в сопровождении нелестного фото миссис Коркоран с разинутым ртом и под заголовком «МАТЬ ЗАЯВЛЯЕТ: ТОЛЬКО НЕ МОЕ ЧАДО».

Около двух часов ночи Камилла попросила меня проводить ее домой. Генри уехал незадолго до полуночи; что касается Чарльза и Фрэнсиса, те накупились на выпивку сразу после обеда и, несмотря на позднее время, закругляться не собирались. Потушив свет, два бойца окопались на кухне и с настораживающим воодушевлением взялись за приготовление коктейля под названием «голубой огонек» — его ключевым элементом была дуга пламени, возникавшая при переливании подожженного виски из одной оловянной кружки в другую.

Когда мы подошли к подъезду, Камилла пригласила меня выпить чашечку чая. Ее пробирала дрожь, щеки пылали румянцем, у переносицы собрались тревожные складки.

— Наверное, все же не стоило оставлять их одних, — сказала она, включив лампу. — Боюсь, они устроят пожар.

— Да брось, ничего с ними не случится, — ответил я, хотя и разделял ее опасение.

Она принесла поднос с чаем. От лампы шел теплый свет, в квартире было уютно и тихо. Всегда, когда, лежа в постели, я погружался в пропасть томительных мечтаний, все начиналось именно так: мы вдвоем сидим за полночь, слегка разморенные алкоголем. Дальше по сценарию она как будто нечаянно задевала меня краем одежды или придвигалась почти вплотную, чтобы показать какое-нибудь интересное место в книге, и тогда я, ловя момент, нежно, но уверенно начинал прелюдию к сюите немыслимых наслаждений.

Чашка была слишком горячей, я поставил ее на стол и, дуя на пальцы, украдкой взглянул на Камиллу — она отрешенно курила, и в который раз я подумал, что мог бы навсегда раствориться в этом изумительном лице, в прекрасном пессимизме этих губ.

«Эй, иди-ка сюда. И выключи свет». Когда я представлял, как это



произносит она, то слова звучали несказанно сладостно, теперь же, когда я сидел в полуметре от нее, вообразить, что произнести их отважусь я сам, было просто невозможно.

Хотя, собственно, почему? Она присутствовала при убийстве двух человек, стояла, спокойная, как мадонна, и смотрела на агонию Банни. Я вспомнил неохотное признание, которое Генри сделал не далее как полтора месяца назад: «Да, в происходившем был определенный чувственный элемент...»

— Камилла...

Она обратила на меня рассеянный взгляд.

— Что тогда на самом деле произошло? Той ночью, в лесу?

Наверное, я неосознанно желал огорошить или по крайней мере удивить ее этим вопросом. Однако она даже не повела бровью.

— Как тебе сказать... Мне мало что запомнилось. А то, что я все-таки помню, очень трудно описать, — медленно проговорила она, словно подыскивая слова. — Еще пару месяцев назад воспоминания были довольно отчетливыми, а сейчас их как будто совсем размыло... Наверное, мне стоило попытаться все записать.

— Да, но ведь что-то ты еще помнишь?

Ответила она не сразу:

— Генри наверняка тебе уже все рассказал, вряд ли я смогу добавить что-то новое... Не знаю, как-то даже глуповато это озвучивать. Я помню стаю собак. Помню, что руки у меня были обвиты змеями. Помню, что горели деревья — сосны вспыхивали одна за другой, как огромные факелы. Какое-то время с нами был пятый человек.

— Пятый человек?

— Иногда, впрочем, не совсем человек.

— То есть? Не понимаю.

— Ты же помнишь, как греки называли Диониса. Πολυειδής. Разноликий и многообразный. Иногда это был мужчина, иногда — женщина. Иногда — что-то еще.

Она вскинула голову:

— Сказать тебе, что я запомнила лучше всего?

— Что? — спросил я, надеясь услышать наконец какую-нибудь умопомрачительно страстную подробность.

— Того мертвеца. Он лежал на земле, и из его развороченного живота шел пар.

— Пар? Из живота?!

— Да, было холодно. И еще запах — его мне, наверно, тоже никогда не

забыть. Тот же самый запах стоял, когда мой дядя разделывал оленей. Спроси Фрэнсиса, он тоже это запомнил.

Услышанное ужаснуло меня, и я сидел, не зная что сказать. Дотянувшись до чайника, Камилла подлила себе чаю.

— Знаешь, почему, на мой взгляд, в этот раз все складывается так неудачно?

— Почему?

— Потому что, если оставить тело непогребенным, это не принесет ничего, кроме бед. Осенью все было иначе — труп нашли практически сразу. Кстати, помнишь Палинура, погибшего кормчего Энея? И то, что сказала Энею Сивилла: «Эти, что жалкой толпой здесь стоят, — землей не покрыты... Здесь блуждают они и сто лет над берегом реют...». <sup>[105]</sup> Боюсь, никому из нас не суждено спать спокойно, пока Банни не похоронят.

— Глупости.

— В четвертом веке до нашей эры весь афинский флот чуть было не вернулся в гавань только из-за того, что один из гребцов чихнул, <sup>[106]</sup> — отозвалась она с улыбкой.

— Узнаю речи Генри.

Помолчав, Камилла спросила:

— Знаешь, на чем настоял Генри спустя пару дней после того эпизода в лесу?

— Нет. На чем?

— Чтобы мы закололи поросенка.

Я был потрясен не столько самим фактом, сколько спокойствием, с которым она его сообщила.

— А как вообще... Ну, то есть...

— Мы перерезали ему горло, а потом по очереди держали друг над другом, чтобы кровь лилась на голову и руки. Это было ужасно, меня едва не вырвало.

Мне подумалось, что человека, решившего специально облиться кровью, пусть даже свиной, вскоре после совершения убийства, очень трудно назвать разумным, но делиться этим соображением с Камиллой я не стал и только спросил:

— Но зачем ему это понадобилось?

— Убийство — это скверна, которую убийца переносит на всякого, с кем соприкасается. А очиститься от крови можно только кровью. Мы выпустили на себя кровь поросенка, а потом вымылись. После этого с нами уже все было тип-топ.

— Стоп, — спохватился я. — Ты что, хочешь сказать, что...

— Нет-нет, не волнуйся, — тут же перебила меня Камилла. — Вряд ли он собирается устроить что-то подобное и на этот раз.

— Да? А чего так? Разве не помогло?

— Нет, ну что ты, по-моему, помогло, даже очень, — ответила Камилла, не уловив моего сарказма.

— Тогда почему бы не повторить?

— Как тебе сказать... Мне кажется, Генри считает, это... в общем, что тебя это расстроит.

Послышался скрежет ключа в замке, и в прихожую ввалился Чарльз. Он сбросил пальто на коврик и, тем же манером избавившись от пиджака, проследовал мимо гостиной в коридор, который вел к спальне и ванной. «Привет-привет! — пропел он. Открылась дверь, за ней другая. — Милли, где ты, солнце мое?»

— Ох, Чарльз, — вздохнула Камилла и крикнула: — Мы здесь!

Чарльз показался в проеме, с шеи у него свисал развязанный галстук, волосы торчали во все стороны, грудь тяжело вздымалась.

— Камилла, Камилла... — запричитал он, привалившись к косяку, но в этот момент заметил меня. — Эй, а ты-то что здесь забыл?

— Мы просто решили выпить чаю, — поспешно сказала Камилла. — Тебе налить?

— Нет, — уже из коридора буркнул Чарльз. — Поздно совсем... Я спать.

Хлопнула дверь. Мы переглянулись.

— Ладно, пора домой, — сказал я, поднимаясь с дивана.

Отряды поисковиков все еще прочесывали местность, но горожан в них заметно поубавилось, а студентов практически не осталось вовсе. Операция приняла совсем иную форму — строгую, скрытную, профессиональную. Прошел слух, что полиция привлекла ясновидящую, дактилоскописта и команду кинологов с блаухаундами, натасканными в Даннеморской тюрьме. После разговора с Камиллой мне в голову все же закралась мысль, что я отмечен тайным клеймом преступления и, наверное, поэтому известие о блаухаундах отозвалось во мне иррациональным страхом — как знать, не унюхает ли нос собаки то, что недоступно человеческим органам чувств (в фильмах, по крайней мере, собаки всегда первыми распознавали вампира в обаятельном, безупречном джентльмене). Так что теперь я старался держаться как можно дальше от любых собак и даже обходил за версту двух сонных лабрадоров, которые принадлежали

преподавательнице керамики и все время слонялись по кампусу с высунутыми языками, напрашиваясь на ласку. Генри, воображая, должно быть, охваченную экстазом сивиллу, гексаметром бормочущую прорицания перед собранием полицейских чинов, был куда больше встревожен появлением ясновидящей. «Если им суждено узнать правду, то именно этим способом», — заявил он с мрачной убежденностью.

— Неужели ты веришь во все эти сказки о сверхъестественных способностях?

Он посмотрел на меня с неопишмым презрением:

— Я не устаю тебе удивляться. По-твоему, если что-то скрыто от глаз, то оно просто-напросто не существует. Никак не могу понять, как можно быть таким наивным.

Современным аналогом Кассандры оказалась молодая мамаша из Нью-Хэмпшира — неброское полупальто, очки с толстыми линзами, рыжие волосы, перехваченные широкой лентой. Около года назад она попала под оборвавшийся высоковольтный провод и три недели находилась в коме, выйдя из которой обнаружила, что может «видеть» отдаленное во времени и пространстве, стоит ей лишь потрогать предмет или прикоснуться к руке человека. Полиция уже с успехом использовала ее в ряде случаев — как-то раз, например, она помогла найти тело задушенного ребенка, просто указав нужное место на карте. Генри, который был до того суеверен, что иногда, с целью задобрить злых духов, оставлял на крыльце блюдечко с молоком, замороженно наблюдал издали, как она прогуливается в одиночестве по окраине кампуса.

— Ужасно жаль, — вздохнул он. — Я конечно же не рискну познакомиться с ней на пути, но мне бы очень хотелось с ней побеседовать.

Впрочем, большинство студентов было сражено наповал совсем другой информацией (я до сих пор не знаю, насколько достоверной) — о том, что в колледж для проведения расследования направлены секретные агенты Управления по борьбе с наркотиками. Описывая впечатление, произведенное «Чаттертоном» Виньи на молодое поколение 1835 года, Теофиль Готье утверждал, что после постановки пьесы в Париже по ночам то и дело раздавались одинокие пистолетные выстрелы. Здесь же, в Хэмпдене, почти сто пятьдесят лет спустя по ночам не смолкал грохот спускаемой из бачков воды.<sup>[107]</sup> Любители пыхнуть и закинуться бродили по кампусу с убитым видом, оплакивая потерю своих сокровищ. В туалете скульптурной мастерской случился настоящий потоп — кто-то ухнул в унитаз столько травы, что забился сток и пришлось вызывать сантехников.

В понедельник около половины пятого ко мне заглянул Чарльз:

— Привет! Случайно не хочешь выбраться перекусить?

— Ты один? А где Камилла?

Он пожал плечами, шаря понурым взглядом по комнате.

— Не знаю, ходит где-то. Так что, составишь мне компанию?

— Э-э, ну да, можно...

Чарльз просветлел:

— Отлично, тогда собирайся — внизу ждет такси.

За рулем сидел краснощекий мужичок по имени Джуниор, это он вез нас с Банни в сентябре на тот самый обед, а спустя три дня ему предстояло везти Банни в Коннектикут — но уже одного и в катафалке.

Выехав на Колледж-драйв, он поймал наше отражение в пассажирском зеркальце:

— Ну что, ребят, куда едем? В «Бюстро»?

Имелось в виду «Бистро» — это была его дежурная шутка по пути туда.

— Да-да, — кивнул я, но Чарльз неожиданно возразил:

— Нет, нам нужно на Катамаунт-стрит, 1910.

Я удивленно взглянул на него — он сидел съехав вниз, как обиженный ребенок, и, глядя прямо перед собой, барабанил пальцами по подлокотнику.

— Что это за место?

— А, ну... Я подумал, ты не будешь особо возражать, — ответил он, скосившись куда-то мне под ноги. — Так, для разнообразия — это недалеко, и потом в «Бистро», по-моему, все уже как-то приелось.

Альтернативой «Бистро» оказался бар под названием «Приют селянина». Ни едой, ни убранством (пластиковые столы и стулья), ни уж тем более публикой (большую часть которой, в полном соответствии с названием, составляли напившиеся старики из окрестных селений), этот кабак, честно говоря, не прельщал. Единственным его преимуществом было то, что всего за пятьдесят центов у стойки можно было получить очень внушительную порцию сомнительного виски.

Мы уселись в конце стойки прямо напротив телевизора. Показывали баскетбольный матч. Чарльз заказал два двойных виски и клубный сэндвич. Барменша — разменявшая шестой десяток тетка с килограммом бирюзовых украшений и толстым слоем бирюзовых теней — окинула нас скептическим взглядом:

— Здрасьте пожалста, это ж по каким таким праздникам вам кирять разрешают, а?

Я не мог понять, в чем подвох: может быть, наши галстуки и пиджаки

не вписываются в дресскод заведения, или вопрос выражает сомнение в том, что мы совершеннолетние, или же студентов здесь вообще не жалуют?

Чарльз, секунду назад мрачно изучавший ряды бутылок, одарил ее ангельской улыбкой. Он умел обращаться с такого рода женщинами — официантки в ресторанах неизменно вертелись вокруг него, стремясь угодить всем, чем только можно.

Барменша, явно польщенная, покачала головой и хрипло расхохоталась:

— Вот те раз, а я-то думала, у нас тут парочка мормонов, которым даже колы хлебнуть нельзя.

Налив виски, она подхватила дымившую в пепельнице сигарету и, помахивая блокнотиком, отправилась на кухню. «Би-и-и-лл! Слышь, Билл! Че щас расскажу...» — донесся из-за двери ее надсадный голос. Чарльз — улыбки как не бывало — придвинул стакан и, чувствуя на себе мой взгляд, пожал плечами:

— Извини, надеюсь, ты не очень шокирован. Здесь дешевле, чем в «Бистро», да и спокойнее.

На разговоры в тот вечер его не тянуло — он просто методично пил, навалившись на стойку и не глядя по сторонам. Когда принесли сэндвич, он выудил из него бекон, оставив все прочее валяться на тарелке. Тем временем я потягивал свое виски и наблюдал за атаками «Лос-Анджелес Лэйкерс». Было странно смотреть игру с их участием здесь, в занюханной вермонтской забегаловке. Когда я учился в прежнем колледже, в округе пользовался популярностью паб под названием «Фальстаф»; там стоял широкоэкранный телевизор, и один мой раздолбайский приятель, Карл, частенько вытягивал меня туда посмотреть баскетбол. Мне подумалось, что сейчас он, возможно, как раз наливается пивом в «Фальстафе» и смотрит этот же самый матч.

Подобные невеселые мысли все крутились у меня голове, а Чарльз уже опустошал четвертый или пятый стакан, когда кто-то взял пульт и начал переключать каналы: «Джеопарди», «Колесо фортуны», «МакНил и Лерер», наконец, местное ток-шоу — «Голос Вермонта». Интерьер студии имитировал новоанглийский домик конца восемнадцатого века: на подиуме — добротная мебель «под старину», дощатый задник украшен деревянными вилами, граблями и прочим допотопным инвентарем. Вела передачу Лиз Окавелло. Следуя примеру Опры Уинфри и Филадельфии, в конце каждого выступления она пыталась устроить дискуссию между гостями и зрителями — как правило, без особого успеха, поскольку такие гости, как уполномоченный Комитета по делам ветеранов или шрайнеры,

[\[108\]](#) объявляющие об очередной акции по сбору крови, особого интереса у аудитории не вызывали («Джо, так еще раз, в каких числах вы ждете у себя доноров?»).

На этот раз героем вечера оказался не кто иной, как Уильям Ханди. Он был одет в костюм (правда, голубое парадное облачение сменилось заношенной тройкой а-ля сельский священник) и почему-то — причину этого я осознал не сразу — авторитетно разглагольствовал об арабах и ОПЕК.

«Вот из-за этого-то ОПЕК у нас теперь и нету „тексаковских“ заправок. Раньше, помню, „Тексако“ были на каждом шагу, так нет же — эти арабы взяли и скупили все ихние акции...»

— Эй, смотри, — шепнул я Чарльзу, но, когда он оторвался от стакана, уже переключили на «Джеопарди».

— Чего?

— Так, ничего...

«Джеопарди», «Колесо фортуны», снова «МакНил и Лерер».

— Дотти, да выруби ты эту шнягу! — крикнул кто-то, не прошло и пяти минут.

— Дак а че смореть-то будете?

— «Колесо», — ответил хрипатый хор.

Но ведущая «Колеса» уже прощалась со зрителями, и поэтому на экран вновь вернулся Ханди в окружении предметов фермерского быта. Теперь речь шла о сюжете с его участием, показанном в прошлом выпуске «Сегодня».

— Глянь-ка, это ж, кажись, тот мужик, — послышался чей-то голос из-за столика. — Он еще мастерской на шестом шоссе заправляет.

— Ага, он, как же.

— А то кто?

— Он с Бадом Олкорном, вот кто.

— Ну ты, блин, сказанул!

«Не, Скотта [\[109\]](#) я не видал, — тем временем отвечал на очередной вопрос Ханди. — Да если б даже и видал, то что б я ему сказал? У них там такая операция — у-у, мама не горюй. Ну, хотя по телевидиру-то оно, конечно, не скажешь».

Я легонько пнул Чарльза по ноге.

— Вижу, — равнодушно отозвался он и нетвердой рукой поднес к губам стакан.

Можно было только диву даваться, до чего распоясался Ханди за

каких-то четыре дня. Еще больше меня удивляла реакция аудитории: люди встречали плоские шутки механика взрывами хохота и интересовались его мнением буквально обо всем на свете — от федеральной судебной системы до перспектив развития малого бизнеса. На мой взгляд, такая популярность могла объясняться только взятой им на себя ролью свидетеля «похищения». Еще совсем недавно один вид телерепортеров заставлял его краснеть и запинаться, но теперь он чувствовал себя перед камерами как рыба в воде. Сомкнув пальцы на животе, он восседал на подиуме и отвечал на вопросы публики с благосклонной улыбкой епископа, дарующего отпущение грехов. Выглядело это настолько бессовестно, что я не понимал, почему до сих пор никто не разоблачил нахального самозванца.

Лиз дала слово смуглому низенькому человечку, который уже минуты три изо всех сил тянул руку.

«Меня зовут Аднан Нассар, я палестино-американец, приехал в эту страну из Сирии девят лет назад и за это время заслужил американское гражданство. Сейчас я работаю помощником менежера в пиццерии на шестом шоссе, — поднявшись, оттарабанил тот.

— Ну, Аднан, что тут сказать? — склонив голову набок, задушевно произнес Ханди. — Наверно, у вас на родине все б удивились: мол, поднять такой шум из-за одного-единственного человека, но у нас оно строго в порядке вещей. И раса там или цвет кожи никакой такой роли не играют».

Аплодисменты. Немного спустившись по проходу между рядами, Лиз указала на женщину с залакированной пышной прической, но палестинец гневно замахал руками, и камера вернулась к нему.

«Дело не в этом, — объявил он. — Я араб, и я отвергаю вашу расистскую клевету против моего народа».

Лиз поднялась к возмущенному арабу и, подражая Опре, дотронулась примирительным жестом до его локтя. Сдвинувшись на край стула, Ханди подался вперед:

— Такой, значит, вопрос: как вам вообще в Штатах, нравится?

— Да.

— А назад перебраться, случаем, не тянет, не?

— Стоп-стоп-стоп, — вмешалась Лиз. — Никто не говорит, что...

— Потому что пароходы плавают в оба конца, чтоб вы знали.

Барменша Дотти одобряюще рассмеялась и затянулась сигаретой:

— Во-во, правильно, а то понаехало тут...

«А у вас самого какие предки? — ухмыльнулся араб. — Вы кто по крови — индеец, да?»

Но Ханди пропустил это мимо ушей и продолжал:



«Я вам даже билет туда куплю. И еще за багаж заплачу в придачу. Почему сейчас добраться до Багдада, а? Не, а чего — если...

— Мистер Ханди, по-моему, вы превратно поняли этого молодого человека, — снова вклинилась Лиз. — Он просто хочет сказать, что...»

С этими словами она положила руку палестинцу на плечо, но тот в бешенстве скинул ее и завопил:

«Уже польный час вы сидите и занижаете арабов! Вы не знаете, что такой настоящий араб! Я знаю. — Он ударил себя кулаком в грудь. — В самом сердце знаю!

— Вот дружку своему Саддаму про это и расскажите.

— Как вы смеете говорить, что мы все недосытны и ездим на огромных машинах? Для меня это сильный обид. Я сам араб и сохраняю натуральный ресурс тем, что...

— Поджигаю нефтяные скважины за здорово живешь, ага.

— ...ездию на маленькой машинке.

— Я ж не прям про вас говорил, а про этих ворюг из ОПЕКа и про гадов, которые парня украли. По-вашему, они на малолитражках ездят? А может, по-вашему, мы тут еще террористов всяких по головке гладить должны? Это у вас там небось их медалями награждают...

— Это наглый брехня!» — взревел араб.

В замешательстве оператор случайно перевел камеру на Лиз, и на секунду та возникла крупным планом — в ее растерянном взгляде читалось то же самое, что было у меня на уме: «Ну все, туши свет».

«Ничего не брехня, — рассвирепел Ханди. — Я, слава богу, уж тридцать лет как машины заправляю и знаю, про что говорю. Да ты что, хлоп те в лоб, думаешь, я не помню, каким раком вы нас в семьдесят пятом поставили, еще при Картере?<sup>[110]</sup> А теперь вы все ломитесь сюда, как к себе домой, с шаурмой своей этой собачьей, и еще что-то тут вякаете?!»

Лиз смотрела за кадр, беззвучно раскрывая рот в попытке дать какие-то указания технической команде. Араб огласил студию ужасным ругательством.

«Хватит! Прекратите!» — отчаянно взвизгнула Лиз, но было поздно.

Ханди вскочил со стула и, наставив на араба обвинительный перст, принялся во все горло скандировать:

«Бедуинские ниггеры! Бедуинские ниггеры! Бедуинские...»

Камера панически крутанулась и уперлась в закулисы — сплетения проводов, осветительные приборы. Изображение поплыло, снова вернулось в фокус, наконец, судя по всему, режиссер нашел нужную кнопку, и на экране замелькал рекламный ролик «Макдоналдса».

В баре раздались ленивые хлопки, и кто-то крикнул: «Знай наших!»  
— Что это было? — произнес вязкий голос у меня под боком.

Я совсем забыл про Чарльза. «Будь осторожен, она может тебя услышать», — шепнул я ему по-гречески, кивнув в сторону барменши.

Чарльз откинул со лба потные волосы и что-то пробормотал. Я полез в карман за деньгами.

— Пойдем, поздно уже.

Он грузно повернулся и, будто ища опоры, схватил меня за руку. В его глазах отразился отблеск музыкального автомата, и теперь Чарльз смотрел на меня чужим, воспаленным взглядом — так, бывает, с неудачного фото старого знакомого на тебя вдруг смотрят, хищно поблескивая, глаза убийцы.

— Тихо, старик, — сказал он. — Послушай.

Страхнув его руку, я слез со стула, но в этот момент сквозь шум бара до меня донесся долгий глухой раскат. Мы переглянулись.

— Это гром, — прошептал Чарльз.

Дождь лил всю ночь напролет, я лежал не смыкая глаз и слушал, как капли дождя шумят в листве, барабанят по карнизам, стучат в окно.

Всю ночь напролет и все утро между небом и землей стояла серая водяная завеса — обволакивающая, теплая и мягкая, как сон.

Проснувшись, я понял, что сегодня его найдут, понял в тот самый миг, когда посмотрел в окно и увидел пучки осклизлой травы, вспухавшие из проталин в ноздреватом, рыхлом снегу.

Был один из тех гнетущих, выморочных дней, которые порой выдавались в Хэмпдене, — горы были скрыты стеной тумана, и мир казался легким, опустошенным и немного опасным. Стоило выйти за дверь и сделать с десяток шагов, как возникало ощущение, что ты оказался в Валгалле или на Олимпе, одним словом, в какой-то древней, заоблачной стране. Башня с часами, крыши учебных корпусов — разрозненные и одинокие, эти привычные ориентиры всплывали из ниоткуда, словно воспоминания о прошлой жизни.

В темных, унылых коридорах Общин пахло мокрой одеждой. Я поднялся в столовую и обнаружил там Камиллу и Генри. Они сидели в дальнем углу; на столике, рядом с полной окурков пепельницей, остывали нетронутые тарелки томатного супа. Подперев рукой щеку, Камилла задумчиво глядела в окно, в перепачканных чернилами пальцах догорала сигарета. Генри был удручен — накануне фэбээровцы вновь нанесли ему

визит; правда, о том, что от него хотели на этот раз, он не обмолвился ни словом. Уперев кончики пальцев в край стола, будто в спиритическую доску, он вел негромкий рассказ о раскопках Гиссарлыка, описанных в «Илионе» Шлимана. Зимой, во время своего выздоровления, я часто оказывался невольным слушателем подобных спонтанных лекций — Генри будто зачитывал нескончаемый свиток, излагая порой удивительно подробные сведения с отчужденным спокойствием человека, погруженного в гипнотический транс.

«Нехорошее место, гиблое: города, погребенные друг под другом, — одни разрушены до основания врагами, другие уничтожены огнем, превратившим их кирпичи в спекшиеся стеклянные глыбы... Место проклятое и жуткое... Гнезда маленьких бурых гадюк, которых греки называли antelion, тысячи совиноголовых хтонических божков с кровожадным застывшим взглядом — точнее, богинь, представлявших собой некий кошмарный прообраз Афины...»

Я понятия не имел, где Фрэнсис, но о местонахождении Чарльза можно было не спрашивать. Прошлой ночью я выгрузил его из такси и, кое-как дотащив до квартиры, уложил в постель, где, судя по его состоянию на момент моего ухода, он сейчас и пребывал. Рядом с тарелкой Камиллы, завернутые в салфетки, лежали два сэндвича с мармеладом и плавленым сыром. Когда я доставил Чарльза, ее дома не было, и сейчас выглядела она так, будто сама только что проснулась: непричесанная, без косметики, вместо обычной опрятной одежды — растянутый свитер того же оттенка серого, что небо за окном. Вдалеке, на извилистой дороге, замелькало в тумане белое пятнышко машины. Увеличиваясь с каждой секундой, оно мчалось к воротам колледжа.

Обед заканчивался, в столовой почти никого не осталось. К автоматам с газировкой прошаркала необъятная уборщица и, тяжело кряхтя, принялась мыть пол.

Камилла рассеянно смотрела на сбегавшие по стеклу струйки воды. Вдруг ее глаза округлились, медленно, недоверчиво она вытянула шею и, с грохотом выкарабкавшись из-за стола, метнулась к окну.

Я вскочил следом. Прямо под нами, у дверей столовского склада, стояла «скорая». Пряча головы от дождя, двое санитаров, осаждаемые кучкой фотографов, спешили к входу с тележкой-каталкой. То, что на ней лежало, было покрыто простыней, но как раз перед тем, как тележку втолкнули внутрь (одно плавное, долгое движение, каким отправляют в печь поддон с хлебами), я заметил торчащий из-под белой ткани желтый уголок дождевика.

Крики и хлопанье дверей на первом этаже. Разгорающаяся суматоха, топот ног, беспорядочные команды; наконец над общим шумом взмыл чей-то хриплый возглас: «Он еще жив?!»

Генри набрал полную грудь воздуха. Потом закрыл глаза и, резко выдохнув, повалился на стул как подстреленный.

В тот день, примерно в половине второго, Холли Голдсмит, восемнадцатилетняя студентка театрального факультета, решила отправиться на прогулку со своим золотистым ретривером по кличке Мило.

Холли знала о поисках Банни, но, как и большинство первокурсников, участия в них не принимала, пользуясь неожиданными «каникулами», чтобы как следует выспаться и подготовиться к экзаменам. Вполне естественно, она не горела желанием столкнуться с поисковиками, а потому рассудила, что лучше всего будет обогнуть теннисные корты и направиться к ущелью — его уже давно прочесали, кроме того, место очень нравилось ее питомцу.

Вот что сказала Холли:

«Когда мы туда пришли, я спустила Мило с поводка, чтоб он поиграл... Я, значит, просто осталась стоять у края, а он спустился вниз и начал там, как обычно, бегать-прыгать... Вот, и тут я поняла, что забыла дома „собачий мячик“ — полезла в карманы, а его нет. Тогда я пошла набрать каких-нибудь палок — ну, чтоб Мило их покидать, — а когда вернулась, гляжу, он что-то держит в зубах и еще головой так мотает. Я его зову — не слушается: ну, думаю, наверно, кого-то поймал — кролика там или мышь.

Похоже, Мило его откопал, то есть голову его и, э-э, грудь, кажется, — было не очень хорошо видно. А первое, что я потом разглядела, — это очки... дужка одна соскочила... болтались... да, если можно... лизал ему лицо... у меня сначала мелькнуло, что он...» [далее неразборчиво].

Уборщица выпустила из рук швабру, из кухни высыпали повара, обслуга облепила перила. Мы слетели по ступенькам и полным ходом понеслись по первому этажу — мимо кафетерия, мимо почты (тетка в рыжем парике, в кои-то веки отложив корзинку с пряжей, покинула коммутатор и застыла в дверях, провожая нас любопытным взглядом) и дальше по коридору, пока не оказались в главном зале. Там стояла мрачная группа полицейских, бродили охранники, я увидел шерифа и местного егеря, в сторонке плакала какая-то девушка, все говорили наперебой, кто-то делал снимки, и вдруг чей-то голос окликнул нас: «Эй, вы! Вы ж вроде

знали этого парня?»

Повсюду замелькали вспышки, и в мгновение ока нас окружил лес камер и микрофонов.

— Вы давно с ним дружили?

— ...замешаны наркотики?

— ...путешествовали по Европе, это правда?

Генри выставил перед собой ладонь: белый как мел, на верхней губе — бусины пота, в линзах очков синие всполохи — я никогда не забуду, как он выглядел в ту минуту.

— Отстаньте от меня, — пробормотал он и, схватив Камиллу за руку, начал проталкиваться к выходу.

Толпа откатилась к дверям, преграждая нам путь.

— ...скажете насчет того, что?..

— ...связывали тесные отношения?

В лицо Генри почти уперлось черное рыло камеры. Он отмахнулся, и та с треском упала на пол, выплюнув батарейки.

Владельцем оказался какой-то толстяк в бейсболке — вскрикнув, он было нагнулся за камерой, но тут же выпрямился и с проклятьями кинулся вслед за Генри, намереваясь схватить его за шиворот. Пухлые пальцы скользнули по ткани пиджака, и Генри молниеносно обернулся.

Толстяк отпрянул и сник. Забавно, но мало кто с первого взгляда замечал, насколько мощно сложен Генри. Возможно, причина заключалась в его одежде — было в ней что-то от незамысловатых, но на удивление эффективных маскировочных приспособлений персонажей комиксов (почему никто не в состоянии понять, что «ботаник» Кларк Кент, стоит ему снять очки, и есть Супермен?). А может быть, в том, что, оценят его комплекцию или нет, зависело только от него самого. Генри ведь обладал редким талантом оставаться незамеченным — в помещении, в машине, где угодно, — едва ли не способностью к произвольной дематериализации, и, возможно, эта способность была лишь обратной стороной того дара, о котором я веду речь: блуждающие молекулы его тела мгновенно собирались в одно целое, и похожая на тень фигура вдруг становилась четкой, объемной и абсолютно живой, повергая в изумление свидетелей этой метаморфозы.

Дождь перешел в морось. «Скорая» уехала, пустая дорога извивалась черной скользкой змеей. Где-то над нами прогудел невидимый самолет. Опустив голову и шлепая подошвами по мокрому мрамору, на портик энергично поднимался Давенпорт. Достигнув площадки, он увидел нас и

остановился. Следом показался Сциола — опираясь рукой о колено, он одолел последние ступеньки и, тяжело дыша, замер рядом с напарником.

— Мне очень жаль, — сказал он, когда наконец перевел дух.

— Значит, он погиб? — спросил Генри.

— Боюсь, что так.

— Где он был? — помолчав, задал Генри новый вопрос.

Голос его звучал безжизненно, покрытое испариной лицо оставалось бледным, но держался он с завидной уверенностью.

— В лесу, — ответил Давенпорт.

— Совсем неподалеку, километра даже не будет, — добавил Сциола, потирая костяшкой уголок глаза.

— Вы присутствовали?

Сциола оставил глаз в покое:

— Что?

— Вы были там, когда его нашли?

— Нет, мы как раз обедали, — раздраженно бросил Давенпорт. Ноздри его с шумом раздувались, на пепельном ежике волос блестели капельки влаги. — Только что осмотрели место, сейчас едем к его родителям.

— Они еще не знают? — спросила после паузы ошеломленная Камилла.

— У нас к ним другое дело, — сказал Сциола.

Он рассеянно похлопал себя по груди, и его длинные, пропитанные никотином пальцы исчезли во внутреннем кармане пальто.

— Нам нужно их согласие на экспертизу — хотим отправить тело в Ньюарк, в нашу лабораторию, провести там кое-какие анализы. Хотя...

Наконец искомый предмет был найден и с осторожностью извлечен, им оказалась смятая пачка «Пэлл-мэлл».

— Хотя в таких случаях получить подпись родственников довольно трудно. По-человечески я их, конечно, понимаю — они тут сидели целую неделю всей семьей, ждали, мучились, так что теперь наверняка хотят одного: похоронить его поскорей и покончить со всем этим...

— Как это случилось? Вам удалось установить? — спросил Генри.

Сциола нашарил в кармане коробок и после пары попыток прикурил.

— Трудно сказать, — ответил он, выпустив из пальцев горящую спичку. — Он лежал со сломанной шеей под обрывом.

— По-вашему, он мог покончить с собой?

Выражение Сциолы не изменилось, но из носа вырвалась курьезная струйка дыма:

— С чего такой вопрос?

— Просто только что кто-то сказал это в толпе.

Сциола обменялся взглядом с Давенпортом:

— На твоём месте, дружок, я б не стал обращать внимания на всяких зевак. Не знаю, что скажет полиция, — решать-то, видишь, на самом деле им — но вряд ли они определяют здесь самоубийство.

— Почему вы так считаете?

Его чуть выпученные черепашины глаза под тяжелыми, морщинистыми веками рассматривали нас без толики эмоций:

— Потому что ничто на это не указывает. Насколько я могу судить. Шериф говорит, скорее всего, он гулял, а погода резко испортилась, одет он был довольно легко, вот и бросился домой со всех ног...

— И еще, похоже, не обошлось без спиртного, — добавил Давенпорт.

Усталым, по-итальянски изящным жестом Сциола отмел его замечание:

— Даже если он не брал в рот ни капли — шел дождь, было скользко, к тому же не исключено, что темно.

Несколько долгих секунд все молчали.

— Я тебе вот что скажу, сынок, — прервал молчание Сциола, — это, конечно, сугубо личное мнение, но, по-моему, ваш друг не жаждал свести счеты с жизнью. Я видел место падения. Там на краю — мелкая поросль, так вот она вся была... как бы...

Он пощелкал пальцами, подыскивая слово.

— Раскурочена, — буркнул Давенпорт. — А под ногтями у него — земля. Он цеплялся за что ни попадя.

— Никто тут не берется утверждать, как это случилось, — поспешно вмешался Сциола. — Я просто хочу сказать: не надо принимать чьи-то там домыслы за чистую монету. Это ущелье — опасное место, по-хорошему, там бы надо было ограду какую-нибудь поставить...

— Послушай, золотко, может, тебе на минутку присесть, а? — вдруг обратился он к Камилле, лицо которой, как я заметил, приобрело настораживающий зеленоватый оттенок.

— В общем, колледж попадает под раздачу, как ни крути, — сообщил Давенпорт. — По тому, что сказала заведующая Службой поддержки, ясно, что они уже сейчас из кожи вон лезут, чтобы спихнуть с себя всякую ответственность. Если выяснится, что перед этим он все-таки пил, и не где-нибудь, а на той вечеринке... Года два назад в Нашуа, откуда я родом, было похожее разбирательство. На кампусе устроили дискотеку, один паренек накачался там пивом и по дороге домой вырубился прямо в сугробе. Нашли его уже только когда вызвали технику и стали расчищать снег. Наверно, все

зависит от того, насколько человек был пьян плюс где именно он употребил последнюю дозу спиртного, но, даже если у вашего друга в крови не обнаружат алкоголя, администрации все равно не поздоровится. Несчастный случай с летальным исходом? Да еще в двух шагах от кампуса? Не хочу обижать его родителей, но я с ними общался и скажу начистоту: эти ребята помчатся в суд пулей.

— А все-таки лично на ваш взгляд — как это произошло? — спросил Генри Сциолу.

Уместность подобных вопросов вызывала у меня сильное сомнение, однако Сциола неожиданно осклабился, словно дворняга, обнажив два длинных ряда желтых зубов с темными пятнами:

— То есть лично на мой?

— Да.

Он помолчал и, затянувшись, покачал головой:

— Мой взгляд, дружок, здесь совершенно не важен. Это не федерального уровня дело.

— Что?

— Дело — не федерального уровня, — сердито отчеканил Давенпорт. — Решать все будут местные копы. Нас вообще сюда вызвали только из-за этого малахольного, ну, который с заправки, а он оказался ни при чем. Вашингтон снабдил нас кучей материалов на этого чудилу. В семидесятых он забавлялся тем, что посылал всякую дрянь Анвару Садату — собачье дерьмо, слабительное, каталоги с голыми восточными бабами. Никто не обращал на него особого внимания, но, когда в восемьдесят втором, или когда там, Садата убили, в ЦРУ присмотрелись к нему попристальней. Они-то и подкинули нам его досье. Ни разу не был арестован, ничего такого, но с головой поругался всерьез и надолго. Тратит тысячи на звонки по Ближнему Востоку — донимает их телефонными розыгрышами, нормально? Видел его письмо Голде Меир — пишет: «Мы с вами родственные души и вообще одного поля ягоды». Это все к тому, что, когда на сцене появляются кадры вроде него, надо быть начеку. С виду сама безобидность, о вознаграждении даже не думал: наш человек попытался всучить ему липовый чек — пальцем не притронулся. Но такие-то вот и преподносят сюрпризы... Помню, Морис Ли Харден, в семьдесят седьмом — старичок-добрячок чинит сломанные часы и раздает их детишкам из бедных кварталов, чем не сказка? Но я никогда не забуду тот день, когда на задний двор его ювелирной лавчонки пригнали трактор с ковшом...

— Харви, эти ребята не могут помнить Мориса, — сказал Сциола,



отшвырнув окурок. — Это ж сколько лет назад было, сам посуди.

Мы стояли в неловком молчании, но, едва стало казаться, что сейчас все разом скажут «ладно, нам пора», Камилла издала странный, придушенный звук, и, взглянув на нее, я с удивлением понял, что она плачет.

Все растерялись. Давенпорт посмотрел на нас с Генри как на нашкодивших котят — «это все вы виноваты», читалось во взгляде.

Сциола, озадаченно моргая, неуверенно потянулся к Камилле, отпрянул, снова потянулся и снова отпрянул, наконец на третий раз осторожно коснулся ее локтя:

— Солнышко, послушай... Хочешь, мы тебя до дома подбросим?

Их черный «форд» был припаркован у подножия холма, на посыпанной гравием площадке позади лабораторного корпуса. Мы не спеша направились туда. Камилла шла впереди между фэбээровцами, Сциола, заботливо склонив голову, старался развлечь ее разговором:

— Брат твой сейчас дома?

— Да.

— Славный малый твой брат, мне он понравился. Представляешь, я не знал, что мальчик и девочка могут быть близнецами. Харви, ты знал?

— Нет.

— Я вот тоже. А в детстве вы были больше друг на друга похожи? Ну, то есть сходство черт у вас, конечно, явное, но вот цвет волос, например, одинаковым никак не назовешь. У моей жены есть дальние родственницы — две сестры, близняшки, — так они похожи как две капли воды, и вдобавок обе работают в структуре соцобеспечения. — Сциола на секунду задумался. — Скажи, вы с братом дружно живете? — спросил он и, услышав невнятный ответ Камиллы, удовлетворенно кивнул: — Я так и думал. Наверняка у вас нашлось бы что порассказать — я имею в виду, о сверхчувственном восприятии, так это вроде называется? Те сестры, родственницы жены, иногда ездят на конференции, где собираются близнецы со всей страны, так вот они потом нам такое рассказывают — просто не верится...

Мои руки свисали из рукавов пиджака, словно чужие. Край дымчатого неба подпирали размытые верхушки деревьев, горы словно бы стерли ластиком. Я так и не смог привыкнуть к этой особенности северных широт — горизонт исчезал без следа, а ты оставался скитаться робинзоном по рассыпающейся фантазмагии, в которую превращался хорошо знакомый пейзаж. Там, где когда-то была роща, теперь смутно проступали очертания одинокой березы, фонари и дымовые трубы парили над землей,

похожие на неудачный карандашный набросок, — перекошенный парадиз, страна забвения, где все, что прежде помогало находить путь, было разобщено, разбросано в пространстве и, окруженное пустотой, казалось, источало неведомую угрозу.

На асфальтовом пяточке перед складом, где совсем недавно стояла «скорая», валялась изношенная туфля. К Банни она не имела никакого отношения. Просто чей-то старый башмак, отслуживший свой срок. Не знаю, почему я это запомнил.

## Глава 7

Хэмпден — маленький колледж, и поэтому, несмотря на то что круг общения Банни был довольно ограничен, самого его, так или иначе, знали почти все: кто-то по имени, кто-то в лицо. Многим запомнился его голос — в некотором смысле самая характерная черта. Странно, но даже я, думая о Банни, прежде всего вспоминаю не лицо, оставшееся со мной на двух-трех снимках, а навсегда исчезнувший голос: резкий, гнусавый, легко различимый в общем гвалте. В первые дни после смерти Банни мне казалось, что в столовой наступила тягостная тишина, так не хватало этих пилорамных вокализов, эхом разносящихся по залам от автомата с молоком.

Поэтому вполне естественно было ожидать, что уход Банни из жизни будет замечен и, более того, многих опечалит — в тесном, изолированном мирке Хэмпдена смерть всегда воспринималась тяжело, ведь все его обитатели поневоле чувствовали себя частью одного целого. И все же я не уставал изумляться фонтанам скорби, безудержно забившим после официального объявления о гибели Банни. Скорбь эта выглядела не только раздутой, но и, в свете предшествовавших событий, какой-то постыдной. Никто особенно не переживал даже в злоешие последние дни, когда было очевидно, что хороших новостей ждать уже не приходится, а поисковая операция вообще воспринималась как одно большое неудобство. Но теперь, когда его смерть стала свершившимся фактом, люди словно ополоумели. Внезапно выяснилось, что все до единого знали Банни, все были вне себя от горя, все силились пережить постигшую их тяжелейшую утрату. «Он бы это одобрил». Целую неделю эта фраза не сходила с уст людей, не имевших абсолютно никакого представления о том, что одобрял и чего не одобрял Банни; ее повторяли все, от руководства колледжа до слабонервных студенток. Незнакомые люди, случайно столкнувшись в коридоре, с рыданиями падали друг другу в объятия. Совет попечителей, заняв оборонительную позицию, опубликовал тщательно сформулированное заявление, где, в частности, была фраза «в гармонии с уникальной личностью Банни Коркорана, а также прогрессивными и исполненными гуманизма идеалами Хэмпден-колледжа». В заявлении сообщалось о крупном пожертвовании, сделанном от имени Банни Американскому союзу защиты гражданских свобод — организации, которая, несомненно, вызвала бы у него глубокое отвращение, узнай он о ее

существовании.

Рассказ о публичном балагане, устроенном после смерти Банни, занял бы не одну страницу. Флаг был приспущен. Служба психологической поддержки работала круглые сутки. Какие-то хорьки с факультета политологии нацепили на рукава траурные повязки. По колледжу пронесся шквал экстренных посадок деревьев, поминальных собраний, концертов и сборов пожертвований. Одна первокурсница попыталась отравиться, наевшись ягод с куста нандины, росшего перед музыкальным корпусом, и, хотя ее мотивы были никак не связаны с гибелью Банни, это событие естественным образом влилось в общую истерию. Днями напролет народ не снимал темные очки. Фрэнк и Джад, как всегда, встали на точку зрения «Жизнь продолжается» и бродили по кампусу с неизменной жестянкой изпод краски, собирая деньги на пивную вечеринку в память Банни. Кое-кто из администрации недовольно морщился — смерть Банни и так привлекла внимание общественности к избытку алкогольных празднеств в Хэмпдене, но Фрэнк и Джад были равнодушны к проблемам начальства. «Он бы одобрил нашу вечеринку», — тупо повторяли они. Это было очевиднейшей ерундой, но надо учесть, что Служба поддержки студентов смертельно боялась Фрэнка и Джада. Их родители пожизненно состояли в Координационном совете, отец Фрэнка недавно пожертвовал средства на новую библиотеку, а отец Джада финансировал строительство лабораторного корпуса. Распространенная теория гласила, что исключить эту парочку из колледжа невозможно в принципе, и какой-то там выговор от декана уж точно не мог помешать им выкинуть все, что взбредет в голову. Так что мемориальный «пивной разгон» состоялся — и оказался, как нетрудно представить, банальной и бестолковой пьянкой... Впрочем, я забегаю вперед.

Надо заметить, Хэмпден-колледж всегда был на удивление сильно подвержен приступам истерии. Трудно сказать, что служило тому причиной — изоляция, происки врагов или просто скука, — но для образованных людей студенты и преподаватели Хэмпдена были как-то уж слишком доверчивы и склонны к аффектам. В подогретой герметичной атмосфере, словно в чашке Петри, пышно разрасталась черная плесень искаженного, надрывного восприятия действительности. Я хорошо помню слепой животный страх, охвативший обитателей колледжа, когда какой-то придурок из города шуток ради запустил сирену гражданской обороны. Тут же прошел слух, что началась ядерная война. Теле- и радиовещание, обычно и так сопровождаемое в горах множеством помех, оказалось в тот вечер особенно скверным, а когда все как один бросились к телефонам,

коммутатор закоротило и колледж захлестнула невообразимая паника. С парковки было не выехать из-за столкнувшихся машин. Повсюду истошно голосили и рыдали. Люди отдавали друг другу ценности, сбивались тесными стайками в поисках утешения и тепла. Несколько хиппи забаррикадировались в лабораторном корпусе, где находилось единственное на весь кампус бомбоубежище, и впускали только тех, кто мог, ни разу не сбившись, продекламировать наизусть слова «Сладкой магнолии». Фракции вырастали как грибы, из хаоса выдвигались бестрепетные лидеры. Хотя в результате выяснилось, что конца света не будет, все прекрасно провели время и еще долго вспоминали события той ночи с гордостью и теплотой.

В плане зрелищности траур по Банни, конечно, не дотягивал до репетиции светопреставления, но по сути был явлением аналогичным — то же подтверждение общности и сплоченности, то же выражение почтительного страха перед смертью. Стремясь вновь обрести ощущение благополучия и покоя, студенты потянулись на «круглые столы» и концерты флейтовой музыки под открытым небом. На каждом шагу звучали публичные исповеди — обитатели колледжа, воспользовавшись столь уважительным поводом, без стеснения вытаскивали на свет божий подробности своих кошмаров и нервных срывов. В каком-то смысле все это было игрой на публику, но в Хэмпдене, где творческое самовыражение ценилось превыше всего, игру возвели в ранг работы, и люди погрузились в траур с серьезностью детей, играющих — порой без всякого удовольствия, с одним лишь мрачным упрямством — в «больницу» или «магазин».

Особый, можно сказать антропологический, интерес представляли заупокойные церемонии, устроенные хиппи. При жизни Банни постоянно находился с ними в состоянии войны: хиппи пачкали ванну краской для одежды и назло ему врубали магнитофоны на полную громкость, Банни в ответ бомбардировал их жестянками из-под газировки и вызывал охранников всякий раз, когда подозревал, что хиппи курят траву. Теперь «дети цветов» отмечали переход бывшего врага в мир иной так, словно он был членом их племени: распевали гимны, размахивали мандалами, <sup>[111]</sup> стучали в барабаны, совершали свои загадочные, малопонятные непосвященным обряды. Проходя мимо, мы с Генри остановились понаблюдать за ними.

— Скажи, «мандала» — слово из пали? — спросил я его.

— Нет, — покачал головой Генри, — из санскрита. Означает «круг».

— Значит, эти штуки как-то связаны с индуизмом?

— Не обязательно, — рассеянно ответил он, уперев наконечник зонта

в носок туфли и всматриваясь в толпу хиппи взглядом посетителя зоопарка. — Обычно они ассоциируются с тантризмом — мандалы, я имею в виду. На мой взгляд, тантризм в известной мере оказал разлагающее влияние на индийский буддизм, хотя некоторые его аспекты были в конце концов ассимилированы и переосмыслены буддийским учением. Примерно к началу девятого века тантризм уже имел собственную академическую традицию — по моему мнению, ущербную, но все же не лишенную определенной значимости.

Он помолчал, воззрившись на девушку, которая, вскинув над головой тамбурин, закружилась в медленном танце.

— Да, вернемся к твоему вопросу. Я считаю, что мандала занимает достойное место в истории теравады — южного буддизма. Элементы мандалы присутствуют в архитектуре ступ начиная с третьего века до нашей эры — именно к этому времени относятся наиболее ранние сохранившиеся образцы этих культовых сооружений.

Перечитав написанное, я подумал, что обошелся с Банни несправедливо — он на самом деле нравился людям. Мало кто был знаком с ним близко, но в том-то и дело: странная особенность его личности заключалась в том, что чем меньше человек знал Банни, тем искреннее верил, что прекрасно его знает. Личность Банни, издавек казавшаяся цельной и незыблемой, при ближайшем рассмотрении оказывалась эфемерной, как голограмма, — фантомом, игрой света и тени. Однако стоило отступить на шаг, и иллюзия вновь вступала в свои права: вот он перед вами, кровь с молоком, щурится сквозь очки, отбрасывая со лба потную прядь.

Такой характер расплзается при попытке анализа на части, как ткань, на которую плеснули кислотой. Дать о нем представление можно, только процитировав характерную фразу, припомнив забавную реплику, пересказав смешной случай. Люди, за всю жизнь не обменявшиеся с ним ни словом, внезапно с теплотой вспоминали, как он играл с собакой или рвал тюльпаны в преподавательском саду. «Он оставил неизгладимый след в наших сердцах», — произнес, приложив руку к груди, ректор колледжа в поминальной речи. И хотя он в точности повторил эту фразу и этот жест два месяца спустя на гражданской панихиде по первокурснице (опасная бритва оказалась куда эффективнее безобидных ягод нандины), в случае Банни эти слова, как ни странно, были правдой. Он действительно оставлял след — никак не связанный с его истинной сутью — в сердцах незнакомых людей. Они-то и оплакивали его, а вернее, его образ, ревностнее всех, и

скорбь их нисколько не умалялась от того, что они почти не были знакомы с усопшим.

Именно эта нереальность, можно даже сказать карикатурность, образа и была секретом привлекательности Банни. Именно она сделала его кончину столь печальной. Подобно великим комикам, он окрашивал своим присутствием любое окружение. Удивительное постоянство, с которым ему это удавалось, побуждало воображение рисовать его в самых невероятных ситуациях: Банни верхом на верблюде, Банни работает нянькой, Банни в космосе. Однако смерть обратила неистощимую клоунаду в нечто совершенно иное: старый шут, готовый выкинуть очередной номер, вдруг упал замертво — и настроившиеся посмеяться зрители зарыдали от горя.

В конце концов снег стоял так же молниеносно, как и выпал. Буквально через сутки не осталось практически никаких следов, только в самых укромных лесных уголках отороченные белым ветви задумчиво роняли капли на островки ледяной корки да вдоль дорог горбились рыхлые серые холмики. Лужайка перед Общинами напоминала поле отгремевшей битвы: угольное месиво, испещренное бесчисленными отпечатками ботинок.

Потянулись странные дни, словно вырванные из общего течения жизни. Я редко виделся с остальными. Коркораны увезли Генри в Коннектикут. Клоук, производивший впечатление человека на грани срыва, без приглашения переселился к Чарльзу с Камиллой, где упаковками поглощал «Гролш» и регулярно отрубался с непотушенной сигаретой. Меня взяли под опеку Джуди Пуви и ее подружки Трэйси и Бет. Каждый день они конвоировали меня в столовую («Ричард, — говорила Джуди, вцепившись мне в локоть, — ты *просто должен* что-нибудь съесть»), а по вечерам — на увеселительную программу, немногочисленные пункты которой были известны мне заранее: ужин в мексиканском ресторане, кино, посиделки у Трэйси с обязательной «маргаритой» и МТБ. Я ничего не имел против кино, но груды кукурузных чипсов и потоки коктейлей на основе текилы действовали на меня угнетающе. Девушки фанатично поглощали смесь под названием «камикадзе», а «маргарита» в их исполнении непременно оказывалась кошмарного неоновосинего цвета.

Честно говоря, их общество бывало очень кстати. Джуди, при всех ее недостатках, была девушкой доброй; конечно, она ужасно любила покомандовать и поговорить, но именно поэтому в ее присутствии я чувствовал себя под надежной защитой. Бет мне не нравилась. Она была из Санта-Фе и занималась танцами. Стоило ей улыбнуться или хихикнуть, как

ее резиновое, словно у пупса, личико все покрывалось ямочками. В Хэмпдене она считалась чуть ли не красавицей, но я терпеть не мог ее подпрыгивающую, как у спаниеля, походку и жеманный детский голосок. Говорили, с ней приключилось два нервных срыва, и, когда, раскинувшись на диване, она осоловело таращилась на стену, мной овладевало беспокойное подозрение, что надвигается третий. Трэйси была супер. Симпатичная еврейка с ослепительной улыбкой, она была склонна к манерным жестам а-ля Мэри Тайлер Мур — нежно поглаживала плечи или, раскинув руки, вдруг принималась кружиться по комнате. Все три подружки дымили как паровоз, рассказывали бесконечные занудные истории («Нет, представляешь, — наш самолет простоял на взлетной полосе аж пять часов!») и перемывали косточки неизвестным мне людям. Я — убитый горем страдалец, только что потерявший друга, — был освобожден от участия в разговоре и мог спокойно смотреть в окно. Временами я все же уставал от них. Тогда, стоило мне пожаловаться на головную боль или недосыпание, Трэйси и Бет, словно по негласной команде, тут же испарялись, и я оставался один на один с Джуди. Уверен, она действовала из лучших побуждений, однако наши представления о дружеском утешении, скажем так, не вполне совпадали, и после двадцати минут наедине с ней я был готов снова поглощать текилу и МТВ в неограниченном объеме.

Фрэнсис был единственным, кто избежал постоянного присутствия посторонних, и иногда он заглядывал ко мне. Застав компанию, он, подражая Генри, чопорно присаживался за стол и принимался листать греческие книги, так что в конце концов даже тугодумка Трэйси соображала, что к чему, и уходила. Как только мы оставались вдвоем, Фрэнсис прекращал спектакль и выплескивал на меня свои опасения. В то время мы страшно переживали по поводу судебно-медицинской экспертизы, в итоге затребованной родителями Банни. Эту новость, повергшую нас в смятение, сообщил из Коннектикута Генри, когда ему удалось ускользнуть от Коркоранов и позвонить Фрэнсису со стоянки подержанных автомобилей под оглушительное хлопанье рекламных растяжек и гул шоссе. Он сказал, что подслушал, как миссис Коркоран говорит мужу, что это в их собственных интересах, потому что иначе (и Генри клялся, что слышал очень отчетливо) *им так и придется гадать*.

Что бы ни говорили про чувство вины, несомненно одно — оно дьявольски подхлестывает воображение. Я провел две или три самые ужасные ночи в жизни: лежа без сна, пьяный, с тошнотворным привкусом текилы во рту, я перебирал возможные улики — нитки на одежде, волосы,



отпечатки пальцев. С судмедэкспертизой я был знаком только по повторным показаниям «Квинси», но тогда мне как-то в голову не приходило, что информация, почерпнутая из телесериала, вовсе не обязательно достоверна. Сценаристы ведь подробно изучают тему, а на съемочной площадке всегда есть профессиональный консультант... Я соскочил с кровати, зажег свет, посмотрел на себя в зеркало — губы имели синюшный оттенок, как у трупа. Через пять минут извергнутые коктейли стекали по стенкам унитаза блестящим ядовито-бирюзовым дождем, похожим на жидкость для чистки туалета.

Однако Генри, понаблюдав за Коркоранами, так сказать, в их естественной среде обитания, скоро разобрался, в чем дело. Фрэнсису настолько не терпелось сообщить мне добрую весть, что он даже не стал дожидаться, пока уйдут Трэйси и Джуди, и, путаясь в окончаниях, кое-как вывалил информацию на греческом, а милая дурочка Трэйси только охала да ахала: дескать, как мы можем думать об уроках в такое время?

— Не бойся, — сказал он мне. — Это все мать. Ее беспокоит бесчестие сына в связи с вином.

Я не понял, что он имеет в виду. Слово «бесчестие» (ἀτιμία), которое он употребил, означает также «потерю гражданских прав».

— Атимия? — переспросил я.

— Да.

— Но права есть только у живых, у мертвых прав нет.

Фрэнсис замотал головой.

— Οχι. <sup>[112]</sup> Нет, нет, не то! — воскликнул он, щелкая пальцами в поисках нужного слова. Разговаривать на мертвом языке гораздо труднее, чем может показаться. Джуди и Трэйси наблюдали с открытыми ртами.

— Мир полнится слухами, — нашелся он наконец. — Мать в глубокой печали. Нет, не сына оплакивает она, — поспешно прибавил он, заметив, что я хочу что-то сказать, — ибо она — дурная женщина. Она оплакивает позор, снизошедший на ее дом.

— Какой позор?

— Οἶνος, <sup>[113]</sup> — нетерпеливо пояснил Фрэнсис. — Φάρμακ. <sup>[114]</sup> Она хочет, чтобы все знали: труп не содержит следов вина (и здесь он употребил исключительно изящную метафору: не осталось опивок в опорожненном бурдюке его тела).

— Почему, поведай мне, тревожится она об этом?

— Потому что среди сограждан пошла молва. Позорно юноше умереть, будучи пьяным.

Именно так все и было, во всяком случае что касалось молвы. Миссис Коркоран, еще недавно дававшая интервью направо и налево, оказалась в довольно неловком положении и сходила с ума от злости. На смену статьям, описывавшим ее как «яркую, элегантную женщину», «образцовую мать семейства» и так далее, пришли ехидные заметки с обличительным подтекстом, вроде «МАТЬ ЗАЯВЛЯЕТ: ТОЛЬКО НЕ МОЕ ЧАДО». На мысль об алкоголе наводила только одна несчастная пивная бутылка, а что касается наркотиков, то их признаков не было и в помине, однако в вечернем выпуске местных новостей стали ежедневно появляться психологи, которые в один голос говорили о неблагополучных семьях и синдроме отвергнутого ребенка, обращали внимание на то, что алкоголизм и наркомания часто передаются от родителей к детям. Это был тяжелый удар. Покидая Хэмпден, миссис Коркоран прошла сквозь толпу бывших друзей-репортеров, не удостоив их взглядом и плотно сжав губы в сияющей ненавистью улыбке.

Всю эту желтую шумиху, безусловно, подняли на пустом месте. Если верить газетам, то Банни был типичным «трудным подростком» или «несовершеннолетним наркоманом». Журналистов нисколько не смущало, что все, кто хоть как-то знал Банни (мы в том числе), отрицали подобные обвинения; что вскрытие показало лишь мизерное содержание алкоголя в крови и ни следа наркотиков; что, в конце-то концов, Банни было почти двадцать пять. Слухи — стервятники, досель медленно кружившие в небе, — камнем упали на труп и вонзили когти. Вскоре на последней странице «Обозревателя» появилась коротенькая заметка с результатами экспертизы. Сухие данные говорили сами за себя, но было поздно. Банни навсегда вошел в студенческий фольклор как подросток, свернувший шею по пьяной лавочке, и, вероятно, первокурсников до сих пор страшат его сотканным из пивных паров призраком, витающим в сонме хэмпденских мертвецов вместе с раздавленными всмятку жертвами автокатастроф, отчисленной девицей, повесившейся на чердаке Патнам-хауса, и прочими незадачливыми персонажами.

Похороны были назначены на среду. В понедельник утром я обнаружил в почтовом ящике два письма: одно от Генри, другое от Джулиана. Я начал с последнего. На конверте стоял штампель Нью-Йорка. Торопливые строчки были написаны красной ручкой, которой Джулиан обычно правил наши письменные задания.

*Дорогой Ричард!*

*Сколько горя принесли мне последние дни и сколько еще горестных дней впереди... Известие о смерти нашего друга глубоко опечалило меня. Вероятно, ты пытался связаться со мной, — не знаю, я сейчас в отъезде. Признаться, я неважно себя чувствую и, наверное, вернусь в Хэмпден только после похорон...*

*Как грустно сознавать, что в среду нам выпадет последняя возможность собраться всем вместе! Надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Пишу его с любовью.*

Внизу стояли инициалы — Д. М.

Письмо из Коннектикута, безличное и ходульное, походило на фронтовую шифровку.

*Дорогой Ричард,*

*Надеюсь, у тебя все хорошо. Вот уже несколько дней я — гость семьи Коркоран. Я чувствую себя неловко — увы, мне нечем облегчить их горе, — однако они, потрясенные тяжелой утратой, не замечают моего бессилия и любезно предоставили мне возможность немного облегчить им груз мелких хозяйственных хлопот.*

*Мистер Коркоран попросил меня передать однокашникам Банни приглашение провести ночь перед похоронами в его доме. Как я понял, вас разместят в цокольном этаже. Если ты не планируешь присутствовать, будь любезен, сообщи об этом миссис Коркоран по телефону.*

*Я жду встречи с тобой — на похоронах или же, надеюсь, накануне.*

Вместо подписи письмо завершали две строчки на греческом — цитата из одиннадцатой песни «Илиады», когда Одиссей, отрезанный от друзей, остается один в окружении врагов:

Кто на боях благороден душой, без сомнения должен  
Храбро стоять, поражают его или он поражает.<sup>[115]</sup>

В Коннектикут меня повез Фрэнсис. Я надеялся, что к нам присоединятся близнецы, но они уехали на день раньше с Клоуком, который, ко всеобщему удивлению, удостоился письма от миссис Коркоран лично. Мы думали, Клоука вообще не позовут — после того как Сциола и Давенпорт пресекли его попытку смыться из Хэмпдена, миссис Коркоран демонстративно не разговаривала с ним. («Теперь пытается спасти

репутацию», — прокомментировал Фрэнсис.) Как бы то ни было, Клоук получил персональное приглашение, а его друзьям, Руни Уинну и Брэму Гернси, приглашительные письма были переданы через Генри.

Коркораны, как выяснилось, вообще позвали массу народа из колледжа — соседей Банни по корпусу, еще каких-то людей, которых Банни даже ни разу при мне не упоминал. Софи Дирболд, кареглазая девушка с низким мелодичным голосом, которую я немного знал — мы занимались французским в одной группе, должна была ехать в Коннектикут вместе с нами.

— А Банни откуда ее знал? — спросил я Фрэнсиса по пути к корпусу, где жила Софи.

— Да по-моему, он ее почти и не знал. Если не считать того, что на первом курсе безуспешно пытался за ней ухаживать. Вот увидишь, Марион ей ни капли не обрадуется.

Я опасался, что поездка будет натянутой, но на самом деле общество нового человека принесло удивительное облегчение. Мы, можно сказать, приятно провели время: по радио играла музыка, Софи, скрестив руки на спинке сиденья, болтала с нами всю дорогу. Я сто лет не видел Фрэнсиса в таком хорошем настроении. «Ты похожа на Одри Хепберн, — сообщил он Софи. — Тебе, наверное, это тысячу раз говорили?» Она угощала нас ментоловыми сигаретами и жевательной резинкой с корицей, рассказывала всякие забавные истории, а я смеялся от души, смотрел в окно и молил Бога, чтобы мы пропустили нужный поворот. Я никогда не был в Коннектикуте. Присутствовать на похоронах мне тоже раньше не приходилось.

Отвечаясь от главного шоссе, узкая дорога в Шейди-Брук петляла меж полей, огибала холмы, взбегала на мосты и пересекала лошадиные пастбища. Через какое-то время луга за окном превратились в поле для гольфа, и вскоре перед нами возник псевдотюдоровский особняк. КАНТРИ-КЛУБ «ШЕЙДИ-БРУК» — гласили выжженные буквы на деревянной вывеске. За клубом начинались дома — большие, шикарно отделанные, каждый на участке акров семь.

Место оказалось настоящим лабиринтом. Фрэнсис высматривал номера на почтовых ящиках, брал один ложный след за другим, подавал назад, ругаясь сквозь зубы под скрежет коробки передач. Нам не встретилось ни одного указателя, логики в нумерации домов не просматривалось, и после получаса бесплодного тыканья вслепую я стал надеяться, что мы никогда не приедем, что мы просто повернем назад и весело покатаем обратно в Хэмпден.

Конечно же в итоге мы нашли нужный дом. Внушительное здание из беленого кедра, стоявшее в конце небольшой аллеи, несомненно, претендовало на образчик архитектуры с большой буквы: разноуровневые этажи, голые асимметричные террасы, во дворе — покрытие из черного туфа. Растительность была представлена лишь несколькими деревцами гинкго в постмодернистских кадках, которые для создания драматического эффекта поставили на разном расстоянии друг от друга.

— Класс! — воскликнула Софи, истинная дочь Хэмпдена, всегда готовая отдать должное прогрессу.

Я покосился на Фрэнсиса. Тот пожал плечами:

— Его матушка любит все современное.

Человека, открывшего нам дверь, я никогда не видел прежде, но узнал моментально — и мне показалось, будто, словно во сне, я проваливаюсь в тартарары. Краснолицый здоровяк с тяжелой челюстью и копной седых волос окинул нас быстрым взглядом, и его рот раскрылся маленьким аккуратным «о». С мальчишеской проворностью, удивлявшей в столь пожилом человеке, он скакнул к нам и затряс Фрэнсису руку.

— Ну наконец-то! Рыжий-бесстыжий собственной персоной! Как поживаешь, сынок? — произнес он гнусавым, раскатистым голосом — голосом Банни.

— Отлично, — ответил Фрэнсис, и я немного удивился теплоте его интонации и энергичности рукопожатия.

Мистер Коркоран обнял его могучей дланью и притянул поближе.

— Вот это мой парень, — обратился он ко мне и Софи, ероша Фрэнсису волосы. — У меня все братья такие, а среди моего собственного выводка ни одного толком рыжего нет. Поди разберись, в чем тут дело. Как тебя зовут, солнышко? — спросил он Софи, отпустив Фрэнсиса и протягивая ей руку.

— Софи Дирболд. Здравствуйте.

— Какая ж ты хорошенькая, просто прелесть. Правда, ребят? Вылитая тетя Джин.

— Вылитая кто? — после озадаченной паузы переспросила Софи.

— Ну как же, солнышко, твоя тетя. Сестра твоего папы. Очаровательная Джин Ликфолд из нашего клуба, прошлогодняя победительница женского турнира по гольфу.

— Нет-нет, сэр. Моя фамилия Дирболд.

— Дирфолд. Надо же, странно как. Никаких Дирфолдов я тут не знаю. Знавал, правда, одного Бридлоу, но это было, дай бог памяти, лет двадцать

назад. Большими делами ворочал. Потом, говорят, облапошил партнера и прикарманил ни много ни мало пять миллионов.

— Вообще-то я не из этих мест.

— Не из этих?

Вздернув бровь, он склонил голову набок, чем снова мучительно напомнил мне Банни.

— Нет.

— Не из Шейди-Брук?

Казалось, он и представить не может такой казус.

— Нет-нет.

— Откуда ж ты, радость моя? Из Гринвича?

— Из Детройта.

— Господи помилуй, это ж надо, приехать из такой дали.

Помотав головой, Софи с улыбкой пустилась в разъяснения, как вдруг мистер Коркоран заключил ее в объятия и залился горячими слезами.

Нас сковал ужас. Ошарашенная Софи смотрела поверх его сотрясающегося плеча круглыми глазами, словно он ударил ее ножом.

— Милая моя, красавица, — запричитал он, уткнувшись ей в шею. — Как же мы теперь без него?

— Ну-ну, мистер Коркоран, успокойтесь.

Фрэнсис потянул его за рукав, но он никак не отреагировал.

— Мы так его любили, так любили. А он нас... и всех... и тебя тоже. Я тебе как на духу... Да ведь ты и так это знаешь, правда, радость моя?

— Мистер Коркоран. — Фрэнсис уже тряс его за плечи. — Мистер Коркоран!

Мистер Коркоран повернулся и с рыданиями повалился на Фрэнсиса.

Подбежав с другой стороны, я кое-как закинул его руку себе на шею. Колени у него подогнулись, и я чуть было не упал, но каким-то чудом нам с Фрэнсисом все же удалось удержать его на ногах. Сделав зигзаг в прихожей («Ох, черт, — донесся до меня потрясенный шепот Софи. — Вот так попали...»), мы завели его в гостиную и усадили в кресло.

Он продолжал плакать навзрыд. Я протянул руку, чтобы расстегнуть ему воротник, но он схватил меня за запястье.

— Его нет, — простонал он, глядя мне прямо в глаза. — Моего малыша больше нет.

Его безумный, беспомощный взгляд сотряс все мое существо. Я словно бы врезался на полной скорости в кирпичную стену. Внезапно — и на самом деле только сейчас — на меня обрушилась горькая правда: мы совершили страшное, необратимое зло. Я бессильно отпустил воротничок.

Мне хотелось одного — умереть.

— Боже мой, — забормотал я. — Боже, помоги мне, боже, я так сожалею...

Рядом мелькнуло белое как мел лицо Фрэнсиса, и в тот же момент я получил пинок по лодыжке.

В глазах вспыхнул и рассыпался искорками столб света. Зажмурившись, я схватился за спинку кресла. В такт ритмичным всхлипам, отдававшимся в голове ударами молота, под веками пульсировали красные круги.

*«Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил».*

Вдруг всхлипы прекратились, словно кто-то дернул рубильник. Я осторожно приоткрыл глаза. Мистер Коркоран — слезы еще катились по багровым щекам, но в остальном он, кажется, вполне успокоился — с любопытством созерцал щенка спаниеля, который украдкой грыз его туфлю.

— Дженни, — сурово прикрикнул он. — Скверная собачка. Разве мама не отправила тебя гулять?

Он сгреб отчаянно барахтавшегося щенка и, сюсюкая, вынес в прихожую.

— Давай-давай, — раздался его беспечный голос. — Брысь отсюда.

Скрипнула дверь. Секунду спустя он возник на пороге с сияющей улыбкой: лучший в мире папа с рекламного плаката.

— Ну что, ребятки, как насчет пивка?

Никто не ответил — мы еще не оправились после недавней сцены. Меня била крупная дрожь, кровь стучала в висках, я не мог оторвать взгляд от его довольного лица.

— Ну, так чего? — заговорщицки подмигнув, спросил он. — Неужто тут все трезвенники?

В конце концов Фрэнсис, кашлянув, выдавил:

— Пожалуй, не откажусь.

Снова молчание.

— Я тоже, — обронила Софи.

— Для ровного счета? — подняв три пальца, бодро спросил меня мистер Коркоран.

Я пошевелил непослушными губами.

Он вперил в меня один глаз, словно пытаюсь рассмотреть получше:

— Слушай, сынок, а с тобой мы ведь, кажется, незнакомы, а?

Я мотнул головой.

— Макдональд Коркоран, — сообщил он, протягивая руку. — Можно просто Мак.

Я промямлил свое имя.

— Как-как? — переспросил он, приложив ладонь к уху.

Я снова представился, на этот раз громче.

— А, так это ты из Калифорнии! А чего такой бледный? Где ж твой загар?

Расхохотавшись над собственной шуткой, он отправился за пивом.

Я обессиленно рухнул в кресло и осторожно огляделся. Комната напоминала фото из «Архитектурного обзора» — похожая на чердак, несуразно большая, с прозрачным потолком и облицованным плитняком камином. Белые кожаные кресла, овальный журнальный столик — все современное, итальянское и жутко дорогое. Дальнюю стену занимал длинный застекленный шкаф, на полках которого красовались выставленные на всеобщее обозрение гравированные кубки, медали, ленты и почетные грамоты. Я поежился, заметив поблизости несколько внушительных погребальных венков. В сочетании со спортивными трофеями они наводили на мысль о Кентуккийских скачках.

— Какая красивая гостиная, — сказала Софи, и ее слова эхом отразились от витрин и блестящего пола.

— Спасибо, ласточка, — отозвался из кухни мистер Коркоран. — В прошлом году мы попали в «Образцовый дом», а два года назад — в интерьерный раздел «Таймс». Знаешь, я б, наверно, немного по-другому все обставил, но Кэти у нас последняя инстанция по дизайну, и как она скажет, так и будет.

Раздалось мелодичное «дин-дон», и мы переглянулись. После второго звонка из глубины дома послышался перестук каблучков, и, не удостоив нас ни словом ни взглядом, мимо продефилировала миссис Коркоран.

— Генри! Приехали твои гости! — крикнула она куда-то в сторону и открыла дверь. На пороге стоял посыльный: неуклюжий подросток, прыщи на физиономии кое-как замазаны телесного цвета «Клерасилом».

— Здрасьте-здрасьте, — сказала миссис Коркоран. — Ты откуда? Из «Волшебного букета»?

— Да, мэм. Распишитесь, пожалуйста, вот здесь...

— Нет, погоди. Я сегодня звонила в фирму. Будь любезен, объясни, зачем ты доставил сюда все эти венки — утром, когда меня не было дома?

— Я ничего не доставлял. Я только что заступил на смену.

— Ты, кажется, сказал, что ты из «Волшебного букета»?

— Да, мэм, но...



Я от души сочувствовал пареньку.

— Я ведь вполне вразумительно объяснила, что хочу видеть дома только букеты и растения в горшках. А венки, будь добр, перевези в похоронное бюро.

— Извините, может, вам лучше снова позвонить менеджеру, и он...

— Боюсь, ты не понял. Я не желаю видеть эти венки в своем доме. Я требую, чтобы ты немедленно забрал их и отвез, куда я сказала. И не пытайся всучить мне еще один, — грозно предупредила она, когда посыльный поднял перед собой вычурный венок из красных и желтых гвоздик. — Просто скажи от кого.

— «Скорбим вместе с вами. Мистер и миссис Роберт Бартл», — прочитал мальчик, покосившись в блокнот.

— А, это от Бетти с Бобом? — спросил мистер Коркоран. Он как раз появился в гостиной, еле удерживая в руках четыре банки пива — почему-то он решил обойтись без подноса.

Миссис Коркоран и бровью не повела.

— Папоротники можешь внести, — бросила она посыльному, с глубочайшим отвращением разглядывая завернутые в фольгу горшки.

Когда тот ушел, миссис Коркоран принялась осматривать растения, приподнимая веточки в поисках отмерших листьев и помечая что-то на обороте конвертов серебряным карандашиком.

— Видел венок от Бартлов? — спросила она мужа.

— Правда молодцы?

— Ничего подобного. Я считаю, подчиненные должны знать меру. Подозреваю, Боб скоро подъедет к тебе насчет повышения.

— Дорогая, ну что ты.

— И цветы тоже — просто ужас, — сказала она, брезгливо уминяя пальцем почву в горшке. — Эта сенполия совсем засохла. Луиза умерла бы со стыда.

— Не подарок дорог, а внимание.

— Разумеется, но все равно... Нет, если я что и вынесла из всей этой истории, так это что ни в коем случае нельзя заказывать цветы в «Волшебном букете». В «Цветочном рае» гораздо лучше, просто никакого сравнения. Фрэнсис, — не поднимая головы, продолжила она тем же скучающим тоном. — Мы ведь, кажется, с Пасхи не виделись?

Фрэнсис отхлебнул пива.

— О, у меня все по-прежнему, — произнес он с деланой беспечностью. — А вы как поживаете?

Миссис Коркоран со вздохом покачала головой.

— Нам, конечно, сейчас очень нелегко. Столько хлопот навалилось. Стараемся решать вопросы постепенно и не загадывать на завтра. Я и представить не могла, как, оказывается, трудно родителям смириться и перешагнуть... Генри, это ты? — внезапно спросила она, слышав чье-то шарканье на ступеньках.

— Нет, мам, это я.

— Сходи за ним, Пат, и приведи сюда, — скомандовала она в сторону лестницы и снова повернулась к Фрэнсису:

— Утром мы получили чудесные белые лилии от твоей матушки. Кстати, как у нее дела?

— Спасибо, неплохо. Она сейчас в Нью-Йорке. Она так расстроилась, — прибавил он, смутившись, — когда узнала про Банни. (Накануне Фрэнсис рассказал мне, что во время телефонного разговора с его матерью случилась истерика, справиться с которой удалось только при помощи транквилизаторов.)

— Милейшая женщина, — ласково сказала миссис Коркоран. — Я очень огорчилась, узнав, что она угодила в Центр Бетти Форд.

— Она провела там всего два дня, — сказал Фрэнсис.

Миссис Коркоран выгнула бровь:

— Вот как? Она так быстро поправилась? Впрочем, мне хвалили это заведение.

Фрэнсис кашлянул:

— Ну, вообще-то она просто поехала туда немного отдохнуть. Сейчас так многие делают.

На лице миссис Коркоран отразилось легкое удивление:

— Надо же, как свободно ты обсуждаешь эту тему. Это правильно, на мой взгляд. Признав, что нуждается в помощи, твоя мама поступила как культурная, современная женщина. Раньше люди просто замалчивали эти проблемы. Например, во времена моей молодости...

— О, а вот и он! Где черта помянешь, там он и появится, — пророкотал мистер Коркоран.

Генри, одетый в темный костюм, медленно и тяжело спускался по лестнице. Фрэнсис встал, я тоже, но Генри нас проигнорировал.

— Проходи, сынок, не стесняйся, — сказал мистер Коркоран. — Угощайся пивком.

— Нет, спасибо, — ответил Генри.

Приглядевшись, я вздрогнул — гипсово-белое лицо Генри походило на посмертную маску, лоб густо покрывала испарина.

— Ну и чем вы там целый день занимались, а, проказники? — игриво

вопросил его мистер Коркоран.

Но Генри молчал.

— Ладно уж, признавайся. Разглядывали журнальчики с голыми красотками? Или, может, приемник собирали?

Дрожащей рукой Генри вытер лоб:

— Я читал.

— Чита-ал? — протянул мистер Коркоран, словно не веря своим ушам.

— Да, сэр.

— И что же ты читал? Что-нибудь хорошенькое?

— «Упанишады».

— Золотая голова. У меня в подвале целая полка книг, можешь взглянуть, если хочешь. Есть даже парочка старых детективов про Перри Мейсона. Славные, кстати, книжечки. Все как в сериале, только Перри немножко ухлестывает за Деллой и иногда вставляет крепкое словцо.

Миссис Коркоран многозначительно кашлянула.

— Генри, я так полагаю, молодые люди хотели бы узнать, где им расположиться, забрать из машины багаж и так далее, — произнесла она светским тоном.

— Хорошо.

— Проверь, достаточно ли в нижней ванной мочалок и полотенец. Если нет, возьми из бельевого шкафа в прихожей.

Прежде чем Генри успел ответить, мистер Коркоран внезапно возник у него за спиной и вмешался в разговор.

— Этому парню, — сказал он, хлопнув его по плечу (я заметил, что шея у Генри напряглась и он стиснул зубы), — цены нет. Правда, он просто сокровище, Кэти?

— Он нам очень помог, — сухо сказала миссис Коркоран.

— Помог — не то слово. Ума не приложу, что б мы без него делали. Знаете, ребята, — продолжал он, вцепившись в Генри мертвой хваткой, — молитесь богу, чтоб у вас были такие друзья. Они на дороге не валяются, точно вам говорю. Никогда не забуду, как Бан позвонил мне из колледжа чуть ли не в первый же вечер. Па, говорит, видел бы ты, с каким шизиком меня поселили! А я ему отвечаю, дескать, потерпи, сынок, присмотрись получше. И что же? Не успел я глазом моргнуть, как у него через слово был все Генри да Генри. Бросил уж не помню что и засел за древнегреческий. Рванул в Италию. Аж сиял от счастья.

Мистер Коркоран похлопывал Генри по плечу с грубоватым дружелюбием. На глазах у него опять наворачивались слезы.

— То-то и оно — не суди о книге по обложке. Конечно, как

посмотришь, так может показаться, что Генри аршин вставили не скажу куда, но лучшего товарища нет на всем белом свете. Эх, подумать только — когда я последний раз говорил с нашим Банстером, он был весь в предвкушении, как летом полетит с этим парнем во Францию...

— Мак, остановись, — прошипела миссис Коркоран, но было поздно. Он уже рыдал.

Это было не так кошмарно, как в прошлый раз, но все равно ужасно. Обхватив Генри, он всхлипывал у него на плече, а Генри стоял не шевелясь, со стоическим спокойствием вконец измученного человека, устремив в пространство невидящий взгляд.

Всем было жутко неловко. Миссис Коркоран снова принялась ошипывать папоротники, а я, с пылающими ушами, рассматривал собственные колени, как вдруг хлопнула дверь и в просторной прихожей показались два человека. Я сразу понял, кто они, — ошибиться было невозможно. Против света я не мог различить черты их лиц, но они болтали и смеялись, и мне показалось — боже, мое сердце еле выдержало, — что я слышу издевательский, резонирующий хохот Банни.

Они подошли прямо к отцу, не обратив никакого внимания на его слезы.

— Привет, пап, — сказал старший. Ему было около тридцати, у него были волнистые волосы, а лицом он поразительно походил на Банни. На плече у него примостился малыш в бейсболке с надписью «Рэд Сокс». Его брат — помладше, веснушчатый, худой, с кругами под глазами и неестественно темным загаром — забрал ребенка.

— Иди к дедушке, — сказал он, передавая его мистеру Коркорану.

Мгновенно перестав плакать, тот с обожанием посмотрел на ребенка и подбросил его в воздух.

— Чемп! — раздался его возглас. — Где это ты гулял? Неужели ездил кататься с папочкой и дядей Брейди?

— Мы свозили его в «Макдоналдс», — сказал Брейди. — Купили ему детский обед.

Мистер Коркоран изобразил изумление:

— И ты съел его целиком? Съел целый обед?

— Скажи да, — громко зашептал отец ребенка. — Скажи: «Да, деда».

— Хватит заливать, Тед, — расхохотался Брейди. — Он и кусочка не проглотил.

— Зато он получил подарок. Правда, малыш? Получил ты подарок, а? Покажи.

— Давай-ка поглядим, — приговаривал мистер Коркоран, разжимая

ребенку кулачок.

— Генри, — сказала миссис Коркоран, — будь так любезен, помоги девушке отнести сумки. Брейди, а ты отведи молодых людей вниз.

Мистер Коркоран наконец извлек игрушку — пластмассовый самолетик — и стал показывать, как он летает.

— Ты только посмотри! — восхищенно шептал он.

— Поскольку речь идет об одной ночи, — продолжала миссис Коркоран, — я надеюсь, никто не будет возражать, если мы поселим вас по двое.

Мы потянулись за Брейди. Оглянувшись, я увидел, что мистер Коркоран повалил Чемпа на каминный коврик и принялся тормозить и щекотать. Спускаясь по лестнице, мы слышали полный ужаса и восторга детский визг.

Нас поселили в подвале. У дальней стены, между столами для пинг-понга и пула, были расставлены походные раскладушки, в углу лежала грудa спальных мешков.

— Какое убожество! — воскликнул Фрэнсис, едва мы остались вдвоем.

— Это всего на одну ночь.

— Я не могу спать в одной комнате с другими. Я же глаз не сомкну.

Я присел на раскладушку. Пахло затхлой сыростью, лампа над столом для пула отбрасывала тоскливый зеленоватый свет.

— И пыль кругом, — продолжал Фрэнсис. — Думаю, нам стоит перебраться в гостиницу.

Оглядываясь в поисках пепельницы, он не переставал презрительно шмыгать носом и жаловаться на пыль, но даже если б в комнату пустили смертоносный радон, мне и то было бы все равно. Я думал об одном: как, во имя всего святого, пережить следующий день? Мы приехали минут двадцать назад, а мне уже хотелось застрелиться.

Фрэнсис все ныл, а я по-прежнему пребывал в каталепсии отчаяния, когда зашла Камилла — элегантная незнакомка в облегающем костюме черного бархата, лакированных туфельках и гагатовых сережках.

— Привет, дорогая, — сказал Фрэнсис, протягивая ей пачку сигарет. — Хочу сменить эту мерзкую ночлежку на номер в ближайшей приличной гостинице. Не откажешься составить мне компанию?

Глядя на сигарету, зажатую между ее обветренными губами, я понял, как сильно скучал по ней последние дни.

— Вам еще повезло, — сказала она. — Я вот прошлой ночью спала с

Марион.

— В одной комнате?

— В одной кровати.

Потрясенный Фрэнсис распахнул глаза.

— Правда? Вот это да! Кошмар какой, — благоговейно прошептал он.

— Чарльз сейчас как раз с ней наверху. Она закатила истерику из-за того, что пригласили ту бедную девушку, которая ехала с вами.

— А Генри где?

— Вы его еще не видели?

— Вот именно что видели, но даже словом не перемолвились.

— И как он тебе показался? — помедлив, спросила она, выпустив облачко дыма.

— Прямо скажем, не лучшим образом. А что?

— То, что ему плохо. Головные боли.

— Те самые?

— Он говорит, да.

— Как же он тогда ходит, и вообще? — недоверчиво поинтересовался Фрэнсис.

— Не знаю. Он только на лекарствах и держится. Постоянно пьет свои таблетки.

— Почему он в таком случае не в постели?

— Догадайся. Сейчас вот миссис Коркоран отправила его на ближайшую ферму за молоком для этого треклятого ребенка.

— Он машину-то вести может?

— Понятия не имею.

— Фрэнсис, твоя сигарета! — воскликнул я.

Вскочив, он поспешно схватил ее и зачертыхался, обжегшись. По лаку расплзлось коричневое пятно — он оставил сигарету на краю стола, и она прожгла дерево.

— Мальчики, — раздался с лестницы голос миссис Коркоран. — Маль-чи-ки. Можно к вам? Мне нужно проверить термостат.

— Скорей, — прошептала Камилла, ловко затушив свою. — Здесь нельзя курить.

— В чем дело? — взвизгнула миссис Коркоран. — Что у вас горит?

— Ничего, мэм, — крикнул Фрэнсис в ответ и, спрятав окурок, прикрыл ладонью выжженное пятно как раз в тот момент, когда она вошла в комнату.

Тот вечер был одним из худших в моей жизни. Дом наводнялся

народом, и время тянулось в жуткой размытой чересполосице: родственники, соседи, хнычущие дети, заставленные грязной посудой подносы, забитая машинами аллея, надрывающийся телефон, режущий свет, идиотские разговоры. Грузный плешивый тип с крысиными усиками загнал меня в угол и часа два кряду хвастался рыболовными успехами и процветающим бизнесом в Чикаго, Нэшвилле и Канзас-Сити. В конце концов я от него отделался и заперся в ванной на втором этаже — какая-то пузатая мелочь молотила в дверь и обливалась слезами, умоляя открыть, но я не обращал внимания.

Ужин, поданный в семь, представлял собой неаппетитное сочетание готовых блюд из кулинарии (салат с макаронами, утка в кампари, волованы с паштетом из гусиной печени) и гастрономических пожертвований соседей (запеченный тунец, заливное в пластиковых контейнерах и совершенно несъедобный десерт под названием «тортик с вывертом», описать который я не в состоянии). Гости бродили по комнатам с бумажными тарелками в руках. За черными окнами шумел дождь. Хью Коркоран, сняв пиджак, протискивался с бутылкой сквозь темную бормочущую толпу, подливая напитки. Он задел меня локтем, но даже не оглянулся. Хью был похож на Банни еще больше, чем остальные братья (смерть Банни словно бы обернулась неким ужасным репродуктивным актом — куда бы я ни посмотрел, везде мелькали, возникая из ниоткуда, бесчисленные Банни), и при взгляде на него становилось понятно, каким был бы Банни в тридцать пять, так же как по его отцу было легко представить Банни в шестьдесят. *Sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat...* [116] Я знал Хью, а он меня — нет. Я едва преодолел позыв подойти к нему, тронуть за руку, сказать что-нибудь, не знаю что — просто чтобы увидеть, как он озадаченно нахмурится, как в его наивных затуманенных глазах появится столь хорошо знакомое мне удивленное выражение.

Смех, мельтешение, чужие лица, назойливая трескотня. С трудом отцепившись от какого-то малолетнего кузена Банни (узнав, что я из Калифорнии, он пристал ко мне, как клещ, с вопросами про серфинг), я проплыл сквозь бурлящую людскую массу и отыскал Генри. Повернувшись спиной к гостям, он курил в одиночестве перед стеклянной дверью в сад.

Я встал рядом, но он даже не взглянул на меня. Снаружи косые струи дождя разбивались о голую, залитую светом террасу — бирючина в бетонных вазах, декоративные обломки статуи, белеющие на темной поверхности.

Прожектора были направлены под таким углом, что все предметы отбрасывали неестественно длинные, трагические тени. Это зрелище,

походившее на постыжерный пейзаж, было стерильно-претенциозным, вполне в духе современного дизайна, но еще от него почему-то веяло чем-то древним, словно бы я смотрел на покpытый пемзой дворик в Помпеях.

— В жизни не видел более уродливого сада, — сказал я.

— Да, — отозвался Генри. — Цемент и зола.

Сзади слышался гул разговоров и всплески хохота. С террасы свет проникал сквозь забрызганное стекло, и бледное лицо Генри прочерчивали кривые серые дорожки. Некоторое время мы стояли молча.

— Может, тебе прилечь? — спросил я наконец.

Он прикусил губу. Половина его сигареты свисала пепельным хоботком.

— У меня не осталось таблеток.

— Ты сможешь без них?

— Разве у меня есть выбор? — не шелохнувшись, ответил он.

Камилла заперла дверь в ванную изнутри, и, встав на четвереньки, мы принялись перебирать залежи лекарств в шкафчике под раковиной.

— «От повышенного давления», — прочитала она.

— Не пойдет.

— «Антиастматическое».

В дверь постучали.

— Занято! — крикнул я.

Забравшись в шкафчик по пояс, Камилла рылась в глубине около труб. До меня доносилось звяканье пузырьков и ее приглушенный голос:

— «При отите по одной капсуле два раза в день».

— Давай посмотрим.

Она протянула мне какие-то антибиотики, по меньшей мере десятилетней давности.

— Это все не то, — сказал я, пододвигаясь ближе. — Нет ли там чего-нибудь с надписью «только по рецепту врача»? «От зубной боли»?

— Не вижу.

— «Может вызвать сонливость»? «Не управлять машинами и механизмами»?

Кто-то снова постучал и пару раз нетерпеливо дернул ручку. Я стукнул в дверь и включил оба крана на полную.

Ничего подходящего в ванной не отыскалось. Если бы Генри страдал от дерматита, сенной лихорадки, ревматизма или конъюнктивита, наши находки принесли бы ему облегчение, но из болеутоляющих были только таблетки экседрина. Но от отчаяния я все же ссыпал горстку этих таблеток



в карман и прихватил две сомнительные капсулы из пузырька с надписью «вызывает сонливость», хотя и подозревал, что это всего лишь антигистамины.

Я надеялся, что загадочный посетитель ушел, но, выглянув наружу, с досадой обнаружил там прислонившегося к стене Клоук. Увидев меня, он лишь презрительно скривился, но усмешка сползла с его лица, когда вслед за мной из ванной, поправляя юбку, вышла растрепанная Камилла.

Она же, если и смутилась, ничем этого не показала.

— О, привет, — сказала она, деловито отряхивая колени.

— Привет.

Отвернувшись, он с показным равнодушием принялся мурлыкать что-то себе под нос. Я понимал его. Все мы знали, что Клоук неравнодушен к Камилле, но дело было даже не в этом — она, мягко говоря, не относилась к девушкам, которые на вечеринках закрываются с парнями в ванной.

Проскользнув между нами, она сбежала по ступенькам. Я последовал было за ней, но Клоук многозначительно кашлянул. Я обернулся — он снова привалился к стене и теперь смотрел на меня так, словно только что узнал всю мою подноготную. Его мятая рубашка была не заправлена, покрасневшие глаза заставляли предположить, что он обкурился, хотя, возможно, он просто устал.

— Ну что, как оно?

Я прислушался. Камилла, судя по всему, уже спустилась и слышать нас не могла.

— Нормально.

— Эк вы, однако.

— Чего?

— Смотри, поосторожней. Если Кэти прознает, что вы трахаетесь в ванной, глазом не успеете моргнуть, как потопаете домой.

Несмотря на его безразличный тон, я живо вспомнил недельной давности встречу с дружкой Моны. К счастью, в плане физической угрозы Клоук не представлял особой опасности, к тому же ему хватало своих проблем.

— Слушай, ты не то подумал, — сказал я.

— Да мне по фигу. Просто имей в виду.

— Нет, это ты просто имей в виду. Ничего такого мы не делали. Хочешь верь, хочешь не верь.

Лениво скользнув рукой в карман, Клоук достал пачку «Мальборо» — такую мятую, что наличие внутри сигареты казалось исключительно маловероятным.

— Я в принципе догадывался, что она с кем-то встречается.

— Хватит уже.

— Не мое, конечно, дело. — Дернув плечом, он выудил сплюсненную сигарету и скомкал пачку в кулаке. — Просто я тут тусовался у них последнее время — а то на кампусе меня уже все достали — и как-то раз слышал, как она говорила по телефону.

— И что?

— Так, ничего особенного — просто три часа ночи, девушка что-то шепчет в трубку, какие тут варианты? — Он уныло усмехнулся. — Думаю, она решила, я в отрубе, но вообще-то мне тогда фигово спалось... Так чего? — продолжил он, видя, что я не собираюсь отвечать. — Ты, конечно, хочешь сказать, не в курсе?

— Нет.

— Так я и поверил.

— Нет, серьезно.

— Чем же вы занимались в ванной?

Помедлив немного, я протянул ему на ладони горстку таблеток из кармана. Нахмурившись, он наклонился ближе и внезапно его подернутые пеленой глаза загорелись живым светом разума. Выбрав капсулу, он деловито рассмотрел ее на свет:

— Что это, по-твоему?

— Судафед, от аллергии. Не надейся, ничего хорошего мы не нашли.

Клоук усмехнулся.

— А знаешь почему? — спросил он, впервые глядя на меня с искренним дружелюбием. — Потому, что не там искали.

— То есть?

Он кивком указал назад:

— В том конце коридора. В комнатухе при хозяйской спальне. Надо было сразу меня спросить.

— Откуда ты знаешь? — изумился я.

Он спрятал капсулу в карман и насмешливо вздернул брови:

— Я ж, можно сказать, вырос в этом доме. Старушка Кэти сидит, примерно так, на шестнадцати разных колесах.

Я шагнул в сторону спальни.

— Только не сейчас, — предупредил Клоук.

— Почему?

— Там бабушка Банни. После еды ей обязательно нужно прилечь. Заглянем попозже.

Внизу народ немного рассосался, но все равно было шумно. Камиллы нигде не было. Чарльз, в сильном подпитии и с выражением неимоверной скуки на лице, стоял в углу, прижав стакан к виску, а Марион, вытирая глаза, что-то ему рассказывала. Ее волосы были стянуты, словно у выпускницы, огромным пышным бантом. С самого приезда я не обменялся с Чарльзом ни словом из-за того, что Марион следовала за ним как приклеенная. Я не очень понимал, почему она прицепилась именно к нему, — хотя, если подумать, с Клоуком она не разговаривала, молодые Коркораны были либо женаты, либо помолвлены, а из прочих лиц мужеского пола в ее возрастной группе (кузены Банни, наша компания, Руни Уинн и Брэм Гернси) Чарльз был, несомненно, самым симпатичным.

Через плечо Марион он послал мне выразительный взгляд, но прийти ему на помощь у меня не хватило духа. Я отвернулся и чуть было не грохнулся: один из младших Коркоранов, спасавшийся от злорадного лопухого братца, с разгона боднул меня в бедро.

Двое чертенят принялись носиться вокруг меня. Тот, что поменьше, с истошным визгом кинулся на пол и обхватил меня за колени.

— Говнюк! — всхлипнул он.

Его преследователь замер на месте и расплылся в гадкой, едва ли не сладострастной улыбке.

— Па-а! — слащаво пропел он. — Па-ап!

Хью, стоявший в другом углу со стаканом в руке, повернулся к ребенку:

— Брэндон, лучше оставь меня в покое.

— Пап, а Кори назвал тебя говнюком!

— Это ты говнюк! — зарыдал маленький. — Ты, ты, ты!

Стряхнув Кори с ноги, я отправился на поиски Генри и обнаружил его на кухне вместе с мистером Коркораном. Приобняв Генри за плечи, тот распинался, обращаясь к выстроившимся полукругом слушателям.

— Так вот, наш дом всегда открыт для молодежи, — поучительно провозгласил он. — У нас всегда найдется лишнее местечко за столом. И молодежь, доложу я вам, так и тянется к нам с Кэти. Вот он, например. — Мистер Коркоран пихнул Генри в бок. — Никогда не забуду, как он заявился ко мне в один прекрасный день. «Мак, — говорит (меня все ребята зовут Мак), — Мак, мне нужен дельный мужской совет». А я ему: «Конечно, сынок, конечно, только сначала послушай. Меня уж ничем не удивишь. Я вырастил пятерых сыновей, да и сам рос с четырьмя братьями, так что по части мужских советов я, можно сказать, дока...»

Он с головой ушел в эти выдуманнные воспоминания. Генри, бледный и

больной, сносил его тычки и хлопки, как хорошо дрессированная собака сносит шалости избалованного ребенка. Рассказ был смехотворен от начала до конца: Генри, пылкий и сумасбродный юнец, хотел, несмотря на отговоры родителей, с бухты-барахты купить подержанный самолет.

— Парень стоял как скала, — продолжал мистер Коркоран. — Был готов разбиться в лепешку, но заполучить самолет. Когда он мне все это выложил, я подумал минутку, а потом собрался с духом и говорю: «Генри, сынок, я тебя понимаю — похоже, прелесть что за машинка, — но я тебе вот что скажу: хочешь, называй меня старым болваном, но я согласен с твоими предками. И сейчас объясню почему».

— Пап, ты путаешь, — раздался голос Патрика, заглянувшего на кухню за виски. Он был густо покрыт веснушками и пониже ростом, но песочного цвета волосы и заостренный нос были точь-в-точь как у Банни.

— Ты все перепутал. Генри тут ни при чем. Это был Уолтер Баллантайн, старый приятель Хью.

— Вздор, — мотнул головой мистер Коркоран.

— Точно тебе говорю. И в конце концов он все равно купил самолет. Хью! — крикнул он в гостиную. — Хью, помнишь Уолтера Баллантайна?

— А как же. — На пороге появился Хью, волоча за руку Брэндона. Тот вертелся как уж на сковороде, отчаянно пытаясь освободиться. — И чего насчет Уолтера?

— Он же в итоге купил ту «бонанцу»?

— Да, только не «бонанцу», а «барона», — пояснил Хью, с ледяным спокойствием игнорируя прыжки и вопли сына. — Да погодите, дайте договорить, — осадил он отца и брата, запротестовавших в один голос. — Я ездил с ним в Данбери смотреть «бонанцу», но хозяин запросил слишком много. С этими самолетиками и так расходов не оберешься, а тот к тому же еще требовал ремонта. Хозяину просто надоело тратить на него деньги, потому и продавал.

— А «барон»? — заинтересовался мистер Коркоран, выпуская Генри из объятий. — Мне вообще-то говорили, отличная вещь.

— Уолтер с ним намучился. Он купил его через Справочник для бережливых у одного конгрессмена в отставке. Так вот, этот деятель летал на нем во время предвыборных кампаний и...

Хью метнулся за Брэндонem — тот, извернувшись, вырвался на свободу и теперь летел по комнате пушечным ядром. Увернувшись от подножки отца, он с ловкостью заправского футболиста обошел блок Патрика и, бросив отчаянный взгляд на преследователей, врезался прямо Генри в живот.

Удар получился мощным. Ребенок заревел. Пробежавшая судорога не оставила в лице Генри ни кровинки. На секунду мне показалось, он вот-вот упадет, но, устояв каким-то чудом на ногах, он выпрямился медленным, исполненным достоинства движением раненого слона. Запрокинув голову и показывая на Генри пальцем, мистер Коркоран весело расхохотался.

Я не очень поверил словам Клоука насчет лекарств, но позже, поднявшись с ним наверх, убедился, что он не соврал. При спальне действительно имелась крошечная комнатка, где стоял лакированный туалетный столик черного дерева с миниатюрными ключиками в многочисленных ящичках. В одном из них, рядом с роскошной коробкой шоколадных конфет, мы обнаружили аккуратную, заботливо собранную коллекцию пузырьков с цветными, как леденцы, капсулами. Выписавший их «Э. Дж. Харт, практикующий врач», похоже, практиковал не вполне традиционную медицину, щедрой рукой раздавая страждущим самые разнообразные снадобья, включая амфетамины. Обычно дамы возраста миссис Коркоран налегают на валиум и тому подобное, но она, судя по всему, предпочитала другие препараты, и ее запасов хватило бы на то, чтобы отправить целую банду «Ангелов ада» в оголтелый пробег по бездорожью.

Я сильно нервничал. В комнате пахло духами и новой одеждой, большие наборные зеркала на стенах множили малейший жест. Загляни сюда кто-нибудь, у нас не было бы ни пути к отступлению, ни маломальски благовидного объяснения, что мы здесь делаем. Я следил за дверью, а Клоук с достойной восхищения оперативностью просматривал коллекцию.

Далман: желтый с оранжевым. Дарвон: красный с серым. Фиоринал. Нембутал. Милтаун. Я вытряхивал по две капсулы из каждого протянутого Клоуком пузырька.

— Чего ты? — спросил он. — Этого ж мало будет.

— Не хочу, чтоб она хватилась.

— Блин, да бери сколько хочешь, — фыркнул он, открыв очередной пузырек и прикарманив добрую половину содержимого. — Она решит, что это кто-то из ее невесток... Возьми-ка вот этого, — прибавил он, высыпая почти все оставшиеся капсулы мне на ладонь. — Классная штука. Настоящая химия. Во время экзаменов можно толкнуть по десять-пятнадцать баксов за штучку, легко.

Я спустился вниз: в правом кармане — стимуляторы, в левом —

транквилизаторы и антидепрессанты. У подножия лестницы я столкнулся с Фрэнсисом.

— Слушай, не знаешь, где Генри? — спросил я.

— Нет. А ты Чарльза не видел? — истерично выпалил он.

— Что-то случилось?

— Он украл у меня ключи от машины.

— Че-го?

— Вытащил их из кармана пальто и смылся. Камилла заметила, как он отъезжал. Но это еще не все — он не опустил верх! Машина старая, в такой дождь двигатель все равно заглохнет, но если... Черт побери. — Не договорив, он схватился за голову. — Так он тебе точно не попадался?

— Я видел его с Марион около часа назад.

— Да, ее я уже расспросил. Он сказал, что съездит за сигаретами, но это было уже час назад. Значит, видел его? А случайно не разговаривал с ним?

— Нет.

— Он был пьян? Марион говорит, да. Как тебе показалось, он сильно пьян?

Фрэнсис, похоже, и сам был далеко не трезв.

— Не очень, — ответил я. — Слушай, помоги мне найти Генри.

— Я же сказал, я не знаю, где он. Зачем он тебе?

— У меня для него кое-что есть.

Фрэнсис замер.

— Ф́армака? — спросил он.

— Да.

— Дай и мне, умоляю, — попросил он, выпучив глаза и выжидающе привстав на цыпочки.

Снотворного Фрэнсису, на пьяную голову, было никак нельзя. Я протянул ему таблетку экседрина.

— Спасибо. — Он запил ее виски, пролив половину на пиджак. — Надеюсь, ночью отдам концы. Как ты думаешь, куда он мог деться? Вообще, сколько времени?

— Около десяти.

— Может, он решил поехать домой, а? Сел в машину да и рванул в Хэмпден. Камилла говорит, конечно, нет, ведь завтра похороны, но я уже не знаю, что думать, — надо же, просто взял и исчез! Если б он действительно за сигаретами поехал, точно уже вернулся бы, правда?

— Он скоро появится, — сказал я. — Слушай, извини, мне надо идти. Еще увидимся.

Обыскав весь дом, я нашел Генри в подвале. Он сидел на раскладушке, один в темноте. Когда я включил свет, он, не поворачиваясь, покосился на меня. Я протянул ему две капсулы.

— Что это? — спросил он.

— Нембутал. Прими, станет легче.

Он проглотил их, не запивая.

— Есть еще?

— Да.

— Давай сюда.

— Больше двух сразу нельзя.

— Давай сюда.

Я отдал ему остальные.

— Генри, только, пожалуйста, поаккуратней с ними. Это ж все-таки не конфеты, сам понимаешь.

Достав из кармана синюю эмалированную коробочку, он аккуратно сложил туда капсулы:

— Виски ты мне, конечно, не принесешь.

— Эти лекарства нельзя мешать с алкоголем.

— Я уже пил сегодня.

— Я знаю.

— Слушай внимательно, — сказал он, поправляя очки. — Мне нужно виски с содовой. В высоком стакане. Побольше виски, поменьше содовой, как можно больше льда. И стакан воды без льда. Именно в таком сочетании.

— Я никуда не пойду.

— Хорошо. Тогда я схожу сам.

Я поднялся на кухню и смешал ему виски с содовой, правда, в обратной пропорции.

— Это ведь для Генри? — спросила Камилла, когда я наполнял второй стакан водой из-под крана.

— Да.

— Где он?

— Внизу.

— Как у него дела?

Кроме нас, на кухне никого не было. Поглядывая на дверь, я шепотом рассказал ей про содержимое туалетного столика.

— Очень похоже на Клоука, — рассмеялась она. — Он такой... порядочный на самом-то деле. Помню, Бан говорил, что Клоук напоминает ему тебя.

Последнее замечание удивило и немного обидело меня. Я хотел возмутиться, но передумал и вместо этого, поставив стакан на стол, спросил:

— Кому ты звонишь в три часа ночи?

— Что-что?

Нахмутив брови, она очень натурально изобразила удивление. Увы, она была столь искусной актрисой, что я не мог быть уверен в ее искренности.

Я не сводил взгляд с ее лица — на нем по-прежнему читалось лишь недоумение, но едва у меня мелькнула мысль, что пауза передержана, как Камилла со смехом встряхнула головой:

— О чем ты вообще?

Я улыбнулся в ответ. Не было никаких шансов перехитрить ее в этой игре.

— Я вовсе не пытаюсь тебя подловить. Просто, пожалуйста, не болтай лишнего по телефону, когда у вас дома Клоук.

— Я вообще никогда не болтаю лишнего, — произнесла она рассудительным тоном.

— Очень надеюсь, потому что он подслушивал.

— Он не мог услышать ничего такого.

— Все равно, рисковать не стоит.

Мы замолчали, глядя друг на друга. Чуть пониже глаза у нее краснела обворожительная родинка, похожая на рубиновую капельку крови. Не понимая, что делаю, я наклонился и поцеловал ее.

— Чем заслужила я этот знак внимания? — насмешливо спросила Камилла.

Мое сердце, ушедшее в пятки от собственной дерзости, вернулось и дико забилось. Отвернувшись, я принялся передвигать стаканы на столе.

— Ничем, — бросил я через плечо. — Мило выглядишь, вот и все...

Тут за дверьми послышались шаги, и на кухню ввалился промокший до нитки Чарльз, а следом, дрожа от гнева, ворвался пунцовый Фрэнсис.

— Мог мне хотя бы сказать, — злобно шептал он. — Черт с ними, с сиденьями! Они мокрые насквозь, теперь в них заведется грибок, их уже не просушить, а мне, между прочим, завтра возвращаться в Хэмпден, но черт с этим всем, мне наплевать, — я просто не могу поверить, что ты специально отыскал мое пальто, тайком взял ключи и...

— Ты и раньше оставлял верх откинутым под дождем, — отрезал Чарльз, наливая виски. Он стоял к нам спиной, темные блестящие волосы липли к голове, от ног по линолеуму бежали ручейки.



— Что? — вскинулся Фрэнсис. — Да никогда в жизни!  
— Еще как оставлял, — не оборачиваясь, буркнул Чарльз.  
— Скажи когда. Хоть один раз назови.  
— Да сколько угодно. Взять хоть ту поездку в Манчестер, помнишь?  
За две недели до начала семестра, а? Мы с тобой тогда поехали в «Эквинокс-хаус», чтобы...

— Это было летом. Стояла жара, и шел грибной дождик.  
— Ага, как же, грибной. Настоящий ливень. Просто ты не хочешь говорить про этот день, потому что потом ты попытался затащить меня...

— Ты с ума сошел! Какая тут связь? Сейчас темно и льет как из ведра, а ты пьян в стельку, на ногах не держишься. Просто чудо, что ты никого не сбил. Куда ты вообще ездил за этими несчастными сигаретами? Ближайший магазин — у черта на рогах.

— Я не пьян.  
— Ха-ха-ха. Он не пьян. Так где же твои сигареты? А? Спорим, ты...  
— Я сказал, я не пьян.  
— Ну конечно, наш мальчик трезв как стеклышко. Спорим, ты не купил никаких сигарет? А если даже и купил, они насквозь мокрые. Где они, покажи?

— Отстань от меня.  
— Сначала покажи сигареты. Ну, давай. Хочу своими глазами увидеть эти замечательные...

Шваркнув стакан о стол, Чарльз крутанулся на каблуках.  
— Оставь меня в покое, — прошипел он.  
Ужаснулись мы не столько его интонации, сколько выражению лица. Фрэнсис застыл с приоткрытым ртом. Секунд десять — казалось, целую вечность — единственным звуком было ритмичное «кап-кап-кап» — это капало с одежды Чарльза.

Я взял предназначенные для Генри стаканы — виски с содовой, как можно больше льда, и вода, без льда, — и, толкнув дверь, вышел из кухни.

Всю ночь не переставая лил дождь. Я ворочался в своем пыльном спальнике, в носу щекотало, мышцы болели от лежания на бетонном полу, покрытом издевательски тонким слоем ковролина. Ливень барабанил в окна под потолком, и в свете прожекторов казалось, что по стене напротив сбегает темные струи.

Чарльз храпел, запрокинув голову, Фрэнсис бормотал во сне. Время от времени снаружи в шуме брызг проносилась машина, и белая полоса, проползая по комнате, выхватывала стол для пула, подвешенные на крюке

снегоступы, гребной тренажер и Генри, неподвижно сидевшего в кресле со стаканом в одной руке и сигаретой в другой. Его бледное, бдительное, словно у бесплотного стража, лицо на миг возникало в свете фар и соскальзывало обратно во тьму.

Меня разбудило хлопанье ставни где-то наверху. Все тело ломило, я долго не мог прийти в себя. Дождь припустил еще сильнее. Он хлестал размеренными упругими волнами по окнам ярко освещенной кухни, где собравшиеся за столом гости в подавленном молчании завтракали тостами с кофе.

Коркораны, видимо, уже готовились к выходу. Клоук, Брэм и Руни сидели рядом, разложив локти на столе, и тихо переговаривались. Они были только что из душа, чисто выбриты, в новеньких костюмах. Выглядели они так, словно им предстояло появиться в суде, — напыщенно, но вместе с тем немного нервно. Фрэнсис, с припухшими глазами и нелепыми завитками в растрепанной рыжей шевелюре, поднялся на кухню в халате. Он еле сдерживал негодование: встав позже всех и попытавшись принять душ, он обнаружил, что горячая вода в баке кончилась.

Они с Чарльзом сидели по разные стороны стола и старательно избегали смотреть друг на друга. Марион с утра пораньше накрутила бигуди; заплаканная и понурая, она то и дело проверяла, не остыли ли они, и не произнесла ни слова за весь завтрак. С ее элегантным темно-синим костюмом резко контрастировали телесного цвета чулки и пушистые розовые тапочки.

Из всей молодежи только Генри предстояло нести гроб — остальные пять человек были друзьями семьи или деловыми партнерами мистера Коркорана. Я задавался вопросом, тяжелым ли окажется гроб, и если да, то как Генри справится со своей миссией. От него исходил слабый аммиачный аромат пота и виски, но пьяным он вовсе не казался. Лекарства погрузили его в стеклянную толщу спокойствия. Струйки дыма поднимались от сигареты без фильтра, огонек которой находился в опасной близости от пальцев. Пожалуй, его можно было бы принять за наркомана, не будь его нынешнее состояние почти полной копией привычной манеры держаться.

Кухонные часы показывали девять тридцать пять. Похороны были назначены на одиннадцать. Фрэнсис пошел одеваться, а Марион — снимать бигуди. Остальные так и сидели за столом в неловком бездействии, притворяясь, что еще не допили кофе. На кухню уверенной походкой вошла жена Тедди. Она была судебным юристом — ухоженная дама с суровым лицом и стрижкой «боб-каре», заядлая курильщица. За ней показалась

невысокая застенчивая жена Хью; глядя на эту хрупкую молодую женщину, трудно было поверить, что она родила столько детей. Обе жены носили имя Лиза, и это досадное стечение обстоятельств было источником постоянной путаницы.

— Генри, — деловито сказала Лиза-первая, ткнув в пепельницу недокуренную сигарету так, что та сложилась под прямым углом. — Мы сейчас отправляемся в церковь — до начала службы нужно расставить цветы на алтаре и рассортировать открытки с соболезнованиями. Матушка Теда, — продолжила она, поджав губы (обе Лизы недолго любили миссис Коркоран, которая от души платила им тем же), — сказала, чтоб ты ехал с нами и присоединился к тем, кто понесет гроб. Хорошо?

Генри, казалось, ничего не слышал. Я собрался пихнуть его ногой под стол, но тут он медленно поднял взгляд:

— И что?

— Вы встречаетесь в вестибюле в четверть одиннадцатого.

— И что? — повторил Генри с ведическою безмятежностью.

— Я не знаю что, просто передаю тебе ее слова. Там все рассчитано чуть ли не по секундам, прям как в синхронном плавании, черт бы его побрал... Так ты готов или тебе нужно пять минут на сборы?

— Не надо, Брэндон, — жалобно говорила жена Хью своему отпрыску, который вбежал на кухню и, повиснув у матери на руке, стал изображать Тарзана. — Ну пожалуйста. Ты делаешь маме больно... Брэндон!

— Лиза, так он тебе сейчас и на шею взгромоздится, — недовольно сказала Лиза-первая, сверяясь с часами.

— Брэндон, прошу тебя, будь умницей. Маме нужно идти.

— Он уже большой для таких номеров. На твоём месте я бы отвела его в ванную и задала хорошую взбучку.

Минут через двадцать в гостиную, шелестя складками черного крепдешинового платья, спустилась миссис Коркоран. Она что-то сосредоточенно искала в кожаном ридикюле, но, заметив наше неприкаянное трио (Камилла, Софи и я) у шкафа с трофеями, тут же прекратила поиски.

— Куда это все подевались?

Никто не ответил, и, скорчив недовольную мину, она застыла на ступенях:

— Так что? Остальные уже уехали? А где Фрэнсис?

— По-моему, он одевается, — ответил я, обрадовавшись возможности правдиво ответить хотя бы на один вопрос. Со своей позиции на лестнице

она не могла видеть то, что прекрасно видели мы, а именно, что снаружи, под навесом, Клоук, Брэм, Руни, а с ними и Чарльз, неспешно передают по кругу косяк. Было ужасно странно видеть, что марихуану курит Чарльз; я подозревал, что он согласился на предложение Клоука в надежде, что трава подхлестнет его, как стакан неразбавленного виски, и придаст самообладания. Если так, я был уверен, что его ждет пренеприятный сюрприз. Лет в двенадцать-тринадцать я накуривался ежедневно — не потому, что мне это нравилось, нет (всякий раз меня охватывал панический страх и прошибал холодный пот), а потому, что в средних классах курить траву считалось жутко крутым и престижным, вдобавок я научился мастерски скрывать возникавшие от нее параноидальные реакции.

Миссис Коркоран посмотрела на меня так, будто я поприветствовал ее возгласом «Хайль Гитлер!».

— Одевается?

— По-моему, да.

— Нет, вы посмотрите, он еще даже не оделся! Чем вы занимались все утро?

Я не нашел, что ответить. Она медленно плыла вниз по ступеням и теперь, когда ей уже не мешала балюстрада, беспечные курильщики за стеклянными дверями оказались бы прямо в поле ее зрения, стоило ей посмотреть в ту сторону. Мы застыли в напряженном ожидании. Некоторые родители находятся в блаженном неведении, даже если дети курят траву прямо у них под носом, но что-то подсказывало мне, что миссис Коркоран не относится к их числу.

Яростно защелкнув ридикюль, она, прищурившись, окинула комнату хищным взглядом. Я бы никогда не подумал, что у миссис Коркоран есть что-то общее с моим отцом, но в этот момент я испытал очень знакомое чувство.

— Так что? Может быть, кто-нибудь соизволит пойти поторопить его?

— Миссис Коркоран, я схожу, — вскочила Камилла. Она направилась к выходу, но оказавшись за углом, шмыгнула к двери на террасу.

— Спасибо, милочка, — рассеянно сказала миссис Коркоран, надевая темные очки, которые она, видимо, и искала. — Ума не приложу, что творится с молодежью, — обратилась она ко мне. — Я не имею в виду лично тебя, но, кажется, можно было бы и понять, что это нелегкое время, мы все очень переживаем и наша общая задача — постараться, чтобы все прошло как можно более гладко.

Камилла тихонько стукнула в стекло, и Клоук поднял обалделые глаза с густой сетью красных прожилок. Затем его взгляд скользнул в гостиную,

и до него дошло. Я увидел, как с его губ вместе с облачком дыма слетело беззвучное «бля». Чарльз тоже поднял голову и тут же надул щеки, стараясь сдержать предательский кашель. Выхватив у Брэма косяк, Клоук затушил его пальцами.

Вся эта драма развивалась за спиной у миссис Коркоран, поправлявшей свои огромные темные очки. Бесшумно проскользнув мимо нее, Камилла пошла за Фрэнсисом.

— До церкви довольно далеко, — приступила к инструктажу миссис Коркоран. — Мы с Маком поедем впереди в «универсале», а вы держитесь нас или следуйте за мальчиками. Скорее всего, вам придется разбиться на три машины, хотя лучше бы поместиться в две...

— Не смейте носиться у бабушки в доме! — рявкнула она на Брэндона и его двоюродного брата Нила, которые кубарем скатились с лестницы и влетели в гостиную. На них были синие костюмчики и черные «бабочки» на кнопках. Новехонькие туфли грохотали по полу.

Брэндон, тяжело дыша, юркнул за диван:

— Бабушка, он меня ударил.

— А он обозвал меня какашкой.

— Все ты врешь.

— Ничего не вру.

— Дети! — прогремела миссис Коркоран. — Дети, как вам не стыдно!

Братья застыли. Она выдержала драматическую паузу, сверля взглядом их испуганные физиономии:

— Ваш дядя Банни умер. Вы понимаете, что это значит? Это значит, он покинул нас навсегда. Вы больше не увидите его никогда в жизни.

От нее исходили волны негодования.

— Сегодня особенный день. Сегодня наши мысли — о дяде Банни. Вы должны тихонько сидеть в уголке и вспоминать все хорошее, что он для вас сделал, а не носиться по дому как угорелые, протирая полы, которые бабушка, к вашему сведению, только что подновила.

Дети молчали. Нил мрачно пихнул Брэндона.

— Дядя Банни один раз назвал меня засранцем, — сказал он.

Не знаю, действительно миссис Коркоран не расслышала внука или только притворилась — поджатые губы заставляли предположить последнее, — но тут с террасы появились Клоук, а за ним Брэм, Руни и Чарльз. Миссис Коркоран оглядела их:

— Ах, вот вы где? Что это вы там делали под дождем?

— Воздухом дышали, — проговорил Клоук. Накурился он будь здоров. Из нагрудного кармана пиджака торчал флакон глазных капель.

Всем остальным, похоже, тоже хватило. Бедный Чарльз в замешательстве таращился по сторонам, поминутно отирая лоб. Похоже, не того он ждал: яркий свет, громкие голоса, и надо как-то оправдываться перед этой сердитой взрослой тетей.

Миссис Коркоран вновь задержала на компании оценивающий взгляд. Мне вдруг показалось, что она прекрасно все понимает. Я подумал, что она хочет что-то сказать, но она, отвернувшись, ухватила за локоть Брэндона.

— Вам пора выходить, — сухо произнесла она, наклонившись к ребенку и приглаживая ему вихры. — Не стоит опаздывать: мне дали понять, что в церкви могут возникнуть проблемы с местами.

Если верить Национальному реестру исторических мест, церковь была построена в тысяча семьсот каком-то там году. Потемневшее от времени здание напоминало нечто среднее между склепом и тюрьмой, позади виднелся погост с покосившимися надгробьями. К церкви поднималась извилистая дорожка, по обеим сторонам которой, едва не съезжая в заросшие травой канавы, теснились автомобили, словно целая деревня собралась на танцы или воскресную игру в лото. В воздухе висела серая морось. Мы припарковались у кантри-клуба, стоявшего на холме пониже, и, с облегчением выйдя из машины Фрэнсиса (после мокрых сидений одежда противно липла к телу), прошли оставшиеся метров четыреста пешком, меся грязь.

В вестибюле стоял полумрак, и, переступив порог зала, я заморгал от ослепительного блеска свечей. Привыкнув к свету, я различил сырые плиты пола, кованые фонари и море цветов. Красные головки гвоздик в огромном букете возле алтаря образовывали число 27.

— Я думал, ему было двадцать четыре, — удивленно шепнул я Камилле.

— Под этим номером он играл в футбол, — пояснила она.

Церковь была набита битком. Я поискал глазами Генри и не нашел, зато, как мне показалось, увидел Джулиана, но человек, которого я принял за него, обернулся, и я понял, что ошибся. Некоторое время мы бестолково топтались в проходе. Для тех, кто не поместился на скамьях, у задней стены выставили складные стулья. Мы собрались было рассесться на них, но тут кто-то заметил полупустой ряд, и мы начали пробираться туда: Фрэнсис и Софи, близнецы, за ними я. Чарльз ни на шаг не отходил от Камиллы. С первого взгляда было ясно, что его пробило на измены. Потусторонняя, как в «пещере страха», атмосфера церкви оказалась, видимо, последней каплей, и он озирался с неприкрытым ужасом. Взяв его

под руку, Камилла потихоньку подталкивала его вдоль скамьи. Марион покинула нашу компанию, присоединившись к вновь прибывшим знакомым из Хэмпдена, а Клоук, Брэм и Руни просто незаметно испарились где-то между парковкой и церковью.

Служба была длинной. Священник не меньше получаса проповедовал на тему Любви (в экуменической манере, которую, судя по некоторым неодобрительным взглядам, кое-кто из паствы находил излишне отвлеченной), взяв за основу первое послание Павла к Коринфянам. («Вам не показалось, что это был *исключительно* неуместный текст?» — спросил нас потом Джулиан; язычески мрачный взгляд на смерть сочетался у него с острым неприятием беспредметных разглагольствований.) Вторым выступал Хью Коркоран («О лучшем братишке нельзя было и мечтать»), а за ним — тренер футбольной команды Банни, энергичный кадр, выкованный в недрах Молодежной торговой палаты. Он долго распространялся о спортивном духе Банни и воодушевил аудиторию байкой о том, как Банни однажды спас положение во время матча с одной особо сильной командой из «Нижнего» Коннектикута. («Это значит, черной», — прошептал мне Фрэнсис.) Под конец тренер замолчал и уставился на пюпитр, словно считая до десяти, затем поднял голову. «Я не особо разбираюсь, как там и что на небесах, — откровенно признался он. — Моя работа — учить ребят играть в футбол, и играть как следует. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память мальчика, который рано выбыл из игры. Но это вовсе не значит, что, пока он был с нами, он не выкладывался до последнего. Это не значит, что он проиграл. — Бесконечная напряженная пауза. — Банни Коркоран, — хрипло закончил он, — был победителем».

Кто-то из присутствовавших отозвался на эти слова долгим горестным стоном.

Столь бравурные панегирики мне прежде доводилось слышать лишь в кино («Кнут Рокне<sup>[117]</sup> — американская легенда»). Когда тренер сел на место, половина собравшихся, включая его самого, плакали навзрыд. Никто не обратил особого внимания на последнего оратора — Генри, который поднялся на кафедру и прочел, еле слышно и без комментариев, коротенькое стихотворение Альфреда Хаусмана.<sup>[118]</sup>

Стихотворение называлось «Печалью полно мое сердце». Не знаю, почему Генри выбрал именно его. Мы слышали, что Коркораны попросили его «что-нибудь прочитать» — надо думать, они вполне полагались на его

вкус и не сомневались, что он найдет подходящий случаю отрывок. Действительно, кому-кому, а Генри это не составило бы труда. Вполне в его духе было бы отыскать что-нибудь мудреное — бог ты мой, из «Ликида», [\[119\]](#) из «Упанишад», откуда угодно, — и тем не менее он не придумал ничего лучшего, как взять один из тех стишков, которые Банни знал наизусть. Банни питал слабость к хрестоматийным стихам, заученным в начальной школе. В его репертуаре была «Атака Легкой бригады», [\[120\]](#) «На полях Фландрии», [\[121\]](#) куча других допотопных сентиментальных виршей, авторов и названия которых я забыл или никогда не знал. Остальные в нашей группе, относившиеся к литературе с изрядной долей снобизма, считали это очередным проявлением дурного вкуса, сродни его пристрастию к чипсам и шоколадным батончикам. Банни частенько декламировал это стихотворение Хаусмана вслух (будучи в подпитии — на полном серьезе, в трезвом виде — с легкой издевкой), и строки казались мне навечно отлитыми в модуляции его голоса. Наверное, поэтому, когда я слушал их в монотонном исполнении Генри (он был никудышным чтецом и бубнил как пономарь) под рыдания окружающих и смотрел, как медленно оплывают свечи и колышутся на сквозняке ленты венков, мое сердце пронзила сумасшедшая боль, длилась она недолго, но была невыносима — подобно тем изощренно-научным японским пыткам, которые позволяют причинить жертве колоссальные страдания в кратчайший промежуток времени.

Печалью полно мое сердце  
О верных друзьях прошлых дней,  
О девушках розовогубых,  
О скорых ватагах парней.  
У быстрых потоков на круче  
Те парни костями полегли,  
И девушки спят на полянах,  
Где розы давно отцвели. [\[122\]](#)

Во время завершающей молитвы (явно затянутой) я поймал себя на том, что раскачиваюсь из стороны в сторону, как маятник метронома. Дышать было нечем, кругом все всхлипывали, в ушах, то усиливаясь, то ослабевая, не смолкало гудение. Я испугался, что сейчас грохнусь в обморок, но тут понял, что на самом деле это жужжит большая оса. Фрэнсис, попытавшись отогнать ее программкой заупокойной службы,



только разъярил насекомое. Оса спикировала на плачущую Софи, но, не встретив сопротивления, развернулась в воздухе и приземлилась на спинку скамьи бороться с мыслями. Скользя рукой под сиденье, Камилла украдкой принялась стаскивать туфельку, но Чарльз успел первым, прилепнув осу звучным ударом молитвенника.

Священник, как раз добравшийся до кульминации молитвы, вздрогнул и огляделся. Его взгляд упал на Чарльза, все еще сжимавшего в руке оружие убийства. «Чтобы не изнывали они в тщетной печали, — повысив голос, произнес он, — не скорбели, как те, кто утратил надежду, но лишь в Тебе искали утешение горестей своих...»

Я поспешно склонил голову. Дохлая оса все еще свисала со скамьи, прилипнув к ней черным усиком, и я подумал о Банни — бедном, бедном Банни, грозе насекомых, без промаха разившем мух свернутым в трубку «Хэмпденским обозревателем».

Чарльз и Фрэнсис, с утра избегавшие друг друга, в процессе службы как-то умудрились помириться. После заключительного «аминь» они обменялись понимающими взглядами и, проскользнув в боковой неф, дружно юркнули в пустой коридор. Я успел заметить, как они со всех ног кинулись к мужскому туалету. Фрэнсис, нервно оглядываясь, уже доставал из кармана то, что и должно было там быть, — плоскую пол-литровую фляжку, которую, перед тем как идти в церковь, он украдкой переложил в пальто из бардачка.

Снаружи было черно и грязно. Дождь кончился, но ветер не унимался и все пуще прищипывал тяжелые тучи. На звоннице неумело били в колокол, и неровные, дребезжащие звуки напоминали звяканье колокольчика на спиритическом сеансе.

Вывалившая из церкви толпа потянулась к машинам. Женщины оправляли трепещущие черные подолы, придерживали готовые слететь шляпы. Я заметил Камиллу — сопротивляясь ветру, она семенила на цыпочках и пыталась закрыть тянувший ее зонт. «Мэри Поппинс, ошибка на взлете», — подумалось мне. Я поспешил ей на помощь, но тут зонтик вывернуло. На секунду он словно бы превратился в какое-то жуткое существо, птеродактиля, оглушительно хлопающего перепончатыми крыльями. Вскрикнув, Камилла выпустила его из рук. Взмыв в воздух метра на три, зонтик пару раз перевернулся и запутался в ветвях старого ясеня.

— Черт, — жалобно воскликнула Камилла, проводив его взглядом и осматривая палец, по которому бежала тонкая красная струйка. — Черт, черт, черт.

— Ты поранилась?

Она пососала перепачканный кровью палец.

— Не в этом дело, — произнесла она тоном капризной принцессы. — Это был мой любимый зонтик.

Я порылся в кармане и протянул ей платок. Встряхнув его, она промокнула ранку (белая вспышка, взбитые ветром пряди, хмурое низкое небо), и тут время остановилось и воспоминание острым ножом рассекло мне память: те же свинцово-серые тучи и молодая листва, та же прядь волос, скрывшая губы... и всплеск белой ткани...

«...в ущелье. Она спустилась туда вместе с Генри, а поднялась первой, мы ждали на краю — холодный ветер, дрожь — и помогли ей выбраться: мертв? точно?.. Она достала из кармана платок, обтерла руки, она не смотрела на нас, вернее, смотрела, но не видела, ее развевающиеся волосы казались совсем светлыми на фоне неба, а лицо было как чистая страница — пожалуйста, впиши что хочешь...»

— Папа! — прогремел за моей спиной чей-то голос.

Я испуганно оглянулся. Мимо торопливо прошел, почти пробежал Хью. «Па», — снова позвал он, догнав отца и положив руку на его поникшее плечо. Тот не отреагировал. Процессия уже подошла к катафалку (Генри было не различить среди темных спин), и гроб плавно скользнул внутрь.

— Пап, ну послушай, — не унимался Хью. — Всего одну секунду.

Дверцы катафалка захлопнулись. Мистер Коркоран медленно развернулся. На руках у него сидел малыш, которого семейство называло Чеп, но сегодня присутствие ребенка не приносило ему утешения. На широком помятом лице читалась почти нечеловеческая скорбь. Его усталый, казалось, незнающий взгляд остановился на сыне.

— Пап, знаешь, кого я сейчас видел? Знаешь, кто приехал? Мистер Вандерфеллер, — торжественно объявил Хью, взяв отца за локоть.

Упоминание этого прославленного имени, которое Коркораны произносили с не меньшим пиететом, чем имя Господа Всемогущего, произвело на отца Хью чудодейственный целительный эффект.

— Вандерфеллер?! Где, где? — воскликнул он, оглядываясь.

Эта августейшая особа, гигантской тенью маячившая в коллективном бессознательном Коркоранов, возглавляла благотворительное учреждение (основанное еще более августейшим дедушкой), которое владело контрольным пакетом акций банка мистера Коркорана. Деловые встречи и эпизодические частные визиты предоставили в распоряжение семейства неистощимый запас «очаровательных» историй о Поле Вандерфеллере, его

европейском шарме и неподражаемом остроумии. Остроты, пересказываемые при каждом удобном и неудобном случае, казались мне довольно убогими (охранники в Хэмпдене и те шутили лучше), но Коркораны всякий раз отвечали на них великосветским и, очевидно, искренним смехом. Банни любил начинать разговор как бы нечаянной присказкой: «Когда отец на днях обедал с Полом Вандерфеллером...»

И вот это воплощение величия предстало перед нами в лучах своей ослепительной славы. Я взглянул туда, куда указывал Хью, и увидел совершенно обычного человека, привыкшего, судя по добродушным, снисходительным складкам губ, к тому, что ему беспрестанно угождают. Под пятьдесят, элегантно одетый, ничего особенно «европейского», кроме разве что уродливых очков в роговой оправе и роста, подпадавшего под определение «значительно ниже среднего».

Лицо мистера Коркорана засветилось чем-то очень похожим на нежность. Молча сунув ребенка Хью, он припустил трусцой по лужайке.

Может, из-за ирландского происхождения, а может, из-за того, что мистер Коркоран родился в Бостоне, все семейство ощущало загадочную связь с Кеннеди. Сходство с ними они старательно культивировали (особенно миссис Коркоран с ее прическами и темными очками а-ля Жаклин), но оно имело под собой и некоторую физическую основу: в лошадином овале загорелых физиономий Брейди и Патрика было что-то от Бобби Кеннеди, а остальные братья, включая Банни, были сколочены по образцу Теда — поплотнее, с мелкими округлыми чертами лица, стянутыми к центру. Их нетрудно было принять за каких-нибудь второстепенных членов клана. Фрэнсис рассказывал мне, что они с Банни однажды зашли в один из фешенебельных бостонских ресторанов. Там уже стояла целая очередь желающих, и официант спросил фамилию. «Кеннеди», — бросил Банни, беспечно раскачиваясь с пятки на носок, и в следующую секунду половина obsługi уже металась, пытаясь освободить столик.

И может, дело было именно в этих оживших старых ассоциациях, а может, в том, что раньше я видел похороны только по телевизору и это были исключительно похороны государственных деятелей, но, так или иначе, процессия — длинные, черные, блестящие от дождя машины, «бентли» мистера Вандерфеллера в их числе, — показалась мне смутно связанной с другой траурной церемонией, с другим, известным всему миру, автомобильным кортежем. Мы медленно продвигались вперед. Полные цветов машины с открытым верхом, словно платформы на inferнальном

Параде роз, ползли за непроницаемым катафалком. Гладиолусы, пальмовые ветви, пронзительно синие хризантемы. Порывы ветра взметали разноцветные лепестки, и те, словно конфетти, прилипали к мокрым стеклам.

Кладбище находилось рядом с шоссе — ровное и безликое, открытое всем ветрам. Мы выбрались из «мустанга» на замусоренную полосу кармана шоссе и стояли, озираясь по сторонам. Ряды могильных камней напоминали типовые жилые кварталы. В трех метрах от нас по асфальту неслись автомобили.

Облаченный в форму водитель «линкольна» из похоронного бюро обошел машину, чтобы открыть дверцу, и из салона вышла миссис Коркоран, неприступная в своих темных очках. Она, не знаю почему, несла маленький букет нераскрывшихся роз. Патрик предложил ей руку. Спокойная, как невеста, она положила обтянутую перчаткой ладонь на сгиб его локтя.

Гроб выскользнул из катафалка и поплыл, словно лодочка, по волнующемуся морю травы. Желтые ленты на крышке гроба весело трепетали на ветру под беспредельным враждебным небом, гости в молчании тянулись следом. Мы миновали могилу ребенка, с которой ухмылялась выцветшая пластиковая тыква-фонарик.

Над могилой Банни был натянут зеленый полосатый тент, вроде тех, под которыми устраивают вечеринки в саду. Что-то тупое и бессмысленное слышалось в хлопанье брезента на этой равнине мертвых, что-то пустое, вульгарное, животное. Мы остановились, сбившись в неловкие группы. Почему-то я думал, что все будет как-то серьезней. Траву устилал пережеванный газонокосилками сор: клочки бумаги, окурки, одинокая обертка «Твикса».

«Глупость какая-то, — подумал я, охваченный внезапной паникой. — Как это все могло случиться?»

Невдалеке по-прежнему шумела автострада.

При виде слепой глинистой дыры, вокруг которой стояли шаткие складные стулья и высилась груда сырой земли, меня охватил неопишуемый ужас. Эта была варварская, бесчеловечная штука... Боже мой. Подлинная суть происходящего приоткрылась мне с мучительной ясностью. К чему все это — гроб, ленты, навес, — если мы просто бросим его в яму, закидаем грязью и уйдем домой? Неужели в этом весь смысл? Избавиться от него, как от мусорного мешка?

«Прости меня, Бан, прости, — подумал я. — Мне так жаль...»

Священник вел службу быстро и деловито. Тент бросал на его бесстрастное лицо зеленоватую тень. Я заметил Джулиана — теперь это точно был он, и он смотрел в нашу сторону. Сначала Фрэнсис, потом Чарльз и Камилла переместились к нему, но я не сдвинулся с места, мне было все равно. Сложив руки на коленях, Коркораны чинно сидели на краю могилы. «Да как они могут? — пронеслось в голове. — Как они могут сидеть рядом с этой жуткой ямой и спокойно смотреть на нее?» Сегодня среда. В десять утра по средам у нас были занятия по композиции — вот где мы должны были быть сейчас. Гроб застыл на краю могилы. Я знал, что открывать его не будут, но мне страшно хотелось, чтобы открыли. Только сейчас я начал понимать, что больше не увижу Банни никогда в жизни.

Словно хор в греческой трагедии, за гробом выстроились черные фигуры. Младше всех в их ряду был Генри. Он стоял, скрестив руки — крупные, бледные руки интеллигента, ухоженные и сильные. Руки, которые уверенно ощупали шею Банни в поисках пульса и шевельнули его голову, словно соцветие на надломленном стебле, в то время как мы, столпившись наверху, следили не дыша. Даже издали мы хорошо различали скособоченную голову, вывернутую лодыжку, струйки крови из носа и рта. Приподняв большим пальцем веко, он наклонился поближе, стараясь не коснуться очков, сбившихся на макушку. Нога дернулась в последней судороге, забилась мелкой дрожью, замерла. У часов Камиллы была секундная стрелка. Они посоветовались, но слов мы не слышали. Опираясь рукой о колено, он, вслед за ней, одолел последние метры, вытер руки о штанины и на наш взволнованный шепот — «Мертв? Точно?» — ответил сухим кивком опытного врача.

*«...Господи, сокрушаясь об уходе из жизни нашего возлюбленного брата Эдмунда Грэйдена Коркорана, раба Твоего, мы помним, что и сами скоро последуем за ним. Молим Тебя, ниспошли нам силы подготовиться к этому часу, обереги нас от неожиданной и непредвиденной смерти...»*

А ведь он ничего не предвидел. Даже не понял — не успел. Он просто покачнулся, словно на краю бассейна: комичное па, руки, как пропеллеры на старте... Потом — кошмар падения. Человек, который и не подозревал, что есть такая штука, как Смерть, не ждал ее прихода и не узнал ее, даже когда она заглянула ему в лицо...

Хриплое карканье ворон, обломанные ветки, лоскуток неба, застывший на мутной сетчатке, повторенный в прозрачной лужице меж камней. Йо-хоу — был и сплыл.

«...Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек...»<sup>[123]</sup>

Под скрип ремней гроб плавно опустился в могилу. Руки Генри тряслись от напряжения, он намертво стиснул зубы. На спине у него темнело пятно пота. Я нащупал гладкие капсулы в кармане пиджака. Впереди еще была долгая поездка домой.

Ремни вытащили. Священник благословил могилу, окропив ее святой водой. Тьма и тлен. Мистер Коркоран всхлипывал на одной ноте, уткнувшись лицом в ладони. Тент рокотал на ветру.

Лопаты вонзились в землю. Глухой стук комьев о крышку гроба отозвался во мне пустым тошнотворным чувством. Миссис Коркоран — Патрик с одной стороны, Тед с другой — шагнула вперед и изящным жестом бросила в могилу букет.

Генри наклонился и взял горсть земли. Вытянув руку, он стиснул кулак, и в могилу посыпались темные катышки. Затем, как в замедленной съемке, шагнул назад и рассеянно провел ладонью по груди — по лацканам пиджака, галстуку, безупречной крахмальной рубашке протянулась полоса размазанной глины.

Я, Джулиан, Фрэнсис, близнецы — все мы потрясенно уставились на него. Генри же словно и не понял, что сделал что-то не так. Он отрешенно возвышался над могилой, и ветер трепал его волосы, а серый свет тускло поблескивал на оправе очков.

## Глава 8

Мои воспоминания о поминках очень туманны — возможно, причиной тому ассорти анальгетиков, которое я проглотил по дороге с кладбища. Однако даже морфий не смог бы одолеть того ужаса, который охватил меня на этом сборище. Единственной отрадой было присутствие Джулиана. Скользя, словно добрый ангел, от одной кучки гостей к другой, он обменивался любезностями, развлекал беседой, сочувствовал и ободрял, с безошибочной интуицией выбирая нужную линию поведения для всех и каждого. По отношению к Коркоранам (которых он вообще-то недолюбливал, как и они его) он проявил такое изумительное обаяние и такт, что даже миссис Коркоран несколько смягчилась. Кроме того, когда выяснилось, что он старый знакомый Пола Вандерфеллера, Джулиан тут же вознесся в глазах Коркоранов на недостижимую высоту. Фрэнсис, оказавшийся свидетелем знаменательной встречи, клялся, что вовек не забудет выражение лица мистера Коркорана в тот момент, когда Вандерфеллер узнал Джулиана и приветствовал его («по-европейски», как пояснила соседке миссис Коркоран), заключив в объятия и поцеловав в щеку.

Малолетних отпрысков семейства утренние события почему-то привели в радостное возбуждение. Визжа и заливаясь смехом, они швырялись круассанами и гонялись друг за другом с какой-то дьявольской игрушкой, очень правдоподобно имитировавшей звуки мучительной диареи. Угощение было организовано из рук вон плохо: избыток спиртного при нехватке закуски — верный способ испортить любое застолье. Тед с женой собачились не переставая. Брэма Гернси вырвало на белоснежный диван. Мистер Коркоран то возносился в облака эйфории, то погружался в бездны отчаяния.

По истечении некоторого времени миссис Коркоран покинула гостей и поднялась в спальню. Когда она вернулась, на нее было страшно смотреть. Она обменялась с мужем негромкими репликами, и слово «кража», достигшее чутких ушей какого-то доброжелателя, распространилось со скоростью лесного пожара, породив суматоху и нездоровый интерес. Когда это случилось? Что пропало? А полицию вызвали? Прервав разговоры, гости жужжащим роем устремились к хозяйке. Та, нацепив мученическую улыбку, умело уходила от их вопросов. Нет-нет, сказала она, звать полицию совершенно незачем, пропала пара сентиментальных безделушек, не

представлявших никакой материальной ценности.

После этого я несколько не удивился, когда Клоук слинял при первой возможности. Гораздо более странным показалось мне поведение Генри. Вернувшись с кладбища, он сразу же собрал вещи, сел в машину и уехал, едва попрощавшись с Коркоранами и не обменявшись ни словом с Джулианом, который очень переживал, что упустил его.

— Генри выглядит совершенно разбитым, — озабоченно пожаловался он нам с Камиллой. — Ему обязательно нужно показаться врачу.

— Да, эта неделя далась ему нелегко, — сказала Камилла. Я благодаря вспомогательной дозе далмана к тому времени уже почти утратил способность реагировать на стимулы окружающего мира.

— Конечно, но дело не только в этом. Генри ведь, в сущности, тонко чувствующий и ранимый человек. Боюсь, он уже никогда не оправится от этого удара. Они с Эдмундом были гораздо более близки, чем, полагаю, вы думаете...

Он вздохнул.

— Не правда ли, странное он выбрал стихотворение? На мой взгляд, прекрасно подошел бы отрывок из «Федона».<sup>[124]</sup>

Часам к двум народ стал разъезжаться. Мы могли бы остаться на ужин, могли бы (если верить пьяным тирадам мистера Коркорана; холодная улыбка его супруги лучше слов говорила, что верить им не стоит) остаться навсегда — раскладушки в подвале в нашем полном распоряжении. Мы могли бы влиться в их дружную семью и делить с ними повседневные радости и печали: праздновать дни рождения, нянчить детишек, иногда помогать по хозяйству, работая плечом к плечу — как одна команда, подчеркнул он, потому что именно так принято у Коркоранов. Не стоит рассчитывать на легкую жизнь — собственным сыновьям он никогда не делал поблажек, — но мы и представить не можем, насколько подобное существование обогатит нас в плане характера, силы воли и высоких моральных норм — да, особенно моральных норм, так как он очень сомневается, что наши родители взяли за труд преподавать их нам.

Выехали мы только около четырех. Теперь не разговаривали Чарльз и Камилла. Они поссорились (я заметил, что по пути к машине они шипели друг на друга) и весь обратный путь молча сидели рядом на заднем сиденье, скрестив руки на груди и уставившись перед собой, — уверен, даже не подозревая, что выглядят до смешного одинаково.

Поднимаясь к себе, я не мог отделаться от ощущения, что вернулся из



долгого путешествия. Комната выглядела заброшенной и нежилой. Смеркалось. Я открыл окно и лег прямо на серые затхлые простыни.

Наконец-то все кончилось, но мной владело вовсе не облегчение, а какая-то странная обида, словно бы меня предали. В понедельник меня ждал греческий и французский. На французском я не был уже недели три. Эта мысль отозвалась острой тревогой. Контрольные работы. Я перекатился на живот. Экзамены. А через полтора месяца летние каникулы — и что тогда прикажете делать? Остаться возделывать чахлую ниву бихевиоризма? Или ехать дышать бензином на отцовской заправке?

Я встал, принял еще одну капсулу далмана, снова лег. За окном было уже совсем темно. Сквозь стены проникали звуки соседского магнитофона: Дэвид Боуи. Слушая, как земля вызывает майора Тома, я отрешенно созерцал сплетение теней на потолке.

Где-то на пограничной полосе между сном и явью я брел по кладбищу, не тому, где похоронили Банни, а другому — старинному и очень знаменитому. Справа и слева топорщились живые изгороди, потрескавшиеся мраморные беседки увивал дикий виноград. Я шел по узкой мощеной дорожке. За поворотом щеку мне нежно погладили бледные гроздья гортензии, жемчужным облаком выплывшие из тени.

Я искал могилу какого-то знаменитого писателя — Пруста или, может быть, Жорж Санд. Кто бы то ни был, я точно знал, что похоронен он именно здесь, но надгробия так заросли, что я с трудом разбирал надписи, к тому же темнело. Блуждая, я и не заметил, как оказался в сосновой рощице, венчавшей вершину холма, с которого открывался вид на глубокую, утонувшую в тумане долину. Я обернулся назад, на чостокол обелисков и громоздкие остовы мавзолеев, таявшие в полумгле. Оттуда, сквозь лес памятников, в мою сторону плыл огонек — то ли керосиновая лампа, то ли карманный фонарик. Я подался вперед, пытаюсь разглядеть получше, но тут за моей спиной затрещали ветки.

Из кустов вывалился ребенок, которого Коркораны звали Чмп. Он растянулся на спине, попытался подняться, но не смог и остался лежать, задрав ножки и беспомощно дрожа. На нем не было никакой одежды, один лишь памперс. Животик судорожно вздымался, руки были исполосованы глубокими безобразными царапинами. Я застыл, не веря своим глазам. Коркораны, конечно, олухи, но это было уже слишком. «Чудовища, — подумал я, — изверги, они ушли и бросили его на кладбище, совсем одного...»

Ребенок всхлипывал, ножки у него посинели от холода. В пухлой, похожей на морскую звезду ладошке он стискивал пластмассовый

самолетик из «Макдоналдса». Я склонился над его голеньким тельцем, и в этот момент где-то совсем рядом раздалось нарочитое сухое покашливание.

Оглянувшись, я лишь мельком увидел приближающуюся фигуру, но этот моментальный образ отшвырнул меня назад и, надрываясь истошным криком, я все падал и падал, пока наконец не приземлился на услужливо подхватившую меня кровать.

Очнувшись, я в панике нашарил выключатель. Стол, дверь, кресло. Стуча зубами, как в лихорадке, я снова рухнул на подушку. Хотя вместо лица у него было отвратительное трупное месиво, я прекрасно знал, кто мне встретился, и во сне он знал, что я знаю.

После того, что наша пятерка пережила в минувшие месяцы, все мы, как можно догадаться, изрядно друг другу поднадоели. Первые дни мы держались порознь, пересекаясь только на занятиях и в столовой. Теперь, когда Банни лежал в могиле, тем для разговоров стало гораздо меньше и уже незачем было засиживаться, обсуждая планы, до пяти утра.

Неожиданная свобода была даже приятна. Я совершал долгие прогулки, несколько раз один сходил в кино, а в пятницу отправился на вечеринку, устроенную в саду одного из преподавателей. Там, потягивая пиво на веранде, я услышал, как за моей спиной одна девушка прошептала другой: «Он такой грустный, правда?» На безоблачном небе высыпали мириады звезд, в траве тянули свою песню сверчки. Сострадательная девушка подошла ко мне, завела разговор. Она оказалась очень симпатичной — ясноглазая, жизнерадостная, как раз в моем вкусе. Я мог бы, наверное, увести ее к себе, но мне было достаточно легкого меланхолического флирта. Так ухаживают трагические персонажи фильмов — опаленный войной ветеран или безутешный вдовец, проникшийся чувством к юной незнакомке, но постоянно возвращающийся мыслями к прошлому, весь ужас которого она, в невинности своей, не способна постичь. Я видел, как в ее отзывчивых глазах множатся искорки сочувствия, ощущал теплую волну желания спасти меня от меня самого («Ох, красавица, знала б ты, на что готова подписаться», — подумалось мне) и не сомневался, что, если захочу пойти с ней домой, она не будет против.

Вот только я этого вовсе не жаждал. Ибо, что бы ни думали добросердечные незнакомки, я не нуждался ни в обществе, ни в утешении. Я хотел одного — чтобы меня оставили в покое. С вечеринки я отправился не к себе, а в кабинет доктора Роланда, где, я был уверен, никто и не подумает меня искать. По ночам и в выходные там было восхитительно

тихо, и после возвращения из Коннектикута я проводил в этом убежище немало времени — читая, посапывая на диване, делая работу для шефа и домашние задания.

Когда я добрался туда, в здании уже не было ни души. Миновав темный коридор, я запер за собой дверь и включил настольную лампу. Потом настроил приемник на бостонскую станцию классики и, убавив звук, расположился на диване с учебником французского. Позже, когда меня начнет клонить в сон, можно будет выпить чайку и немного поваляться с детективом. От лампы шел уютный масляно-желтый свет, на полках загадочно посверкивали золотыми буквами переплеты ученых трудов. В моих занятиях не было ничего недозволенного, и все же мне казалось, что я проник сюда обманом и предаюсь тайному разврату и что рано или поздно эта запретная жизнь меня погубит.

Между близнецами все еще царил раздор. Я чувствовал, что вина лежит на Чарльзе: он был угрюм, раздражителен и по-прежнему пил больше чем следует. Фрэнсис утверждал, что знать не знает о причинах ссоры, но я подозревал, что он лукавит.

От Генри не было ни слуху ни духу с самых похорон. В столовой он не появлялся, на звонки не отвечал.

— Как, по-вашему, Генри в порядке? — спросил я близнецов на обеде в субботу.

— Ну да, — ответила Камилла, проворно орудуя ножом и вилкой.

— Откуда ты знаешь?

Не донеся вилку до рта, она вскинула голову, ошеломив меня сиянием серых глаз:

— Я с ним недавно общалась.

— Где?

— У него дома. Сегодня утром, — прибавила она, отправив в рот очередной кусочек.

— И как он?

— Нормально. Не совсем еще, конечно, оправился, но в целом очень неплохо.

Чарльз, подперев ладонью подбородок, мрачно созерцал нетронутую тарелку.

Вечером близнецы в столовую не пришли. Я поужинал в обществе Фрэнсиса, а потом мы отправились к нему домой. Фрэнсис, проехавшийся перед тем по манчестерским магазинам, был весел и болтал без умолку.

Когда мы занесли пакеты в квартиру, он принялся демонстрировать мне покупки: пиджаки, носки, подтяжки, полдюжины пестревших всевозможными полосками рубашек, несколько шикарных галстуков. Один из них, из болотно-зеленого шелка в оранжевый горошек, был тут же подарен мне. (Фрэнсис всегда щедро делился одеждой, охотками отдавая нам с Чарльзом еще вполне новые костюмы. Он был выше Чарльза и худой как щепка, так что обычно мы перешивали их у одного хэмпденского портного. Многие из них я ношу до сих пор: «Сулка», «Акваскутум», «Гивс и Хокс».)

Трофеями его визита в книжный были жизнеописание Кортеса, «История франков» Григория Турского и монография «Отравительницы викторианской эпохи», опубликованная издательством Гарвардского университета. Последним он достал из пакета собрание микенских надписей из Кносса, предназначенное в подарок Генри.

Я полистал этот увесистый фолиант. Текста почти не было, только бесчисленные фотографии разбитых табличек с надписями, которые воспроизводились внизу в виде факсимиле. Среди прочих попадались изображения обломков с одним-единственным знаком.

— Ему понравится, — сказал я.

— Надеюсь, — отозвался Фрэнсис. — Более скучной книги там не нашлось. Думаю закинуть ее вечером.

— Может, мне тоже его навестить?

— Как тебе угодно, — сказал Фрэнсис, закуривая. — Я, собственно, заходить не собираюсь, просто оставлю пакет на крыльце.

— Да нет, я так, — ответил я, почему-то обрадовавшись, что ехать не придется.

В воскресенье я с самого утра засел у доктора Роланда. Дело было к ночи, когда я осознал, что целый день ничего не ел, не считая крекеров с кофе. Собрав книги и заперев кабинет, я пошел посмотреть, открыт ли «Гаудеамус». Это заведение, прозванное студентами «Гадюшником», располагалось в пристройке к кафетерии. Кормили там отвратительно, зато в зале стояла пара автоматов для пинбола и музыкальный автомат; кроме того, хотя настоящего спиртного не подавали, разбавленное пиво в пластиковом стаканчике стоило всего шестьдесят центов.

Он был открыт, и я окунулся в душную толчею. Лично я чувствовал себя в «Гадюшнике» очень неудобно, но для студентов вроде Джада и Фрэнка он был центром вселенной. Вот и сейчас они оба вместе с восторженной свитой прихлебателей оккупировали целый стол и

ожесточенно резались в какую-то игру — судя по всему, согласно ее правилам, нужно было исхитриться ткнуть соперника в ладонь бутылочным осколком.

Протолкавшись через толпу, я заказал пиццу и пиво. Пиццу пришлось ждать и, глаза по сторонам, я вдруг заметил Чарльза, сидевшего в конце стойки. По его позе я сразу понял, что он пьян. Посторонний взгляд вряд ли распознал бы в нем сильно нетрезвого человека, но я-то видел, что в него как будто вселилось чужое существо, неряшливое и апатичное. Я не мог понять, зачем он сидит в этой дыре и тянет дрянное пиво, если дома у него полно превосходного виски.

— А, это ты... Отлично, — проговорил он, повернув голову на мой оклик, и, понизив голос, сказал что-то еще, чего я не расслышал из-за музыки и шума.

— Чего-чего?

— Денег, говорю, не одолжишь?

— Сколько?

Он принялся подсчитывать что-то на пальцах:

— Пять долларов.

Я протянул ему пятерку. Его кондиция еще не позволяла ему взять деньги без несчетных извинений и обещаний вернуть:

— Понимаешь, я просто в пятницу в банк не успел.

— Ничего страшного.

— Не, серьезно. — Нетвердой рукой он осторожно достал из кармана мятый чек. — Это мне бабушка прислала. В понедельник сразу получу деньги.

— Ладно-ладно, — сказал я. — Что ты тут вообще делаешь?

— Надоело дома торчать.

— А Камилла где?

— Понятия не имею.

Кондиция его, с другой стороны, еще вполне позволяла ему добраться домой самостоятельно, но «Гадюшник», как выяснилось, закрывался только через два часа, и мне решительно не нравилось, что все это время Чарльз просидит в баре один. В последнее время ко мне уже не раз подкатывались незнакомые люди — в том числе патологически охочая до сплетен секретарша с факультета общественных наук — и пытались вытянуть из меня подробности похорон. Я их отшил, применив метод, которому научился у Генри: ноль реакции, безжалостный взгляд — и любопытствующий отступает, что-то неловко бормоча. Эта тактика еще ни разу не подводила меня в трезвом виде, но прибегнуть к ней на пьяную

голову я бы не рискнул. Пьян я, к счастью, не был, но сидеть в баре до тех пор, пока Чарльз не соизволит пойти домой, мне все равно не хотелось. Опыт подсказывал: любая попытка вытащить его из-за стойки приведет к тому, что он вцепится в нее мертвой хваткой и будет сидеть до закрытия — в подпитии им овладевал дух противоречия и, как капризный ребенок, он начинал делать все наперекор.

— Камилла в курсе, что ты здесь? — осторожно спросил я.

Держась за край стойки, Чарльз наклонился ко мне:

— Чего?

Я повторил вопрос громче. Чарльз помрачнел.

— Не ее дело, — буркнул он, отворачиваясь и пряча лицо за стаканом с пивом.

Принесли мой заказ. Расплатившись, я тронул Чарльза за плечо:

— Извини, я отлучусь на минутку.

Нырнув в вонючий коридор, который вел к туалету, я убедился, что Чарльзу меня не видно, и направился к автомату, но тот был занят — какая-то девица, прислонившись к стене, неспешно болтала по-немецки. Прождав целую вечность, я уже собрался махнуть рукой, но тут она наконец повесила трубку. Быстро достав из кармана четвертак, я позвонил близнецам. Ответа не было.

Близнецы, в отличие от Генри, обычно не игнорировали звонки. Снова набирая номер, я взглянул на часы: двадцать минут двенадцатого. Я не понимал, куда могла подеваться Камилла в такой поздний час, разве что она как раз отправилась на поиски Чарльза.

Я нажал на рычаг и, сунув в карман выплюнутую автоматом монетку, вернулся к стойке. Чарльза там не было. Сначала я подумал, что он пересел, но, поозиравшись, понял, что, пока я звонил, он просто ушел. Рядом с моей остывшей пиццей стоял пустой стакан.

Вопреки всем ожиданиям, Хэмпден вновь зазеленел, как райский сад. Почти все цветы, кроме распускавшихся не раньше мая сирени и жимолости, пали жертвой мороза, но деревья оделись листвой еще гуще. Заросшая тропинка, что вела через лес в Северный Хэмпден, навевала мысли о подводном царстве: воздух был вязок и тяжел, солнечные лучи с трудом пробивались сквозь изумрудную толщу крон.

В понедельник я пришел в Лицей чуть раньше обычного. Окна кабинета были распахнуты настежь. Я увидел Генри — склонившись над белой вазой, он составлял букет из пионов. Он похудел килограммов на пять — не так уж много для столь крупного человека, и тем не менее черты

его лица как будто заострились; даже кисти и пальцы казались теперь более тонкими. Впрочем, приглядевшись, я понял, что на самом деле изменилось в нем что-то другое, но подыскать этому название не смог.

Генри и Джулиан с напускной, ироничной торжественностью обменивались репликами на латыни — ни дать ни взять священники, прибирающие ризницу перед мессой. Вокруг стоял густой аромат крепкого чая.

— *Salve, amice*,<sup>[125]</sup> — приветствовал меня Генри. По его лицу, обычно столь замкнутому и отстраненному, пробежал огонек оживления. — *Valesne? Quid agis?*<sup>[126]</sup>

— Хорошо выглядишь, — сказал я. Он и вправду вроде бы вполне поправился.

Скупым движением подбородка Генри обозначил кивок. Его глаза — когда он болел, от них, казалось, остались одни неестественно огромные зрачки, подернутые мутной пленкой, — теперь сияли пронзительной лазурью.

— *Benigne dicis*.<sup>[127]</sup> Мне гораздо лучше.

Джулиан убирал со стола остатки джема и булочек. Похоже, они с Генри только что расправились с весьма обильным завтраком. Рассмеявшись, он процитировал какую-то строчку в духе Горация, толком я ее не разобрал, но смысл был в том, что мясо — прекрасное лекарство от горя. Я с радостью узнал в нем прежнего Джулиана, благосклонного и безмятежного. Он питал к Банни совершенно необъяснимую симпатию, но бурные эмоции были противны его натуре, и вполне обычные по современным меркам проявления чувств казались ему шокирующим эксгибиционизмом. Гибель Банни, несомненно, потрясла его, но все переживания он, по-видимому, счел за лучшее оставить при себе. Впрочем, подозреваю, что бодрое, поистине сократовское безразличие к вопросам жизни и смерти попросту не давало Джулиану долго скорбеть о чем бы то ни было.

Подошел Фрэнсис, за ним Камилла. Чарльз так и не появился — вероятно, он лежал в постели, разбитый похмельем. Мы, как обычно, расселись за большим круглым столом.

— Ну что же, — сказал Джулиан, когда все затихли, — надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область высокого?

Теперь, когда опасность миновала, перед моим внутренним взором словно развеялась густая тьма. Мир предстал во всем своем

великолепии — свежий, бескрайний, неизведанный. Часами напролет я гулял по окрестностям, особенно притягивали меня берега Бэттенкила. Нередко я заходил в бакалейный магазинчик в Северном Хэмпдене (лет тридцать тому назад его бывшие владельцы, мать и сын, по слухам, послужили прототипами одного знаменитого рассказа ужасов, который впоследствии включали чуть ли не во все антологии этого жанра), покупал бутылку вина, спускался к реке и там неспешно опустошал ее. Потом я до вечера бродил в восхитительном золотом мареве — что было конечно же непозволительной тратой времени. Я здорово отстал по всем предметам, мне предстояло сдать несколько письменных работ, впереди уже маячили экзамены, но я был молод, кругом зеленела трава, над цветами сновали пчелы, и меня, только что вернувшегося с порога холодной обители смерти, манил солнечный простор. Я был свободен — жизнь, казавшаяся загубленной, снова принадлежала мне, более драгоценная и сладостная, чем когда-либо.

В один из таких дней я проходил мимо дома Генри и на заднем дворе увидел его самого. Облаченный в одежду огородника — старые брюки, потрепанная рубашка, — он, закатав рукава, вскапывал грядку. Рядом в садовой тачке была приготовлена рассада: помидоры и огурцы, клубника, герань и подсолнухи. Три розовых куста, обмотанные снизу мешковиной, были аккуратно прислонены к ограде.

Толкнув калитку, я ввалился в садик. Только сейчас я заподозрил, что, пожалуй, порядком надрался.

— Привет садоводам-любителям!

Прервав работу, Генри оперся на лопату. На переносице у него розовела полоска загара.

— Чем занимаешься?

— Салат латук сажаю.

Оглядывая двор, я увидел папоротники, которые Генри выкопал в день убийства. Он сообщил нам тогда их название — костенец. Камилла еще заметила, что от этого слова так и веет ведовством. Высаженные на тенистой стороне дома, они уже успели разрастись и вскипали у стены прохладной темной пеной.

Меня повело назад, но я успел ухватиться за воротный столб.

— Какие планы на лето? Останешься здесь? — спросил я.

Он окинул меня критическим взглядом, тщательно отряхнул руки о колени и лишь потом ответил:

— Наверное. А ты?

— Не знаю...



Я еще никому не говорил, что накануне оставил в Службе поддержки студентов заявление об устройстве на работу — присматривать за квартирой профессора истории из Нью-Йорка, на лето уезжавшего в Англию работать с источниками. Предложение выглядело очень заманчиво: бесплатное жилье в приятном районе Бруклина и никаких обязанностей, кроме поливки цветов и выгуливания двух терьеров, которых хозяин не мог взять с собой из-за карантина. Поначалу я отнесся к этой радужной перспективе с опаской — воспоминания о Лео и мандолинах были еще свежи в моей памяти, — но сотрудница службы заверила меня, что это совсем другое дело, и вывалила на стол целую грудку писем от довольных студентов, которые присматривали за квартирой в прошлые годы. Я никогда не бывал в Нью-Йорке и совершенно не представлял, что меня там ждет, но возможность пожить в незнакомом городе казалась очень соблазнительной. Мне нравилось думать о толпах народа и запруженных машинами улицах, воображать себя продавцом в книжном магазине или официантом в кафе, воображать радости неприметного, анонимного существования. Одинокие посиделки в кафе, вечерние прогулки с терьерами, и ни одна живая душа не знает, кто я такой.

Генри, пристально наблюдавший за мной, поправил очки:

— Тебе не кажется, что еще рановато?

Я рассмеялся, сообразив, на что он намекает: сначала Чарльз, теперь я.

— Да брось, все нормально.

— Уверен?

— Вполне.

Он с силой вонзил лопату в землю и снова принялся за работу. Я уперся взглядом в его спину, перетянутую крест-накрест черными подтяжками.

— Тогда помоги мне посадить этот латук, — не поднимая головы, сказал он. — В сарае есть еще одна лопата.

Поздно ночью, где-то около двух, я проснулся от громкого стука в дверь. «Тебя к телефону!» — крикнула из коридора староста корпуса. Запахивая на ходу халат и проклиная все на свете, я поковылял вниз.

Еще не дойдя до телефона, я услышал истерические «алло» Фрэнсиса.

— В чем дело? — буркнул я.

— Ричард, у меня сердечный приступ.

Я покосился на старосту — Вероника, Валерия, я не помнил, как ее зовут. Она возвышалась рядом, скрестив руки на груди и склонив голову набок, — олицетворение материнской озабоченности. Я демонстративно

повернулся к ней спиной.

— Все с тобой в порядке, — сказал я в трубку. — Ложись спать.

— Ричард, послушай, умоляю, — продолжал стонать Фрэнсис. — У меня правда приступ, я умираю.

— Хватит чепуху молоть.

— Все симптомы налицо. Боль в левой руке. Затрудненное дыхание. Ощущение тяжести в грудной области.

— Я-то что могу?

— Отвези меня в больницу.

— Вызови «скорую», — зевнув, посоветовал я.

— Нет, только не «скорую», лучше уж умереть. Я когда-то...

Дальнейшего я не расслышал — Вероника, встрепенувшаяся при слове «скорая», тут же встряла в разговор.

— Если вам срочно нужен врач, свяжитесь с охранниками, — затараторила она, горя желанием помочь. — С полуночи до шести там дежурит ночная смена. Они умеют делать искусственное дыхание, и еще у них есть специальный фургончик для транспортировки в больницу. Если хотите, я...

— Не нужен нам врач, — бросил я ей. На том конце провода Фрэнсис как заведенный повторял мое имя.

— Да здесь я, здесь.

— Ричард, с кем ты там разговариваешь? Что случилось?

— Ничего не случилось. Послушай...

— Кто говорил про врача?

— Никто. Теперь послушай. Да подожди же минуту, — повысил я голос, когда он попытался что-то сказать. — Успокойся и расскажи, что с тобой стряслось.

— Приходи, пожалуйста. Мне плохо, очень плохо. У меня в какой-то момент сердце перестало биться. Я...

— Что, передозировка? — понимающе спросила Вероника.

— Будь так любезна, помолчи немножко, — не выдержал я. — Мне совсем ничего не слышно.

— Ричард, может, все-таки зайдешь? — пролепетал Фрэнсис. — Ну пожалуйста.

— Ладно, скоро буду, — ответил я после краткой паузы и бросил трубку.

Когда я вошел, Фрэнсис лежал на кровати, полностью готовый к выходу, разве что не обутый.

— Пощупай у меня пульс, — приветствовал он меня.

Зная, что иначе он не успокоится, я взял его за запястье и ощутил частые сильные удары. Фрэнсис лежал не шевелясь, только прикрытые веки дрожали, как желе.

— Как ты считаешь, что со мной?

— Не знаю.

На щеках у него горел нездоровый румянец, но на умирающего он не походил. Я не исключал, что у него, например, пищевое отравление или приступ аппендицита, хотя, разумеется, даже заикнуться об этом сейчас было бы безумием.

— Как думаешь, мне надо к врачу?

— Сам решай.

Он затих, словно к чему-то прислушиваясь:

— Не знаю. По-моему, надо.

— Хорошо. Если тебе от этого полегчает, поехали. Давай поднимайся.

На то чтобы курить всю дорогу до больницы, здоровья у него хватило. Описав полукруг, мы остановились у освещенного крыльца с вывеской «Неотложная помощь», но выходить не спешили.

— Уверен, что тебе туда нужно?

Он обдал меня возмущенным взглядом:

— Думаешь, я притворяюсь?!

— Нет, что ты, — удивился я. Такая мысль меня действительно не посещала. — Я только спросил.

Он выбрался из машины и с силой захлопнул дверцу.

Нам пришлось подождать около получаса. Фрэнсис заполнил карточку, взял со столика научно-популярный журнал и мрачно погрузился в чтение. Когда высунувшаяся из кабинета медсестра назвала его имя, он не пошевелился.

— Тебя вызывают, — сказал я.

Он вцепился в подлокотники.

— Чего ж ты, иди.

Он только затравленно озирался.

— Я передумал, — пробормотал он наконец.

— Что?!

— Передумал, говорю. Домой хочу.

Медсестра, застыв в дверях, с интересом прислушивалась.

— Что за идиотизм, — прошипел я. — Зачем тогда было ждать?

— Я передумал.

— Но ты же сам меня сюда притащил!

Я знал, что это его пристыдит. Вспыхнув, он захлопнул журнал и, не взглянув на меня, прошагал в кабинет.

Минут через десять в приемную, где, кроме меня, никого не было, выглянул утомленный врач в синем медицинском костюме.

— Вы с мистером Абернати? — сухо спросил он.

— Да.

— Будьте любезны, загляните ко мне на минуту.

Я проследовал за ним в кабинет. Фрэнсис, полностью одетый, сидел согнувшись на краешке кушетки. Вид у него был самый несчастный.

— Мистер Абернати отказывается раздеться и не дает сестре взять у него кровь, — сказал врач. — Не понимаю, чего он ждет от нас в таком случае.

Яркий свет ламп резал глаза. Мне было жутко неловко.

Подойдя к раковине, врач принялся мыть руки.

— Небось наркотиками вечером баловались? — как бы между делом спросил он.

— Нет, — ответил я, краснея.

— Может, что-то все-таки было? Скажем, чуток кокаина? Или, может, немного фена, а?

— Нет.

— Если ваш друг что-то употреблял, нам нужно знать, что именно, чтобы ему помочь.

— Фрэнсис... — робко начал я и затих под ненавидящим взглядом: «И ты, Брут».

— Издеваешься?! — вскрикнул он. — Знаешь же прекрасно, ничего я не употреблял.

— Успокойтесь, — сказал врач. — Никто вас ни в чем не обвиняет. Но, согласитесь, вы ведете себя довольно странно, нет?

— Нет, — не сдавался Фрэнсис.

— Неужели? — усмехнулся врач, тщательно вытирая руки. — Вы приезжаете посреди ночи, заявляете, что у вас сердечный приступ, а потом не даете нам провести осмотр. Как прикажете ставить вам диагноз?

Фрэнсис, тяжело дыша, уперся взглядом в пол. Лицо у него пылало.

— Я не телепат, — помолчав, сказал врач. — Но опыт подсказывает мне, что когда кто-то в вашем возрасте жалуется на сердце, то здесь одно из двух.

— И что же? — спросил я, поняв, что Фрэнсис не собирается принимать участия в разговоре.

— Ну, вариант номер один — отравление амфетаминами.

— Ничего подобного, — вскинулся Фрэнсис.

— Хорошо-хорошо. Второй вариант — панический синдром.

— Что это такое? — спросил я, старательно избегая смотреть на Фрэнсиса.

— Внезапные приступы тревоги. Учащенное сердцебиение, дрожь, потливость. Может принимать тяжелые формы. Людям часто кажется, что они при смерти.

Фрэнсис молчал.

— Так что? Похоже на ваш случай?

— Не знаю, — нахохлившись, выдавил Фрэнсис.

Врач прислонился к раковине:

— Скажите, вы часто испытываете страх? Я имею в виду, без явной на то причины?

Из больницы мы вышли в четверть четвертого. Фрэнсис закурил прямо на крыльце, комкая в левой руке листок с именем и адресом хэмпденского психиатра.

— Злишься? — уже во второй раз спросил он, когда мы сели в машину.

— Нет.

— Злишься, я знаю.

Опустив верх, мы тронулись с места. Перед нами лежал город из сновидений: пустынные улицы, залитые тусклым желтым светом, темные шеренги домов. Мы свернули на крытый мост, и шины сухо прошуршали по деревянному настилу.

— Не сердись, пожалуйста, — сказал Фрэнсис.

— Так ты пойдешь к психиатру? — спросил я, проигнорировав его жалобную просьбу.

— Какой смысл? Будто я не знаю, что меня беспокоит.

Я промолчал. Когда врач произнес слово «психиатр», я насторожился. Я не слишком верю в психиатрию, но кто знает, что опытный специалист может усмотреть в личностном тесте, в пересказе сна, даже в оговорке?

— В детстве меня как-то прогнали через психоанализ, — сказал Фрэнсис. Мне показалось, он вот-вот расплачется. — Мне было лет одиннадцать-двенадцать. Матушка тогда ударилась в йогу, вытащила меня из бостонской школы и отправила в Швейцарию, в институт чего-то там, не помню чего. Кошмарное заведение. Все носили сандалии с носками. В

учебном плане значились танцы дервишей и каббала. Белый уровень — так они называли мой класс, или группу, не помню, — каждое утро занимался гимнастикой цигун. На психоанализ отводилось четыре часа в неделю, а мне вообще прописали шесть.

— Как можно анализировать двенадцатилетнего ребенка?

— Путем словесных ассоциаций. Еще выдавали кукол с очень натуральной анатомией и заставляли играть в какие-то сомнительные игры. Меня и двух французских девчонок как-то застукали, когда мы попытались улизнуть с территории. На самом деле мы просто хотели добежать до bureau de tabac<sup>[128]</sup> и купить шоколада — нас там морили голодом, держали на одной макробиотической пище, можешь представить, — но начальство, конечно, решило, что наша вылазка как-то связана с сексом. Их это ничуть не шокировало, они только хотели, чтобы им докладывали о таких вещах во всех подробностях, а я, дурак, не мог понять, чего от меня добиваются. Девчонки были поискусенней и сочинили безумную историю во французском духе — *ménage à trois*<sup>[129]</sup> в стоге сена, вроде того. Психиатр был на седьмом небе. Меня он записал в клинические случаи — решил, что я, как у них говорят, вытеснил этот эпизод в подсознание, раз ничего не рассказываю. А я был готов наплести что угодно, лишь бы меня отослали домой.

Он уныло рассмеялся:

— Помню, директор института спросил, с каким литературным героем я себя отождествляю, а я ответил — с Дэви Балфуром из «Похищенного».

На очередном повороте перед нами внезапно мелькнула тень и в лучах фар возникло какое-то крупное животное. Вжав в пол педаль тормоза, я увидел перед собой зеленые стеклянные глаза. Еще мгновение, и они исчезли.

Мы не трогались с места, все еще глядя на освещенную полосу дороги.

— Что это было? — наконец спросил Фрэнсис.

— Не знаю. Олень, наверно.

— Нет, точно не олень.

— Тогда собака.

— Мне показалось, это был какой-то зверь вроде кошки.

Мне, на самом деле, показалось то же самое.

— Слишком большой для кошки, — тем не менее возразил я.

— Может, кугуар?

— Кугуары здесь не водятся.

— Раньше водились. Их называли «катамаунты». Отсюда, кстати, название Катамаунт-стрит.

Холодный ночной ветерок забирался под одежду. Где-то вдалеке залаяла собака. Машин в этот час на шоссе почти не было.

Я отжал сцепление и дал газ.

Фрэнсис просил никому не говорить о нашем визите в больницу, но в субботу вечером, в гостях у близнецов, я выпил лишнего и, когда мы с Чарльзом оказались на кухне вдвоем, как-то само собой вышло, что я ему все рассказал.

Чарльз слушал, сочувственно кивая. Он и сам выпил немало, но все же меньше, чем я. За последнее время он тоже похудел, и старый костюм в полоску висел на нем как на пугале. На шее у него был небрежно повязан потертый шелковый галстук.

— Бедный Франсуа, — сказал он с улыбкой. — Совсем крыша прохудилась. Так он пойдет к этому мозгоправу?

— Не знаю.

Чарльз вытряс сигарету из валявшейся на серванте пачки «Лаки страйк».

— На твоём месте, — сказал он, осторожно выглядывая в коридор, — я бы посоветовал ему не заикаться об этом при Генри.

Я удивленно взглянул на него, ожидая продолжения. Прикурив, Чарльз выпустил облачко дыма.

— Я что имею в виду, — тихо произнес он, — да, я, случается, злоупотребляю спиртным. Сам первый это признаю. Но ведь это мне, а не ему пришлось иметь дело с полицией. И с Марион — тоже мне. Господи, она до сих пор звонит мне каждый вечер. Пусть побеседует с ней часок, посмотрим, как он запоем... Да хоть бы я пил по бутылке виски в день, какое он имеет право вмешиваться? Я ему так и сказал. И еще добавил, что в твою жизнь ему тоже нечего лезть.

— Погоди, при чем тут я?

Он окинул меня по-детски недоуменным взглядом, а потом вдруг разразился смехом.

— А, так ты еще не в курсе? Ты теперь тоже кандидат в «Анонимные алкоголики». Распустился, бродишь пьяным среди бела дня — одним словом, катишься под откос.

Я остолбенел. Видя мою реакцию, Чарльз снова рассмеялся, но тут слышались шаги, звяканье льда в стакане, и на кухню заглянул Фрэнсис. Слово за слово, он втянул нас в беспечную болтовню, и через некоторое

время мы сообща переместились в гостиную.

Это был уютный, счастливый вечер: приглушенный свет, звон стаканов, шелест дождя по крыше. Верхушки деревьев, шипя, как сифонная струя, рассекали воздух, в открытые окна врывался влажный ветер — сладковатый, дурманивший, вольный.

Генри пребывал в отличнейшем настроении и производил полное впечатление человека, только что вернувшегося с курорта. Развалясь в кресле и вытянув ноги, он не скупился на остроты и отвечал искренним смехом на шутки остальных. Камилла выглядела волшебной. Облегающее светло-апельсиновое платье без рукавов подчеркивало собранность ее фигуры, неосознанную, почти мужскую грацию осанки. Я любил ее, любил прерывистые взмахи ее густых ресниц, сопровождавшие речь, ее манеру (отголосок манеры Чарльза) зажимать сигарету между костяшками пальцев.

Камилла и Чарльз, похоже, помирились. Они мало разговаривали, но между ними вновь протянулась привычная ниточка близняшества: то Чарльз присаживался на подлокотник кресла Камиллы, то Камилла, следуя давнему ритуалу, отпивала глоток из его стакана, и прочее в том же духе. Я никогда не мог проникнуть в символическую суть этих действий, но, как правило, они свидетельствовали о том, что все хорошо. Мне показалось, Камилла прилагает к примирению больше усилий, словно бы пытаясь загладить какую-то вину, и теперь я был склонен отвергнуть гипотезу, что разлад лежал на совести Чарльза.

В тот вечер разговор вертелся вокруг зеркала, висевшего над камином. Старое мутное зеркало в оправе розового дерева — ничего особенного, близнецы купили его на распродаже за бесценок, но именно на него в первую очередь падал взгляд при входе в гостиную, а теперь оно стало еще примечательнее, потому что от самого центра разбегалась эффектная паутина трещин. Разбилось оно при таких потешных обстоятельствах, что Чарльзу пришлось пересказывать эту историю дважды, хотя на самом-то деле смеялись мы над его представлением: в кутерьме весенней уборки он, наглотавшись пыли, оглушительно чихнул, свалился со стремянки и приземлился прямо на зеркало, которое как раз было вымыто и сохло на полу.

— Одного я не понимаю, — сказал Генри, — как вам удалось повесить его так, что стекло не выпало?

— Не иначе как чудом. В жизни теперь к нему не притронусь. Потрясающе смотрится, правда?



С этим трудно было поспорить — потрескавшееся стекло дробило любое отражение на затейливые узоры, как в калейдоскопе.

Только перед самым уходом я понял — совершенно случайно, — как же на самом деле разбилось зеркало. Стоя на коврике перед камином, я облокотился на полку, и взгляд мой скользнул в очаг. Камин у близнецов не работал, и поленья, живописно уложенные на железных подставках, всегда покрывал бархатистый слой пыли. Но на этот раз я заметил в темной глубине кое-что еще: игольчатые блески зеркальных осколков вперемешку с крупными изогнутыми кусками стекла. В них легко узнавались останки стакана, уцелевший двойник которого был у меня в руке — старинный «хайбол», тяжелый, с толстым донцем и золотым ободком по краю. Кто-то запустил его через всю комнату с такой силой, что он разлетелся вдребезги, разбив зеркало над камином.

Две ночи спустя меня снова разбудил стук в дверь. Кое-как дотянувшись до выключателя, я уставился на часы, показывавшие три.

— Кто там? — крикнул я, подавив желание сразу послать ночного гостя подальше.

— Генри, — раздался неожиданный ответ.

Не скрывая недовольства, я впустил его. Садиться он не стал:

— Извини за вторжение, но дело не терпит отлагательства. Я хочу попросить тебя об услуге.

Его напористый тон встревожил меня. Я присел на край кровати.

— Так ты меня слушаешь?

— В чем дело?

— Четверть часа назад мне позвонили из полиции. Чарльз арестован за вождение в пьяном виде. Тебе придется вытащить его из тюрьмы.

— Чего-чего? — переспросил я, чувствуя, как по спине побежали мурашки.

— Машина, собственно говоря, моя. Полицейские нашли меня по фамилии на регистрационном талоне. В каком состоянии Чарльз, мне неизвестно.

Он достал из кармана незапечатанный конверт и протянул мне:

— Вот. Нужно будет оставить залог, но я не знаю, сколько именно.

Я вытащил из конверта пустой подписанный чек и двадцатидолларовую купюру.

— Я уже сообщил полиции, что одолжил ему машину, — продолжил Генри, подходя к окну и выглядывая наружу. — Но если вопрос возникнет снова, пусть позвонят мне. Утром я свяжусь с адвокатом. Пока что нужно,

чтобы ты как можно скорее забрал его оттуда.

Суть его просьбы дошла до меня далеко не сразу.

— А деньги зачем?

— Заплати, сколько потребуется.

— Я имею в виду двадцать долларов.

— Ты поедешь туда на такси. Оно ждет внизу.

Я долго не мог стряхнуть сонное оцепенение и подняться с кровати. Генри терпеливо ждал. Пока я одевался, он так и стоял у окна, глядя на темную лужайку и не обращая внимания на звяканье вешалок и громохание ящиков: отрешенный, сосредоточенный, поглощенный, несомненно, сложнейшими абстрактными построениями.

Только после того как мы завезли Генри домой и такси понеслось по безлюдным улицам к центру города, я начал понимать, сколь скудными данными располагаю. Мне предстояло разговаривать с полицией, а Генри на самом деле не сообщил мне ровным счетом ничего. Чарльз что, попал в аварию? В таком случае есть ли пострадавшие? И если все так серьезно, то почему Генри не поехал сам, ведь машина-то его?

Над перекрестком раскачивался одинокий светофор.

Тюрьма располагалась в пристройке к зданию суда. Ее крыльцо ярким пятном выделялось среди темных фасадов. Попросив таксиста подождать, я вошел внутрь и заглянул в дежурку.

Там громоздились картотечные шкафы и железные столы за загородками, у входа стояли допотопный кулер и автомат с наклейкой какой-то благотворительной организации («Ваша мелочь творит большие дела»), полный разноцветных шариков жевательной резинки. Двое дежурных полицейских ели курицу-гриль, разложенную на промасленной бумаге, и смотрели ток-шоу Салли Джесси Рафаэль по портативному черно-белому телевизору.

— Добрый вечер, — сказал я, и они оторвались от экрана. — К вам тут недавно мой друг попал, я хотел бы взять его на поруки.

Полицейский помоложе обтер губы салфеткой. Я узнал его — это был тот рыжеусый здоровяк, участвовавший в поисковой операции.

— Держу пари, друга зовут Чарльз Маколей, — пробасил он.

По интонации можно было подумать, что Чарльз — его хороший приятель. Впрочем, кто знает? Пока шла вся эта заваруха с поисками, Чарльз провел в участке немало времени. Он говорил, копы обращались с ним очень неплохо: заказывали для него сэндвичи, приносили колу.

— Ты ведь вроде не тот парень, которому я звонил? — несколько

озадаченно спросил второй дежурный. Это был рослый спокойный мужик лет под сорок, с лягушачьим ртом и пышной гривой седых волос. — Так машина, что ли, твоя?

Я пустился в объяснения. Они внимательно слушали, обгладывая куриные косточки: добродушные служаки с мощным тридцать восьмым калибром на поясах. Стены были увешаны плакатами с социальной рекламой: ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; ВЕТЕРАНАМ — ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ; СООБЩАЙТЕ О СЛУЧАЯХ ПОЧТОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА.

— Пойми, сынок, вернуть тебе машину мы никак не можем, — сказал рыжеусый. — Мистеру Винтеру придется явиться за ней самому.

— Насчет машины я и не волнуюсь. Я просто друга хотел забрать.

Второй полицейский покосился на часы:

— Тогда загляни с утра пораньше.

Я подумал, он шутит:

— У меня есть деньги.

— Мы не можем отпустить его под залог. Это сделает судья после того, как предъявит обвинение. Приходи ровно в девять.

«Чарльзу предъявят обвинение?» — ошалело подумал я.

Полицейские смотрели слегка недоуменно, очевидно, не понимая, что мне еще нужно.

— Не могли бы вы сказать, что случилось?

— Что-что?

— За что именно его арестовали? — проговорил я глухим, неестественным голосом.

— Дорожный патруль остановил его на Дип-килл-роуд. — Седовласый словно зачитывал протокол. — Он находился в состоянии опьянения. Согласился пройти тест на алкоголь, который показал положительный результат. Патрульные доставили его в участок примерно в двадцать пять минут третьего.

Я все еще плохо понимал ситуацию, но никак не мог сообразить, какой бы такой вопрос помог мне ее прояснить.

— Могу я его увидеть?

— Утром увидишь, — с улыбкой сказал рыжеусый. — Все с твоим другом в порядке, не волнуйся.

Больше говорить было не о чем. Я поблагодарил их и вышел.

На улице я обнаружил, что таксист не стал меня дожидаться. У меня оставалось еще пятнадцать долларов из двадцатки, которую дал Генри, но,

для того чтобы вызвать такси, пришлось бы возвращаться в дежурку, а этого мне не хотелось. Я дошел до южной оконечности Мэйн-стрит, где, как я помнил, перед закусочной был автомат, но он не работал.

Пошатываясь от усталости, я побрел обратно — мимо почты, мимо скобяной лавки, мимо закрытых дверей кинотеатра, непривычно мрачного без рекламных огней. На фризах публичной библиотеки выгибали спины кугуары. Миновав площадь, я пошел дальше. Фонарей и неоновых вывесок становилось все меньше, в неверном сиянии луны пейзаж выглядел невыносимо печально. Оставив справа гудящее шоссе, я вышел к автобусной станции, с которой когда-то началось мое знакомство с Хэмпденом. Она была закрыта. Я присел на скамейку под тусклой лампочкой и стал ждать открытия, чтобы воспользоваться телефоном и выпить чашку кофе.

Служащий станции — унылый толстяк с рыбьим взглядом — появился ровно в шесть. Кроме нас, в здании никого не было. Я зашел в туалет и умылся, а потом выпил не одну, а две чашки кофе — толстяк с большой неохотой сварил его для меня на электроплитке в своем закутке.

За стеклами, покрытыми вековым слоем грязи, обозначился рассвет. Стены были оклеены доисторическими расписаниями, обшарпанный пол инкрустировали расплющенные окурки и катышки жвачки. Прикрыв поплотнее заляпанную дверь телефонной будки, я набрал номер Генри. Я был почти уверен, что звоню напрасно, но, к моему удивлению, он поднял трубку после второго гудка:

— Что случилось? Ты где?

Я объяснил, что произошло. Зловещее молчание.

— Он один в камере? — наконец спросил Генри.

— Не знаю.

— Он в сознании? Я имею в виду, говорить он может?

— Не знаю.

Снова молчание.

— Слушай, здесь все открывается в девять, — сказал я. — Давай встретимся перед судом без пяти.

— Будет лучше, если ты займешься этим сам, — помедлив, ответил Генри. — Тут имеются некоторые сопутствующие обстоятельства.

— В таком случае буду крайне признателен, если меня в них посвятят.

— Не сердись, — тут же сказал он. — Просто полиции мое лицо уже и так слишком хорошо знакомо. Кроме того... — он помедлил, — боюсь, что Чарльз не жаждет меня видеть.

— Это еще почему?

— Потому что мы поссорились. Это длинная история, но суть в том, что вчера вечером, когда мы расстались, он был на меня очень зол. Я думаю, из всех нас на данный момент именно ты находишься с ним в наилучших отношениях.

Я скептически хмыкнул, но втайне почувствовал себя польщенным.

— Чарльз относится к тебе как к близкому другу — ты и сам это понимаешь. Кроме того, полицейские вряд ли узнают в тебе участника недавних событий.

— Честно говоря, не вижу связи. При чем здесь эти события?

— Боюсь, что связь тем не менее есть.

Внезапно я остро почувствовал всю безнадежность попыток докопаться до истины в разговоре с Генри. Как опытный пропагандист, он умело манипулировал информацией, выдавая ее понемногу и лишь тогда, когда это соответствовало его целям.

— На что ты намекаешь? — спросил я.

— Сейчас неподходящий момент для объяснений.

— Если хочешь, чтобы я пошел в суд, объяснения все-таки потребуются.

— Скажем так, — сухо произнес Генри после долгой паузы, — в какой-то момент положение было более шатким, чем тебе казалось. Здесь некого винить, но Чарльз был вынужден приложить определенный объем незапланированных усилий, и ему пришлось довольно туго.

Молчание.

— Я, кажется, прошу не так уж много.

«Сущий пустяк — чтоб я все делал по-твоему», — подумал я, вешая трубку.

Зал суда располагался в конце коридора за двумя тяжелыми распашными дверьми с окошками. Его интерьер, не слишком отличавшийся отделкой от дежурки, был вполне типичен для присутственного места начала пятидесятых: крапчатые квадраты линолеума, полированные панели цвета липучки для мух.

Я никак не ожидал, что там будет столько народу. Перед судебским местом стояли два стола, за одним расположились двое патрульных, за другим — четверо людей, вид которых не говорил ничего об их роли в судебном процессе. Стенографистка с миниатюрной пишущей машинкой примостилась за отдельным столиком. На скамьях для зрителей порознь сидели трое мужчин. В углу скрючилась потрепанная дамочка в грязном плаще, для которой, судя по палитре синяков на лице, побои были делом

привычным.

Когда появился судья, присутствовавшие встали. Дело Чарльза заслушали первым. Он вошел в зал мягким сомнамбулическим шагом в сопровождении судебного пристава. Походка Чарльза показалась мне странной; приглядевшись, я понял, что он в носках. Галстук и ремень у него, очевидно, тоже забрали, и костюм болтался на нем, как пижама.

Судья — пожилой щекастый увалень с тонкими губами — кисло прищурился.

— У вас есть адвокат? — спросил он с сильным вермонтским акцентом.

— Нет, сэр.

— Присутствует ли жена или кто-то из близких родственников?

— Нет, сэр.

— Можете ли вы внести залог?

— Нет, сэр, — в третий раз произнес Чарльз. Он то и дело утирал лоб и, похоже, плохо понимал, что происходит.

Я поднялся, и судья меня заметил:

— Вы желаете внести залог за мистера Маколея?

— Да, сэр.

Чарльз повернулся и уставился на меня с открытым ртом.

— Залог составляет пятьсот долларов, касса по коридору налево, — скукаяще отбарабанил судья. — Через две недели вы снова предстанете перед судом. Советую вам нанять адвоката. Требуется ли вам автомобиль для профессиональной деятельности?

— Автомобиль не его, ваша честь, — подал голос кто-то из той непонятной группы за столом.

— Правда?! — обрушился судья на Чарльза.

— Мы связались с владельцем. Это некто Генри Винтер, студент Хэмпден-колледжа. Он утверждает, что вчера вечером одолжил машину мистеру Маколею.

Судья недовольно фыркнул:

— Действие ваших водительских прав приостановлено вплоть до вынесения судебного решения. Жду вас и мистера Винтера двадцать восьмого мая.

Процедура прошла потрясающе быстро. В десять минут десятого мы уже стояли на улице.

Влажное росистое утро было не по-майски холодным. Из крон деревьев доносился птичий гомон. Вокруг не было ни души.

— Ну и холодрыга, — сказал Чарльз, обнимая себя за плечи.

На окнах банка в дальнем углу площади со скрипом поползли вверх жалюзи.

— Подожди меня здесь, — сказал я. — Пойду вызову такси.

Чарльз ухватил меня за локоть. Я понял, что протрезветь он еще не успел. На вид, впрочем, он был свеж как огурчик, и о бурно проведенной ночи свидетельствовал только помятый костюм.

— Ричард.

— Что?

— Ты мне друг?

Я был не в настроении выслушивать его излияния на ступенях здания суда.

— Ну да, — буркнул я, пытаюсь освободить руку, но он только крепче вцепился в нее.

— Спасибо, старик. Знал, что могу на тебя положиться. Ты ведь не откажешь мне в одной маленькой услуге?

— Какой?

— Я не хочу домой.

— Что значит — не хочу домой?

— Отвези меня за город, к Фрэнсису. Ключа у меня нет, но мистер Хэтч нас впустит, или я влезу через окно, или... нет, послушай. Я могу забраться через подвал, я так уже тысячу раз делал... Да погоди же ты, — взмолился он, когда я попытался его прервать. — Давай поедем вместе. Заскочишь на кампус, возьмешь шмотки и...

— Остынь, — повторил я уже в третий раз. — Никуда я тебя отвезти не могу, у меня нет машины.

Он отпустил мой локоть.

— Вот оно что, — горько усмехнулся он. — Ну, спасибочки.

— Слушай, я просто физически не могу. У меня действительно нет машины, я приехал на такси.

— Можем взять машину Генри.

— Нет, не можем — ключи у полиции.

Чарльз пригладил волосы дрожащей рукой:

— Ну, значит, домой. Только не бросай меня, ладно?

У меня не было сил с ним спорить:

— Ладно. Погоди, я вызову такси.

— Не надо такси, — запротестовал он. — Что-то мне как-то... Давай лучше прогуляемся.

От центра до дома близнецов было километров пять — та еще прогулочка. Существенная часть пути лежала вдоль шоссе, и проносившиеся мимо машины обдавали нас упругими волнами выхлопного газа. Голова у меня раскалывалась, ноги словно свинцом налились. Однако Чарльзу утренняя прохлада, похоже, пошла на пользу. Примерно на полдороге нам попался «Тейсти-фриз», и он купил себе колу с мороженым.

Под ногами хрустела щебенка, в ушах противно зудела мошकारа. Чарльз курил, потягивая напиток через полосатую трубочку.

— Значит, вы с Генри поссорились, — произнес я, просто чтобы не молчать.

— Откуда ты знаешь? Это он тебе сказал?

— Да.

— Не помню. Да и не важно. Меня достало выслушивать его поучения.

— Знаешь, что для меня до сих пор остается загадкой?

— Что?

— Не то, почему он командует нами. А то, почему мы всегда ему подчиняемся.

— Шут его знает. Ничего хорошего из этого все равно не выходит.

— Ну не скажи.

— Ты еще сомневаешься? Да начать с того — кто придумал эту странную вакханалию? А кто потащил Банни в Италию? Да еще и оставил дневник у него под носом... Сукин сын! Это он во всем виноват, он один. И потом... ах, ну да, ты ж не в курсе. Так вот, нас чуть было не вывели на чистую воду.

— Кто? Полиция? — изумленно воскликнул я.

— Нет, ФБР. Под конец там такая каша заварилась, мы вам далеко не все рассказывали. Генри взял с меня клятву, что я никому не скажу.

— Почему? Что там такое было?

Чарльз отшвырнул окурок:

— Там много чего было. Видишь, они, конечно, полезли не в ту степь — приплели сюда Клоука, и так далее... И все же забавно. Мы так привыкли к Генри, что просто не понимаем, какое впечатление он производит на людей.

— В смысле?

— В смысле, очень странное, мягко говоря, — с усталым смешком ответил он. — Примеров — море. Помню, прошлым летом, когда он носился с идеей снять сельскую усадьбу, я ездил с ним в одну риелторскую контору. Место он уже присмотрел — здоровенный ветхий домина начала



прошлого века, далеко от шоссе, подъезд по грунтовке. Флигель для слуг, немереный парк, все такое. У него даже наличные были с собой. Риелтор беседовала с ним часа два. Потом позвонила менеджеру, тот подъехал в офис и задал Генри еще миллион вопросов. Связался с поручителями. Документы были в полном порядке, комар бы носа не подточил, и все-таки они ему отказали.

— Почему?

— Ха-ха, заподозрили подвох. Генри весь из себя такой правильный, что это настораживает. У них в голове не укладывалось, что молодой парень, студент, готов выложить кругленькую сумму за аренду старого сарая у черта на куличках только ради того, чтобы жить там в одиночестве, изучая культурное наследие древних цивилизаций.

— Они решили, он мошенник какой-то?

— Скажем так: они решили, у него не все чисто. Фэбээровцы, очевидно, пришли к аналогичному выводу. Нет, думать, что он убил Банни, они, конечно, не думали, но чувствовали, что он темнит. Ясно было, что в Италии они поссорились. Это знали все: Марион, Клоук, даже Джулиан. Я тоже в какой-то момент попался на удочку и признался, что слышал об их размолвке, — хотя, разумеется, Генри я этого сообщать не стал. Так вот, по моему, фэбээровцы считали, что Генри с Банни вложили деньги в лавочку Клоука. Генри сам виноват — устроил, понимаете ли, римские каникулы. Они могли бы съездить незаметно, как нормальные люди, так нет же, они засветились везде, где только можно: Генри тратил деньги как полоумный, спустил целое состояние. Палаццо, ага — другого жилья в Риме, конечно, не нашлось... Ты знаешь его, он по-другому не может, но посмотри на это глазами агента ФБР. Эта его болезнь тоже выглядела сомнительней некуда. Отправил лечащему врачу телеграмму с просьбой выслать демерол — просто великолепно! И плюс ко всему билеты в Южную Америку. Это был верх идиотизма — заплатить за них кредиткой.

— Они и до этого докопались?!

— Естественно. Первое, что проверяют у подозреваемых в причастности к наркобизнесу, — это счета и записи транзакций. И на тебе, из всех мест на карте — Южная Америка! Хорошо, у его папаши там действительно вложения в недвижимость или что-то в этом роде. Генри в итоге сумел состряпать правдоподобную легенду — не то чтоб они в нее поверили, просто опровергнуть не смогли.

— Откуда они вообще это взяли, насчет наркотиков?

— Представь, как это выглядело. С одной стороны — Клоук. В полиции прекрасно знали, что он снабжает наркотиками половину кампуса,

и догадывались, что он связан с какой-то крупной рыбой. Банни тут вроде бы ни при чем, но, с другой стороны, Банни — старый приятель Клоука, а Генри — лучший друг Банни, и вот вам, пожалуйста, все сходится. Швыряет деньги направо и налево, ни в чем себе не отказывает, при этом утверждает, что живет на пособие от родителей. А в последнее время Банни и сам сорил деньгами. Шикарные рестораны, итальянские костюмы... Понятно, все на средства Генри, но кто, кроме нас, это знал? И потом, в Генри все подозрительно, от одежды до манеры держаться. Вылитый персонаж гангстерского фильма — такой, знаешь, непроницаемый тип в роговых очках, который ведет бухгалтерию у какого-нибудь мафиозо, вроде Аль Капоне.

Он снова закурил:

— Помнишь ночь перед тем, как нашли Банни? Когда мы с тобой поехали в тот жуткий бар с теликом и я надрался в хлам?

— Помню, конечно.

— Это был самый поганый вечер в моей жизни. По всему, нам обоим светила тюрьма. Генри был уверен, что наутро его арестуют.

— Господи, за что?

Чарльз глубоко затянулся:

— Накануне — это было вскоре после того, как Клоука сцапали на трассе, — к Генри пришли Сциола и Давенпорт. Заявили, что имеют резонное основание арестовать человек пять-шесть, включая его самого, по подозрению в преступном сговоре или сокрытии улики.

— Человек пять-шесть? Кого? — переспросил я, не веря своим ушам.

— Без понятия. Может, это просто был блеф, но Генри выпал в осадок. Он предупредил меня, что они, скорее всего, наведаются и ко мне. Не мог же я сидеть дома сложа руки — вот я и отправился в тот вонючий кабак. А Генри взял с меня обещание не рассказывать никому, даже Камилле.

Я задумался:

— Но в конце-то концов тебя же не арестовали.

Чарльз иронично вздохнул. Я заметил, что руки у него все еще дрожат.

— Спасибо старому доброму Хэмпден-колледжу. Конечно, многое не срасталось — фэбээровцы поняли это после допроса Клоука. И все же они чувствовали, что от них что-то скрывают и, наверно, докопались бы до правды, если б колледж им хоть чуточку посодействовал. Но когда Банни нашли, администрация хотела одного — поскорее покончить с этой историей. Сам понимаешь, так себе реклама. Заявления абитуриентов уже упали где-то на двадцать процентов. А городская полиция — в принципе это они должны были заниматься делом Банни, а вовсе не ФБР — всегда

готова пойти навстречу пожеланиям ректора. Взять хотя бы, чем все кончилось для Клоука. Он ведь тогда здорово влип со своей наркотой, мог запросто загреметь за решетку... А отделался испытательным сроком и полсотней часов общественных работ. Ему это даже в личное дело не занесли.

Какое-то время я молча обдумывал услышанное под шум автострады.

— Смешно все-таки, — ухмыльнулся Чарльз, засовывая кулаки поглубже в карманы. — Мы-то думали, что, так сказать, бросаем в бой нашего аса, но было б гораздо лучше, если б на его месте оказался кто-нибудь другой. Ты, например. Или Фрэнсис. Или даже моя сестра. Мы б избежали половины неприятностей.

— Ладно, теперь все позади.

— Вот только его заслуги в этом нет. Это я имел дело с полицией. Он присвоил себе все лавры, но это я просиживал целые дни в этом паскудном участке, пил кофе и пытался завоевать расположение, пытался убедить копов, что мы все белые и пушистые. С ФБР — то же самое, только хуже. Все время быть начеку, говорить ровно столько, сколько нужно, стараться смотреть на все с их точки зрения — плюс, учти, с этими людьми нужно сразу же брать верный тон и ни на секунду с него не сбиваться, — быть таким вдумчивым и серьезным, но при этом общительным и открытым и вдобавок, ха-ха, ни капли не нервничать. Не нервничать! Да я чашку не мог взять в руки, боялся расплескать, а раза два на меня накатывала такая паника, что я думал, сейчас либо грохнусь в обморок, либо закачу истерику. Ты хоть можешь представить, какой это был напряг? Думаешь, Генри бы соизволил взвалить на себя такой груз? Черта с два! Я, видите ли, как раз годился для грязной работенки, но он — ах, увольте, *aquila non capit muscas*.<sup>[130]</sup> Эти типы из ФБР в жизни не встречали такого кадра. Сказать тебе, какие вопросы одолевали Его Высочество по ходу пьесы? Например, с какой книгой появиться в их присутствии — дескать, что произведет лучшее впечатление, Гомер или Фома Аквинский? Вот, блин, дилемма! Они смотрели на него, как на марсианина, и, Ричард, ей-богу, — если б они имели дело только с ним, мы все по его милости угодили бы в газовую камеру.

Мимо прогромыхал лесовоз.

— Хорошо, что я этого не знал, — только и произнес я.

— В общем, ты прав — все кончилось нормально, — пожал плечами Чарльз. — Но все равно меня бесит, когда он изображает из себя нашего спасителя.

Мы погрузились в молчание.

— Ты уже решил, куда поедешь на каникулы? — спросил Чарльз.

— Еще не думал, — ответил я. Никаких новостей из Бруклина не поступало, и я почти смирился с мыслью, что дело не выгорело.

— Я собираюсь в Бостон, — объявил он. — У тетки Фрэнсиса квартира на Мальборо-стрит, в двух шагах от Паблик-гарден. На лето она перебирается в загородный дом, и Фрэнсис говорит, я могу у нее пожить.

— Круто.

— Хочешь, присоединяйся. Места хватит — квартира огромная.

— Спасибо, я подумаю.

— Тебе понравится. Фрэнсис сам будет в Нью-Йорке, но обещал наведываться в гости. Ты бывал в Бостоне?

— Нет.

— Тем более. Сходим с тобой в музей Гарднер. И еще обязательно в «Ритц» — в тамошнем баре играет классный тапер.

Он принялся рассказывать мне про какой-то гарвардский музей, где хранится миллион искусственных цветов из венецианского стекла, и тут, метнувшись к обочине, рядом с нами лихо притормозил желтый «фольксваген». Опустив стекло, нас одарила лучезарной улыбкой моя утешительница Трэйси.

— Привет, ребят! Подвезти?

Когда мы вошли в квартиру, часы показывали четверть одиннадцатого. Камилла, очевидно, ушла на занятие. Чарльз со стоном сбросил пиджак прямо на пол.

— Как самочувствие?

— Штормит, честно говоря.

— Хочешь кофе?

— Можно и кофе, — зевнул Чарльз. — На кухне вроде оставался. Слушай, ничего, если я залезу в ванну?

— Валяй.

— Я буквально на минуту. В этом обезьяннике была такая грязь — не удивлюсь, если окажется, что я подцепил блох.

Он скрылся в ванной. Было слышно, как он, то и дело чихая, напевает что-то себе под нос, потом все заглушил шум воды. Поняв, что минутой он не ограничится, я пошел на кухню, налил себе апельсинового сока и положил в тостер пару ломтиков хлеба с изюмом.

Обшаривая полки в поисках кофе, я наткнулся на банку «Хорликса». Этикетка смотрела на меня с упреком — только Банни в нашей компании пил солодовое молоко. Я задвинул банку в самый угол, спрятав ее за

горшочек кленового сиропа.

Кофе был уже готов, а я расправлялся со второй порцией тостов, когда в прихожей щелкнул замок, хлопнула дверь, и на кухню заглянула Камилла — этаким постреленок с немытой головой и осунувшейся бледной рожицей.

— О, привет.

— Привет-привет. А я тут как раз завтракаю, присоединяйся.

Камилла села рядом:

— Как все прошло?

Пока я рассказывал, она подхватила с моей тарелки намазанный маслом тост и рассеянно сжевала его.

— Как он, нормально? — спросила она, когда я умолк.

— Да, вполне, — ответил я, хотя и не совсем понял, что имеется в виду под «нормально».

Камилла встала налить себе кофе.

Холодильник выводил свои рулады, откуда-то снизу доносились слабые звуки радио: под хоровое мычание коров слащавый женский голос распевал песенку про йогурт. Камилла внимательно осматривала полки, пытаюсь найти чистую чашку.

— Знаешь, мне кажется, тебе стоит выбросить ту банку «Хорликса», — сказал я.

Она ответила не сразу:

— Знаю. В шкафу еще его шарф валяется — он забыл его, когда уходил от нас в последний раз. То и дело на него натыкаюсь. Запах сохранился до сих пор.

— Почему не выкинешь?

— Все надеюсь, что он сам исчезнет. Что в один прекрасный день я открою шкаф, а шарфа там нет.

— Слышу знакомый голос! — воскликнул Чарльз. Видимо, он уже давно стоял на пороге, слушая наш разговор. Он был в одном халате и, как всегда, когда хотел скрыть, что пьян, тщательно выговаривал слова:

— Я думал, ты на занятиях.

— Только что вернулась — Джулиан отпустил нас пораньше. Ты как?

— Восхитительно, — ответил Чарльз, прошлепав на кухню. Отпечатки босых ног тут же испарялись с томатно-красного линолеума.

Обойдя Камиллу, он взял ее за плечи и вкрадчиво склонился над ухом:

— Как насчет поцелуя непутевому братишке?

Камилла повернула голову, чтобы чмокнуть его в щеку, но он обнял ее одной рукой за талию и, крутанув к себе, поцеловал прямо в губы.

Принять это за братское лобзание было невозможно, это был жадный поцелуй любовника, цель которого — заставить врасплох, смутить, распалить. Халат на Чарльзе распахнулся, обнажив грудь; пальцы погладили нежную шею, скользнули по ней вниз и остановились, дрожа, на медовой коже над самым краем блузки.

Я не верил своим глазам. Камилла не отпрянула, даже не шевельнулась, а когда Чарльз разжал объятие, придвинулась к столу и, как ни в чем не бывало, потянулась за сахарницей. Пахло перегаром, разгоряченным влажным телом, сладковатым лосьоном после бритья. Звякнула ложечка. Камилла сделала глоток, и тут я вспомнил: она не любила сладкий кофе, она всегда пила кофе с молоком, но без сахара.

Потрясенный, я чувствовал, что надо что-то сказать, не важно что, но в голове стоял туман.

Молчание нарушил Чарльз.

— Умираю с голода, — объявил он, подтягивая пояс и с воодушевлением заглядывая в холодильник. — Лично я собираюсь соорудить яичницу. Еще кто-нибудь будет?

Я вернулся домой, принял душ, немного поспал, а ближе к вечеру отправился к Фрэнсису.

— Заходи, заходи! — воскликнул он, сопровождая приглашение бурными жестами. Его письменный стол был завален книгами, в переполненной пепельнице дымилась сигарета.

— Что там вчера случилось? Чарльза на самом деле арестовали? Генри как воды в рот набрал. Кое-что сообщила Камилла, но подробностей она и сама не знала... Присаживайся. Выпить хочешь? Чего тебе налить?

Пересказывать Фрэнсису драматические события было, как обычно, сплошным удовольствием. Подавшись вперед, он ловил каждое слово, в нужных местах издавая изумленные, возмущенные или сочувственные возгласы. Когда я дошел до конца, он засыпал меня вопросами. В любой другой ситуации, польщенный этим экстатическим вниманием, я растянул бы беседу надолго, но в тот раз после первой же паузы я сменил тему:

— А теперь хочу у тебя кое-что спросить.

Прикурив, Фрэнсис захлопнул зажигалку и нахмурился:

— Хм, ну попробуй.

Я перебрал несколько разных формулировок и в итоге решил, что, если хочу получить однозначный ответ, лучше прибегнуть к самой простой:

— Как ты считаешь, Чарльз и Камилла спят друг с другом?

Фрэнсис как раз глубоко затянулся и, услышав вопрос, поперхнулся

дымом.

— Так что?

Но он только кашлял.

— С чего ты взял? — давясь, выговорил он наконец.

Я рассказал об утренней сцене. Он слушал, потирая слезящиеся глаза.

— Это ничего не значит. Он, наверно, просто еще не совсем протрезвел.

— Ты мне не ответил.

Он отложил сигарету в пепельницу:

— Ладно. Если хочешь мое мнение: да, я считаю, иногда спят.

Повисло молчание.

— Не думаю, что это случается часто, — продолжил он. — Впрочем, не знаю. В свое время Банни утверждал, что как-то раз застал их за этим.

Я удивился еще больше.

— Я не в курсе деталей — говорю со слов Генри, это ему он все рассказал. Видимо, у него был ключ, а ты же помнишь его манеру вламываться без стука... Стоп, мне показалось или ты о чем-то подумал?

— О чем я должен был подумать? — ответил я, изобразив искреннее недоумение, хотя промелькнувшая тревожная фантазия впервые посетила меня еще на заре знакомства с близнецами. Я объяснял ее проекцией собственного желания, винил свой извращенный ум и болезненное воображение, — ведь он ее брат, они так похожи... Как бы то ни было, мысль о них в постели вызывала, помимо предсказуемых чувств — потрясения, зависти, стыда, — еще одно, куда более острое ощущение.

Фрэнсис не сводил с меня глаз, и внезапно я понял: он отлично понимает, что у меня на уме.

— Они очень ревнуют друг друга, — сказал он. — Он ее — гораздо сильнее, чем она его. Раньше все их нежные прозвища и шуточные препирательства казались мне такими очаровательными отголосками совместных детских игр; даже Джулиан частенько поддразнивал их на этот счет... Но я — единственный ребенок, Генри — тоже, что мы можем обо всем этом знать? Помню, мы с ним говорили, как, наверное, было бы весело, будь у нас в семьях сестры. — Он усмехнулся. — Да уж, похоже, то еще веселье. То есть я вовсе не считаю, что это так уж дурно с моральной точки зрения, но оказывается, братско-сестринские отношения вовсе не столь просты и беззаботны, как хотелось бы думать. Они могут выливаться в отвратительные формы. Прошлой осенью, когда мы...

Он не закончил фразы и некоторое время молча курил, досадливо морщась.

— Так что произошло?

— Конкретно? Не могу сказать. Я мало что помню, хотя общий настрой, конечно, ясен... — Он покачал головой. — После той ночи все стало понятно. До этого в принципе все тоже догадывались, но такого от Чарльза никто не ожидал...

Он уставился в пространство, потом встряхнулся и достал очередную сигарету:

— Не знаю. Вряд ли этому можно найти объяснение. Хотя, с другой стороны, все, может быть, очень просто: они ведь всегда жили вместе, всегда были близки. И все-таки... Знаешь, я далек от ханжества, но подобная ревность меня поражает. Одно могу сказать в защиту Камиллы: она гораздо спокойнее относится к таким вещам. Впрочем, возможно, у нее нет другого выхода.

— К каким — таким вещам?

— К тому, что Чарльз спит с другими.

— С кем?!

Фрэнсис отхлебнул виски:

— Со мной, например. Не удивляйся. Если б ты пил столько, сколько он, я бы, скорее всего, и с тобой уже переспал.

Наверное, его высокомерно-циничный тон покорибл бы меня, не улови я в нем легкую меланхоличную нотку. Прикончив виски, Фрэнсис поставил стакан на стол и продолжил:

— Это было всего раза три или четыре. Впервые — когда я учился на втором курсе, а он на первом. Мы сидели поздно вечером у меня — пьянствовали, как водится. Шел дождь, расходиться не хотелось... Развеселая выдалась ночь, но посмотрел бы ты на нас наутро за завтраком.

Он криво улыбнулся:

— Помнишь ночь после смерти Банни? Когда Чарльз побеспокоил нас с тобой в самый неподходящий момент?

Я уже знал, что за этим последует.

— Вы ушли от меня вместе.

— Да. Он был очень пьян. Слишком пьян, если понимаешь. Что оказалось для него весьма кстати: на следующий день он притворился, будто ничего не помнит. Чарльз вообще подвержен загадочным приступам амнезии после ночи у меня в гостях. — Фрэнсис покосился на меня. — Делает вид, что ничего не было, и, главное, ждет, что я ему подыграю. Сомневаюсь, чтобы им двигало чувство вины, — по-моему, ему просто все равно, и вот эта его беспечная манера как раз меня и бесит.

Не знаю, что заставило меня ляпнуть:



— Он тебе очень нравится, да?

Я испугался, что Фрэнсис вспылит, но он и глазом не моргнул.

— Не знаю, — холодно произнес он, вытягивая из пачки сигарету пожелтевшими от курения пальцами. — Надо полагать, нравится. Мы старые друзья. Естественно, я не тешу себя иллюзией, что между нами есть что-то большее. Но я с ним неплохо позабавился, а вот ты вряд ли можешь утверждать то же самое насчет Камиллы.

Банни назвал бы это «предупредительным в голову». Я силился подыскать достойный ответ, но тщетно.

Фрэнсис, явно очень довольный тем, что ему удалось отыгаться, не спешил закреплять преимущество. Он лениво откинулся в кресле, и вечернее солнце охватило его шевелюру пылающим нимбом.

— Печально, но факт: боюсь, и ему, и ей плевать на всех, кроме себя любимого и соответственно себя любимой. Они привыкли выступать единым фронтом, но, признаться, я вовсе не уверен, что они так уж пекутся друг о друге. Совершенно очевидно, что им доставляет извращенное удовольствие морочить людям голову... да-да, именно так, — повысил он голос в ответ на мой протестующий возглас. — Она, например, морочит голову тебе — я наблюдал это не раз. То же самое и в отношении Генри. Ты ведь знаешь, что он по ней с ума сходил, и, насколько я понимаю, с тех пор ничего не изменилось.

Что касается Чарльза... Вообще-то ему нравятся девушки, я гожусь, только когда он напьется. Но странное дело: стоит мне только проявить твердость, сказать себе «все, хватит!», как он тут как тут — такой ласковый, такой понимающий, ну просто душка... И я снова и снова наступаю на те же грабли.

Он помолчал.

— В нашей семье красавцев не водится — все больше этикие жерди, кожа да кости, нос крючком. Может быть, поэтому я склонен считать красоту проявлением исключительных внутренних достоинств, с которыми она на самом-то деле не имеет ничего общего. Я гляжу на изящно очерченный рот или глаза с поволокой и воображаю, что нашел родственную душу, начинаю мечтать о глубоком взаимном чувстве... Совершенно при этом не замечая, что целая стая уродов увивается вокруг той же персоны просто потому, что их околдовали те же глаза.

Он яростно смял окурок:

— Камилла, если б ей было позволено, вела бы себя так же, как Чарльз, но он держит ее в ежовых рукавицах. Ситуация — хуже не придумаешь. Он не отпускает ее от себя ни на шаг, а финансы его, к слову

сказать, поют романсы... — то есть это совершенно не важно, — поспешно прибавил он, сообразив, с кем разговаривает, — но он-то обращает на это болезненное внимание. Очень гордится своей семьей, очень хорошо сознает, что сам тем не менее превращается в пьянчугу. Пожалуй, есть даже что-то римское в том, как ревностно он блюдет честь сестры. Банни и близко не подходил к Камилле, боялся даже взглянуть на нее. Само собой, он заявлял, что она не в его вкусе, но, подозреваю, внутренний голос ему нашептывал, что тут можно схлопотать по первое число. Ох ты господи... Помню, однажды, сто лет назад, мы ужинали в «Пекинской пагоде» — был в Беннингтоне такой нелепый китайский ресторанчик, недавно закрылся. Занавески из красных бус, статуя Будды на фоне искусственного водопада, все в таком духе. Мы увлеклись коктейлями, и Чарльз в итоге напился до положения риз. Я его не виню — мы все были хорошие, коктейли в таких местах всегда крепче, чем кажется, да и вообще, никогда не знаешь, чего туда плеснули. За рестораном был декоративный пруд — так, лужица с золотыми рыбками, — и через него на парковку вел мостик. Мы с Камиллой случайно отделились от остальных и стояли на этом мостике, сравнивая записки с предсказанием судьбы. У нее было что-то вроде: «Ждите поцелуя от прекрасного принца из ваших снов» — нельзя же было упустить такой момент, и я... в общем, мы были, мягко скажем, нетрезвы, и нас понесло. И тут, откуда ни возьмись, налетел Чарльз, схватил меня за шиворот и едва не перекинул через перила. Хорошо, вовремя подоспел Банни и оттащил его. У Чарльза тогда хватило соображения сказать, что он пошутил, но только какие уж тут шутки, если он мне чуть руку ко всем чертям не вывихнул? Кстати, что тем временем делал Генри, не знаю. Вероятно, любовался луной и декламировал стихи поэтов танской эпохи.

При упоминании Генри я впервые за весь вечер вспомнил о рассказе Чарльза про ФБР и еще об одном деле, также касающемся Генри. Я как раз обдумывал, стоит ли сейчас поднимать эти темы, как Фрэнсис внезапно объявил тоном, заставлявшим предполагать худшее:

— Знаешь, я сегодня ходил к врачу.

Я выжидающе посмотрел на него, но продолжения не последовало.

— А что с тобой такое? — спросил я, не выдержав этой игры в молчанку.

— Все то же самое. Затрудненное дыхание и боли в груди. Просыпаюсь посреди ночи и не могу сделать вдох. На прошлой неделе я ездил в больницу и сдал кое-какие анализы, но они ничего не показали. Тогда меня направили к невропатологу.

— И?

Он беспокойно поерзал в кресле:

— Безрезультатно. Эти местные докторишки ни черта ни в чем не смыслят. Джулиан дал мне координаты одного нью-йоркского специалиста — того самого, который вылечил шаха Израма от рака крови. Об этом все газеты писали. По словам Джулиана, это лучший диагност в стране и один из лучших в мире. Прием у него расписан на два года вперед, но Джулиан говорит, что может попробовать позвонить и договориться, чтобы тот принял меня вне очереди.

Оставив недокуренную сигарету тлеть в пепельнице, он полез за новой. В комнате было так накурено, что у меня начало першить в горле.

— Еще бы — дымишь как паровоз, а потом удивляешься, что у тебя одышка, — сказал я.

— И ты туда же! — взвился он. — Наслушался, что ли, идиотов этих вермонтских? Бросьте курить, сократите потребление алкоголя и кофе... Я уже полжизни курю. Думаешь, я не знаю, как влияет на меня никотин? От сигарет не бывает этих мерзких судорог, и пара глотков виски перед сном здесь тоже ни при чем. Кроме того, у меня налицо все остальные симптомы. Учащенное сердцебиение. Звон в ушах.

— От курения такое сплошь да рядом бывает.

Фрэнсис никогда не упускал случая поиздеваться над моими «калифорнийскими», с его точки зрения, оборотами речи.

— Сплошь да рядом? — язвительно переспросил он, имитируя мое простецкое произношение. — Че, прада?

Я посмотрел на него — небрежная поза, галстук в горошек, туфли от Балли — и подумал, как же мне осточертела эта лисья морда.

Я поднялся:

— Ну ладно, мне пора.

Злорадная усмешка сбежала с его лица.

— Ты обиделся? — спохватился он.

— Нет.

— Ох, ну я же вижу.

— Нет, не обиделся, — отрезал я. Эти панические попытки примирения раздражали меня куда больше оскорблений.

— Прости, пожалуйста. Не обращай внимания. Я пьян, я болен, я не хотел.

Я вдруг ясно представил себе картину: Фрэнсис, иссохший старик с трясущейся головой, сидит в инвалидном кресле. Напротив — другой старик, это я. Запертые вдвоем в прокуренной комнате, мы в сотый раз обмениваемся все теми же репликами: «Ты обиделся?» — «Нет». —

«Обиделся?» — «Нет»...

После смерти Банни я часто думал, что акт убийства по крайней мере связал нас на веки вечные: мы не просто друзья, а друзья-до-гробовой-доски. Тогда эта мысль была единственным утешением, но теперь от нее хотелось выть. Навсегда, навсегда я повязан с ними одной веревочкой, и иного уже не дано.

По дороге домой на меня накатила черная тоска, и я уныло брел по кампусу, опустив голову, как вдруг услышал окликнувший меня знакомый голос. Я обернулся — по ступеням Лицея спускался Джулиан. Улыбаясь, он устремился мне навстречу. Его лицо светилось радостным удивлением, словно он только что думал обо мне и теперь не мог поверить, что счастливый случай тут же свел нас вместе:

— Ричард, дорогой мой! Как твои дела?

— Хорошо.

— Я как раз собирался прогуляться в Северный Хэмпден. Не составишь мне компанию?

«Если б он узнал, что мы сделали, он бы этого не пережил», — подумал я, зачарованно глядя в его лучистые глаза.

— Большое спасибо, я бы с удовольствием, но мне нужно идти.

Он пристально посмотрел на меня, словно пытаюсь понять, что меня тревожит. В этот момент я ненавидел себя от всей души.

— В последнее время, Ричард, беседа с тобой стала нечастым удовольствием. Мне будет очень жаль, если наше общение сведется к вопросам и ответам на занятиях.

Я почти физически ощутил исходившие от него флюиды благожелательности и спокойствия, и на одно ошеломительное мгновение мне показалось, что невидимая рука приподняла жгучую тяжесть, камнем лежавшую на сердце. Я чуть не расплакался от неимоверного облегчения, но в тот же миг иллюзия рассеялась и отравленный груз вновь придавил меня к земле.

— У тебя действительно все в порядке?

«Он не должен узнать. Никогда».

— Да-да, конечно. В полном порядке.

Страсти вокруг кончины Банни в основном поутихли, но жизнь колледжа так и не вошла в прежнюю колею, более того, в каком-то смысле кардинальным образом изменилась. Рвение, с каким администрация принялась закручивать гайки в отношении наркотиков, в считанные дни

положило конец многим добрым традициям. Прошли те времена, когда, возвращаясь затемно из библиотеки, у входа в Дурбинсталь вполне можно было увидеть кого-нибудь из преподавателей — скажем, экономиста марксистского толка Арни Вайнштейна (Беркли, выпуск 69-го) или потасканного лохматого англичанина, читавшего лекции по Стерну и Дефо.

Прошли и канули в лету. Я своими глазами наблюдал, как набыченные охранники разбирали подпольную лабораторию, вытаскивая на свет божий коробки, полные мензурок и медных трубок, а главный «химик» Дурбинсталя — тщедушный паренек из Огайо по имени Кэл Кларкен — стоял рядом и рыдал, глядя на гибель своего детища. Он так и не снял белый халат и высокие кеды — рабочую одежду, в которой застал его карательный рейд охраны. Преподаватель антропологии, который уже двадцать лет вел курс «Карлос Кастанеда: визионер и мыслитель» (зачет проходил в форме ночных посиделок у костра с пущенным по кругу косяком), взял «творческий отпуск» и отправился в Мексику. Арни Вайнштейн теперь проводил вечера в местных питейных заведениях, где пытался обсуждать марксистскую теорию с барменами. Потасканный англичанин вернулся к своему основному увлечению — ухлестывать за девушками в два раза его моложе.

В рамках новой программы «Молодежь против наркотиков» Хэмпден выступил принимающей стороной соревнования между несколькими колледжами, целью которого было выяснить, насколько студенты осведомлены о пагубных последствиях психотропных препаратов и алкоголя. Состязание было организовано в виде шоу-викторины, вопросы которой разработал Национальный комитет по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Шоу транслировались в прямом эфире по «ЭкшнНьюз-12», вела их уже знакомая нам Лиз Окавелло.

Викторина тут же снискала бешеную популярность, характер которой, однако, вряд ли обрадовал бы организаторов. Хэмпден выставил звездную команду — ударный взвод штрафников, перед которыми стоял выбор — «победа или смерть»: Клоук Рэйберн, Брэм Гернси, Джек Тейтельбаум, Лора Стора и не кто иной, как сам легендарный Кэл Кларкен в качестве капитана. Кэл подписался на этот проект в надежде, что в следующем семестре ему разрешат восстановиться в колледже, Клоук, Брэм и Лора скидывали таким образом часы общественной работы, Джек присоединился к друзьям за компанию. Собранные в могучий кулак, наши десперадос нанесли сокрушительное поражение командам Вильямса, Вассара, колледжа Сары Лоренс и легко вывели Хэмпден на первое место. Их коллективные познания, без преувеличения, потрясали — в считанные

секунды они расправлялись с такими вопросами, как «Назовите алифатические производные фенотиазина» или «Опишите действие пи-си-пи».

Одним словом, хэмпденскому наркобизнесу был нанесен серьезный урон, и все же я ничуть не удивился, узнав, что Клоук остался верен своему ремеслу. Он разве что слегка усилил меры предосторожности. Как-то в четверг вечером я пошел к Джуди попросить таблетку аспирина. Я постучал, подвергся загадочному допросу (хриплый голос за дверью явно принадлежал не Джуди) и наконец был допущен в зашторенную комнату.

— Салют, — приветствовал меня Клоук, быстро запирая дверь и возвращаясь к столику с аптекарскими весами и зеркалом. — Чем могу?..

— Э-э, ничем, спасибо. Я вообще-то Джуди искал. Не знаешь, где она?

— Джуди в костюмерной, — сказал он, принимаясь за работу. — Я-то подумал, это она тебя сюда за чем-нибудь прислала. Ох, Джуди... Душевный, конечно, человек, но без наворотов, блин, жить не может, а это уже бес-кай-фо-во.

Он замолчал, поглощенный взвешиванием, и наконец осторожно ссыпал на бумажку порцию белого порошка. Руки у него дрожали — вот что значит постоянный контроль качества товара, подумал я.

— Просто, когда поднялся весь этот кипеж, мне пришлось выкинуть свои весы, теперь вот хожу по всем, попрошайничаю — только в медпункт еще, мать их, осталось заглянуть... Прикинь, что сегодня учудила — целый день бегала, потирая нос, и напевала «Грамм-пам-пам!», «Грамм-пам-пам!». Даже в столовой — по фигу, что все смотрят. Хорошо, никто не прорубил, но все равно стремно.

Он кивнул на открытую «Историю искусства» Янсена. Добрая половина страниц была срезана под корешок.

— Вдобавок пакетики эти чертовы. У нее бзик, что они должны быть прикольные — разворачиваешь, а там Тинторетто какой-нибудь сраный. И чуть не в драку лезет, если я вырежу так, что чья-то там задница или буфера не окажутся прямо по центру.

— Как Камилла поживает? — спросил он вдруг.

— Нормально, — вяло ответил я. Мне совершенно не хотелось думать ни о греческом, ни о моих одноклассниках, включая и Камиллу.

— Как ей на новом месте?

— В смысле?

— Неужто не знаешь? — искренне удивился Клоук. — Она переехала.

— Ты чего, совсем... Куда?

— Без понятия. Куда-то рядом, наверно. Зашел тут к близнецам — дай-

ка мне вон то лезвие, — так вот, зашел вчера к близнецам, а Генри помогает ей шмотки укладывать.

Он отодвинул весы и теперь делал дорожки на зеркале.

— Чарльз сваливает на каникулы в Бостон, а она остается. Говорит, не хочет жить одна в большой квартире, а пускать съемщика — сплошные проблемы. Похоже, народу тут летом нормально будет, мы вот с Брэмом тоже хату себе подыскиваем.

Он протянул мне скрученную в трубочку двадцатку и приглашающим жестом указал на зеркало.

— Вот это я понимаю, — произнес я спустя полминуты, когда по синапсам поскакали первые искорки эйфории.

— Скажи, супер? Особенно после Лориного дерьма. Федералы послали его на анализ, так представляешь, там процентов восемьдесят талька было.

Он утер нос.

— Кстати, до тебя они тогда, случаем, не добрались?

— Фэбээровцы? Нет.

— Странно. После всей этой хрени про спасательную шлюпку, которую они всем впаривали.

— Какую еще шлюпку?

— Господи, да они всю дорогу какую-то пургу гнали. Что у нас тут сговор. Что замешаны я, Генри и Чарльз. Что мы все по уши в дерьме и в шлюпке есть место только для одного — того, кто заговорит первым.

Он снова нюхнул и энергично помассировал ноздри:

— Когда отец прислал адвоката, только хуже стало. «Зачем вам адвокат, если вы не виновны?», все такое. Вот только даже правовед этот гребаный никак не мог врубиться, чего от меня хотят. Они все твердили, что дружки мои — это, типа, Генри и Чарльз — уже меня сдали, что виноваты на самом деле они, но если я буду упираться, то навесят всё на меня.

Мое сердце скакало галопом — и не только от кокаина.

— Что — всё?

— А я знаю? Адвокат сказал, мол, не дергайся, это голимая разводка. Я спросил Чарльза — с ним ту же линию гнули. Короче... — извини, я так понимаю, ты Генри уважаешь, — но, по ходу, у него сыграло очко.

— Чего?

— Чего, чего. Он весь из себя такой правильный — наверно, даже ни одной библиотечной книжки ни разу не задержал, а тут на него ФБР, как снег на лысину. Черт его знает, что он им там наплел, но он реально

переводил стрелки, причем на всех подряд.

— На кого, например?

— На меня, например. — Он закурил. — И на тебя, прости за прямоту.

— На меня?

— Ну, я-то о тебе точно ни разу не заикнулся — блин, да я тебя, считай, и не знаю совсем. Но твое имя там всплыло.

— Хочешь сказать, они обо мне говорили? — ошарашенно переспросил я.

— Может, это Марион им что-то про тебя брякнула, не знаю. Там список километровый был: Брэм, Лора, даже Джад МакКенна... Про тебя всего пару слов сказали, уже под конец. Не спрашивай почему, но мне показалось, они и к тебе хотят нагрянуть. По-моему, это было как раз за день до того, как нашли Банни. Я как раз тогда у близнецов был. Генри как-то прознал, что федералы опять собираются к Чарльзу, и звякнул ему — мол, шухер, к тебе идут. Я, понятно, тоже не жаждал с ними встречаться, так что взял и слинял к Брэму, а Чарльз вроде забурился в какой-то бар и нажрался там до потери пульса.

Мое сердце, казалось, превратилось в огромный воздушный шар — сейчас он лопнет и разнесет мне грудную клетку. Неужели Генри потерял голову и попытался натравить ФБР на меня? Не сходится. Он никак не смог бы подставить меня, не подведя под монастырь и себя самого — по крайней мере, я не видел ни малейшей возможности. С другой стороны... («Паранойя, немедленно прекратить», — приказал я себе.) С другой стороны, что, если Чарльз заглянул тогда ко мне совсем не случайно? Может, он все понял и, втихоря от Генри, уберег меня от надвигающейся беды?

— Слушай, по-моему, тебе сейчас не помешает выпить, — заметил Клоук.

Я встрепнулся:

— Ага. Наверно, не помешает.

— Тогда тебе прямая дорога в «Старую корчму». «Чумной четверг» как-никак. Два по цене одного.

— А ты идешь?

— Ты че, мужик? Все идут. Ё-мое, хочешь сказать, ты никогда на «Чумном четверге» не был?!

И я отправился в «Старую корчму» вместе с Клоуком, Джуди, Брэмом, Софи, какими-то ее подружками и еще целой толпой незнакомого народа. Не помню, когда я вернулся домой, но проснулся я в шесть вечера на



следующий день, когда ко мне постучали. Голова раскалывалась, живот крутило, но я все же поднялся, накинул халат и открыл. На пороге, улыбаясь, стояла Софи и держала в руках бумажную тарелку с рогаликом. Судя по заляпанной глиной футболке и выцветшим джинсам, она была прямо с занятия по керамике.

— Ты как? Все путем? — спросила она, заходя.

— Угу, — промычал я и, покачнувшись, ухватился за спинку стула.

— Ну и надрался же ты вчера.

— Знаю.

Внезапно перед глазами поплыло красное марево. Мне не стоило вставать, нет, нет, это было огромной ошибкой.

— Решила вот тебя проведать, а то мне что-то беспокойно было. — Она засмеялась. — Ты целый день нигде не появлялся, а тут еще сказали, что флаг приспущен. Я испугалась, вдруг это ты умер.

Я присел на кровать и, глубоко дыша, уставился на Софи. Я видел ее во сне... или это был не сон? Кажется, мы с Брэмом играли в пинбол и пили виски, а рядом маячило ее неоновое-синее лицо. Потом был кокаин с коробочки от компакт-диска, потом, помню, я трясся в кузове пикапа, потом чья-то квартира... Дальше провал. Впрочем, зашевелилось смутное воспоминание: уставленная пивными бутылками кухня, на стене — календарь нью-йоркского Музея современного искусства, мы с Софи стоим у раковины и беседуем на какие-то очень серьезные темы. Внезапно страх ударил под дых. Банни! Не сказал ли я что-нибудь про Банни?

В полном смятении я напрягал память. Нет, я не мог, никак не мог. Ведь правда — если бы я сказал что-нибудь такое, Софи не пришла бы сейчас ко мне, не смотрела бы на меня с таким сочувствием и уж конечно же не принесла бы мне этот трогательный рогалик (от одного запаха которого — рогалик был с луком — меня выворачивало наизнанку)?

— А как я попал домой?

— Ты что, не помнишь?

В висках застучала кровь.

— Нет.

— Да, тяжелый случай. Мы уехали от Джека на такси.

— Куда?

— Сюда, к тебе.

Неужели мы переспали? Ее лицо ни о чем не говорило. Если да, я был бы только рад — Софи мне нравилась, я знал, что нравлюсь ей, кроме того, она была одной из самых симпатичных девушек в колледже, — но такие вещи хочется знать наверняка. Я начал прикидывать, как бы выяснить это

потактичнее, как в голову нечеловеческой болью отрикошетил стук в дверь.

— Войдите, — крикнула Софи, и на пороге возник Фрэнсис.

— Подумать только! — воскликнул он. — Встреча участников автопробега «Хэмпден — Шейди-Брук»! А меня пригласить, конечно, забыли!

— О, Фрэнсис, привет! Как поживаешь?

— Спасибо, прекрасно. Давненько мы с тобой не виделись.

— Я тебя как раз на днях вспоминала.

— Приятно слышать! Как твои успехи?

Я лег навзничь. Мне хотелось умереть, а они трещали как сороки над самым ухом. Я был бы рад выставить их взащей, но силы мои иссякли. Наконец оживленная беседа стихла.

— Так-так... И что же с нашим маленьким пациентом? — спросил Фрэнсис, бросив взгляд в мою сторону.

— Перепой.

Фрэнсис склонился надо мной, и я понял, что он чем-то взволнован:

— Надеюсь, это послужит ему уроком, — произнес он тем же шутливым тоном и добавил по-гречески: — Важные новости, друг мой.

Сердце зашло тоскливым ужасом. Все пропало. Я расслабился, сболтнул лишнее, и теперь...

— Что я натворил? — спросил я по-английски.

Фрэнсис, я знал, не мог не забеспокоиться, но ничем себя не выдал.

— Понятия не имею. Может, выпьешь чайку?

Я попытался вникнуть в смысл его слов, но удары молота по стенкам черепа не давали сосредоточиться. Огромная зеленая волна подкатила к горлу, замерла, готовая вырваться наружу, затем отступила. Я едва не рыдал от отчаяния. «Ах, если б меня оставили в покое... — думал я, — просто оставили в покое и дали полежать... одну минуту... абсолютно неподвижно...»

— Нет. Пожалуйста, — выдавил я.

— Пожалуйста что?

Набежала следующая волна. Перевернувшись на живот, я издал жалобный стон.

Софи оценила ситуацию первой.

— Пойдем, — сказала она Фрэнсису. — По-моему, ему нужно еще немного поспать.

Я погрузился в мучительную дремоту, откуда спустя какое-то время меня выдернуло негромкое «тук-тук-тук». Скрипнула дверь, на темном

полу высветился желтый прямоугольник, и в комнату проскользнул Фрэнсис. Включив настольную лампу, он пододвинул стул к кровати:

— Прости, но мне просто необходимо поговорить с тобой. Произошло нечто очень странное.

Прежний страх вновь растекся внутри комковатой склизкой жижей.

— Что? Что случилось?

— Камилла съехала. Совсем. Никаких ее вещей в квартире не осталось. Там сейчас Чарльз — мечется, как тигр в клетке. Говорит, она остановилась в «Альбемарль-инн». Можешь вообразить? В «Альбемарле»!

Я тер глаза, пытаюсь что-то припомнить:

— А, да, я слышал.

— Ты слышал? — Фрэнсис разинул рот. — Кто тебе сказал?

— Клоук, кажется.

— Когда?!

Я пересказал то, что удалось вспомнить.

— Просто вылетело потом.

— Вылетело? Как такое может вылететь?

Я приподнялся, и боль стиснула голову с новой силой.

— Какая, вообще, разница? — сердито спросил я. — Ничего удивительного, что ей надоело пьянство Чарльза. Он возьмет себя в руки, и она вернется.

— Но «Альбемарль», — простонал Фрэнсис. — Ты хоть знаешь, сколько там стоит номер?

— Догадываюсь, — бросил я с раздражением. «Альбемарль» был лучшей гостиницей в округе, там останавливались президенты и кинозвезды. — И что с того?

Фрэнсис схватился за голову:

— Ричард, ты глуп как пень. Тебе что, мозги вчера повредили?

— Что ты несешь?

— Двести долларов в сутки, как тебе это? По-твоему, близнецы могут себе такое позволить? Кто, как ты думаешь, платит за нее?

Я растерянно заморгал.

— Генри, вот кто, — объявил Фрэнсис. — Он приехал, когда Чарльза не было дома, и вывез ее со всеми вещами. Чарльз вернулся, а Камиллы нет, будто никогда и не было. Он даже не может ей позвонить, она зарегистрировалась под вымышленным именем. Генри, естественно, ничего ему не скажет. Мне, собственно, тоже. Чарльз вне себя. Он просил меня вытянуть из Генри хоть что-нибудь, я попробовал — как об стену горюх.

— Зачем вообще эти тайны мадридского двора?

— Ты меня спрашиваешь? Что движет Камиллой, я не знаю, но Генри, по-моему, совершает большую глупость.

— А почему ты решил, что она не могла съехать по собственному почину?

— Не тот случай, — ответил Фрэнсис. — Я знаю Генри не первый год, этот демарш от начала до конца в его духе. Но даже будь на то веская причина, так поступать нельзя, особенно после недавних событий. У Генри могло бы хватить ума не лезть на рожон после той истории с машиной.

Не без тревоги я вспомнил нашу с Чарльзом прогулку от участка.

— Да, я тут как раз собирался тебе рассказать... — начал я и поделился с Фрэнсисом своими впечатлениями.

— Разумеется, он злится, — фыркнул Фрэнсис. — Мне он тоже жаловался, что Генри все свалил на него. Но, если подумать, это полицейские зацепились за Чарльза и пошло-поехало, Генри тут в общем-то не виноват. Нет, он не поэтому так взбеленился. Истинная причина — Камилла. Хочешь знать мою теорию?

— Ну?

— Я думаю, Камилла и Генри уже довольно давно встречались. Тайком. Чарльз подозревал, но доказательств не было. Потом он что-то обнаружил. Не знаю, что именно, — ответил он на мой незаданный вопрос, — но знаю когда — перед похоронами. Я провожал близнецов в Коннектикут, и все было нормально, но помнишь, в каком состоянии мы застали Чарльза на следующий день? А на обратном пути они и словом не перемолвились.

Я рассказал про ночной звонок, свидетелем которого оказался Клоук.

— Ну, если даже наш вечно обкуренный друг что-то заметил... — вздохнул Фрэнсис. — Генри мучили головные боли, и, наверно, он утратил бдительность. А еще я думаю, что Камилла частенько навещала Генри в ту неделю после похорон, когда он залег на дно. Она точно была у него в тот вечер, когда я завозил книгу с микенскими надписями. Подозреваю, пару раз она там даже ночевала. Но Генри поправился, Камилла вернулась, и Чарльз вроде бы успокоился. Это было примерно в то время, когда ты возил меня в больницу, помнишь?

— Не знаю, не знаю...

Я изложил свои соображения о том, как в камине оказались осколки стакана.

— Ну, одному богу известно, что там между ними происходило на самом деле, но казалось, что они помирились. Генри тоже был в хорошем

настроении. А потом случилась та самая ссора, после которой Чарльз загремел в тюрьму. О причинах ее они предпочитают не распространяться, но я готов спорить на что угодно — поругались они из-за Камиллы. А теперь еще этот переезд.

— Как думаешь, он спит с ней? Генри, я имею в виду.

— Если нет, он сделал все возможное, чтобы убедить Чарльза в обратном, — сказал Фрэнсис, вставая. — Я звонил ему перед тем, как прийти сюда, его не было. Наверное, он в «Альбемарле». Сейчас поеду посмотрю, там ли его машина.

— Можно же, наверно, как-то узнать, в каком она номере?

— Я уже пробовал, но из чертовой перечницы, которая там за конторкой, клещами слова не вытянешь. Наверное, стоило поспрашивать горничных, но, боюсь, детектив из меня никакой. Эх, хоть бы пять минут поговорить с ней наедине...

— Думаешь, тебе удалось бы уговорить ее вернуться?

— Не знаю. Признаться, в данный момент я поостерегся бы даже приближаться к Чарльзу, не то что жить вместе с ним. И все же мне кажется, если б Генри не вмешивался, дело уладилось бы само собой.

Когда Фрэнсис ушел, я опять отключился и окончательно выплыл из сна в четыре утра, проспав в общей сложности без малого сутки.

Последнее время ночи стояли необычно холодные, так что в общежитиях снова включили отопление. Батареи работали на полную мощность, даже с настежь раскрытыми окнами в комнате было невыносимо жарко. Высунувшись наружу, я немного подышал свежим воздухом и так прибодрился, что решил прогуляться.

Незаметно для себя я забрел на площадку перед Центром развития малышей. Стрекотали сверчки, поскрипывали качели, в ярком свете полной луны серебрились спирали горок.

Самым потрясающим сооружением на площадке была, без сомнения, гигантская улитка — творение студентов с художественного факультета, взявших за образец соответствующего персонажа из «Доктора Дулиттла». Улитка была из розового стеклопластика, примерно двух с половиной метров в высоту, в ее полую раковину свободно помещались несколько ребятшек. Сейчас, в лунном свете, она показалась мне доисторическим созданием, спустившимся с гор после вековой спячки, — одинокая бессловесная тварь, терпеливо ожидающая неизвестно чего в окружении лесенок и песочниц.

Внутри экзотического моллюска вел начинавшийся у самой земли ход

диаметром чуть более полуметра. Я изрядно опешил, увидев, что из него торчат две явно не детские ноги, обутые в подозрительно знакомые туфли-лодочки — белые, с коричневыми накладками.

Опустившись на четвереньки, я просунул голову в отверстие, и в ноздри мне ударил зловонный перегар. В смердящей тьме раздавалось легкое похрапывание.

— Чарльз! — От стен отразилось гулкое эхо. — Чарльз!

Я потряс его за колено. Он отчаянно забился, словно неопытный ныряльщик, у которого вышел весь запас воздуха. Только после продолжительных заверений в том, что я — это действительно я, он прекратил барахтаться и, тяжело дыша, в изнеможении упал на спину.

— Ричард, — просипел он. — Слава богу, я подумал, это инопланетянин какой-то.

Поначалу я не видел ровным счетом ничего, но теперь различал его лицо в слабом розоватом свете — свете луны, проникавшем сквозь полупрозрачные стены. Рядом с его ногой что-то блеснуло, и, присмотревшись, я разглядел пустую четырехгранную бутылку с косой этикеткой — «Джонни Уокер».

— Что ты тут делаешь?

— Мне стало тяжело. Подумал... апчхи!.. подумал, если поспать тут, полегчает.

— И как, полегчало?

— Нет.

Он чихнул еще раз пять подряд и снова растянулся на полу.

Я представил, как утром детсадовцы окружают спящего Чарльза, словно лилипуты — выброшенного на берег Гулливера. Заведующая Центром развития малышей, с которой я иногда сталкивался на отделении общественных наук по дороге в кабинет шефа, производила на меня очень приятное впечатление — такая заботливая, добросердечная бабушка, — однако я был не уверен, что пьяный студент, решивший вздремнуть на площадке для ее подопечных, вызовет в ней лучшие чувства. Зато малыши, подумалось мне, несомненно, будут в восторге от загадочного сосуда с волшебным ароматом, когда пожалуют сюда после завтрака.

— Чарльз, вылезай.

— Отстань.

— Здесь нельзя спать.

— Я свободный человек и могу спать где хочу, — надменно объявил он.

— Пойдем лучше ко мне. Выпьем по глоточку.

— Не.

— Пойдем-пойдем.

— Ну, если только по глоточку...

Вылезая, он сильно приложился головой о край раковины.

— Тридцать капель — и все, — напомнил он, опершись на мое плечо, и мы поковыляли в Монмут.

Я и сам был далеко не в лучшей форме; затащив Чарльза в комнату, я с облегчением скинул его на кровать и рухнул рядом, вытирая пот. Отдышавшись, я пошел на кухню.

Предложение выпить было уловкой — я прекрасно помнил, что никакого спиртного у меня нет. В общем холодильнике нашлась только бутылка кошерного вина, похожего на клубничный сироп с добавлением спирта. Она стояла там с самой Хануки; однажды, месяца три назад, я уже собирался стянуть это пойло, но, попробовав его, тут же сплюнул и поставил на место.

Сунув бутылку под рубашку, я вернулся к себе, но комнату уже оглашал звучный храп Чарльза. Тихонько поставив вино на стол, я взял книжку и пошел в кабинет доктора Роланда, где улегся на диван, накрылся пиджаком и читал, пока не рассвело.

Проснувшись около десяти, я посмотрел на календарь и с удивлением понял, что на дворе суббота — в последнее время я потерял счет дням. Выходило, что у меня во рту не было ни крошки с самого четверга. Я рванул в столовую и успел ухватить завтрак — чай и пару яиц всмятку. Потом я пошел переодеться и обнаружил, что Чарльз все еще спит. Я побрился, сменил рубашку, взял книги и тетради и вернулся в кабинет.

Я сильно отстал по греческому, но, как это часто бывает, ситуация оказалась не такой плачевной, какой ее рисовало воображение. За зубрежкой время летело незаметно. Когда, около шести, я проголодался, то наведалься в преподавательскую и, исследовав холодильник, обнаружил контейнер со слипшимися ломтиками сыра и кусок торта. Утащив добычу в кабинет, я расправился с ней на восточный манер — пальцами — и снова засел за книги.

Мне хотелось принять ванну, и часам к одиннадцати я вернулся в общежитие. Там меня ждал сюрприз: Чарльз по-прежнему спал, разметавшись на кровати. На его щеках пылали малиновые пятна. Бутылка клубничного пойла наполовину опустела.

Я потряс его за плечо, он подскочил как ошпаренный и застучал

зубами:

— Б-банни! Куда он пошел?

— Чарльз, ты бредишь.

— Нет, нет, я видел его, он сидел в-вот здесь, на к-кровати.

Я сходил к соседу и попросил градусник. У Чарльза было почти тридцать девять и пять. Я заставил его выпить две капсулы тайленола, а потом спустился вниз и позвонил Фрэнсису.

Его не было дома, и я без особой надежды набрал номер Генри. К моему удивлению, трубку поднял Фрэнсис.

— Фрэнсис? Что ты там делаешь?

— О, Ричард, привет, — ответил он театральным тоном, истолковать который было нетрудно.

— Подозреваю, ты там не один и не можешь нормально разговаривать, так?

— Так.

— Все равно, мне нужен твой совет...

Я рассказал ему о злоключениях Чарльза, упомянув в том числе, где я его нашел.

— Мне кажется, он заболел. Как думаешь, что мне делать?

— Он спал в той гигантской улитке? Серьезно?

— Серьезно. Слушай, Фрэнсис, это не важно. Лучше скажи, как ему помочь? Я вообще-то волнуюсь.

Фрэнсис прикрыл трубку ладонью. До меня донесся приглушенный обмен репликами, затем голос Генри:

— Ричард, что случилось?

Я объяснил заново.

— Сколько? Тридцать девять и пять?

— Да.

— Если не ошибаюсь, это довольно много?

— Не ошибаешься.

— Говоришь, ты дал ему жаропонижающего?

— Буквально только что.

— Ну так подожди — ему должно стать лучше.

Это я и надеялся услышать.

— Хорошо.

— Он, наверное, подхватил простуду, когда спал на улице. К утру все должно пройти.

Я переночевал в кабинете шефа, сходил на завтрак, а потом, с



преогромным трудом украв в буфете большой пакет апельсинового сока и несколько булочек с черничным джемом, отправился в Монмут.

Чарльз не спал, но его вид оправдывал мои худшие подозрения — лицо горело, глаза лихорадочно блестели. Судя по всему, он провел беспокойную ночь: одеяло сползло на пол, простыни сбились в комок, обнажив желтоватый матрац. Бутылка из-под вина валялась на полу. Он сказал, что не голоден, и только выпил немного сока.

— Как ты себя чувствуешь?

— Голова болит, — сонно ответил он, уткнувшись в подушку. — Мне снился Данте.

— Алигьери?

— Да.

— И что?

— Мы гостили у Коркоранов и встретили там Данте, — пробормотал он. — Его друг, толстый такой, во фланелевой рубаше, страшно на нас ругался.

Я сунул ему градусник: тридцать восемь ровно. Меньше, чем было, но все же многовато, учитывая, что он только что проснулся. Я дал ему еще тайленола, написал на бумажке служебный номер доктора Роланда и принялся объяснять, что нужно сказать тетке на коммутаторе, чтобы она соединила с кабинетом преподавателя в выходной, но он посмотрел на меня таким смятенным, жалобным взглядом, что я осекся.

— Или, хочешь, посижу с тобой? Ну, то есть, если не помешаю, конечно.

— Не уходи. Мне страшно. Побудь со мной.

Он попросил меня почитать ему вслух, но ни одной книги на английском у меня не оказалось, а в библиотеку он меня не пустил. Поэтому мы принялись играть в юкер на словаре, который Чарльз держал на коленях, а когда стало ясно, что эта игра требует слишком больших умственных усилий, переключились на кассино. Он выиграл первые две сдачи, потом начал проигрывать. Когда снова пришла его очередь сдавать, он перетасовал карты так халтурно, что их последовательность осталась фактически прежней. Играть должно было быть легче легкого, но он, казалось, просто не понимает, где какая масть. Выкладывая карту, я случайно задел его руку — она источала сухой жар. Присмотревшись, я понял, что Чарльз дрожит, хотя в комнате было тепло. Я еще раз измерил температуру — тридцать девять и пять, как накануне вечером.

Пробормотав «подожди, сейчас вернусь», я спустился позвонить, но ни Фрэнсиса, ни Генри дома не было. Поразмыслив, я поднялся наверх и

постучался к Джуди.

Она валялась на кровати перед видеоманитофоном и смотрела фильм с Мелом Гибсоном. Я невольно восхитился тем, как ей удавалось одновременно красить ногти, курить сигарету и пить диетическую колу.

— Ты только посмотри на Мела! Ну как такого не любить? — обратилась она ко мне. — Да я б, наверно, прямо тут же за него вышла, если б он вдруг взял и предложил.

— Джуди, а что бы ты сделала, если б у тебя была температура тридцать девять и пять?

— Блин, к врачу бы пошла, конечно, — ответствовала она, не отводя глаз от экрана.

Я рассказал ей про Чарльза.

— По-моему, он всерьез разболелся. Может, посоветуешь чего?

Суша лак, она помахала перед носом кроваво-красными когтями.

— Отвези его в неотложку.

— Ты думаешь?

— Сегодня ж воскресенье, врача фиг вызовешь. Хочешь, возьми мою машину.

— Это было бы здорово.

— Ключи на столе, — рассеянно обронила она. — Чао.

Я повез Чарльза в больницу в Джудином «корвете». Нахохлившийся и притихший, он всю дорогу смотрел прямо перед собой, прижавшись щекой к прохладному стеклу. В приемной он бессильно опустился в кресло и, пока я листал хорошо знакомые мне журналы, не отрываясь смотрел на стену, где висела старая фотография. Она почему-то производила впечатление порнографической открытки, хотя там была запечатлена всего лишь строгая медсестра, которая, приложив бледный палец к выцветшим губам, призывала к соблюдению тишины.

Чарльз провел в кабинете пять-десять минут, когда врач — энергичная особа в «гавайке», светлых брюках и кроссовках, типичный «молодой специалист» из телешоу, — вышла с его карточкой и, оглядевшись, спросила что-то у медсестры за стойкой регистратуры. Та кивнула в мою сторону. Врач подошла и присела рядом:

— Добрый день. Я только что осмотрела вашего друга. Боюсь, нам придется оставить его здесь на пару дней.

Этого я никак не ожидал.

— А что с ним?

— Похоже на бронхит, но организм к тому же очень обезвожен,

поэтому первым делом мы поставим капельницу. Кроме того, нужно срочно сбить температуру. Думаю, ваш друг быстро поправится, но сейчас ему нужен отдых и курс сильных антибиотиков, а чтобы они начали действовать как можно быстрее, их тоже следует вводить внутривенно, по крайней мере первые сорок восемь часов. Вы вместе учитесь?

— Да.

— Скажите, у него сейчас какая-то стрессовая ситуация? Может быть, работает над курсовой или готовится к экзаменам?

— Он довольно сильно загружен, — осторожно ответил я. — А что?

— Нет-нет, ничего. Просто мне показалось, он недоедает. На руках и ногах синяки — похоже на недостаточность витамина С, но подозреваю, что с некоторыми витаминами группы В у него тоже не все в порядке. Он случайно не курит?

Я не удержался от смешка.

Увидеться с ним врач не позволила — сказала, что хочет взять анализы, пока не ушли лаборанты. Я поехал к Чарльзу домой за его вещами. Безупречно чистая квартира выглядела зловеще. Отыскав небольшой чемодан, я сложил туда пижаму, зубную щетку и бритвенные принадлежности, а также, в надежде немного подбодрить больного, пару книжек Вудхауса. Потом я вернулся в больницу и оставил чемоданчик в регистратуре.

На следующее утро, когда я собирался на греческий, голос Джуди за дверью сообщил, что меня к телефону. Я подумал, это Фрэнсис, или Генри (накануне вечером я безуспешно названивал им обоим), или даже Камилла, но это оказался Чарльз.

— Привет-привет. Как самочувствие?

— Уже лучше. — В его голосе звучала натянутая бодрость. — Тут, в общем, даже уютно. Спасибо, что завез чемодан.

— Не за что. У твоей кровати есть такая ручка, чтобы поднимать и опускать изголовье?

— Да, есть. Слушай, я хочу попросить тебя об одолжении. Сделаешь?

— Конечно.

— Мне нужно еще кое-что из вещей. — Он назвал какую-то книгу, почтовую бумагу, халат и подробно объяснил, где что найти. — Да, и бутылку виски. Она в ящике ночного столика. Завези прямо сейчас, ладно?

— У меня сейчас греческий.

— Ну, значит, после занятия. Когда ты сможешь подъехать?

— Зависит от того, когда смогу одолжить машину.

— Слушай, возьми такси, деньги я тебе отдам. Буду очень признателен, правда. Так когда появишься? В десять? Пол-одиннадцатого?

— Скорее, ближе к половине двенадцатого.

— Отлично. Слушай, я не могу больше говорить — звоню из комнаты отдыха, нужно вернуться в палату, пока меня не хватились. Ты точно приедешь?

— Разумеется.

— Значит, не забудь — халат и почтовая бумага.

— Хорошо.

— И виски.

— Само собой.

Я опаздывал. Войдя в кабинет, я увидел, что за столом сидят только Генри, Фрэнсис и недоумевающий Джулиан. Я объяснил, что Чарльз попал в больницу.

Хотя Джулиан не раз проявлял удивительную отзывчивость во всякого рода непростых ситуациях, меня порой посещало чувство, что в добром слове или поступке он видит прежде всего возможность элегантного жеста. Однако сейчас, как мне показалось, он искренне встревожился:

— Бедный Чарльз! Надеюсь, его болезнь не опасна?

— Я думаю, нет.

— К нему пускают посетителей? В любом случае я позвоню ему, как только освобожусь. Скажите, есть ли у него какие-нибудь особо любимые лакомства? Кормят в подобных заведениях просто отвратительно. Помню, много лет назад одну мою дражайшую знакомую положили в нью-йоркскую Пресвитерианскую больницу — в чертов Харкнесс-павильон, прости господи, — так вот, шеф-повар «Ле Шассер» ежедневно посылал ей обед...

Генри был абсолютно непроницаем. Я попытался поймать взгляд Фрэнсиса, на секунду мне это удалось, но он тут же отвел глаза.

— ...и цветы. Море цветов! — продолжал Джулиан. — Вся палата была заставлена букетами, это было что-то неопишемое. — Он усмехнулся. — Признаться, я заподозрил тогда, что по крайней мере некоторые из них доставили по ее собственному заказу. Да, были времена... Ну что же, о том, где сегодня Камилла, я могу не спрашивать.

Мы с Фрэнсисом обменялись изумленными взглядами, но тут же до нас дошло: Джулиан, естественно, имеет в виду, что она сидит у постели Чарльза.

— В чем дело? — нахмурился он. Мы только покачали головой.

— Нет нужды изображать спартанцев, — ласково сказал Джулиан после долгой паузы, и у меня отлегло от сердца: он, по обыкновению, истолковал наше замешательство как проявление душевной тонкости.

— Я понимаю, Эдмунд был вашим другом. Мне тоже очень его не хватает. Однако мне кажется, ваша скорбь уже переходит границы разумного, вы лишь понапрасну изводите себя. Его этим не вернешь. К тому же — неужели смерть действительно так ужасна? Она кажется ужасной вам, ибо вы молоды. Но кто возьмется утверждать, что Эдмунду сейчас хуже, чем вам? Кто возьмется утверждать, что вы не встретитесь с ним вновь, если смерть и вправду есть как бы переселение отсюда в другое место?<sup>[131]</sup>

Он открыл словарь и задумчиво полистал страницы:

— Не стоит страшиться того, о чем вы ничего не знаете. Вы словно дети — боитесь темноты.

Я надеялся, что меня подвезет Фрэнсис, но он пришел в колледж пешком, и мне пришлось обратиться к Генри. Втроем мы приехали к Чарльзу домой. Пока я собирал вещи, Фрэнсис нервно мерил шагами коридор, а Генри стоял в дверях спальни, наблюдая за мной с каким-то странно расчетливым выражением. Я несколько раз порывался спросить его, как дела у Камиллы (утром я твердо решил сделать это при первой возможности), но слова застревали в горле.

Отыскав книгу, почтовую бумагу и халат, я открыл ящик ночного столика и задумался.

— Что такое? — спросил Генри.

— Так, ничего...

Я решительно задвинул ящик. Чарльз, конечно, будет рвать и метать, ну да ладно, придется сочинить какую-нибудь отговорку.

— Он просил тебя привезти виски?

Обсуждать личные дела Чарльза с Генри мне не хотелось:

— Он просил еще и сигареты, но мне кажется, ему не стоит курить.

Услышав наш разговор, в спальню заглянул Фрэнсис. Они с Генри обменялись обеспокоенными взглядами.

— Знаешь, Ричард...

— Тебе определенно стоит ее захватить. Бутылку, я имею в виду, — закончил Генри.

Его безапелляционный тон меня разозлил:

— Ты вообще в курсе, что он болен? Это называется медвежья услуга...

— Ричард, он прав, — вмешался Фрэнсис, стряхивая пепел в горсть

левой руки. — Поверь мне, я кое-что знаю об этом. Опасно так вот взять и в одночасье бросить пить, развивается абстинентный синдром. Бывает, от этого умирают.

До сих пор мне как-то не приходило в голову, что пьянство Чарльза зашло настолько далеко. Я постарался скрыть смятение:

— Ну, если все так плохо, в больнице ему помогут, правда ведь?

— Помогут? — выгнул бровь Фрэнсис. — Хочешь, чтобы его перевели в наркологическое отделение? А ты знаешь, каково это? Когда моя мать первый раз лечилась от алкоголизма, она чуть с ума не сошла. Ей мерещились черти, она несла несусветную чушь и кидалась на медсестру с кулаками.

— Сердце разрывается при мысли о том, что Чарльз попадет в лапы наркологов Катамаунтской мемориальной больницы, — произнес Генри, доставая из ящика пузатую литровую бутылку, где оставалось чуть меньше половины.

— Спрятать такую будет довольно сложно.

— Можно во что-нибудь перелить, — предложил Фрэнсис.

— Не стоит — протечет, чего доброго. Проще купить новую — желательно плоскую.

Небо затянулось серой пеленой, слегка моросило. Генри в больницу не поехал, сославшись на какое-то важное дело, и мы завезли его домой. Выйдя из машины, он протянул мне стодолларовую купюру:

— Вот. Передайте Чарльзу привет. И пожалуйста, купите ему цветов.

Опешив, я машинально взял банкноту, но Фрэнсис выхватил ее у меня и сунул обратно Генри.

— Прекрати, — прошипел он.

— Нет, возьмите.

— Ну разумеется — сейчас поедem и купим цветов на сто долларов. Может быть, еще оркестр нанять?

— Не забудьте купить виски, — холодно напомнил Генри. — Оставшейся суммой распоряжайтесь по своему усмотрению, можете просто отдать ему деньги. Мне все равно.

Сунув купюру мне в руки, он аккуратно закрыл дверцу. Этот тихий щелчок был куда оскорбительней пощечины.

Мы купили плоскую бутылку «Катти Сарк», корзину фруктов, коробку птифуров и китайские шашки, а потом все же наведались в цветочный магазин — где, вместо того чтобы скупить весь запас гвоздик, выбрали красный горшочек с великолепной тигровой орхидеей.

По пути я поинтересовался, удалось ли Фрэнсису встретиться с Камиллой.

— Ох, не спрашивай, одно расстройство. Да, удалось. У Генри.

— И как она?

— Нормально. Слегка озабочена, но выглядит неплохо. Сказала, с решительным таким выражением, чтобы я ни в коем случае не сообщал Чарльзу, где она. Я хотел поговорить с ней наедине, но Генри, естественно, не пожелал оставить нас вдвоем ни на секунду.

Поморщившись, он полез в карман за сигаретами:

— Возможно, прозвучит несколько абсурдно, но, пока я не увидел ее собственными глазами, мне было немного не по себе. Были мысли, уж не случилось ли с ней что-нибудь.

Мне это тоже приходило в голову, и не раз.

— Ну, то есть... Я, конечно, не думал, что Генри убил ее, но все равно — это было очень странно: она взяла и исчезла, не сказав никому ни слова. — Он покачал головой. — Неприятная тема, но, честно сказать, иногда Генри вызывает у меня откровенное беспокойство. Особенно в том, что касается... ох, ты ведь понимаешь, о чем я?

Я понимал, что он имеет в виду, прекрасно понимал, но произнести это вслух не хватило духу ни у него, ни у меня.

Чарльза поместили в двухместную палату. Он лежал ближе к двери, за полузадернутой занавеской. Дальняя половина комнаты была открыта для обозрения — цветы на подоконнике, открытки с пожеланиями выздоровления на стенах. Ее обитатель — как выяснилось, начальник хэмпденской почты, только что перенесший операцию на простате, — сидел, облокотившись на подушки, и болтал с родственниками, которых набралось не меньше десятка. Пахло домашней едой, все шутили и смеялись, как на семейном празднике. Вслед за мной и Фрэнсисом в палату вошли две пожилые тетки с букетами. Они устремились было к почтальонской компании, но тут заметили Чарльза и, участливо переглянувшись, задержались у его занавески.

Вид Чарльза действительно располагал к состраданию. Лицо у него огрубело и покрылось мелкой сыпью, немытые волосы казались серыми. Опухший и насупленный, он лежал с капельницей и смотрел какие-то кошмарные мультики — злобные зверушки разбивали всмятку машины и колотили друг друга дубинками. Увидев нас, он попытался сесть. Тетки, похоже, умирали от любопытства, одна из них вытянула шею и в надежде завязать разговор каркнула: «Доброе утро!». Фрэнсис немедленно задержнул

занавеску прямо у нее перед носом.

— Дороти! Луиза!

— Идем-идем.

Шарканье, приветственное квохтанье.

— Черт бы их побрал, — хрипло прошептал Чарльз. — У него по сто посетителей на дню, и каждый норовит разглядеть меня получше, будто я уродец в спиртовой банке.

Я поспешно достал из пакета орхидею.

— Ого... Ричард, ты потратился на это ради меня?

Кажется, цветок его растрогал. Я собрался было объяснить, что это подарок от всех нас (естественно, не упоминая при этом Генри), но Фрэнсис полыхнул предупреждающим взглядом, и я промолчал.

Мы разложили прочие дары на одеяле. Я был готов к тому, что Чарльз тут же жадно приложится к виски, но он только сдержанно поблагодарил нас и спрятал бутылку в тумбочку.

— Ты разговаривал с моей сестрой? — спросил он Фрэнсиса. Вопрос прозвучал так, словно речь шла о разговоре с адвокатом.

— Да.

— У нее все в порядке?

— Вроде бы да.

— И что она сказала?

— О чем?

— Надеюсь, ты передал, что она может катиться ко всем чертям?

Фрэнсис не ответил. Чарльз принялся рассеянно листать одну из принесенных мной накануне книг.

— Спасибо, что навестили. А сейчас я что-то устал.

— Что-то он совсем плох, — сказал Фрэнсис, когда мы сели в машину.

— Может, уговорить Генри позвонить ему и извиниться?

— Какой в этом толк, если Камилла останется в «Альбемарле»?

— Она ведь даже не знает, что Чарльз в больнице.

— Что с того? Она не хочет его видеть.

Мерно поскрипывали дворники. Мы притормозили перед перекрестком. Регулировщик вдруг заулыбался и махнул нам — «проезжайте». Это оказался тот рыжеусый полицейский: по-видимому, он узнал машину Генри. Изобразив двух беспечных студентов, мы благодарно просигналили ему в ответ, а потом минут десять ехали в суеверном молчании.

— Должен же быть какой-то выход, — сказал я наконец.



— Знаешь, давай не будем лезть в это дело.

— Только не говори мне, что она не помчалась бы сломя голову в больницу, если б знала, в каком он состоянии.

— Кроме шуток, давай не будем вмешиваться куда не просят.

— Почему?

Но он больше не сказал ни слова, хотя я донимал его вопросами всю дорогу.

Я вошел к себе в комнату, и меня словно ударило током — за столом, погрузившись в чтение, сидела Камилла. Она обернулась:

— Привет. Ничего, что я зашла? Дверь была открыта.

Внезапно меня охватил гнев. Через сетку на подоконник хлестал дождь, я подошел закрыть окно.

— Чем обязан?

— Хотела с тобой поговорить.

— О чем?

— Как там мой брат?

— А почему б тебе не навестить его самой, а?

Она отложила книгу. На ней был серо-зеленый кашемировый свитер, и в пасмурном свете ее глаза играли темной морской волной. «Ах, как хороша...» — беспомощно подумал я, на секунду забыв обо всем.

— Я понимаю, ты решил, что должен встать на чью-то сторону. Но ты ничего никому не должен.

— А я и не становлюсь. Просто я думаю, что... В общем, я, конечно, не знаю подоплеки, но время для этой затеи ты все равно выбрала неудачное.

— Неудачное?.. Наверное, все же стоит тебе кое-что показать. Смотри.

Она приподняла прядь волос у виска, и я увидел затянутое корочкой пятно размером с четвертак — пук волос был выдеран с корнем.

— Это еще не все. — Она засучила рукав свитера. Запястье распухло, а на внутренней стороне локтя краснела глубокая лунка — садистский сигаретный ожог, изуродовавший нежную плоть.

— Что это?.. Камилла! Это Чарльз тебя так?

— Понял теперь? — бесстрастно спросила она, опуская рукав.

— И давно это началось?

Она не ответила.

— Я знаю Чарльза гораздо лучше, чем ты. Сейчас мне не стоит попадаться ему на глаза.

— Кто придумал, что ты должна переехать в «Альбемарль»?

— Генри.

— Скажи, при чем здесь вообще Генри?

Она молчала, и у меня мелькнула невероятная мысль:

— Или это он сделал?!

— Нет, конечно. Даже странно, что ты такое подумал.

— Теперь уж я не знаю, что и думать...

Солнце, выплывшее из-за тяжелой грозовой тучи, затопило комнату роскошным золотым потоком. Блики заплясали на полу, как на водной глади, все вокруг показалось сотканным из лучистой призрачной ткани, на фоне которой волшебным цветком распустилось лицо Камиллы. Я почувствовал яростное, почти непреодолимое желание схватить ее за распухшее запястье, вывернуть ей руку так, чтобы она закричала от боли, потом швырнуть на кровать, изнасиловать, задушить... Тут солнце скрылось, и наваждение рассеялось.

— Зачем ты пришла?

— Хотела увидеть тебя.

— Не знаю, захочешь ли ты хоть немного прислушаться к моему мнению...

Я презирал себя за этот надменно-уязвленный тон, но совладать с собой не мог.

— ...но я считаю, что, оставаясь в «Альбемарле», ты только усугубляешь ситуацию.

— Куда же мне, по-твоему, деваться?

— Почему бы тебе не пожить у Фрэнсиса?

Она усмехнулась:

— Потому что стоит Чарльзу топнуть ногой, и Фрэнсис все ему расскажет как миленький. Он и сам это понимает, хотя так и рвется помочь.

— Займи у него денег и живи где хочешь.

— Да, он предлагал.

Она достала из кармана сигарету — «Лаки страйк», с щемящим чувством заметил я, любимая марка Генри.

— Так возьми деньги и уезжай. И даже не говори Фрэнсису куда.

— Мы уже сто раз все это обсуждали. Штука в том, что я боюсь Чарльза, а Чарльз боится Генри. Вот и все.

— Так вот оно что... Значит, нашла себе телохранителя?

— Чарльз пытался убить меня, — просто сказала она.

— А Генри, случайно, Чарльза не боится?

— С чего бы?

— Неужто не догадываешься?

Поняв, что я имею в виду, она с изумившей меня горячностью бросилась на защиту брата.

— Чарльз этого не сделает! — выпалила она с детской убежденностью.

— А вдруг? Пойдет в полицию и все расскажет.

— Ни за что на свете.

— Почему ты так уверена?

— И выдаст всех нас? Себя в том числе?

— По-моему, сейчас ему может быть все равно.

Я хотел задеть ее и с удовлетворением понял, что мне это удалось. Ее отчаянный взгляд заметался по комнате.

— Возможно... Но пойми, его нынешнее состояние — это болезнь, и мне кажется, на каком-то уровне он все-таки отдает себе в этом отчет.

Она помолчала.

— Я люблю Чарльза. Люблю, и знаю его лучше всех на свете. Но когда он начинает пить, то становится совсем другим человеком. Никого не слушает, не помнит, по-моему, и половины того, что делает. Поэтому я даже рада, что он в больнице. Хотя бы пара дней без спиртного, и, может быть, в голове у него немного прояснится.

Знала бы она, что Генри заботливо снабдил его виски, подумалось мне.

— Думаешь, Генри желает Чарльзу добра?

— Конечно, — удивилась она.

— И тебе тоже?

— Естественно.

— Такое впечатление, что ты доверяешь Генри едва ли не больше, чем себе.

— Он ни разу меня не подвел.

Я снова взъярился — дико, беспричинно:

— Значит, даже не заглянешь к брату в больницу, так?

— Не знаю. Наверное, нет.

— Но рано или поздно вам придется встретиться. Что тогда?

— Ричард, почему ты злишься на меня?

Я взглянул на свои руки — они дрожали. Сам того не сознавая, я весь трясся от злости.

— Уходи. Будь добра, уходи.

— Что с тобой творится?

— Просто уйди, прошу.

Она встала и шагнула ко мне, я отпрянул.

— Хорошо, — пробормотала она, повернувшись и вышла.

Вечером я принял снотворное и отправился в кино. Показывали какой-то японский фильм, зал был пуст — только я и какой-то темный сгусток в заднем ряду. Тихо шипел проектор, по крыше стучал дождь, на экране загадочные персонажи молча расхаживали по заброшенному дому. Разобраться, что к чему, было невозможно. Кое-как досидев до конца, я вызвал такси и вышел на улицу.

С черного, как потолок кинотеатра, неба низвергался потоп. Вернувшись в пропахшее попкорном фойе, я позвонил Чарльзу, но дама на больничном коммутаторе отказалась соединить меня с его отделением — приемные часы давно закончились, все уже спят. Я все еще спорил с ней, когда за стеклянными дверьми высветились струи воды и перед входом, подняв веер брызг, притормозило мое такси.

В ту ночь мне приснилась лестница. Зимой я видел этот сон очень часто, но с тех пор он меня больше не посещал. Я опять стоял на узкой проржавевшей лестнице без перил — такой, как на складе у Лео, вот только уходила она в черную бездну и все ступени были разные: одни повыше, другие пониже, третьи такие узкие, что некуда толком поставить ногу. Я спешил, хотя жутко боялся упасть. Вниз, вниз, вниз — ступени становились все ненадежнее и наконец совсем растворились в воздухе, а где-то внизу — и это было самое страшное — с непостижимой быстротой спускался какой-то человек.

Я проснулся около четырех и больше не мог уснуть — расплата за дневную дозу транквилизаторов. Кровь пульсировала в кончиках пальцев. За моим отражением в темном окне стонал ветер, и, смыкаясь кольцом, подступали к дому враждебные холмы...

«Что, влюбленный, смотришь букой? Что ты хмур, как ночь?»<sup>[132]</sup>

Я пытался не думать, но в голову одна за другой лезли непрошенные мысли. Например: зачем Генри втянул меня в эту историю? Ибо я уже понимал, что его решение открыться мне было хорошо продумано. Он сделал ставку на мое тщеславие, заставил поверить, что я дошел до всего сам («Молодец! Я так и думал, что тебе ума не занимать», — со смехом сказал он тогда), и я нежился в лучах его похвалы, мнил себя проникательным наблюдателем, в то время как на самом деле (теперь-то я видел это яснее ясного) это он подвел меня к роковой фразе — направляя, подталкивая, льстя. Может быть — при этой мысли меня пот прошиб, — он подстроил даже то первое, случайное открытие: просто украл мой словарь, зная, что я обязательно за ним приду. Приду и обнаружу в квартире

невообразимый беспорядок, найду бумажку с номером рейса, оставленную (намеренно?) рядом с телефоном. Промах, недосмотр? Непохоже на Генри. Нет, он хотел, чтобы я все узнал. Он угадал, что трусость и стайный инстинкт заставят меня тут же встать на их сторону.

«Он ведь не дружеской поддержки у меня искал, — думал я, кусая губы. — *Без меня ему ничего бы не удалось.* Банни доверился мне, а я сдал его тепленьким ему прямо в руки и даже ни секунды не колебался».

«Ты подал нам сигнал тревоги, Ричард. Теперь ему будет вдвое легче повторить свой рассказ кому-нибудь другому. И раз так, у меня складывается ощущение, что дальнейшие события будут развиваться с головокружительной быстротой».

Как иронично прозвучала последняя фраза! Казалось, ситуация забавляет его. И он оказался совершенно прав, по крайней мере насчет головокружительной быстроты, — менее чем через сутки Банни был уже мертв. И хотя вовсе не я столкнул его с обрыва (что в свое время казалось очень существенной деталью), теперь это уже не имело значения. Боже мой, боже мой, как я мог?

Я все еще сопротивлялся чернейшей из всех мыслей, одно предвестие которой рождало во мне едкий страх. Неужели в случае провала плана Генри собирался сделать из меня козла отпущения? Я не мог представить, как такое возможно, но теперь у меня не было ни грамма сомнения в том, что при желании это не составило бы ему труда. Ведь я располагал только той информацией, которой он считал нужным со мной поделиться; практически все, что я знал, стало известно мне из вторых рук — по большому счету, очень многого я не знал вовсе. Кроме того, нет никакой гарантии, что опасность миновала навсегда. Я слышал, что уголовное преследование за убийство не имеет срока давности. Проходит год, двадцать, пятьдесят лет, обнаруживаются новые улики, и дело открывают снова. В газетах постоянно пишут о таких случаях.

За окном наступили блеклые утренние сумерки, начали выводить свои трели птицы. Я выдвинул ящик и сосчитал оставшиеся капсулы снотворного: яркие карамельки на листе белой бумаги. Пять, десять, пятнадцать... немало, для моих целей вполне достаточно. (Интересно, обрадовал бы миссис Коркоран такой поворот судьбы: украденные у нее лекарства убили убийцу ее сына?) Они так легко проскачат внутрь... но тут меня чуть не вывернуло от отвращения. Сколь гнетущей ни была нынешняя темнота, я страшился обменять ее на полную распухших тел потустороннюю яму, на вечный мрак. Я помнил тень этого мрака на лице Банни — тупой, животный ужас; весь мир опрокидывается вверх дном,

жизнь разлетается в клочья, уносится прочь с потревоженным вороньем, и над пустой оболочкой смыкается толща грозового, багрового неба. Гнилушки, мокрицы в прелой листве. Тьма и тлен.

В груди спотыкалось сердце. Я ненавидел эту жалкую, ущербную мышцу, которая тыкалась мне в ребра, как недобитая собака. По стеклам струился дождь, лужайка за окном превратилась в болото. Когда взошло солнце, я увидел, что дорожка перед Монмутом усеяна дождевыми червями: сотни гадких мягкотелых созданий слепо и беспомощно извивались на мокрых плитах.

Во вторник перед занятием, пока мы ждали остальных, Джулиан поделился со мной впечатлениями от разговора с Чарльзом.

— Судя по голосу, он чувствует себя весьма неважно, — озабоченно произнес он, перебирая бумаги на столе. — Постоянно сбивается, путается в мыслях. Должно быть, сказывается побочное действие лекарств.

Он помолчал и неожиданно улыбнулся:

— Бедный Чарльз. Я попросил его позвать Камиллу, а он сказал...

Тут его голос слегка изменился. Человек посторонний подумал бы, что Джулиан имитирует Чарльза, однако на самом деле это был его собственный, хорошо поставленный бархатный голос, просто теперь он звучал на полтона выше, — даже передавая чужую речь, Джулиан, казалось, не мог расстаться со свойственными ему певучими модуляциями.

— ...он сказал, так грустно-грустно: «Она прячется». Он конечно же грезил. Меня это очень растрогало, я решил подыграть ему и посоветовал: «Тогда закрой глаза и сосчитай до десяти — она вернется». И представляешь, Чарльз на меня рассердился! Нет, вскрикнул, нет, не вернется! Но, Чарльз, это же просто игра воображения, говорю я ему. А он отвечает: «Нет, это не воображение. Это реальность».

Врачам так и не удалось поставить Чарльзу точный диагноз. Они попробовали один антибиотик, затем другой, но инфекция не сдавалась. Третий препарат наконец подействовал. Фрэнсис навещался в больницу каждый день; в четверг ему сказали, что Чарльз пошел на поправку и, если не возникнет осложнений, на выходных его выпишут.

В пятницу около десяти я пошел к Фрэнсису — накануне мы решили съездить в больницу вдвоем. Вообще-то мы договаривались на половину двенадцатого, но моя комната мне опостылела. Делать что-нибудь осмысленное по такой жаре было невозможно, и мне оставалось только лежать, потеть, на грязных простынях и слушать стук молотков и верещание

дрелей. Строительный концерт начинался в половине восьмого — на лужайке перед Общинами уже несколько дней возводили какую-то монструозную конструкцию, идейными отцами которой были Джад и Фрэнк. Я слышал самые противоречивые мнения по поводу ее назначения — выставочный зал для скульптурных работ выпускников, сцена для рок-концерта, памятник «Грейтфул Дэд» в стиле Стоунхенджа, но, когда я впервые увидел из окна вознесшиеся к небу столбы с перекладинами, на какой-то миг меня захлестнула дикая паника: «Виселицы, это виселицы, на нашей лужайке устроят казнь!» Галлюцинация возвращалась потом еще не раз, стоило посмотреть на лужайку при необычном освещении. Это было похоже на объемную картинку с обложки романа ужасов: поверни так — улыбающийся светловолосый мальчуган, поверни сядь — череп в языках пламени. Днем конструкция казалась несуразной, дурацкой, безобидной, но ранним утром или под вечер она оборачивалась рядами виселиц, ожидающих своих жертв. По ночам их зловещие силуэты омрачали мой прерывистый, неглубокий сон.

На самом деле проблема была в том, что я основательно подсел на колеса. Транквилизаторы уже не вырубали меня по ночам с прежней эффективностью, но днем по их милости я погружался в сумеречное, подводное существование, разорвать плен которого можно было только при помощи стимуляторов. Впрочем, заснуть без снотворного я не мог (естественный сон казался чудесной сказкой, сладким детским воспоминанием), а запасы подходили к концу. Я мог бы пополнить их, обратившись к Клоуку или Брэму, но вместо этого решил на некоторое время вообще воздержаться от таблеток — в теории, в высшей степени разумное решение, вот только я оказался не готов к своего рода кессонной болезни, сопровождавшей всплытие с глубин.

Мир бушевал нестройными звуками и болезненно-яркими красками. Влага и жар, вездесущая зелень, настырное копошение жизни. Цветы герани пламенели на фоне белых дощатых фасадов, из трещин мраморных плит под ногами лезла сорная поросль. (Им было больше полувека, этим вспучившимся от жестоких январских морозов мощным дорожкам, их подарил городу один миллионер, отдохавший в Северном Хэмпдене каждое лето до тех пор, пока приход Великой депрессии не заставил его выброситься из окна своего офиса на Парк-авеню.) Голова раскалывалась, я мечтал о темных очках. Набрякшие тучи нависали над самыми крышами, деревья были окутаны душным маревом, горы на горизонте окрасились в аспидный цвет — надвигалась гроза. Жужжание ос и тарактенье

газонокосилок сливались в единый гул, пронзаемый криками стрижей.

Я свернул на Уотер-стрит. Проходя мимо дома Генри, я заметил в глубине сада коленапреклоненную фигуру. «Не может быть», — почему-то подумалось мне. Но это действительно был Генри — он что-то мыл, то и дело окуная тряпку в ведро с водой. Приглядевшись, я понял, что он тщательно протирает листья розового куста, и мне вспомнились несчастные садовники, встретившиеся Алисе в Стране чудес.

Я хотел окликнуть его, когда он закончит, но он был полностью поглощен процессом, так что, поразмыслив, я просто толкнул калитку и вошел:

— Генри, привет, что ты там делаешь?

Мое появление как будто несколько его не удивило.

— На моих розах отложили яйца листовертки. Лучший способ избавиться от них — протереть листья вручную.

В который раз я подумал, как хорошо он выглядит в последнее время. Привычная одеревенелость сменилась в нем какой-то тигриной грацией, и меня поражала раскованная уверенность его движений.

— Это «королева фиалок», — сообщил он, указывая на куст. — Благородный старинный сорт, выведен в 1860 году. А рядом — неплохой экземпляр «мадам Исаак Перейр». Цветы пахнут малиной.

— Камилла, случайно, не у тебя?

Он воспринял вопрос совершенно спокойно:

— Нет. Когда я уходил, она еще спала. Мне не хотелось ее будить.

Меня шокировала сквозившая в этих словах интимность. Плутон и Персефона. Я попробовал представить себе Генри и Камиллу вместе и почему-то сразу же подумал о его руках — больших, ухоженных, с квадратными ногтями.

— Как Чарльз? — неожиданно поинтересовался Генри.

— Да вроде ничего, — помявшись, ответил я.

— Полагаю, его скоро выпишут, — обронил Генри, возвращаясь к работе. Старые темные брюки, белая рубашка, подтяжки, скрещивающиеся на спине черным иксом — в своем садовом наряде он был немного похож на меннонита.

— Генри, не мое, конечно, дело, но я надеюсь, ты отдаешь себе отчет... — Я замолчал, ожидая хоть какой-то реакции, но он словно бы и не слышал. — Ты ведь уже больше недели не видел Чарльза и просто не представляешь себе, в каком он ужасном состоянии. Спроси Фрэнсиса, если мне не веришь. Или Джулиана — он общался с ним только по телефону, и то заметил. Я уже пытался тебе объяснить, но ты, по-моему, не



понял. Он сходит с ума, в буквальном смысле слова, а Камилла и не подозревает об этом. Страшно подумать, что будет, когда его выпишут. Боюсь, он даже не сможет сам о себе заботиться. Я просто хочу...

— Извини, не передашь мне вон те ножницы? — перебил меня Генри.

Я не пошевелился. Из открытых окон верхнего этажа доносились звуки радио, шаги, обрывки разговоров.

— Ладно, не беспокойся, — вежливо сказал он, потянувшись за инструментом. Раздвинув веточки на вершине куста, он долго примеривался и наконец выстриг одну из них.

— Да что с тобой такое? — Мне стоило большого труда не сорваться на крик. — Зачем ты так усложняешь всем жизнь?

Он не реагировал. Выхватив у него из рук ножницы, я швырнул их на землю:

— Я, кажется, задал вопрос!

Генри обернулся, в его пристальном взгляде не было ни гнева, ни изумления, вообще ничего, и мой запал внезапно угас.

— Скажи-ка... — тихо произнес он.

— Что?

— Тебе ведь, в сущности, не свойственно переживать за других?

— С чего ты взял? Конечно я переживаю за других, когда есть повод.

— Неужели? Я в этом сомневаюсь. Впрочем... какая разница? Мне тоже.

— К чему ты клонишь?

— Ни к чему, — пожал плечами Генри. — Просто долгое время моя жизнь была бесцветной и скучной. Мертвой. Даже простейшие вещи, которыми наслаждаются все, и те не доставляли мне удовольствия. Я чувствовал, что все мои действия пропитаны тлением.

Он отряхнул ладони:

— Но все изменилось. Той ночью, когда я убил человека.

Я был ошарашен и даже немного напуган столь откровенным заявлением — по негласному договору, если мы и касались этой темы, то исключительно иносказаниями и многозначительными намеками.

— Это был переломный момент в моей жизни, — спокойно продолжал он. — Вскоре стало возможным то, чего я на самом-то деле желал больше всего на свете.

— А именно?

— Жить не думая.

Подобрав ножницы, он снова принялся выстригать веточки:

— Прежде я был парализован, хотя и не понимал этого. Я привык жить

воображением, привык постоянно размышлять и сомневаться. Любое решение давалось мне с трудом. Я был скован по рукам и ногам.

— А теперь?

— Теперь я знаю, что могу сделать все, что захочу. — Он поднял глаза. — И если только я не заблуждаюсь самым прискорбным образом, ты тоже испытал нечто подобное.

— Не понимаю, о чем ты.

— Ну почему же? Прекрасно понимаешь. Прилив силы, восторга, уверенности. Внезапное ощущение богатства жизни. Сознание того, что перед тобой открыты все пути.

Он имел в виду ущелье, и я был вынужден признать, что его слова не лишены справедливости. После убийства Банни все мое восприятие стало иным — острым, свежим, свободным, и хотя нервы до сих пор не могли совладать с этой переменной, в целом я не мог назвать ее неприятной.

— При чем здесь это? Не понимаю, — сглотнув, ответил я ему в спину.

— Я и сам не до конца понимаю, честно говоря, — ответил он, отрезая после продолжительных колебаний еще одну веточку. — Знаю одно: почти все в этом мире не важно. Последние полгода убедительно это продемонстрировали. Вот только я вдруг почувствовал необходимость определиться с теми немногими вещами, которые все же важны.

Он осмотрел куст:

— Вроде бы готово. Или проредить еще немного?

— Генри, послушай меня.

— Не хочу увлекаться... Следовало бы подрезать их еще месяц назад — стебли начинают подгнивать, если этого не сделать, — но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Я чуть не плакал:

— Генри, пожалуйста, одумайся. Ты что, совсем с ума сошел?

Он выпрямился и вытер руки о штанины:

— Мне пора.

Повесив ножницы на гвоздь, вбитый в стенку сарая, он направился к дому. Я думал, он обернется, скажет что-нибудь, хотя бы бросит «пока», но он поднялся на крыльцо и скрылся за дверью, так и не оглянувшись.

Дверь в квартиру Фрэнсиса была приоткрыта, и я зашел не позвонив. Оказалось, он еще спит. В спальне стояла духота, пахло куревом и чем-то прокисшим. В недопитом стакане плавали окурки, на лаковой поверхности ночного столика пузырилось прожженное пятно.

Подойдя к окну, я поднял жалюзи, и в комнату хлынуло солнце.

Повернув голову, Фрэнсис пробормотал чье-то чужое имя, но спустя секунду узнал меня:

— А, это ты... Как ты здесь оказался?

Я напомнил, что мы договорились навестить Чарльза.

— Подожди, какой сегодня день?

— Пятница.

— Вот оно что, — выдохнул он. — Ненавижу пятницы. И вторники. Неудачные дни. Скорбные тайны на четках.

Он полежал, глядя в потолок, потом вдруг спросил:

— У тебя нет такого чувства, будто вот-вот должно произойти что-то ужасное?

— Нет, — решительно ответил я, хотя после разговора с Генри меня не покидало именно это ощущение. — А что такое, по-твоему, должно случиться?

— Не знаю. Может, и ничего.

— Проветрил бы ты, а? Не чувствуешь разве, как здесь воняет?

— Нет, не чувствую. У меня синусит, и обоняние атрофировалось.

Он машинально потянулся за сигаретами:

— Ох, как же мне тошно! А сейчас еще с Чарльзом встречаться... Нет, это выше моих сил.

— Мы же обещали.

— А сколько времени?

— Двенадцатый час.

Фрэнсис слегка оживился:

— Знаешь что? Давай-ка сначала пообедаем? А потом поедem в больницу.

— Вот еще, мы только испортим себе обед.

— Тогда давай пригласим Джулиана.

— Зачем это?

— Затем, что мне плохо, а его общество всегда поднимает настроение. — Он со стоном перекатился на живот. — Ну, может, и не всегда... не знаю. Что ты вообще ко мне привязался?

Джулиан, по обыкновению, сперва лишь приотворил дверь, но, увидев нас, тут же ее распахнул. Без долгих преамбул Фрэнсис спросил, не хочет ли он с нами пообедать.

— С превеликим удовольствием! — просиял он. — Сегодня утром произошло нечто очень странное — можно сказать, поразительное. Я вам расскажу по дороге.

Вещи, попадавшие, согласно Джулиану, в категорию «очень странных», нередко оказывались до смешного тривиальными. Поскольку он намеренно свел к минимуму свои контакты с окружающим миром, его изумление могли вызвать самые что ни на есть обычные предметы — скажем, банкомат. Случалось, он сообщал нам о каком-нибудь очередном замеченном в супермаркете новшестве так, словно это было нечто из ряда вон выходящее: один раз его потрясли сухие завтраки в форме вампиров, другой — йогурт в жестяных банках, не требующий хранения в холодильнике. Слушать его было сплошным удовольствием, и мы с Фрэнсисом стали наперебой уговаривать его рассказать нам о том, что случилось, прямо сейчас.

— Видите ли, утром секретарь филологического факультета занесла мне письмо. В канцелярии, как вам, возможно, случилось заметить, есть ящики для внутренней корреспонденции — некоторые преподаватели находят это весьма удобным, но я свой даже никогда не проверяю. Все, с кем я имею хоть малейшее желание общаться, знают, где меня найти. Так вот, это письмо, — он указал на стопку листочков на столе, — каким-то образом очутилось в ящике мистера Морза, а он сейчас в творческом отпуске. Его сын заезжал сегодня утром за почтой и обнаружил адресованное мне послание.

— От кого же оно? — поинтересовался Фрэнсис.

— От Банни.

Меня взяла отчаянная оторопь, но тут я увидел, что Джулиан насмешливо улыбается, наслаждаясь произведенным эффектом.

— Разумеется, Эдмунд не имеет к нему никакого отношения, — сказал он наконец. — Это фальсификация, и притом очень небрежная — текст напечатан на машинке, ни подписи, ни числа. Согласитесь, грубая работа?

— Напечатан? — обрел голос Фрэнсис.

— Да.

— У Банни не было пишущей машинки.

— Во всяком случае, он не подал ни одного задания в машинописном виде за все те четыре года, что был моим студентом. Насколько мне известно, он и печатать-то не умел. Или все же умел? — лукаво прибавил он.

Фрэнсис изобразил глубокую задумчивость.

— Нет, по-моему, нет, — неуверенно, словно все еще колеблясь, ответил он, и я тоже помотал головой, хотя прекрасно знал (как знал это и Фрэнсис), что печатать Банни умел. Своей машинки у него действительно не было, но он частенько просился к Фрэнсису или пользовался

библиотечными развалюхами. Собственно говоря, никто из нас не подавал Джулиану машинописных текстов — письменные задания, как правило, были на греческом или по крайней мере содержали греческие фразы. Генри рассказывал, что в свое время привез с Делоса портативную машинку с греческим шрифтом, но так и не смог освоить клавиатуру.

— Печально думать, что есть на свете люди, способные сыграть столь злую шутку. Не могу даже предположить, кому это могло прийти в голову, — сокрушался Джулиан.

— Как долго письмо пролежало в ящике? — спросил Фрэнсис. — Вам удалось установить?

— О, это еще один интригующий момент. По словам секретаря, мистер Морз-младший последний раз заезжал за корреспонденцией отца в марте. То есть оно могло очутиться в ящике когда угодно, хоть вчера.

Он указал на конверт:

— Видите? Ни обратного адреса, ни, разумеется, штемпеля, только моя фамилия — и та напечатана. Очевидно, что это дело рук бесчестного человека. И все же непонятно, зачем было тратить время на сей примитивный пасквиль? Честно говоря, я даже подумал, не показать ли его декану, хотя, небо свидетель, мне вовсе не хочется вновь поднимать шум вокруг имени Эдмунда.

Теперь, когда первое потрясение осталось позади, я через силу спросил:

— А что там написано?

— Можете взглянуть, если хотите, — пожал плечами Джулиан.

Я взял письмо, Фрэнсис пристроился рядом. Текст был напечатан через один интервал и занимал пять-шесть листов малого формата. Некоторые буквы были черные снизу и красные сверху — знакомая картина. У машинок в круглосуточном зале библиотеки всегда заедало переключатель цвета ленты.

Первые же строки этого обрывочного, бессвязного послания убедили меня в его подлинности. Я пробежал его наискось и не могу воспроизвести подробности, но помню, что в голове у меня промелькнуло: «А ведь Банни был куда ближе к нервному срыву, чем мы думали». Буквально в каждом предложении встречались непристойности и ругательства; я бы никогда не подумал, что Банни осмелится использовать подобную лексику, обращаясь к Джулиану. Хотя подписи не было, некоторые детали недвусмысленно указывали на то, что повествование ведется от лица Банни Коркорана. Текст изобилует характерными орфографическими ошибками, но Джулиану они, к счастью, вряд ли что-нибудь сказали — Банни, знавший за

собой этот грех, всегда просил кого-нибудь проверить его работу перед сдачей. Впрочем, возможно, даже я усомнился бы в авторстве, если бы не упоминание осеннего убийства. «Он просто сучий выродок, убийца, — гласило письмо (имелся в виду Генри). — Одного уже прикончил теперь и ко мне подбирается. Остальные с ним заодно. Того фермера которого они в ноябре грохнули, его фамилия МакРи. Забили мужика насмерть хотя точно не знаю». Среди прочих обвинений попадались справедливые (секс между близнецами), но все вместе производило впечатление абсолютного бреда. Мое имя не упоминалось. Пьяно-покаянный тон письма был мне хорошо знаком, однако лишь много позже я сообразил, когда же, скорее всего, Банни сочинил эту депешу: в ту самую ночь, когда нанес мне эпохальный визит, либо перед ним, либо сразу после (вероятно, все же после, и если так, то мы чудом не столкнулись, когда я побежал в лабораторный корпус звонить Генри).

Кроме приведенного выше пассажа, я помню лишь одну фразу, отозвавшуюся во мне невыносимым стыдом: «Спасите меня Пожалуйста!! пишу потому что только вы и можете мне помочь».

— Ну, не знаю, кто автор этой белиберды, но с орфографией он не в ладах. Впрочем, как и с пунктуацией, — объявил Фрэнсис, и Джулиан посмеялся. Видимо, он не допускал и мысли, что письмо действительно написал Банни.

Фрэнсис задумчиво перебирал листочки. Дойдя до предпоследнего, немного отличавшегося от других размером и цветом, он перевернул его:

— Такое впечатление, что...

— Да? — вежливо спросил Джулиан.

— ...что господину Анониму не мешало бы заменить ленту, — закончил Фрэнсис после паузы. Сказать он собирался совсем не это — секунду назад мы оба увидели, что на обороте предпоследнего листа красуется эмблема отеля «Эксельсиор» — четыре узорчатых зубца.

Я попытался отвести глаза, но слова HOTEL EXCELSIOR, ROMA притягивали взгляд как магнитом.

Проклиная себя за скупость, Генри потом рассказал нам, что Банни, незадолго до гибели, просил купить ему новую пачку почтовой бумаги — дорожной бумаги верже английского производства. «Мы ходили по универмагу, и он выпрашивал без конца. Что мне стоило! Но я подумал, особого смысла уже нет...»

— Признаться, я не дочитал его, — сказал Джулиан. — Злоумышленник, кто бы он ни был, находился в крайне расстроенном состоянии духа. Разумеется, я не могу ничего утверждать, но, полагаю, это

написано кем-то из студентов, как вы считаете?

— Да, сложно вообразить, что на такое способен преподаватель, — подтвердил Фрэнсис, небрежно переворачивая лист эмблемой вниз. Я знал, что на уме у него вертится то же, что и у меня: «Как бы нам его украсть? Как бы нам его?..»

Надеясь отвлечь Джулиана, я подошел к окну.

— Замечательные выдались деньки, не правда ли? Дивные, просто дивные. А всего лишь месяц назад землю покрывал снег... — Я разливался соловьем, едва соображая, что говорю.

— Да, погода стоит прекрасная, — раздался слегка удивленный голос Джулиана — увы, вовсе не оттуда, откуда хотелось бы. Я оглянулся — Фрэнсис так и стоял у стола. В этот момент Джулиан повернулся к вешалке, и я было возликовал, но стоило Фрэнсису протянуть руку, как Джулиан, накидывая плащ, уже обратил на нас выжидающий взгляд:

— Ну что, молодые люди, вы готовы?

— Конечно, — ответил Фрэнсис с напускным энтузиазмом. Пропустив нас в коридор, Джулиан запер кабинет, и мы, беседуя, направились к машине.

Обед был сплошной пыткой. Мы сидели за столиком у окна (слепящий блеск стекол только усиливал мое смятение) и без конца обсуждали злосчастное письмо. Кто написал его — кто-то из студентов? Или все-таки преподаватель? Может быть, аноним имеет зуб против Джулиана? Или против нас? Джулиан выдвигал самые разнообразные предположения; я в основном ограничивался поддакиванием, так что Фрэнсису пришлось взять разговор на себя. Он довольно успешно изображал непринужденность, разве что вино исчезало из его бокала подозрительно быстро.

Джулиан, насколько я мог судить, пребывал в уверенности, что стал жертвой розыгрыша. Но эмблема заставит его посмотреть на письмо совсем другими глазами — ему, разумеется, было известно, что Банни и Генри останавливались в «Эксельсиоре». Оставалось надеяться, что он его попросту выбросит. Однако Джулиана прельщали всевозможные тайны и интриги, и я чувствовал, что рассуждения на эту тему только начинаются. У меня из головы не шло его замечание насчет декана. Я понимал, что письмо нужно выкрасть — любым способом, хоть взломав кабинет. Однако даже этот вариант предполагал задержку до вечера. К тому же не факт, что Джулиан не возьмет письмо домой.

Я тоже приналег на вино, а с десертом заказал вместо кофе бренди. Фрэнсис дважды отлучался к телефону — я догадывался, что он пытается

дозвониться до Генри, чтобы попросить его навеститься в кабинет, пока Джулиан пленен в «Бистро». Напряженная улыбка, с которой он возвращался к столу, говорила мне о провале лучше слов. Во второй раз до меня дошло, что ему нужно было сделать: притвориться, что идет звонить, а самому смотреть в Лицей. Я мог бы провернуть эту затею и сам, будь у меня ключи от машины. Тут меня посетила следующая гениальная мысль — нужно сказать, что я оставил в салоне какую-то важную вещь. Но Фрэнсис уже расплачивался.

По дороге на кампус я остро осознал, насколько мы привыкли к возможности обмениваться конфиденциальной информацией при посторонних — обычно мы могли, под видом афоризма или цитаты, бросить другу предупреждающую греческую фразу. Но в присутствии Джулиана это тайное оружие было бесполезным.

Джулиан не пригласил нас вернуться с ним в кабинет, мы распрощались в машине. Поднявшись на крыльцо Лицея, он помахал нам и скрылся за дверью.

Радужная улыбка сбежала с лица Фрэнсиса, и в тот же миг он со всего размаху саданул лбом о руль:

— Черт! Черт! Вот гадство! Ричард, мы пропали!

— Успокойся.

— Все кончено! Нас ждет тюрьма! — голосил он, обхватив голову руками.

Как ни странно, его истерика придала мне самообладания:

— Хватит орать. Надо подумать, как действовать.

— Слушай, давай просто смоемся. Если выехать прямо сейчас, затемно будем в Монреале. Продадим машину и сядем в автобус, ну, например, до Саскачевана или куда там еще. Заберемся в самую глушь, где нас никто не найдет.

— Фрэнсис, прекрати. Думаю, еще не все потеряно.

— Не все потеряно? На что ты надеешься?

— Для начала нам нужно найти Генри.

— Генри? Зачем? Он совсем сбрендил, даже слушать нас не...

— У него ведь, кажется, есть ключ от кабинета? Не помнишь?

Фрэнсис притих и задумался:

— Да... По-моему, есть. Раньше, по крайней мере, был.

— Отлично. Значит, все просто — мы приедем сюда втроем, он выманит Джулиана, а кто-нибудь из нас войдет через черный ход и выкрадет письмо.



Этот блестящий план уперся в одно досадное обстоятельство — найти Генри оказалось далеко не просто. Дома его не было. Мы поехали в «Альбемарль» посмотреть, нет ли на стоянке его машины, и, выяснив, что нет, прокатились обратно на кампус — проверить библиотеку. Потерпев неудачу и там, мы поняли, что нужно переходить к решительным действиям, и вернулись в гостиницу.

«Альбемарль» был построен в девятнадцатом веке и сначала служил чем-то вроде пансионата для очень богатых людей, нуждавшихся в отдыхе после лечения. Впоследствии в нем останавливались все посещавшие Хэмпден знаменитости, от Киплинга до Франклина Рузвельта. Этот небольшой шикарный особняк с тенистой террасой был совсем не похож на отель и напоминал скорее летнюю резиденцию какого-нибудь миллионера.

— Ты пытался спрашивать на регистрации? — обратился я к Фрэнсису, пока мы шли по саду.

— Забудь об этом. Во-первых, я не знаю, под какой фамилией Камилла записана. Во-вторых, Генри, похоже, провел разъяснительную беседу с консьержем и его женой — уж не знаю, что он сочинил, но вчера, стоило мне только задать вопрос, эта мегера притворилась, будто в упор меня не видит.

— А можно как-нибудь незаметно просочиться мимо конторки?

— Сомневаюсь. Я как-то навещал здесь матушку и Криса. Насколько я помню, лестница одна и на виду у консьержа.

— А на первый этаж?

— Дело в том, что они, по-моему, наверху — Камилла обронила что-то вроде «когда мы поднялись». Конечно, должна быть пожарная лестница, но я не знаю где.

Мы зашли на террасу и приблизились к стеклянной двери. В холле сидел, уткнувшись в газету, пожилой консьерж.

— Ты с ним разговаривал?

— Нет, я же тебе сказал, с его женой.

— То есть он тебя не видел?

— Нет.

Мы вошли — я первый, Фрэнсис за мной. Оторвавшись от «Беннингтонских известий», консьерж смерил нас надменным взглядом поверх очков. Чопорный новоанглийский пенсионер — весьма распространенный типаж. Такие подписываются на антикварные журналы и гордо демонстрируют свою поддержку некоммерческого телевидения, расхаживая с их фирменными холщовыми сумками.

Адресовав ему заранее заготовленную улыбку, я как бы ненароком взглянул на доску для ключей — три ряда гвоздиков соответствовали, очевидно, трем этажам. На втором не хватало трех ключей: 2-В, 2-С, 2-Е, на третьем — одного, 3-А.

Консьерж сухо улыбнулся в ответ:

— Чем могу быть полезен?

— Скажите, пожалуйста, наши родители уже прибыли из Калифорнии?

Удивленно подняв брови, он открыл свой фолиант:

— Как фамилия?

— Рэйберн. Мистер и миссис Клоук Рэйберн.

— Я не вижу записи о бронировании.

— Мне кажется, они и не бронировали.

— Как правило, мы просим наших гостей заказывать номер по меньшей мере за двое суток и вносить залог.

— Родители как-то не подумали, что это необходимо, ведь еще не сезон.

— В таком случае не могу гарантировать наличие свободных мест.

Я бы с удовольствием заметил, что его гостиницу вовсе не осаждают толпы потенциальных постояльцев, но вместо этого снова расплылся в улыбке:

— Ну что ж, значит, мама с папой рискуют. Их самолет приземлился в Олбани два часа назад, они должны появиться с минуты на минуту.

— Очень хорошо.

— Вы не против, если мы подождем их здесь?

Естественно, он был против, но заявить об этом не мог. Поджав губы, он кивнул — я не сомневался, что он уже начал готовить лекцию о необходимости своевременного бронирования, которой он встретит моих родителей, — и нарочито громко зашуршал газетой.

Мы уселись на музейного вида диванчик, подальше от консьержа. Фрэнсис все время ерзал и оглядывался.

— Не хочу здесь торчать, боюсь, его жена придет, — прошептал он мне на ухо.

— Н-да, сволочной старичок, нечего сказать...

— Она еще хуже.

Консьерж всячески подчеркивал, что не смотрит в нашу сторону, даже немного развернулся к двери. Я тронул Фрэнсиса за локоть:

— Сейчас вернусь. Если что, скажи, я пошел в туалет.

Мягкий ковер приглушал звук шагов. Прокравшись на второй этаж, я

подошел к двери с табличкой 2-С и, собравшись с духом, осторожно стукнул. Ответа не было. Я постучал сильнее:

— Камилла! Ты здесь?

В этот момент в 2-Е затыкала собачонка. «Отпадает», — подумал я и переместился к 2-В, откуда тотчас выглянула дама в костюме для гольфа:

— Вы кого-то ищете?

Забавно, думал я, прыжками преодолевая ступени, у меня ведь было ясное предчувствие, что она на третьем этаже. В коридоре я пролетел мимо сухопарой особы — вредное острое личико, очки в черной оправе, — которая несла стопку полотенец:

— Стойте! Вы куда?

Но я уже молотил в дверь 3-А:

— Камилла! Это я, Ричард!

И тут она возникла передо мной, словно видение, в светлом проеме двери:

— Привет! Как ты тут...

— Да что же это делается? Кто вы такой? — прошипела, подбегая, жена консьержа.

— Все в порядке, — заверила ее Камилла, впуская меня. Я автоматически отметил, что гостиная очень красивая — просторная, с отделанными дубом стенами и мраморным камином. За приоткрытой дверью виднелась незастеленная двуспальная кровать.

Камилла — босая, в белом халатике — удивленно смотрела на меня.

— Генри... здесь? — спросил я, пытаюсь отдышаться.

На ее щеках вспыхнули пунцовые пятна:

— Что случилось? Что-то с Чарльзом, да?!

Я напрочь забыл о его существовании:

— С Чарльзом все нормально. Нет времени объяснять. Мне нужен Генри, срочно. Где он?

— Э-э... — Она взглянула на часы. — У Джулиана, наверное.

— У Джулиана?!

— Да, а что? У них занятие — в два часа, если не ошибаюсь.

Кубарем скатившись с лестницы, я махнул Фрэнсису, и мы вылетели на улицу.

— Что будем делать? Подождем у Лицея? — спросил Фрэнсис, поворачивая ключ в зажигании.

— Так мы его, чего доброго, упустим. Лучше я загляну в кабинет.

Вырулив с парковки, мы поехали на кампус. Закурив, Фрэнсис

внезапно приободрился:

— А вдруг мы зря волнуемся? Вдруг Генри уже забрал этот чертов лист?

У меня мелькнула та же надежда. Генри, без всякого сомнения, значительно превосходил нас с Фрэнсисом ловкостью рук — скорее всего, стащить из стопки один листок не составит ему труда. Кроме того, как бы по-детски это ни звучало, Генри был любимцем Джулиана. Он мог бы, наверное, уговорить того на некоторое время отдать письмо — под предлогом анализа шрифта, например, да мало ли что еще можно придумать? Главное, чтобы он заметил эмблему.

Фрэнсис покосился на меня:

— А что будет, если Джулиан все же узнает?

Допущение было настолько немыслимым, что мне в голову приходили только мелодраматические и, я сам понимал, маловероятные сцены: Джулиан умирает от сердечного приступа; Джулиан рыдает, сломленный горем.

— Я не верю, что он сообщит полиции, — продолжал Фрэнсис.

— Не знаю, не знаю.

— Да нет же! Он любит нас. Мы для него почти как родные дети.

Мне хотелось верить, что это так, ведь сам я питал к Джулиану любовь и доверие высшей пробы. Теперь, когда мой контакт с родителями фактически прервался (естественный результат многих лет безразличия с их стороны), именно Джулиан стал для меня воплощением отеческой доброты, да и доброты вообще. Я считал его единственным своим защитником.

— Он должен понять, что это была ошибка, — не унимался Фрэнсис.

— Может быть...

При мысли о том, что Джулиан узнает о нашем преступлении, меня по-прежнему охватывало чувство нереальности такого исхода. Тем не менее, пытаясь представить, как можно объяснить наши действия постороннему, я вдруг подумал, что если нам и удалось бы перед кем-нибудь оправдаться, то именно перед Джулианом. Может быть, он, подобно мне, усмотрел бы в этой истории вмешательство рока и высокий трагизм, а вовсе не трусость, подлость и эгоизм, к которым на самом-то деле все и сводилось.

— Помнишь, что Джулиан сказал, когда мы как-то обсуждали «Махабхарату»? — спросил Фрэнсис.

— Что?

— В древней Индии убийство в битве не было грехом, если воин не

чувствовал угрызений совести.

Я слышал от Джулиана это высказывание и не понял тогда, что он имеет в виду.

— Мы не индийские воины, — ответил я.

— Ричард... Здравствуй!

Тон приветствия Джулиана давал понять: он, конечно, рад меня видеть, но в данный момент мое присутствие нежелательно.

— Прошу прощения. Скажите, Генри у вас? Можно мне его на минутку?

— Разумеется, — удивленно ответил он, впуская меня.

Генри сидел за столом, рядом, ближе к окну, стоял пустой стул. Я сначала подумал, что отвлек их от занятия, но затем сообразил, что представляет собой кипа листочков, лежащая прямо перед ним.

— Генри, можно с тобой поговорить?

Он ответил недовольным кивком. Я было повернулся к двери, но он не шелохнулся. «Черт побери, он небось воображает, я пришел продолжить наш последний разговор», — подумал я и попытался поймать его взгляд, но тщетно.

— Ты не мог бы выйти со мной? Ненадолго.

— Зачем?

— Мне нужно кое-что тебе сообщить.

— Это кое-что обязательно должно быть сказано с глазу на глаз?

Мне хотелось его придушить. Джулиан стоял, опираясь на спинку стула, и смотрел в окно; до сих пор он делал вид, что не слушает нас, но тут любопытство пересилило:

— Ричард, что-то случилось? Плохие новости? Может быть, оставить вас вдвоем?

— Нет, что вы, ни в коем случае, — произнес Генри.

— У тебя все в порядке? — обратился Джулиан ко мне.

— Да-да, просто мне нужен Генри, буквально на секунду. У меня к нему срочное дело.

— Настолько срочное, что не может подождать полчаса? — безучастно поинтересовался Генри.

Взяв в руки лист, он рассмотрел его на свет, отложил, взял следующий...

— Генри, это очень важно. Нам нужно поговорить прямо сейчас.

Он наконец почувствовал неладное. Пожав плечами, он встал, при этом машинально перевернув лист, и у меня перехватило дух — даже со

своего места у двери я различил те самые узорчатые зубцы и строчку под ними, которая, я знал, гласила: «Отель Эксельсиор, Рим».

— Хорошо, пойдем выйдем, — сухо произнес Генри и добавил, повернувшись к Джулиану:

— Извините, я сейчас вернусь.

— Не торопитесь, — озабоченно произнес Джулиан. — Я искренне надеюсь, что не произошло ничего серьезного.

Я был готов рвать на себе волосы. Мне удалось завладеть вниманием Генри, но что теперь толку!.. Не зная, что делать, я застыл на месте.

— Что с тобой? — спросил Генри. Он был уже не на шутку встревожен и всматривался мне в лицо, пытаясь найти ответ. Джулиан тоже наблюдал за мной. Проклятый лист лежал у него на виду, ему стоило лишь опустить взгляд.

Сделав вид, что о чем-то задумался, я украдкой скосил глаза на письмо, вновь посмотрел на Генри. Он понял все в один миг и потянулся к письму небрежным, плавным движением — быстрым и все же запоздавшим на ту долю секунды, когда Джулиан, привлеченный жестом, тоже взглянул на стол.

Воспоминание о наступившей затем тишине и поныне обжигает мне память. Склонившись, Джулиан долго разглядывал эмблему. Затем сел, надел очки для чтения и принялся тщательно просматривать листочки один за другим.

С улицы доносились детский смех, крики. Все мысли исчезли, оставив в голове странную легкость. Наконец Джулиан сложил письмо и убрал во внутренний карман:

— Так-так-так...

С самого утра я перебирал возможные варианты реакции Джулиана, но, как это часто бывает, не предвидел самого вероятного исхода — бесстрастного «так-так-так», отозвавшегося во мне вовсе не страхом, а детским стыдом, от которого пылают уши и хочется спрятаться под стол. Взглянув на Генри, я понял, что он чувствует то же самое. Я ненавидел его, минуту назад мне хотелось его убить, но зрелище его унижения не доставило мне удовольствия. Я подумал про Камиллу в «Альбемарле», про Чарльза в больнице, про Фрэнсиса, который с надеждой ждет меня в машине.

— Джулиан, я все объясню, — сказал Генри.

— Будь любезен.

Я давно заметил, что Генри и Джулиан одинаково хорошо умеют создавать вокруг себя ауру неприступности, и всегда полагал, что в таких

случаях Генри просто сгущает и без того свойственную ему холодность, а Джулиан, напротив, вынужден усилием воли облекать в ледяную броню свою, в сущности, добродушную и мягкую натуру. Но сейчас я при всем желании не мог усмотреть в чертах Джулиана ни напускной строгости, ни скрытой симпатии и теплоты. С меня будто бы сорвали волшебные очки, и тот, кого я привык считать своим наставником и покровителем, вдруг оказался просто малознакомым человеком — настороженным, непредсказуемым, равнодушным.

Генри начал свой монолог. Слышать, как он запинаясь и подбирает слова — это Генри-то! — было так больно, что моя психика, видимо, периодически отключала восприятие, и запомнил я в результате лишь несколько фраз. Первая тирада — горячая, но самоуверенная — канула в арктическом безмолвии, и тогда он сбился на оправдательный тон, в который вскоре вкрались умоляющие нотки. «Мне было очень неприятно вам лгать...» *Неприятно* — можно было подумать, он извиняется за опоздание или скверную подготовку к уроку! «Мы не собирались вам лгать, но у нас не было выхода. Ну, то есть мне так казалось. То первое происшествие... совершенно не стоило беспокоить вас из-за несчастного случая, правда? А что касается Банни, вы ведь, наверное, знаете, что под конец он был, можно сказать, несчастен? Неурядицы в семье, личные проблемы...»

Каждое его слово отдавалось во мне нестерпимым позором. Мне хотелось зажать уши и выбежать вон, но я словно бы прирос к месту. Наконец я почувствовал, что не вынесу больше ни секунды, и, сбросив оцепенение, попятился к двери. Джулиан заметил мое движение.

— Довольно, — прервал он Генри.

Повисла пауза.

«Вот так — поговорили, и будет. Он не хочет оставаться с ним один на один», — с зачарованным ужасом подумал я.

Достав из кармана письмо, Джулиан протянул его Генри:

— Думаю, тебе стоит взять это себе.

Джулиан не поднялся проводить нас, а мы вышли не попрощавшись. Больше я никогда его не видел. Странное расставание, если подумать.

Не глядя друг на друга, мы прошли по коридору. Спускаясь по лестнице, я оглянулся — стоя на площадке, Генри тяжело опирался на подоконник; он смотрел в окно, но вряд ли что-нибудь видел.

— О, нет! Что, что случилось? — всполошился Фрэнсис, едва увидев

выражение моего лица.

Я забрался в машину и обхватил голову руками:

— Джулиан все знает.

— Что?

— Он видел лист из отеля. И отдал его Генри.

— Джулиан отдал письмо Генри?! — возликовал Фрэнсис.

— Да.

— И он никому не расскажет?

— Думаю, нет.

Мой мрачный тон умерил его восторг.

— Хватит меня пугать! — фальцетом выкрикнул он. — Письмо у нас, значит, все в ажуре. Да? Так ведь?

— Нет, — ответил я, глядя на окна Лицея. — Боюсь, далеко не в ажуре.

Недавно, листая старый дневник, я наткнулся на запись, относящуюся к концу первого хэмпденского семестра: «В Джулиане меня особенно привлекает то, что он не считает нужным смотреть на людей объективно». Приписка, чернилами другого оттенка: «Возможно, мне это тоже свойственно?»

Во всяком случае, мой взгляд на Джулиана уж точно нельзя назвать объективным. Пока я писал эту повесть, соблазн приукрасить, облагородить, досочинить становился сильнее всего как раз тогда, когда речь заходила о нем. Думаю, связано это с тем, что он и сам, по сути дела, постоянно выдумывал окружающий мир, усматривая храбрость, чуткость, милосердие там, где ничего подобного не было и в помине. Собственно говоря, в том числе за это я его и любил: за то, что он видел меня в лестном свете; за то, что в его присутствии я становился лучше; за то, что он в каком-то смысле разрешал мне быть таким, каким мне хотелось быть.

Теперь, конечно, я мог бы удариться в противоположную крайность. Я мог бы сказать, что Джулиан намеренно выбирал в ученики молодых людей, которым хотелось считать себя выше других, и что он обладал удивительным талантом обращать чувство неполноценности в ощущение тотального превосходства. Я мог бы добавить, что он проделывал это вовсе не из желания помочь, а в угоду своей потребности властвовать над чужими душами. И я мог бы долго распространяться в таком духе — полагаю, все сказанное было бы более-менее справедливо. Однако эти рассуждения ни в коей мере не раскрыли бы секрет его обаяния, не объяснили бы того, почему мне до сих пор так трудно расстаться с образом,



который сложился у меня во время нашей первой беседы: я шел, изнывая от тягот пути, но вот предо мною возник мудрый старец и пообещал сделать так, что все мои мечты станут явью.

Но даже в сказках ласковые седовласые джентльмены, что сулят чудесные дары простачкам, очень часто оказываются вовсе не теми, за кого себя выдают. Кажется, я давным-давно должен был бы усвоить эту нехитрую истину, но где-то в глубине души я по-прежнему ей противлюсь. Как хотелось бы мне написать, что, узнав правду, Джулиан опустил голову на руки и зарыдал — оплакивая Банни и всех нас, оплакивая перипетии судьбы и впустую потраченную жизнь, оплакивая душевную слепоту, не позволившую ему вовремя понять свою ошибку. Признаюсь, я чуть не написал, что все было именно так.

Джордж Оруэлл, от проницательного взгляда которого не укрывались ни убожество, скрытое за великолепием социальных фасадов, ни изнанка жизни отдельных людей, несколько раз встречался с Джулианом в Париже, и тот ему не понравился. Оруэлл писал другу: «Да, первое впечатление от Джулиана Морроу — что перед тобой человек исключительной сердечности и доброты. Однако то, что ты называешь его „азиатской безмятежностью“, по-моему, всего лишь маска, скрывающая всепоглощающее равнодушие. Он умеет показывать людям их собственное отражение, создавая иллюзию глубокого понимания, в то время как глубины и понимания в нем не больше, чем в зеркале. Актон [очевидно, имеется в виду Гарольд Актон, общий знакомый Оруэлла и Джулиана] со мной не согласен. Но я считаю, Д. М. нельзя доверять».

Я много думал над этой характеристикой, а также над одним удивительно прозорливым замечанием Банни: «Знаешь, Джулиан такой человек... В общем, люди вроде него всегда первым делом вытаскивают из вазочки свои любимые конфеты, а все остальное — это пусть другие едят». На первый взгляд полная несуразица, но я не могу придумать для личности Джулиана лучшей метафоры. Мне вспоминаются также слова, сорвавшиеся у Лафорга, когда я в очередной раз превозносил Джулиана до небес. «Можете думать что угодно, — прервал он меня, — но Джулиан никогда не станет первоклассным ученым, и связано это с избирательностью его подхода».

Когда я бурно возмутился — дескать, что же плохого в том, что целью своей жизни человек избирает одно лишь служение Прекрасному? — Лафорг ответил: «Все это замечательно, однако Прекрасное, если оно не сочетается с чем-либо более значительным, есть не более чем яркая погребушка. Не в том беда, что ваш Джулиан сосредоточен лишь на

некоторых, возвышенных аспектах действительности, а в том, что он предпочитает игнорировать все прочие, которые ничуть не менее важны».

Перечитав написанное, я не удержался от печального смешка. Прежде я не раз, по сути дела, фальсифицировал образ Джулиана, выставляя его таким мудрецом, просвещенным отшельником, едва ли не святым, — и все из желания доказать (в том числе самому себе), что за нашим благоговением перед учителем стояло нечто большее, нежели, скажем, моя пагубная привычка убеждать себя в том, что интересные, необычные люди — непременно люди добрые и хорошие. Помню, я писал, что Джулиан сиял совершенством. Теперь, пытаясь быть честным, я готов признать, что он был далек от совершенства, что в нем были тщеславие, надменность, и глупость, и даже сознательная жестокость. И все же мы любили его — таким, каким он был.

На следующее утро мы забрали Чарльза из больницы. Выглядел он плачевно — исхудавший, заросший, немывтый — и на вопросы о самочувствии отвечал односложно. Рассказывать ему про вчерашнее мы не стали.

Фрэнсис настойчиво приглашал Чарльза к себе, но тот как заведенный повторял, что хочет домой. На Фрэнсиса было жалко смотреть. Я видел, что он беспокоится за Чарльза и страдает от его враждебности.

— Как ты насчет обеда? — в который раз спросил он.

— Никак.

— Ты же, наверно, голодный. Поехали в «Бистро»?

— Ничего я не голодный.

— Да ладно тебе, поехали. Закажем на десерт твой любимый рулет. Что скажешь?

Как назло, официант усадил нас за тот же столик у окна, где меньше суток назад мы обедали с Джулианом. Отодвинув в сторону меню, Чарльз заказал две «красавых Мэри» и расправился с ними за пять минут. Когда он потребовал третью, мы тревожно переглянулись.

— Чарльз, может, хотя бы омлет? — неуверенно предложил Фрэнсис.

— Не хочу.

Взяв меню, Фрэнсис сделал знак официанту.

— Блядь, сказал же, не хочу, — не поднимая головы, огрызнулся Чарльз.

После этого даже у Фрэнсиса не нашлось больше слов. Пока мы доедали обед, Чарльз успел прикончить пятый коктейль. К машине его пришлось вести под руки.

Я не мог даже представить, как теперь будут проходить занятия, но в понедельник все же отправился на греческий. Фрэнсис был уже там. Камилла и Генри пришли порознь — видимо, чтобы не провоцировать Чарльза, однако тот пока, к счастью, не появился.

Даже не поздоровавшись, Генри подошел к окну и отвернулся. Камилла обратилась к нему, он не ответил. Смутившись, она стала задавать нам вопросы о Чарльзе, на большую часть которых мы отвечали довольно уклончиво.

Немного погодя Камилла недоуменно взглянула на часы:

— Четверть десятого. Джулиан никогда так не задерживался.

Генри откашлялся:

— Он не придет.

— Как — не придет? — хором спросили мы.

Раздался негромкий стук, дверь приоткрылась, и, блеснув лысиной, в кабинет заглянул не кто иной, как декан.

— Так-так. Вот, значит, как выглядит святая святых. Первый раз, можно сказать, переступаю порог.

Декана в Хэмпдене недолюбливали. Этот самоуверенный и развязный живчик, чуть старше пятидесяти, не упускал случая подстроить пакость студентам и преподавателям, вызвавшим его нерасположение.

Он прошелся взад-вперед, оглядел наши удивленные лица.

— А что, надо признать, очень даже неплохо... Помню, лет пятнадцать назад, когда у нас еще не было лабораторного корпуса, здесь, на втором этаже, располагались кабинеты кураторов. Одна преподавательница психологии всегда оставляла свою дверь открытой — считала, что это создает атмосферу взаимного доверия, — и взяла за правило приветствовать Джулиана всякий раз, когда ему случалось пройти мимо. Так вот, можете себе представить, Джулиан позвонил Чаннингу Вильямсу, моему недоброй памяти предшественнику, и пригрозил, что уволится, если его соседку не переведут в другое здание. Знаете, как он ее назвал? — Декан хихикнул. — «Несносная особа». Он сказал: «Я не желаю, чтобы эта несносная особа ежедневно досаждала мне своей бесцеремонной болтовней».

Эта история относилась к числу популярных хэмпденских баек. Декан, правда, опустил одну деталь — за приветствием следовали пространные научнообразные разъяснения, почему Джулиан тоже должен держать дверь открытой.

— И все же я ждал большего. Чего-нибудь, так сказать, сугубо

античного, — продолжал декан. — Скажем, масляных светильников. Дискоболов. Или даже, хе-хе, симпозию с игрой на флейтах и юными виночерпиями...

— Что вам нужно? — оборвала его Камилла.

Сделав вид, что не заметил грубости, декан одарил Камиллу елеинной улыбкой:

— О, не извольте беспокоиться, всего лишь побеседовать с вами. Видите ли, не далее как вчера Джулиан поставил меня в известность о том, что берет бессрочный творческий отпуск. Он вынужден покинуть страну и не знает, когда вернется к преподаванию. Полагаю, нет необходимости объяснять, — тут декан подпустил в голос яду, — что вы при этом оказываетесь в довольно щекотливом положении. Как-никак семестр заканчивается через три недели, и что прикажете с вами делать? Насколько я понимаю, Джулиан считал письменные экзамены ниже вашего достоинства, верно?

Мы ожесточенно молчали.

— Ну, так что? Как же он все-таки выставлял вам годовые отметки? Вы произносили речи? Пели гимны?

Только Камилла нашлась с ответом:

— Мы сдавали устные экзамены по спецкурсам и подавали работу по истории мировой культуры. На последнем занятии по греческой литературной композиции мы писали сочинение, объемом не менее шести страниц, на заданную им тему.

Декан сделал вид, что обдумывает ее слова, затем произнес:

— Как вы, наверное, уже догадались, проблема заключается в том, что экзаменовывать вас просто некому. Мистер Дельгадо читает на греческом и вызвался проверить ваши письменные работы, однако я не могу допустить, чтобы он работал сверхурочно, его нагрузка и так едва ли не превышает норму. Сам Джулиан не выказал ни малейшей готовности пойти навстречу. На мою просьбу предложить себе замену он ответил, что не знает ни одной достойной кандидатуры.

Он извлек из кармана бумажку:

— Итак, в меру своих скромных возможностей могу предложить вам три варианта. Первый — сдать экзамены осенью. Однако я далек от уверенности, что мы пригласим нового преподавателя античной словесности — дисциплина эта столь мало востребована, что общее мнение склоняется к исключению ее из программы. У колледжа есть куда более перспективные направления деятельности — например, отделение семиотики, которое наконец-то открылось в этом году и на первых порах

нуждается в щедрой поддержке.

Он набрал воздуха:

— Второй вариант — пройти оставшийся материал в течение летних семестров. Третий заключается в том, что мы на некоторое время пригласим внештатного преподавателя. Подчеркиваю — на некоторое время, так как я сомневаюсь, что колледж по-прежнему будет предлагать вашу экзотическую специальность. Тех из вас, кто выразит желание остаться с нами, сможет, так сказать, принять в свое лоно отделение английской филологии. В этом случае вы потеряете не очень много часов, хотя, конечно, для получения диплома понадобится как минимум два дополнительных семестра. Однако вернемся к более насущному вопросу. Вы, наверное, слышали про Хэкетскую частную школу для мальчиков? Классической филологии там традиционно уделяется большое внимание. Я позвонил директору, и тот сказал, что вполне может выделить учителя на два занятия в неделю. Полагаю, вы обеими руками ухватитесь за эту возможность, но должен предупредить, что она далеко не идеальна, ибо...

В этот момент в кабинет ввалился Чарльз. Из-под пиджака у него торчала рубашка, волосы свисали на глаза грязными сосульками. Допускаю, пьяным в строгом смысле слова он не был, но в силу того, что протрезвел он, очевидно, не так давно, точная характеристика его состояния представляла чисто теоретический интерес.

Он приосанился и направился к столу, но тут же замер в недоумении:

— О! А Джулиан где?

— Разве вас не учили стучать в дверь перед тем, как входить в кабинет? — осведомился декан.

Чарльз развернулся на голос:

— Это еще что за черт? Вы кто вообще такой?

— Я — декан Хэмпден-колледжа, — с приторной любезностью сообщил ему декан.

— Куда вы дели Джулиана?

— Ах! Вы еще не знаете? Джулиан вас бросил. И без долгих раздумий, если позволите заметить, — буквально как обоз при отступлении. Он срочно покидает страну, о возвращении речи не было. Он дал мне понять, что его внезапный отъезд как-то связан с Госдепартаментом, израильским терроризмом и так далее. Ну что же, я лелею надежду, что теперь наконец-то исчезнет зловещая тень, десять лет нависавшая над колледжем. Увы, мой предшественник, видимо, потерял голову при мысли о престиже, который принесет студентка королевской крови, и даже не задумался о возможных последствиях. По правде сказать, я так и не возьму в толк, за что же эти

дикие израмцы могли бы пойти священной войной на Джулиана Морроу, — но он, похоже, считает, что значится в черном списке вторым после Салмана Рушди.

Декан залился тоненьким смехом, но, спохватившись, наморщил лоб и сверился с бумажкой:

— Итак, преподаватель из Хэкета будет ждать вас завтра в три часа в этом кабинете. Надеюсь, это всех устраивает. Если же у кого-то в это время есть другие занятия, советую хорошенько поразмыслить о приоритетах, поскольку...

Зажав рот рукой, Камилла с ужасом смотрела на брата. Я сообразил, что она не видела его больше недели и никак не могла ожидать, что пребывание в больнице только ухудшит его состояние. Мне показалось, даже Генри несколько потрясен.

— И разумеется, вам придется пойти на определенные компромиссы...

— Что-что вы сказали? Джулиан уехал? — прервал его Чарльз.

— Bravo, молодой человек. Вы прекрасно владеете навыком понимания английской устной речи.

— Э-э, постойте — он что, так вот взял и исчез?

— По сути дела, да.

Чарльз вскинул голову и произнес, очень громко и внятно:

— Знаешь, Генри, почему-то я ни капли не сомневаюсь, кто в этом виноват.

Повисло молчание. Бросив на Генри презрительный взгляд, Чарльз ринулся вон. Хлопнула дверь, декан деловито кашлянул:

— Так вот, как я только что пытался довести до вашего сведения...

Возможно, это прозвучит неожиданно, но после встречи с деканом я думал лишь об одном: судя по всему, моя академическая карьера пошла коту под хвост. Когда он произнес «два дополнительных семестра», внутри у меня все сжалось. Не нужно было обладать даром предвидения, чтобы чувствовать твердую уверенность, что родители откажутся еще целый год вносить свой ничтожный, но необходимый взнос за мое обучение в Хэмпдене. Попробовать получить другую стипендию, перевестись в другой колледж? Я уже потерял массу времени, дважды поменяв специализацию; если так пойдет и дальше, превращусь в вечного студента... — это при условии, что меня вообще куда-нибудь примут, с моими-то сомнительными достижениями и далеко не идеальными отметками. Боже мой, ну почему я такой дурак, почему я не ухватился за что-нибудь стоящее, почему в конце третьего курса фактически оказался у разбитого корыта?

Я злился еще сильнее при мысли, что оказался единственным, для кого продолжение учебы вдруг стало серьезной проблемой. Никто из моих одноклассников не выказал ни малейшего беспокойства по этому поводу — подумаешь, еще пара семестров, подумаешь, вернуться домой вообще без диплома. Им, во всяком случае, есть куда возвращаться. Их ждут заботливые родители, любящие бабушки, дядюшки со связями, доверительные фонды, чеки на дивиденды... Для них колледж был развлечением, способом приятно провести молодые годы, а для меня — единственным шансом выбиться в люди... и я его упустил.

Обуреваемый подобными мыслями, я часа два расхаживал по своей комнате (вернее, по комнате, которую привык считать своей, но должен был освободить через три недели), вновь и вновь приходя к выводу, что единственная возможность получить высшее образование (читай: сносный заработок в будущем) — убедить колледж полностью оплатить мое обучение в течение дополнительных семестров.

Наконец я сел за стол и принялся строчить заявление в Службу финансовой помощи. Я заявил, что не виноват во внезапном отъезде преподавателя, перечислил все до единой похвальные грамоты и призы, полученные после восьмого класса, поведал о своей страстной любви к английской литературе, а также выдвинул и всесторонне обосновал тезис: год, проведенный за изучением классических авторов, станет огромным подспорьем будущему филологу-англисту.

Поставив последнюю точку, я рухнул на кровать и уснул. Проснувшись около одиннадцати вечера, я отредактировал особенно жалобные пассажи и отправился в ночной зал, чтобы напечатать свою петицию. Заглянув по пути на почту, я обнаружил в ящике письмо, где сообщалось, что я получил работу в Бруклине и что профессор хотел бы обсудить со мной подробности на следующей неделе.

«Ну что ж, по крайней мере есть куда податься летом», — подумал я. Светила луна, на серебристой траве, словно заготовки декораций, лежали силуэты зданий. Окна «Храма неустанной учебы», как шутил Банни в счастливые времена, светили маяком со второго этажа библиотеки.

Я поднялся по наружной железной лестнице, похожей на лестницу из моих кошмаров, мельком отметив, что в менее взволнованном состоянии, наверно, не преодолел бы и трех ступеней. Сквозь стеклянную дверь я увидел, что в комнате кто-то есть. Присмотревшись, я понял, что это Генри, на столе перед ним были разложены книги, но он как будто о них забыл и сидел, подняв голову и глядя в пустоту. Почему-то мне вспомнился тот

февральский вечер, когда я увидел его под окном кабинета доктора Роланда — одинокая темная фигура в круговерти снежинок. Я толкнул дверь и вошел:

— Генри, это я... Ты что-то учишь?

— Я только что ездил к Джулиану, — ровно произнес он.

— И как? — спросил я, садясь рядом.

— Там все закрыто. Он действительно уехал.

Я не нашелся, что ответить, но Генри, похоже, и не ждал этого.

— Ты знаешь, мне очень трудно в это поверить. Он ведь сделал это по одной-единственной причине. Он испугался.

Из окна потянуло влагой, на луну набежали облака. Генри снял очки, и я снова подумал, до чего же беспомощным и уязвимым выглядит его лицо без этих круглых стеклышек в металлической оправе.

— Он просто трус. На нашем месте он поступил бы точно так же. Но он к тому же лицемер, а потому ни за что этого не признает. Дело ведь вовсе не в том, что, узнав правду, он ужаснулся и преисполнился отвращения к нам. Будь это так, я не стал бы его винить. Но его не волнуют ни обстоятельства, ни сам факт смерти Банни. Перережь мы половину кампуса, ему и то было бы все равно. Главное для него — уберечь свое доброе имя. Примерно в этих выражениях он и объяснил мне свою позицию.

— Значит, ты все-таки виделся с ним?

— Да. Вчера вечером. Он не усмотрел в этой истории ничего, кроме угрозы собственному благополучию. Даже выдай он нас полиции... Я бы, конечно, этого не хотел, но по крайней мере это был бы поступок. А он испугался и убежал — как заяц.

Я не думал, что еще способен на сочувствие к Генри, но горечь и разочарование, звучавшие в его голосе, пересилили всю накопившуюся за последнее время неприязнь:

— Генри...

Мне хотелось сказать что-нибудь глубокое и проникновенное — что Джулиан всего лишь человек, что он уже немолод, что плоть слаба и что приходит время, когда мы, так или иначе, должны расстаться со своими учителями, — но я не смог произнести ни слова. Генри обратил на меня невидящий взгляд:

— Я любил его больше, чем собственного отца. Я любил его так, как не любил никого и никогда.

Подул ветер, первые капли дождя разбились о карниз. Мы сидели и молчали до тех пор, пока не стихла гроза.



На следующий день я отправился в Лицей к трем часам на встречу с новым преподавателем.

Войдя в кабинет, я обомлел — там было пусто. Книги, коврики, цветы, огромный круглый стол — все исчезло, из старого интерьера остались лишь занавески и прикреплённая к стене японская гравюра, которую когда-то преподнес Джулиану Банни. К стене сиротливо жалось несколько металлических стульев из аудиторий на первом этаже. Генри стоял у окна спиной к присутствующим, Фрэнсис и Камилла выглядели смущёнными.

Мне навстречу шагнул круглолицый светловолосый человек лет тридцати, одетый в джинсы и водолазку. На левой руке у него блестело новенькое обручальное кольцо.

— Здравствуй! — по-учительски бодро и снисходительно обратился он ко мне, протягивая пухлую розовую ладонь. — Я — Дик Спенс. А тебя как зовут?

Занятие обернулось унижительным кошмаром. Для начала он раздал ксерокопии странички из Нового Завета, поспешив при этом успокоить нас: «Естественно, я не жду, что вы уловите тонкости. Сможете передать общий смысл — и отлично». Его покровительственное высокомерие быстро сошло на нет, сменившись сначала удивлением («Ну и ну! Неплохо, совсем неплохо!»), затем неуклюжими попытками хоть как-то спасти свою голову от позора («Вообще-то э-э мне довольно давно не встречались ученики с таким уровнем знаний») и, наконец, откровенным конфузом. Выяснилось, что наш ментор служит священником в церкви при хэкетской школе. Познания в греческом, вынесенные им из семинарии, даже по моим скромным меркам, были весьма скудными, а об античном произношении он не имел и вовсе никакого понятия. Лучшим способом освоения языков он, похоже, считал мнемонику: «Знаете, как я запомнил слово *agathon*? Агата Кристи пишет хорошие детективы». Генри не трудился скрывать презрение, остальные подавленно отмалчивались. Появление Чарльза только усугубило всеобщее замешательство — хотя мистер Спенс сделал вид, что не заметил ни двадцатиминутного опоздания ученика, ни его нетрезвости, приветственная фраза прозвучала несколько менее бодро. Затем — видимо, ради новоприбывшего — нам еще раз объяснили, как запомнить слово *agathon*, на что Генри с безупречным аттическим выговором заметил:

— Мой драгоценный друг, когда бы не ваше терпение, мы погрязли бы в невежестве, как свиньи в навозе.

— Ну что же, кажется, наше время на исходе, — с явным облегчением объявил преподаватель, украдкой взглянув на часы, и наша пятерка в мрачном молчании гуськом потянулась в коридор.

— Ничего, через две недели это закончится, — сказал Фрэнсис, когда мы вышли на улицу.

— Для меня это закончилось сейчас, — отозвался Генри, прикуривая сигарету.

— Ага, правильно, надо проучить этого типа, — тут же с сарказмом вставил Чарльз.

— Генри, ты должен получить оценки за семестр.

Генри энергично затыкнулся:

— Я ничего никому не должен.

— Всего две недели!

— По-моему, если учесть обстоятельства, все не так уж и плохо, — вмешалась Камилла. — Во всяком случае, бедняга из кожи вон лезет.

— Можно сказать, уже вылез, — подхватил Чарльз. — Но нашему вундеркинду, один хер, ничем не угодишь — он бы и от Ричмонда Латтимора<sup>[133]</sup> нос воротил.

— Генри, но тебя отчислят, — взмолился Фрэнсис.

— Мне это глубоко безразлично.

— Само собой, ему безразлично — ему этот колледж на хер не нужен! Он у нас сам себе голова, может вообще похерить все на свете, а папочка будет по-прежнему посылать ему каждый месяц пятизначный чек...

— Не произноси больше это слово, — угрожающе процедил Генри.

Чарльз, казалось, только того и ждал:

— Какое? Чек? Или хер? — спросил он с издевкой. — А в чем, собственно, дело, Генри? Его нет в толковом словаре? Ты не знаешь, что оно значит? Ну так я тебе объясню — это то, чем ты трахаешь мою сестру!

Однажды, когда мне было лет двенадцать, мой отец ударил мать без всякого видимого повода. Хотя меня он в то время поколачивал регулярно, я еще не понимал, что в этом нет иной причины, кроме его дурного характера, и полагал, что прегрешения, в которых он меня обвинял («Слишком много болтаешь!», «Не смей на меня так пялиться!»), действительно заслуживали наказания. Но когда он у меня на глазах влепил пощечину матери в ответ на невинное замечание, что соседи пристраивают к дому флигель (потом он орал, что она его спровоцировала, что это был намек на то, что он мало зарабатывает, а она, в слезах, соглашалась и просила у него прощения), моя убежденность в том, что отец справедлив и всеведущ, разлетелась вдребезги. Я понял, что мы с матерью полностью

зависим от злобного, мелочного и вдобавок глупого человека; более того, почувствовал, что, если я взбунтуюсь, мать никогда не встанет на мою сторону. Это откровение совершенно выбило почву у меня из-под ног. Мне показалось, я заглянул в кабину летящего самолета и обнаружил, что пилот и его помощник напились и преспокойно храпят в своих креслах.

Чувство, охватившее меня около Лицея, на самом-то деле очень напоминало тот детский ужас, который я когда-то испытал на солнечной кухне в Плано. «Кто здесь держит штурвал? Куда мы вообще летим?» — обескураженно спрашивал я себя, глядя на своих товарищей.

При всем том через несколько дней Чарльзу и Генри предстояло вместе явиться в суд.

Камилла сходила с ума от беспокойства. Я видел, что ей страшно, — ей, которой всегда все было нипочем. Признаться, ее страдания доставляли мне извращенное удовольствие, но, с другой стороны, я и сам испытывал серьезные опасения. Всякий раз, когда Генри и Чарльз оказывались поблизости друг от друга, дело едва не доходило до драки, и можно было не сомневаться, что официальная обстановка заседания нисколько не помешает им превратить зал суда в полигон для выяснения отношений. Правда, Генри нанял адвоката, и надежда на то, что третья сторона уладит конфликт, питала наш осторожный оптимизм.

В день их визита к адвокату меня позвали к телефону — звонила Камилла:

— Ричард, это я. Не заглянешь к Фрэнсису? Мне нужно с вами поговорить.

Изрядно напуганный ее тоном, я тут же побежал к Фрэнсису. Открыв дверь, он молча провел меня в гостиную.

Камилла рыдала. Прежде я лишь однажды видел ее в слезах, да и то, думаю, в тот раз вызваны они были переутомлением, теперь же все было иначе.

— Камилла, не плачь, пожалуйста. Расскажи, что случилось?

Она покачала головой, закурила, наконец собралась с духом и начала сбивчивое повествование.

На встречу они отправились втроем — Камилла уповала на то, что ее присутствие окажет на враждующих сдерживающий эффект. Поначалу ей казалось, что все идет неплохо. Генри, как выяснилось, нанял адвоката отнюдь не из альтруизма. Судья, который должен был вынести решение по их делу, славился беспощадным отношением к пьяным водителям, и, поскольку Чарльз формально был несовершеннолетним, имел

просроченные права и не входил в список лиц, на которых распространялась страховка владельца транспортного средства, существовала немалая вероятность, что у Генри на время отберут права или даже конфискуют автомобиль. Чарльз изображал мученика, но против переговоров не возражал — не потому, как заявлял он всем и каждому, что сочувствует Генри, а потому, что ему все это осточертело. И так всех собак вешают на него, а если Генри еще и прав лишится, то попрекам конца-края не будет.

Однако уже через десять минут после того, как их пригласили в кабинет, разразилась катастрофа. В ответ на вопросы адвоката Чарльз бурчал что-то невразумительное, а когда тот попросил его выражаться яснее, неожиданно взорвался.

— Слышал бы ты его! — всхлипывала Камилла. — Он орал, что ему по фигу, если у Генри отберут машину, по фигу, если их обоих посадят на пятьдесят лет. А Генри... ну, можешь представить. В общем, Генри в долгу не остался. Адвокат, наверное, решил, что они оба спятили, все повторял: «Успокойтесь, успокойтесь, возьмите себя в руки». А Чарльз: «Мне плевать, что с ним будет! Да хоть бы он сдох, мне плевать! Только лучше бы стало!»

— Одним словом, это был ужас. В итоге нас просто выставили за дверь. А они все не унимались, из соседних кабинетов начали выглядывать люди, адвокату пришлось самому выйти в коридор и отконвоировать их к выходу. Чарльз на прощание послал его подальше и исчез.

— А Генри?

— Генри был страшно зол, — измученно сказала Камилла. — Я заикнулась, что можно вернуться, извиниться, попросить совета, — он мне даже не ответил. Я пошла было за ним к машине, но адвокат меня задержал. «Послушайте, — говорит, — не знаю, что у них там за разборки, но ваш брат, по-моему, просто не в себе. Попробуйте объяснить ему, что если он не поостынет сейчас, то потом и вовсе не расхлебает эту кашу. Уверяю вас, судья не станет нянчиться с ними, даже если они явятся на слушание кроткие аки агнцы. Конечно, у вашего брата есть неплохие шансы отделаться условным наказанием — не думайте, кстати, что это такая уж большая удача, — но не исключено, что он все-таки получит тюремный срок, пусть и минимальный. Либо же его отправят на принудительное лечение в манчестерскую наркоклинику — и, честно сказать, это будет весьма своевременным решением, судя по тому, что я только что наблюдал».

Камилла умолкла, вытирая слезы. Фрэнсис кусал губы.

— Что говорит Генри? — спросил я.

— Что ни машина, ни права его не волнуют, а Чарльз, если ему так хочется, может отправляться в тюрьму.

— Ты видел этого судью? — обратился ко мне Фрэнсис.

— Да.

— И как?

— Честно говоря, мне показалось, с ним шутки плохи.

Закурив, Фрэнсис помолчал и вдруг спросил:

— А что будет, если Чарльз не явится в суд?

— Не знаю... Наверное, тогда за ним придут.

— А если его не будет дома?

— К чему ты клонишь?

— Я думаю, нам нужно на некоторое время эвакуировать Чарльза из Хэмпдена, — заявил Фрэнсис. — Шут с ними, с последними занятиями. Может быть, отправить его в Нью-Йорк — к моей матушке и Крису?

— В таком состоянии?

— Ха! Можно подумать, мама не знает, что такое запой. Он там будет как у Христа за пазухой.

— Боюсь, один он не поедет.

— Тогда я поеду с ним.

— А вдруг он сбежит? — вмешался я. — Нью-Йорк — это ведь не Вермонт, если он влипнет в историю там...

— Ладно, ладно, я понял, — оборвал меня Фрэнсис. — Это так, рабочая идея... Хм. А знаете что? Давайте увезем его ко мне?

— В загородный дом?

— Ну да.

— Что это даст?

— Как — что? Полную безопасность. Думаю, мы сумеем уговорить его поехать, а оттуда он уже не выберется. Хэмпденские таксисты не потащатся в такую даль ни за какие деньги.

Камилла задумчиво посмотрела на Фрэнсиса:

— Вообще-то Чарльзу там очень нравится.

— Знаю, — довольно подхватил он. — С какой стороны ни посмотри, это лучший выход. Речь ведь идет всего о нескольких днях. Мы с Ричардом, разумеется, будем за ним присматривать, я куплю ящик шампанского... Сделаем вид, что это обычный выезд, как в старые добрые времена.

Достучаться до Чарльза оказалось непросто — мы провели под дверью битых полчаса. Камила снабдила нас запасным ключом, но вламываться в

квартиру без разрешения хозяина нам, разумеется, не хотелось. Наконец, когда мы все же решили им воспользоваться, лязгнула щеколда, и в щели возник воспаленный глаз:

— Вам чего?

— Так, просто решили тебя проведать, — беспечно ответил Фрэнсис. — Может,пустишь нас?

— Вы одни?

— Одни.

Он неохотно открыл дверь и отступил, давая нам пройти.

Занавески в кухне были задернуты, пахло, как на помойке. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидел, что все завалено немытыми тарелками, пустыми жестянками из-под концентрированных супов и яблочными огрызками. Единственный оазис порядка наблюдался рядом с холодильником, где с издевательской аккуратностью пьяницы были выстроены рядом бутылки из-под виски.

Меж наставленных у мойки грязных кастрюль проворно метнулась маленькая тень. «Неужели крыса?» — ужаснулся я, но тут существо скакнуло на пол, и на нас посмотрели зеленые кошачьи глаза.

— Подобрал на парковке, — сообщил Чарльз. — Кстати, она не то чтоб ручная.

Здрав рукав халата, он показал нам глубокие припухшие царапины.

— Знаешь, мы вообще-то тут за город собрались, — объявил Фрэнсис, позвякивая ключами. — Что-то надоело в Хэмпдене торчать. Поехали с нами?

Чарльз одернул рукав и недобро прищурился:

— Это Генри тебя подослал?

— Что ты такое говоришь? Конечно, нет.

— Точно?

— Я его уже дня три не видел.

— Мы с ним, можно сказать, поссорились, — добавил я.

Чарльз пристально посмотрел на меня:

— Знаешь, Ричард... Я всегда считал тебя своим другом.

— Я тебя тоже.

— Ты ведь не предашь меня?

— Ни в коем случае.

— Потому что этот вот предаст и глазом не моргнет, — кивнул он на Фрэнсиса. Тот отпрянул как от пощечины.

— Ну-у, зачем ты так, — увещевательно обратился я к Чарльзу. Я видел, что на самом деле он хочет, чтобы его успокоили; в такие моменты

просто не имело смысла возмущаться, взывать к совести или доказывать ему что-либо, опираясь на логику.

— Не стоит обижать Фрэнсиса, он желает тебе добра. Мы оба желаем тебе добра.

— Правда?

— Правда.

Он тяжело опустился на стул, и кошка принялась увиваться вокруг его лодыжек.

— Мне страшно. По-моему, Генри хочет меня убить.

Мы с Фрэнсисом переглянулись.

— Убить? Но с какой стати? — осторожно, словно бы разговаривая с помешанным, спросил Фрэнсис.

— Я стою у него на пути. А он в таких случаях не церемонится.

Он указал на стол, где валялся пузырек без этикетки:

— Видите? Это он мне дал.

Я взял его в руки и чуть не выронил: внутри были ярко-желтые капсулы нембутала — видимо, те самые, которые я украл у миссис Коркоран.

— Сказал, что они помогут мне заснуть. Хорошее снотворное мне б, конечно, не помешало, но я подумал и решил воздержаться.

Я показал пузырек Фрэнсису, тот так и ахнул.

— Капсулы еще к тому же, — добавил Чарльз. — Кто знает, что он мог туда насыпать?

Такой необходимости не было, в этом и заключалась подлость. Я отчетливо вспомнил, как убеждал Генри не мешать нембутал со спиртным.

— А вчера вечером он на задворках шнырял. Думал небось, я не вижу.

— Генри?

— Кто ж еще. Вот только если он попытается что-нибудь мне сделать, то потом сам не обрадуется.

Вопреки моим опасениям, уговорить его поехать за город оказалось нетрудно. Он без умолку нес какую-то параноидальную чушь, но наша забота, казалось, была ему приятна. Нам только пришлось несколько раз заверить его, что Генри не знает о наших планах.

Отъезд, правда, задержался из-за кошки — расстаться с ней Чарльз наотрез отказался. В руки она не давалась; мы с Фрэнсисом устроили настоящую охоту и в конце концов загнали ее за батарею.

Чарльз уселся на корточки и принялся приговаривать: «Хорошая киска, ну давай же, выходи». Когда стало ясно, что по доброй воле она не выйдет, я собрался с духом и ухватил ее за тощие задние лапы — мерзкая тварь,

извернувшись, впила зубами мне в локоть — и извлек из убежища. Замотав ее в полотенце, мы вручили эту шипящую мумию с выпученными глазами Чарльзу и спустились в машину. «Только крепче, крепче держи ее, умоляю», — повторял Фрэнсис, поглядывая в зеркало заднего вида.

Естественно, Чарльз за ней не уследил — в какой-то момент кошка пулей вылетела вперед и забила под педали, так что Фрэнсис чуть не потерял управление. Вытаскивать это исчадие ада опять пришлось мне — Фрэнсис, забравшись с ногами на сиденье, давал ценные указания, — и на сей раз я познакомился с ее когтями. Наконец она исторгла на коврик зловонную лужу и, вздыбив шерсть, впала в ощеренный транс.

Я не был в загородном доме с начала апреля; в обрамлении густой листвы и гроздьев сирени он показался мне странным, словно бы незнакомым. Во дворе было тенисто и душно. Мистер Хэтч, управлявшийся вдалеке с газонокосилкой, помахал нам рукой.

Внутри стояла приятная прохлада. Кое-какая мебель так и осталась в чехлах, по полу, подгоняемые сквозняком, катались шарики пыли. Буркнув, что надо перекусить, Чарльз устремился на кухню. Выйдя оттуда с банкой соленого арахиса и стаканом виски, он сразу же поднялся наверх и заперся в своей комнате.

Следующие двое суток Чарльз нечасто показывался нам на глаза. Иногда мы видели, как он стоит у окна, тревожно обозревая окрестности, — ни дать ни взять Билли Бонс из «Острова сокровищ». Он не вылезал из заношенного махрового халата; его диета, видимо, состояла из арахиса, виски и чашки кофе утром. Один раз он заглянул в библиотеку, где мы играли в карты, но присоединиться отказался и, пройдясь нетвердым шагом вдоль полок, удалился, так и не выбрав книгу.

— Когда, как ты думаешь, он последний раз мылся? — прошептал Фрэнсис.

К кошке, которую мы поселили в ванной на втором этаже, Чарльз потерял всякий интерес. Мы попросили мистера Хэтча привезти кошачьего корма, и Фрэнсис с видом бесстрашного дрессировщика дважды в день заходил в ванную, чтобы насыпать в миску новую порцию («Не вздумай царапаться, дьявольское отродье», — тут же доносился до меня его сдавленный голос). Через полминуты он вылетал оттуда, вытянув перед собой руку со скомканной вонючей газетой.

Шел третий день нашего пребывания в загородном доме. Я лежал на



диванчике, попивая чай со льдом и пытаюсь запомнить формы неправильных глаголов в Subjonctif (на следующей неделе мне предстоял экзамен по французскому). Фрэнсис пропадал на чердаке в поисках коробки со старинными монетами — его тетушка сказала, что он может взять ее себе, если найдет.

Около пяти на кухне зазвонил телефон. Я оторвался от учебника и пошел ответить.

— Алло?

— Так вот вы где, — раздался голос Генри.

Застигнутый врасплох, я мешкал с ответом.

— Будь добр, позови Фрэнсиса.

— Он не может сейчас подойти. У тебя что-то срочное?

— Я правильно понимаю, что Чарльз тоже там?

— Скажи, Генри, зачем ты подсунул ему нембутал?

— Не понимаю, о чем ты.

— Брось. Я видел у него эти капсулы.

— Какие? Которые ты достал для меня в Коннектикуте?

— Они самые.

— Если они у Чарльза, это может означать только одно — он украл их из моей аптечки.

— Он считает, ты хочешь его отравить.

— Полный бред.

— Правда?

— Так Чарльз с вами?

— Да, мы привезли его... — начал я и прикусил язык — в трубке как будто раздался щелчок. Генри, видимо, ничего не заметил:

— Слушай внимательно. Буду очень благодарен, если вы подержите его там еще пару дней. По-моему, вы считаете, что проявили чудеса конспирации, но, поверь, я только рад, что он не путается под ногами — признаться, мне надоели эти шекспировские страсти. Если Чарльз не явится в суд, его автоматически признают виновным, но вряд ли это обернется для него чем-нибудь серьезным.

Мне показалось, я слышу чье-то дыхание.

— В чем дело? — насторожился и Генри.

— Чарльз, это ты? — спросил я.

На втором этаже гроыхнула брошенная трубка.

Взбежав по лестнице, я постучал, потом повернул ручку — заперто.

— Чарльз, открой!

Никакой реакции.

— Это вышло случайно, правда. Я же не знал, что это он звонит.

Ответа не было. Я постоял, глядя в пол, и позвал еще раз:

— Ну послушай меня... Генри тебе ничего не сделает. Ты здесь в полной безопасности.

— Маме своей будешь сказки рассказывать! — донеслось изнутри.

Переговоры провалились. Я спустился в гостиную и вернулся к сослагательному наклонению.

Видимо, я задремал, но ненадолго — когда Фрэнсис, не слишком церемонясь, потряс меня за плечо, за окнами было еще светло.

— Ричард, просыпайся! Чарльз сбежал.

— Как — сбежал? Ты что? — пробубнил я, протирая глаза.

— Его нигде нет. Я весь дом обыскал.

— А во дворе?

— Тоже не видно.

— Но деваться ему вроде некуда?

— Поищи в доме, а я еще посмотрю на улице.

Я заглянул в комнату Чарльза. Там стоял страшный беспорядок, но мне показалось, все его вещи на месте. Полупустая бутылка виски, оставленная на ночном столике, укрепила меня в уверенности, что он не мог отлучиться надолго.

Осмотрев второй этаж, я поднялся на чердак, залитый узорным готическим светом из круглого витражного окна под самой крышей. Я прошелся по истертому дощатому полу, оглядывая сваленные вдоль стен пыльные абажуры, рамы с облупившейся позолотой и пожелтевшие кисейные платья.

Спустившись по скрипучей черной лестнице, я проверил буфетную и вышел на заднее крыльцо. На подъездной дорожке стояли мистер Хэтч и Фрэнсис. То и дело потирая лысину, мистер Хэтч что-то торопливо объяснял, и я немного удивился — обычно смотритель ограничивался весьма лаконичными репликами.

Фрэнсис с растерянным видом подошел ко мне:

— Н-да, вот так новость... Оказывается, мистер Хэтч одолжил Чарльзу пикап.

— Что?!

— Говорит, Чарльз сказал, что ему срочно нужно в магазин и что он вернет машину через четверть часа.

Мы обменялись взглядами.

— Думаешь, он удрал? — спросил я.

— У тебя есть другие версии?

Надвигались теплые, пахнувшие сиренью сумерки. Взвыла газонокосилка — мистер Хэтч вернулся к работе. Мы вернулись в дом и уселись на зачехленную кушетку. Фрэнсис уткнулся подбородком в сложенные на груди руки.

— Ума не приложу, что делать. Как ни крути, пикап он украл.

— погоди, не нервничай, может, он вернется.

— Он же, скорее всего, лыка не вяжет. Его остановит первый же патруль, только этого ему сейчас не хватало! А если не остановит, то может выйти еще хуже...

— Думаешь, нам стоит отправиться на поиски?

— Стоить-то стоит, только куда? Может быть, он уже на полпути в Канаду.

— Ну не сидеть же у телефона...

Прежде всего мы устроили турне по местным барам: «Старая корчма» и «Кривая сосна», «Четыре охотника» и «Добрый малый», «Грозовой перевал», «Приют селянина» и, наконец, «Баулдер Тэп».

Парковки были забиты пикапами, но пикапа мистера Хэтча среди них не оказалось.

Проезжая мимо винного магазина, мы на всякий случай решили заглянуть и туда. «Выиграйте незабываемое путешествие на тропический остров!» — завлекала вывеска над пестрыми полками с ромом; ряды с водкой и джином, наоборот, пленяли медицинской строгостью. Под потолком вращалась картонная бутылка вина с рекламой кулеров. Покупателей не было, продавец — пожилой толстяк, на плече у которого была вытатуирована обнаженная дива, — чесал языком с парнишкой-рассыльным:

— Ну и вот, стоим мы, значит, с Эмметом на этом самом месте, а бандюга наставляет на нас обрез. Эммет ему говорит, мол, нет у нас никакого ключа от сейфа. Тогда этот гад жмет на курок — бабах! — и прям у меня на глазах Эммету мозги вот сюда вот на стенку вышибло...

Мы осмотрели весь кампус, даже библиотечную парковку, и на этом идеи у нас закончились.

— Нет, в городе его точно нет, — мрачно изрек Фрэнсис.

— Как думаешь, мистер Хэтч заявит в полицию?

— А ты бы на его месте не заявил? Конечно, не посоветовавшись со мной, он ничего предпринимать не станет, но если пикапа не будет, скажем, завтра к вечеру...

Возвращаться в загородный дом нам не хотелось. Как-то само собой получилось, что мы поехали в «Альбемарль», а обнаружив на парковке БМВ Генри, решили попробовать прорваться к ним в номер. Я приготовился к неприятному объяснению с консьержем, но каким-то чудом за конторкой никого не оказалось.

Беспрепятственно поднявшись в 3-А, мы застали Камиллу и Генри за накрытым столом. Они ужинали бараньими отбивными, рядом с бутылкой бургундского стояла миниатюрная ваза с желтой розой. Нахмурившись, Генри отложил вилку:

— Что вам здесь понадобилось?

— Не хотели вас беспокоить, но дело в том, что Чарльз, так сказать, ушел в самоволку, — объяснил наше появление Фрэнсис и начал рассказывать про пикап.

Я присел рядом с Камиллой. Ее отбивные выглядели очень аппетитно, а я не ел с самого утра.

Заметив мой голодный взгляд, она рассеянно подвинула мне тарелку:

— Угощайся.

Я в два счета прикончил баранину и потянулся за вином. Неспешно расправляясь с ужином, Генри внимательно слушал Фрэнсиса.

— Куда он мог деться? — спросил он, когда тот закончил.

— Ты меня, черт возьми, спрашиваешь?

— Мистер Хэтч ведь не станет подавать в суд?

— Откуда я знаю? Если Чарльз не вернет машину, может, и подаст. А если он ее разобьет, то тем более.

— Сколько вообще стоит этот пикап? Кстати, он принадлежит ему или куплен на деньги твоей тетушки?

— Какая разница?

Промокнув губы салфеткой, Генри полез в карман за сигаретами:

— Ясно одно — Чарльз становится неуправляемым. Знаете, что я обдумываю? Не нанять ли нам персональную медсестру?

— Чтобы он бросил пить?

— Разумеется. По понятным причинам мы не можем поместить его в больницу. Возможно, имеет смысл снять гостиничный номер — конечно, не здесь, но есть и другие отели — и найти надежную сиделку, желательно, кстати, не знающую английского...

На Камиллу было жалко смотреть.

— Генри, как ты это себе представляешь? Ты собираешься насильно запереть его в четырех стенах?

— Я просто пытаюсь оценить ситуацию с практической точки зрения.

— Нам нужно срочно найти его, пока он не попал в аварию.

— Мы уже осмотрели весь Хэмпден, включая окрестности, — вмешался Фрэнсис.

— А в больницу звонили?

— Нет.

— Позвонить нужно в полицию, — решительно произнес Генри. — Спросить, не называя имен, не было ли дорожных происшествий. Мистер Хэтч согласится сказать, что он одолжил Чарльзу пикап?

— Он, собственно, именно это и сделал.

— Тогда все нормально. Если, конечно, его снова не арестуют за вождение в пьяном виде.

— Или если мы его не найдем.

— С моей точки зрения, — сказал Генри, — лучшее, что Чарльз может сделать в данный момент, — это навеки исчезнуть с лица земли.

В этот момент раздался бешеный стук. Лицо Камиллы вспыхнуло.

— Чарльз! — облегченно воскликнула она и бросилась открывать.

Дверь распахнулась прежде, чем она подошла, — войдя, мы оставили ее незапертой, — и в комнату шагнул Чарльз. Я был так рад его видеть, что не сразу заметил у него в руке маленькую «беретту» — ту, которая служила нам осенью для упражнений в стрельбе.

Несколько мгновений все молчали. Затем Камилла спросила, очень спокойно:

— Чарльз, ради всего святого, что ты задумал?

— Прочь с дороги, — пошатнувшись, произнес Чарльз.

— Полагаю, он задумал меня убить, — безучастно сказал Генри, затягиваясь.

— Вот именно!

— И чего же ты думаешь этим добиться?

— Ты мне жизнь сломал, сукин ты сын! — заорал Чарльз, потрясая пистолетом. Я со страхом вспомнил, как он одну за другой сбивал выстроенные на столике банки из-под краски.

— Идиот! В твоих проблемах виноват ты один, — рявкнул Генри, и мой страх начал превращаться в настоящую панику. Этот воинственный, угрожающий тон, возможно, подействовал бы на Фрэнсиса или даже на меня, но Чарльза он только пуще разозлит. Я хотел урезонить Генри, но тут Камилла потянулась за пистолетом:

— Чарльз, отдай мне эту штуку.

— Послушай, Милли, не вмешивайся, — произнес тот, отводя ее руку. Оружие он держал на удивление уверенно.

— Чарльз, присядь, выпей вина, — пролепетал Фрэнсис. — Давайте все выпьем вина и забудем этот кошмар.

Из открытого окна доносился резкий стрекот сверчков.

— Иуда! — крикнул Чарльз, покачнувшись, и я не сразу понял, что он обращается не к Фрэнсису, а ко мне.

— Я доверился тебе, а ты выдал меня этому подонку. Я слышал, как ты ему отчитывался.

— Я и так знал, где ты прячешься, — заметил Генри. — Если хочешь застрелить меня, Чарльз, то перестань надоедать нам своей болтовней и приступай к исполнению. Ничего глупее ты в жизни не делал.

— К сожалению, делал — когда слушался тебя, — прошипел Чарльз.

Дальнейшее промелькнуло у меня перед глазами как молния: Чарльз вскинул «беретту», Фрэнсис швырнул ему в лицо бокал, а Генри бросился на него из-за стола. Пистонными хлопками прозвучали четыре выстрела. На втором раздался звон разбитого стекла, на третьем я почувствовал, что в животе разлилось жгучее тепло.

Генри обеими руками выворачивал Чарльзу правую руку. Тот попытался перехватить оружие, но Генри крутанул ему запястье. Пистолет выпал, оба рванулись за ним. Генри оказался проворнее.

«Кажется, меня ранило», — подумал я, касаясь живота. Пальцы ощутили что-то липкое, и, покосившись вниз, я увидел пятно, расплывающееся вокруг обугленной дырочки на белой ткани. «Моя рубашка от Пола Смита! — чуть не расплакался я. — Купил, помнится, в Сан-Франциско, выложил недельную зарплату...» От компактной точки левее пупка расходились волны жара.

Чарльз иступленно вырывался, пытался пнуть Генри, но тот зверски скрутил ему руку и, подталкивая в спину пистолетом, провел по комнате.

То, что минуту назад в меня всадили пулю, никак не укладывалось в голове. «Может, лучше прилечь? — думал я. — Интересно, пуля застряла или прошла навылет? А может, я сейчас прямо здесь и умру?» Последняя мысль тут же показалась полнейшей ерундой. Внутренности горели огнем, но сознание оставалось ясным — странно, мне всегда казалось, что при огнестрельном ранении должна быть нестерпимая, умопомрачительная боль... Шагнув назад, я нащупал сиденье, осторожно сел, и тут по животу словно полоснули ножом.

Генри усадил Чарльза на стул:

— Сиди спокойно.

Чарльз попытался подняться, и тогда он с размаху ударил его по лицу — звучный шлепок был гораздо громче недавних выстрелов. Голова

Чарльза свесилась набок, на губе выступила кровь.

Генри подошел к окну и задернул шторы, потом неловко снял очки левой рукой и протер их о рубашку.

— Все, наигрался? — бросил он, заправляя дужки за уши.

Я все ждал, что присутствующие кинутся мне на помощь, но никто даже не смотрел в мою сторону. Я подумал, что, наверное, как-то стоит привлечь их внимание. Внизу хлопнула дверь, раздались шаги и голоса.

— Как вы думаете, они слышали выстрелы? — озабоченно спросил Фрэнсис.

— Да уж надо полагать, — отозвался Генри.

Чарльз отпихивал склонившуюся над ним Камиллу.

— Оставь его в покое, — сказал Генри.

— Кстати, что теперь делать со стеклом? — продолжал Фрэнсис.

— Кстати, что теперь делать со мной? — спросил я, и все повернулись ко мне. — Я ранен.

Эта короткая реплика почему-то не произвела драматического эффекта, на который я рассчитывал. Прежде чем я успел пояснить ее распространенным предложением, кто-то застучал в дверь:

— Что там у вас происходит?

Фрэнсис спрятал лицо в ладонях:

— Ну все, влипли.

Приоткрыв штору, Генри выглянул наружу, затем обернулся.

— Подойди ко мне, — обратился он к Камилле, подзывая ее движением руки с пистолетом.

Она отпрянула. Фрэнсис издал сдавленный звук.

— Скорее.

— Нет, Генри, пожалуйста, не надо...

Он улыбнулся:

— Неужели ты думаешь, я способен причинить тебе вред? Не бойся, подойди.

Камилла приблизилась. Генри поцеловал ее в лоб и что-то прошептал ей на ухо.

— У меня есть ключ! — истошным голосом крикнул консьерж.

«Болван, просто поверни ручку», — подумалось мне в наплывающем тумане.

Генри снова поцеловал Камиллу.

— Я люблю тебя, — сказал он и крикнул: — Войдите!

Дверь открылась. Генри поднял пистолет. «Он хочет их убить», — пронеслось у меня в голове; консьерж с женой, застывшие на пороге,

очевидно, пришли к тому же выводу. Только когда Камилла завизжала: «Нет, Генри!..», я понял, что на самом деле он собирается сделать.

Поднеся «беретту» к виску, он нажал на курок. Раздались два сухих выстрела — второй, вероятно, стал результатом отдачи. Его голова дернулась влево, но он все стоял, в полный рост, словно памятник...

В окно потянуло сквозняком, шторы прильнули к сеткам, затрепетали, поникли. Генри с глухим стуком повалился на ковер.



## Эпилог

*А он похож на собственную тень,  
На призрак тени.*

*Джон Форд. Разбитое сердце* [\[134\]](#)

На экзамен по французскому я не явился — как вы понимаете, огнестрельное ранение в живот вряд ли можно было назвать недостаточно уважительной причиной.

Хирург потом сказал, что мне повезло: пуля прошла навывлет, из внутренних органов пострадал только тонкий кишечник, да и то не слишком серьезно. «Скорая» рассекала еще не остывший воздух таинственной летней ночи, пятна фонарей в облачках мошкары мелькали все быстрее, а я лежал, вцепившись в носилки, и думал: неужели это оно и есть, неужели вот так ускоряется жизнь перед смертью? Обильное кровотечение. Головокружение и слабость. Помню, еще я подумал, что это даже забавно — мчаться в преисподнюю по туннелю, освещенному огнями «Шел» и «Бургер-кинга». Сопровождавший меня санитар — лопоухий паренек с пробивающимися усиками — видел пулевое ранение впервые и не переставал допытываться, что я чувствую: тупую боль или острую? ноющую или жгучую? Описать ему толком свои ощущения я, конечно, не мог, но меня посетила смутная мысль, что это похоже на первый раз, когда я напился или переспал с девушкой: не совсем то, чего ожидал, но после понимаешь, что иначе быть просто не могло. Неоновые вывески одна за другой: «Мотель 6», «Дейри-куин», «Мотор-инн»... Их яркий холодный свет почему-то наполнял меня невыносимой тоской.

Генри, конечно, умер — после двух выстрелов в голову вариантов в общем-то не было. Смерть наступила, однако, только через двенадцать часов. (Передаю эти факты с чужих слов, сам я тогда лежал в забытьи.) Врачи были изумлены — от таких ран, утверждали они, большинство людей скончались бы мгновенно. Я часто задавался вопросом, означало ли это, что он не хотел умирать, а если да, то зачем застрелился? На тот момент ситуация действительно выглядела мрачновато, но, думаю, с течением времени жизнь бы, так или иначе, наладилась. Сомневаюсь, что им двигало отчаяние или страх. Уверен, что подкосило его бегство

Джулиана. Мне кажется, ему нужно было любой ценой доказать нам и самому себе, что долг, благочестие, преданность, самопожертвование — все те монументально-высокие принципы, которые преподавал нам Джулиан, — это не пустой звук. Я помню, с каким выражением он поднес к виску пистолет: его черты светились экстатической сосредоточенностью, предвкушением триумфа. Он был похож на пловца, готовящегося прыгнуть с вышки: глаза закрыты, тело собрано в ожидании полета.

На самом деле я часто вспоминаю его лицо в тот момент, и это воспоминание почему-то влечет за собой другие, никак с ним не связанные: о том, как я впервые увидел березу, о том, как в последний раз видел Джулиана, о том, как старательно вывел свое первое предложение на греческом. Χαλέρá τά καλά. Прекрасное — трудно.<sup>[135]</sup>

Сразу скажу, что Хэмпден я закончил — с дипломом бакалавра английской литературы. Выйдя из больницы с перебинтованным брюхом, я сразу отправился в Нью-Йорк. Повязка, которую мне надлежало носить еще некоторое время, была хорошо заметна под рубашкой и, должно быть, вызывала вполне определенные ассоциации: «Н-да... Вы уверены, что прибыли по нужному адресу? — шутливо изрек профессор, оглядывая меня. — Как-никак это Бруклин-Хайтс, а вам, очевидно, нужно в Бенсонхерст».<sup>[136]</sup> Большую часть лета я провел в шезлонге на плоской крыше — покуривая сигареты, пытаюсь читать Пруста, размышляя о времени и смерти, праздности и красоте. Рана зажила, оставив на животе темную отметину. В сентябре я влился в ряды студентов английского отделения. В том году выдалась поистине роскошная осень, никогда потом я уже не видел такого кристального неба, таких великолепных красок листопада. Соученики бросали на меня сочувственные взгляды, перешептывались за моей спиной. Ни Фрэнсис, ни близнецы в колледж не вернулись.

Версия происшествия в «Альбемарле» сложилась сама собой: молодой человек задумал самоубийство, его друг, попытавшийся отнять оружие, был ранен, но не сумел предотвратить беду. Сначала эта трактовка показалась мне несправедливой по отношению к Генри, однако потом я счел ее удачной во всех смыслах. Для него это все уже не имело никакого значения, а мне было приятно сознавать, что из незадачливого ротозея я вдруг превратился в бесстрашного героя, — хотя, конечно, я не питаю иллюзий насчет того, какую из этих двух ролей играю в жизни.

Хоронили Генри в Сент-Луисе. Из всех нас туда поехал только

Фрэнсис. В день похорон (любопытно, что состоялись они в тот самый день, на который было назначено судебное слушание) Камилла сопровождала Чарльза в Виргинию, а я валялся в бреду, снова и снова наблюдая за тем, как расплзается красное пятно на моей рубашке и катится по полу опрокинутый бокал.

Накануне меня навестила мать Генри — видимо, зайдя ко мне прямо из морга, где лежало тело ее сына. К сожалению, мои воспоминания о ее визите расплывчаты — красивая темноволосая дама с синими, как у Генри, глазами держала меня за руку и, кажется, за что-то благодарила. В палату вошли врач и две медсестры, а потом появился и Генри в перепачканной землей одежде садовода.

Только когда я выписывался и нашел среди своих вещей ключи от машины, я припомнил кое-что из того, что она говорила. Разбирая бумаги сына, она обнаружила, что перед смертью он начал переводить автомобиль на мое имя. (Это столь хорошо увязывалось с официальной версией — собравшись свести счеты с жизнью, юноша принялся раздавать ценности друзьям, — что никому, даже полиции, не пришло в голову сопоставить эту щедрость с тем, что Генри грозила конфискация машины.) Теперь БМВ принадлежал мне. Она выбрала эту модель сама, ему в подарок на девятнадцать лет, продать ее у нее не поднимется рука, но видеть ее она тоже не в силах. Это она и пыталась объяснить, тихонько плача у моего изголовья, в то время как не замеченный медперсоналом Генри подошел к окну и, нахмурившись при виде вазы с растрепанным букетом, стал приводить цветы в порядок.

Наверное, было бы естественно ожидать, что Фрэнсис, близнецы и я станем поддерживать более или менее прочную связь. Однако смерть Генри словно отсекала объединявшее нас прошлое, и очень скоро мы начали терять друг друга из виду.

За все лето, которое я провел в Бруклине, а Фрэнсис — на Манхэттене, мы раз пять созвонились и дважды встретились — оба раза, по его настоянию, в Верхнем Ист-Сайде, в баре на первом этаже дома, где располагалась квартира его матушки. Он заявил, что не любит гулять по городу: стоит отойти на пару кварталов от дома, как начинает казаться, что люди готовы его затоптать, а здания — обрушиться ему на голову. Разговор не клеился. Фрэнсис сказал, что очень много читает; нервно двигая по столу пепельницу, сообщил, что вроде бы нашел приличного врача. Посетители бара здоровались с ним как со старым знакомым.

Близнецы остались у бабушки в Виргинии. Камилла два раза

позвонила справиться о моем здоровье, прислала три открытки. В октябре я получил от нее письмо, где говорилось, что Чарльз бросил пить и уже месяц не берет в рот ни капли. Еще одна открытка пришла к Рождеству (Чарльз не упоминался), следующая — в феврале, ко дню рождения. Потом, очень долгое время, — ни весточки.

Общение ненадолго возобновилось с приближением даты моего выпуска. «Кто бы мог подумать, что ты единственный из всех нас закончишь Хэмпден!» — писал Фрэнсис. Камилла от всей души поздравляла меня с успехом. Оба выразили желание приехать на церемонию вручения дипломов, но дальше разговоров дело не пошло.

На последнем курсе я начал встречаться с Софи и в конце осеннего семестра перебрался к ней. Она снимала квартиру на Уотер-стрит, совсем рядом с домом, где раньше жил Генри. В садике дичали посаженные им розы («мадам Исаак Перейр» действительно восхитительно пахла малиной; жаль, что Генри так и не увидел ее в цвету), боксер, переживший его фармакологический эксперимент, облаивал меня всякий раз, как я проходил мимо. После окончания колледжа Софи ждала работа в одной из лос-анджелесских танцевальных трупп. Мы думали, между нами любовь, в воздухе витали мысли о свадьбе. Презрев предупреждающие сигналы подсознания (мои сны наполнились снайперскими пулями, взорванными автомобилями, оскаленными мордами диких псов), я ограничил поиск подходящей магистратуры колледжами в Южной Калифорнии.

Мы с Софи расстались меньше чем через полгода после переезда. Я слишком замкнут, утверждала она, никогда нельзя понять, что у меня на уме, а по утрам я, бывает, просыпаюсь с таким взглядом, что ей просто страшно.

Я проводил дни в библиотеке, читая драматургов эпохи короля Якова I. То, что я остановил свой выбор на этом периоде, многим казалось странным, но меня это не смущало. Уэбстер и Мидлтон, Тернер и Форд — мне был по вкусу мир, в котором жили их персонажи: мир, освещенный не солнцем, а предательским пламенем свечей, мир, где невинность всегда оказывалась попорченной, а злодеяние — ненаказанным. Меня притягивали уже сами названия пьес, старомодные и возвышенно-броские: «Недовольный», «Белый дьявол», «Разбитое сердце»... Я сидел над ними часами, размышлял, делал выписки и заметки. Никто не мог сравниться с моими авторами в изображении катастрофы. Они не только понимали, что такое зло, но и создавали все многообразие уловок, при помощи которых

оно прикидывается добром. Мне казалось, что они проникают в самую суть, что, говоря о пороках людей и перипетиях их судеб, они указывают на главное — невосполнимую ущербность всего мироустройства.

В моих штудиях мне часто встречалось имя Кристофера Марло. Я всегда любил его пьесы, а теперь поймал себя на том, что меня привлекает и его личность. «Милый Кит Марло» — называл его Джон Марстон.<sup>[137]</sup> Воспитанник Кембриджа, самый блестящий из «университетских умов»,<sup>[138]</sup> друг Уолтера Роли<sup>[139]</sup> и Томаса Нэша,<sup>[140]</sup> Марло вращался в высоких литературных и политических кругах; он единственный поэт-современник, аллюзию на которого мы находим у Шекспира.<sup>[141]</sup> И в то же время это был убийца, фальшивомонетчик, человек беспутных привычек и сомнительных знакомств, который «умер, бранясь» в таверне в возрасте двадцати девяти лет. День своей смерти он провел в обществе трех человек, пользовавшихся очень дурной славой: один был мошенником, другой — агентом тайной полиции, третий — осведомителем и провокатором. Кто-то из них и нанес Марло рану над глазом, «от каковой смертельной раны, — сообщает нам коронер двора ее величества Елизаветы I, — вышеупомянутый Кристофер Морли тогда и в том месте тотчас умер».<sup>[142]</sup>

Я часто вспоминаю строчки из его «Трагической истории доктора Фауста»:

Хозяин, знать, собрался помирать?  
Свое добро он все теперь мне отдал...

А также реплику, которую бросает в сторону рыцарь, когда Фауст появляется при дворе императора:

Право, он очень похож на фокусника.<sup>[143]</sup>

Когда я засел за магистерскую диссертацию (по «Трагедии мстителя» Тернера<sup>[144]</sup>), мне пришло письмо от Фрэнсиса. Привожу его здесь целиком.

25 февраля

Дорогой Ричард!

Я хотел бы начать словами «Мне трудно писать это письмо...», но это было бы неправдой, поскольку ощущаю я, скорее, облегчение. Жизнь

моя исподволь подгнивала уже много лет, и, кажется, я наконец нашел в себе мужество остановить этот процесс.

Обращаясь к тебе в последний раз (по крайней мере, в этой скорбной юдоли), я хочу сказать тебе следующее. Работай. Будь счастлив с Софи. [Он не знал о нашем разрыве.] И прости меня за все — прежде всего за все, чего я не сделал.

*Mais, vrai, j'ai trop pleuré! Les aubes sont navrantes.*<sup>[145]</sup> Какая все-таки печальная и прекрасная строчка! Я давно надеялся, что когда-нибудь смогу процитировать ее в достойном контексте. Быть может, зори будут менее скорбны в той стране, куда я вскоре отбываю. Впрочем, как ты помнишь, «умереть, говоря по правде, значит одно из двух...»,<sup>[146]</sup> и, возможно, по ту сторону нас ждет всего лишь сон. Еще немного, и я узнаю это наверняка.

Интересно, увижу ли я Генри? Если да, то не премину спросить, почему он не прикончил тогда нас всех и не поставил точку в нашей истории.

Не переживай из-за меня, я того не стою.

С приветом Фрэнсис

Судя по штемпелю, письмо было отправлено из Бостона четыре дня назад. Бросив все, я помчался в аэропорт, сел в самолет и уже через несколько часов вошел в отдельную палату больницы Бригхем-энд-Уименс. Фрэнсис — бледный как смерть, но живой — лежал, бессильно вытянув руки с забинтованными запястьями. Выяснилось, что уже после того, как он потерял сознание, в ванную заглянула горничная его тетушки.

С тех пор как он покинул Хэмпден, прошло без малого четыре года. Я был страшно рад его видеть, и, по-моему, он меня тоже. Мы без умолку болтали о всякой ерунде под уютный шум дождя за окном.

— Кстати, ты слышал, что я женюсь? — спросил он вдруг.

— Расскажи кому-нибудь другому, — засмеялся я, уверенный, что это шутка.

Но он запустил руку в ящик тумбочки и достал фотографию, с которой улыбалась голубоглазая блондинка, немного похожая на Марион.

— Симпатичная...

— Тупая как пробка! — с жаром ответил он. — Ненавижу ее. Знаешь, как прозвали ее мои кузены? Черная дыра.

— Почему?

— Потому что ее появление вызывает моментальный коллапс любой

беседы.

— Зачем же ты женишься?

Фрэнсис помолчал, потом сказал, доставая сигарету:

— Я встречался с одним человеком. Он адвокат, выпускник Гарварда. Мне кажется, вы бы нашли общий язык. Правда, он любит приложиться к бутылке, но это ничего. Зовут его Ким.

— И что?

— И как-то раз мой дед застал нас вдвоем... Я раньше думал, такое только в анекдотах бывает.

Справиться с зажигалкой он не мог — большой палец не действовал из-за поврежденного сухожилия. Я дал ему прикурить.

— Так вот, теперь мне нужно жениться, — заключил он, выпустив дым.

— «Нужно»?

— Да. Иначе дед оставит меня без гроша.

— А устроиться на работу ты не можешь?

— Нет.

Как и в былые времена, подобный ответ вызвал у меня сильное раздражение, но теперь я только усмехнулся:

— Хм, я вот как-то умудряюсь зарабатывать себе на жизнь...

— Ты к этому привык.

Дверь приоткрылась, и, заговорщицки улыбаясь, к нам заглянула персональная медсестра Фрэнсиса:

— Мистер Абернати, к вам тут кое-кто пришел.

Фрэнсис зажмурился, словно ожидая удара:

— Это она.

Медсестра ретировалась. Мы переглянулись.

— Фрэнсис, одумайся.

— От меня уже ничего не зависит.

В палату танцующей походкой вошла блондинка с фотографии. Ее розовый свитер украшала вышивка из голубых снежинок, волосы были затянуты в хвостик лентой того же оттенка розового.

Я нашел ее очень миловидной, даже красивой. На одеяло посыпались подарки: плюшевый мишка, упаковки «желейных бобов», номера «Джи-Кью», «Атлантик мансли», «Эсквайра»... «С каких это пор Фрэнсис читает глянцево-е журналы?» — изумился я.

Она чмокнула больного в лоб:

— Милый, ну что ты как маленький... Мы ведь, кажется, договорились, что ты больше не куришь?

Вывхватив сигарету, она затушила ее в пепельнице, после чего одарила меня сияющей улыбкой.

— Присцилла, познакомься, это мой друг Ричард, — монотонно произнес Фрэнсис.

Она распахнула глаза:

— О, я про тебя так много слышала!

— А я про тебя, — вежливо ответил я, и на этом, как по волшебству, разговор иссяк.

На следующий день в Бостон приехала Камилла — она тоже получила «предсмертное» письмо.

Вспоминая, как Генри сидел у моей постели в больнице Монпелье, я читал Фрэнсису «Нашего общего друга», а потом задремал в кресле. Проснувшись от его изумленного возгласа, я открыл глаза и подумал, что грежу.

Она выглядела старше своих лет. Осунувшееся лицо, потемневшие волосы, стрижка под мальчика. Все эти годы мне подспудно казалось, что Генри увел ее за собой в царство теней; сам того не сознавая, я уже не надеялся встретить ее снова. Тем сильнее было мое потрясение, когда она вдруг возникла передо мной — увидев ее померкшие, но все еще обворожительные черты, я чуть не умер от счастья.

Фрэнсис раскрыл объятия:

— Привет, дорогая! Иди скорее сюда.

Фрэнсиса выписали на второй день после приезда Камиллы (это была Пепельная среда). Втроем мы отправились гулять по городу. Бостон показался мне похожим на никогда не виденный Лондон: серое небо, закопченные кирпичные домики, китайские магнолии в тумане. Камилла и Фрэнсис захотели пойти к мессе, я к ним присоединился.

В церкви былолюдно и зябко. Мы отстояли очередь к алтарю, где согбенный престарелый священник обмакнул большой палец в пепел и начертил крест у меня на лбу. «Ибо прах ты и в прах возвратишься». [\[147\]](#) Когда пришло время причастия и вокруг начали подниматься, я тоже встал, но Камилла поспешно одернула меня. Сидя на скамье, мы наблюдали за тем, как прихожане, толпясь и шаркая, снова подтягиваются к алтарю.

— Знаете, — сказал Фрэнсис, когда мы вышли из церкви и открыли зонты, — как-то раз я проявил наивность и спросил Банни, приходилось ли ему всерьез задумываться о том, что такое грех.

— И что он ответил? — поинтересовалась Камилла.



Фрэнсис насмешливо фыркнул:

— Он ответил: «Конечно нет. Что я, католик какой-нибудь?»

После мессы мы пошли в темный тесный бар на Бойлстон-стрит и просидели там до самого вечера. В беседе всплыло имя Чарльза. Выяснилось, что одно время он был в Бостоне частым гостем.

— А года два назад Фрэнсис одолжил ему крупную сумму, — сказала Камилла и прибавила: — Только напрасно он это сделал. Чарльз не заслуживал его доброты.

Дернув плечом, Фрэнсис допил виски. Такой поворот разговора, кажется, его не обрадовал:

— Одолжил, и ладно.

— С деньгами ты, считай, распрощался.

— Ничего страшного.

Меня распирало от любопытства:

— Так как же у Чарльза дела?

— Потихоньку, — туманно ответила Камилла.

Ей, похоже, тоже было неловко, но, поймав мой ожидающий взгляд, она нехотя продолжила:

— В общем, сначала он работал у дядюшки в конторе. Потом устроился тапером в бар... можешь представить последствия. Бабушка вся извелась. Наконец ей пришлось попросить дядю, чтобы он поговорил с Чарльзом, объяснил, что если так и дальше пойдет, то она не захочет видеть его под своей крышей. Чарльз взбеленился, ушел, хлопнув дверью, снял комнату, продолжал играть в баре. Но его скоро выгнали, и ему пришлось вернуться. Тогда-то он и начал наведываться в Бостон.

— Спасибо, что ты терпел его все это время, — добавила она, обращаясь к Фрэнсису.

— Да ну, брось.

— Нет, это было очень великодушно, правда.

— Он был моим другом.

— В конце концов Фрэнсис одолжил Чарльзу деньги на лечение, — продолжила Камилла. — Он лег в клинику, но пробыл там меньше недели — сбежал с какой-то женщиной, лет на десять старше его, с которой там познакомился. Месяца два от них не было ни слуху ни духу. Потом муж этой женщины...

— Она была замужем?

— Да, и к тому же с ребенком, бросила его вместе с мужем. Так вот, тот нанял частного детектива, и их выследили. Они жили в Сан-Антонио, в

каких-то ужасных трущобах. Чарльз мыл посуду в закусочной, а она... честно говоря, даже не знаю, чем она могла заниматься. Оба были, мягко скажем, не в лучшей форме, но возвращаться отказались. Заявили, что очень счастливы.

— И что в итоге?..

Камилла поднесла к губам стакан:

— Да ничего. Так и живут в Техасе. Из Сан-Антонио, правда, уехали. Одно время обретались в Корпус-Кристи, а потом, кажется, перебрались в Галвестон.

— Кажется? Разве он тебе не звонит?

Помолчав, Камилла произнесла:

— Мы с Чарльзом уже давно не разговариваем.

— Как, вообще?

Она допила виски:

— Вообще. Не знаю, как бабушка это пережила.

В дождливых сумерках мы возвращались домой через Паблик-гарден. Неожиданно Фрэнсис сказал:

— Знаете, мне все кажется, что к нам вот-вот присоединится Генри.

Я не стал в этом признаваться, но мной владело то же ощущение. Более того, Генри мерещился мне с самого приезда в Бостон — я узнавал его то в пассажире проезжающего мимо такси, то в рослом клерке, исчезающем за дверью офисного центра.

— Он ведь привиделся мне тогда... Когда я лежал в этой чертовой ванне, как Марат. Мне показалось, я вот-вот потеряю сознание, и вдруг смотрю — на пороге стоит Генри в домашнем халате. Помните тот его халат с большими карманами, где он держал всякую всячину — сигареты, таблетки?.. Так вот, он подходит ко мне и говорит таким осуждающим тоном: «Ну что, Фрэнсис, теперь ты доволен?»

Некоторое время мы шли в молчании.

— Мне до сих пор трудно поверить, что его нет в живых, — продолжил Фрэнсис. — То есть я понимаю, что он не мог прикинуться мертвым, а потом инсценировать свои похороны, но... В общем, если кто и способен додуматься, как вернуться обратно, так это он. Как Шерлок Холмс после падения в Рейхенбахский водопад. Я все жду, что в один прекрасный день он, как ни в чем не бывало, зайдет ко мне в комнату и подробно объяснит, как ему удалось все это проверить.

Мы взошли на мост. Свет фонарей северным сиянием расплывался в чернильной воде пруда.

— Может быть, тебе и не привиделось, — сказал я.

— То есть?

— Я вот тоже думал, что привиделось, когда лежал в больнице со своей раной.

Фрэнсис понимающе кивнул:

— Ты ведь знаешь, что сказал бы в этом случае Джулиан? Призраки действительно существуют. Мы верим в них ничуть не меньше, чем люди гомеровских времен, только называем иначе — памятью или бессознательным...

— Не возражаете, если мы сменим тему? — вдруг сказала Камилла. — Очень вас прошу.

В пятницу утром мы провожали Камиллу — узнав накануне, что бабушка прихворнула, она тут же засобиравлась домой. Я решил задержаться в Бостоне до понедельника.

Фрэнсис пошел купить ей что-нибудь почитать в дорогу, мы остались на платформе вдвоем. Накапывало. Камилла нервно постукивала ногой и поминутно тянулась посмотреть, не подадут ли поезд. Со вчерашнего вечера я думал лишь о предстоящей разлуке, и теперь отчаяние наконец развязало мне язык:

— Не хочу, чтобы ты уезжала.

— Я и сама не хочу.

— Так останься.

— Нет, я должна ехать.

Я посмотрел в ее глаза цвета дождя:

— Камилла, я люблю тебя. Выходи за меня замуж.

Она долго молчала.

— Ричард, ты же понимаешь, что это невозможно.

— Почему?

— Потому что... По многим причинам. Бабушка очень сдала, ей нужна моя забота. Я не могу вот так сорваться и укатить в Калифорнию.

— И не надо. Я перееду на Восток.

— А колледж? А твоя диссертация?

— Все это не важно.

Камилла вздохнула:

— Видел бы ты, как я сейчас живу. Я ухаживаю за бабушкой, веду дом, на большее не остается ни времени, ни сил. У меня фактически нет друзей. Не помню даже, когда я последний раз брала в руки книгу.

— Я помогу тебе.

— Мне не нужна твоя помощь, — сказала она, вскинув голову, и от ее стального взгляда земля ушла у меня из-под ног.

— Ну хочешь, я перед тобой на колени встану? Правда встану, только скажи.

Камилла устало прикрыла глаза — темные веки, темные полукружья под густыми ресницами. Я снова подумал, как разительно изменилась она за то время, что мы не виделись; она была уже ничуть не похожа на ту беззаботную девушку, в которую я когда-то влюбился, но оттого не менее прекрасна — красотой, которая не столько возбуждала эмоции, сколько властвовала над всем моим существом.

— Я не могу выйти за тебя замуж.

— Но почему? — спросил я, предчувствуя ответ: «Потому что не люблю тебя», но она сказала:

— Потому что я люблю Генри.

— Генри давно умер.

— Я все еще люблю его. Ничего не могу поделать.

— Я тоже его любил, — произнес я.

На секунду мне показалось, я уловил в ней какое-то колебание, но она тут же отвела взгляд:

— Знаю. Но этого недостаточно.

Мысль о перелете в Калифорнию была невыносима. В жалкой попытке смягчить горечь расставания я взял напрокат машину и, стиснув зубы, ехал без остановок до тех пор, пока за окнами не замелькал унылый пейзаж Среднего Запада. Я благословлял дождь, сопровождавший меня всю дорогу, — он был напоминанием о прощальном поцелуе Камиллы.

Мерный скрип дворников, прорезающиеся и глохнущие радиостанции, бесконечные кукурузные поля. Однажды мне уже приходилось терять ее, но эти последние минуты на бостонском вокзале были куда тяжелее и горше тех сентябрьских дней, когда стало ясно, что в Хэмпден она не вернется, — ведь маша рукой вслед уходящему поезду, я понимал, что новых встреч и прощаний не будет, что я потерял ее навсегда. *Hinc illae lacrimae*<sup>[148]</sup> — отсюда эти слезы.

Пожалуй, мне осталось только поведать вам о том, что я знаю о судьбе других героев моей истории.

Клоук, к всеобщему удивлению, поступил в юридическую школу и, что еще более удивительно, ее закончил. Сейчас он работает в отделе слияний и поглощений «Милбэнк Твид», где, кстати, Хью Коркоран недавно стал старшим партнером. Говорят, Хью его туда и пристроил — и,

скорее всего, не врут; во всяком случае, поверить, что Клоук попал туда благодаря исключительным успехам в учебе, я затрудняюсь при всем желании. Живет он недалеко от Фрэнсиса и Присциллы (к слову сказать, у них сказочная квартира на углу Лексингтон-авеню и 81-й улицы — свадебный подарок отца Присциллы, который давно занимается нью-йоркской недвижимостью), и Фрэнсис, по-прежнему мучающийся бессонницей, иногда встречается Клоука среди ночи в корейском магазинчике, куда оба наведываются за сигаретами.

Джуди преуспела на поприще аэробики. Теперь она, можно сказать, знаменитость — регулярно появляется на кабельном телевидении, где заправляет массовой таких же подтянутых красоток в программе «Личный тренер».

Когда Фрэнк и Джад решили, что колледж им надоел, они купили складчину «Приют селянина», куда вскоре переместилась тусовка из «Гадюшника». Говорят, их бизнес процветает. Издание выпускников недавно посвятило им большую статью, откуда я, в частности, узнал, что в «Приюте» работают многие хэмпденские питомцы, включая Джека Тейтельбаума и Руни Уинна.

Кто-то из знакомых убеждал меня, что Брэм Гернси пошел в «Зеленые береты», но я склонен считать это байкой.

Жорж Лафорг, вопреки проискам завистников, по-прежнему преподает в Хэмпдене французский.

Доктора Роланда наконец-то спровадили на пенсию; светило бихевиоризма счастливо коротает свой век в Хэмпден-тауне. Выйдя на покой, он опубликовал очень неплохой фотоальбом «Хэмпден-колледж — взгляд сквозь годы», и теперь городские клубы часто приглашают его выступить с послеобеденной речью. Кстати, по его милости мне чуть было не отказали в поступлении в магистратуру: в блестящей рекомендации, которую он мне сочинил, расписывались достоинства некоего Джерри.

Кошка, которую Чарльз подобрал на парковке, отлично прижилась в домашних условиях. На лето Фрэнсис пристроил ее под опеку своей кузины, а осенью та, не пожелав расставаться с «пусечкой», увезла ее с собой в Бостон. Уроженка хэмпденских помоек ныне обитает в десятикомнатной квартире на Эксетер-стрит под кличкой Принцесса.

Марион вышла замуж за Брейди Коркорана. Они живут в Тэрритауне, откуда Брейди удобно ездить на работу в Нью-Йорк. У них дочка — первое чадо женского пола, родившееся в клане Коркоранов за исторически обозримый период. По словам Фрэнсиса, малышка полностью покорила сердце мистера Коркорана, и он возится только с ней, совсем забросив

других внуков и собак. Имя Мэри Кэтрин, данное девочке при крещении, так и не вошло в употребление — Коркораны, неизвестно почему, зовут ее Банни.

Софи серьезно повредила ногу и долгое время не могла вернуться на сцену, зато недавно получила большую роль в новой постановке. Мы остались друзьями, иногда вместе выбираемся поужинать. Когда поздно вечером у меня раздается звонок, я знаю, что это Софи, которой нужно выговориться после расставания с очередным молодым человеком. Мне по-прежнему приятно общаться с ней, и все же, не скрою, я так и не простил ей того, что ради нее вернулся в это богом забытое место.

Джулиана, как уже было сказано, я больше никогда не видел. Приложив немало усилий, Фрэнсис связался с ним накануне похорон Генри. По его словам, Джулиан сердечно его поприветствовал, выслушал, не перебивая, рассказ о случившемся, потом сказал: «Все это очень печально, Фрэнсис. Боюсь, однако, мое присутствие там будет лишним. Спасибо, что позвонил».

Около года назад Фрэнсис обрушил на меня потрясающую новость: по слухам, Джулиан назначен наставником наследного принца Суаориланда — восточноафриканской страны размером с пол-Вермонта. Позже выяснилось, что правды в этой истории ни на грош, но в моем воображении она уже успела обрасти красочными подробностями. Ведь действительно, что могло бы стать лучшей долей для Джулиана, чем увенчать свою педагогическую карьеру воспитанием философа на троне? Я представлял себе, как Джулиан станет могущественной закулисной силой в политике Суаориланда, как его венценосный ученик превратит безвестный клочок земли в образцовое государство, слава о котором разнесется по всему миру. Вымышленному наследнику престола было восемь лет. Голова шла кругом при мысли о том, где был бы сейчас я, возмись за меня Джулиан в этом возрасте.

— Как знать, быть может, Джулиан, как в свое время Аристотель, воспитает покорителя ойкумены? — в шутку обронил я в одном из разговоров с Фрэнсисом. — Представляешь, если лет через тридцать — сорок одной из самых могущественных мировых держав будет империя Суаори?

Фрэнсис, посопев в трубку, произнес с огорошившей меня серьезностью:

— Сильно в этом сомневаюсь... А впрочем, как знать, как знать.

Агент Давенпорт, надо полагать, так и живет в своем родном Нашуа, а вот Сциола умер от рака легких. Я узнал об этом года три назад из выпуска

социальной рекламы. Стоя на черном фоне, страшно исхудавший Сциола обращался к зрителям со словами: «Когда эта запись выйдет в эфир, меня уже не будет в живых». Далее он объяснял, что погубили его не тяготы работы на страже закона, а сигареты в количестве двух пачек в день. Выпуск показывали в четвертом часу ночи; один в квартире, я сидел перед черно-белым телевизором, на экране которого бушевала метель помех, и мне показалось, Сциола обращается лично ко мне. Меня охватило смятение: а вдруг это вовсе не запись, вдруг это его дух обрел зримую форму посредством радиочастот, антенны и кинескопа? Ведь, если подумать, что такое призраки? Частицы и волны, излучение... Свет угасшей звезды.

Последнее сравнение, помнится, употребил Джулиан на одном из занятий по «Илиаде». Речь зашла о сцене, в которой Патрокл является спящему Ахиллу, и тот, вне себя от радости при виде погибшего друга, пытается заключить его в объятия, но призрак исчезает.<sup>[149]</sup> «Мертвые являются нам во сне, поскольку наше восприятие не позволяет нам видеть их наяву, — сказал Джулиан. — Эти ночные гости суть образы, проецируемые в наше сознание из немыслимого далека, в определенном смысле их можно уподобить свету давно угасшей звезды...»

В этой связи мне вспоминается сон двухнедельной давности.

Темной ночью я брел по какому-то старому городу — Лондону или, может быть, Риму, — обезлюдевшему после войны или эпидемии. Поначалу я видел лишь разруху и запустение: заросшие сорняками площади, парки с вывороченными деревьями и изувеченными статуями, дома, из боков которых переломанными ребрами торчали ржавые балки. Потом среди заброшенных руин мне стали попадаться новые высотные здания, соединенные подсвеченными переходами из стекла и металла, — сквозь щебень прошлого прорастала, фосфоресцируя, гладкая и бездушная современность.

Я зашел в одно из таких строений, оказавшееся не то лабораторией, не то музеем. Посередине просторного сумрачного зала несколько мужчин курили трубки и рассматривали какой-то экспонат.

Я подошел ближе. Под стеклянным колпаком медленно вращалась странная машина, детали которой то распадались, то складывались в архитектурные образы. Инкский храм... щелк-щелк... Египетские пирамиды... Парфенон. Я застыл, замороженно наблюдая, — сама история, изменчивая и многоликая, протекала у меня на глазах.

— Я так и предполагал, что застаю тебя здесь, — произнес голос у меня за плечом.

Это был Генри. На его правом виске, чуть выше дужки очков, я заметил отверстие в ореоле порохового ожога.

Я обрадовался встрече, но ничуть не удивился:

— Знаешь, все говорят, что ты умер...

Он смотрел на машину. Колизей... щелк-щелк... Пантеон.

— Нет, я не умер. Просто у меня возникли некоторые проблемы с паспортом.

— Как это?

Он кашлянул:

— Мои перемещения ограничены. Я больше не могу, как раньше, отправиться туда, куда захочу.

Айя-София. Собор Святого Марка в Венеции.

— А где мы находимся?

— Боюсь, эта информация не подлежит разглашению.

Я с любопытством огляделся. Курильщики исчезли, мы остались в зале одни.

— Сюда вообще пускают посетителей?

— Как правило, нет.

Меня переполняло желание рассказать ему про себя, задать ему море вопросов, но я почему-то знал, что на долгий разговор у нас нет времени. Впрочем, чувствовал я и то, что любые слова все равно будут некстати.

— Ты счастлив здесь? — только и спросил я.

Он задумался:

— Не слишком.

Блаженного. Шартр. Солсбери. Амьен.

Генри бросил взгляд на часы:

— Надеюсь, ты извинишь меня. У меня встреча, и я уже немного опаздываю.

Он направился прочь, а я смотрел ему вслед до тех пор, пока его темная фигура не растворилась в сумраке зала.



## Примечания

Следует пояснить, что название книги отсылает к произведению византийского историка Прокопия Кесарийского (ок. 500–562 гг.). Исполняя обязанности военного летописца при дворе императора Юстиниана, он написал восьмитомную «Историю войн», которую снабдил «неофициальным» дополнением — памфлетом под заглавием «Anecdota». В нем он излагает закулисные причины описанных в «Истории» политических событий и весьма критически оценивает действия императора. Греческое название памфлета переводилось на английский как «The Secret History», а на русский — как «Тайная история». (Здесь и далее — прим. перев.)

Традиционный русский перевод этого термина аристотелевской эстетики — «трагическая ошибка»: «Остается среднее между этими [крайностями]: такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки (hamartia)...» (Поэтика, 1453a. Перевод М. Гаспарова).

О себе. История одного из моих безумств (*фр.*) (А. Рембо. Одно лето в аду. Перевод М. Кудинова).

4

Что требовалось доказать (*лат.*).

Потерянный рай, I, 254.

Граф Робер де Монтескью-Фезенсак (1855–1921) — сочинитель, эстет и денди, был известен как арбитр элегантности и покровитель искусств.

Обязательным (фр.).



Первая книга американского писателя Филипа Рота (р. 1933), за которую в 1960 г. он удостоился Национальной книжной премии.

Пойдем возляжем? (*лат.*)

Здесь: хорошего вкуса (*фр.*).

Койне — общегреческий язык эллинистически-римского периода (конец IV в. до н. э. — IV в. н. э.).

Плотин, философ-неоплатоник III в. н. э., написал 54 трактата, которые его ученик Порфирий разделил на шесть групп (Эннеад), по девять трактатов в каждой. Сочинения Плотина чаще всего издаются в порядке «Эннеад».

«...поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос: „Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?“ — Помолчал бы ты, право, — отвечал тот, — я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя» (*Платон. Государство*, I, 329. Перевод А. Егунова).

«Сами лакедемоняне... отправили посольство в Дельфы спросить бога: разумно ли им начинать войну или нет. А бог, как говорят, изрек в ответ: если они будут вести войну всеми силами, то победят, а сам он — званный или незванный — будет на их стороне» (Фукидид. История, 118. Перевод Г. Стратановского).

*Эсхил. Агамемнон. 1388–1392. Перевод Вяч. Иванова.*



«Он [Ахилл] ужаснулся и, вспять обратясь, познал несомненно Дочь громовержцеву: страшным огнем ее очи горели». (Илиада, I, 199–200. Здесь и далее цитируется в переводе Н. Гнедича.)

*Светоний. Жизнь двенадцати цезарей, III, 67. Перевод М. Гаспарова.*

Вакханки, 866–867. Перевод Ф. Ф. Зелинского.

Здесь: попустительство (*фр.*).

Не хотите ли переспать со мной (*искаж. фр.*).

Манхэттенский проект — кодовое название программы создания ядерной бомбы, принятой администрацией Ф. Д. Рузвельта в 1942 г.

Бенджамин Джоветт (1817–1893) — английский филолог, теолог и преподаватель. Его перевод диалогов Платона, опубликованный в 1871 г., стал выдающимся событием не только античной филологии, но и английской литературы.

«Лихие всадники» — добровольческий кавалерийский полк под командованием будущего президента США Теодора Рузвельта (1858–1919), принимавший участие в испано-американской войне 1898 г.



Название одного из диалогов Платона. «Парменид» считается одним из самых сложных для понимания платоновских текстов.

L'Allegro (Веселый) и Il Penseroso (Задумчивый) — названия поэм Мильтона.

Ла-Бреа — район Хэнкок-парка (Лос-Анджелес, Калифорния), где выходят на поверхность скопления природных битумов. Из смоляных ям Ла-Бреа были извлечены тысячи экземпляров ископаемых животных эпохи последнего оледенения, включая мамонтов, мастодонтов и саблезубых тигров.

Имеется в виду Греко-английский словарь под редакцией Генри Джорджа Лидэлла, Роберта Скотта и Генри Стюарта Джонса — монументальный лексикографический труд по древнегреческому языку.

Курсы — статуи архаического периода древнегреческой скульптуры (примерно 650–500 гг. до н. э.), изображающие обнаженных юношей. Сохранившиеся курсы выглядят довольно единообразно: как правило, юноши стоят прямо, руки опущены вдоль тела, одна нога занесена для шага, на губах — слабая («архаическая») улыбка.

Мари Корелли (настоящее имя Мэри Мэки, 1855–1924) — британская писательница. Ее романы подвергались яростным нападкам критиков, обвинявших автора в мелодраматизме и безвкусице, но имели огромный успех у читающей публики. Мари Корелли была любимой писательницей королевы Виктории.

«Ровер бойз» — серия детских книг о приключениях трех мальчиков, братьев Ровер (во второй части серии фигурируют их дети). Серия состоит из 30 выпусков, опубликованных в 1899–1926 гг. Они пользовались большой популярностью и неоднократно переиздавались.

Комическая опера английского композитора Артура С. Салливана по либретто сэра Уильяма Гилберта. Премьера «Пиратов Пензанса» состоялась в Нью-Йорке в 1879 г.



«Бобси твинз» — название серии детских книг. Первая книга появилась в 1904 г., последняя (72-я) — в 1979 г.

Толос — в древнегреческой архитектуре круглое строение с конической или сводчатой крышей, иногда обнесенное колоннадой.

Стэнфорд Уайт (1853–1906) — знаменитый архитектор, в творениях которого воплощен дух «американского ренессанса».

Дэвид Уорк Гриффит (1875–1948) и Сесиль Блаунт де Милль (1881–1959) — американские кинорежиссеры и продюсеры, снимавшие в том числе масштабные исторические картины.

Перевод Д. Бородкина.

«Ее мысли, вначале неопределенные, блуждали без цели, как ее левретка, что кружила по полям...» (Г. Флобер, Госпожа Бовари. Перевод А. Чеботаревской).

Мари принесла брату овощей (*фр.*).

Александр Поуп (1688–1744) — английский поэт. Выдающиеся способности Поупа проявились в раннем детстве. По утверждению (не вполне, впрочем, достоверному) самого поэта, первое стихотворение («Ода одиночеству») было написано им в двенадцатилетнем возрасте.



Свершилось (*лат.*).

Фрэнсис поет «Whiffenpoof song» — песню, традиционно завершающую выступления студенческого хорового ансамбля Йельского университета «Yale Whiffenpoofs». Ее припев представляет собой немного измененные строки стихотворения Р. Киплинга «Джентльмен в драгунах».

Говорим по-итальянски (*ит.*).

Роскошь (*фр.*).

Исаак Уолтон (1593–1683) — английский писатель, автор популярного по сей день «Полного руководства по ужению рыбы» (1653).

Чудесно (фр.).

Руперт Брук (1887–1915) — английский поэт, известный романтическими стихами на военно-патриотическую тему.

Эдит Луиза Ситвелл (1887–1964) — поэт и критик; Фрэнсис Осберт Сачиверелл Ситвелл (1892–1969) — писатель и критик; Сачиверелл Ситвелл (1897–1988) — писатель и искусствовед.



Добрый день (*исп.*).

Стэн (Артур Стэнли) Лорел (1890–1965) и Олли (Оливер) Харди (1892–1957) — знаменитый голливудский комический дуэт, мастера фарсовой клоунады. В 1920-1940-х годах они сыграли более чем в ста фильмах, создав образы двух обаятельных простаков — плаксивого, тщедушного Лорела и неунывающего толстяка Харди.

**50**

Нет ответа (*φρ.*).

Бутч Кэссиди (настоящее имя Роберт Лерой Паркер, 1866-?) — легендарный американский бандит, главарь шайки, грабившей банки и поезда.

Здесь: Чернь. Варвары (*др. — греч.*).

Боб (Лесли Таунс) Хоуп (1903–2003) — американский комедийный актер и эстрадный артист, суперзвезда радио, телевидения и кино, автор бесчисленных юморесок и крылатых шуток. Хоуп много ездил по миру и написал несколько книг, включая автобиографический роман «Смокинг есть, отправляюсь путешествовать» (1959).

Антонин (Антуан Мари Жозеф) Арто (1896–1948) — французский актер, поэт и теоретик театрального искусства, оказавший сильное влияние на развитие театра абсурда. Арто страдал расстройством психики, с 1937 г. он проводил большую часть времени в психиатрических лечебницах. Среди его работ — несколько эссе, посвященных самоубийству. Одно из наиболее часто цитируемых высказываний Арто на эту тему гласит: «Если я совершу самоубийство, то не затем, чтобы себя разрушить, а затем, чтобы собрать себя воедино» («О самоубийстве», 1925).

Под покровом ночи и тумана (*нем.*).



После случившегося (*лат.*).

Пары, приводящие в состояние исступления (др. — греч.).

Буквально «скитания по горам» (др. — греч.); орибасии, ритуал вакханок.

Горе — попасться. (*Гораций*. Сатиры, I, 2, 135. Перевод М. Дмитриева и Н. Гинзбурга).

Окно, стул (*фр.*).

Я чувствую себя как Хелен Келлер, старина (*фр.*). Хелен Келлер (1880–1968) — слепоглухонемая американская писательница и общественная деятельница.

Джон Эдгар Гувер (1895–1972) — основатель ФБР и его бессменный директор с 1923 г. до своей смерти.

...вот взлетело на воздух ребро, вот упало на землю раздвоенное копыто; а само животное висело на ели, обливаясь и истекая кровью (Вакханки, 740–743. Перевод Ф. Зелинского).



Радуйтесь — традиционная форма приветствия и прощания в древнегреческом языке.

Вакханты (*др. — греч.*).

Вода (*um.*).

Зловредный кролик (*лат.*). Одно из значений слова bunny — кролик, крольчонок.

Господин (*ит.*).

Бикарбонат натрия (*ит.*) — пищевая сода.

Ушки на макушке (*лат.*).

[Я сна хочу,] хочу я сна, не жизни!  
Во сне глубоком и, как смерть, благом...

(Ш. Бодлер. Лета. Перевод С. Рубановича).



Тодзё Хидеки (1884–1948) — японский политический и военный лидер, ставший олицетворением японского милитаризма. В октябре 1941 г. стал премьер-министром страны, однако после нападения на Перл-Харбор, приказ о котором отдал он сам, фактически приобрел статус диктатора.

Ну да (*искаж. фр.*).

*Т. С. Элиот. Пепельная среда. Перевод О. Седаковой.*

Илиада, II, 610.

*Каллимах. Гимн к Зевсу. Перевод С. Аверинцева.*

После 86-летнего перерыва команда «Бостон Рэд Сокс» все-таки выиграла Кубок серий в 2004 г.

Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд) (61 или 62 — ок. 113) — римский государственный деятель и писатель — был патроном обоих городов. В их окрестностях располагались его имения. В Комо (родном городе Плиния) на его средства были построены библиотека и баня.

Озноб (фр.).



Далман — одно из названий флуразепама — лекарственного препарата, применяемого как снотворное. Вызывает привыкание.

Пусть покоится в мире (*лат.*).

Не правда ли? (фр.)

Говард Хьюз (1905–1976) — американский бизнесмен, авиатор и кинорежиссер. Начиная с 50-х годов Хьюз, один из самых богатых людей в США, жил затворником, однако слухи о его странностях постоянно мулсировались в бульварной прессе. Утверждалось, в частности, что он стрижется один раз в год и носит вместо обуви картонные коробки из-под бумажных носовых платков.

Смысл существования (*фр.*).

Торговое название изобутилнитрита — летучего жидкого вещества, вызывающего эйфорию и усиливающего остроту сексуальных ощущений.

Празднества (*фр.*).

Чарльз Лафтон (1899–1962) — английский актер, с 1940 г. жил в США.



Имеется в виду Уоллис Уорфилд (1896–1986) — жена Эдварда, герцога Виндзорского. Эдвард, коронованный под именем Эдуарда VIII, был вынужден оставить британский престол из-за намерения жениться на Уоллис, которая к тому времени проходила процедуру развода со своим вторым мужем. После бракосочетания в июне 1937 г. чета обосновалась во Франции, где на протяжении десятилетий занимала видное место в высших светских кругах.

Гарольд Актон (1904–1994) — англо-итальянский писатель, ученый и знаток искусств.

Сара (1883–1975) и Джеральд (1888–1964) Мерфи — состоятельные американские экспатрианты. Переехав в начале века во Францию, в 20-30-х гг. они стали центром широкого артистического круга — среди их друзей и гостей были Фицджеральд, Хемингуэй, Дон Пассос, Пикассо, Стравинский и многие другие писатели, художники и музыканты.

Мелкая камбала с виноградом (*фр.*).

Джонас Солк (1914–1995) — американский врач и исследователь, создатель полиомиелитной вакцины.

Карен Карпентер (1950–1982) — вокалистка группы «Карпентерс». Скончалась от сердечного приступа, ставшего результатом нервной анорексии. Поглощение большого количества пищи с последующей искусственно вызванной рвотой характерно для нервной булимии.

Нет ничего нового под солнцем (Книга Екклесиаста, 1: 9).

В Аверн спуститься нетрудно (*Вергилий. Энеида*, VI, 126; здесь и далее цитируется в переводе С. Ошерова). Аверн (совр. Аверно) — озеро вулканического происхождения близ города Кумы в Кампании (Италия), в древности считавшееся одним из входов в Аид.



«Ролэйдс» — нейтрализатор кислотности в виде таблеток с вкусовыми добавками.

Марч — ситуация, при которой набрано пять взяток (максимум в юкере).

Каллимах. «Эпитафия Хариданту».

Слава богу (*лат.*).

Добрый день, месье Лафорг. Как приятно снова вас видеть (*фр.*).

[... Аполлон-де и кудрями крут,] и щеками пригож, и телом прегладок, и в искусстве многосведущ, и фортуной не обделен (*Апулей. Флориды.* Перевод Р. Урбан).

Лоренс Альма-Тадема (1836–1912) — английский художник нидерландского происхождения, главной темой его полотен были сцены из античной жизни. Уильям Пауэлл Фрит (1819–1909) — английский художник, мастер портретной и жанровой живописи.

Готовое платье (*фр.*).



Бессмертные боги (*лат.*).

Энеида, VI, 325, 329.

Речь идет о случае, упоминаемом Фронтином: «Когда афинянин Тимофей собирался дать морской бой коркирцам, его кормчий начал было давать отбой уже выступавшему флоту, так как кто-то из гребцов чихнул». (Стратегемы, I, 12, 11. Перевод А. Рановича.) Греки и римляне полагали, что чиханье — это знак свыше. Так, Сократ, если ему случалось чихнуть в тот момент, когда он сомневался, стоит ли приступить к тому или иному делу, считал это подтверждающим знаком, однако, если он вдруг чихал, когда дело было начато, немедленно его оставлял (*Плутарх. О демоне Сократа*, 11). Аристотель, в свою очередь, задавался вопросом: почему чиханье в промежуток от полудня до полуночи считается добрым знамением, а от полуночи до полудня — дурным? (*Проблемы*, XXXIII, 11). Однако наиболее распространенным было следующее толкование: если чихают справа от человека, предзнаменование благоприятно, если слева — то нет.

Альфред де Виньи (1797–1863) — поэт, писатель и драматург, крупнейший представитель французского романтизма. Упомянутая пьеса, принесшая ему шумный успех, повествует о бедствиях и смерти некоего «идеального» поэта, «непризнанного гения», прототипом которого послужил Томас Чаттертон (1752–1770) — английский поэт, покончивший с собой в 17-летнем возрасте. Пьер Жюль Теофиль Готье (1811–1872) — французский поэт, писатель, журналист и литературный критик.

Шрайнеры — члены «Древнего арабского ордена благородных адептов Таинственного храма». Эта масонская организация известна своей благотворительной деятельностью — в США действует созданная шрайнерами сеть из 22 бесплатных детских больниц.

Уиллард Скотт (р. 1934) — в 80-90-х гг. ведущий «Сегодня», одного из самых популярных американских ньюз-ток-шоу.

Вероятно, речь идет о первом энергетическом кризисе, который разразился осенью 1973 г., когда ОПЕК снизила добычу нефти и прекратила ее поставки в страны Запада, поддержавшие Израиль в войне с Египтом и Сирией («Война Судного дня» — 6-24 октября 1973 г.).

Мандала — графический символ сложной структуры, используемый в буддизме для священных ритуалов и практики созерцания и медитации.



*Ах! (оп. — греч.)*

Вино (др. — греч.).

Снадобья (др. — греч.).

Илиада, XI, 409–410.

Те же глаза, и то же лицо, и руки... (Энеида, III, 490).

Кнут Кеннет Рокне (1888–1931) — знаменитый футбольный тренер.

Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936) — английский ученый и поэт. Хаусман, считавший главным занятием своей жизни античную филологию, опубликовал лишь два небольших сборника стихов, которые, к некоторому удивлению самого автора, постепенно приобрели большую популярность.

«Ликид» — элегия Джона Мильтона, посвященная памяти утонувшего при кораблекрушении Эдварда Кинга, университетского друга Мильтона.



Стихотворение Альфреда Теннисона, посвященное атаке британской кавалерии 25 октября 1854 г., во время Крымской войны. Из-за ошибок командования наступление закончилось полным провалом, несмотря на проявленные рядовым составом чудеса храбрости. Теннисон воспекает героизм солдат и оплакивает их бессмысленную гибель.

Одно из самых знаменитых стихотворений о Первой мировой войне, его автор — канадский военный врач и поэт Джон МакКрэй (1871–1918). «На полях Фландрии» написано как обращение мертвых к живым.

Перевод Д. Бородкина.

Евангелие от Иоанна, 11: 25–26.

Диалог Платона, в котором Сократ накануне казни обсуждает с учениками аргументы в пользу бессмертия души.

Здравствуй, друг (*лат.*).

Здоров ли? Как дела? (*лат.*).

Здесь: благодарю тебя (*лат.*).



Табачная лавка (*фр.*).

Любовь втроем (фр.).

Орел не ловит мух (*лат.*).

*Платон. Апология Сократа, 40е.*

Первые строчки стихотворения Джона Саклинга (1609–1642). Перевод  
М. Бородицкой.

Ричмонд Латтимор (1906–1984) — известный американский поэт, филолог-классик и переводчик древнегреческой литературы.

Перевод С. Таска.

Греческая поговорка, восходящая, по преданию, к словам Солона. Ее часто приводит Платон (см., например, Государство, IV, 435 и Гиппий Большой, 304e).



Бенсонхерст — район в южноцентральной части Бруклина, большую часть населения которого составляют выходцы из Италии. Согласно расхожим представлениям, в Бенсонхерсте находятся квартиры нью-йоркской мафии.

Джон Марстон (1576–1634) — английский поэт, драматург и сатирик.

Так называли группу драматургов конца XVI в., получивших университетское образование: Кристофер Марло, Роберт Грин, Томас Нэш, Томас Лодж, Джордж Пиль, Томас Кид и Джон Лили. Название группы связано с тем, что почти все ее члены учились в Кембриджском или Оксфордском университете.

Уолтер Роли (1552 или 1554–1618) — прославленный английский поэт, писатель, придворный и путешественник.

Томас Нэш (1567–1600?) — английский памфлетист, поэт и сатирик.

«Как вам это понравится» содержит цитату из пьесы Марло «Геро и Леандр», а также, по-видимому, завуалированное упоминание его убийства.

Цит. по: *Парфенов А.* Кристофер Марло. Сочинения. М., 1961.

Перевод Н. Амосовой.



Слава английского драматурга Сирила Тернера (ок. 1575–1626) основывается на двух пьесах — «Трагедия атеиста» и «Трагедия мстителя». Авторство последней, однако, спорно. Некоторые литературоведы полагают, что «Трагедия мстителя» принадлежит перу Томаса Мидлтона (1580–1626).

Но слишком много слез я пролил! Скорбны зори... (*Рембо А. Пьяный корабль. Перевод М. Кудинова*).

*Платон. Апология Сократа. 40с. Перевод М. Соловьева.*

Книга Бытия, 3:19.

*Теренций. Девушка с Андроса.*

Илиада, XXIII, 65-101.